

ЕВГЕНИЙ

НЕЧАЕВ

**ПОД ГОРОЙ
МЕТЕЛИХОЙ**

ЕВГЕНИЙ НЕЧАЕВ



Л Е Н И З Д А Т

1 9 6 6



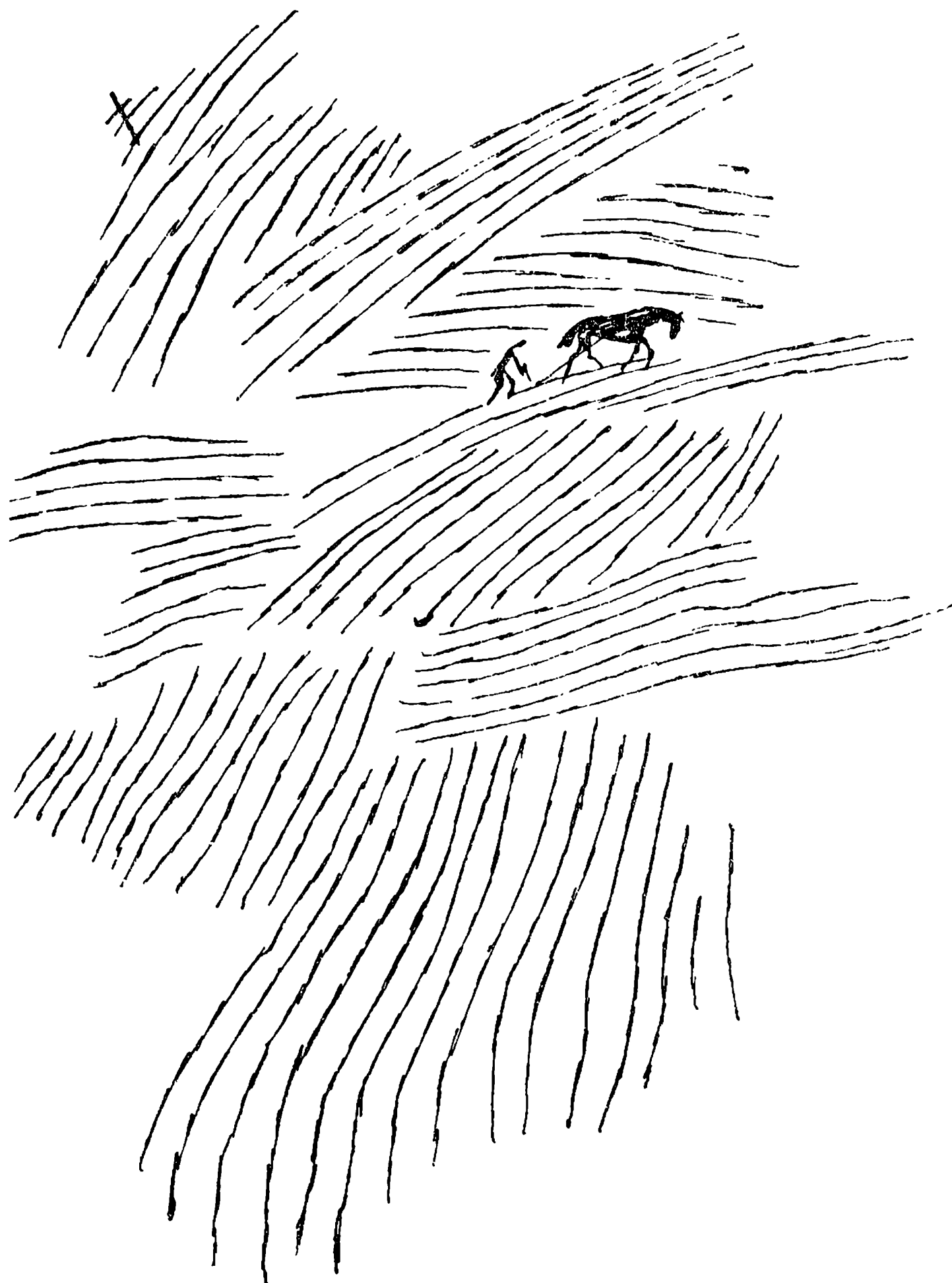
Е. НЕЧАЕВ

**ПОД
ГОРОЙ
МЕТЕЛИХОЙ**

Р о м а н



ПОД ГОРОЙ МЕТЕЛИХОЙ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Володька сидел на перекладине полевых ворот. Босыми ногами цепко держался за шершавую, изъеденную дождями и ветром плаху; из-под ладошки зорко вглядывался в еле приметную у дальних увалов ниточку дороги. Приятели — Екимка, Никишка и Митька — лежали внизу, у плетня, лузгали семечки из огромного подсолнуха. Тут же примостился и Федька Рыжий с нижней, Озерной, улицы. Он тоже бросал в рот семечки. С краю брал — которых крупнее нету.

По правилу этому Федьке дать бы по шее: на Верхней-то улице кто атаманом?! Володька! И подсолнух он же принес. С вечера еще скрутил в огороде у церковного старосты. Ладно уж, коли сами позвали, пусть ест, — атаманы, они не жадные! А про то, что Володька и есть атаман, — любого спроси. От кого собаки по всей деревне в подворотни шмыгают? От него. Кто на спор к мирскому быку или к Денисову жеребцу с любой стороны подходит? Сунься попробуй! А Володьке, тому хоть бы что! А кто мельничный пруд туда и обратно на спинке переплывает или на Красном яру кто в омут нырнет? Опять на Володьку укажут. И про то, что в Каменный Брод новый учитель едет, он же первым узнал. От самого Романа Васильевича — председателя сельсовета!

Правда, Роман Васильевич не к нему, не к Володьке, лично обращался, а к старику Парамонычу. Оборвал бы тот доски, которыми школьные окна крестнакрест забиты, взял бы ключи да подмел бы мусор в классах. Парамоныч-то на ухо туговат, не вдруг догадался, про какие ключи его спрашивают: то ли от

церкви, то ли про школьные, а может, и сельсоветские; сам председатель их засунул куда-нибудь, а отвечать за всё старику.

Пока Роман втолковывал старику, пока Парамоныч раскуривал трубку, кряхтел да кашлял, пока ключ из застрехи выудил, — Володька успел добежать к Екимке.

Старик ковылял на своей деревянной ноге еще в переулке, а ребятишки уже дожидались его на школьном крылечке, чтобы вместе приняться за нехитрое дело. Пришлось ради этого через огород церковного старосты напрямик махнуть. Тут-то и попался на глаза Володьке подсолнух — спелый-преспелый, шляпка, что решето, до самой земли склонилась; всё равно куры бы выклевали. Спрятали его под крыльцо, чтобы старик не увидел, а утром достали. Ладно, пусть уж и Федька ест, пусть подавится.

Сидит на воротах Володька, щурится.

От околицы до увалов по обе стороны дороги — в рост человека рожь. Глазам больно смотреть на нее, до того напिताлась солнцем. Справа — лес; слева за выгоном — речка, за деревней — гора Метелиха. И над всем этим — сосновым бором, речкой Каменкой, расплавленным золотом ржи — разлилось августовское знойное марево.

Смотрит Володька на дымчатые увалы: не пылит ли дорога. День сегодня базарный, мужиков в селе мало, — все в Константиновке. Туда же и татары из соседней деревни спозаранку целым обозом тянулись. Носит их тут. Того и гляди, овсы потравят. Или свернут луговым проселком к мельнице, огонь разведут. А лошади по кустам. Этак-то скоро и со своими конями некуда будет в ночное выехать.

«Исккупаться бы сбегать на озеро, что ли, — думает Володька, — минутное дело!.. А ворота, кто их учителю откроет? — тут же спрашивает он самого себя. — Не кого-нибудь — не лавочника Кузьму Черного ждем...» Потому и с Федькой объявлено временное перемирие: на одной парте снова сидеть придется. Может, другой раз что и подскажет.

Глянул Володька вниз — от подсолнуха одна середка осталась, а у Федьки всё брюхо шелухой заплевано. «И чего бы себе половину не отломить?» Торопился, чтобы кто другой на столб не залез. Сиди вот те-

перь, облизывайся. Кто его знает, когда он приедет? От станции добрых полсотни верст, с поклажей-то не шибко разгонишься.

«Смотря по тому, опять же, какая лошадь, — рассуждал Володька, чтобы не думать о растерзанном подсолнухе и не видеть вихрастую, огненно-рыжую голову Федьки. — Если с вечера выехал, как дядя Роман говорил, да конь у подводчика добрый, как Воронко у Андрона, стало быть, ночевал в Константиновке. На базаре чего ему делать? Небось в городе всякого накупил. Припаздывает, однако: солнце-то, вон оно где!»

Дружки покончили с семечками, разломали опустошенную шляпку подсолнуха на части и принялись кидать ими один в другого.

— Ну что там, не видно? — спросил Екимка и, не дождавшись ответа, пошел колесом по лужайке.

Митька с Никишкой тоже забрались на ворота, а Федька, упираясь плечом в поперечный брус, с натугой отводил в сторону тяжелое полотно и с размаху толкал обратно. Ворота хлопали по столбу, приятели хохотали.

Потом надоело и это, снова повалились на траву. По-цыгански бороться начали — ногами: кто кого через голову перевернет. У Федьки здóрово выходило: и Никишку и Митьку враз перекинул. А Екимка и лечь рядом с ним побоялся: слаб он против Рыжего.

«Обожди, ужо сам за тебя примусь», — в досаде за своих дружков подумал Володька. И только было собрался спрыгнуть вниз, заметил далеко впереди серое облачко пыли; катилось оно по склону холма, за ржаным разливом.

— Едут! — крикнул Володька. И в ту же секунду был на земле.

Ждать пришлось долго. Но вот и залиvistый звон колокольчика, топот и храп лошадей. Ребята бросились к воротам, откинули скрипучее полотно до плетня, подперли рогулькой. Друг за дружкой прижались к столбам. Володька один на дорогу вышел.

И вот тебе нá — почта! Пара взмыленных вороных вымахнула тарантас с кожаным верхом на пустынную сельскую улочку. С козел рессорной повозки блеснули крепкие зубы чернобородого татарина.

— Рахмат-инде, дускаим! — бесело крикнул он и

вытянул пристяжную тяжелым ременным кнутом, за-
свистел по-разбойному.

Коренник выгнул шею, пристяжная возле него —
птицей. Колокольчик — захлеб, и опять пусто на
улице.

«Больно-то нужен мне твой р а х м а т», — недоволь-
но подумал Володька и сплюнул под ноги. Татар в селе
недолюбливали: и вера у них другая, и конину едят.
И у каждого — нож. Постоял малость и потом уже,
когда пыль улеглась и в бору за Метелихой умолк
колокольчик, буркнул нехотя, как сосед Андрон:

— А ничего, добрые кони у этого черта Шарифки.
Точат зубы небось конокрады с Большой-то Горы. Не
зря вон какой револьверт на боку!

— Да и нашим, с Ермилова хутора, тоже, брат,
пальца в рот не клади, — подал было свой голос Еким-
ка. — Про Пашаню-то Ермилова что толкуют?

— Наши супротив тех сосунки, — урезонил прия-
теля атаман, — ты послушал бы, что Андрон говорит:
«На Большой Горе что ни двор, то вор, а где двор по-
шире — там вора четыре!» А еще сказывают: в озере
там рыбы неprovорот, а взять не могут, потому — все
дно барскими да княжескими каретами завалено и че-
ловеческими костями. Там ведь как при царе-то было?
Места кругом гиблые, у Провальных ям среди бела
дня лошадей под уздцы хватали. Ямщика и хозяина
кистеном между глаз, возок с крутояра в воду, а лоша-
док в лес. Вот какие там люди — на Большой Горе!

Ребятишки слушали — не дышали, а Екимка ми-
гать принялся часто-часто.

Конокрад — последнее дело. Это уж не разбойни-
чек, не удалой добрый молодец, про которого и в пес-
не поется:

Все тучки, тучки понависли,
А с моря пал туман.
Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш атаман...

Конокрадов в деревне боялись и при случае били
на смерть. А самого главного — одноглазого татарина
Гарифулла — часто видели у Ермилова хутора. И не
трогали. Больше того, — если случалось тому заехать
в деревню на масленой неделе или в престольный
праздник — потчевали, как самого дорогого гостя.

Вся округа знала: Гарифулла сам не ворует, но у кого бы ни пропала лошадь — в Константиновке, в Каменном Броде, у хуторских — первым делом шли к нему в Кизган-Таш. Мужик продавал коровенку и относил этому одноглазому змею последний рубль.

Гарифулла встречал мужиков гостеприимно: сам вздувал самовар, доставал с полки бутылку.

— Какой твой лошадка? — сочувственно спрашивал он после первой же рюмки. — Пузатый такой гнедой кобыл? Левый ухо сеченый... Сам, наверно, бежал, непутаный был...

— Точно! — радовался мужик. — По приметам — она...

— Черный урман знаешь? Шабра говорил, за Гнилым речкам твой лошадь гуляит.

Шел мужик в Черный лес за Гнилую речку. Точно — стоит кобыла под деревом, сонно шевелит отвислой губой.

...До вечера валялись ребятишки в траве у околицы, обо всем переговорить успели: и про то, что в старом, заброшенном барском доме кто-то ходит ночью по лестницам, что в котловане под мельницей живет волосатая голая девка, а у Провальных ям вот уже сколько лет встречают зарезанного ямщика, — ходит по лесу с уздечкой, ищет своих лошадей.

Незаметно подкрались сумерки, а учитель так и не приехал. Федька первым уходить собрался, поддернул штаны, глянул искоса на Володьку:

— Бреешь ты всё. И про учителя нового, и про конокрадов с Большой Горы. Не все же там воры!

— Это я-то брешу?! — у Володьки побелели губы.

Быть бы тут потасовке, да у ворот подвода остановилась, — кузнец Карп Данилович с базара вернулся. Федька бросился открывать ворота, вскочил потом на задок телеги.

— Я тебе это попомню! — погрозил кулаком Володька. — Будешь знать.

— А про что мне знать-то? — издали уже выкрикнул Федька. — Про то, что ты — Меченый?!

Запустил Володька вслед камнем, попал в колесо. Кузнец обернулся, придержал вожжи, но у ворот никого уже и не было. Только у межи шевелилась рожь, кланялась в разные стороны.

Володька рос без отца. Чуть свет скатывался с полатей, — ломоть хлеба за пазуху — и в дверь. Половину куска — собаке, да с нею же вместе — на улицу. Да не в калитку, как добрые люди, — через забор. Только пятки сверкнут. И до вечера.

Мать вздохнет, головой покачает: в кого только такой уродился!

Озорным рос Володька, задиристым. Первым в речку с разбегу бросался, когда вода еще студенным огнем обжигала; а по осени затянулось малость ледком, смотришь, а он уже между полыньями на самодельных коньках кренделя выписывает; на лыжах с Метелихи несется — ветер свистит да треплется за спиною пóлы распахнутой шубенки.

Шести лет ему не было, когда ребята постарше в речку из лодки его выбросили. Выбрался. И в тот же год осенью до полусмерти расшибся. Вздумалось ему на бычке поповском по улице прокатиться. А бычок-то во двор да на полном телячьем галопе — в сарайчик (дверка низенькая — только бычку проскочить). Ударился Володька о перекладину, кровью залился. Так на всю жизнь на лбу вмятина и осталась. И прозвали Володьку Меченым.

Не терпел Володька прозвища, в драку лез. Гонит другой раз по улице ораву таких же, как сам, сорванцов. Хлещет с плеча хворостиной. На голову выше себя парня подвалит. Тот со слезами — к братьям постарше. Поймают они Володьку, намнут бока... А он никому не жаловался. Придет домой, когда в небе звезды зажгутся, кринку молока опорожнит и мимо матери боком да на полати. Так и рос — в синяках и шишках. Растрепанные волосы выгорели, не понять какого они цвета; в глубоко посаженных ястребиных глазах зеленые огоньки; штаны порваны, а кулаки всегда наготове.

Больше всего доставалось от Володьки садам и огородам. Во всей деревне не было яблони, на которой не оставил бы он клочка от своих штанов, не было грядки, первый огурец с которой не пропал бы среди бела дня.

Но жадным Володька не был: сорвет одно-два яб-

лока, морковку выдернет, и всё, хватит. Если хозяин приветливый, Володька даже помогать напрашивался.

Вот Андрон Савельевич, сосед. Мужичище кряжистый, неразговорчивый, бородой до глаз зарос, на медведя с рогатиной хаживал. И всё в одиночку, молчком. Побаивались Андрона в деревне, а ребятишки стороной обходили при встрече. А Володька в любое время мог запросто подойти к воротам Андрона и дернуть щеколду за веревочку. Нет у того наследника в доме, одна Дуняшка. А от девки велик ли прок. Вот и полюбился Андрону Володька, потому и в сад к нему Володька ходил беспрепятственно. Все сучки сухие срежет, кору старую соскоблит на деревьях, крапиву с корнем повыдергивает. И Андрон был спокоен: раз Володька в саду — никто туда носа не сунет.

Рядом с Андроном Денис живет — ядовитый старик, жадюга. Этот сам в шалаше ночует, да караулить-то ему нечего. Сад год от году хиреет, яблоко мелкое, червяками источено. Был у Дениса сын Игнат, старше Володьки лет на пять. Так его Володька и в счет не считал: какой это парень! Вечером мимо кладбища один не пройдет. Да и кособокий к тому же, и зубы у него гнилые. Такого и девка любая побьет.

Володьку тянуло к приключениям. Где старик да старуха — чего туда лезть? Это совсем и неинтересно. Вот где яблоки по кулаку, наливные, где хозяин злой, где собака на ночь с цепи отвязана — это вот дело!

Когда его заставляли в чужом саду, лучше было не гнать, не травить собакой. Мстил жестоко. Разгородит плетень — заберутся в огород свиньи, всё начисто перероют. Или — другой хозяин выглянет зорькой на подворье, почешется на крылечке, потом, нехотя так, прошлепает босыми ногами за пристройку, да так и ахнет: и ветру вроде бы не было за ночь, а в саду вся земля сплошь яблоками усыпана.

Староста церковный, Иван Кондратьич, оберегая свой сад, навязал рыболовных крючков на деревьях, осколков от битых бутылок набросал вдоль тына, ружьем грозился. Не помогло. Как-то вернулся он из города, старостиха баньку ему приготовила. Моется сам-то, хлещется веником, на квасу распаренным. И так это разморило старосту, в предбаннике полежать захотелось. Толк в дверку — не поддается, нажал

плечом — приперта. Глядь в оконце, а по саду Володька разгуливает.

Свету белого мужик не взвидел, а пуще всего оттого, что ходил Володька по саду не торопясь, как по своему собственному. И, также не торопясь, в разных местах на эти самые рыболовные крючки развешивал старостино добро: где порты, где рубаху; да повесить-то норовил повыше, чтобы с земли не достать. А дело было в субботу, сад у Ивана Кондратьича возле церкви, — на пригорке девки с парнями собрались. Старостиху хоть кричи, хоть нет, — глуха, как пень. Так и сидеть бы мужику до утра, да где-то уж за полночь старуха проведать догадалась.

Драла Володьку мать. Молчит, смотрит зверенышем; пробовала уговорами — ничего не помогает.

— Вон у них сколько! У нас бы такой сад, каждому говорил бы: заходи, ешь сколько влезет!

— Ну, а зачем же ты свиней напустил в огород к Улите, Ивана Кондратьича на всю деревню ославил?

— И еще напущу, не жадничай! Я у нее всего-навсего одну морковку сорвал. Три гряды у нее. Я бы, может, в другой раз и не посмотрел в ту сторону. А она — жаловаться... Попомнит теперь! А Иван-то Кондратьич тоже хорош! В церкви стоит, как Николай-угодник, а тут скосоротило его, что на заборе меня увидел. Да я, может, и лезть к нему за этими «китайками» не собирался вовсе: их до мороза ждать надо! Сидел на заборе, и всё. А он Тузика на меня!

Учился Володька не ахти как прилежно, во втором классе два года сидел. Редкий день домой приходил, чтобы пуговицы на шубенке «с мясом» не были вырваны. С порога запустит сумку под лавку и опять на Метелиху с лыжами. И снова вздыхает мать: не найти на Володьку управы. Безотцовщина — одно слово.

Как-то летом поп Никодим поймал Володьку в церкви. Дело было в предпраздничный день, сторож Парамоныч храм проветривал, а ребятишки на площади в лапту играли. До упаду чабегались. Жарища на улице — не продохнуть, а в церкви прохладно.

Парамоныч сидит себе под березкой, постукивает кочедыком, лапоть лыком мореным наковыривает, не

слыхал, как у него за спиной проскочило в раскрытую настежь дверь с полдюжины мальчишек и давай колобродить в святом месте. В алтарь пролезли, под престолом в прятки играть принялись, в парчовые одеяния облачились и кого-то не то венчать, не то отпевать вздумали.

Сам отец Никодим услышал, что в церкви неладно, вошел, да так и окаменел на пороге: перед алтарем Володька стоит в ризе и с крестом в руках, бубнит себе что-то под нос, а вокруг аналая какого-то сорванца за руки, за ноги носят. И поют.

Про отца Никодима в округе легенды ходили. Вроде бы в молодости сгибал он подковы, полтинники в пальцах сплющивал. Или еще: ехал раз батюшка ночью по лесу и напали на него грабители. Трое. Остановил поп коня, дал обыскать себя, а потом сгреб двоих за воротники. Ударил лбами и отбросил в стороны. Дух вон из обоих. Третьего придавил ногой. Саврасого выпряг, а того, что в живых остался, в хомут — да кнутом! Сам, однако, в тарантас не сажился: сбоку шел.

На попа ребятишки из-за угла поглядывали. Редко видели его на улице. Во всем черном, огромный, с густой перепутанной гривой, двигался он медленно, копыта копытой. Кулачищи — гири пудовые. На такого разглянь — вовек не забудешь.

Вот и в тот раз... Крякнул отец Никодим, заметалось гулкое эхо под высоким церковным куполом. Будто ветром сдуло мальчишек в боковую дверь. А Володьке не повезло: запутался в ризе, упал, тут-то и настигла его карающая десница...

И опять никому не пожаловался Володька. Не матери же говорить, за что от попа влетело! Дня три ходил кособочился, а мстить попу не решился: тут вина явная, поп поступил законно.

* * *

Каменный Брод — село домов в шестьдесят. Две улицы — Верхняя и Озерная. Тут и берет начало взбалмошная речонка Каменка. По весне да осенью — разольется по лесу на три версты, летом — куры вброд переходят. На Каменке — мельница. Сумеют мужики

вовремя запруду поставить — вся округа живет, прорвет речонка плотину — беда. Только поэтому и пошли каменnobродцы на неслыханное по тем временам дело: миром решили передать дела мельничные Совету. Хозяин остался при мельнице вроде арендатора, да и то не на полных правах. Совет все расходы на ремонт и содержание плотины распределил подворно, установил норму за помол; свои деревенские мололи бесплатно. Не нравилось это мельнику, да ничего не поделаешь.

Славился Каменный Брод садами. У каждого дома сад. А самый лучший — у церковного старосты Ивана Кондратьича. Но само село не было богатым: на всей Верхней улице два дома под железом — у попа да у того же старосты. Озерная — та под соломой. Две телеги на железном ходу — у лавочника Кузьмы Черного да у кузнеца Карпа Данилыча. Посредине деревни — церковь каменная, решеткой чугунной обнесена. Березы и липы вокруг. А напротив школа: крыша старая, мохом обросла, стены гнилью тронуты. Школа стоит на отшибе, огорожена ветром. И сразу же за школой — гора Метелиха.

Если подняться на гору, далеко во все стороны видно: леса и леса вокруг. Пихтач непролазный. Местами деревенька проглянет, озерко небольшое, клочок поля, и снова чернолесье дремучее. Хорошо видна Каменка. Серебристой полоской обогнула она огороды нижней, Озерной, улицы, нырнула в темень лесную.

Была в деревне частная лавочка. Содержал ее местный житель Кузьма Черный, мужичишка крикливый, въедливый. Однако дела торговые шли у Кузьмы незavidно. А всему помехой жена: страсть торговать любила, а в деньгах толку не знала. Уедет Кузьма по делам, строго-настрого накажет Авдотье не снимать крюка с двери. А та не утерпит — откроет... И насуют ей соседки и николаевских бумажек с двуглавым орлом, и керенок! Ребятишкам с пятака медного гривенник сдачи давала, да еще пряника два, да тетрадку в клеточку!

Отходит Кузьма вожжами Авдотью. Ревет та белугой. Только муж за околицу выехал, а она опять за прилавок...

Немало испортила крови Кузьме и вдова-солдат.

ка Улита, разбитная бабенка лет тридцати. Она нахально гнала самогон, отбивала покупателя. Как-то по осени загорелся домишко Улиты. Захватило всё подчистую. Обрадовался Кузьма. Перебралась солдатка в баню, а весной на сельском сходе поклонилась миру земным поклоном.

Сжалились мужики, набрали вдове лесу. За ведро самогона, миром же, подрядили стариков Мишу Горбатого да Петруху Пенина срубить бабе избенку. За лето слепили деда жиденький сруб, в девять венцов, да так и оставили его посреди улицы, — морозы ударили. И осела Улита бельмом на глазу Кузьмы Черного. Из двери в дверь. Снова принялась за старое.

Председатель сельского Совета Роман Васильев и добром и худом пытался урезонить Улиту, — не помогло. Так и отступился, махнул рукой: надо же жить человеку.

Роман Васильев, как и Андрон, жил богато, значился крепким середняком. Лошадь имел, двух коров, избу, крытую тесом; грамотным был, умел разобрать написанное от руки, потому и ходил в председателях. В девятнадцатом году Роман партизанил, воевал с колчаковцами, банду зеленую по лесам вылавливал.

Каменный Брод слыл в округе драчливым селом. Года не проходило, чтобы до смерти кого-нибудь не забили. На престольный праздник — зимнего Николу — по три дня бушевала деревня. Наезжала из города милиция. И тот же Роман отводил приехавших в баню, ставил на лавку ведро самогонки и христом-богом просил не высываться.

— Не нами оно заведено, — говаривал он при этом. — Передерутся — помирятся. — Роман Васильевич выжидательно замолкал и добавлял потом, укоризненно разводя руками: — Несознательность поголовная, темнота то есть... Так что лучше оно будет, товарищи, денька два здесь вам перебедровать: у каждого небось дома-то семья, жены-матери. Довольствие — вот оно, приготовлено, а сору из избы мы не выносим.

Лихо дрались в Каменном Броде. Первый день праздника — мир да веселье. На второй с утра мелочь сцепится: улица на улицу. В обед — парни холостые тузят друг друга чем под руку попадет; к вечеру —

мужики с дубьем. Сразу всё вспоминается: кто между у кого запахал года три назад, кто травы накосил охапку на чужом паю, кого рюмкой обнесли на поминках. Все передерутся. Бьют соседей, гостей, встречного-поперечного. Бьют, пока с ног не свалится. Упал — на пологе откачают, квасу принесут или рассолу капустного, чтобы опомнился. Встал на ноги — снова его по зубам.

Где-то вырастали заводы, первенцы пятилетки, строились новые города, зажигались огни электростанций, а здесь в февральскую лютую стужу среди бела дня волки по задворкам шатались. А в то самое лето, в покос, недели за две до приезда учителя, когда по домам старухи одни оставались, страшный рев по улицам с одного конца в другой перекинулся: лесной косолапый хозяин на мирском быке в село въехал! Облапил он бугая в березняке за Метелихой, насёл на него сверху. Бык — в деревню, ревет истошно. И медведь ревет: упасть боится. До самой церкви доехал. И нехотя так ушел за околицу: всё оглядывался.

* * *

Учитель приехал ночью; привез с собой сына, года на два моложе Володьки, да дочь, той уже лет восемнадцать было — взрослая. Паренька звали Валерием, — имя совсем чудное, вроде девчоночье.

Володька чем свет к школе примчался и увидел учителя, когда тот умывался. Ростом высокий, руки крепкие, а телом сухой, жилистый: без рубашки мылся, а дочь лила ему воду на шею из чайника. Потом она разожгла керосинку в коридоре, сковородку поставила на огонь, присела на корзинку, принялась чистить картошку.

— Молока, может, вам или яичек? — попробовал заговорить Володька. — Чай, на одной-то картошке не дюже сытно.

Учитель улыбнулся:

— Не дюже?

— Знамо дело, — солидным тоном отозвался Володька, — по мне, хоть бы и век ее не было. Картошки-то!..

— Скажите! Гурман какой...

Володька насупился: ему показалось, что его обозвали обидным, ругательным словом.

— А и верно, — проговорил меж тем учитель, обращаясь уже к дочери, — дело говорит парень! Как там у нас, дочь, с деньгами-то?

— Ладно, папа, — ответила та, не разгибая спины, — сама схожу.

— У наших-то баб как еще и напрочишься! — усмехнулся Володька. — Так тебе, думаешь, каждая и продаст?

Девушка выпрямилась, строго глянула темным глазом на Володьку. Спросила, четко разграничивая паузы:

— А почему это «у баб», почему «тебе»?

— Оставь, Верочка, — заступился за Володьку учитель, — парень от чистого сердца, а ты уж сразу и выговаривать. Добро, сбегай, хлопче, принеси, что сможешь. Только цену узнай!

Не успел учитель верхнюю рубашку под поясок заправить и расчесать гребешком бородку, а Володька — вот он — с лукошком яиц и с горшком молока. На горшке крупными каплями серебрилась влага.

— Утрешнее, от своей коровы, — залпом выпалил он, опуская горшок на ступеньку крыльца, — а это у дяди Андрона выпросил: кур у него — счету нет. Несучие! Ничего, говорит, ему не надо, а только лукошко вернули бы.

— Какой же ты молодец! — похвалил учитель, принимая из рук паренька лукошко. — Добро, возмика, брат, деньги. «За спасибо живешь» больше дня не протянешь. Так ведь? Ну вот, а теперь давай по-настоящему познакомимся. Знаешь, кто я?

Володька мотнул головой и, услышав, что учителя зовут Николай Иванович, неожиданно для себя назвался по-уличному:

— Меченый я!

— Замечательная фамилия, геройская! А моя — Крутиков. Значит, будем дружить, — и учитель подал Володьке руку. — В каком классе учиться-то будешь? В четвертом?! Совсем хорошо. Давай-ка садись с нами за стол.

Володька не отказался, а потом помогал устанавливать кровати, таскал чемоданы, узлы, тяжеленные

связки книг. Присел было возле велосипеда, провел пальцами по серебристому ободу, — такую диковину видел впервые и не сразу поверил, что на этих жидких колесах может ехать такой большой человек, как учитель.

Тут и Валерка разговорился (до того он посматривал на Володьку с опаской), показал новому приятелю отцовскую скрипку, свой ножик с тремя лезвиями, свисток костяной, набор блесен; говорил еще, что у него и ружье настоящее есть — переломка, да пока упаковано.

Не поверил Володька насчет переломки, но виду не подал, а на другой день чем свет постучался в окошко. В знак особого расположения к учителю Володька решил посвятить его сына во все свои тайны: провел по обеим улицам деревни, объясняя подробно у каждого ворот, кто здесь живет, есть ли собака, сколько щенят.

На обратном пути от озера Володька свернул в переулочек к поповскому дому. Всё, что знал про попа, выложил без утайки: у Валерки глаза на лоб полезли, особенно, когда в окне голова самого отца Никодима на минуту показалась. Потом через щель в заборе палкой дразнили Тузика во дворе церковного старосты, возле дома Дениса поймали огромного ярко-красного петуха. Этого рыжего разбойника Володька ловко подсек удилищем и, не давая опомниться, с маху упал животом на распластанную птицу. Не вставая с земли, осмотрелся, шмыгнул за угол и принялся крутить петухом в воздухе, держа его обеими руками за голову, после чего бросил в крапиву. Потом пояснил ошеломленному Валерке:

— Меня-то он уже знает, а девчонок бьет. Так и ты в случае чего не робей. Ни черта ему не сделается: живуч, окаянный!

В полдень видели ребят на мельнице, где под прогнившей сланью, в корягах, окуни ходят — горбатые, толстые. А вечером вернулся Валерка домой с ободранными в кровь ногами, в располосованной рубашке.

— Знаешь, папа, — с порога еще выкрикнул он, — Меченый — это вовсе и не фамилия! Это так его дразнят! А за кладбищем знаешь что у них сделано? Там на пригорке растет что-то такое зеленое и высокое-пре-

высокое: выше тебя! И толстое. Так вот в середине этого поля всё выдергано и сделаны шалаши. Хозяин ничего не знает, потому что с дороги не видно. И каждый день собираются там ребята с нашей, с Верхней улицы. Там у них знаешь — здорово сделано! И часовые. А у главного атаманского шалаша — склады: и горох, и яблоки, и арбузы, даже ведро — картошку варить...

— Марш к умывальнику... «Здорово», — глядя поверх очков на сына, медленно проговорил учитель. — Верочка, сними с него рубашку, а новую не давай, пусть сидит дома.

Два дня тосковал Володька, — Валерка не подходил даже к окну. Учитель с утра отправлялся в сельсовет, а вечером видели его в поле: ходил Николай Иванович с председателем. Увязался за ними и секретарь, Артюха (в деревне звали его Козлом).

Чтобы скоротать время, Володька занялся изготовлением жерлицы. Для этого ему понадобилось пробраться во двор к Денису и из хвоста чалого мерина надергать конского волоса на леску. Потом сбегать в кузницу выпросить у Карпа Данилыча тонкую стальную проволочку и напаять на нее приобретенный у Валерки закаленный до синевы тройной крючок.

С Карпом Данилычем у Володьки были примерно такие же отношения, как и с Андроном, и кузнец сразу узнал всё, что самому Володьке было известно про учителя. И про велосипед, и про скрипку, про ружье, которого Володька не видел, и про то, что Николай Иванович по утрам моется без рубашки, а за дверью у него висит шинель.

— Сдается мне, и револьверт имеет, — с затаенным вздохом говорил Володька. — А на завтрак — картошка, даже масла коровьего нету.

Кузнец помолчал, думая о чем-то своем.

— С Романом Васильевичем на Длинный пай ушли, — добавил Володька. — Может, недели перекроить удумают. И Артюха Козел под ногами у них вертится.

— И Козел? Ему-то там чего надо?

Карп Данилович терпеть не мог Артюху, это Володька знал: виноват в чем-то перед кузнецом секретарь сельсовета, да Володьке об этом толком ничего не известно. Еще помолчали оба.

— Учителю надо лучше да поскорее узнать, что за люди в деревне живут, вот он и ходит с председателем, — проговорил наконец Карп Данилович. — Школа — само собой, а жить-то ему с народом.

— А к матери вчор старостиha заходила, — высказал Володька последнее, сматывая на рогульку крученую леску, — говорит, что учитель безбожник и большевик и что все они нехристи и на каждом печать антихристова. А Валерка такой же, как я. Купались на озере — никакой печати не видел.

— Брехня всё это, — отмахнулся кузнец. — А что сам — коммунист, это неплохо.

От кузнеца Володька снова в школу пошел. Дочь Николая Ивановича встретила его в коридоре.

— Валерий наказан, — сухо проговорила девушка, не уступая дороги, — ему и сегодня запрещено выходить на улицу.

— Кто запретил?

— Папа.

— Так его и дома-то нету! — искренне удивился Володька. — Пока с Длинных паев вернется, мы десять раз искупаемся!

— Вы, молодой человек, весьма смутно представляете себе, что такое дисциплина, — тем же тоном начала было Верочка, но не выдержала и добавила, уже улыбаясь: — Вы, наверное, на головах ходили при прежней учительнице?

— На головах-то не пробовали, — серьезно ответил Володька, — а так — баловались...

— И на второй год оставались?

— Да я-то еще ничего, а вот у нас Игонька есть на Верхней улице, так того в каждом классе по три года держат. Бестолочь несусветная! А вы отпустили бы всё-таки Валерку? До озера-то рукой подать...

Время шло, дружба с Валеркой крепла. И на рыбалку, и в ночное отпуская учитель сына с деревенскими ребятами. Не раз бывали они и в лесу — у Провальных ям и у Черных камней. Места эти страшные: у Провальных ям — зыбун по болоту, только по жердям и подойти можно к берегу. Вода в ямах темная, и запах от нее тяжелый. А у Черных камней беяки наших расстреливали. Про это Володьке Андрон говорил. И кузнец Карп Данилыч.

Бегали и на чувашское молитвенное место, а туда без малого верст восемь по тропам лесным добираться надо. Тут совсем не страшно, даже смешно: висят на березах деревянные идолы, а другие под ногами валяются. Богов много. Карп говорил Володьке, что одни заведуют урожаем, другие скот охраняют, третьи от пожара берегут. Которые поновей, тем и молятся, опоясывают их полотенцами, мажут салом. У ног идолов стоят деревянные и глиняные чашки, — мед и масло сюда приносят. А если какой-нибудь бог провинится — дубиной его, только щепки в стороны разлетаются.

Были и в старом, заброшенном помещичьем доме у Большой Горы. Каменный он, двухэтажный, со множеством комнат. А по бокам две высоченные башни. И до самого верху чугунные витые лестницы. Тут очень страшно, темно. Совы живут и летучие мыши. Показал Володька новому своему дружку и овраг за Ермиловым хутором. На дне его две огромные ямы, с человеческими костями. Ямы размыты водой, края у них обвалились, заросли репейником и крапивой, а внизу кости белые.

— Татары закопаны были, — пояснял Володька приятелю. — Банда. В деревне красные окружили их ночью — и с пулемета. Ни один не ушел, потом мимо нашего дома на дровнях возили — где рука, где нога.

У Валерки стучали зубы, а Володька еще добавлял:

— Доведись сейчас — сам бы стрелял или бы с топором караулил которого в переулке; а в те поры что — мал был.

— За что же? — одними губами спрашивал Валерка. — Тебе-то что они сделали?

Володька медленно поворачивал голову, не мигая смотрел в упор на Валерку темными, остановившимися глазами:

— Батьку моего на крыльце шашками зарубили!..

Володька замолкал, сутулился, становился похожим на взъерошенного ястребенка, который еще не умеет летать, но глаз у него уже с желтым отливом — злой. Однако через пять-десять минут приятели плескались в озере, кувыркались на мелководье, и Володька снова становился прежним.

Минула еще неделя, и Валеркин соблазнительный ножик с тремя лезвиями, с шилом и с буравчиком,

окончательно прижился в кармане Володьки, а свисток почему-то оказался у Федьки. Пожалуй, тут виноват больше всего сам Валерка, — не было у него настоящего понятия: день туда, день сюда, то с Володькой играет, то с Федькой. Не нравилось это Володьке, да ничего не поделаешь: городские-то все они без понятия.

Правда, одно время Валерка вроде бы и зарекался на Озерную бегать, — это после того, как они с Федькой погнули педаль у отцовского велосипеда, а тут сам Володька сплеховал — провинился перед Николаем Ивановичем. А причиной всему поп: пришел к учителю с жалобой.

Конечно, если бы во всем разобраться с толком, то и тут особой вины за Володькой не было. Просто собрались они в своем шалаше на конопляном поле, а до этого под дождь проливной попали, ну и сидели в чем мать родила, а рубашки сохли на крыше. И вот тебе — свадьба. Подкатило к церковной ограде враз несколько троек в лентах и с колокольцами. Разве тут усидишь?! Пока прибежали в церковь, а там уж руки не просунуть.

Штопором ввинтился Володька в самую середину и оказался правее жениха, а Валерка возле невесты.

Всё хорошо было, пока поп к новобрачным не обернулся кольца менять. В медлительной торжественности, громоподобно, провозгласил отец Никодим многолетие, и вдруг лицо его побагровело. Топнул ногой на ребятишек:

— Брысь! П-шли вон отсюда!!

Тут только заметил Володька, что дружок-то его впопыхах безрукавку синенькую успел набросить, а дальше всё голое. Так и стоит!

После грозного окрика Никодима половина народу вон из церкви шарахнулась, а вечером, притаясь за окошком школы, Володька своими ушами слышал, как отец Никодим выговаривал Николаю Ивановичу:

— Чувства верующих оскорблять никому не позволительно. Я не требую, чтобы вы наказали сына, и не хочу, но внушение необходимо. Влияние улицы, не в обиду будь сказано.

«Видишь ты, «влияние улицы», — про себя повторил Володька, — а на улице нашей кто голова?»

Вот ведь как оно обернулось: Валерка штанов не успел натянуть, а виноват другой!

Не стал дожидаться Володька, что ответит учитель попу. Больше того: не хотелось слышать, как будут драть приятеля. Сполз потихоньку с завалинки и побрел восвояси.

В это время отец Никодим в дверях показался. Поманил толстым пальцем Володьку и зачем-то повел к своему дому.

Что будет с ним, Володька не знал, но и не повиноваться не мог, только посматривал снизу вверх на мрачно шагающего Никодима, как беззащитный кролик на матерого гривастого льва.

— Вот что, отрок, — проговорил наконец батюшка, когда миновали середину площади, — сожалею о влачении дней твоих бесполезном. Матери, верно, не помогаешь. Какой тебе год-то? Тринадцатый?! Ну, видишь: пора бы и к делу тебя приучать.

* * *

Вот и осень подкралась. Воронье собирается вечерами, кружит над серым, невеселым полем, до хрипоты каркает на голых вершинах берез. Ходит Володька в школу, на учителя всё больше дивуется: не кричит, однако за партами тихо, а к доске вызовет — ничегошеньки в памяти не останется, хоть и сидел до петухов над книжкой. Николай Иванович приклонит голову набок, усмехнется чуть-чуть под очками, и вот уже всё на месте. Слова — как горох по желобу.

— Ладно уж, хватит, — другой раз остановит учитель.

Один раз книгу большую принес. С картинками. После уроков долго читал про моря и горы, про жаркие страны. Вот повидать бы всё это! А учитель многое видел. На Кавказе был и в Крыму, у Черного моря. Воевал с беляками за советскую власть. Вот с тех пор и ходит в шинели.

Как-то с Андроном разговорился Володька, — в лес за дровами по первой пороше ездили. Нарубили по возу на двор. (Хозяйство-то у Володькиной матери безлошадное, вот Андрон по-соседски и помогает.) Распрягал потом лошадь Володька, а Андрон тем временем

тут же, под навесом, к саням новые завертки на оглобли приспособлявал. Спросил между делом:

— Ну как учитель-то новый? По лбу линейкой не стучает?

Володька вздохнул:

— Другой раз лучше, если бы и ударил.

— Што так?

— Совестно.

— Себе на уме мужик, — точно отвечая на свои собственные мысли, продолжал Андрон. — С ним ухо остро держать надо. Заходит, смотрю, вечер, вроде не знает, что школьников нету в семье...

— Может, купить чего?

— Да нет, какое там. Вначале-то с того и повел: давно, дескать, собираюсь отблагодарить за внимание... Помнишь, сам еще прибегал. Ну вот, слово по слову, куда с добром как разговорились: и про урожаи, и про скотину. До земли добрались, до товарищества. Хитер, иначе...

Удивился Володька разговорчивости Андрона, — редко такое бывало. Да оно и дивиться-то, пожалуй, не было особой причины: просто сосед начинал видеть мужика в Володьке. Вот и потянуло на разговор Андрона.

Так рассуждал Володька, поднимаясь на крылечко своего дома и прихватив походя охапку дров из поленицы — подвяли бы до утра у печки, — а потом мысленно снова к Валерке вернулся.

Совсем откололся Валерка, а Федька и больше того подзадоривает, хвастает, что теперь озерные запросто с Володькой разделаются и пикнуть ему не дадут.

Не спалось Володьке: жалко совсем упустить Валерку, а чем перебить Федьку, не знает. Потому что Валерка в сторону отошел и Николая Ивановича реже видит Володька. Это уж совсем плохо: тянет Володьку к учителю что ни день, то больше, а прийти вечером — как ты придешь? Чего ради?

И решился Володька на отчаянность. На другой день в перемену отозвал в уголок Федьку и высказал своему противнику хитрый план: вызвать Валерку на единоборство. Поборет Валерка Володьку — он на Верхней улице голова, Федька не сдюжит — быть Валерке воеводой Озерным.

Федька задумался, покрутил рыжей своей головой, о тонкости замысла не вдруг догадался:

— Неладное ты удумал. Он же года на два моложе тебя.

— Екимку за себяставляю.

— Чудно́. Я поддаваться не буду.

На том и порешили, ударили по рукам.

Валерка вызов принял. В назначенный час собрались на вершине Метелихи. И при свидетелях с каждой стороны, как полагается. Метнули жребий. Выпало с Федькой бороться Валерке.

— Хочешь на бокс? — спросил Валерка и для чего-то принялся расстегивать пуговицы на своем пальтишке. Сложил его аккуратненько на пенек, выставил вперед жесткие, острые кулачки и начал как-то по-смешному прыгать вокруг неповоротливого Федьки.

Смех разобрал понятых. Федька топчется на месте, сопит, норовит ухватить Валерку и подмять его под себя, а тот — хватить его в лоб и отскочит, ткнет снизу под ребра, и в сторону.

Разъярился Федька, замахал руками, как мельница крыльями, а у самого губа вон какая раздулась. Навалился, подмял Валерку и лежачего два раза ударил.

Крик поднялся на Метелихе: все видели — подножкой сбил и лежачего ударил. Так не годится.

Долго галдели, как мужики на сходке весной. Наконец уgomонились. Решили первую схватку в расчет не принимать, бороться «безо всяких там боксов», на силу и по три раза: по-русски — в обхват, по-татарски — на перетяжку и по-цыгански — ногами.

Первый раз поборол Федька; отдышались малость, снова начали. Сели друг против друга, уперлись ногами, в руках — палка. Валерка перетянул. В третий схватились, опять Федька в снег носом зарылся. Встал, посопел, буркнул под нос:

— Ладно, твоя взяла. А только на завтра и с теми так же самое. Ежели Екимку и самого Володьку на «боксы» собьешь, так и быть — принимай до лета Озерную.

— Это почему же до лета? — возмутилась Володькина сторона. — Уговор насовсем!

— По весне другое придумаем, — уклончиво ответил Федька.

На том и закончился первый круг. Когда съезжали с горы, заметил Володька, что кто-то большой и широкоплечий махнул на лыжах в березник.

Через день на Метелихе собралось в три раза больше народу. Федька привел даже тех, кто не знал о первоначальном сговоре, — всем хотелось увидеть, как городской парень каким-то неизвестным «боксом» отучит Володькиных дружков задаваться.

Сам Володька поднялся на гору, когда все уже были в сборе. По пути он обошел восточные скаты Метелихи и отчетливо увидел на снегу след вчерашнего человека, которого не удалось тогда рассмотреть. Лыжи у него были узкие, не такие, как у деревенских ребят, и с желобком посередине. В школе, в самом углу коридора, видел Володька эти самые лыжи. Две пары — поменьше и побольше. На одних катался Валерка.

«Понятно, — про себя решил Володька, — Валерка испугался, что его побьют, рассказал обо всем отцу. Вот Николай Иванович и подглядывал... Ладно, если ты так... Ладно».

На горе Володька осмотрелся: народ кругом свой, а Валерка опять пальтишко на пенек отложил. Ждет на морозе, в кулак дует.

— Ну, давай, показывай твою «боксу», — стараясь не смотреть на Валерку и подговоренного заранее Екимку, проговорил Володька, — только уговор такой: ты его «боксой», а он тебя шпандырем! Бей в мою голову! Осилишь моего меньшого брата, тогда уж, как Федька того требовал, со мной денька через два.

Валерка глянул на худенького Екимку, насмешливо повел плечиком, хмыкнул, хотя о шпандыре слышал впервые. Володькина сторона захихикала, а Федькина насторожилась.

— А что это такое — шпандырь? — не утерпел Валерка. — Быть может, это — пика?

— Смотри!

Екимка приподнял подол рубашки, и Валерка увидел, что штаны у него перетянуты в поясе крученым сыромятным ремнем. Это и был неведомый Валерке шпандырь — жгут из прочной сыромятины, которым

пользуются сапожники, чтобы вытащить колодку из сапога.

— Ладно, пусть шпандырь, только ты запрещенные удары знаешь? — заносчиво спросил Валерка. — В «солнечное сплетение», например?

«Солнечное сплетение» для судей было понятием туманным, но Володька не подал и виду.

— Нешто мы без понятия! — ответил он презрительно и даже сплюнул в сторону, точь-в-точь, как это делал отец Екимки, когда ему приносили новый заказ. — Давай начинай...

Повторилось вчерашнее, с тою лишь разницей, что теперь оборонялся Екимка, а прыгал вокруг него Валерка. Но Екимка успел кое-что перенять за вчерашний день, присмотрелся. Он не размахивал руками без толку, как Федька, локти держал прижатыми, сутулился, как заправский боксер, и раз или два пребольно стукнул Валерку по шее.

Ловким тройным ударом — в лоб, в грудь и в бок — Валерка свалил противника. Федька и его компания подняли дикий вой. Но и сам Валерка не удержал равновесия — упал на руки.

И тут произошло неожиданное: степным коршуном налетел на Валерку Екимка. Никто, кроме Володьки, не заметил, когда он успел распоясать ремень. Видели только, как черной змеей взвился шпандырь. Нечеловеческим голосом взвыл Валерка. Голова у него оказалась зажатой между ног Екимки, а шпандырь гулял по спине и тому самому месту, которое, по мнению большинства собравшихся, никак не относилось к понятию «солнечное сплетение».

— Раунд!

Это слово слышалось со стороны, и Володька, вскинув голову, прямо над собой увидел широкое бородатое лицо учителя с крупным приплюснутым носом, глаза — серые, немного насмешливые и совсем не сердитые, и брови — густые, сросшиеся у переносья.

— Не хватит ли на сегодня? — спросил Николай Иванович.

На поляне воцарилась гробовая тишина. Федькина партия и приятели Володьки так и остались с разинутыми ртами.

— Ну что, прописали тебе «ижицу»? — спросил

Николай Иванович у Валерки, когда первое оцепенение прошло. — Правильно! Я всё видел и всё слышал. Ты тут с «солнечным сплетением» распинаясь, а того не знаешь, что боксер, который вышел на бой без перчаток, уже не боксер! За это ты и наказан.

Николай Иванович медленно осмотрел раздавшийся круг.

— Что у вас тут происходит? Главаря, атамана избираете? — обратился он строго ко всем сразу, а посмотрел почему-то прямо в глаза Володьки. Усмехнулся в бородку. — Отложим этот вопрос на некоторое время. Что-нибудь поумнее придумаем. Вот тогда и я с вами потягаюсь. Ладно? А сейчас — марш по домам! Завтра за всю неделю спрошу...

* * *

Слово свое Николай Иванович сдержал: спросил всех, кого застал вечером на Метелихе. Спросил и по арифметике, и по русскому. Володька долго потел у доски, писал разные мудреные слова, в которых — хоть убей — не придумаешь, надо ставить мягкий знак или не надо, а одно попало такое, что в один дух и не выговорить, — «электрификация».

Всё правильно вышло у Володьки, и Николай Иванович похвалил даже, а в журнал только «уд.» поставил: больно уж худо писал парень. Буквы у него получались все разные. Они то валялись на сторону, то прыгали вверх, — каждая имела свои закорючки и выделяла в строке что ей вздумается. Зато на другом уроке Володька удивил Николая Ивановича. Решали задачу с дробями: у одного крестьянина урожай с поля шестьдесят пудов, а у другого — две трети. Спрашивается, по сколько пудов получится на душу, если у каждого по пять человек семьи?

Володька сам поднял руку, чего с ним никогда не бывало.

— Как и у нас в деревне, — ответил он. — У одного надел на Длинном паю, там завсегда сам-семь уродится, а у другого — на Кочках, там и посеянного-то не соберешь. Вон у Екимки спросите — никогда своего хлеба до рождества не хватает! А у Ивана Кондратьича на двоих пшеницы по возу! И тут оно так же: одно-

му по двенадцать пудов на едока, другому по восемь. Сложить вместе да и поделить бы поровну; по десять-то пудов на рыло... на едока, Николай Иванович, как раз до нови хватит!

— А ты сам согласился бы... чтобы вот так, сложить вместе, а потом всем поровну? — спросил, помолчав, Николай Иванович. Он, кажется, и не заметил минутного замешательства Володьки: по лицу учителя было видно, что задача эта и для него самого — Николая Ивановича — не так-то уж и проста: сложить да разделить на всех поровну.

— Это чтобы от Ивана Кондратьича да отцу Екимкиному добавить?! И думать не стал бы!! — с жаром ответил Володька.

Долго молчал учитель. Сидел за столом, склонив набок большую голову, смотрел на Володьку. Потом поднялся, расправил широкие плечи, подошел к парте, где стоял Володька, и положил свою сильную руку на плечо паренька.

— Будет. И это будет, Володя, — сказал учитель почему-то очень тихо.

А Володька только глазами захлопал.

На другой день воскресенье пришлось. Обещал Николай Иванович диковинку показать ребятам. Прислали ему из города посылку — ящик, в картонную коробку упакованный. Все собрались.

— Надо бы пару жердей подлиннее, — попросил Николай Иванович.

Часу не прошло, у крылечка не две, а штук восемь жердин оказалось, потом и совсем непонятное началось. Достал Николай Иванович из угла мятый самовар. Старый и без крышки. Отмотал с катушки на локоть медной проволоки и сказал Володьке, чтобы тот сбегал в кузницу. Припаять нужно проволоку к этому самовару. А зачем — не сказал, да Володька и не спрашивал. Помчался по улице.

Кузнец, Карп Данилович, диву дался: это чтобы учитель да из такого самовара чай пил! Долго не мог понять, для чего понадобилось к самовару припаять проволоку. Володька и сам не знал, но пояснил всё же:

— А это, дядя Карп, не иначе, чтобы за проволоку к столу его подтягивать! Сидишь себе за столом, тут тебе всякие пряники и баранки. Вставать-то не больно

охота. Вот и тяни его за веревочку! В городе-то, поди, у каждого так.

Кузнец глянул на парнишку прищуренным глазом, усмехнулся, полохматил бороду и принялся разогревать паяльник. Припаял старательно, даже шкуркой зачистил. Засиял самовар одним боком, как зеркало.

Побежал Володька обратно. Смотрит — школьный сторож выкопал под окном учителя глубокую яму, а Николай Иванович на крыше сидит и жердь укрепляет. Другая — на березе, у церкви (и у батюшки не спросились!), а между жердями — проволока натянута и один конец в окошко продет. Дырка в раме провернута, в нее трубочка белая вставлена, загнутая книзу, а потом уж и проволока. Интересно показалось всё это Володьке, а зачем — опять не стал спрашивать: само всё узнается. Николай Иваныч расскажет.

Самовар закопали в яму. Валерка ящик из другой комнаты приволок. Принялся распаковывать. И никого близко не подпускает, важный такой. А Верочка тут же, возле стола стоит. Высокая, красивая, коса у нее до пояса и глаза большие-большие, темные. Посмотрит так, улыбнется, а Володьку оторопь берет.

Давно не был Володька в квартире учителя, с тех пор как поп под окошком его заметил. Вот и полки, сплошь книгами забитые, появились. На ковре, над кроватью, ружье двуствольное. Так и горит. Вот из такого хоть раз бы пальнуть! Не то что берданка у старосты. А над другой кроватью, где Валеркино место, еще одно ружье. Это поменьше, но тоже переломка. Значит, в тот раз не наврал Валерка.

Володька понимал в ружьях. Сколько раз константиновских охотников в лодке перевозил. Хоть бы в руках подержать такое! Хорошо Валерке: и коньки у него настоящие, и лыжи легкие-прелегкие, лаком покрытые. И всамделишное ружье!..

Тоскливо Володьке сделалось. Купить бы ружье, хоть плохонькое. Куда там! А жить-то на что?! Оно, поди, рублей десять стоит. Где уж тут, когда мать по полтиннику в неделю зарабатывает: сарафаны шьет девкам, мужикам пиджаки. Где уж тут...

Валерка тем временем распаковал ящик, вынул из него шкатулочку красного дерева. Тут и Николай Иванович подошел. Отстранил Валерку, а сам на часы всё

посматривает. Шкатулку поставил на столик в угол, а на стенку черную тарелку повесил, вроде широкой воронки, на рогульке, прикрутил проволоочки — те, что из окна были продеты, надел наушники, а лицо у Николая Ивановича строгим сделалось. Покрутил еще одну кругляшку, какой-то штуковиной щелкнул. В тарелке забулькало, зашипело. И вот — нá тебе — настоящим человеческим голосом заговорило: «Говорит Москва! Говорит Москва!!»

Ребята дышать перестали, а Николай Иванович улыбается. И Валерка смеется, в ладоши хлопает.

— Как же это такое, Николай Иванович? — пере-
сидел себя Володька. — Если граммофон, как у мель-
ника, почему трубы нету? И для чего самовар в зем-
лю? Кузнец говорил — продать бы его еще можно.

— Радио это, — пояснил Валерка. — Оно в Москве
говорит, вот и на нашу проволочку поймалось.

Голос Москвы заглушил объяснение Валерки. Из
шкатулки хлынула музыка. Гармонь с переборами,
куда там Мишке Кукушке — гармонисту с Верхней
улицы. А потом — песня. И какая же это была песня!

Душевная песня, ладная, никогда такой не слыхи-
вал Володька. Смотрит он широко раскрытыми глаза-
ми то на шкатулку, то на учителя Николая Ивановича
и нет у него слов, чтобы высказать свои мысли. А мыс-
ли отчаянные у Володьки появились: захотелось само-
му вот так же, своими руками всё сделать. И чтобы
музыка. И ружье над кроватью. И чтобы Володька сам
был учителем.

И опять своя изба перед глазами. Мать склонилась
над лампой, вдевает в игольное ушко суровую нитку.

Опустил Володька лохматую свою голову, набычил-
ся. Помаленьку двинул плечом, к двери подался. Тихо-
тихо прикрыл ее за собой. На лыжи да на Метелиху.
А только кататься не стал. Долго сидел на изъеденном
ветрами диком камне. Думал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Дорогой Игорек! Мой далекий и близкий...»

К этой записи в своем дневнике Верочка возвраща-
лась несколько раз, но от этого ничего не менялось.

А всё потому, что в голове у нее было много мыслей, и они, какие-то непокладистые, переплелись тугим узлом, без конца и начала.

В то лето, когда семья Николая Ивановича переехала в Каменный Брод, Верочке исполнилось восемнадцать лет. В городе, где до этого работал отец, остались у нее друзья — комсомольцы. И, конечно, Игорю важней, чем кому-либо другому, знать, как живет и о чем думает Верочка.

Перед отъездом Верочка была уверена, что вот придет она в деревню, а около школы — клуб. Вечерами там молодежь собирается. И она сразу же организует комсомольскую ячейку, будет разучивать новые пьесы, выпускать стенную газету. Но вот уже и третий месяц проходит, как поселились они с отцом и братишкой в двух маленьких смежных комнатках, отделенных от классов небольшим коридором, а Верочке не удалось ни комсомольскую ячейку организовать, ни вечера самодеятельности провести.

Верочке многое было непонятно в деревне, — не такой она ее себе представляла. Вот, говорят, «кулак», — а как его отличить? Думалось, что ходит он в смазных сапогах и в жилетке, как на плакатах рисуют. Борода окладистая, нос обязательно с бородавкой, а руки огромные, волосатые и с крючковатыми пальцами. Точно таким же должен был выглядеть лавочник, только голосок у него елейный. А поп только и знал бы проповеди читать о скором конце света, потому что у власти — большевики.

На недоуменные вопросы Верочки отец отвечал одинаково:

— А ты присмотрись получше, прислушайся, кто о чем говорит. И не только о чем говорит, но и как.

Отцу своему Верочка пыталась во всем подражать, во всем доверяла, даже первые странички дневника вслух ему прочитала. И отец ничего не скрывал от дочери, а перед отъездом из Бельска рассказал и про то, о чем Верочка никогда не осмелилась бы спросить.

Вот и сейчас, перевернув страницу дневника, Верочка вспомнила мать. И задумалась.

Перед ее глазами отчетливо встало детство, городская квартира на Коннобазарной.

Четыре года было девчонке, когда забрали отца в солдаты. Учитель гимназии уехал на фронт воевать с немцами. На пристани мама плакала, говорила, что сам виноват. Другие и помоложе и без семьи, а остаются: эти умеют жить. Надо было повежливее разговаривать с инспектором и не бегать по вечерам в рабочий клуб, пора бы уж, кажется, и за ум взяться. Что у тебя с ними общего?

Почему-то запомнились именно эти слова: про инспектора и про ум. «Помоложе», из тех, что «умеют жить», — это лесной инженер Вахромеев и еще дядя Толя, тоже учитель — сосед по квартире. В тот раз он также пришел на пристань и долго махал шляпой, когда пароход разворачивался на середине реки, а папы уже не было видно. Потом дядя Толя нанял извозчика, усадил маму в пролетку, а Верочке купил большую грушу.

Письма с фронта приходили не часто, а потом и совсем их не стало. Дядя Толя говорил, что папа, наверное, в плену, и кому-то грозил кулаком: «Продали Россию!»

Прошло три года. За это время Верочка забыла отца. Когда пошла в школу, на улицах висели большие красные флаги. И дядя Толя ходил с огромным бантом на отвороте темного пиджака; инженер на улице не показывался. А потом на два дня появился в доме чужой бородатый дядя в рваной и грязной шинели. От него пахло лошадью и дымом.

Чужой человек схватил Верочку, запрятал ее на груди, под шинель. Вырвалась Верочка, отбежала в угол, а человек принялся оглушительно хохотать. Мама опять плакала, но теперь ничего не говорила ни об инспекторе, ни о том, что надо взяться за ум. На второй день Верочка с трудом заставила себя побороть страх и подойти поближе к отцу. Он сидел за столом, пил чай, крепкий-прекрепкий и без сахара, хотя перед ним на блюде лежали два маленьких кусочка.

Бородатый дядя поставил на стол недопитый стакан, посадил Верочку на колени, а потом подбросил к самому потолку и долго носил по комнате.

В открытую форточку Верочка видела перекресток улиц. Там было много народу. Шли по четыре в ряд, с ружьями, с флагом и пели:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов,
И, как один, умрем
В борьбе за это...

Верочка слушала песню, стараясь понять, зачем это нужно умирать всем сразу, с испугом смотрела на улицу. А там всё шли и шли люди с винтовками. Шли и пели. Подпевал и отец. Он твердым неторопливым шагом ходил по комнате и пел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

Весь этот день Верочка не слезала с коленей отца. И совсем он не был чужим. Он хороший, большой и очень сильный, а шея у него крепкая, загорела до половины, потом сразу белая. Усы почему-то коричневые, а на висках пробивается седина. Бабушка говорила — это оттого, что на фронте страшно.

Вечером папа рассказывал смешную сказку про зайцев и глупого медвежонка, а Верочка смеялась, как маленькая, позабыв, что она уже школьница. Сказала папе, что это неправда: медвежонок не может разговаривать и зайцы не придут к медведю в берлогу, чтобы жаловаться на лису.

— Пожалуй, оно и верно, — согласился отец, — только я ведь думал, что ты еще «суслик». Эту сказку я рассказывал тебе, когда ты была вот такая. — И папа показал рукой пониже стола. — Ну, а раз теперь ты уж выросла, то зарывайся носом в подушку и спи.

Всю ночь Верочке снились зайцы. Они катались с горы на лыжах, кувыркались в снегу. А внизу, под горой, сидел глупый медвежонок — толстый и косолапый. Сидел и горько плакал оттого, что ему никак не угнаться за зайцами и что зайцы над ним смеются. А потом прибежал еще один заяц, самый маленький. Сказал, что был в городе, разносил детям конфеты.

Проснувшись Верочка раньше обычного, но папы уже не было дома. Мама сидела на своей кровати и куталась в темную бабушкину шаль.

Верочка помнила, что, когда она была совсем-совсем маленькой и когда папа называл ее «сусликом», она каждое утро находила у себя под подушкой яблоко или конфету, а папа всегда говорил, что зайчонок при-

нес: забрался ночью через окно и сунул под подушку девчонке.

В тот раз Верочка знала, конечно, что этого быть не могло, но всё же пошарила рукой под подушкой, и пальцы ее нащупали что-то завернутое в бумажку. Это оказались те самые два кусочка сахара, которые лежали вчера в блюде на столе перед папой.

Зажала Верочка сахар в ладошке, неслышно подкралась к матери и показала находку. Только мама не удивилась, как раньше, не спросила: кто же это принес? Она всё так же куталась в шаль.

Верочка молча забралась в свой уголок, завернула оба кусочка в самую лучшую тряпочку и спрятала в потайное место.

«Придет папа, я сама ему расскажу про зайчат, а ночью положу под подушку подарок», — решила она тогда.

Снова ожидали писем, и опять приходили они редко. Отец воевал где-то под Петроградом. Потом был ранен и снова воевал, теперь уж на Украине. У Верочки появился братишка. Так прошло еще больше года. И всё это время хранила Верочка заветный подарок.

Раз не стерпела, откусила от того, что поменьше, половинку, — это когда с Валеркой одна осталась, а мама не возвращалась долго из очереди. Разревелся братишка (года ему еще не было), вот и дала ему Верочка кусочек сахара. Замолчал, таращил потом глазенки.

Наконец, поздней ночью, кто-то постучал в окошко — отец. Вошел он в комнату и почему-то прислонился плечом к стенке. Обвила его тогда Верочка руками, на шее повисла, а Валерка, — тот так ничего и не понял, — не своим голосом заревел, когда над ним бородатое лицо склонилось. Папа сказал, что приехал он «подлататься». Оказывается, его снова «зацепила» пуля, в левую ногу.

Как придумала Верочка, так и сделала. Выбрала время, забралась на колени к отцу, свернулась калачиком, рассказала ту самую сказку про зайчат и медвежонка и добавила, что ночью сама слышала — царапался в окошко зайчонок, да окно-то закрыто было.

— Не нужно сегодня окно закрывать, папа. Ладно? Зайчонок прибежать должен! Маленький такой, беленький, а глазки у него красненькие...

Наутро проснулась Верочка и притаилась под одеялом. Мама уходит собиралась: очередь с вечера занята, а привезут ли хлеб, неизвестно.

— Заварили вы кашу! — слышала Верочка недовольный голос матери. — Дети вон что такое леденец не знают!

— Устроится, Юлия, всё устроится, — глуховато покашливая, успокаивал ее папа: он всегда называл ее так.

— На каждом столбе плакаты об этом кричат, а толку?! Дождались, называется: коробок спичек полторы тысячи стоит! А в чем ходим?.. На люди совестно показаться!

— Чудачка... Нельзя же всё сразу требовать. Советская власть не везде еще укрепилась. Неужели не видишь, что делается вокруг? — тем же тоном говорил отец. — Не успели отбить Юденича — на юге неладно, да и здесь, на Урале, незавидно. Вот Колчака одолеем, отдышимся — и начнем богатеть помаленьку.

— Для себя я ничего не хочу, — горько усмехнулась мать, — меня вполне устраивает газетная статья «О международном и внутреннем положении». Но ведь дети твои этой статьей сыты не будут! Я хочу, чтобы у них было детство и чтобы они людьми выросли!

— Вырастут!..

Хлопнула мать дверью. Выглянула Верочка из-под одеяла, скользнула на холодный пол босыми ногами. Отец сидел в соседней комнате, раскуривая папиросу, и хмурился. Такой большой, добрый. Обидела его мама.

— Папа, ты ничего не слышал? Зайчонок не прибежал? — спросила Верочка, заглядывая снизу в хмурое лицо отца.

— Нет, дочка, — медленно проговорил он, — не прибежал зайчонок. Я и окно открытым на всю ночь оставил, и свет погасил пораньше, а он не показывался. Волков боится, наверное. Много их развелось. А в городе псы бездомные по дворам шатаются. Страшно зайчонку, он ведь совсем еще маленький.

— А вот и неправда! Он прибежал! Посмотри, посмотри, что у тебя под подушкой!

Папа откинул подушку, бережно развернул цветастую тряпочку.

— Верочка... доченька моя, — только и смог он сказать. — Это ты для меня хранила?!

Мама вернулась напуганная: на переправе кого-то убили. Говорят, что переодетого колчаковского офицера, — тяжело дыша и наливая себе воды из-под крана, рассказывала она. И еще говорят, что со дня на день они будут здесь.

— Понимаешь, ходил на рынке возле крестьянских возов человек. С костылем, в лаптях и в татарском малахае. Уговаривал мужиков ничего не продавать на «керенки». Его превосходительство адмирал Колчак за хлеб и за сено золотом будет платить!

Отец перебирал свои бумаги в столе. Не поворачиваясь, спросил:

— Ты сама это слышала?

— Про золото?!

— Нет, про то, как тот человек говорил: «Его превосходительство»?

— Анатолий Сергеевич всё это слышал. И видел. И как гнались за ним по берегу, как он отстреливался. Он и сейчас там лежит, у самой воды.

— Анатолий Сергеевич?!

— Да нет же, тот — колчаковец!

— Жаль...

Мама снова хлопнула дверью, а вечером к папе пришли незнакомые люди с винтовками. Долго сидели в темноте, разговаривая вполголоса. Сквозь сон уже Верочка слышала, как, прощаясь с отцом, один из них сказал непонятное:

— Труба зовет, Николай Иванович. Жалко вот, тебя с нами не будет: тебе ведь нельзя отрываться от доктора. Давай поправляйся.

* * *

В городе наступили тревожные дни. По улицам в разные стороны скакали верховые, магазины закрылись, а из ворот завода выезжали тяжело груженные подводы. Папа с утра уходил куда-то, возвращался поздно.

Верочка точно не помнит, сколько прошло времени — неделя, может быть меньше, — после того, что

случилось на переправе. Знает одно: день был жарким. Папа стоял у настёжь открытого окна и к чему-то прислушивался. Далеко-далеко ухало что-то, сначала редко и глухо, потом слышнее. На гром это не походило.

— Труба зовет, — сказал папа, а потом вынес из комнаты связку книг, взял лопату и ушел в огород.

Мамы не было дома, — она уезжала к родственникам, и в этот день ее не ждали. Но она приехала перед вечером. С порога крикнула папе:

— Ты еще дома? Уходи, прячься сейчас же! Неужели не слышишь, ведь это у самого города!

— Давно слышу, — не сразу и тихо ответил отец и показал глазами на Валерку, который спал на диване. — Как же я мог уйти? — Он по-прежнему стоял у окна, потом медленно повернулся и, так же не торопясь, стал одеваться. Поцеловал всех, у двери остановился, сунул в карман шинели револьвер:

— Ну, я ненадолго.

А ночью в квартиру ворвались чужие люди в папахах. Офицер в лохматой бурке и со шпорами уселся в плетеное кресло. Один за другим выдернул ящики письменного стола. На пол в беспорядке посыпались письма и фотографии.

— Ну-с, госпожа К-гутикова, где же ваш дгажайший супгуг? — спросил он, откидываясь на спинку кресла и похлопывая вдвое сложенной плетью по щегольскому узкому сапогу.

— Вам известна моя фамилия? — улыбаясь и незнакомым Верочке голосом проговорила мать. — Любопытно!

Офицер картавил, проглатывал буквы «р» и «л», рисовался этим.

— Вам это льстит? — У офицера дрогнули тонкие губы. — Представьте себе, фамилия ваша чем-то напоминает весь этот миговой кавагдак — «созвучна с эпохой», но я не завидую вам. Итак, ближе к делу: где?

— Я, право, не знаю, — всё тем же тоном ответила мама. — Возможно, к соседям вышел. Я передам, что нужно.

— Не ст-гойте, уважаемая, ду-гочку из себя!

— Папа сказал, что его труба зовет и что он ненадолго, — прижимаясь к матери, ответила за нее Верочка.

— Восхитительный ребенок! — обратился к ней офицер. — Вот что значит интеллигентное воспитание. А кого же ты больше любишь, девочка? Маму, конечно?

Верочка промолчала, а колчаковец всё улыбался и всё так же игриво похлопывал плетью по сапогу.

— Такую к-гасивую, эгегантную маму нельзя не любить, — тянул он и вновь уставился, не мигая, на мать, дернулся, точно его кольнули. — Скажешь, в конце-то концов?! — перестал заикаться.

— Ушел. Услышал стрельбу и ушел, — уже без улыбки говорила мама. — Поставьте себя на его место.

— Не ушел, а сбежал. На одной ноге не ускочет далеко.

— Вы даже и это знаете?

Офицер изо всей силы хлестнул по столу плетью и выругался.

— Взять!

...Верочка вздрогнула. Перед ее глазами отчетливо встала картина той ночи. Мокрые стены подвала в комендатуре, в углу возятся крысы. Два дня без еды. И вдруг — спасение. Выручил Анатолий Сергеевич. Оказывается, все эти дни он добивался приема у начальника гарнизона, под письменным поручительством собрал подписи всех учителей гимназии. Во всяком случае, так он объяснял матери уже в приемной у коменданта.

— Ради вас одной рискую своим положением, — шепнул он на ухо матери.

Картавый офицер сидел тут же и изредка перекидывался с Анатолием Сергеевичем короткими фразами. Говорили они не по-русски, и Верочка ничего не понимала, а мама время от времени краснела. Потом вошел еще один офицер — маленький и кривоногий, с пистолетом. Лицо у него было сухое и жесткое, громадный нос свисал ястребиным клювом.

— Пройдемте со мной, — бросил он мимоходом, не глядя ни на кого, и взялся за ручку двери.

Анатолий Сергеевич сорвался со стула.

— Сидите, п-гошу вас, — остановил его собеседник, — мадам К-гутиковой с-гедует подписать чисто фо-гмальную бумажку. Мы не воюем с женщинами и детьми и,

если сгучаются недогазумения, искгенне сожагеем по этому поводу. Вот и мне п-гидется теперь давать объяснение, что я поступил невежгиво. Но я всего лишь согдат!

Из комендатуры мама шла, как слепая, и только дома, опуская на пол Валерку, сказала:

— Благодарите, дети, Анатолия Сергеевича: он рисковал собой.

Анатолий Сергеевич стал заходить вечерами. Иногда просил маму сыграть что-нибудь на фисгармонии. Потом уехал куда-то, сказал, что за ним следят: кто-то выдал, что он приветствовал революцию.

— Скорее всего, это сделали Вахромеевы, — сказал дядя Толя. — Отец — в городской управе, а сын день и ночь из офицерского ресторана не вылезает.

И еще почти год без отца прожили, но он, видимо, где-то был недалеко. Как-то зимой катала Верочка брата на санках возле своего дома. Идет старичок с трубкой. Остановился у самой калитки и принялся выбивать кресалом искру. Не разгорается у него огниво, как ни старался. Махнул рукой:

— Вот ведь напасть-то какая, а! Отсырела, проклятая.

— Хотите, я за спичками сбегаю? — предложила Верочка. — У мамы, кажется, есть...

— Пробеги, пробеги, доченька. Догадливая ты, однако! А маму-то как твою звать?

— Юлия Михайловна.

— Так, так. А это, в санках-то, кто? Братишка? Который ему годок? Два миновало? Истинно так... Понятно.

Принесла Верочка коробок со спичками, дед раскурил свою трубку. Спросил, как соседи спрашивали:

— Тоскливо небось без отца-то? Теперь уж, поди, недолго ждать.

Верочка молчала, посматривала на словоохотливого старичка, а тот присел у санок, узелок из котомки достал и сунул Валерке в колени. Подмигнул при этом и палец к губам приложил:

— Молчок! Зайчишка принес, и шабаш! Понятно?! — И еще подмигнул. — А теперь — домой. Домой, девонька! Парень-то, видишь, смерз.

Перенес дед санки вместе с Валеркой во двор и ка-

литку прикрыл за собой. Верочка не успела опомниться, а его уж и след простыл.

В школу той зимой Верочка не ходила, пришлось пропустить третий класс: в школе теперь был штаб и возле дверей стояли часовые. И подруг у нее не было.

Маму несколько раз вызывали в комендатуру. К весне в городе начались обыски. Часто по улице проводили арестованных со связанными руками. Верочка уже знала: если ведут из города в сторону татарского кладбища, то обратно солдаты вернутся одни. Мама в таких случаях силой оттаскивала ее от окна и шептала молитву. И всё чаще стала уходить по вечерам. Закроет дверь на замок и уйдет. А один раз пришла поздно-поздно, и от нее пахло вином.

Анатолий Сергеевич вернулся в город, жил по-прежнему рядом, но из дому не выходил. И у него были с обыском, только днем почему-то, а у других всегда ночью.

В середине лета снова заматались по улицам верховые, и снова откуда-то издалека стал доноситься тяжелый гул. Пушечные выстрелы, как удары в тугой бубен, перекатывались по отлогим высотам с юга. У пристани ревели пароходы, потом частая дробь пулеметов заглушила разноголосую сумятицу на перекрестке. Два или три снаряда боднули землю где-то совсем недалеко.

Мама схватила Валерку и заматалась по комнате, а Верочка так и осталась у окошка. Видела, как бежали и падали люди с винтовками. Потом возле самого дома остановилась шестерка взмыленных лошадей. Солдаты развернули тупорылую пушку, откатали ее на середину улицы. Пушка оглушительно рывкнула, подскочила, как большая зеленая лягушка.

Вместе с колючими брызгами стекол в комнату ворвался тяжелый топот конницы. Над зелеными краснотелыми буденовками взмыло кумачовое полотнище. Окунаясь в людскую кипень, упруго наполненным парусом проплыло оно к центру города. Верочка до пояса высунулась из окошка и не слыхала, как позади нее рывком распахнулась дверь.

И опять от отца пахло дымом и лошадьё. А мама твердила одно:

— Я прошу тебя, Николай! Хоть раз будь ты по

отношению к нему человеком. Ведь и арестовали-то его из-за нас, из-за твоих детей.

— Думаешь?

— И думать тут нечего. Скорее в комендатуру! Он там, если не расстреляли ночью.

— Им-то какая корысть? Волки шакала не тронут.

— По-моему, это уже становится похожим на подлость. Хорошо, я сама... Новый комендант поймет меня лучше, чем муж.

Голос у мамы дрожал. Верочка догадалась тогда, что речь шла об Анатолии Сергеевиче.

— Знаешь, папа, какие там крысы, — сказала она, — так и носятся из угла в угол. А у офицера, который маму допрашивал, всё лицо в нос стянуло. Ноги тоненькие и кривые.

Отец усмехнулся:

— Теперь-то уж, наверное, выпрямились. Ну, ладно. Готовьте тут самоварчик, схожу я, пожалуй.

И наступила в городе мирная жизнь. На улицах появились прохожие, вечерами в городском саду играла духовая музыка. На базаре открылись два или три магазина, а хлеб по-прежнему выдавали по карточкам. Потом уже Верочка узнала: Анатолий Сергеевич на самом деле был выпущен из тюрьмы красноармейцами. Говорят, что сидел он в тринадцатой камере, а из нее при колчаковцах была только одна дорога — за город, на татарское кладбище.

Папа сказал, что теперь он уже никуда не уедет, а осенью снова отправится в школу и будут ходить они с дочерью вместе. Но получилось не так, — вызвали папу в партийный комитет и сказали, что нужно завод восстанавливать. Завод большой, рельсопрокатный, а рабочих мало и машин много испорчено, других и совсем нет. Папа говорил, что и в Уфе и в Челябинске то же самое. Стране очень нужны машины и рельсы, нужно восстанавливать старые фабрики и заводы, строить новые. Говорили об этом и в школе. А мама всё упрашивала отца, чтобы бросил он этот завод.

— Все люди как люди, — не раз слышала Верочка. — Стоило для этого учиться в университете. Подумаешь, нашел специальность!

— Ничего, ничего, — примирительно отзывался отец, — наше от нас не уйдет.

Но мама не соглашалась:

— Не думай, пожалуйста, что ты самый умный! Все бывшие учителя на старых местах работают. Даже инспектор, про которого сам же ты говорил, что его-то уж и на пушечный выстрел нельзя допускать к школе. А посмотри на того же Анатолия Сергеевича — был и остается интеллигентом. Не принижается! И Вахромеев-младший... Знают цену себе.

— Довольно.

Отец выпрямился на стуле, снял очки, и мать замолчала.

Верочка теперь уже хорошо знала бывшего инспектора: он был учителем математики в старших классах в той же школе, куда бегала и она. Анатолий Сергеевич преподавал обществоведение, на переменах уходил в отдельную комнату, на высоких дверях которой была прибита дощечка «директор». Ходил он всегда в сапогах, в военном костюме, а по праздничным дням, когда проводились большие собрания, на афишах возле городского театра обязательно появлялась приписка: «Докладчик — товарищ А. С. Иващенко».

Знала она и то, что Вахромеев-младший, как и до революции, работает в лесничестве инженером. Мама говорила как-то, что такими специалистами не швыряются.

* * *

Минуло еще четыре года. Вот и Валерка в школу пошел. Нового директора прислали, а «товарищ А. С.» (ученики так звали Иващенко) остался завучем. Папа по-прежнему работал на заводе, домой приходил поздно: то собрание у него, то какой-то прорыв. Осунулся, постарел, и руки у него стали жесткие. А у мамы были длинные черные косы, и, собираясь в город, она складывала их на затылке узлом. Верочке это нравилось. Мама была красивой. Но мама редко улыбалась. В разговорах с отцом она всегда старалась сказать ему неприятное.

— Вот вы знаете свое: «восстановление», «восстановление». Надоело слушать! А скажите, пожалуйста, почему это вдруг паровозы и рельсы стали важнее масла и сахара? По-моему, нужно вначале накормить

человека... Почему вы уперлись в одно и не замечаете или не хотите видеть другой стороны жизни?

— Не хотим?.. Именно к этому всё и направлено — к тому, чтобы всё у нас было свое, — как непонятливой школьнице, объяснял отец. — Страна-то у нас вон какая! И всех надо накормить и одеть. Для этого нужны паровозы, чтобы к нам, на Урал, привезли с Украины сахар, а из Москвы кусок «чертовой кожи» на штаны Валерке.

Слушала Верочка эти слова, вдумывалась; седьмой класс к тому времени она заканчивала. И снова, в который раз, вспоминала те дни, когда мимо окон с ружьями на плечах проходили отряды красногвардейцев.

Зимой папу надолго вызвали в Уфу. И до этого еще замечала Верочка, что мама всё больше и больше задерживается вечерами на работе, что какая-то у нее улыбка рассеянная появилась. То рассердится ни с того, ни с сего, то заплачет, примется письма старые перебирать в шкатулке, те, что ленточкой голубой перевязаны. Или засобирается торопливо, уйдет, не сказав куда.

Один раз вошла, долго стояла не раздеваясь, прислонясь спиной к вешалке. Усталым движением сняла шляпку, откинула назад волосы, посмотрела на себя в зеркало:

— Валерка уже уснул?

— Давно, — одним словом ответила Верочка.

В другой раз Верочка отпросилась на концерт самодеятельности, но концерт отменили. Когда все уже были в сборе и ждали открытия занавеса, на сцену поднялся директор школы. Почему-то долго не мог начать говорить, а потом сказал:

— Встаньте, все встаньте. На нашу страну, на молодую республику Советов, обрушилось страшное горе: в Горках скончался Владимир Ильич Ленин.

Верочка вернулась домой в слезах, хотелось броситься на грудь матери. Смотрит, а на диване — «товарищ А. С.» — в новом костюме, зализанный, на столе бутылка вина, конфеты.

Глянула Верочка искоса. Не здороваясь, прошла в свою комнату. Раскрыла учебник, буквы прыгают перед глазами.

— Зачем приходил Анатолий Сергеевич? — спросила она у матери, когда Иващенко распрощался.

— Если бы ты училась получше... — начала мать, стараясь не замечать взгляда дочери. — Что у тебя по физике?

Верочка молча вернулась к своему столу и так же молча положила перед матерью раскрытую тетрадь с последней контрольной работой по физике. В середине листа было четко написано цветным карандашом «весьма удовлетворительно». И такая же четкая подпись учителя: «Гурьянов».

Верочка видела — красные пятна выступили на щеках матери. И сказала, помедлив:

— Анатолий Сергеевич — бессовестный врун! Завтра я покажу эту работу директору.

— Иди прочь, негодница! — проговорила мать.

И Верочка опустила голову, а наутро, когда Валерка похвастался полной пригоршней шоколадных конфет, она вырвала их у него и швырнула в открытую форточку.

Мать видела всё — промолчала. Подошла к посудному шкафу, дрожащими пальцами нащупала в уголке пузырек с валерьянкой. В душе Верочки наступил разлад, рушились ее представления о верности, святости чувств, обо всем, что к тому времени знала из книг. На уроки она не пошла, а вместо этого долго сидела в городском саду на поломанной скамейке под заснеженной темной елью. Написала прутиком на снегу: «Люди лживы», подчеркнула и так оставила.

Смотрела на эти слова испуганно, и ей казалось, что за каждым из них вырисовываются человеческие лица. Знакомые и незнакомые. Их много, они теснятся, кривляются.

«Зачем после этого жить?»

Верочка сжалась, у нее похолодели кончики пальцев. Казалось, что кто-то невидимый и беспощадный стоит позади нее, смотрит презрительно. Он-то и произнес эти слова.

Так, с горящими глазами, без мыслей, пришла она в школу. Там только что закончился траурный митинг, вниз по широкой отполированной лестнице медленно сходили учителя. Многие плакали. Анатолий Сергеевич, завуч, сходил последним, прижимая к глазам

платок и придерживаясь за перила. А Верочке отчетливо припомнилось вдруг, как разговаривал он с офицером в комендатуре, как улыбался вчера, и ей захотелось крикнуть ему в лицо: «Неправда! Вы не можете плакать!»

К директору она не пошла. Что бы она ему сказала? Что мама любит Анатолия Сергеевича?!

Было всего три урока. На последнем Иващенко говорил о французской революции, о том, как сражались на баррикадах коммунары и погибали, не выпуская из рук оружия. Потом стал рассказывать про революцию нашу, о том, как рабочие и крестьяне устояли в гражданской войне. И какие зверства учиняли колчаковцы в Бельске, как издевались над ни в чем неповинными женами и детьми красноармейцев и большевиков. И как сам сидел в тюрьме и ждал расстрела.

Ученики любили слушать Анатолия Сергеевича: говорил он красиво, как в книгах написано. Все поднимали руки, если он задавал вопрос; уроки всегда пролетали незаметно. И Верочка старалась отвечать получше, первая поднимала руку, а сегодня не могла дожждаться звонка. Сидела с опущенной головой, и ей казалось, что, если она посмотрит на Анатолия Сергеевича, весь класс узнает про вчерашнее.

Кто-то спросил, а за что же был арестован сам Анатолий Сергеевич. Наступила длинная пауза.

— Трудно ответить на этот вопрос коротко,— начал Иващенко. — Здесь, в городе, оставались семьи товарищей по партийной работе. Нашлись предатели. Нужно было любыми путями спасти тех, кого выдали. Пришлось ради этого побывать в волчьем логове, чтобы направить их по ложному следу. Мне никто не приказывал, но иначе я не мог поступить. Кое-кого удалось вырвать, надежно укрыть у верных людей, но в последний момент клыкастая пасть захлопнулась. Зимой мы готовили к побегу большую партию арестованных...

— Неправда! Зимой вас не было в городе!

Это крикнула Верочка. Она хотела еще добавить, что сама слышала, как Анатолий Сергеевич разговаривал в комендатуре с офицером, слышала, как шепнул он матери: «Ради вас одной», и еще, что волки шакала

не трогают, как сказал папа. Но не смогла этого сделать, расплакалась и выбежала из класса.

Возле учительской дождалась звонка, думала, что ее сразу же вызовут к директору, после того как в кабинет к нему прошел завуч. Но ее не вызвали, а потом они вышли вместе. Притаясь у лестницы, Верочка слышала их разговор, пока директор возился с ключом.

— Ребенок травмирован, вы понимаете, Виталий Федорович, — говорил ему завуч, — и возраст, возраст-то переходный. По-моему, лучше было бы вообще сделать вид, что ничего не произошло, или очень осторожно воздействовать через родителей.

И уже из полутемного коридора донеслось последнее, сказанное им же:

— Я постараюсь сам уладить... С отцом как-нибудь дотолкуемся, ведь мы с ним, знаете, старые друзья-единомышленники! Маевочки когда-то вместе устраивали...

«Всё это ложь, наглая ложь! «Единомышленник»! А кто говорил: «Продали Россию»?!» — твердила мысленно Верочка по дороге к дому, а у парка снова остановилась. Не хотелось видеть и мать: она тоже будет лгать. Это у них давно, и папа, наверно, догадывается.

По заснеженной тропке она свернула в круговую аллею, ушла в самый конец, под шатер старой ели. Кто-то побывал на том месте: возле скамейки остались следы трости и огромных подшитых валенок. Слова, написанные утром, остались незатоптанными, а над ними добавилось, дважды подчеркнутое и с восклицательным знаком: «Не все!»

Дома Верочка достала из ящика новую общую тетрадь в клеенчатом переплете (папа подарил в день рождения) и написала на обложке: «Дневник Веры Крутиковой». Подумала и еще добавила строчку: «Невысказанные мысли и рассуждения». Спать улеглась, когда настольная керосиновая лампа с зеленым абажуром стала мигать, а старинные стенные часы захрипели и, натужась, пробили полночь.

Вернулся отец. Верочка думала, что мать пожалуется ему, но этого не произошло: сказала только, что у Валерки такие тетради — страшно в руки взять и что он скверно пишет семерку. Что-то еще про дрова гово-

рила, про керосин и ни словом не обмолвилась о дерзости дочери.

«Бойтся, — решила Верочка. — Подождите, я вам не то еще сделаю!»

И сделала. На уроке обществоведения наотрез отказалась отвечать Анатолию Сергеевичу.

— Я очень огорчен, что у наших партийных работников такие заносчивые дети, — сказал тогда завуч. — Если об этом станет известно в городском комитете, твоему отцу будет большая неприятность.

— И я могу сходить в городской комитет, — не моргнув глазом, проговорила Верочка. — Это ведь совсем недалеко от бывшей комендатуры.

— Садитесь, Крутикова, — промямлил «товарищ А. С.», как будто он и не слышал дерзкого ответа, а класс так и не понял, отчего это Анатолий Сергеевич потом на протяжении всего урока путал фамилии учеников.

Всё это заносилось в дневник. Вскоре там добавилась и еще одна запись:

«„Товарищ А. С.“ переводится в другую школу. Говорят, что с будущего года там будет педагогический техникум. А что, если и я буду там же учиться? Здорова получается: никто ничего не знает, а он видеть не может меня, зеленеет от злости. Но это еще не всё».

Дома начались разговоры о переезде. Их заводила мать. Отец отмалчивался. Как-то летом он вернулся с работы раньше обычного.

— Ну что ж, Юлия, — сказал он еще издали, — кажется, твои молитвы дошли до всевышнего! Представь, вызывают сегодня к секретарю укома, и знаешь, что говорят?..

— Переводят в Уфу? — поспешила мать.

— Зачем же в Уфу? Нам и здесь неплохо живется, — широко улыбнулся отец. — Открыт набор слушателей в совпартшколу.

— И завод оказал тебе высокое доверие, выдав мандат в эту «академию»?

— У меня назначение в кармане! — не замечая ядовитого тона матери, так же весело продолжал отец. — Помнишь, зимой уезжал я в Уфу? Тогда еще мне намекнули, а сейчас всё уже решено. Так что можешь поздравить! Завтра сдаю дела на заводе, надеваю па-

радный мундир... И прежде всего заказываю табличку на дверь: «Без доклада не входить!» Иначе какой же из меня директор; верно ведь, дочь?!

Мать улыбнулась при этом как-то робко и виновато, и Верочке подумалось, что она не такая уж нехорошая и что в доме теперь всё пойдет по-другому.

...Если случалась какая-нибудь неприятность дома, отец всегда говорил: «Пройдет. Нужно проще смотреть на вещи и не давать воли воображению».

— «И это пройдет», — не раз слышала Верочка от него. — Так говорил великий восточный мудрец.

Пожалуй, оно и верно: всё наладилось. И керосин, и спички подешевели. Новые магазины открылись. На витринах в стеклянных пузатых банках — конфеты, пряники; на прилавках — и ситец, и обувь кожаная.

— Конец нэпману! — улыбался отец. — Что я вам говорил? Если уж до нас всё это докатилось, то в больших городах скоро и о хлебных карточках позабудут. Теперь за деревню пора приниматься.

Время шло. Всё устроилось в доме, и не раз уже, перечитывая первые страницы дневника, Верочка спрашивала себя: «А так ли было оно? Нет ли и здесь игры воображения?» И вдруг как-то осенью, в дождливый, слякотный день, мама не вернулась с работы. Поздно вечером Верочка собралась сбегать за ней в контору, но отец остановил ее. Он давно уже молча сидел у своего стола, не снимая мокрой шинели.

— Ужинайте с Валеркой и ложитесь спать, — сказал он тогда глухим голосом, — я сам схожу.

И никуда не пошел, даже с места не тронулся. Так и сидел до рассвета.

— Что же с мамой случилось? — спросила Верочка отца, когда выпроводила в школу Валерку. — Или и сам ты не знаешь?

— Мама вернется не скоро: она арестована, — не глядя на дочь, проговорил он. — Ей предъявлено тяжкое обвинение: связь с колчаковской охранкой. Говорю тебе это прямо, потому что ты уже не девчонка.

У Верочки было темно перед глазами. Как в тумане, виделся ей носатый колчаковец и второй, тот, что разговаривал с Анатолием Сергеевичем. И как оба они улыбались друг другу. Откуда-то издалека доносился все тот же надтреснутый голос отца:

— Вспомни, дочь, и расскажи подробнее о том, кого и что видела ты в комендатуре. Никаких бумаг мама там при тебе не подписывала?

— При мне? Нет, при мне не подписывала, — отвечала Верочка. — Но ее вызывали в соседнюю комнату. И нас сразу же после этого отпустили домой. А офицер сказал: «Это пустая формальность». Надо было написать объяснение, что с нами поступали вежливо.

— Вежливо?.. Вот за эту «вежливость» и придется всем нам теперь поплатиться.

Большой маятник часов гулко отсчитывал размеренные удары. По стеклу, как и вчера, змеились водяные дорожки от дождевых капель. Холод с улицы проникал в душу, мысли останавливались.

— Послушай, папа, — пересилила наконец себя Верочка, — послушай... Может быть, я скажу... Я не знаю, как это назвать, но я всё равно скажу. Я была маленькая, не всё понимала...

— Ты о чем это?

— Я хотела сказать, что мама не виновата. Это всё он...

Отец промолчал, не спросил, кто это «он». Значит, догадывался и раньше.

Следствие тянулось всю зиму. Отец постарел, плечи у него обострились. В партийной школе он уже не работал, — сам попросил, чтобы его уволили. А весной была партийная чистка. В городском саду собралось полгорода, и каждый мог задавать вопросы. Верочка ни на шаг не отставала весь этот день от отца; так и в сад вместе пришли и на скамейку уселись рядом. Но тут подошел милиционер, сказал, что несовершеннолетним не разрешается.

Пробираясь к выходу, Верочка видела, как за столом на открытой сцене стали усаживаться незнакомые ей люди. Один из них — без руки и с орденом. Потом возле него оказался Иващенко. Он был по-прежнему в полувоенном костюме и с желтым пузатым портфелем.

Милиционер остался у входа. В сад никого больше не пускали. Верочка обежала квартал, чтобы с противоположной стороны улицы снова пробраться в сад. Там в заборе одна доска вынималась (ребята из класса в кино без билетов лазили), но доска оказалась

прибитой. Тогда Верочка вскарабкалась на забор, прыгнула в сад и встала у задних скамеек.

Началось с того, что первыми рассказывали о себе те, кто был за столом. Товарищ с орденом говорил меньше других и ни на кого не ссылался, а Иващенко стоял у трибуны с полчаса. Зачитывал копии каких-то справок. Говорил о том, что в партию он вступил по Ленинскому призыву, но и задолго до этого, даже до революции, причислял себя к большевикам, что до конца своей жизни будет бороться.

— С кем и против кого?

По голосу Верочка узнала, что это спрашивает отец. Иващенко отложил в сторону портфель, прислушался к нестройному гулу собрания.

— На вашем месте, товарищ Крутиков, я бы не позволил себе задавать столь оскорбительного вопроса, — начал он и снова полез в портфель. — Могу повторить, почему и как оказался я в застенке у колчаковцев вместе со многими товарищами, схваченными контрразведкой. У меня документы. Ведь не моя, а ваша жена арестована. У вас должна земля гореть под ногами...

В затылок Верочке кто-то жарко дышал густым перегаром махорки. Люди вокруг притихли было, но сразу заволновались глухо и разноголосно. Недовольный гул нарастал волной, перекачивался по переполненной, забитой до отказа площадке.

Иващенко что-то доказывал товарищу с орденом, раскладывал перед ним документы. Вытягиваясь на носках, Верочка увидела, как с четвертого ряда поднялся ее отец. Одной рукой он придерживал наброшенную на плечи шинель и пробирался к сцене. Повернулся лицом к народу. Высокий, широкоплечий, с непокрытой сидящей головой; выждал, пока все утихло.

— Вопрос «с кем и против кого?» — не случайный вопрос, — начал он спокойно. — И я совершенно не понимаю, что в нем оскорбительного. Другой разговор, что на него не так-то просто ответить. Не думаю, однако, что товарищ Иващенко не готовился к нему заранее: у него охапка бумаг. Некоторые из них датированы семнадцатым и девятнадцатым годами, а нынче у нас, кажется, двадцать шестой? Видите, когда еще

он начал беспокоиться, что его со временем спросят! Ждал этого, а теперь закатывает истерику, как нервная дамочка с подмоченной репутацией.

— Правильно, Николай Иванович! Верно! — неслось по рядам...

И всё-таки Иващенко не исключили из партии, — за него заступился директор лесопильного завода Скуратов, а против фамилии «Крутиков» записали: «Отложить окончательное решение до полного выяснения следствием дела гражданки Крутиковой Юлии Михайловны...» И Антон Скуратов кричал на весь сад, что это несправедливо, что Крутикову нет места в партии.

Как смогла, всё записала Верочка в свой дневник. Больше всего старалась из слова в слово записать короткую речь однорукого орденоносца. Выступая в защиту отца, он сказал, поднимая правую руку:

— Знаю Крутикова по трем фронтам; наш человек! Голосую партийным билетом. Если я говорю неправду, пусть не будет у меня и этой руки.

На рассвете Верочка прочитала написанное, подчеркнула последние строчки и не заметила, как вошел отец: он всегда вставал рано. Стоял в проеме открытой двери, растирался мохнатым полотенцем. Без очков лицо его казалось каким-то обиженным, немного растерянным.

— Доброе утро, папа!

— Покойной ночи.

— Это почему?!

— Потому что все добрые люди знают: ночью полагается спать, а такие вот упрямые девчонки, которых нужно за уши драть, сидят над своими дневниками. Пишут всякую чепуху и воображают, что великие мысли на бумагу откладывают.

— А если я писала про своего отца?

— Всё равно.

— Посмотри. Про тебя и про маму.

— И смотреть нечего: знаю.

Прогредел отец чайником на кухне, осторожно прикрыл за собой дверь, тяжелыми шагами сошел вниз по лестнице.

Сунула Верочка дневник под подушку, а на глазах слезы: задела она отцовскую рану. Свернулась калачиком под одеялом. Полежала так некоторое время,

повернулась на спину, забросила руки под голову, темными влажными глазами смотрела прямо перед собой, улыбалась чему-то призрачному и неясному, близкому и далекому одновременно. Вытянула из-под подушки дневник, перечитала заветную страничку, свернула тетрадь в трубочку, крепко прижала к груди, к самому сердцу, да так и заснула.

Нет поры счастливее, чем та, когда человеку семнадцать лет! В эти годы приходит любовь. Затаенная, чистая, пробуждается она ясной утренней зорькой, когда росы дымятся, глянет будто невзначай в самую душу ласковой грустью и теплом. Радостно человеку, и улыбаться хочется каждому встречному. Так было и с Верочкой.

Началось это еще в седьмом классе, в Бельске. Игорь сидел на соседней парте. Вместе на лыжах бежали, помогали друг другу решать задачи.

Дружба с Игорем была хорошая, настоящая. Но потом перевели Игоря в другую школу. Вот тут-то и почувствовала Верочка, что кроме простого товарищеского отношения к Игорю появилось у нее что-то другое, более сильное, и появилось оно не вдруг, а жило в ней самой, где-то очень глубоко запрятанное, куда даже сама Верочка заглянуть не решалась.

Игорь иногда забегал к ним на Коннобазарную, но и у него кроме «здравствуйте» слов не было. Так и читали друг у друга в глазах то, о чем сказать не смели. Вечерами бродили по обрывистому берегу Белой, забирались на каменистые кручи, часами сидели молча, взявшись за руки, а луна плела вокруг хитрый узор из голубых теней, серебро на тропе рассыпала. Мечтали вслух. Верочка говорила, что будет учительницей. А Игорь хотел стать путешественником, объездить все страны и написать потом книгу.

В августе снова вызвали папу в Уфу (мать была уже осуждена: ее выслали на пять лет). Вернулся задумчивый, молча ходил по комнате, заложив руки за спину. Потом сел к столу, положил перед собою сжатые кулаки и долго сидел так, приподняв одну бровь и временами поглядывая поверх очков на дочь.

— Ты, кажется, что-то хочешь сказать, папа? — спросила Верочка.

— Не просто сказать, а посоветоваться. Видишь ли,

доченька, тебе уже восемнадцатый год, — издалека начал отец. — Мне думается, что ты и раньше что-то такое знала про нашу... Ты молодец, однако. Спасибо. Быть может, я и сам виноват перед ней в какой-то степени, может быть, повторяю... Не проявлял должного внимания, ну, ты должна уже понимать. Но я любил ее, любил по-настоящему. Люблю и сейчас. И не верю...

Николай Иванович замолчал. Молчала и Верочка.

— Вот я и хочу с тобой посоветоваться, — после длительной паузы проговорил Николай Иванович. — В городе нам оставаться нельзя, ты понимаешь, конечно. Надо где-то на новом месте восстанавливать доброе имя.

— Делай как знаешь, папа.

— А ты?

— И я поеду с тобой, — вполголоса, но очень отчетливо ответила дочь.

Николай Иванович пристально посмотрел на Верочку и снова принялся ходить по комнате.

— Знаешь, что предложили мне? — круто повернувшись к дочери, сказал Николай Иванович. — Поехать учительствовать в деревню.

— Ну, и поедem!

— Тебе, Верочка, особенно трудно будет. Ты ведь совершенно не представляешь себе, что такое деревня. А институт?... А Игорь?

— Скажи, папа, там будет семилетка?

— А почему это тебя интересует?

— Пусть Валерка окончит там семилетку, а потом уже вместе с ним и я в город уеду. Помнишь, ты сам говорил когда-то: «Наше от нас не уйдет».

Вместо ответа Николай Иванович привлек к себе Верочку, обнял ее за плечи и поцеловал в лоб.

* * *

...И вот Каменный Брод. В первое же воскресенье вышла было Верочка на улицу познакомиться с молодежью, но быстро вернулась напуганная.

Попались навстречу ей двое пьяных парней. Один — в расшитой рубахе, с гармонью через плечо. Рубаха у парня заправлена в широченные галифе, какие в

бытность свою носили командиры буденовских эскадронов. Второй — здоровенный малый с покатыми плечами и тугой короткой шеей — лениво шаркал по пыльной дороге калошами, одетыми на босую ногу. Сильным басом пел он немыслимые по сквернословию частушки. А на пригорке большая толпа девчат, и когда эти двое, покачиваясь, подошли к ним вплотную, девушки стали чинно здороваться с ними за руку!

Отец сидел на крылечке и разговаривал с примостившимся на нижней ступеньке секретарем сельсовета. Они не могли не видеть парней и тем более не слышать частушек.

— Что же это такое, папа? — задыхаясь, спросила Верочка.

— Темнота это наша извечная. Серость деревенская! — поспешил с ответом собеседник отца (звали его Артемий Иванович, в народе просто Артюхой, а чаще — Козлом). — Вот оттого и жить-то с нами не вмоготу культурному человеку. Что ни год — новый учитель, отчего бы, вы думали? — продолжал он через минуту. — Ну да ладно, придется, видать, самому с этими потолковать. Вызову завтра повесткой. Посмотрим, что они запоют у меня в сельсовете. Ничего, Николай Иванович, отучим!

Отец промолчал, а Верочка в тот же день записала в своем дневнике: «Кажется, есть одна светлая личность. Жаль, что для комсомола уже не подходит, но помогать будет, конечно».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Избушка Улиты стояла перед проулком к озеру. Срубленная в лапу из горбатых осиновых бревен, с ободранной крышей, без крыльца и палисадника, торчала она посреди Верхней улицы, как гриб-пылевик, на помеху соседям.

Летом в жару у ее заеалинок жались чужие овцы, под окнами грелись куры, свиньи чесались об зауголки нижних венцов. Когда возвращалось с выгона стадо, разномастный и грузный поток привычно раздвигался в этом месте, обтекал с обеих сторон избушку вдовы. Иной раз чья-либо корова останавливалась про-

тив низенькой двери, уставившись пучеглазой мордой в подслеповатое оконце, утробно мычала.

Зимой сбегались сюда ребяташки с санками. Разноголосой кучей — не понять, где голова, где ноги, — скатывались вниз на Озерную улицу с визгом и хохотом, возвращались обратно и снова кувырком, друг на друге, катились вниз.

Никакой живности не держала Улита — ни овцы, ни коровенки. И огородишко был в три грядки. У доброго крестьянина соседей больше двух не бывает: справа и слева от дома, и всё, а у Улиты — четверо: по два сзади и спереди. Посмотрит Улита в одно окно — приземистый пятистенник Кузьмы Черного видит с голубыми резными наличниками и вывеской «Торговое заведение» над высоким крыльцом; чуть правее — крытый тесом дом председателя сельсовета Романа Васильевича с кустами сирени да молодыми березками в палисадничке; глянет в другое — избы братьев Артамоновых. Между Кузьмой и Романом переулок на Нижнюю улицу и огороды, дома стоят саженьях в двадцати один от другого, Артамоновы — стена к стене. У них и двор один, и сад не деленый — семейка человек с восемнадцать.

Судачили бабы про Улиту со смехом, с издевками, что ей веселее других и тратиться не на что: керосину и то покупать не надо. С вечера допоздна у Кузьмы окна светятся — выручку пересчитывает, а за полночь чуть перевалило — братья Артамоновы просыпаются, мужики прижимистые и оба жадные на работу. Вот и светло в избе. Вышивай да пой себе песенки то у одного, то у другого окошка.

Всё богатство Улиты было в деревянной кадушке — опару в ней разводила — да в двух-трех корчагах. В подтопок глинобитной печи намертво вмазан трехведерный котел с крышкой. Кто-то из сторонних умельцев так приспособил эту крышку, что она прилегала к стенкам котла наглухо, даже пар не шел, и зажималась винтом, а сверху был вделан нарезной патрубок с гайкой. Медная трубка-змеевик также искусно прилаживалась в стиральном корыте и хранилась в надежном месте. Другой раз перед престольным праздником нагрянет в деревню милиция. Улите всё кругом видно. Минуты не пройдет — аппарат разобран, в

котле картошка варится, а в корыте рубахи замочены. Бьюшку прикроет в трубе наполовину, дыму напустит до полу — духу самогонного как не бывало. Тем и жила.

Чтобы не одичать вконец, слов разговорных не позабыть, придумала себе занятие — ворожить на колечко. Девки со всей округи — гужом к Улите. Одна про другую всё выскажут: кто по ком сохнет, кто зазнобу отбить норовит. Всё знала Улита, а уж сваха кому понадобится — лучшей и не сыскать.

В тридцать-то лет ох как несладко бобылкой век вековать. Тоскливо. Никто за тебя не заступится, никто ни в чем не поможет. Правда, после пожара миром поставили ей мужики избенку, а сколько мытарилась, чего только не натерпелась до этого, кому в пояс не кланялась? Кузьма бóльшую часть усадьбы оттяпал, староста и Денис вдовый надел меж собой расхватили, как воронье. Да если бы не Роман с кузнецом, и слушать на сходке не стали бы. А как перебралась из бани в избушку, горшки, чугунки расставить еще не успела по полкам, староста и Денис на пороге:

— Ну, как оно тут? Половички-то не скрипят? Надо бы их замочить!

Плохо одной. Каждый живет для себя. Кто побогаче — бедного ущемляет, а беднее Улиты нет никого. На каждого смотрит с опаской. И так сделалась злой на всех, недоверчивой, на язык дерзкой.

И баб для потехи стравливала. Пустит слух по деревне и выжидает. Пока слово обкатится по одной стороне улицы, к нему сотня других налипнет, а стоит этому осиному рою от колодца на дальний конец перекинуться, через день оттуда такое набухнет, такое на горку выползет — чудище о семи головах! Вот и вцепятся соседки одна другой в волосы, пока мужья за юбки не растащат. А то и сами за грудки да в колья друг друга: каждому небось есть что вспомнить.

Через день или два после того как приехал в деревню новый учитель, заглянул к Улите Артюха Козел. Не спрашивая, полез в посудницу, налил стакан самогона и, чего с ним никогда не бывало раньше, положил на скатерть деньги. Вроде бы совесть в нем пробудилась. Посидел молчком, прикидывая что-то свое в уме, поманил пальцем.

— Ты вот что, красавица, с этим хозяйством, — кивнул на кадушку, — поаккуратнее будь! Видишь ли, только приехал учитель и сразу к Роману: имею, говорит, специальное поручение от прокурора. Чуешь? Ну да не на таковских напал. Я в разговор тут ввернул словечко, Василич-то понял. А ты всё же поаккуратнее. Мало ли кто сболтнет. Кто по злу, кто по дурости. Сама понимать должна, в этом деле и политическую статью в два счета подсуропить могут. С выселением и с конфискацией на сто процентов.

— Эко чем напугал — конфискация! — усмехнулась Улита. — Ты вон Кузьме про это скажи. А мне-то разве страшно?

— Дура! А Соловки?

— И там небось люди о двух ногах.

— Ну, в таком разе, как знаешь.

Артюха выпил еще полстакана, платочком вытер усы и ушел. Насторожилась Улита, а деньков через десять самой пришлось идти в сельсовет. Получила повестку — недоимки с нее причитаются по налогу. На бумажке печать и подпись.

Романа на месте не оказалось, в волость зачем-то вызвали, Артюха только руками развел:

— Ничего не могу поделать.

— Так, Ортемий Иваныч, какой же с меня налог, когда больше года земли не имею? Чего доброго, вы тут удумаете и хлебом с меня востребовать?

— И востребуем! В дела ваши любовные с Денисом да старостой советская власть не вмешивается, — ядовито скрипел Артюха, — знаем. Сама отдала, а у меня по реестру не списано. Потому купля-продажа земли — дело теперь противозаконное.

— Да нешто я свой надел продавала?

— А дров тебе староста привозил?

— Ортемий Иваныч! Да разве же это за землю?

Артюха покосился на дверь:

— Ты еще ляпни кому-нибудь, что, мол, перед духовым днем оно было. И муки, мол, сам же он и принес. Пойди пожалуйста Николаю Ивановичу. Уж больно он этими делами интересуется. Заодно и про нас с Романом скажи, что укрываем тебя, как злостного элемента, в сиротское твое положение натурально входим. Сколько разов от штрафа тебя выгораживали?

Сколько разов сам я милицию от избенки твоей отводил?

Улита опустила голову. Про Романа Васильевича ничего не скажешь, этот, может, и выручал по-соседски. Артюха — тот завсегда с подкопом, сам норовит выпить бесплатно, да еще и домой унесет.

— Ну, ты вот что, гражданка Селивестрова, — говорил между тем Артюха, — если пришла платить, не тяни волынку. Занят я, видишь.

— Где же мне взять?

— Меня это не касается. Конечно, если бы сроки не поджимали... Воля-то ведь не наша. Я и то уж думал шило на мыло свести, а учитель, — ему до всего теперь дело, — доложу, говорит, районному руководству. Ну, Роман-то и руки раскинул. Занимай где-нибудь.

Неделю копала Улита картошку у Ивана Кондратьевича; у Дениса молотила горох. Заработала три рубля, два у мельника в долг выпросила. При народе положила на стол Артюхе:

— Н^а, подавись.

— Это как понимать?! — вскинулся секретарь. — За такие слова при исполнении служебных обязанностей!.. Слышали, граждане? Категорически предупреждаю: быть тебе в Соловках!

— Слышала, не стражай!..

В сумерках постучался Артюха в оконце.

— Дура ты, дура и есть, — вкрадчиво ворковал он, усаживаясь к простенку. — Экое ляпнула! Это же контрреволюция. Пятьдесят восьмая статья, понятно? Я уж потом сказал мужикам-то: «Что́, мол, с нее возьмешь: темнота...» Ты вот что, давай-ка квитанцию-то. Всё ведь сделано было. Уговорил я Дениса недоимку за тебя заплатить. Припер его к стене! Дармовой землей, говорю ему, пользуешься, кровосос, и так далее. Забирай свои подноготные. Ну, чего заробела? Бери!

Улита глазам своим не поверила: новенькая пятерка лежала у лампы. Сама налила из особой бутылки. И больше того изумилась: не стал пить Артюха.

— На собрание тороплюсь! Секретно и по особо важному вопросу. Уполномоченный прибыл по хлебу. Меня, Романа, конечно, учителя, да Карпа только и

допускают. Расписывать будем. Меж делом-то добежала бы к тому же Ивану Кондратьичу... И вот еще что. Может, другой раз я и сам что-нибудь про тебя говорить буду в школе али там где. Так это для виду. Потом-то мы по-своему повернем, как и с этим налогом. Поняла?

Как в тумане слушала Улита торопливый шепот Артюхи. Сделала всё, как велел: и старосту, и мельника такой же скороговоркой оповестила. А наутро Игнат — сын Дениса — на телеге подъехал, мешок гороху привез, пуда три:

— Тятя сказал: твоя доля. Сеяли, молотили вместе: исполу, стало быть.

Ничего не могла понять Улита, голова у нее пошла кругом. А потом и того чуднее: рассыльный из сельсовета собрал всех неграмотных в школу, в этом же списке оказалась и Улита. Когда до нее дошла очередь и она совсем уже приготовилась сказать учителю, что читать и писать умеет, Артюха опередил.

— Вот это и есть, Николай Иванович, та самая горькая сиротинушка Улита, про которую я вам недавно рассказывал, — начал он, отмечая галочкой в списке. — Мужа в германскую потеряла, хозяйство сгорело вчистую. Колотится как рыба об лед: ни кола у нее, ни двора. Стопроцентная что ни на есть батрачка. Баба — огонь, первеющий кандидат в делегатки!

— Кандидат, говорите? Это не у нее ли с лавочником какие-то давние недоразумения? — снимая очки и щурясь, спросил Николай Иванович. — И будто бы конкурент не сдастся?

— Был грех.

— Ну уж, Ортемий Иваныч, знай край, да не падай! — не вытерпела Улита. — Коли хочешь знать, с этим Кузьмой за три версты до ветру не сяду. Думаешь, как вдова, так можно любую напраслину?..

— Эко метнуло ее! — Артюха давился смехом. — Ты про Фому, а она про Ерему! Да про то, что ли, я говорю! И Николаю Ивановичу вовсе это и неинтересно знать, кто на тебя виды имеет. Важность какая! Я про то, что против государственного законодательства были у тебя правонарушения. Вот я о чем. — И, повернувшись к учителю, добавил уже без смеха: — Вызывал я ее, разъяснял. Вроде бы теперь и не слыш-

но. Не гонит. Верно я говорю, Улита? Баловство это и дурман. Наследие проклятого империализма. Ты, Улита, садись. Слыхала, что Николай-то Иваныч сказал? Значит, два раза в неделю: во вторник и в пятницу, как стемнеет. Здесь, в этом классе.

* * *

— Мы с тобой, Верочка, пока еще здесь чужие, — говорил отец дочери вскоре после переезда в Каменный Брод, — да-да, не удивляйся! Видишь: ограда церковная и та заново масляной краской выкрашена, а у нас в школе потолок прогнил. Видно, наши предшественники работали до звонка: день прошел, и ладно. Сейчас перед нами другие задачи. Окна школы должны светиться и вечером и поздней ночью. А там посмотрим, не поблекнет ли от этого позолота на церковном иконостасе! Нас двое, и это уже хорошо.

Через неделю состоялась первая лекция. В школе завесили окна, на доске натянули экран. Николай Иванович рассказывал о солнечной системе, о том, что Земля — малая песчинка в мировом пространстве.

Верочка стояла у волшебного фонаря, меняла пластинки из серии «Прошлые и настоящее Земли». Наблюдала со стороны за выражением лиц собравшихся. Было их человек двадцать. Сидели тихо, слушали с видимым любопытством. И ни одного вопроса в конце. Встали и разошлись, оставили на полу ворох мусора от семечек, на партах — в углублениях для чернильниц — раздавленные окурки.

— Что еще приготовить? — спросила Верочка. — Мне кажется, лекция не удалась?

— Не сразу, — хмуро ответил отец, — это тебе не завод. Подбери «Каменный век, первобытная община и рабовладельческое общество».

На следующее воскресенье тесный класс не вместил всех, кто пришел послушать нового учителя. Собирались задолго до назначенного часа.

— Стало быть, не ахти как завидно при коммунии-то жилось, — коли в это же самое время господа обозначились! — дребезжащим смешком отозвался от печки маленький, черный как жук, мужичишка, ког-

да Николай Иванович говорил о разложении первобытной общины. — Это как же понимать?

— А вот так и понимайте, — отвечал учитель и принялся второй раз обстоятельно объяснять крестьянам, как зародилась частная собственность и появились классы, угнетатели и угнетенные.

Мужики слушали, чесали в затылках.

Кузьма подтолкнул локтем соседа:

— А бог-то куда же смотрел?

— До бога не так-то легко добраться, — с усмешкой продолжал Николай Иванович. — Бог любил принимать жертвы: кто больше даст, тому он и помогал.

— Стало быть, есть он всё-таки, бог-то?

Николай Иванович помедлил с ответом:

— Скорее всего, что нет. Ведь иначе он не допустил бы того, чтобы советская власть отняла у богатеев землю, фабрики и заводы.

— Мудрено!

— Согласен. Не каждому это понятно, — отвечал Николай Иванович. — И особенно тому, кто живет по пословице: «Что мое — мое, что твое — тоже мое». А мы говорим — наше. Вот ведь дело какое! Как видите, мнения разные. Но нас большинство, и — хочешь не хочешь — сила теперь в руках рабочего класса и крестьянской бедноты. Кое-кому это очень не нравится. Большевики всё это прекрасно понимают. Будем ломать старое! А для начала кое-кого раз навсегда отучим обманывать, обирать, обвешивать.

— А ты поймал меня за руку?! — выкрикнул мужичишка.

Это и был лавочник Кузьма.

— Поймаем!

Зашумели в классе, задвигались. Видела Верочка: недобрые огоньки загорелись в глазах Кузьмы Черного.

В первом ряду поднялся секретарь сельсовета Артемий Гришин. Этот много раз уже сам приходил к учителю за свежей газетой.

— Я так смекаю, граждане-товарищи, — начал он, прокашливаясь и приглаживая на затылке жиденькие рыжеватые волосенки, — «мое» и «наше» они долго еще не помирятся, особенно в крестьянстве. Про это и в книгах написано, жадность — она от вековой не-

сознательности нашей, от темноты происходит. Просвещение нужно, агитация то есть. Принципиально я — против Кузьмы! На сегодняшний день это форменная гидра и паразит. Но у Кузьмы — патент, бумага гербовая! Тут никуда не попрушь! Раз наше рабоче-крестьянское государство дозволило, уважать следует. Потому как не будь у нас лавочки, в Константиновку — за двадцать-то верст — за спичками не вдруг обернешься!

— А селедку тухлую та бумага дозволяет ему продавать?! — выкрикнул женский голос с последней скамейки.

— Ты, Улита, помолчала бы лучше, — отмахнулся Артюха. — Николай Иванович человек у нас новый, дай ему осмотреться. Не встречай в партийные разговоры. А я, поскольку есть на платформе, заявляю принципиально и при всем народе: рыльце-то у тебя тоже в пушку. Ты почему нынче за четверть-то лупишь?!

Зычным хохотом громыхнул переполненный класс:

— Правильно, Ортемий Иванович, так ее!

Не смеялся один учитель. Отложив очки, он смотрел в лица сидящих, и Верочке показалось, что он не совсем доволен высказыванием секретаря. А почему? Когда расходились крестьяне, сбоку от Верочки кто-то сказал простуженным басом:

— Башковитый мужик, одначе, ловко он Кузьму ошарашил!

Повернулась Верочка, кузнеца увидела, а правее того — мужичище ростом на целую голову выше Карпа Даниловича, смоляной бородищей зарос по самые глаза. Кузнеца Верочка уже знала, а этого первый раз увидела. Последним протиснулся он в угол и всё время, пока вел беседу учитель, сидел недвижно, поглядывая то на самого рассказчика, то на Верочку, и густые лохматые брови его при этом шевелились, как крылья.

«Вот он — кулак! — подумала Верочка. — И на людей зверем смотрит. И опять непонятно: если кулак, почему об отце говорит «башковитый». Значит, присоединяется?! Почему бы при всех не сказать об этом, как секретарь, например? Непонятно!»

На другой день к вечеру прибежал в школу Володька, запыхался:

— Николай Изанович! Кузьма половину бочки селедок в огороде в землю зарыл! Ей-богу, не вру: сам видел! Испугался, что вы изловить его погрозились, вот и зарыл, правильно Улита говорила. Может, сходите?

— Если зарыл, теперь уж идти не стоит: тут он вывернется. Помоги мне на месте его накрыть, тогда и селедку припомним.

Володька почесал затылок, озадаченно заморгал, но тут же в черных его глазах запрыгали озорные огоньки.

— Можно и это. Можно, Николай Иванович! Обожду до субботы: за сахаром он собирается в город ехать. На сахаре он здорово наживает: никогда сухим не продает. Да и гири у него с дырками, а дырки воском замазаны.

Николай Иванович похлопал по плечу Володьку.

— Это и есть наша первая ласточка, — сказал он дочери, когда Володька прикрыл за собою дверь.

— Из-за этой «ласточки» влетело Валерке, — помолчав, ответила Верочка. — Да и тебе, кажется, было не особенно приятно с попом разговаривать?

— Пустое! — думая о чем-то своем, отозвался учитель. — По-своему он прав. Ты ведь не знаешь, Верочка, что такое в деревне умный поп, да еще такой Илья Муромец! Он и лекарь, и агроном, миротворец и пастырь душевный. За его спиной вся деревня, с нами — один Володька. Я узнавал: сорок лет живет отец Никодим в Каменном Броде. А мы с тобой — всего-навсего три месяца. Сопоставь! Кстати, заметь себе: местный поп не шаман, не фанатик. Тут надо думать, и уж во всяком случае не кидаться в свалку с попом очертя голову.

Николай Иванович откинулся на спинку стула, задумался.

— Вот увидишь, из этого парня ух какой человечище выйдет. Огонь! — вернулся он вновь к Володьке.

— По-моему, от него и сейчас всей деревне тошно, — усмехнулась Верочка.

— Не одобряю. Совершенно не одобряю твоего мнения, — сухо произнес отец. — Володька — вожак, самородок. Растить таких нужно!..

Посидели еще молча.

— Начало положено, — сказал Николай Ивано-

вич. — Нашему проекционному фонарю придется теперь сослужить еще одну службу: подбери «Крестьянские войны». Неплохо бы на этот раз соседей в этом же классе увидеть.

— Хуторян?!

Николай Иванович покачал головой:

— Соседей — татар. Говорить о крестьянских волнениях в Поволжье и в Приуралье нельзя без того, чтобы не вспомнить Салавата Юлаева. Наступление против попа, кулака и лавочника нужно вести на широком фронте. Ты понимаешь?..

Потянулись крестьяне в школу. Бородачи — к Николаю Ивановичу, молодежь — к Верочке, за перегородку. А в канун Октябрьского праздника на жиденькой, сколоченной из неструганых горбылей сцене впервые в Каменном Броде выступил молодежный хор. Пели ту же, издавна полюбившуюся Верочке песню «Смело мы в бой пойдем». Гармонист Мишка Кукушка подыгрывал на своей двухрядке. Его привел в школу Володька.

На этот раз Мишка был необычно серьезен, даже пот на висках выступил от напряжения. Приятель его Филька стоял возле двери, то и дело сплевывал под ноги. Было на этом праздничном вечере несколько человек и из татарских деревень. Бритоголовые, с обветренными коричневыми лицами, держались они настороженно и удивились тому, что учитель сам усадил их в первый ряд и свободно разговаривал с ними на их родном языке.

— Ну вот, Верочка, и затеплился наш огонек, — сказал Николай Иванович, обращаясь к дочери, когда школьный сторож инвалид Парамоныч, он же и церковный звонарь, далеко уже за полночь выпроваживал за дверь ораву вихрастых подростков. — Затеплился, повторяю. Теперь не погаснет.

И опять не спала Верочка в эту ночь. Снова достала заветную тетрадь. Посидела, подумала, развернула смятую бумажку, которую кто-то сунул в карман в коридоре, и слова сами легли ровной строчкой:

«Сегодня у меня исключительный день: передо мной лежит записка без подписи. Вот она: «Будет ли у нас на селе комсомольская ячейка? В Константиновке, слышно, образована».

По первой пороше отправился Николай Иванович на охоту. И Валерка с Володькой за ним увязались. Из деревни затемно вышли, обогнули Метелиху, оврагом к Ермилову хутору поднялись. Тут и рассвет застал, а за хутором — озимые поля. По бурьяну на межах и вдоль дороги местами снегу намело по колено, а полосы чистые. Седым куржаком прижало озимь: густая и сочная, прилегла она к земле, будто приглаженная широкой, натруженной ладонью пахаря.

Хутор остался в стороне. Старый Ермил давно умер, и хозяином здесь был его сын — Пашаня, сухопарый нескладный мужик с изрытым оспой лицом, чахлой бороденкой.

С давних пор за Ермиловым хутором укоренилась недобрая слава. Поговаривали в народе, будто и земля, и скотина, и дом-пятистенник достались Ермилу лихой ночью на мосту у Провальных ям. Назад тому лет пятнадцать убили в этих местах гуртовщика-купца. Ехал тот при больших деньгах, а в Константиновке ждал его компаньон. В Каменном Броде купчина остановился, — обод на колесе лопнул. Ну и завернул на полчаса в кузницу.

Для Карпа Даниловича обод исправить — минутное дело. Купец подивился молодецкой ухватке Карпа, золотой выложил на горячую еще наковальню, и только его видали. А наутро со связанными руками увели кузнеца из деревни: не приехал купец в Константиновку, под мостом у Провальных ям шапку его нашли, а в шапке половина черепа.

Долго таскали Карпа, однако судить не судили: с Андроном они в ту ночь на Каменке щук острогой кололи. Так и не нашли виноватого, а еще через год Ермил купил себе двадцать десятин земли и пятистенник отгрохал.

Поговаривали в народе неладное и про сына Ермила — Пашаню: еще при жизни родителя с одноглазым Гарифкой бражничал. А что тот конокрад, каждый знает. На хуторе сейчас оставалась Дарья — старшая дочь Кузьмы Черного, жена Пашани. Ребят у нее полный угол, все оборванные и голодные, а самого больше года не видно. То ли на станции где пристро-

ился, то ли в тюрьме сидит, а хозяйство прахом идет.

Обо всем этом торопился рассказать учителю Володька. За разговором не заметили, как оказались на середине поля.

День начинался медленно. Далеко за свинцово-холодным зеркалом озера просматривалась раскинувшаяся по взгорью татарская деревенька. Левее и ниже — другая. Той не было видно, она всего лишь угадывалась по дымному облаку, застрявшему меж лесистых увалов. Склоны Метелихи заслонили и Каменный Брод, только с одной стороны выступала крутобокая луковица церковного купола.

— Стало быть, прахом? — как у большого, спросил Николай Иванович, краешком глаза поглядывая на Володьку и глуховато прокашливаясь.

— Как пришло, так и ушло, — разводя руками, подтвердил тот, — это уж так...

Из-под ног у Валерки выкатился здоровенный русак, метнулся к овражку, подкидывая задом. Володька присел от неожиданности, и тут же поверх его головы гулко ударил выстрел.

Заяц подскочил, перевернулся в воздухе через голову. У Володьки глаза круглыми сделались: вот это охотник! Когда Николай Иванович присел возле зайца, чтобы ремешком захлестнуть его и забросить потом на спину, Володька не удержался — погладил ладошкой по лакированному прикладу двустволки, вздохнул.

Учитель не мог не заметить, как в глазах у Володьки не стало живости, кончики губ дрогнули и голова в островерхой порванной шапке как-то уныло склонилась набок.

— Подержи-ка, парень, ружье, — сказал Николай Иванович и принялся заново перевязывать ремешок. Отдал зайца Валерке — неси, а двустволка так и осталась в руках у Володьки.

Шагов через двести спугнули стаю куропаток. Низенько пролетели они над полем и сели за кустиками. Володька отдал ружье Николаю Ивановичу, а в глазах у него опять запрыгали бесенята.

— Там, за кустами, ярок неглубокий, — приглушенно и торопливо шептал Володька в ухо склонившемуся учителю. — А что, если бы по нему ползком?

Вы отсюда, а я верхом по полю спугну их на вас. Верное дело!

Николай Иванович присел на колени, пальцем поманил Валерку.

— Вот что мы сделаем, — в тон Володьке начал шептать и он, — я останусь на месте, ты, Валерка, обойдешь кругом вон до того куста, — и показал сыну на дальний куст у самого края поля. — Там жди. Отправляйся, зайца оставь! Да смотри не стреляй в нашу сторону. А тебе, Володя, ползти по этому яру, — удержал Володьку за полу шубенки, — смотри, как надо целиться и стрелять. Это вот — прорезь, а это — мушка. Нацеливай одним глазом и не дыши. Как посадишь на мушку ближнюю курочку, помалу-помалу пальцем вот так на гашетку. Понял?

Николай Иванович перезарядил правый ствол у централки, патрон из левого сунул обратно в кожаный подсумок. Легонько, совсем по-отечески, поддал Володьке пониже спины:

— Пошел! Снегу не зачерпни стволами.

Не чуя ног под собою, скатился Володька в овражек и там только с шумом выдохнул распиравший его воздух. Вот бы Федьку сюда Озерного, от зависти задохнулся бы...

Крался по дну буерака, ружье держал на отлете, на вытянутой руке. Пальцы стали горячими, и во рту пересохло. Вот и снежный наплыв висит козырьком с промерзлого бережка. А на яру рябиновый куст. Не дыша приподнялся Володька, выглянул одним глазом: куропатки шагах в двадцати. Насчитал восемь штук, а подальше — еще парочка.

Присел, зубами сорвал варезку с левой руки, потом с правой, взвел курок. Коротко щелкнул он и задрал кованое сизое копытце, а от пальцев Володьки аж пар идет. Еще выглянул: сидят. Положил на бережок шапку, на нее — двойную стволину. Ногами уперся в камень. Приладился, про всё на свете забыл. И вот тебе, откуда ни возьмись две сороки. Бросили их черти на рябину, такой тарарам подняли! Куропатки — в разные стороны. Замельтешило под мушкой: то один пушистый комок перескочит поверх нее, то второй.

Опустился Володька на одно колено, повел стволом в сторону. Сороки встопорщенные, злые, до хри-

поты набрасывались одна на другую. Палец только прилег на гашетку, и над деревом — пух и перья, как из распоротой подушки.

— Ловко ты их. Молодец! — Николай Иванович похлопал по плечу паренька.

Учитель, оказывается, тут же в овражке был, а Володька и не заметил его в двух шагах от себя.

— В другой раз плотнее к плечу приклад прижимать надо, — советовал Николай Иванович. — Больно ударило?

Володька мотнул головой, а у самого щека вздулась. Да разве на это стоит обращать внимание! В ушах у него так и застряли слова: «В другой раз».

Пока выбирались из овражка, на другом конце поля бабахнуло. Подошли — и у Валерки заяц. Только поменьше, чем первый. Этот сам набежал, спугнутый выстрелом Володьки, а перед кустиком, за которым сидел Валерка, остановился столбиком.

— Хватит, пожалуй, — сказал Николай Иванович, — повезло нам сегодня!

— Какое там! — невольно вырвалось у Володьки. — Тут их, зайцев-то, может, сотня. А хотите, я вам покажу, где в позапрошлом году Андрон подвалил медведиху? И без ружья — топором! Вырубал он оглобли в низинке, а медведиха с медвежонком к речке спускалась. Ну и — нос к носу: лес там густой, не видно. Вначале-то на Андрона медвежонок наскочил. Хрюкнул, переметнулся и завизжал тоненько, как поросенок. И вот тебе — сама! Андрон говорил — пасть вó какую разинула. И на дыбы... Страхота! Всея деревней потом сбежались, как к воротам привез: во всю телегу вытянулась. А к вечеру почитай на всей нашей улице медвежатину жарили. А что? Медвежатина, она сытная, только травой отдает. Медведь-то, он не поганый.

— Далеко это? — с нетерпением спросил Валерка.

— Рукой подать! Это от Провальных ям версты четыре. Попова елань называется, — живо отозвался Володька. — А еще подальше, за озером, именье. Только там никого нету. Один дом. Раньше барин жил, а теперь совы да мыши летучие. Можно и к барскому дому сходить, день-то большой, — просительно заглядывая в глаза Николаю Ивановичу, закончил Володь-

ка. — Знаете, какой барин был?! Немец! Андрон говорил: сундук золота выкопали в саду. А на втором этаже и посейчас одна комната заперта. Повешенный там.

Николай Иванович улыбнулся:

— Это что же, сам барин?

— Управляющий, — серьезно ответил Володька. — Сам-то успел убежать, когда красные подошли. А этот повесился. Потому — золота не уберег. Что бы он барину-то сказал, если бы тот вернулся?

— И висит до сих пор?

— Висит. А что ему делать?

— Ну и дурак: десять лет в петле болтается! Неужели ему не надоело?

Теперь засмеялся и Володька.

Про несметные богатства помещика Ландсберга — обрусевшего немца — Николай Иванович слышал не раз еще до революции, в бытность свою учителем Бельской гимназии. О ненасытной жадности Ландсберга ходили десятки рассказов, один страннее другого. Начал он с небольшого: где-то в верховьях Белой купил за бесценок поместье князя Юсупова и первое, что сделал, — вырубил начисто вековой липовый парк. Из чурок поделал бондарные клепки для бочек под мед и масло; мочало и клепку погрузил на баржу и на этой барже уехал в Самару. Вернулся на собственном пароходе. Еще через год под топор пошла княжеская дубовая роща — «мочальный барин» построил свою лесопилку. Дубовая плашка легла зеркальным паркетом в залах купеческих особняков в Саратове и Симбирске.

Незадолго до революции Ландсберг купил и это поместье, о котором рассказывал теперь Володька, — старинную барскую усадьбу за озером. Корабельный сосновый бор за Поповой еланью потому только и уцелел, что самому Ландсбергу пришлось в спешке увязывать чемоданы, окольными лесными дорогами пробираться из Уфы под крылышко к Колчаку.

Так и осталось всё брошенным. Прислуга разбежалась, дом наполовину сгорел. Пустая каменная коробка с двумя сторожевыми башнями по бокам, с темными глазницами выдавленных окон мрачно возвышалась на лысом бугре за озером. За десять лет двор

успел зарости чертополохом, каменные столбы ограды с литой чугунной решеткой обрушились, пруд затащило илом, на широких гранитных ступенях лестницы, ведущей к озеру, густо переплелись кусты остроиглого шиповника.

Когда поднялись по лестнице к дому, Николай Иванович остановился. Опершись на ружье, долго смотрел вниз на свинцово-холодную излучину озера, на лесное нехоженое приволье вокруг, настороженное и чуткое ко всякому звуку. Володьке не терпелось зайти поскорее в дом, а учитель медлил.

— Красиво, однако! — задумчиво проговорил он. — Это сейчас, а летом?!

Володька смолчал и незаметно для Николая Ивановича дернул за рукав Валерку, кивнул на открытые двери дома.

В доме было темно и страшно. Со стен свешивались какие-то лоскутья. Шаги гулко отдавались по коридорам, и оттого казалось, что за стенкой еще кто-то ходит.

— Где же твой управляющий? — пошутил Николай Иванович, когда поднялись в большой зал на втором этаже.

Задрав голову, Володька рассматривал потолок, пузатеньких амуров. Про управляющего ничего не сказал, а про амуров со стрекозьими крылышками спросил:

— Зачем они, ангелы? Их ведь только в церкви рисуют. Молились тут, что ли?

— Пили, плясали и снова пили — вот что тут делали, — ответил учитель.

— При ангелах-то? Разве можно?

— Богатым, брат, всё было можно.

— Папа, папа! Идите сюда! — позвал в это время Валерка из соседней комнаты и выбежал сам навстречу с толстой книгой в руках. — Посмотри: «Руслан и Людмила»! А там еще знаешь сколько?

Володька, а за ним Николай Иванович прошли вслед за Валеркой в соседнюю с залом комнату. Она была завалена книгами. Полуистлевшие, пропыленные, со слипшимися страницами лежали они навалом вдоль стен. На стенах до самого потолка рядами виднелись выбоины до кирпича, — видимо, были полки.

Кто-то вырвал их «с мясом», а книги остались на полу. Те, что были сверху, попортились от непогоды и сырости; нижние источили крысы, но многое и уцелело.

Николай Иванович только крикнул. Снял и протер очки, приставил ружье в угол, расстегнул верхний крючок полушубка.

Втроем дотемна разбирали книги. Больше сотни с картинками насчитал Володька, да столько же без картинок.

— Вот это охота! — довольно улыбался потом Николай Иванович, поглядывая на высокие стопки книг, отложенные в сторонку. — Придется спасибо сказать управляющему или свечку за упокой его грешной души поставить. Ему, дураку, не надо было и вешаться. Эка беда — золото выгребли! Это вот подороже золота: тут ум человеческий!..

На другой день Андрон привез книги в школу. Володька ходил по деревне козырем: хоть и не сам он нашел, а кто привел учителя к месту?!

* * *

Морозы сковали землю. Зима выдалась ранняя. Ссутулились мужицкие избы. По ночам завывал в трубах ветер, в буйной радости, будто лопатой, швырял в окна груды сыпучего мелкого снега. Надкушенный месяц поднимался над лесом, крадучись обходил Метелиху, настороженно, бочком поглядывал на землю в просветы рваных туч.

Кузнец Карп Данилович устроил на озере карусель. Продолбил пешней лунку подальше от берега, в прорубь бревно опустил до дна, а на верхнем конце на железном ободе две слегу укрепил, как у привода конной молотилки. Благодать ребятишкам: с рассвета и до ночи на озере муравейник.

Ночи тянулись долго. Мужики, всклокоченные, сползали по утрам с полатей, до вечера разгребали заносы на подворьях, которые поленивей — ворот совсем не откапывали: снимали верхнюю жердь с прясла да так через верх и ездили. А много ли ездить-то? На гумно за соломой да в лес по дрова раз в неделю. Вот и работа вся.

Бабы ткали холсты, пряли шерсть; девки гуртились вечерами у вдов да солдаток. Тут и парни с гармонью. Парни режутся в двадцать одно, матерщинят; девки поют стародавние песни, тоскливые и тягучие. Улучив минутку, другая моргнет кому надо, придержит рукой колесо прялки, осторожно, подобрав юбки, обойдет рассеявшихся на полу парней, проберется в сенцы. Вернется пунцовая от украденного за дверью поцелуя, вздохнет и снова крутит колесо. А есть и такие — тут же, в избе, при всех обнимаются, визжат от щекотки. Мало таких-то, однако: совсем уже совесть девичью потерять надо, чтобы при народе парню волю давать.

Невесело стало на вечёрках: сманила Верочка девчат голосистых; то спевка у нее, то к спектаклю что-то разучивают, а другие в соседнем классе над букварями сидят. Там и Дуняшка Андропова, и гармонист Мишка Кукушка, и Егорка Петрухин. За Егоркой вот как девки гонялись, — парень только со службы вернулся, часы именные привез, в шинели ходил и в фуражке с зеленым верхом.

Больше всего не полюбилось Фильке, что Мишка от него откололся; назло Мишке упросил отца купить настоящую кромку. А сам играть не умеет, рвет мехи без толку, парни над ним посмеиваются.

До заморозков еще слух по деревне прошел, будто учитель подбивает председателя сельсовета Романа Васильевича да кузнеца подавать заявления в партию. Поговорили и бросили, а потом снова про забытое вспомнили. Это уж перед Новым годом, когда Николай Иванович новое дело придумал: сколотить по весне товарищество.

Задумались мужики. И ладно вроде бы говорит учитель — вместе пахать, вместе сеять на одном клону, а решиться враз страшновато.

Николай Иванович свою линию гнет: легче будет. Одному-то за всё не ухватиться, — у этого конь занедужил, у того плуга нет. А так сложились бы на паях, смотришь, молотилку купили бы к осени, сортировку, гумно опять же на всех одно, общее. Земельный отдел пошел бы навстречу — пласт получше выкроил для артели. И с лугами, с выгоном так же.

Молчали мужики, дымили едким самосадом. Ро-

ман Васильев, как председатель, за столом сидел рядом с учителем, кузнец — у окна на скамейке.

— Думайте, мужики, — начал Роман, — я, например, согласный.

— И я бы пошел, — добавил кузнец. — Что касается по кузнечной части, всё изготавлю.

— Вот и складывайтесь вдвоем, — подал свой голос Денис. — У Романа парный плужок по осени куплен, а лошадь одна, — от и впрягайся на пару с председательским-то гнедком! А может, лучше в бороне первое время походишь, пока пыл-то сойдет?

Хохотнул Денис дребезжащим смехом, толкнул локтем Андрона:

— Давай-ка и мы с тобой, соседushко, спаримся! Как-нибудь на пять душ на трех-то конях сковыряем полоску на Длинном паю. Чуешь, куда поворачивают? Нам не жалко. Пусть у них на Нижней улице свое товарищество, у нас на Верхней — свое. Коли так — подавай и нам лучшую землю. И покос у Красного яра.

В это время Верочка заглянула в класс, постояла у двери, а потом присела на последнюю парту.

— С Длинным-то паем не вдруг, — подал свой голос мельник, — тут еще надо всем миром подумать.

— Не мир, а власть на местах решает эти вопросы! — запальчиво вклинился секретарь сельсовета. — Ты что, думаешь, если сам председатель, как авангард, войдет в товарищество, тебе Длинный пай оставят?! Наш он будет!

— И ты самолично пахать его примешься? Не перышком ли? — опять засмеялся Денис.

Андрон молчал. Посидел еще и, нахлобучив на самые брови шапку, молча поднялся.

— Разом такие дела не делаются, — обронил он с порога, — думать надо.

За Андронм разошлись и другие. С Николаем Ивановичем остались кузнец, сапожник Еким да сам председатель. Опять закурили...

— Чтó я тебе говорила, папа, — сказала Верочка, когда и эти последние вышли. — Не нравится мне этот бородатый дядька, — кивнула на то место, где сидел Андрон. — Поднялся и всех увел.

— Увел, это верно, — помолчав, ответил Николай

Иванович. — Поживем — увидим. Может быть, он же всех и приведет.

— Думаешь?!

— Думаю.

* * *

Многодумная для краснобродцев выдалась в тот год зима. Долго не гасли керосиновые лампы по избам. Собирались по двое, по трое. Толковали вполголоса, за полночь. Да и было о чем. В домах побогаче затаились не по-доброму. Собирались и там, только по-воровскому, с оглядкой. Не раз слышал про то и Володька, когда к матери приходили соседки. Говорили почему-то шепотом, вздыхали, крестились на почерневшую икону.

— А всё коммунисты — учитель, Романка да этот Карп-голодранец, чтоб пусто им было, — плевалась мельничиха, баба сухопарая и раскосая. — Вот мой-то и говорит. Да чтобы я, говорит, в артель?! Чтобы животина моя на чужой полосе надрывалась?!

— Как «на чужой»? — подал свой голос Володька. — Николай Иванович сказывал — ничего чужого не будет. Наше всё! И всем поровну!

Задохнулась мельничиха от Володькиных слов, так и вскинулась:

— Вот-вот! Сопля через губу. Ишь чему выучился!

— И выучился! Николай-то Иванович небось поумнее вас. У него вон каждый день из Москвы новости.

— Обожди, будет ужо и твоему Николаю Иванычу, — шипела мельничиха. — Знаем, откуда антихристовы речи обольстительные размножаются! И вертихвостка его туда же: косомол! Другая бы совесть девичью поимела! Со стороны-то глянешь — стыдобушка! Намеднишь смотрю, а она — матушка ты моя Фроловна — с лыжами да в штанах по деревне! Только и знает, что с парнями возжаться. Ужо вот вымажут ей ворота!

— Ну это мы еще посмотрим, — огрызнулся Володька. Глянул на мать. Та сидела, опустив руки; натруженные, узловатые, лежали они на коленях неподвижно.

Ничего на этот раз не сказала мать, а когда мель-

ничиха, продолжая плевать, скрылась за дверью, закрыла лицо передником. На Володьку у нее уже не поднимались руки, — пятнадцатый год скоро парню, вширь пошел раздаваться, вон и голос грубеть начал. И Николай Иванович вечер заходил — хвалит Володьку.

В другой раз Кормилавна, жена Андрона, разговор про Верочку повела. Дочери ее, Дуняшке, мать Володькина разом две юбки шила да кофту батистовую, с голубыми атласными отворотами и такой же оторочкой по низу. Девка на выданье, вот и готовила ей приданое Кормилавна. Ничего, статная девка, да только далеко ей до Верочки.

— Вот я и толкую тебе, Фроловна, — шептала Кормилавна, — чего бы это мать-то у них в острог посадили? Не иначе сам и упек. Все им сходит, безбожникам! Да и дочка-то, по всему видать, тоже непутевая. Что ни день — сборище у нее! А моя-то чего удумала! Я, говорит, тоже хочу, чтобы в представлении роли каки-то представлять. Ну, отец-то повел бровью — враз остепенилась. А потом и того не чище: наметнись денег у родителя выпросила, в Константиновку, за двадцать-то верст, одним духом оборотилась. Только смотрю, узелок за божницу сунула. Развернула я ночью, так ноги у меня и подкосились! Не поверишь, родимая, сказать срамота одна. И такое-то — за икону! Купила себе, расподлая, неудобьсказуемое — широкое и с кружевами! Ну, как городские-то барышни носят. Обомлела я, стою с этим самым перед образом-то, а молитвы как есть из ума чисто ветром вымело. Вот я и думаю: не иначе это ее, Веркина, работа! Самому-то уж и словечком не обмолвилась, что ты! А Дуняшку поутру усовестила: «Дура, говорю, ты, как есть дура! А ну, прознают в деревне? Где это видано, чтобы у степенных родителей девка срамоту экую на себя напяливала? Кто тебя, говорю, замуж-то возьмет после этого?»

Володька задачи решал и поначалу к разговору не прислушивался, потом отложил задачник.

— А старостиха, слышь, вышла за полночь на корову глянуть. Стельная она у нее, корова-то, — еще больше понизила голос Кормилавна. — А только смотрит: возле окошка Улиты человек присунулся. И в шинели, из себя высокий. Ну, постучался, да и за

угол. Вот тебе и учитель! А Улите — той что: знамо дело, бездетная, ей всё едино...

— Ну, это уж брешешь ты, Кормилавна, — возразил Володька, — старая, а брешешь! Старостиха, говоришь, видела? Да она не то что кого другого, своего Ивана Кондратича белым днем за три шага не узнает! А тут ишь ты — ночью через улицу рассмотрела!

Кормилавна растерянно заморгала.

— Я вот скажу Андрону Савельичу, — продолжал Володька угрожающим тоном, — небось он те дурь-то вышибет за поклепы. А коли хочешь, и про покупку Дуняшкину, я всё слышал. Всем разболтаю. Не будет к тебе сватов, так и знай! Потому — Дуняшка штаны купила!

Побледнела Кормилавна, закрестилась торопливо, а Володька со смеху покатился.

* * *

В хорошей семье Дуняшка родилась. Отец дочку баловал, мать жалела.

— Всякое в жизни-то станется, доченька, — говорила не раз старая Кормилавна, — девичьей поры не воротишь.

И выросла Дуняшка на загляденье — веселая, статная, косы до пояса, румянец так и горит во всю щеку. В округе голосу чище не было, а уж в пляс пойдет — всех подмывает! Радовались соседки Кормилавнину счастью, завидовали. Парни столбами стояли. Сватов черт-те откуда наезжало, да отец не торопился с выдачей замуж единственной своей дочери: успеется.

Мать тревожилась, присматривала за Дуняшкой, сколько раз выпытывать принималась. А только всё это попусту: не было никого у Дуняшки, ко всем парням одинаково строгой была. Так и шло время. Подружки ее давно в косы лент не вплетают, ребятишками обзавелись, а Дуняша всё с песнями да с переплясами.

Но, видно, всему свое время: нашелся суженый и для Кормилавниной дочки, да не тот, о ком родителям мыслилось. Полюбила Дуняша Егорку — сына Петрухи Пенина. Не дурной из себя парень, рослый, волос кольцами. Умный парень, в солдатах уже отслужил,

да отец-то горький пьяница. В хозяйстве коровенка горбатая, три овцы. Избенка на отшибе у околицы, дверь на день колом приперта.

Прознала про то Кормилавна, руками всплеснула, залилась слезами. Долго крепилась, а потом среди ночи мужу, Андрону Савельевичу, всё как есть высказала. И что сама видела, как Егорка по-за углами таится, ожидая выхода Дуняшки, и про то, что розовеет Дуняшка, только голос его заслышит, когда парни с гармонью проходят по улице, и что соседки рассказывают (на гуляньях друг с друга глаз ведь не спускают), а Улита, та самолично видела: проулком в обнимку шли! Прощелыга баба, на всю округу ославит девку. А тут еще эта дочка учительская. Богу одному известно, о чем у них разговор! И Егорка там же...

Промолчал Андрон.

Лежал он в постели с открытыми глазами, затем поднялся, набросил на плечи полушубок, взлохматил бороду, до свету сутулился на чурбашке перед жарко натопленной печью. А всему причиной — артель. Кто ее только выдумал! Для чего? Деда-прадеды жили по законам, единожды указанным. Что мое — мое. И как всё это — всё в кучу? Стало быть, и скотину, и какой ни есть плуг-борону, и постройки? А учитель крепко за дело взялся: по весне, говорит, всё одно артель будет, никуда от нее не денешься.

То, что земля артельная, — куда бы ни шло, размышлял Андрон, вроде бы оно и неплохо. Работать скопом сподручнее, а вот делить потом как? Один вместе с солнышком в поле выехал, другой чешется на полатах; этот пару коней приведет на артельный двор, а у того и козы в закутке не было. Тут-то как? Опять же по едокам урожай расписывать — тоже оно неверным будет. У меня трое, допустим, в семье, а у того же Петрухи Пенина — семеро. Мои-то все трое и молотить выйдут, а там — один.

Ох, недобрые слухи по деревне шастают. Которые хозяева побогаче — скот уж режут, пристройки на дрова сносят. Беднота, что ни вечер, — в школу. Братья Артамоновы все пробовали отца Никодима расспросить: как же быть-то мирянам? Молчит. А из города всё новые и новые люди. Что ни день — собрание.

Раскололась деревня на три части. Староста цер-

ковный, мельник да лавочник Кузьма Черный — против артели, мужики с Озерной — с учителем в один голос. И те и другие — половины деревни не составляют. Главная сила — середняк. Этот молчит, думает. Прожить и без артели может.

Подбивает учитель купить молотилку конную в рассрочку миром. Карпуха — больше того — о тракторе поговаривает. А трактор — это опять та же артель. Не будет же он в две сажени полоску распахивать! Это поначалу про товарищество разговор ведут, а запишись в него — через день артель объявят!

Непонятно — чего мужика принялись неволить? И власть-то своя ведь!

А учитель хитер! Вроде бы всё добровольно должно получиться. Ну и не тревожь, коли так! Пусть которые ближе к нему, с Озерной-то, и складывают артель, мы подождем, посмотрим. Так нет же тебе, — середняк ему требуется: на него главный упор. И Москва, говорит, этого добивается; потому — середняк сила. А тот думает; нелегко ему поворот в мозгах сделать. Хозяин, одно слово; «мое» ему ближе, чем «наше».

Вот ходил раза два в школу послушать Москву. Чудно! Как есть за стенкой живой человек говорит, да чисто так. И всё про артель эту самую. Где-то будто уж есть такое, вроде бы и неплохо. Да всё это один разговор. Вот бы глазом своим посмотреть! Трактор, конечно, не худо. Это понятно, а ну как коровы не будет в хлеву, где молока ребятишкам взять? В артелях-то, слышно, куру и ту норовят в опись. На своей полосе привык работать крестьянин, на своем паю стожок ставить, свою буренку встречать у ворот. А в куче-то оно не мое, чужое, — чего ради хребет надсаждать? Чтобы тот же Петруха Пенин возле тына Улиты корячился?

Вот о чем думал в ту ночь отец Дуняши. Обо всем передумал, да так ничего и не решил. Своего жалко. Добро бы, обратиться кому покрепче. У тех бы дело пошло. А тут — голь приозёрная. Эти рады на чужое зубы точить. Прокорми их попробуй.

И с Дунькой неладно. Тоже нашла в бору сосенку! Ну, да это пройдет. Все они в девках-то с причудами. Перемелется. Как-то, еще летом, сосед Денис Епифорыч подсел вечерком на завалинку, издали повел раз-

говор. Насторожился тогда Андрон: уж не о Фильке ли, племяннике своем, речь поведет старик? Эка невидаль: рубаха при галстукe да ботинки с калошами! Да на такую-то, как Дуняша, из Константиновки женихов не оберешься. Деревня — не нашей чета: редкий дом под тесом, больше под железом! Но Денис, горбась и теребя чахлую бороденку, намекнул на свои преклонные годы, на сына — золотушного Игната, у которого одно плечо было выше другого.

Хмыкнул тогда себе в бороду Андрон Савельич, но, чтобы не обидеть прямым отказом богатого соседа, у которого другой раз и в долг занимать приходилось, ответил уклончиво.

— Время покажет, Денис Епифорыч. Нам оно не к спеху, — сказал он в тот раз, завязав мысленно крепкое слово в адрес нежданного свата. — Девка не перестарок, а у меня, сам знаешь, не семеро по лавкам. Пускай зиму-то еще перебудет под отцовской крышей.

С тем и ушел Денис и к разговору этому больше не возвращался.

«Стало быть, вон кто в зятя-то метит! Не дурак, иначе, — вернулся Андрон мысленно к словам Кормилавны про Егорку. — Чудно! Это чтобы распроединственное дитё да на такую ораву рубахи стирала-выпаривала, по три раза в день ведерный чугунок картошки на стол подавала?! Да нешто отец-то у нее без креста на шее! От нашей-то жизни да впроголодь! Нет, брат Егорушка, тут уж не обессудь: поворачивай-ка оглобли!»

Смолчал об этом Андрон и утром, глянул только на дочь искоса:

— Ты бы вот што, красавица: не болталась бы, куда не отпущена. Сколько разов говорить?!

— Ты о чем это, папаня? — спросила Дуняшка, будто сразу не догадалась.

— А о том, что дочка учительская не нашего поля ягода.

— Не я одна.

— Вот и ладно; и без тебя, стало быть, не скушно им будет.

Вышел во двор, задал корму скотине, рогожу на поленнице дров увидел. Сам положил, чтобы на глазах была, а зачем — не вспомнить. Вот до чего артель-

то довела! Наконец вспомнил: яблони обвязывать собирался. Зайцев тьма развелась, и собак, дьяволы, не боятся.

Проваливаясь по пояс в рыхлом снегу, Андрон перелез в сад. Тут и Володька на лыжах, и Валерка с ним:

— Давайте поможем, дядя Андрон!

Часу не прошло — все деревья укутаны, где тряпьем, где соломой. Смотрел Андрон на Володьку, покачивал головой. Без отца вырос парень, а смотри, до чего работающий. Баловник, да ведь в годы-то эти велик ли спрос. Минет еще два-три лета — работник будет у Фроловны. Оженится, смотришь, вот тебе и мужик! У этого не сорвется...

— А чего вы, дядя Андрон, на спектакль в прошлый раз не пришли? — спросил между прочим Володька, растирая снегом посиневшие пальцы. — Теперь и Федьке роль выучить дали: послушника монастырского.

— Это из Федьки послушник? — хмыкнул Андрон. — Лучше бы уж тебе, в таком разе!

— Думаешь, не получится?! Сам Николай Иванович сказал, что у меня лучше всех. А только им рыжего надо...

— А сам-то он, нешто с вами забавляется?

— Не забава это, дядя Андрон, — серьезным уж теперь тоном говорил Володька, — против попа агитация. И за артель.

«И этот туда же, — подумал Андрон беззлобно. — Все помешались».

А Володька подошел ближе и доверительно сообщил:

— А к нам скоро библиотекаря приедет. Право слово, не вру! Вон сколько книжек нашли, да из волости еще прислать обещают. Не лежать же им так. Николай-то Иванович говорит: россыпь это алмазная. Вот. А вчера по телефону ему звонили из города. Сказали, что курсы там по весне открываются, на агронома учить будут. Вот Николай Иванович и сказал: есть у нас такой человек, пошлем непременно. Ничего, говорит, что два года. А потом с Романом Васильевичем посоветовался, и за Егоркой послали. Свой агроном будет. А что ты думаешь: как еще выучится!

— По весне, говоришь? На два года? — будто ненароком переспросил Андрон про курсы и, получив в ответ утвердительный кивок Володьки, улыбнулся чему-то. А сказать ничего не сказал. Промолчал и дома. Только после обеда, когда Кормилавна убирала со стола посуду, а Дуняшка вышла за чем-то на чистую половину, буркнул вполголоса, глядя в окно:

— Слышь, на курсы ево учитель отправить задумал. На два года. Понятно, о ком говорю-то?

Кормилавна всё поняла с первого слова, лицо ее просияло.

* * *

Поземка мела вторые сутки, курилась по полю и жиденьким перелескам белесой мутью. В кустах стонал, надрывался ветер. Мелкий колючий снег обжигал лицо, пробирался за ворот.

Пузатая лошаденка, проваливаясь по колено в рыхлом сыпучем наплыве, опустив мохнатую заснеженную морду, с хрипом тянула возок. Временами она останавливалась, тяжело поводя боками.

В санях сидели двое; один, в лохматом треухе, тулупе и в огромных подшитых валенках, возвышался неподвижной копной, и рядом с ним сутулилась женская фигура в стареньком пальтишке городского покроя, закутанная такой же старенькой шалью, концы которой были завязаны на спине. Секретарь сельсовета Артемий Гришин вез в Каменный Брод нового человека — избача Маргариту Васильевну Пушкареву.

В Константиновке, после того как справил свои служебные дела в волости, Артемий Иванович изрядно хлебнул самогонки, а перед отъездом завернул в лавочку, купил бутылку хлебной. Отпил из нее половину, остальное сунул за пазуху. Хмель, однако, не брал: недобрые вести, полученные от Евстафия Гордеевича из земельного отдела, не давали покоя. Через верного человека Евстафий Гордеевич ставил в известность о том, что сверху получена бумага о дополнительной сдаче хлеба. Где-то уже идут обыски, начисто выгребают, как в девятнадцатом. И еще — держал бы ухо остро, с учителем особенно.

О том, как надо держать ухо, Артемия Ивановича

предупреждать не сто́ит: сам другого поучит; слова лишнего не сболтнет, а если и выступит на собрании, как представитель власти на местах, любого городского агитатора за пояс заткнет.

Артюха мастер был говорить, — грамотнее его во всей округе человека не сыщешь, как-никак волостным писарем был до революции! Законы знал все до тонкости: как примется на память читать по параграфам, аж оторопь забирает. Никто лучше Артюхи Козла не умел написать заявление или жалобу. Бывало, вздумается кому из мужиков побогаче делянку в казенном лесу купить или землицы к наделу прирезать, — четверть самогона Артюхе на стол, и готова бумага. До того хлестко напишет, изукрасит ее завитушками, в городе даже ахнут.

Но больше всего любил Артюха давать ход судебным делам: ни одно судебное разбирательство — будь то гражданское или уголовное — не миновало его рук. Потрафит жалобщик писарю — дело верное: суд на его сторону станет, а другой раз и виноватого выгородит. В знании кодексов Артюха мог потягаться с любым прокурором. И всё — на память, всё на зубок! Любые статьи и примечания, по старому, дореволюционному, и по новому, советскому, своду законов.

Одно время, когда торговлю частную разрешили и в деревнях, как грибы, росли лавочники, ударился было Артюха в коммерцию. Дела сельсоветские сдал, купил у татар кобыленку и занялся скупкой яиц. Накупит их тысячи три-четыре, свезет в город, сдаст на базу, наберет там товару разного: сахару, гвоздей ковочных, папирос дешевеньких, девкам — бусы, ленты да приколок — и снова по деревням.

Хорошо, сытно зажил Козел, не хуже Кузьмы Черного, а зависть всё одно глодала: захотелось Кузьму переплюнуть. Вот и решил Артюха удивить начальство своей изворотливостью: забрал в кредит разной разности на несколько сотен рублей и отправился по дальним хуторам. Время выбрал с расчетом — в самую страду, когда не только что бабе на станцию или в город не вырваться, а и ребятишки все в поле.

Две недели глаз не смыкал Артюха, яиц навозил — девать некуда. А в город не едет, — время упустить жалко. Шутка ли: взад-вперед двести сорок верст,

с поклажей такой не разгонишься. Худо-бедно три дня пропадет.

И вот накопилось у Артюхи яиц на многие сотни рублей, под навес ящики не вмещаются. А дело-то было в августе, — жара несусветная, зной. И потекла со двора Артюхи густая, застоялая вонь, — протухли яйца.

Схватился мужик за голову — поздно! Так и погорел на этой коммерции. Коровенку, лошадь, одежонку, какую справить удалось, — всё с молотка пустил, да всё еще не хватает. Толкнулся было к мельнику, к Денису, — каждому небось доброе делал... Куда там! Отвернулись оба. Только Иван Кондратьевич помог немного деньгами (с отдачей, конечно!), а лавочник Кузьма Черный и к без того обидному прозвищу добавил еще три ругательных слова и потешался потом своей выдумкой.

Посадили Артюху в тюрьму, — не помогли ему никакие параграфы, — а когда выпустили, опять в сельсовет пролез, с легкой руки того же Ивана Кондратьевича, и таким стал законником — не подступишься. Председатель Роман Васильев за ним как за каменной стеной: у Артюхи и налог по дворам загодя расписан, и повестки вручены до срока, и перепись раньше других сельсоветов проведена. А придет кто проверять из волости или из Бельска, Артюха до свету еще папочки на столе разложит, волосенки реденькие пригладит, оседлает очками нос-пуговку и такое начнет выковыривать — враз голову замутит! Так и сделался активистом; с мельником, с Денисом не здоровался, а Кузьму Черного видеть не мог. По осени в партию заявление подал было, да Николай Иванович отклонил разбор этого заявления: хоть и небольшой был грех за Артюхой перед государством, злого умысла следствие не установило, а всё-таки неудобно из тюрьмы принимать человека в партию. И остался Артюха «беспартийным большевиком». Сам он себе это звание присвоил и на каждом собрании выступал. Обязательно с критикой, на живых примерах. Иной раз и не без пользы для дела, за которое Николай Иванович ратовал.

Вот каков был Артюха, — весь, казалось, на виду, без утайки. То, что связывало его с давних пор с черносотенным офицером Евстафием Гордеевичем Ползу-

тиным (сейчас он писался Полтузин), никому не известно. Правда, есть один человек на селе — Улита. Эта кое о чем должна помнить по девятнадцатому году; кое-что знает одноглазый конокрад Гарифулла. Гарифика не выдаст — ножом его режь, а Улиту — ту можно и припугнуть: много ли надо бабе.

Занятый этими мыслями, Артюха совсем позабыл про свою попутчицу, лошадь не понукал. Ни с того ни с сего немец Ландсберг вспомнился. И то, как он, Артюха, подложные документы ему выправлял, чтобы на станции не задержали, и то, как потом уж имущество в барском доме описывали — ковры и картины. Кабы не Карп да не Роман Васильев, погрел бы Артюха руки на этом добре. Не удалось! Так, по мелочи, кое-чего сунул в карманы: ложку, стаканчик чеканного серебра. Попалась тогда ему на глаза гербовая бумага — закладная купчая на всё поместье, с подписью и печатью нотариуса. Сунул ее за пазуху. Бумага эта и по сей день цела. Если верить Евстафию Гордеевичу, в случае мужики взбунтуются против коммунистов, на поддержку Уралу двинется казачий Дон, Украина, Сибирь. В Маньчжурии атаман Семенов держит наготове отборные офицерские полки. Только бы искорку где заронить, говорит Евстафий Гордеевич, а там полыхнет в полнеба. Вот купчая-то и пригодится, прикидывал Артюха. Тогда и с лесничим Вахромеевым проще будет разговаривать, если он сам на дачу эту позарится. Поговаривали одно время, что совсем уж было сосватал он младшую дочку Ландсберга. Понятно: на поместье зубы точил. Не удалось, однако: Евстафий Гордеевич перебил.

У Артюхи бумага небольшая — с развернутый лист, а есть еще одна — газетой ту не покроешь. И тоже с гербовыми печатями и с подписями. Это план того же поместья Ландсберга. Неплохо бы им завладеть при купчей-то, но Артюха пока еще не придумал способа, как это сделать. А главное, не хочется ему раньше времени связываться с конокрадом Гарифуллой. План этот у него, а зачем он нужен неграмотному татарину, Артюха и в толк не возьмет.

«Надо узнать, пожалуй, — подумал Артюха, — может, и нет уж этого плана у Гарифки. Вон сколько лет-то прошло! На кой он черт ему нужен!»

Лошаденка меж тем втянула возок на лесную просеку. Справа и слева высокой сплошной стеной возвышались заснеженные ели. В затишье стало теплее.

Артюха откинул полу тулупа, достал из-за пазухи бутылку. Привстав на колено, повернулся к молчавшей всю дорогу девушке:

— Не желаете? На морозе оно пользительно.

— Ну что вы?! Это же водка! — едва слышно и с заметным испугом ответила Маргарита Васильевна. Из-под шали и сбившейся на лоб вязаной шапки на Артюху глянули удивленные, чуть раскосые голубые глаза.

— Значит, не употребляете? А у нас так все пьют, девки парням не уступают. Самогон стаканами хлебнут! — неожиданно для самого себя соврал Артюха и развеселился беспричинно. — Темнота, сами знаете! Вот приедете, понасмотрите... Чего говорить! Нашему мужику-лапотнику сотню лет еще надо, чтобы он онучи сменил на сапоги: культура-то, она ведь от достатка. В колдовство, наговоры, разные там присухи до сих пор верят. Всё оттого — нищета, голь перекатная.

— А мне говорили, что Каменный Брод — село богатое.

— Кто говорил-то? Может, кто старое вспомнил? Шаром покати.

Артюха откупорил бутылку, покрутил ее и, запрокинув голову, ловко выплеснул содержимое в рот, не глотая, как в воронку. Рукавом обтер губы, зажмурился, похлопывая себя по груди.

— Пошла! Как Христос в лапотках — по душе-то! — Помолчал минутку, вытирая рукавицей слезившиеся глаза, и продолжал, как на заранее подготовленном уроке: — Вот так и живем, уважаемая Маргарита Васильевна, существуем. Не запомнил я вашего имени-отчества? Так и живем. Истинно — мудр и велик тот человек, кто водочку изобрел. Мужику без нее труба.

— А вы, извините, хлебопашец?

— Все мы корнями-то в землю уходим, — уклончиво ответил Артюха, пощипывая бороденку, — а только оскудела она, кормилица, за последние годы. Трудно пахарю. Конечно, просвещение нужно, политграмота. Вот и вас по этому самому делу к нам направляют.

Учитель наш, Николай Иванович, спасибо ему, беспокойство большое выказывает. Умный он человек, мозгам нашим старорежимным правильный поворот производит. И я, потому как в активе и на платформе, полностью присоединяюсь. А всё же с вами-то он промашку сделал. Прямо, по-большевистски скажем: кое-чего не учел. Поманил вас пальчиком...

— Меня политпросвет направил, — усаживаясь поудобнее, чтобы лучше видеть собеседника, проговорила обиженно Маргарита Васильевна и, высвободив руки, сняла перчатку, расправила складки шали у подбородка. — При чем же тут ваш учитель? Тем более что я его совершенно не знаю.

— Молодо-зелено! — поучительным тоном начал Артюха, не обращая внимания на последние слова своей спутницы. — Кто бы там в городе знал, что здесь избач нужен?

Маргарита Васильевна не знала, что ответить, а разговорившийся Артюха развивал свои мысли далее:

— Не подумайте, что я против Пушкина там или Гоголя. Что надо, то надо. Когда — вот в чем корень! Что́ на сегодняшний день на повестке дня? Скажем, принципиальная ликвидация кулака как класса или стишки про любовь да цветочки-купавочки? Как вы думаете?! И — другое дело. Вот привезу я вас в деревню, ну уголок где-нибудь найдем, тут уж на меня положитесь. Это моя прямая обязанность, как представителя власти. Ладно. А пить-есть человеку надо? Где же на это деньги брать? Вы скажете — в сельсовете. Верно. А сельсовет где их возьмет? Это что же — по рублевке на двор снова к налогу надбавка? Так ведь выходит, раз вся культура по нашим статьям расписана. Значит, грамотный ты или нет — плати. И так каждый месяц, а у другого, может, этот самый полтинник или рублевка на рубашку мальчонке отложены были? Тут-то как быть?

Маргарита Васильевна молчала, глаза ее стали темнее. Артюха про себя усмехнулся.

Вечерело. Лес по бокам становился всё угрюмее и гуще. Вот и сворот на Ермилов хутор, чуть подальше — дорожка на мельницу. А большак обогнет Метелиху — огоньки будут видны.

— Вообще-то, Маргарита Васильевна, вы не робей-

те, — понижая голос и по-отечески ласково поучал не на шутку встревоженную попутчицу секретарь сельсовета, — ничего, стерпится. Нашему пролетарскому боевому отряду поддержка. А в случае чего — прямо ко мне. Можно и к председателю, да ведь он всё равно ко мне препроводит. А с учителем, дорогая моя Маргарита Васильевна, раз вы его толком не знаете, я бы вам по-партийному посоветовал, так это, виду не подавать, конечно, но подальше. Как-нибудь я вам кое-что расскажу.

Озираясь, как будто его кто-нибудь мог услышать, Артюха склонился ближе к закутанной голове Маргариты Васильевны и, понижая голос, зашептал торопливо.

— Он же у нас, Николай-то Иванович, вроде как в ссылке. Большевик, слов нет, идейный! А у властей всё одно на подозрении: жена-то по пятьдесят восьмой статье срок отбывает!

Выпалив это единым духом, Артюха развалился покупчески, прикинул, какое впечатление произвели на молчаливую собеседницу его слова, и продолжал:

— А я ведь вначале-то нехорошо подумал про вас. Грешным делом так и сказал себе: «Везу, мол, учителю нашему полюбовницу-комсомолку, а у того дочери двадцать лет». Потому и разговаривать не хотелось.

— Послушайте... Это еще откуда? — с дрожью в голосе спросила Маргарита Васильевна.

— Про комсомол-то? — извернулся Артюха. — Сорвалось, извините великодушно. А вам по общности больше и дать невозможно! Вот я и подумал. По деревне-то разные слухи идут. И про вас уж откуда-то все прознали. Просто диву даешься! Ничего, Маргарита Васильевна, свет не без добрых людей. Не дадим в обиду. Н-но, запинайся, дохлятина!

Артюха наотмашь стегнул лошаденку по вислому брюху, стариковской мелкой трусцой пробежал шагов десять возле саней и боком свалился на охапку сена. Сидел потом задом к лошади, нахально, в упор установившись в побледневшее лицо Маргариты Васильевны, пьяненько ухмылялся.

Санки катились под гору, подталкивая лошаденку. Хомут налезал ей на уши. Лошаденка крутила головой, широко — по коровьи — разбрасывая задними ногами, и с половины уклона понеслась вскачь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тревога хлынула на деревню. Прилипчивая, как глина на размытом осенними дождями изволоке, она замедлила и без того неторопливый ход мужичьего раздумья. Колесо мыслей вязло по ступицу в слухах вздорных, пугающих. Один несуразнее и страшнее другого, рождались они в пятистеннике Кузьмы Черного. Вместе с фунтом подмоченного сахара, со ржавой селедкой, гвоздями и мылом расползались по улицам, а навстречу им наплывали другие, от шатровых ворот Дениса, мельника, старосты. Появились какие-то бродячие слепцы — монахи с поводырями, убогие старцы. И все — про артель, про печать антихристову, про конец света.

С виду всё оставалось по-прежнему. По утрам ровными белыми столбами поднимался дым из труб, спозаранку и без усталости кланялся каждой бабе журавель у колодца, во дворах мычали коровы. Ребятишки бежали в школу, отряхивали с лаптишек снег у крылечка. Иной раз сам учитель с ведерком в руке пройдет до колодца. Смотрели вслед ему бабы, мужики останавливались под навесами, кто с уздечкой, кто с топором.

Николай Иванович норовит поздороваться первым, каждого по имени-отчеству называет. Идет себе неторопким шагом, щурится под очками, посматривает на встречных, как человек, у которого на душе спокойно, всё обдуманно и решено, а мужики долго еще стоят посреди дворов, другой и забудет, зачем вышел.

Думали мужики. Тяжко, медлительно, со скрипом и остановками. С осени началось, с того самого разговора в школе про «мое» и «наше», когда учитель на лавочника обрушился, мироедом назвал, захребетником. Правильно было сказано. Да ведь не один Кузьма на чужом горбу едет. А Денис, а мельник? Такие же кровососы. И староста Иван Кондратьевич с ними же. И земли у них больше, и скотины, и дома под железом. У амбаров кобели на цепях. Семь дней на неделе едят пироги с начинкой, а за плугом-то больше всего безлошадные татары из Тозлара да Кизган-Таша сутулятся. Они же косят, жнут и молотят за мешок ржи. Разве оно справедливо? Пусть татарин нехристь, да ведь и он человек, и у него дома ребятишки.

Раскололась деревня. Мужики с Озерной — все, как один, с учителем. Богатеи с Верхней озлились. Круто взялся за них Николай Иванович с того самого дня, как началась сдача хлеба. Как и в прошлые годы, пришла в сельсовет бумага из волости; Артюха прикинул на счетах и расписал поставки от надела. Так оно и в других деревнях, лучшего не придумать. Земля-то у каждого есть.

Учитель переиначил. Это уж вечером, в школе было. Николай Иванович взял мелок и написал на доске такую задачу:

«В Каменном Броде 60 дворов, по 30 на каждой улице. Лошадей 45, на Озерной 15. Безлошадные пагут и сеют исполу с зажиточными». Слово «исполу» Николай Иванович подчеркнул.

С этого и пошло, разгорелся сыр-бор. Получилось так, что безлошадные часть своего хлеба уже отдали. Не в казну, а в закрома тому же Денису и старосте. По расчетам учителя, с Нижней улицы надо было собрать всего одну треть хлеба, а с Верхней в два раза больше. Тут братья Артамоновы вздыбились, Кузьма криком зашелся.

Николай Иванович повернулся к доске и еще написал крупными буквами: «У Дениса, старосты, мельника работали батраки». И опять подчеркнул.

— Старуха на ладан дышит. Что же теперь, при советской-то нашей власти, и хворому человеку серп в руки? — ехидно заговорил староста. — Это с коих пор такие законы?

— Хворому много не надо, — вместо учителя отозвался Карп. — Вас в семье двое. Двадцать пудов за глаза до нови, ну и на посев по законному наделу прикинуть можно. Перевешаем, вот и свезешь.

— Это не ты ли уж вешать-то будешь?

— Может, и я.

— Штой-то дверь у меня в амбаре забухла. Неровен час, отскочит да по лбу. Греха бы не получилось.

— Ничего, не отскочит.

— У меня вот тут кое-что записано о «добавочных» наделах, — перебил кузнеца учитель, вынимая из бокового кармана ученическую тетрадку. — Кто мне подскажет, товарищи, чьи земли за Каменкой, ниже мельницы? Броде бы кизган-ташевские? А почему же тогда

за Каменкой у Ивана Кондратьевича оказалась добрая десятина пшеницы, у Дениса столько же гречи? Это что, тоже исполу? Как с Улитой?

Теперь завертелся на скамейке и сосед старосты.

— Так вот и порешим, пожалуй, — продолжал Николай Иванович, — безлошадных из списка вычеркиваем. Это первое. Второе: поручить комитету бедноты помочь сельсовету составить новый расчет на сдачу хлеба. Сегодня же объявить его под расписку. Хлеб отвезти в три дня. Кто добровольно не выполнит, конфисковать!

— Правильно! Верно! — шумели озерные. — Попили нашей кровушки!

— Сунься попробуй... Я т-тебе конфискую. Обухом по очкам...

Через три дня вызвали в сельсовет тех, кто не вывез хлеб. Набралось таких человек восемь. За Денисом два раза посылали. Часа через три пришел и он, сел у порога; зрачки как булавкой ткнуты от злости. Ощетинился весь, даже задышал через зубы, когда увидал, что за председательским столом кузнец сидит.

— Это не ты ли уж рассыльного-то гонял? — обратился Денис к кузнецу. — То-то, смотрю, лица на нем нету. Не иначе, думаю, из Чеки этой самой, или как оно теперь, Гепеу что ли?

Не получив ответа, Денис ухмыльнулся.

— Кого еще ждете? — спросил мужиков. — Давно?

Молчат мужики, и Карп молчит, смотрит в окошко.

— Видно, не зря старуха моя сон нынче видела, бытта корова комолая прижала ее к плетню, — как раз насупротив школы. А на школе — ворона. Да не простая — в очках, — начал Денис, вынимая из-за пазухи краюшку черствого хлеба, кусок солонины, завернутый в тряпочку, и раскладывая всё это на коленях.

— Ну вот, прижала, стал-быть, и мнет башкой-то. И мнет. Всеё как есть обслюнявила, — продолжал Денис, принимаясь грызть горбушку и один за другим отправляя в рот мелко нарезанные кусочки сала. — Пырнуть-то ей нечем, известно дело, а глазищи аж кровью заплыли, оттого что рогов-то нету. Завсегда оно и промеж людей эдак же: другому беда как охота над своим же соседом покуражиться, а правов, власти то есть законной, и не имеет. Вот хоть бы, к примеру,

Карпушку взять. Эка важность — в комитет выбранный. Да для меня комитет этот голозадый — плюнуть и растереть! А смотри ты, сидит, подбоченился и морду воротит, вроде бы он тут бог знает что...

— Кончил ты свою байку? — спросил наконец Карп, поворачиваясь от окна. — Может, тебе самоварчик подать? Всухомятку-то не совсем хорошо полдничать.

— Старуха вот сунула, — другим уже тоном отвечал Денис. — Чует, грит, мое сердце, не перед добром всё это. В волость бы не угнали. Ну, а тут, смотрю, милицейского нету...

— Ты его не про то спроси, Карп Данилыч, — заговорил Артюха, откладывая в сторону бумаги, — ты спроси его, когда хлеб вывезет? А за такую подрывную агитацию, про очкастую ворону и прочее, протокол бы следовало составить.

Подбирая с колен крошки, Денис обернулся к Артюхе:

— Не я ведь видел во сне-то — баба! Неграмотной-то мало ли чего примстится. На ее и протокол пишите, не мерещилась бы в другой раз такая хреновина.

Кто-то бегом прошмыгнул перед окнами, с ходу рванул дверь.

— Нашли, дядя Карп! — не переступая еще порога, выкрикнул Володька. — Николай Иванович велел сказать, чтобы всем прямо на мельницу. Там они ждут.

Мужики глянули друг на друга, поняли всё без слов. Кряжистые, в бараньих тулупах, молча поднялись, вышли на улицу вслед за Карпом.

Полдеревни сбежалось к мельнице. Сгрудились на мосту, липли на обледенелых досках у высокого черного колеса. Мельник Семен в рубахе без пояса и без шапки стоял у сливного шлюза. У ног его на жердях лежало больше десятка мешков с мукой. Туго набитые, перехлестнутые крест-накрест просмоленным канатом, один за другим всплывали они со дна котлована, а канат всё не кончался. На мешках сразу же нарастала ледяная корка, а на багровой лысине мельника, как на жаровне, таяли хлопья пушистых снежинок.

Здесь же, на льду, отдельной кучкой топтались понятые с Озерной улицы, милиционер, председатель Роман Васильевич и учитель.

Татарин-батрак считал мешки.

— Адын — адыннассат, туа-туанассат, — проверил по-своему. — Всё. — Потом подошел к мельнику: — Эх, хозяин, хозяин! Думал, меня водка давал — купил?.. Знаю, всё знаю! Лето придет, ты наша деревня этот мука продавал бы. Сам бы не ел — татарин можно. Пойдем, товарищ учитель, еще один место знаю!

Мельника раскулачили, выслали на другой же день. Восемь возов хлеба нагребли из трех ям. Муку роздали безлошадным. Староста и Денис вывезли, что с них причиталось, предъявили квитанции. Карп предупредил Николая Ивановича: оберегался бы.

— Волков бояться — в лес не ходить, — ответил на это учитель. — А мы сейчас, Карп Данилович, с тобой да с Романом в такой бурелом врубимся — вот-вот на медведя наступим.

— Про то и я мыслю: лют он, когда из берлоги вздынется, — попыхивая дымком из коротенькой трубки, говорил кузнец. — Мельник — тот растерялся: не ждал. Те, что остались, так не дадутся.

— Сломим и этих, сломим: за нами теперь вся Озерная.

И Верочка помогала отцу. Вечерами подсаживалась за парту рядом с Улитой, поправляла у той карандаш в руках. Когда набиралось побольше народу, читала им вслух Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Притихнут, а глаза так и просят: «Читай, ну чего ты остановилась? Ведь это про нас!»

Улита намного раньше других стала читать по слогам и — странное дело — не радовалась этому, как соседки. У тех и тетрадки чистые и пишут старательно, а эта отмахнется с улыбочкой — «недосуг было», сядет потом в сторонку, обопрется щекой на руку да так и просидит до конца. Думает всё о чем-то.

Николай Иванович редко заглядывал в класс: всё у него какие-то нескончаемые разговоры за перегородкой. То свои, каменнобродские мужики дымят самосадам до полуночи, то иной раз татары наведывались. Этих Николай Иванович уводил к себе. Разжигая углями самовар, заваривал крепкого чаю, разворачивал перед ними «Правду». Верочка ни слова не понимала из гортанных обрывистых фраз, но догадывалась, о чем

идет речь: в Кизган-Таше и Старом Тозларе бурлила такая же междоусобица, и там поднялась беднота.

И всё же, хоть редко бывал отец на уроках дочери, Верочка не могла не заметить, что Улита каким-то особенным взглядом встречала и провожала его появление. Верочку злили эти, как ей казалось, бесстыдные взгляды. Про Улиту она была хорошо осведомлена из рассказов Дуняши и ее подруг: распутная, сплетница-баба.

Ревнивое чувство настораживало Верочку, и ей очень не понравилось, когда Николай Иванович принялся один раз вкладывать карандаш в непослушные пальцы Улиты, выводить ее же рукой «Уля», «Ульяна». Верочка прикусила губу и отметила про себя, что рука у вдовы не так уж груба, пальцы чистые и без трещин, ногти белые.

И с этого раза дочь решила оберегать отца: сама подсаживалась к Улите, брала ее руку. Кажется, Улита догадывалась, почему это, а может, всего лишь игрой воображения было, что пальцы Улиты становились бесчувственными, рука вялой, а в зеленоватых глазах светилась усмешка.

«Да ты же притворяешься, ты — грамотная!» — чуть не вырвалось однажды у девушки, но Верочка вовремя спохватилась. Взгляды их встретились, и насмешливые огоньки в глазах Улиты погасли.

«Подставная фигура?.. Ладно же», — подумала Верочка.

В другой раз в присутствии Николая Ивановича Улита лучше всех прочитала по букварю заданное на дом. И без запинки.

— Хорошо, хорошо, — похвалил Николай Иванович. — Верно, не зря говорил про тебя товарищ Гришин: быть тебе делегаткой! Переверни-ка страничку. Читай!

Зарделась Улита по-девичьи. Помуслила палец, перевернула листок. Смотрит — мужик нарисован. Коня под уздцы держит. Конь бьет копытом. А пониже — тот же мужик за столом. Возле него ребятишки и жена улыбается. Прочитала громко и с паузами: «У Фро-ла конь ко-ван». «У Фро-ла семь-я. «В семь-е у Фро-ла лад-но».

Минуту молчала, не сжимая припухлых красивых

губ, захлопнула книжку, низко-низко опустила голову и — кап, кап... тяжелые, как дробины, упали на парту слезы.

— Что с вами? — спросила Верочка.

В это время дверь в класс распахнулась настежь, в клубах морозного воздуха медленно, сверху вниз, стала вырисовываться худенькая фигура девушки в заиндевевшей шали и в задубевших, как колодки, обшарпанных ботинках.

— Жива или нет? Шевелится вроде?! — хлопотал возле приезжей Артюха. — Лошаденку загнал, экая, право, погань погодка! Принимай, Николай Иванович, боевое комсомольское пополнение! Как наказывали, всё сполнил! А ты, Васильевна, давай-ка сюда вот, к печке... Бабы! До чего же вы все недогадливы! Помогите человеку обутки снять!

Когда суматоха у печки несколько улеглась, Улиты за партой не оказалось. Не было ее и у вешалки, а на полу возле парты валялся забытый букварь.

«Подумаешь, нежности!» — поджимая губы и не отдавая себе отчета в нахлынувшей вдруг на нее жестокости, сказала мысленно Верочка, подняла букварь, положила его на стол.

Николай Иванович помог раздеться приезжей, бросил на парту шаль, усадил Маргариту Васильевну к печке, мягкими большими руками растирал ее посиневшие пальцы.

— Переждали бы ночь в Константиновке! В шею вас гнали, что ли? — ворчал он вполголоса. — И ты, Артемий Иванович, тоже хорош: не мог валенок попросить у знакомых — заморозил вконец девчонку... Дочь, бегом самовар!

Откуда-то парни взялись, толпятся в дверях, смотрят во все глаза на новенькую. И Егор с ними, шею вытянул, через головы других заглядывает. Увидал, что Дуняша глядит на него не мигая, потупился.

А что ты поделаешь? Хороша, одно слово. Из себя невысокая, гибкая, как талиночка, лицо круглое, глаза синие-синие, и волосы — чисто лен!

Про Улиту забыли. А она в это время рывками растегивала крючки на дубленом мужском полушубке, не вздувая огня сунулась головой в подушку.

— Нету Фрола, убили, — давилась слезами Ули-

та. — Был... был бы и конь кован, и семья ладна. Всё было бы.

...Любила Улита Фрола — меньшого брата кузнеца Карпа Даниловича. Ох как любила, и он ее тоже любил. Парень был росту высокого, богатырь, а душой — младенец. Встретятся, бывало, тайком за Метелихой — до рассвета милуются. Мать догадывалась, да и отец кое-что примечал. Погрозит другой раз пальцем: «Смотри, девка!»

Стереглась Улита: горячим рукам Фрола не давала воли. До венца важно честь соблюсти — любовь после этого крепче. И вот — на тебе: разругались отцы на меже. Теперь и не вспомнить, кто у кого запахал лишку на две борозды. Повздорили крепко, с зуботычинами. Тут и сваты из Нефедовки подоспели. В ногах у родителя ползала девка, сапоги слезами обмыла, тот не повел и бровью. После девишника, за день до свадьбы с нефедовским парнем, отдала себя Фролу Улита.

...Мужа убили на фронте, вернулась Улита в свою деревню, отца в живых уже не было, тиф подкосил сестренку, да и мать схоронила по осени. Осталась одна, бобылкой. Год был голодный, по лесам банды рыскали; то «черные», то «зеленые» в деревню наскочут.

Фрол партизанил с Романом Васильевым, ранили его. Здесь же, в деревне, и поправлялся. И вот тебе — банда.

До смертного часа не позабыть Улите сутулого человека в кожаной куртке. Два пистолета за поясом, голосок писклявый, а морду всю в нос стянуло, чисто хорек. Зубы кривые, мелкие. Стоит подбоченясь, плетью играет:

— Ну-с, голубушка, где твой герой?

Фрола в избе не нашли. Обернулся тогда кривоzubый к Артюхе (сперва-то не заметила его перепуганная Улита, когда в сорванную с крюка дверь ввалилась пьяная ватага).

— Что же ты, голубь, за нос меня водишь! — ткнул кривоzubый рукояткой плети в живот писарю. — Что-с?!

— Сбежал, верно, — силясь проглотить икоту, отвечал Артюха. — Может, в картошке хоронится.

Улита была спокойна: Фрол в эту ночь ночевал у Карпа, не мог он быть на огороде. А кузница на от-

шибе, — услышит Фролушка пальбу, так лес-то за ба-ней. Думала, как бы задержать бандитов.

— Смотрите еще раз, чтобы сумления не оставалось, — сказала она тогда, — может, и впрямь кто прятался. — И, хоть тошно было, в пояс поклонилась атаману.

Заново всё обыскали — пусто. На повети сено перекидали вилами — нет. Битых полчаса ушло на это. Атаман на Улиту поглядывает, пыжится индюком:

— Одной-то не страшно?

— Береженого бог бережет.

— Ой ли?!

Нутряным, поганым смешком хихикнул у печки Артюха, подмигнул кривозубому:

— Годи. Часика через два заглянем.

С тем и ушли бандиты. Бросилась на кровать Улита, еле в себя пришла. Криков ждала, стрельбы от озера, а утром узнала — схватили Фрола в камышах, у мельницы. Нашли в лодке, вместе с татаринном — рыбаком из Тозлара. Расстреляли обоих у Черных камней...

Вот отчего не сдержалась Улита в классе, вот почему тянуло ее к Николаю Ивановичу: лицом похож был на Фрола, и руки — большие и такие же теплые. Слова душевного не хватало Улите, человеческого тепла.

* * *

На масленице приехали из города шефы. Молодые парни с завода, с того самого, где Николай Иванович раньше работал. Веселые. На два-три года старше Володьки, а смотри, мастера какие! Первым делом по дворам обошли, плуги-бороны осмотрели, повыкатывали из-под навесов мужицкие телеги. Всё как есть в порядок привели: кто сошник наваривает, кто ободья куёт, кто запасную подкову мастерит. К весне-то вот как всё пригодится.

Такая же работа кипела и во дворе Андрона. Смотрел Володька на ловкие руки парней завидуя. И всё-то у них легко, сноровисто получается, молотки так и пляшут. И за работу ни копейки не взяли! Андрон подал было две зеленые бумажки, протянул их старшему, так тот обиделся.

— Это, борода, и есть смычка. Понимаешь? — говорил он Андрону. — Рабочий класс и крестьянство — вó навеки! — И показывал руками, какой это крепкий союз. — Сколько ты хлеба по осени свез? Два воза? Ну вот, и моя семья сыта и у того вон парня старики о завтрашнем дне не думают. Дошло?

Посмотрел бочком на Андрона, добавил тут же:

— Думка такая у нас, дорогой товарищ, с карточками бы поскорее распрощаться нам в городах и на стройках. А за это я сам пригнал бы к твоим воротам новешенький трактор!

— Ишь ты!.. — Андрон густо прокашлялся и повел всех со двора к себе в избу: Кормилавна давно уже стояла на крылечке — щи на столе остывают.

А потом в школе собрание было и представление. Народу набралось — яблоку негде упасть. Пьесу ставили. Только занавес открыли, видит Володька — вот он, Иван Кондратьевич, на сцене. И стрижен под горшок, и борода козлиная, и голосок елейный. И Кузьма Черный — лавочник, и Улита — самогонщица, и поп Никодим, и Денис тут же. И слепой монах бродячий с парнишкой-поводырем.

Ничего получилось у Федьки, только слова забывал всё время. А вот и мельничиха. Ну, две капли воды! Так и ахнули в зале, до чего ловко изобразила ее дочка учителя. Говорили потом, что пьесу-то сам Николай Иванович написал.

Перед концом спектакля, когда монах пересчитывал деньги (он вовсе и не был слепым), должен был появиться на сцене Федька, а с ним комсомольцы, чтобы связать злодеев. В это время брызнули стекла в окне. Вместе с переплетами рамы к ногам монаха упало сучковатое березовое полено.

Крик, визг поднялся в переполненном классе, передние скамейки враз опустели, а на выходе — давка. Кое-кто из парней бросился в коридор, а на крыльцо выйти боятся. Володька один на улицу выскочил, потом еще человека три за ним вышло, — никого не видно. На площади поземка вихрится, стонет ветер в верху оголенных берез, во дворе Ивана Кондратьевича хрипит, захлебывается на цепи Тузик.

Вернулись парни с пустыми руками. Тем временем кузнец к окну классную доску приставил, чтобы снегу

не намело, а на сцену Николай Иванович поднялся.

— А хорошо ведь играют наши артисты! — сказал он, когда народ понемногу уgomонился. — Но кому-то не нравится. Вот только — кому? Пьеса, значит, правильная, выходит? Не в бровь, а в глаз!

— Ничего, Николай Иванович, доберемся до них! — крикнул кто-то.

Володька вытягивал шею — думал увидеть Фильку. Пока первое действие шло, тот позади Андрона у печки сидел, сейчас нигде нету. Ивана Кондратьевича, того никогда в школе не видно, а чего же тогда Тузик-то мечется?

Не было на спектакле и активиста Артюхи. Засветло еще нежданно-негаданно явился к нему гость из-за Каменки — Гарифулла. Не заходя в избу, распряг под навесом лошадь, накрыл ее снятым с себя чапаном, задал корму и потом уже, прихрамывая, проковылял в тесовые сенцы, без стука рванул на себя пристывшую дверь.

Хозяина этот приезд не обрадовал, но делать, однако, нечего. Вскоре оба сидели у самовара, пили чай, а до этого опорожнили привезенную Гарифуллой бутылку, закусили вяленой рыбой.

Артюха разговора не начинал, — знал, что Гарифулла не заедет без дела. И тот молчит, буравит единственным глазом хозяина, пощипывает короткую щетку курчавой седой бородки. Наконец татарин заговорил:

— Знаешь, я этот зима тоже школа ходил. Читать-писать теперь научился.

— Просвещение — оно необходимо, — глубокомысленно подхватил Артюха, не догадываясь еще о подлинных причинах, которые заставили его давнишнего приятеля на седьмом десятке лет посещать ликбез. — Грамотный человек не чета, конечно, безграмотному. Это ты правильно сделал, Гарифулла Сайфутдинович: ученье — свет.

У Гарифуллы дернулась кверху широкая губа с ниточкой жестких усов, стали видны плотно посаженные и не тронутые еще старческой желтизной крепкие зубы. Так он улыбался, словно хотел укусить. Спросил потом:

— Давно город гулял? От ипташ Палзутин какой новость есть?

Артюха заерзал на скамейке: этот одноглазый дьявол всё знает! Гарифулла же, не дожидаясь ответа, задал еще вопрос:

— Палзутин наши Ландсберга зять, что ли?

— Болтали вроде. На свадьбе я не был. А тебе-то зачем знать об этом приспичило?

Верхняя губа у татарина опять собралась гармошкой, как у матерого волкодава, обнажая клыки.

— Неграмотный был — не спрашивал. Теперь надо.

— Ну для чего?

— Ландсберг немец был?

— Немец.

— Бумага один читать надо. Может, Палзутин знает?

— Ты про план, что ли, говоришь? — догадался Артюха. — А чего там читать? Давай, при случае покажу этот план Евстафию Гордеевичу.

— Больно ты хитрый.

— А что?

— Сам показать буду.

Самовар давно перестал посвистывать, Артюха отнес его подогреть к подтопку, смахнул со стола хлебные крошки.

— Давай посмотрим, может, и я прочитаю? — предложил он Гарифулле, подмываемый нетерпением взглянуть на план: уж не клад ли ищет татарин? А хотел ведь этот план у него выпросить для подтверждения купчей. Попробуй теперь заикнись.

Гарифулла не торопился доставать бумагу; закурил, поглядывая на Артюху недоверчиво.

— Помнишь, в саду один работник места копать указал? — начал он, точно мысли читал у Артюхи. — На план этот места крестик стоит. Сундук доставали. Помнишь? Мне один человек сказал: еще сундук есть. Ночью сам барин копал. Места никто не знает. Надо читать. Знаешь, давай вместе, только на шесна...

Дальше татарин пояснил, что на плане есть надписи разных цветов: одни — русскими буквами, другие — арабскими. Русские надписи давно уже прочитаны, тут нет никаких загадок. Прочитаны и арабские, но слова оказались не татарскими. Вот Гарифулла и решил, что это слова немецкие. Надо искать переводчика.

У Артюхи пересохло во рту от такой неожиданно

сти. Гарифулла предлагал ему искать клад вместе. Значит, всё пополам. А что же тому, кто разберет непонятные надписи? Тоже ведь долю себе потребует.

Гарифулла между тем достал из-за пазухи толстый пакет, развернул на столе газету, разгладил рукой порванную местами восковку. Артюха впился глазами в надписи. Всё верно: русские слова идут столбиком в правом нижнем углу плана, и сделаны они черной тушью, а слева—зелеными чернилами вьется арабская клинопись.

— Вот смотри, — тыкал Гарифулла коричневым пальцем в первую строчку. — Я сначала мулла давал. Он читал. Я не верил. Буквы наши, слова не наши. Половина зима учился, теперь сам читаю. Видишь? «Гот мит унс»? Ты понимаешь? И еще: «Бирке нумер фиер...» А?

Широкая, в два пальца, губа татарина вздернулась, да так и застыла в хищном оскале. Артюха дышал, как запаленная лошадь.

До полуночи просидели Артюха с Гарифуллой над планом, так ничего и не придумали. Ползутину говорить об этом Артюха не советовал, — много запросит; об учителе и речи быть не могло. Поискать разве аптекаря в городе? А что? Аптекари, они разным языкам учены. Старикашку какого-нибудь со старорежимной бородкой... Можно и с Вахромеевым окольный разговор при случае завести. Человек образованный.

Молчком еще один самовар чаю выпили. Гарифулла всё поглядывал на Артюху с опаской: не напрасно ли в мыслях своих открылся? Перед тем как шапку надеть, и уже от порога, погрозил узловатым пальцем:

— На шесна. Ты мина знаишь: Гарифулла никогда обман ни делал. Я тебя тоже знаю. Всё знаю...

Уехал Гарифулла, увез под рубахой заветные неразгаданные строки. Может, там миллион закопан. Вот тебе и неграмотный татарин — сто очков дал вперед бывшему волостному писарю. Попробуй усни после этого!.. «Гот мит унс»! А ведь это про золото! Сдохнуть на месте и лопни мои глаза!..

Дня через два уехали из Каменного Брода городские комсомольцы. Растревожили, разворошили они деревню. Половина туда, половина сюда. Только те-

перь уж не по улицам, не Озерная против Верхней, — всё перемешалось.

В это же время Николай Иванович вдвоем с председателем сельсовета в город съездили, выхлопотали в лесничестве делянку: школу новую по весне строить решили. Вахромеев делянку отвел за Константиновкой, летом туда не пробраться. Верочка собрала парней. С пилами, с топорами на неделю ушли из деревни пешком. И Верочка с ними, и Мишка Кукушка с гармонью. Заниматься с неграмотными осталась Маргарита Васильевна.

Бревна возили миром. Тот же Артюха расписал по три кубометра на двор, у кого пара коней — тому больше. И опять Денис воспротивился, подбивал не ездить и Андрона:

— У нас некому в школу ходить...

Андрон не послушал соседа. За неделю три раза съездил. Дело мирское, мало ли что своих школьников нет! Когда уезжал с вырубь в последний раз, отдал Верочке свои овчинные рукавицы — огромные-преогромные. Увидел, что та в перчатках. Буркнул в заиндевевшую бороду:

— Сидела бы ты, птаха, дома. Экая стужа, а она, видишь ты, в чем! Бери, чего тут! Возвернешься — приплешь с братишкой.

Взяла Верочка рукавицы, рука в них по локоть уходит, и тепло, как в печурке. Ни с того ни с сего припомнился ей тот вечер, когда активист Артюха привез Маргариту. Сам в огромном тулупе, в полушубке и в валенках, а та в ботиночках рваных. И подумала, что Андрон так бы, наверно, не сделал.

В это же время Артюха ужом извивался перед Маргаритой Васильевной. Под избу-читальню ей отвели уголок за перегородкой в доме, где сельсовет размещался. Секретарь зашел будто бы на минутку, глянуть хозяйским глазом, как оно тут получилось. Может, прислать мастеров — полки приладить покрепче, стол сколотить понадежнее, чтоб не шатался. Спросил, как у нее с деньгами и не надо ли чего-нибудь привезти из Константиновки, — подводы ведь каждый день приходится наряжать.

— Теперь-то вам тут куда с добром! — восторгался Артюха. — Таких-то хором и в волости нету. Всё честь

по чести, как в городе. А ведь не упрись я на том заседании, не видать бы вам, дорогуша, этого расширения.

— Это вы о каком заседании говорите, Артемий Иванович? — спросила его Маргарита Васильевна.

— Да о том, когда на ячейке решали, кому эту половину дома отдать. Я говорю, что, мол, изба-читальня у нас ни на что не похожа, потому и народ туда не идет, а Николай-то Иванович в свою сторону тянет. У меня, говорит, не квартира стала, а заезжий двор. День-ночь от мужичьего кислого духу не продохнуть. Дочь, говорит, взрослая, а тут всякие разговоры, иной и ляпнет чего непотребное. Видите, куда клонит? Это, чтобы ему добавочно помещение выделили, вроде канцелярии или присутственного места.

— Так даже?

— То-то вот и оно! Мягонько стелет... Да, Маргарита Васильевна, вот вы человек у нас образованный, надо полагать — в гимназиях обучались. Не можете ли вы мне три слова на русский перевести? То ли латынь, то ли с греческого. Засело в башку, лет десять покою не дает — «Гут мит аус».

— «Гут мит аус»? — Маргарита Васильевна улыбнулась. — Тут что-то не так, Артемий Иванович! Путаница какая-то. Может быть, «Гот мит унс»?

— Вот-вот... «Гот мит унс», чтоб ему провалиться!

— Это немецкое религиозное изречение. Ну что вы так смотрите на меня? Когда жива была моя бабушка, она заставляла меня читать по-немецки. Она и французский неплохо знала. «Гот мит унс» — с нами бог. Не верите?

— Да нет... почему же не верить. Дай бог ей здоровья, вашей усопшей бабушке. Царствие ей небесное... Ты смотри, ересь какая, однако. Ладно еще, не спросил я у Николая Ивановича про это самое «с нами бог», — на смех бы потом подняли! Вот ведь как можно враз весь авторитет потерять. Так вы уж ему тоже ничего не говорите — Николаю-то Ивановичу. Блажь, понимаете, заскочила...

Артюха еще больше засуетился, подхватил свою папку. А через день рассыльный из сельсовета принес Маргарите Васильевне на квартиру новую настольную лампу-молнию с голубым фарфоровым абажуром,

стопку чистой бумаги. Сказал еще, зашла бы сама к председателю: талон там есть для нее на валенки. Секретарь наказывал передать. И чтобы сегодня же, — талон-то один.

...Улеглись мартовские метели, день прибавился, а возле школы две горы бревен выросли. И опять Николай Иванович с Романом в город уехали: стародавний спор с Константиновкой на суде решали. Это еще году в 1918-м, когда земли помещика Ландсберга делили, лучшие сенокосы отхватили у каменнобродских константиновские горлопаны. А потом, позже намного, приезжал землемер, да на постоя в Константиновке остановился. Подпоили, умаслили его богатеи, вот и застолбил спорный участок за Каменкой константиновским хуторянам. Долго тянулось несправедливое это дело, да так и заглохло. А Николай Иванович снова за него принялся, нашел старые планы в земельном отделе. Тогда и понял Володька, чего это ради летом еще ходил по полям Николай Иванович с председателем сельсовета.

На суде решено было половину поймы вернуть каменнобродцам, — старики при встрече с учителем в пояс кланялись, а Андрон сказал при Володьке два слова:

— Башковитый мужик.

Зачастил Володька вечерами в школу. Вроде к Валерке, книжки посмотреть интересные, а сам к Николаю Ивановичу тянется, глаз с него не спускает. Верочка войдет в комнату — потупится Володька, замолчит. Если попросит помочь в чем-нибудь брата, дров наколоть или воды принести ведерко, — Володька первым с места срывался: рад всю поленницу на лучину перещепать.

Дни стали длиннее, теплее, с крыш сосульки повисли. В классе не усидеть, когда солнышко от окна не отходит, а тут задачки с дробями. И кто их только придумал! Николай Иванович не давал послабления, будто и нет на дворе торопливой капли, не жмурятся в полдень коты на пригретых завалинках, не стоит за школой снежная баба с метлой и дырявым ведерком на голове.

По утрам — заморозки, снег затвердел на огородах, большого мужика выдерживает. Небо чистое-чистое,

с лазоревой далью. И лес не такой, как был. Кажется, он придвинулся ближе, тянется голыми сучьями к свету, а у церковных берез тучами воробьи собираются. Облепят тонкие ветви, один перед другим петушатся, и каждый собой не нахвалится, — выжил!

Володька сидел на одной парте с Екимкой, Федька озерный в соседнем ряду, Валерка у самой стенки. Перед партами — стол и доска, а за ней снова парты, лицом в эту сторону. Там другой класс. Николай Иванович напишет на доске задачу, укажет странички, откуда в тетрадь переписывать надо или выучить наизусть, перейдет на ту сторону — к первоклассникам. А на сцене, боком ко всем, еще несколько парт. Это третий класс. С ним Верочка занимается.

Шуму особого не было, только со всех сторон «жу-жу-жу», «жу-жу-жу», как в улье-дуплянке, если жарким июльским полднем ухо к нему приложить. Зато на переменах — пыль коромыслом в коридоре.

Володька давно уже приноровился, как узнавать время. Часов в классе нет, а за две-три минуты до перемены он складывает тетрадки, затыкает деревянной пробкой пузырек с чернилами. Иногда поднимает руку.

— Чего тебе? — спросит Николай Иванович.

— Звонок должен быть.

Учитель достает часы из кармашка, пожимает плечами: верно! Потом уж как-то разгадал Николай Иванович Володькину хитрость: по краю парты ножом зарубки сделаны были: солнечный луч из окна дотянется к первой из них — конец уроку, ко второй — снова перемена. Для начала уроков зарубок не было.

* * *

Проталины появились, дороги стали горбатыми. На Метелихе с каждым днём всё меньше и меньше оставалось снега, бурая прошлогодняя трава, словно конская шерсть на скребнице, сбилась валками, в промоинах прилегла, приглаженная талыми водами. Внизу, у церковной ограды, пробивались под снегом ручьи. Они сбегали с Метелихи и здесь вгрызались в метровую толщу унавоженного у коновязи льда, пропадали с глаз.

Деревня глухо бурлила. Так набухает весенними днями Каменка. Смотришь иной раз с высокого берега вниз и ничего особенного не видишь: лед еще крепок, по дороге ездят, сено, дрова везут, а вон и почтовая пара вымахнула с изволока, тренькнула колокольцами и тут же нырнула в лес. Но стоит спуститься ниже, и картина меняется: местами лед отъело от берегов, да и сам-то он не такой, каким был неделю тому назад, — помутнел, сделался ноздреватым.

И на озере внешняя белизна также обманчива. Копни той же палкой — под настовой коркой крупа, как льняное семя текучая, а еще пониже — вода. Прислушайся повнимательнее: под спрессованной толщей снега в овражках журчат ручьи. Невидимые, точат они ледяной панцирь, грызут, а из-под низу напирает сама река, расправляет плечи. Минет день-другой — смотришь, Каменка посинела, вздулась, а ночью — раздирающий пушечный выстрел, и мечется по окрестным лесам громовое раскатистое эхо, вспугнутое после длительной зимней спячки. И пошло чертоломить вниз, понесло, вспенилось, закружило...

Когда раскулачили мельника, деревня ахнула и затаилась: мало кто ждал такого. Думали — просто страшает учитель. Теперь очередь подошла к лавочнику, — озерные скопом навалились. Вызвал учитель из города ревизора, и, как ни хитрил Кузьма, как ни изворачивался, всё описали! Ревизор припечатал дверь сургучом, ушел в сельсовет. За ним увели и Кузьму под конвоем.

Володька вместе с Екимкой видели всё это, примчались в школу, чтобы рассказать Николаю Ивановичу, а у того гости: татары из Кизган-Таша. На столе, как водится, самовар, стаканы на блюдах вверх дном перевернуты. Значит, гости довольны, теперь разговор ведут. Самовар уже не шипит, пустой.

Татар за столом четверо, одного из них Володька узнал: тот самый, что у мельника батраком был. Звали его Хурмат.

— Вот ты сказал: русский татарину — старший брат, — пригнув лобастую голову и посматривая на учителя, говорил Хурмат, — ты хорошо сказал. Старший брат — первый после отца. Так или нет?

Николай Иванович кивком соглашался.

— Ты сказал: почему наши деревня шумит, галдит, — в колхоз никто нету. Так ты сказал? — наваливаясь грудью на стол, продолжал татарин. — Ты — старший брат, сам наперед сделай!

— Оставайтесь до вечера, — ответил учитель, — у нас сегодня как раз собрание. А вот у меня в кармане три заявления.

— Три — это мало. Надо двадцать три! — не сдавался Хурмат. — Три у нас тоже есть.

Оконфузился Николай Иванович перед татарами на этом собрании. Как и раньше, молчали мужики, сутулились. Екимкин отец поднялся было, поддернул штаны, только успел сказать, что и у него заявление написано, подскочила к нему жена. Платок у нее с головы свалился, шея жилистая оголена. Молча схватила Екима за бороду и выволокла за дверь.

— И-их! Бабам воля давал! — вырвалось у Хурмата. — У нас так не будет. Николай Иванович, давай вместе один колхоз делать! Ребятишки наши вместе учиться будут, мы пахать вместе. Давай!

— Это чтобы нам с гололобыми из одной чашки хлебать! В жисть не будет такого! — выкрикнул с места Нефед Артамонов и продолжал, уже стоя: — Прямо скажу тебе, Николай Иванович, терзайте по частям, а на это я несогласный. У меня тоже вроде бы и перекипело. И так думал, и этак. Шестнадцать душ у нас на двоих-то. Прикинули с братом... А так — несогласный я. Не желаю, чтобы с татарами. Коней еще поворачивают.

У Хурмата на туго обтянутых скулах проступили пятна, на коричневой крепкой шее дернулись жилы.

— Конокрад на твоя деревня живет! Ты сам ему каждый день салям говоришь! Не меня — его бойся! Татарин лучше тебя работать умеет! Нам тоже не надо такой колхоз. Я нарочно сказал. Свой колхоз сделаем, скажем: давай нам ваши луга Красный яр!.. Что ты сказал? А? Тоже не будет?!. Будет!

Николай Иванович не ожидал такого поворота, но сказанное Хурматом опровергать не стал, хотя был уверен, что тот пригрозил Красным яром в горячке. У мужиков — испарина на висках: без Красного яра — труба.

И опять первым поднялся Андрон. Нахлобучил

шапку, молча двинулся к двери. Помог Хурмат Николаю Ивановичу, да не в ту сторону: сорвалось собрание. А наутро еще одна новость: Роман привез из Константиновки ветеринарного фельдшера, — дело к весне, молодые лошади в это время мытятся, вот и решили проверить. В белом халате, сухопарый и неразговорчивый, переходил ветеринар со двора во двор. У Екима дольше всех задержался, капли какие-то мерину в глаза пустил. Вымыл потом руки карболкой, ничего не сказал, а на воротах крестик мелом поставил. После обеда, закончив осмотр лошадей и на Верхней улице, снова к Екиму направился. У чалого глаз покраснел.

Еким и сам примечал — неладно с конем: голову книзу опустит, стоит так часами. Шерсть стала какой-то неровной, потускнела, потом желтая слизь показалась на храпе.

— Сап, — сказал фельдшер.

Екима, как обухом, ударило короткое это слово. Привалился спиной к столбу, стиснул зубы, — только осенью обзавелся конем. А ветеринар меж тем снял с крюка хомут, седелку, отвязал с оглобель чересседельник и всё это вынес на задний двор. Ни слова не говоря наломал хвороста, под него сунул пучок соломы, сжег и хомут и седелку. Откуда-то, как из-под земли, появился милиционер с винтовкой.

Вывели мерина из конюшни, у ворот попалась навстречу хозяйка с полными ведрами на коромысле. Конь потянулся мордой к ведру. Устинья остановилась, опустила на землю одно ведро, мерин шагнул еще. Ветеринар — будто его кто подбросил — вырвал ведро из-под морды чалого, отбросил его к тыну и неожиданно бабьим, визгливым голосом заругался на Устинью:

— Пить ведь будешь отсюда, бестолочь! Са-ап, понимаешь, фефёла!

— Ну и что? Или он на нас не работал? — глухо сказала Устинья и посмотрела вначале на мерина, на ведро, а потом уж на костистого злого фельдшера. — Нам теперь подыхать всё едино.

Еким отстранил жену, снял у нее с коромысла второе ведро, поставил его дном на колено. Чалый проржал коротко и благодарно. Морда его уходила всё глубже и глубже в ведро и так же медленно опускалась книзу непокрытая голова хозяина. Ребятишки,

мал мала меньше, высыпали во двор. Кто босой, кто в опорках — окружили мерина, не понимая, куда и зачем уводит его отец, для чего винтовка у милиционера.

Нюшка, старшая дочь, поняла: отведут Чалого за озеро, там и застрелят, — заревела в голос. Екимка впился пальцами в руку Володьки, и губы у него задержались. А мерин всё пил крупными, тугими глотками, отдыхал подолгу, наконец поднял голову. Ветеринар отвернулся, заморгал вдруг покрасневшими веками, боком и как-то неуклюже первым шагнул к воротам.

Через неделю, не больше, после того как зарыл Еким у коровьих ям своего чалого мерина, постучалась беда в дом к Нефеду Артамонову: увели у того коня. К винтовому замку ключ подобрали, и кобель хоть бы гавкнул.

Эту весть передал Андрону Денис. Тряс у ворот бородашкой:

— Бог шельму метит. Екиму — тому уж не привыкать: родился у озера, тут — у озера — и умрет, а этому говорено было. Переметнулся к озерным, пусть вот теперь и пишется в этот самый колхоз. «Прикинули» они с братом!..

Андрон смерил Дениса тяжелым взглядом, прокашлялся густо:

— Вроде бы и негоже оно над чужой-то бедой насмеяться.

— Это не смех, соседushка, — слезы! — притворно вздохнул Денис. — Тут уж надо бы ему одного берега держаться. А про ключ к винтовому замку, это очень даже сумлительно. По этой части мастер в деревне у нас один, да и этот в партийцах теперь ходит. Вот я к чему.

Андрон пропустил мимо ушей вздорный намек на Карпа, а насчет берега, к которому лучше править, высказал свое мнение:

— А ежели у меня своя, к примеру, дорожка?

— Да и моя-то ведь от твоей в двух шагах! — обрадовался Денис. — Давай или я сверну на твой след, или ты — на мой. Торнее дорожка-то окажется!

— А потом, стало быть, и меня твердым заданием ошарашут? Нашел, чем утешить!

— Смотри. Своя голова на плечах. Татарва вон на

Красный яр зубы точит. Хитро они с учителем-то задумали. Тут как бы большого греха не получилось. А только, я полагаю, недолго оно и ждать-то осталось. Ты газетки почитываешь; не приметил, что́ это там, под Саратовом-то? А за Камой, в лесах?

— Сеять, должно, собираются. Чего еще там?

— Может, и сеять, а кое-кто и литовочки точит, пулеметы смазывает. Про такое не жди, не пропишут. Тут надо самим ухо держать по ветру.

Андрон еще раз снизу доверху прощупал соседа хмурым, ничего доброго не сулящим взглядом. Денис заморгал.

— А ежели я знаю, кто сказал тебе это? — медленно и не в полный голос проговорил наконец Андрон. — Ежели это и есть тот самый, што коня увел у Нефедя? — И выпятил лохматую бороду. — Што ты на это ответишь? А?

Денис перестал моргать, зрачки у него из узеньких сделались по горошине.

— Ладно, иди себе с богом, — прогудел Андрон, — к учителю я не побегу. А тебе скажу иначе: дорожка у меня своя. Была своя и будет своя. Куда меня вынесет — не твоя печаль. И вот еще што: накажи Пашане — возвернули бы лошадь Нефеду.

Повернулся Андрон, прикрыл на засов калитку, добавил, уже от крыльца:

— И еще скажи — не удумали бы со мной шутковать. Так и скажи.

У Дениса рубаха прилипла к лопаткам. Пришел он домой как пьяный. Филька с полатей голову свесил:

— Сделано, дядя Денис. Все как по маслу. Ночью сведем куда надо. И учитель как раз туда собирается завтра: плотников нанимать на лето. В точку всё будет, в плепорцию! К Нефеду Дарья зайдет...

Нефед сидел в это время в сельсовете, опустив руки тупо смотрел под ноги. Артюха пощелкивал косточками на счетах. Роман Васильевич ждал учителя, — со школой надо дело решать: загодя просить кирпича, железа на крышу, гвоздей. С утра думал в волость уехать, а тут у Нефедя беда. Делать надо чего-то.

— В милицию я звонил, — угадывая мысли Романа, начал Артюха, — указал приметы коня, тут уж порядки известны. Бысказал принципиальные сообра-

жения, на кого подозрение имеем. За ночь далеко не угонят, а может, и вовсе где-нибудь в соседней деревне лошадь спрятана. Большая Гора, Тозлар... Найдем, Нефед Аверьянович! — обернулся Артюха к Нефеду. — Это ты правильно сделал, что сразу местную власть поставил в известность. Все теперь на ногах! — И снова заговорил с Романом: — Так когда вы, товарищ председатель, плотников подрывать собираетесь? Николай-то Иванович сказывал, будто уж есть у него кое-кто на примете. В Кизган-Таш, к Хурматке к этому, ехать думает завтра. А что? Татары, они по плотницкой части нашим не уступают. Вот и поезжайте вдвоем, а я уж и подводу для этого нарядил. По морозцу за час доедете.

* * *

У Николая Ивановича были свои неотложные заботы: кооперация и изба-читальня. Пятистенник Кузмы пустовал; вот и предложил учитель в одной половине Маргариту Васильевну устроить, вторую — сдать в аренду кооператорам. Заведующего дают и бухгалтера, за пайщиками дело не станет.

Больше всего доставляла хлопот Маргарита Васильевна. Ничего у нее толком не выходило. Книги любила, все разложила по полочкам. Знала, где какую взять, а с народом не умела разговаривать. Парни придут, помнутся с ноги на ногу, посмотрят журнал с картинками — «Лапоть» или «Смехач», — и всё. Сидит библиотекарьша, в книжку уткнется, головы не поднимет. Сколько раз уж и Верочка говорила ей: «Иди сама с книжками по домам, это не город!» Робеет.

На листочке клетчатой бумаги Маргарита Васильевна написала крупными ученическими буквами: «Обмен книг с 12 часов дня до 8 вечера. Выходной день — пятница», завела две подшивки для «Правды» и «Крестьянской газеты». Парни вырывали украдкой страницы на курево, и часто Николай Иванович заставлял избача в слезах. Не завязывалась у нее дружба и с девушками, — не о чем было ей говорить с ними. Накупила себе ниток, с утра дотемна кружева вяжет.

— Ну и невеста будет у нас богатая! — пошутил как-то раз Николай Иванович, заглянув на минутку в дом, где снимала комнату Маргарита Васильевна,

и рассматривая разноцветные коврики над кроватью и салфеточки под цветочными банками. — Вот, оказывается, где золотые-то руки!

Маргарита Васильевна вспыхнула.

— А что? Есть ведь, конечно, удалой добрый молодец! — добавил в том же духе учитель. — Рассказала бы, что ли? Сюда его и затребуем. Кто он — врач, может быть, или учитель?

— Никого у меня нет, — тихо сказала Маргарита Васильевна.

— А родные?

— И родных тоже нет.

Николай Иванович не вдруг нашелся, с чего бы продолжить начатый разговор. Его продолжила сама Маргарита Васильевна.

— Я знаю, вы недовольны моей работой, — говорила она, поднимая на учителя задумчивый взгляд, — и это правильно. Вот смотрю на вас и завидую: всё у вас получается как надо. И крестьяне вас понимают. А я ничего не знаю и не умею. Как в лесу, — и отвела взгляд в сторону, будто там видела своего собеседника.

Тоска и какая-то обреченность слышались в каждом слове девушки, а лицо и глаза ее оставались неподвижными. Николай Иванович безошибочно понял, что эти самые фразы произносятся ею уже не в первый раз.

— Меня воспитала бабушка, в детстве я много читала, училась музыке, думала — буду артисткой, — продолжала Маргарита Васильевна, не меняя тона. — Это потом уже, в Бельске. А до этого мы жили в Уфе. Отец имел небольшой обувной магазин и сапожную мастерскую. Когда мне было пятнадцать лет, он умер, а тут пришла революция. Мы перебрались в Бельск. Вскоре и бабушка умерла, мама вышла вторично замуж за какого-то спекулянта. В доме начались кутежи. Отчима и мать посадили. Пришлось мне искать работу. Кое-как устроилась в детскую библиотеку. Через год сократили: происхождение непролетарское. А потом вдруг вызывают в городской комитет комсомола, говорят, что есть работа. А я никогда и не была в комсомоле. Вот я и приехала, — жить-то ведь надо.

Маргарита Васильевна замолчала на минуту, повернулась к учителю и как-то робко, просительно улыбнулась.

Николай Иванович ни о чем больше не спрашивал, а она снова уставилась в одну точку и говорила как бы уже про себя:

— И вот Каменный Брод. Что же здесь? «Петька, глянь... гы-ы. Стриженная. Гы...» Вот чем меня встретили здесь. А на обложках книг мне преподносят похабные надписи... Страшно мне, а деваться некуда.

Николай Иванович подсел рядом на кончик скамейки, положил свою руку на плечо девушки:

— Дорогая моя! И мне нелегко. Не думай, что всё просто дается. Ты права — в деревне жить трудно. Нас пока еще мало. Но вытянем, теперь-то уж легче стало. Вытянем, Маргарита Васильевна!

Николай Иванович поднялся, сознавая, что своими словами он, конечно, не убедил Маргариту Васильевну. Но лучшего он не придумал, — просто не смог собраться с мыслями от того, что услышал. Большой и широкоплечий, он легко приподнял за локти Маргариту Васильевну со стула, на котором она сидела, поставил ее перед собой, потрепал за льняной вихор, как Валерку, сказав весело:

— Вот уж не думал, что у тебя такие заупокойные настроения. И это в двадцать-то лет!

— Почему это «в двадцать»?

— Ну а сколько же вам?

— Двадцать восемь скоро, вот сколько!

— Да? Вот уж не подумал бы!

* * *

Дома учитель спросил у дочери:

— Ты хоть о чем-нибудь с Маргаритой пыталась поговорить? Живет человек рядом с нами скоро три месяца, одна со своими мыслишками, с кругозором канарейки. А мы на нее какие-то надежды еще возлагаем, ждем от нее участия в просветительной работе! Сдружиться с ней нужно по-настоящему. Иначе мы потеряем девчонку.

Вот и сегодня, направляясь к дому лавочника, Николай Иванович собирался поговорить с Маргаритой Васильевной, помочь, подсказать, как и чем украсить читальню. О том, что произошло ночью во дворе Нефедя, учитель знал, и где-то далеко и пока еще смутно

в душе у него ворошились подозрения, что это не просто воровство: Артамонов-старший, как и Андрон, держался обособленно, но ближе к Екиму и Карпу, осенью еще вывез хлеб, и без напоминаний.

В доме Кузьмы — в правой его половине, где была лавочка, — работали плотники. Окна были выставлены, и на улицу, на почерневший, ноздреватый снег, оседала труха от разобранных перегородок. Тут же валялась и смятая вывеска.

В дом Николай Иванович зашел со двора, в сенях столкнулся с Улитой. В подоткнутой юбке, босая, с деревянной лоханью на проволочной дужке, прошлепала она мимо учителя. Тут же повернулась, свободной рукой распахнула дверь.

— По Маргарите Васильевне стосковались? Ну, теперь-то ей лучше будет. Свободнее, — пропела Улита с ядовитой улыбочкой, напирая на последнее слово. Заправила выбившиеся из-под платка черные волосы, откинув при этом больше, чем следует, вверх локоть. Прищурилась из-под руки.

«Хороша, чертовка!» — безотчетно промелькнуло в голове Николая Ивановича.

— Что это в школе тебя не видно? — спросил он Улиту позже, прерывая свой разговор с Маргаритой Васильевной и припомнив, что давно уж не ходит Улита на занятия к Верочке.

— Обидели вы меня, — проворно передвигая скамейки и протирая их тряпкой, ответила та, не поворачивая головы.

— Я обидел? Когда же это?!

— А на спектакле, когда заводские приезжали. — Улита выпрямилась, снова заправила волосы, но теперь уже не отводя в сторону локтя. Кивнула на раскрытый «Лапоть»: — Неужто я такая же, как тут вон, в самом-то деле?

— Но в пьесе не было сказано, что это Улита.

— Мало ли... — Улита загремела ведром. — То «делгаткой будешь», а то уж и невесть что. И вовсе нечего там мне делать в таком разе. А может, я грамотная! Записалась — думала, давать что-нибудь будут.

Улита хлопнула дверью.

— Видали? — сказал Николай Иванович Маргарите Васильевне, когда Улита так же сердито хлопнула

и калиткой. — Этой пальца в рот не клади! С характером... — А про себя подумал, провожая взглядом Ули-ту до самой ее избенки: «Тут что-то иное».

Утром на другой день Николай Иванович с председателем сельсовета отправились в Кизган-Таш. Перед отъездом в деревню их обогнали на взмыленной лошади братья Артамоновы. В санях сидели еще двое: Пашаня и Филька. Все были пьяны. На раскате Пашаня вывалился. Нефед, не оборачиваясь, погнал дальше. Пашаня сунулся ничком в сани к Роману.

— Ишь, чё удумали, — силясь привстать и давясь икотой, хрипел он, — конокрады-то, грит, у вас же в деревне живут. А вот и посмотрим чичас, так ли оно. Поглядим! Пяту деревню шерстим, в Большой Горе ночевали.

— Почему же вы думаете, что лошадь Нефеда именно здесь? — спросил Николай Иванович. — Если так, почему сразу сюда не приехали?

— А это у нас вроде облавы. Сперва-то круг пошире дали, верных людей упредили, вечор — круг ополовинили. Таперя — в самую что ни на есть точку. Тут она, провалиться мне и лопни мои глаза.

Лошадь нашли среди скирд овсяной соломы, подняли всю деревню. Пашаня ударил Хурмата, татарин выхватил нож, Нефед — вилы. В свалке убили бы не одного, но Роман бросился в середину между озверевшим Нефедом и Хурматом, выстрелил вверх из револьвера.

— Всё это — очень грубая подделка, — говорил потом учитель каменнобродцам, — прав был Хурмат: воры живут в нашей деревне! И это, товарищи, не простое воровство. Здесь политика. Люди преследовали определенную цель: озлобить против татар не только Нефеда. И — неумно, очень неумно сработали!

* * *

На холмах земля подсыхала. Снова приехали шефы. Опять собирали мужиков в школу. Николай Иванович по дворам ходил, с глазу на глаз с хозяевами беседу вел. Озерная улица вся в артель записалась, а с Верхней всего пять дворов. Потребовали землемера. Отрезал он для артели Длинный пай. Староста продал

одну лошадь, крышу железную с дома снял, разобрал на дрова пристройку. Потом с заявлением в артель пришел к Роману Васильевичу — не приняли.

Председателем артели Романа Васильева выбрали: мужик он непьющий, хозяйственный. Зимой его в партию приняли и кузнеца. Николай Иванович крепче на ноги стал: хоть и мало партийцев в ячейке, всего-навсего трое, но это уже организация. И у Верочки в комсомоле человек восемь — по тем временам сила! Однако Верхняя улица на своем стояла: над нами не каплет, поживем — увидим.

Перестал Андрон ходить в школу. Ничего не могла понять Кормилавна: другие-то, кто побогаче, хозяйство ополовинили, а этот лошадь вторую — чистых кровей кобылицу — выменял, озверел в работе. На кого старается? Не ровен час — всё под метлу заберут...

В эту же весну чуть не умер Валерка. Когда вздулась река, провалился он в воду. Вытащил его Володька, сам едва выбрался; с головой пришлось окунуться. Обсохли на берегу. Отцу побоялся признаться Валерка, а утром не встал с постели. Дней через десять лишь слабеньким голоском на Метелиху попросился. Посмотреть на разлив Каменки, на леса. Сидел Валерка на камне, опираясь спиной о ноздреватый выступ, под глазами круги темные, пальцы тонкие, восковые. И жилка тонюсенькая на виске еле приметно бьется. Дышал, как цыпленок, ртом.

— Хорошо здесь, папа, — сказал отцу перед вечером, — ты и завтра меня сюда же... Ладно?

Отдышался Валерка, выжил, а Володька в доме учителя совсем своим человеком заделался. Только Верочка всё еще не замечала настороженного взгляда Володьки, всё посмеивалась, когда повернется неловко или уронит что.

К пахоте трактор пригнали. От мала до велика высыпала деревня за околицу глянуть на железного коня. И как он будет пахать? Да и родит ли еще потом земля, не провоняет ли керосином? Всякие были разговоры. А только трактору всё нипочем. Быстро большой клин в яровом поле подняли. Никогда не пахали так раньше.

Татары-плотники, что рубили новую школу, топоры побросали, всей артелью у трактора сгрудились,

любовались на диковинного коня. Тут же, в толпе, и учитель поблескивал стеклышками своих очков, и кузнец Карп Данилович, и старик Петруха Пенин, и Екимкин отец. Сгрудились все на меже, а Володька забрался на крыло трактора, полдня не слезал.

Устинья тоже пришла на поле, держалась в сторонке, за спинами соседок: не хотела, верно, чтобы учитель ее увидел. Совестно было за то, что зимой мужа перед всеми опозорила, а потом сама к Роману Васильевичу три раза ходила. Приняли и Екима в артель, иначе и в самом бы деле стоять ей с ребятами да с сумой под чужими окнами.

Всё ладно бы шло на пахоте, да в конце загона, у самого леса, Андропова полоса в артельное поле вклинилась. Володька сказал трактористу, а тот отмахнулся: буду я еще восьмерки выписывать! Не сбавляя скорости, переехал межевой столбик, срезал угол сажень на десять.

Наутро приехал Андрон со своим плужком: полоса его чуть ли не наполовину вспахана. Пласт ровный лежит, как подмасленный, так и отливает вороненым глянцем. Сколько лет отрабатывал Андрон эту полосу, сам пни корчевал, унаваживал, и вот те на.

Не стал размышлять мужик, отмерил шагами сколько надо, нашел под пластом срезанный столбик, заново вбил его и проложил поперечную борозду. До вечера вспахал остальное, а еще через день с бороной приехал. Смотрит — опять нету столбика, клин заборонован по старому следу, неподалеку трактор ползет, сеялку за собой тянет.

Стал Андрон на меже, с места не тронулся, пока трактор чугунным лбом в самую грудь не уперся, — стянул за рукав тракториста:

— Ты што, окосел?

Тракторист за словом в карман не полез: парень из заводских.

— Извини-подвинься, гражданин единоличник, — ответил он, изворачиваясь от второй руки Андрона, — пока ты на полатях чухался, я тут два круга с сеялкой объехал.

— А по мне, хоть десять. Сказано, заворачивай!

— Как бы не так!

Андрон тракториста за грудки, а у того в руке

ключ торцовый. Вырвал Андрон ключ, хотел по колесу переднему ударить, чтобы отпугнуть тракториста, да промахнулся — со всего маху по боковой стенке радиатора угодил, — кипятком вареным, паром обоих обдало.

— Быть тебе в Соловках за это, — враз побелевшими губами прошептал парень. — Думаешь, ты по железяке ударил? Нет, контра ты непридушенная... Ты на советскую власть руку поднял!

— Православные, убивают! — завопила бабенка, что стояла на подножке сеялки. — Караул!! — И опрометью бросилась на дорогу.

Не прошло и часу — вся деревня ходуном пошла; кто пешком, кто на лошади — к трактору. У своей телеги, в плотном кругу мужиков с Озерной, Андрон, как медведь, озираясь, сжимая в руках дубовый кол, хрипел через зубы:

— Не подходи! Порешу!!

Так и застал его Николай Иванович. Задние напирали, жарко дыша в затылок передним открытыми ртами, харкали сгустками матерщины.

— В чем дело, товарищи? — не повышая голоса, заговорил учитель. — Что у вас тут происходит?

Круг раздался, Андрон выпустил кол:

— Вяжите. За свое, за кровное пострадал...

Из-за спины тракториста ужом извернулся Артюха, подскочил к Андрону.

— Вот, смотрите, товарищ партийный секретарь, смотрите, товарищи колхозники, — начал он, захлебываясь и глотая обрывки слов. — Мы его агитировали на сто процентов; по вашему настоянию, Николай Иванович, из списков на ликвидацию исключили, а он сорвал наконец свою маску, открытое лицо показал! Я так думаю, товарищи колхозники: верхового сейчас в Константиновку за милицией.

— Без крика, попрошу вас, — холодно остановил Николай Иванович Артюху. — Без крика, повторяю! Андрон Савельич, расскажите вы. Спокойно, товарищи, спокойно!

Андрон осмотрелся вокруг, одернул рубаху, пригнулся и молча подал в руки учителю свой межевой столбик, на котором отчетливо была видна вмятина от шипов тракторного колеса.

— Видели вы этот столбик? — обратился Николай Иванович к трактористу.

Тот злобно сверкнул белками.

— Видели или нет?

— Видел.

— Значит, сознательно? Так какого же черта! — не сдержался учитель. — Что у вас здесь, я спрашиваю?! — Николай Иванович сгибом среднего пальца постучал себя по лбу.

Тракторист растерянно переминался с ноги на ногу.

— Всё равно не имеет он права машину калечить, — выдавил он наконец, — государственная она.

— Правильно. И виноваты вы оба. Кто больше, надо еще подумать. Поэтому и ремонтируйте вместе.

У Андрона горошины пота над бровями выступили, тракторист молчал.

— Повторяю, — как на уроке, проговорил Николай Иванович, — ремонтируйте трактор вдвоем! Стоимость ремонта уплатит Андрон.

— Так чугун-то не варится! — по-другому уже проговорил тракторист. — Как же я его залатаю? Чем?

— А по мне — хоть этим же межевым столбиком. Чтоб в другой раз загодя видеть, куда поворачивать. Так ведь и голову можно здесь, на меже, оставить.

Николай Иванович повернулся и зашагал прочь. На дороге уже снял фуражку, вытер испарину на затылке.

Дня через два машину исправили. Ретивого парня выручил Карп Данилыч: наложил он на трещину медную пластину, а под нее — просмоленную прокладку. Всё это привернул болтами.

Артюха за эти же дни выкроил время, съездил-таки в Константиновку — будто по делам сельсоветским, а на самом деле полдня просидел в каморке волостного милицейского начальника. Тот обещал держать разговор в тайне, а в книжечке у себя записал: «Каменнобродский учитель Крутиков подменяет жесткую политику партии по отношению к кулачеству соглашательством с явно враждебными элементами». Под конец поблагодарил Артюху за революционную бдительность и крепко пожал ему руку.

На обратном пути через Кизган-Таш поехал Артюха, потолкался в лавочке, потом напоил коня у ко-

лодца, колеса у брички подмазал. И всё на крайний домишко поглядывал, пока в окне самого хозяина не увидел. Проезжая мимо, мотнул ему головой и сразу же за деревней свернул на лесную заброшенную дорогу.

У Провальных ям Артюху остановил Гарифулла.

— Когда кончишь?! — спросил татарин, прежде чем поздороваться.

— С такими делами, сам знаешь, другой раз надо и оглянуться, повременить.

— Сколько слова осталось?

— Четыре строчки. Я ведь теперь эту нашу барышню в запасе держу. Для проверки. Как в тот раз договорились, нашел я в городе аптекаря. А чтобы и он ни о чем не догадывался, слова-то ему из разных строчек подсовываю. Теперь-то уж скоро.

— Раньше ты про лесничего говорил?

— Про Вахромеева? Что ты! — Артюха отмахнулся испуганно. — Аж затрясло всего, и глаза дикими сделались. Еле выпутался потом. Теперь, как завижу его в городе, за три квартала обхожу. Этот похлеще Евстафия Гордеевича.

Чтобы и у Гарифуллы не возникло каких-либо сомнений и он не подумал бы неладное про своего единственного компаньона, Артюха тут же на козлах брички развернул тетрадь и по складам прочитал уже составленный перевод нескольких строчек, переписанных с плана.

Строки эти написаны были в три этажа. Самая верхняя — точная копия того, что значилось на восковке Ландсберга, и читалась справа налево по-татарски. Ниже под каждым крючком и закорючкой арабского текста были проставлены русские буквы. И уже в третьей строке слова шли как положено — слева направо. Вот их-то — по одному, по два — и переводил Артюхе в Бельске ничего не подозревавший аптекарь.

— Теперь паспорт надо, — проговорил татарин, когда Артюха кончил читать перевод.

— Это для нас проще простого, Гарифулла Сайфутдинович! — заверил его Артюха. — Насчет паспорта ты не беспокойся. И в мыслях того не держи. Знай, с кем дело имеешь. Главное — нам сундучок добыть. Сундучок, говорю... Паспорт — это раз плюнуть.

— Ярый-инде. Сав бул¹. — Гарифулла отступил на шаг в сторону.

— И тебе то же самое. Ну, до свиданьица. Через недельку-другую дам знать. Всё будет в порядке, не сомневайся.

Ехал по лесу Артюха опустив вожжи. Колеса брички поочередно ныряли в глубокие колдобины, зарывались по ступицу в жидкую грязь, тарахтели по корневикам. Седока бросало то вправо, то влево, но он не замечал этого. Перед глазами — сундук, николаевские червонцы. Сколько их там?.. Четыре строчки осталось. А что если взять да и показать этой библиотекарше, не мытарить себя. Посулить ей шубенку к зиме, муки полмешка просеянной, чаю, сахару на полгода. А можно и с ней махнуть... до той же Уфы. Деньга-то, она всё покупает. Ищи потом ветра в поле!

Четыре строчки... А план — у татарина. Там еще стрелки какие-то нарисованы, в кружочках у каждой цифры проставлены. Без плана всё это впустую может обернуться. Ладно уж, черт с ним, с Гарифуллой. Придется делить на двоих. Разыскать всё, разметить, загодя остальное обмозговать, документы выправить. Подождать до осени, потемней да подождливее ночьку выбрать. Пару лошадок добрых... Гони потом наметом до самой станции, на сто верст на дороге ни одной собаки не попадетсЯ. И с этим Евстафием Гордеевичем, с господином штабс-капитаном Ползутиным, кончать надо лавочку. К добру-то оно не приведет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Летом Володька работал в колхозе вместе со взрослыми. Сады и огороды как-то сами по себе отошли в сторону. На севе бороновал, а тут и покос не за горами, страда. Вытянулся, загорел парень, руки у него сделались жесткими. А Валерку два раза в больницу возили. Недели три пролежал он в Константиновке, потом еще хуже стало, в город отправили, — застудил парень легкие.

К осени школу срубили, из Бельска привез Нико-

¹ Ладно. Будь здоров (татар.).

лай Иванович новую вывеску. На толстом зеркальном стекле было написано: «Школа колхозной молодежи». Володька сам прибивал на дверях дощечки: «Кабинет физики», «Кабинет химии», на носках потом проходил возле этих классов.

В кабинетах Николай Иванович чудеса показывал: добывал электричество, опыты разные проводил, а один раз сами собой загорелись у него восковые свечи. В клубе потом перед началом постановки Верочка этот же опыт проделала и еще показала, как обновление икон получается.

Мужики качали головами, бабы моргали испуганно, а в церковь всё равно толпами шли.

С Верхней улицы по-прежнему в колхоз не записывались, а слухов вздорных хоть отбавляй. Опять появились старцы блаженные. От избы к избе пробираются с клюшками, всякий вздор плетут. Одного такого проповедника Верочка в сельсовет доставила. Кулаком беглым оказался, сбежал оттуда же, где мельник и Кузьма Черный находились.

После случая с «божьим странником» озлились старухи на Верочку. Затаила недоброе на дочку Николая Ивановича и Улита: накануне престольного праздника ночью нагрянули к Улите в избенку комсомольцы, аппарат самогонный разломали.

Жадно хватался Володька за всё новое, а как на уроке физики про машины разные да электричество услышал, словно помешался на книжках. Как зима миновала, и не заметил. Не узнать стало парня, и Николай Иванович не раз сам говаривал:

— Закончишь семь классов, помогу тебе в городе получить среднее образование.

По-другому смотрела на Володьку и Верочка.

Когда Кузьму-лавочника раскулачили, Фильку — сына его — в деревне оставили. Сам Николай Иванович настоял, чтобы Фильку не трогать: сын за отца не ответчик.

Непонятно было Володьке, чего это Николай Иванович за Фильку хлопочет. Парню в это время лет восемнадцать было, такому бы только работать, а он так, всё дурака валяет. Зимой возчиком в кооперативе пробыл, летом на вышке пожарной сидел. Не чист на руку Филька. Пьет да девчат обижает. Не любили его

за это в деревне, а Николай Иванович свое: «Перевоспитается в коллективе».

На гулянье как-то подошел Володька к парням холостым, а там в кругу Филька пьяный куражится:

— От меня ни одна не уйдет, да на своих-то, деревенских, смотреть интересу мало. Одно слово — необразованные. С городской бы вот посумерничать. Маргарита для меня старовата. Эта одна остается — Верка. Потому и в кружок записался — просвещаюсь на предмет культуры. А как же! А учитель-то — в партию, говорит, пиши заявление. Пинжак, говорит, кожаный, сто рублей и револьверт получишь. Это уж обязательно. У них, коммунистов-то, у всех револьверты! Да и она, Верка-то, льнет. Ладно, обожди, думаю, дай срок, утешу...

От этих слов заскрипел Володька зубами, кулаки налились каменной тяжестью. Двинул плечом, в середине круга оказался. Обернулся Филька, рыгнул, пошатываясь.

— А ты, Меченый, чего тут? — спросил, выпячивая слюнявую губу. — Которые в нужнике учительском полы подтирают, дак им вроде не резон разговоры наши приятельские подслушивать. Ну, чего уставился?!

Покачнулся Филька, сделал шаг по направлению к Володьке, протянул было руку. Оттолкнул Володька Филькину клешню, снизу вверх изо всей силы ударил Фильку по челюсти. Опрокинулся Филька, плашмя возле бревен грохнулся. Девки врассыпную с пригорка, визг подняли.

Озверел Филька, да парни плечом к плечу стали, отгородили Володьку. Кинулся Филька парней расталкивать. Поднялся тогда с бревен Егор; с Дуняшкой у плетня сидел до этого. Парень что надо, в плечах шире Фильки и ростом на голову выше. Подошел, осадил Фильку за ворот, проговорил с усмешкой:

— Шея у тебя с утра не чесалась?

— Пусти, — хрипел Филька, — не встревай, самого пока не задевают! Тебе что?.. Одной Дуньки мало?

— Замолчи, паскуда! — стиснул зубы Егор.

Филька ссутулился, вобрал голову в плечи и вскоре ушел в переулок.

С этого и пошло: наплели старухи невесть что про

Верочку: и с Филькой она, и с Егоркой, и гармониста Мишку Кукушку помянуть не забыли. Больше всех Улита старалась: и Верочку и Маргариту Васильевну высмеивала. Знала про эти разговоры Верочка, да внимания на них не обращала, а Володька злился.

Воскресным днем зашел он в избенку вдовы, поздоровался чинно. Как сосед Андрон, помолчал, пожевал губами, прежде чем новое слово молвить, и начал, поглядывая исподлобья:

— Ты бы, Улита, язык-то попридержала малость. Или не впрок пошло, что в клубе тебя продернули? Дождешься еще и похлеще. Скажу вот...

Улита стояла у печи. Подбоченясь, пропела:

— Тю!.. Напужал. Уморушка! Скажи, скажи, соколик. К учителю побежишь?! Сделай милость, скажи. А допрежь того дай-ка сопельки тебе подотру, — и схватила скалку.

Тут и Филька в дверях, бутылка в руках у него пустая. Увидел Володьку, остановился в проеме:

— А ну, брысь отседа! Кому говорят?! Дам вот затрещину, — но не ударил, только матерно изругался.

Никому не сказал Володька, что заходил к Улите. Понятно, она Фильку спаивает и других парней. Судить таких надо. Решил подождать до заморозков, — на покров обязательно гнать будет, вот тогда и накрыть с понатыми. Запоешь тогда по-другому.

С месяц, может, прошло, и еще раз довелось повстречаться Володьке с Филькой. Пары поднимали. Володька работал прицепщиком, и пришлось ему за маслом для трактора в деревню идти. Дело было перед рассветом. Ведерко набрал — и обратно, в поле. Можно было и по Озерной улице направиться, через выгон, напрямик, ближе к трактору. Но Володька по Верхней пошел: мимо школы пройти захотелось. Николая Ивановича дома не было, — к сыну в больницу ездил. Идет себе Володька, песенку насвистывает, а как за угол завернул — показалось ему, что затаился кто-то возле новых тесовых ворот у школьного забора.

Вида не подал Володька, пересек улицу, скрылся в тени берез около церкви. Ведерко поставил да через соседние огороды — кругом. Смотрит, а у школьных ворот Филька, у столба — квач дегтярный.

Плохо помнит Володька, что потом было. Выдер-

нул он из прясла кол, кошачьим, неслышным шагом подкрался к Фильке и шарахнул его по плечам.

Филька икнул, тычком в землю сунулся. Извернулся, однако, пнул Володьку сапогом в грудь. Отлетел Володька к забору, подмял его Филька и — за горло. Задушил бы насмерть, да на шум за воротами Верочка выскочила.

Опомнился Володька, сел и глазам своим не поверил: стоит Филька посреди дороги медведь медведем и не бежит, не обороняется, а Верочка хлещет его по щекам наотмашь. К Володьке потом подошла:

— Спасибо тебе, Володя! — еле выговорила, а у самой лицо пятнами. Увидела, что рубака на нем разорвана, в комнату к себе завела, снять велела и быстро-быстро заштопала аккуратным, мелким стежком.

— Папе не говори об этом, — возвращая рубашку, попросила Верочка и погладила Володьку по растрепанным волосам.

— Угу, — мотнул головой Володька, а сам глаз от стола не отводит. Тетрадь там толстая была развернута возле лампы, — верно, писала что-то Верочка с вечера. И тут же, около зеркальца, в простенькой рамочке фотография незнакомого парня в спортивной майке. Глаза у парня веселые, лицо чистое, с ямочкой на подбородке.

* * *

Осень настала. Холодом потянуло с озера. Снова пришлось повстречаться Володьке с Филькой, и опять эта встреча оказалась недоброй. Вечером шел Володька оврагом, теленка искал. По дну оврага ручей змеится. Здесь же небольшая запруда, бани деревенские. Смотрит Володька: из бани Дениса Филька вышел.

Присел Володька в чапыжнике, в трех шагах пропустил мимо себя Фильку. Идет Филька, спотыкается, а в руках у него бутыль, лыком оплетенная. Переждал Володька, а Филька тем временем на косогор выбрался и побрел по жнивью, как будто к мельнице. Не понравилось Володьке, что тот по чужим баням шатается, пусть хоть и племянник Денису, больше же всего то насторожило, что не в деревню направился Филька. А у мельницы скирды хлеба артельные. За-

валится пьяный в солому, закурить, чего доброго, вздумает.

Подумал так Володька, снова скрипнула дверка. Озираючись, выглянул из нее Иван Кондратьевич и разом потерялся из виду. Проглотили его вечерние сумерки. «Что-то неладное они удумали, — решил про себя Володька. — По чужим баням о добрых делах не советуются».

Володька сразу же — в школу. Николай Иванович разговаривал с приезжим из района. В комнате от табаку зелено. Тут же и мужиков деревенских человек пять сидело. Это уж всегда так, стоит появиться новому человеку. Заглянул в дверь Володька, войти не решился, а перед глазами — Филька.

Николай Иванович Володьку заметил, сам в коридор вышел:

— Чего тебе?

— Ружье бы мне, Николай Иванович, да патрон хоть один. — И Володька рассказал о том, что видел в овраге.

Учитель сорвал со стены оба ружья, Валеркино Володьке сунул. А над Каменкой зарево уже полыхало.

Половину хлеба отстояли. Обгорел Володька на пожаре, волосы опалил, на руках — кожа клочьями. Обгорела и Верочка, блузку на ней прихватило. Когда огонь затихать начал, отвела Верочка Володьку в сторону, не стесняясь сбросила с плеч разодранную блузку и перевязала Володькины руки.

Стоял Володька потупясь, на голые плечи девушки глянуть не смел, а по щекам жгучая краска. Заметила это Верочка, смутилась.

Взяли Фильку на мельнице, а при нем бутыл с керосином на донышке. Тут и связали его. Ивана же Кондратьевича не нашли. Скрылся.

На суде Филька юлил, отпирался от всего. Володька перед всеми рассказал, как было дело. И про Верочку Фильке припомнил, что опозорить ее намеревался, и про полено. А закончил так:

— Враги новой жизни кулаки и подкулачники. Они спят — Длинный пай во сне видят. Только наш он теперь, и никто его не присвоит! Нет такой силы, чтобы мироедам его вернуть!

Тут же, после суда, подошел к столу Николай Иванович. В руках у него было ружье.

— От имени правления артели и партийной ячейки вручаю этот подарок патриоту колхоза, — сказал учитель и передал ружье Володьке.

Через день Володьку принимали в комсомол. Лет маловато, да ведь о человеке по делам судят, — первым в огонь бросился хлеб артельный спасать.

* * *

Уехал Егор на курсы. Заскучала Дуняшка. Видел это отец и опять про себя подумал: перемелется. А оно не проходит, — неладно стало с девкой. Сидит другой раз у окна, косы переплетает, да и забудется так-то, на зов не сразу откликнется.

Припер тогда Андрон Савельич к стене свою Кормилавну. Та — в слезы: не усмотрела. Сделался Андрон Савельич темнее ночи. Принес в избу чересседельник ременный, намотал на руку косу Дуняшкину, а ударить не смог: зеленые огни в глазах дочери загорелись.

Опустил Андрон руки, бросил чересседельник. Как оказался в избенке Улиты, не помнил. Враз поняла пронырливая бабенка, с чем пришел нежданный гость, засуетилась. А когда налила из четверти третий стакан, обмолвилась:

— Девки-то ноне повелись: того и гляди, принесет в подоле!

Поперхнулся Андрон. Жилы на шее вздулись. Однако сдержался. Откуда ни возьмись, Пашаня да тот же сосед, Денис Епифорыч. Пьяные оба изрядно.

Улита, как только Денис в дверях показался, — четверть на стол, за грибами в подполье нырнула, сала шматок — на сковородку. И Андрона за стол усадила. Захмелел мужик. Тут-то и состоялся сговор: пропил Андрон свою Дуняшку.

Улита больше всех старалась, а как Андрон с Денисом по рукам ударили, по вековой бабьей натуре слезу пустила, по воле девичьей сокрушалась, а потом глаза вытерла, за стол со всеми уселась, выпила во здравие нареченных, глянула на Андрона, будто

сказать хотела: вот, мол, и сделано дело, чего убиваться-то, всё поправимо!

Когда узнала Верочка про сговор, отправилась к Андрону Савельичу. Все слова перебрала мысленно, какими думала убедить родителей. Неужели сам Андрон не понимает, что губит он дочь, не старое теперь время, чтобы распоряжаться судьбой детей без их ведома и желания. Дуняша — славная девушка, она не посмеет, конечно, огорчить родителей самовольным уходом, но она — человек. И притом она любит Егора...

Пока шла, всё хорошо получалось, а как встрети-лась с холодным взглядом Андрона, голоса своего не узнала.

Андрон стоял, повернувшись боком к окну, возле которого присела Верочка. Она видела только крылатые брови, освещенный огнем из подтопка крупный, мясистый нос и черную бороду.

— Всё? — спросил Андрон, когда Верочка остановилась, чтобы перевести дух, и девушка не узнала в этом человеке того заиндевевшего, по-отечески доброго деда-мороза, который сказал когда-то, обращаясь к ней: «птаха».

— Нет, не всё. Вы подумайте, товарищ Савельев...

— Всё передумано, — не поворачиваясь, отрезал Андрон. — В советчиках не нуждаюсь. А тебе, не в обиду будь сказано, вот он — бог, а вот и порог.

— Изверг вы! — задыхаясь, проговорила Верочка.

Свадьбу скрутили за неделю. Андрон на людей не смотрел, Кормилавна тенью по избе передвигалась. Сидела Дуняша за столом свадебным — краше в гроб кладут, а возле нее кособочился прыщеватый малый, ухмылялся слюнявыми губами.

Примечательным было и то — не пришел на свадьбу поп Никодим. Любил батюшка выпить, за столом не имел себе равного, хоть ведро влей, а тут отказался. Еще больше озлился Андрон: пил, не закусывал, а потом бороду лохматую выпятил и так кулачищем по столу двинул, что посыпалась на пол посуда.

— Смотри, Денис Епифорыч, кралю экую — яблочко наливное — за недоноска твоего отдаю!

— Так-то оно так, сватушка, — смиренно отвечал Денис, перегибаясь через стол к Андрону. — Да ведь яблочко-то с червоточиной!

Выхватил Андрон одним махом из-за стола свата, поднял над головой, высадил родственником дверь на чистую половину, где молодым постель была приготовлена.

Ахнули гости. Дуняшка и бровью не повела. Повернулся Андрон Савельич, нетвердым шагом обошел застоллицу, погрозил зятю:

— Пальцем тронешь — дух вышибу! — Прислонился плечом к притолоке, обмяк разом и вдруг, вспомнив что-то, как был без шапки, — во двор.

* * *

Улита спала на лежанке. Проснулась оттого, что постучал кто-то в угловое оконце.

На пороге — Андрон с чересседельником. Борода всклокочена. Размашисто перекрестился в угол, дождался, пока Улита на столе прибрала, огурцов нарезала. Выпил, крякнул, корочку к носу поднес. Потом рывком повалил бабенку, сарафан закинул на голову, ременным чересседельником так отходил Улиту, что та и выть перестала. Долго помнила это Улита, и — молчок. То юлой крутилась перед каждым, всё с прибаутками, теперь лежит на лавке и тихохонько стонет.

— И ума не приложу, бабоньки, — отвечала она на вопросы сердобольных соседок, — с чего бы оно? Как есть вся поясница отнялась! Видно, уж годы. Ох, грехи наши тяжкие...

Опустело в доме Андрона Савельича. Сам хозяин молчит сутками, Кормилавне словом перекинуться не с кем. Всё с собой унесла Дуняша — и тепло, и покой домашний.

Проснется Кормилавна ночью — сидит Андрон на чурбашке. Без огня сидит, думает. И еще одна неотвязчивая думка засела в голове Андрона: хватился он как-то чересседельника — не нашел. Видно, и его с собой дочь забрала. Подумал так-то Андрон Савельич и похолодел.

— Чует сердце мое недоброе, родная моя Фроловна, — жаловалась в эти же дни Кормилавна Володькиной матери. — Ну, а чего ты поделаешь, коли сам на дыбы взъерепенился! Ох, ничевошеньки-то тебе не

ведомо, а я уж и света белого перед глазами не вижу.

А Дуняша и тропу к дому родительскому забыла: характер отцовский сказывался. Другой раз из окна видно — пройдет по воду или в лес за дровами проедет на дровнях. Сама лошадью правит. Игнат сидит позади, вытянув ноги по-бабьи.

Кормилавне шепнули соседки: зачастила к Дуняшке Верочка. То одна, а больше с подружкой своей — Маргаритой Васильевной, а Денис лютует.

Больше всего боялась Кормилавна этой Верочки: а ну как собьет Дуняшку с пути истинного! Им, городским-то, что? У них это запросто: хочешь — живешь, не хочешь — твое дело. Не венчаны сходятся, без родительского благословения. И расходятся так же. А в деревне уйди-ка от мужа жена?!

Великим постом перед исповедью зашла Кормилавна сама в дом Дениса. Старика не оказалось при этом, не было и Игната. Дуняшка мыла полы. Глянула искаса Кормилавна на дочь, — порядочно времени прошло, а ничего не заметно. «Зазря ославила девку», — подумала. А та выпрямилась было — и снова пригнулась со стоном. Опустилась на лавку, уронила в колени руки. Испугалась Кормилавна: лицо у Дуняшки в пятнах землистых.

— Который же месяц-то, доченька? — спросила мать одним выдохом.

— Не всё ли равно, маманя, вот шалью перетягиваюсь...

Не договорила Дуняшка, припала головой к плечу матери. Гладила та темные волосы дочери высохшей, жесткой рукой, катились по ее морщинистым щекам мелкие росинки слез.

— Уйду я, маманя, — всхлипывала Дуняшка, — в город уеду. Поверит Егор: не по своей я воле. Не поверит — руки на себя наложу!

Сказала так-то, и снова те же огни зеленые загорелись у нее в глазах, которые остановили однажды руку Андрона Савельича. Потом говорила тише:

— Игнат-то, он добрый, на него зла не имею. Не его вина, что уродом вырос. Он сам-то больше моего ревет. И вас с отцом не виню: темные вы оба, не за человека, за коров, за свиней меня выдали, за богатство. Боязно мне, маманя, страшно подумать. А все-

му причиной старик... Пристает... Проходу мне нету.— И плечи Дуняшки ходуном заходили.

Прямо из ворот свата отправилась Кормилавна на дом к отцу Никодиму, обо всем тому рассказала, во всем призналась, как на исповеди. Нахмурился отец Никодим, а на другой день в церкви, уже сама видела Кормилавна, подошел к священнику сват Денис, припал на колени, бороденкой мочальной в ноги сунулся.

— Изыди! — коротко обронил отец Никодим.

Вздрогнул Денис, дрожащими руками ухватился за поповскую рясу.

— Изыди! — громче повторил священник. — За поправление устоев семьи нет тебе моего благословения! Поклонись в ноги богоданной супружнице слабовольного сына своего. У нее испроси прощения!

Денис вышел из церкви шатаясь. Бороденка его тряслась. Учитель Николай Иванович, когда ему стало известно об этом, сказал при народе:

— Молодец поп!

После пасхи слегла Дуняша. Поскользнулась в воротах с ведрами, упала. Учитель отправил школьного сторожа в город, за доктором, Верочка в доме распоряжалась. Повитуху на порог не пустила. Появился у Андрона с Кормилавной внук, назвали его Андрюшкой, а Дуняшка еще пролежала пластом дней десять.

Все эти дни Кормилавна с Верочкой от постели Дуняши не отходили, обо всем переговорить успели. Вздыхала старушка, — славная дочка у Николая Ивановича, рассудительная, по злобе на нее наговаривала Улита.

Иной раз Игнат через порог переступит несмело, глянет за полог жалостливо, а старик — тут как тут, так и шипит:

— Экий остолоп, прости господи, уродился! Да ты хоть бы в лавочку добежал, купил бы жене-то чего ни на есть: пряничка там полфунта, может, она, голубушка наша сизокрылая, леденца пососать хочет. На́ вот... — Трясущимися руками старик развязывал кошель, совал в горсть сыну зеленые медяки.

Отворачивалась Дуняша от слов этих, одна за другой скатывались на подушку слезы. Видела Кормилавна — дрожат у Верочки тонкие губы, а Дениса так и полоснет ненавидящим взглядом.

Полтора года прожила в Каменном Броде Маргарита Васильевна, а разбираться в людях всё еще не научилась; с Николаем Ивановичем старалась не задерживаться подолгу — помнила поганенькую усмешку Артюхи. Понемногу и исподволь Верочка втягивала застенчивую девушку в комсомольскую работу, к занятиям с неграмотными привлекала и всякий раз подбадривала, радовалась первым ее успехам. Сама не зная еще того, какую пользу приносит она общему делу, Маргарита Васильевна читала вслух такие места из книжек, что все, кто слушал ее, забывались. Любая книжка у нее говорила своим голосом, и каждая страничка заставляла думать, — столько души вкладывала она в слова.

После того как Дуняшу насильно выдали за Игната, Маргарита Васильевна посоветовала Верочке написать письмо Егору и тут же показала уже написанную страницу: «Какой же ты комсомолец, если оставил любимую девушку и не можешь помочь ей», — прочитала Верочка.

Долго ждали ответа, а его всё не было. Николай Иванович в то же время очень часто получал письма от Егора. Написали еще — Егор не ответил, и тогда подруги решили, что Дуняша и в самом деле ошиблась в Егоре.

Когда у Дуняши родился ребенок и сама она попросила Верочку написать об этом в Уфу Егорке, та исполнила просьбу, а в конце добавила от себя: «То, что ты делаешь, называется подлостью». Как и раньше, письмо было брошено в ящик, прибитый у крыльца сельсовета, и не успела Верочка завернуть за угол, оно было уже в руках у Артюхи.

С неких пор Артюха стал опасаться Верочки больше, чем самого Николая Ивановича, и успокаивался только на том, что с Улитой у них дружбы не получилось.

Лопнуло дело и с кладом. Когда оставалось перевести всего несколько слов, а потом сесть бы вдвоем с Гарифуллой за план да и разобраться уж окончательно со стрелками и номерами, — татарина посадили. На пустяковом, копеечном деле застукали. Жди

вот теперь, когда его выпустят. Артюхе точно известно: при обыске в крайней избенке Кизган-Таша никаких бумаг найдено не было. Значит, Гарифулла успел запрятать план в надежное место. Учить его этому не надо. Остается одно теперь — ждать. Ну — год-полтора: за телушку-то больше не дадут. Эх, Гариф, Гариф!.. В доброе старое время купеческих рысаков чистокровных через третьи руки уводить поучал, а тут на какую-то дохлятину сам позарился!

От Евстафия Гордеевича вестей утешительных не было, а перед пахотой хозяин заезжего двора в Константиновке шепнул Артюхе: начальник земельного отдела велел передать — сельсовета в Каменном Броде скоро не будет, волости тоже ликвидируются, а сельсовет будет один на всю бывшую волость. Пришлось Артюхе вступать в колхоз. «Я и раньше думал об этом, — писал он в своем заявлении, — но ответственная должность не позволяла оставить государственные дела. Поскольку на сегодняшний день вопрос, кто кого, решен бесповоротно, и принимая к неукоснительному исполнению лозунг партии, что кто не трудится — тот не ест, считаю первейшей обязанностью сознательного строителя социализма честно трудиться в колхозе. Это во-первых, а во-вторых, зная досконально учет и отчетность, согласен работать счетоводом».

Мужики усмехнулись в бороды от такого заявления, однако приняли Артюху в колхоз; подняли руки «за» на общем собрании, — человек грамотный нужен был, другого не скоро сыщешь. Один Карп воздержался при голосовании, но и против не выступил, — кузнец, как и Андрон, был не особенно речист. Николай Иванович заметил это, после собрания спросил у Карпа:

— Ты что, Карп Данилович, недоволен, что ли, решением по заявлению товарища Гришина?

— Находка невелика, — отмахнулся Карп.

Артюха рьяно принялся наводить «порядок» в бухгалтерских книгах, Романа совсем сбил с толку своими расчетами, в каждую дырку совался. Узнал стороной, что комсомольцы собираются на пасху устроить антирелигиозный вечер, явился на репетицию.

— Не пойму, чего это комсомолия нынче робеть начала перед длинногривыми? — разводил он рука-

ми. — Знаете, как оно было в городах в первые годы советской власти? У попов — крестный ход, а они — с гармонью, с песнями по этой же самой улице! Вот это были комсомольцы! А у вас что? Опять голая химия? Значит, и вправду робеете перед мраком? Слабоват, слабоват комсомол...

— И вовсе никто не робеет, — заявил Володька. — Спросим вот Николая Ивановича и сделаем, как он скажет.

Своими насмешками крепко обидел Артюха комсомольцев. Бросили репетицию.

— А что, если я веревки у языков колокольных обрежу? — высказался один. — Здóрово будет!

— Лучше лестницу оборвать!

— Запереть колокольню на свой замок!

Это сказал Володька, все согласились. Артюха сидел, ухмылялся.

Верочка рассказала обо всем отцу. Николай Иванович покачал головой.

— Хорошо ли вы придумали, не знаю, — сказал он. — Нельзя ведь и того забывать, как к этому верующие отнесутся. Палка о двух концах.

— Значит, пусть всё идет по-прежнему? — спросила дочь. — И пьянство на три дня, и всё прочее?

— Надо подумать.

Посоветовались все вместе и решили направить к отцу Никодиму делегацию — «прощупать попу», как выразилась Верочка, а сам учитель улыбнулся при этом недоверчиво. В делегацию Володьку назначили и Нюшку с ним. Перепугалась та насмерть, а отказаться нельзя, — дисциплина.

И вот постучался Володька к попу. Сидел тот за столом, чай пил из блюдца. Спросил, разглаживая густые усы:

— Что за нужда привела вас ко мне?

— Пришли сказать, чтобы крестного хода не было, — набычась, ответил Володька. — Мы, комсомольцы, такое решение вынесли.

Посмотрел отец Никодим на Володьку, широченым плечом навалился на простенок:

— Комсомольцы решили?

— Комсомольцы!

— Интересно... А знаете ли вы, сосунки несчаст-

ные, что я дедов ваших венчал, отцов-матерей крестил?

— Знаем. А только в избы, где комсомольцы есть, не ходите: дверь заперта будет. У нас в протоколе записано: «Если не хочет священник оскандалиться перед прихожанами, пусть подумает».

Ожидал Володька, что после этих слов вышвырнет его поп за дверь, сапогами пудовыми затопает, а тот промолчал. Налил еще кружку чаю, а когда сахар начал колоть щипцами, прищемил, видно, кожу на ладони.

— Значит, решили и записали, — еще раз проговорил отец Никодим, и показалось Володьке, что этот огромный лохматый человечище разом потерял и рост свой, и голос, и никого он теперь уже не напугает, и сам знает про это.

— И ты... ты, паршивец, не молишься? — закипая гневом, но также вполголоса проговорил отец Никодим.

— Не молюсь.

— А ты? — глянул отец Никодим на Ньюшку.

Ньюшка опустила глаза, кончиком языка облизала пересохшие губы:

— И я... и я не молюсь, батюшка.

— От отца небесного отрешилась?

— Отрешилась, батюшка, — еще тише ответила Ньюшка.

Володька толкнул ее локтем: зарядила свое «батюшка», «батюшка», обожди — выйдем на улицу!

Отец Никодим поднялся, надсадно скрипнули под ним широкие половицы.

— Бог вас простит, чада вы неразумные. Идите с миром.

В коридоре не утерпел Володька, ткнул Ньюшку в бок:

— Тоже мне — комсомолка! Расслюнявилась! Видала, как с ним надо дело вести! — И в это же время почувствовал, что у самого во рту пересохло: вспомнил, как полтора года назад поманил его поп толстым пальцем со школьной завалинки, как шел потом он, Володька, рядом с ним и дышать боялся.

Через час ударил церковный колокол к вечерне, из окна школы видели комсомольцы, как отец Никодим

пересек площадь, у ограды не спеша благословил склонившуюся старушку.

— Видал? — съязвила Нюшка.

Володьке нечего было сказать, а на другой день ворвался он в комнату к Николаю Ивановичу без спросу.

— Крестного хода не будет, Николай Иванович, ей-богу! Не вру! — выпалил он с порога. — Только что мать пришла от обедни: больным поп сказался!

Николай Иванович еще раз покачал головой: не верил он в эту затею, а тут оказалось, что поп пошел на попятную. Так и не было крестного хода. Комсомольцы торжествовали победу, мужики отнеслись к этому безразлично, один Артюха был недоволен: промашку сделал — перестарался!

Когда еще снег по оврагам лежал, слух тревожный из дома в дом перекинулся: сбежал из тюрьмы Филька. Про старосту, про того и думать забыли, а тут из города милиционер приехал, с глазу на глаз с Николаем Ивановичем часа два сидел. Потом надежных людей собрали, Верочка молодежь подняла на ноги. Уговорились, как ловить бандита, если поблизости кто заметит.

— В деревню он не осмелится, — высказывался за всех Володька, — тут его каждый узнает. Надо на хуторах проверить, по охотничьим заимкам.

К тому времени темноватый пушок на верхней губе у Володьки пробился; шестнадцатый год парню, девчонки заглядываться начали.

Время шло, слух про Фильку заглох. На артельных полях яровые в дудку погнало, рожь отцвела. На Большой Горе, сразу же за деревней, на чистой луговине МТС заложили. Митинг был с оркестром и флагами. Народу сбежалось — к трибуне не протолкнуться. И татары и русские — всё перемешалось. Первый кирпич положил на бутовую подушку секретарь уездного комитета Мартынов (в гражданскую войну служили они в одном полку с Николаем Ивановичем, воевали на Южном фронте), потом председатели колхозов один за другим в котлован спускались, активисты. И школьники тут же — кто с носилками, кто с ведром — кирпичи подносили и глину. Оркестр гремел не переставая.

Никогда с таким задором не работал Володька, всё

торопил подносчиков: давай, давай! Потом принялся печнику-татарину помогать. Незаметно для самого себя выложил ряд, кирпич к кирпичу, как на картинке. Посмотрел сбоку: ладно ли, разбирать не пришлось бы? Татарин, до самых глаз перемазанный глиной, только языком прищелкивает: давай, давай!

Поодаль в деревянном ящике Верочка с другими девочками глину месила. Глина, тугая и жирная, как колесная мазь, пузырилась под босыми ногами, и капельки пота блестели у всех на висках. Маргарита Васильевна смотрела-смотрела со стороны, сбросила туфли, заколола булавкой юбку выше колен и — тоже в ящик.

Вот и солнце поднялось к полудню, тени сжались, упали под ноги. За штабелем бревен ударили по куску железа. Люди выпрямились и глазам своим не поверили: стена выросла метра на два, а местами и козлы уже стоят, плотники доски на них настилают.

— Как в песне «Идет-гудет ударный труд», не правда ли, Рита? — воскликнула Верочка. — Это и есть настоящая песня! — И вдруг испуганно ухватила за руку подруги.

У котлована стоял человек в соломенной шляпе, в полотняной рубашке-косоворотке и со старым портфелем под мышкой. Сутулый, точно пришибленный, с висячим носом и складками дряблой кожи под злыми, колючими глазами, кричал он на инженера:

— А я говорю: самовольство! В проекте черным по белому сказано: несущие опоры — в два кирпича. А это что?! Крепостные стены возводите?

— А вы побеспокоились о цементе? — в свою очередь кричал на него инженер. — Или это не ваша забота?

— Земельный отдел не снабженческая организация, но контролировать мы обязаны.

— Много вас тут...

— Ах так?! Ну-с, уважаемый, видимо, в другом месте продолжим мы этот разговор...

У Верочки перехватило дыхание: этого человека, с жестким, как топор, лицом, она не могла не вспомнить. И тогда, там, в подвале комендатуры, он также локтем придерживал папку и такими же злыми были его глаза, желтые, как у рыси.

Ни отца, ни Романа Васильевича поблизости не было. Что делать? А сутулый уже отошел к дороге; не меняя тона, сердито выговаривал что-то Артюхе, уселся в возок. Долгим взглядом проводила его Верочка.

— Вы не скажете, Артемий Иванович, как фамилия этого товарища? — спросила она у Гришина, когда возок уже скрылся из виду.

— Это вы про кого? А... про этого. Ну и дал мне прикурить! И всегда оно так — стрелочник виноват! И чего я ему на глаза попался?

Артюха и в самом деле принялся вытирать платком шею, не зная еще, что ответить на вопрос Верочки, и чувствуя одновременно, что это не праздное любопытство.

— Где он работает? В Бельске?

— Черт его знает! У начальства, сами знаете, не у каждого спросишь. Должно, из Уфы. Уж не знакомый ли?

— Похож на одного... знакомого. Очень похож. Только давно это было.

Глуповатая улыбка сползла с лица Артюхи.

— Может, припомните?

— Я всё хорошо помню, ничего не забыла.

Верочка провела пальцами по глазам и не видела, как судорожно глотнул Артюха.

Ночью Верочка записала в своем дневнике:

«Он! Я не могла ошибиться! Не могла!! Я хорошо помню подвал комендатуры. Иващенко разговаривал с офицером, который был у нас с обыском на Коннобазарной, а этот вошел с папкой.

Я не знаю, сколько времени он пробыл на стройке, с кем еще разговаривал кроме как с инженером и тов. Гришиным. Спросила потом у Артемия Ивановича: кто это? Он сказал, что не знает, — должно быть, из Уфы».

Подумала еще, поставила на полях страницы дату «17/07—31 года» и дважды подчеркнула ее.

* * *

За мельницей Каменка снова ныряет в темень лесную. Берега у нее здесь ровные и течение спокойное. Вплотную к самой воде подступают поросшие мхом

древние ели, распростерши навстречу друг другу темные, оголенные снизу сучья. И вода в этих местах темная. Но вот лес расступился, вправо и влево раскинулась широкая луговина. Раздвинула свои берега и Каменка. Здесь много солнца, река играет светлыми струями, в заводях нежится на мягком илистом ложе, а еще дальше — перекат.

Каменная зубчатая гряда перегородила в этом месте реку, приподняла дно. Зализанные красные валуны лежат недвижно. Сжатая с обеих сторон отвесными берегами, бьется здесь Каменка, пенится в каменном желобе и падает с высоты нескольких метров в такую же каменистую чашу. Вечерами, когда на заходе полыхает заря, над впадиной расстилается розоватый туман. Это и есть Красный яр — омут.

Дурная слава живет в народе об этом месте. Старики говаривали, что тихими летними ночами в полнолуние на берегу Красного яра собираются русалки, водят свои молчаливые хороводы или сидят на холодных скользких камнях, распустив по плечам длинные волосы. Недобро человеку оказаться ночью у Красного яра. Заманят его утопленницы к себе, закружат, а потом — под руки да и в воду!

На берегу, под самым обрывом, дубок кряжистый ухватился разлапистыми корнями за кремнистую землю. Дерево старое, а росту ему не дано. Так и осталось пришибленным, только год от году в стороны раздается да наростов на нем прибавляется. Про наросты эти тоже недоброе сказывали: как утонет кто в Каменке или умрет не своей смертью — новый наплыв на стволе, а в этом году разом два вздулись. Вот как всё оно получилось...

В междупарье встала Дуняша на ноги. Молодое дело не стариковское: неделя-другая минула, вновь заиграл на щеках румянец. Облегченно вздохнула тогда Кормилавна, Андрон разговорчивей стал, да и Дуняша вечерами, как с коровами управится, наведывалась к родителям. Расправились морщины на лице Андрона Савельевича.

И вот — гром с ясного неба! В покос дело было. На луга вся деревня высыпала, — травы по пояс в том году выросли. Ну и жили все там же, в лесу, за Красным ярсом. По росе — с косами, после обеда — с граблями.

Андрон в этот раз ночевал дома. Кобылица ожеребилась; не бабье это дело — за лошадью в таком случае присмотреть. Справный жеребеночек родился, со звездочкой. Постоял Андрон под навесом, вздохнул шумно, Воронка запрягать начал. Кормилавна корову на улицу выпустила, узелок с хлебом мужу вынесла, огурцов малосольных, чугунок с кашей гречневой. Только подошла к телеге, а тут Игнат верхом прискакал. Лица на нем нету. Лошадь бросил на улице, сам в ноги Андрону повалился. Обмерла Кормилавна, так и осела у колеса. Андрон — Воронка из оглобель, с маху упал животом на сытую спину мерина да с места во весь опор. Игнат за ним — только пыль по улице.

Прибежала на покос Кормилавна, запыхалась. Под дубком, у самого яра, сват Денис лежит, руки раскинул, язык прикусил зубами. Железными вилами пропорото дряблое тело свата, так и пришито к земле. А в яру — мужики с баграми. Выловили они из воды что-то белое, Андрону с рук на руки передали. Глянула Кормилавна сверху, потемнело у нее в глазах...

С вечера стожок Денис ставил, сам наверху стоял, Дуняша волокуши к стогу возила, Игнат подавал. Торопился Денис: тучка над лесом нависла. Да ничего, обнесло ее краем. Ну, поужинали, спать легли. Игнат с женой — под телегой, старик у стога попону бросил. Сон придавил камнем.

Перед рассветом трясет старик за плечо сына (это уж сам Игнат рассказал Андрону):

— Лошадь-то отвязалась! Неровен час, в овсы артельные черти ее затащут. Пойди поищи! Да не мешкай, пока никто не видел!

Нет нигде лошади, как провалилась! Обошел Игнат луговину: другие, соседские, тут же в кустах боталами позванивают, а этой не видно. На овес вышел — нет! Обратно берегом возвращался, смотрит — стоит мерин у переката и повод ременный от недоуздка болтается на шее узлом. Верно, добрый человек подвязал его: не заступил бы конь повода.

Подумал так Игнат, вывел коня на дорогу. И тут крик от стожка хриплый. Подбежал — отец под дубком распластан, рвет пальцами землю. Дуняша прижала его вилами к земле, налегла грудью, а как Игна-

та увидела, вилы выдернула и еще раз изо всей силы воткнула. Засучил старик ногами.

Остолбенел Игнат. Повернулась к нему Дуняша:

— Будьте вы прокляты! В огне вам сгореть! На угольях!! — И к телеге метнулась. Игнат опередил — откуда сила взялась, — вырвал у обезумевшей Андриюшку.

— Не твой он! Не твой! — выкрикнула Дуняша. Закрылась руками и — вниз головой.

В тот же день Игнат умом тронулся. А Андрон Савельич, как Дуняшу на берег вынесли, вырвал клоч бороды, глянул на руку — в ногтях волосья седые.

Через день хоронили Дуняшу. Диву далась деревня: отец Никодим самолично на кладбище лучшее место указал, где могилу рыть. С хором церковным, с песнопением проводили Дуняшу в последний путь.

За Андроном и Кормилавной тесной кучкой шли комсомольцы. Старухи шипели на Верочку, сверлили ее злобными взглядами. Одна замахнулась суковатой клюшкой. Владимир поотстал шага на два, вырвал дрючок из костлявой руки.

— Хоть бы тут придержали змеиные свои языки, — сказал он старухам, — человека хороним.

Верочка слышала всё, головы не повернула, только крепче сжала руку Маргариты Васильевны. Когда обряд отпевания закончился и отец Никодим нагнулся за горстью земли, она протиснулась в середину и неожиданно для всех заговорила вполголоса, будто вокруг нее никого не было:

— Прощай, Дуняша. Прощай... Мало боролись мы за тебя. Ты — гордая: бросила вызов старому миру...

Отец Никодим выпрямился, густая багровая краска разлилась по его лицу и медленно сходила книзу, а Верочка продолжала теперь уже громче, отчетливее:

— Говорят, поздно искать виноватого. — Она отыскала взглядом в толпе Улиту. — Нет, не поздно!! Не один Денис толкнул ее в омут. Ему старательно помогали злые, завистливые люди. Они возвели на Дуняшу грязную сплетню, вырвали ее из отцовского дома. А вы, вы, отец Никодим, кого вы венчали — «по любви и согласию»? Где была ваша совесть?!

Никодим попятился.

Так схоронили Дуняшу, а к вечеру разразилась

гроза. По набрякшим, тяжелым тучам из края в край полоскались зеленые молнии, громовые раскаты вжимали в землю окрестные горы. И ни в одном окошке не зажегся свет, ни в одной семье разговор не вязался, а утром снова ударил колокол: унылый звон расплывался кругами над деревней и лесом, как от брошенного в воду камня, — у церкви толпились родственники Дениса.

Долго звонил старик Парамоныч, ожидая священника. Наконец тот пришел, махнул сторожу недовольно, чтобы перестал звонить, а Дениса велел зарыть в самом дальнем углу кладбища и гроб от паперти завернул.

Как ни просили родственники Дениса вместе со старостой новым, поп стоял на своем.

— На страстной неделе не Денис ли ползал здесь на коленях, испрашивая прощения за помыслы мерзкие? — сотрясая львиным рыком церковные своды, гремел отец Никодим, гневным взглядом указывая на оставленный перед входом гроб. — Снова похоть обуяла?! Господь бог всемогущ! Позорную смерть уготовил клятвоотступнику, яко псу смердящу!!

Напирая могучим торсом на заробевших родственников убитого, отец Никодим вытеснил их из церкви, запер входную дверь на замок. Ступая по каменным плитам, гудел, оставаясь неприступным:

— Отпевать не могу, не просите: возмутил убиенный душу мою. Призовите для этого иного священнослужителя.

— А как же сноху-то? — начал было один из просителей. — Той и вовсе не полагалось...

Повернулся отец Никодим к говорившему, побагровел:

— Что? Мне, пастырю своему, указывать? Знай: «Новоканон» не дозволяет отпевания самоубийц, но там же, на странице его семьдесят восьмой, после слов «аще убьет сам себя человек, не поют над ним» сказано: «аще бяше изумлен: сиречь, вне ума своего» — не в своем уме была покойница!

Всё это слышал Володька. Непонятно было ему, как же так: на всех собраниях Верочка, да и сам Николай Иванович, попов заодно с кулаками считает, а этот поп хуторян, родственников Дениса, не хочет ува-

жить. И Андрон Савельевич слово в слово всё слышал. И он тут же стоял, на паперти, придерживая под полой туесок с маслом. Не знал, чем бы отблагодарить отца Никодима за похороны вчерашние. А тот ничего не принял.

— Горю твоему родительскому соболезнаю, — только и ответил поп. — Не внял ты слезам материнским. Обошлось бы миром. Казнись теперь!

От слов этих суровых душно стало Андрону.

— Позору на голову принимать не хотелось, — еле выговорил.

— А теперь лучше? Ну, случился грех, дождалась бы Егора, не за тридевять земель выехал. Внука растили бы вместе да радовались. А людская молва — пыль на дороге: ветер дунул, и нет ее!

По дороге к дому встретил Андрон Николая Ивановича. Остановился учитель, первым руку подал. Ничего не сказал, молча до самой калитки шли.

— Старуха вконец обезножела, третьи сутки пластом, — глядя в сторону, проговорил Андрон. — Всё прахом... Вечор корову доить начал было — лягается, клятая! И Андрейка — куда теперь с ним? Матерь он требует, криком исходит. Эх, Дуняшка, Дуняшка!..

— Видишь сам, Андрон Савельевич, неладное получилось, — отвечал учитель. — Что же делать? Мертвые не встают из гроба, а тем, кто живет, надо жить.

— Для ково?

— Как это «для кого»? А внук? И потом, видишь ли, Андрон Савельич... тот, кто всю жизнь для себя одного живет, всё с собой уносит; кто для других — долго еще в народе живым остается.

Мотнул Андрон бородицей.

— Умный ты человек, Николай Иванович, а сказал не то. Народ наш — зверь! Скольким добро делал? В голодный год половину Озерной улицы кто прокормил? Взял ли я хоть с одного грош медный? А послушай теперь, што говорят про Андрона? Тот же Артюха... Видно, и мой черед недалеко. Всё на распыл пойдет...

— От тебя одного зависит.

На том разговор и кончился. Зашел Андрон в сени: на лавке подойник полный тряпочкой чистой прикрыт, в доме прибрано, на столе картошка дымится.

И Андрюшка спит, пеленки постиранные возле печки сохнут.

— Верочка тут была с Маргаритой Васильевной, — подала из другой половины слабый голос Кормилавна. — И завтра, говорит, заглянем... Капель принесла мне от сердца. Вот ведь — чужие-то люди...

До утра просидел Андрон у окошка. Внизу, на Озерной улице, в железо ударили, — Роман собирал артельный народ в поле. Подпасок на дудочке просвистел. Снова Кормилавна заговорила:

— Выдь, Андронушко, корову-то выпусти. Ох, задубеет вымя-то у нее, молоко спечется...

Вышел Андрон, смотрит — под навесом Нюшка, дочь Екима-сапожника, возле коровы присела, и Володька тут же стоит, за рога держит пеструху.

— Бодучая она у вас, дядя Андрон, — жалобно пикснула веснушчатая девчонка, — того и гляди пырнет! А Верочка настрого наказала: это тебе, говорит, комсомольское поручение! Да стой ты, шалая!

Стоял Андрон посреди двора, опустив руки, а в голове опять слова Николая Ивановича: «Кто всю жизнь для себя одного живет, всё с собой уносит». Тут и Роман Васильевич заглянул:

— Дело к тебе, Андрон Савельевич. Может, выручишь?

— Чего?

— Дал бы рыдван денька на два. Сено-то мы придумали разом свезти в одно место, чтобы по лесу стогов не разбрасывать. Телег добрых нету, а тебе рыдван до жнитва без надобности. Цел будет, не думай!

Андрон молча махнул рукой.

* * *

Неладное началось с Андрюшкой: на глазах малец чахнет. Ночи не спит Андрон, держит внука в неумелых руках. Как положит в зыбку, снова тот криком заходится. И голос-то слабенький стал, словно котенок за печкой мяучит. Кормилавна по-прежнему не встает, в избе духота от лекарств; натащила ей Верочка всякой всячины, тут и у здорового человека голова замутится. Уходил Андрон из избы в сенцы, а то и вовсе

на крылечке ночь коротал с внучонком. Дохнёт на парнишку прохладой, забудется он на полчасика. Уснет, а глаза не закрыты.

— Не жилец ты, парнишка, не жилец, — тяжело вздохнет Андрон и сидит ссутулясь, как ворон на сухой ветле.

Как-то выскочил раз жеребенок из сарайчика, взбрыкнул и пошел по двору задком подкидывать. Следом кобылица показала. Проржала коротко, с тревогой: не споткнись, мол, дурашливый. А сама на хозяина смотрит, сытая, гладкая, по спине желобок.

Сбоку от Андрона петуха-горлопана черти бросили на перильца. Захлопал он крыльями, заорал по-дурному. Трепыхнулся, сжался в комок Андрейка, как печеное яблоко личико у него сморщилось.

Запустил Андрон в петуха кирпичиной, рухнул тот за кадушку. Снова глянула на хозяина кобылица, проржала призывно. Жеребенок враз подле нее оказался, принялся поддавать головой под брюхо.

Андрейка кричит, задыхается, кулачками синими возле рта крутит. Тут-то и осенило Андрона. Положил он внучонка за порожек, отвел кобылицу в сарай, привязал накоротко в темном углу, овса в ясли насыпал. Взял потом на руки Андрейку, выглянул на улицу, подпер калитку колом и ушел под навес к яслям. Долго не появлялся Андрон на дворе, а когда вышел на свет, внучонок спал у него на руках и во сне причмокивал влажными тоненькими губами.

С этого и пошло. Никогда не бывало такого, чтобы среди дня с поля Андрон возвращался, а тут по два раза приезжать начал. То топор позабыл, то наковаленку, на чем косу отбивать. И обязательно с Андрейкой во двор выйдет. Принесет потом его сонного, укроет пологом в избе, усмехнется себе в бороду, а раз даже подмигнул Кормилавне.

Ничего не могла понять старуха, одно видела — внучек притих, поправляться начал и ручонки пухлыми сделались.

Понемногу возвращались силы и к самой Кормилавне. К страде отдышалась и раз вечером такое увидела, что и во сне не могло присниться. Застала Андрона в конюшне, когда тот, сидя на перевернутой бадейке, держал внука под брюхом кобылы, а та стоит

не шелохнется, понимает будто, что не зря полны ясли овса у нее насыпаны.

Погрозил Андрон жене пальцем:

— От ума-то великого не сболтни кому. То-то! Ну а теперь, коли знаешь, приучись сдаивать. Кобыла смиренная, не тронет, а коровьего пить он не будет.

Так и вѣходили Андрюшку.

Овсы пожелтели. Как-то вечером ехал с поля Андрон, а ехать — мимо кладбища. Отвернулся, свесил ноги через грядку телеги, вожжи бросил, — лошадь дорогу знает. Сидел нахохлившись, а как поскотину миновал, невтерпёж обернуться захотелось — глянуть на крест под березкой, на последнее упокоение Дуняши. Не любил поэтому Андрон на хутор Пашанин ездить, — так всё старое и подымается. Смотрит — стоит над могилой Егорка, голову опустил, и без шапки.

Скрипнул зубами Андрон, беспричинной злобой налился. Вытянул кнутом мерина, домой приехал чернее тучи.

Кормилавна на стол собрала, деревянную ложку рушником протерла, хлеба нарезала. Молча пододвинула миску. За тридцать лет, прожитых вместе, знала: взлохматил сам бороду на пороге, глаз под наплывом бровей не видно, — не приставай. Андрюшке — тому горя мало: сидит себе посередь пола да на деда поглядывает. А глаз у ползунка-несмышленища черный-пречерный, как переспелая смородина, — Дуняшин глазок! Волос светлый, а на затылке колечками — это отцовское. Ползать начал, да не по-людски как-то. Другие на коленки приподнимаются или еще как-нибудь, а этот — катышом! Ляжет на бок, приладится, куда ему надо: к порогу или к окну, под скамейку, и — покатился. Да потешно так! Сам Андрон другой раз не утерпит, рассмеется. Вот и сейчас, докатился Андрейка до стула, на котором Андрон сидел, сел возле задней ножки, посидел, подумал, кота приметил на подоконнике и тут же под лавкой оказался. Сидит там, дивуется: где же кот?

Заметила Кормилавна — глаз не спускает Андрон с внучонка. За ложку было принялся, опять опустил. А морщин-то уж и нет у переносья, расправились.

— Обрядила бы парня в рубаху поновей, — буркнул Андрон, зажимая в кулак бороду, — штаны бы

справить не мешало. Не ровен час, застынет; поелозь-ка сама голым задом по крашеному полу! А придет кто? Рыло-то хоть обмой! Што подумают?

— Кому к нам прийти-то?

— Да ведь мало ли. Может, кому и пристанет охота глянуть. Своя небось кровь...

Дрогнули у Кормилавны руки.

— Рехнулся ты, старый! Да это чтобы кто-нибудь от Петрухи? И на порог не пущу! Коли хочешь знать, так я никому из них и не кланяюсь!

— Ну и не кланяйся, эка важность! Тоже мне губернаторша выискалась. А ежели Егорка?

Ахнула Кормилавна, курицей-наседкой по избе закружилась, схватила из-под лавки Андрюшку, прижала к себе что есть силы:

— Сохрани, господи, и помилуй! Не отдам!!

— Дура! Кто говорит про это? — И опять помрачнел Андрон; видно, и сам опасался того же.

Сумерки напоззли на деревню. Тут и Егор в калитку.

— Здравствуйте, Андрон Савельевич!

— Здорóво, коли не шутишь... Воротами ты не сшибся?

— Дядя Андрон!..

— Ну?!

— Вы на меня не кричите... За старое виноват, да только не перед вами,—сдерживая себя, тихо, но очень отчетливо проговорил Егор. — Если бы не ваше обращение с дочерью, если бы... — и не сдержался. — Я пришел как отец. Письмо у меня, документы...

— Што?! — Андрон поднялся на ступеньке, сжал кулаки. Про письмо не дал договорить Егору. — Каки таки документы? Под плетнем опоганил девку и справки на это имеет!

Понял Егор: не с того начал. Долго готовился к этой встрече, а слово ненужное сорвалось. Хотел что-то еще сказать, но Андрон разъярился, вздыбился:

— Я тебе покажу письмо! Отхожу вот оглоблей! За старое он виноват! Да ты и наперед передо мной виноватым будешь, до гробовой доски! Чего сразу-то не пришел?! Нашкодил — и в подворотню! Через полтора года одумался?

— Дядя Андрон...

— Молчи! Ишь ты, слов каких нахватался: «Если бы не ваше обращение!» Не попался ты мне зимой под горячую руку, я бы тебе обратился! Вон со двора! И на кладбище не слоняйся, не мути душу! Понял?!

Повернулся Андрон, со всего маху пнул попавшееся на глаза ведерко дубовое.

* * *

В Константиновке колхоз развалился. Всё поначалу шло ладно: работали дружно, тягло содержали в порядке, по весне отсеялись первыми. И ни с того ни с сего распалась артель. Перед тем как рожь налилась, слег председатель колхоза. Увезли его в больницу.

Кто-то ждал этого случая или так уж — одно к другому. Через день, не больше, как не стало председателя, собрались мужики возле артельной конюшни, без слов разобрали своих лошадей, запрягли — и разъехались каждый к своему дому. До свету в поле выехали, а когда из города прискакал секретарь районного комитета Мартынов, рожь была уже в бабках и межи по-старому пропаханы. Зачинщиков не нашли.

Из Константиновки секретарь заехал в Каменный Брод и как раз застал всю ячейку в сборе. И комсомольцы тут же сидели.

У Мартынова лицо будто пеплом присыпано. Спросил одним словом:

— Как?

— Завтра жать начинаем, — ответил Роман. — Только что разговор об этом вели.

— Настроения какие?

— Особых вроде и нет, — поразмыслив, ответил Роман.

— В Константиновке тоже так говорили.

Посоветовались еще. Николай Иванович проводил Мартынова до Провальных ям. Лес погружался в сумерки, когда повернул обратно. Шел не спеша, заложив руки за спину.

Не доходя с полверсты до Ермилова хутора, Николай Иванович повернул на лесную тропу, начал спускаться к озеру. Внизу, меж деревьев, ночь разлила молочные реки тумана. Шагов совершенно не слышно, под ногами упругая мягкость перегной. Вот и озеро. В застывшую, сонную гладь смотрит луна.

В одном месте учитель поскользнулся, чертыхнулся вполголоса, и тотчас же справа от него в кустах поразбойному ухнул филин. На тропе впереди шевельнулось что-то темное и большое, захрустел валежник под тяжелым шагом.

Николай Иванович остановился, сжал в кармане холодную рукоять нагана. Замер и тот, невидимый в темноте. Какая-то ночная птица вынырнула из лесной чащи, бесшумно опустилась на сук над самой тропой. Учитель переступил с ноги на ногу, птица испуганно пискнула, шарахнулась прочь. И снова шорох в кустах. Теперь хорошо слышно — человек уходит к оврагу, а справа, сзади, в ту же сторону крадется второй.

«А ведь так и до беды недолго, — подумал Николай Иванович. — Филин?.. Не филин это».

Ночь молчала вокруг. Учитель шел берегом озера и не мог уже видеть того, как минут через пять на той же тропе сошлись трое.

— Ты дурь эту брось! — шипел по-гусиному один из них, обращаясь к сутулому, кривоногому парню. — Тут теперь по-другому надо.

Парень сопел недовольно. Третий молчал.

— Место у вас надежное, — минуту спустя продолжал тот же приглушенный голос, — сидите, пока документы выправлю. А может, и иначе всё обернется, как в Константиновке. Тут надо с умом...

Кроме Карпа Даниловича, никому ни слова не говорил Николай Иванович о том, что слышал в лесу за Метелихой шаги за собой; комсомольцев предупредил, зорче присматривали бы за артельным добром. На скотном дворе, на мельнице и у трактора в ночное время патрули назначены были.

Володька сам напросился мельницу охранять. И вот шел он в сумерках к мельнице, а идти по лесу надо мимо Черных камней, — тропка там болотину огибает. А дальше немного — полянка, метров с полсотни, на одном краю ее четыре саженных камня торчком из земли выпирают. Перед ними — засохшая пихта с наполовину голым стволом. Место тоже недоброе, как и омут у Красного яра.

Давно еще, до приезда в село Николая Ивановича, довелось как-то Володьке вместе с матерью проходить

по этой тропе. И тоже вечером. У поляны мать трижды перекрестилась торопливо, с опаской поглядывая на высоченные камни, ухватила Володьку за руку и до самой деревни не отпускала. Так и не узнал он в тот раз, чего это испугалась мать, и дома она ничего ему не сказала.

Теперь-то Володька всё знает. Здесь, на этой поляне, колчаковцы расстреляли двух партизан — младшего брата Карпа Даниловича Фрола и татарина — рыбака из Тозлара. Тело Фрола потом перенесено было на свое, деревенское кладбище, а татарин там остался, под пихтой. Невысокий холмик могилы за время, прошедшее с того страшного 1919 года, сравнялся с землей. Из Тозлара никто сюда так и не приходил, — может, там никого из родных убитого и не осталось.

«Да, жил человек, погиб за советскую власть, и все про него забыли, — замедляя шаги, подумал Володька. — А ведь это неправильно. Памятник надо на этом месте поставить. Татарин ли, русский — не всё ли равно? Надо Николаю Ивановичу сказать об этом».

Володька еще посмотрел на поляну — и даже попытался: стоит возле пихты Улита. Голову уронила, закрылась рукой, и похоже, что причитает вполголоса, плачет.

«Чего бы это с ней приключилось?» — задал себе Володька вопрос. Свернул с тропинки левее, по-за кустами дошел до конца поляны, еще посмотрел: стоит, а голова у нее всё ниже и ниже клонится. Развел Володька руками, да так ничего не смог придумать.

«У матери надо разузнать», — решил он.

Отдежурил ночь на плотине, вернулся домой, спросил за завтраком:

— Мам, а мам, а чего это у Черных камней старухи завсегда молятся? Сколько раз примечал. И с тобой как-то, помнишь, шли, ты тоже крестилась. Часовня там, что ли, была?

— Какая тебе еще часовня!

— А чего же тогда?

— Людей в том месте, сынок, расстреляли, — со вздохом ответила мать.

— Нашенских?

— Один — наш, деревенский.

— Карпа Данилыча брат? — домогался Володька. —

А чего же ты раньше мне ничего об этом не говорила?

— А зачем? Мал был, вот и не говорила. С меня и того будет, что своего изрубленного каждый божий день перед глазами вижу.

— А Улита чего под той пихтой резет? Ей-то кого ждать?

— Улита?

Мать помолчала, вздохнула еще:

— Замуж она за него собиралась выйти, за Фрола. Хороший был парень, любила она его. Вот и ревет, вот и ходит, видать, на то место, где душенька его отлетела.

В тот же вечер Володька зашел к Николаю Ивановичу. Дома учителя не застал, — вызвали его срочно в Бельск. И Валерка опять с ним уехал — показаться врачу. А у Володьки из головы памятник не выходит, — это было бы здорово. Не стерпел парень, о том, что видел вчера на поляне у Черных камней, и о том, что узнал от матери, рассказал Верочке и Маргарите Васильевне. Они как раз варенье малиновое варили, а потом стали чай пить и Володьку за стол усадили.

— А ведь это — идея! — воскликнула Верочка, когда Володька заговорил о памятнике. — Замечательная мысль! Верно, Рита? Мы на этой поляне митинг устроим. Пригласим молодежь из Тозлара, будем вместе его готовить. Ты молодец, Володя! Умница!!

Всё это Верочка проговорила на одном выдохе, с блестящими глазами. И задумалась, отодвинула недопитую чашку. Ей припомнилось, как Улита читала по букварю: «У Фро-ла конь ко-ван», «У Фро-ла семь-я», как заплакала вдруг, ушла с занятий и больше не появлялась.

Замолчала Верочка, смотрела широко раскрытыми темными глазами прямо перед собой. Никогда такой красивой не видел ее Володька.

* * *

С полчаса прошло как закрылась дверь за Володькой, снова чьи-то шаги на крылечке слышались, — постучался Артюха. Извинился за приход в неурочное время, спросил, не вернулся ли Николай Иванович, и расселся бесцеремонно на стуле.

— Ну, чем же нас комсомол порадует к завершению уборки? Несознательную прослойку, вроде Андрона, каким путем вовлечь думаете? Чувствует он послабление, не дурак. Не пойму, чего это Николай Иванович с ним цацкается? Где же она — стопроцентная большевистская принципиальность?!

— У Андрона такое горе... — начала было Верочка, но Артюха не дал ей договорить:

— Сам виноват! С беднотой родниться не захотел. Вот тут-то классовая его линия и сказалась. А в тот раз — с трактором-то? Удивляюсь, как это партийная наша организация да и комсомол без внимания выпад такой упустили? И того — шалопута Егорку — можно было на чистую воду вывести. Враз бы с курсов-то выгнали за такие дела.

— Жестокий вы человек, Артемий Иванович.

Артюха откинулся на спинку стула, покачал головой.

— Жизнь заставляет, дорогая Вера Николаевна! — начал он поучительно. — Раз уж вопрос «кто кого» сверху поставлен, нам на низах, в сельской периферии то есть, нельзя либеральничать. Вон в Константиновке — дождались. Форменный бунт и контрреволюция. Ну да ничего. Слышал я, что туда из районного исполкома надежного человека командировали: сам Антон Скуратов с нарядом милиции выехал. Этот в шоры возьмет! Вот и к нам бы неплохо такого же хоть на недельку, навести тут революционный порядок. Николаю Ивановичу, ему теперь трудно перестраиваться, вот я к чему всё это. Народ его уже понял, ценит, конечно, за деликатность. Но на сегодняшний день этого мало. Жесткость нужна, пролетарская беспощадность!

Артюха похлопал себя по карманам, достал смятую папиросную пачку. Потряс коробком возле уха, но спички тратить не стал, — прикурил от настольной лампы. Воровским, наметанным взглядом окинул при этом стопку книг на этажерке (нет ли писем каких из Бельска?), воззрился на клеенчатую тетрадь — дневник Верочки. Успел прочитать наклейку.

— Ну, так чем всё-таки боевой комсомол отметит приближение заготовок? — вернувшись на прежнее место, снова заговорил Артюха. — Хлебушка-то изрядно свезти придется, сроки крутые указаны. Одного

боюсь — хватит ли рассчитаться. Тут нужна пропаганда. Глаза на трудности закрывать не гоже. Так прямо и объяснить хлебоборбу, что, мол, сверху виднее. Я и на мельницу дал уж команду от имени председателя: ни пуда зерна не молоть. Директива такая спущена! И опять что-то неладно у нас в верхах: русским нельзя, а из Тозлара и Кизган-Таша обозами гонят на мельницу. Не учитывают того, что вражда может вспыхнуть, междоусобица. Запретил! Категорически и бесповоротно.

— Вот это вы напрасно сделали, Артемий Иванович, — осуждающе покачала головой Верочка. — Может быть, у них старые запасы имеются? А если единоличник привез? —

— Единоличникам, и нашим и вашим, от ворот поворот! Принципиально! Кто не с нами — тот против нас. У татар-то больше нашего единоличников, может, оно и на пользу будет. Не мытьем, так катаньем, как говорится.

Артюха сплющил окурок о подоконник и опять метнул взгляд на клеенчатую тетрадь.

— Не согласна я, Артемий Иванович, с вашими доводами, — решительно воспротивилась Верочка. — Приедет папа, я ему расскажу, конечно. Мы вот тут, кстати, с Маргаритой Васильевной одно интересное дело задумали, а вы со своими распоряжениями можете всё испортить.

— Какое же дело? — живо повернулся Артюха. — Ежели против кулачества и вообще элементов, всегда поддержку и мобилизую.

— Вы поляну у Черных камней знаете?

Артюха насторожился, холодок пробежал у него меж лопаток.

— Вроде бы вырос в этих местах, — развел он руками, — каждая тропка знакома.

— Значит, вам-то хорошо известно, кого расстреляли там колчаковцы?

Артюха изобразил на своем лице полнейшее недоумение:

— Теперь-то уж, Вера Николаевна, всего не упомнишь. В то смутное время кого только и где не стреляли. Под горой вон, за банями, полон овраг костей.

— Об этом я и раньше знала. Это кости бандитские,

не о них сейчас речь, — не уступала Верочка. — Я говорю о поляне у Черных камней.

Артюха еще подумал:

— Татарин, кажется, закопан... Дезертир. Их ведь и наши стреляли и колчаковцы, — отмахнулся он. — Кто вам сказал-то?

— А Фрол, брат Карпа Даниловича? Разве он был дезертиром? — уловив некоторое замешательство в тоне Артюхи, поспешила с новым вопросом Верочка.

— Так он же и схоронен по всем правилам, — извернулся Артюха. — Когда беляков, это самое, отогнали, выкопали его, ну и — на кладбище. Всё честь по чести. С попом, помнится мне, хоронили, в гробу. Так в чем вам помочь-то? Может, справка какая потребовалась? Кому? Человек он был неженатый. Насчет пенсии как будто некому хлопотать...

— Тут, Артемий Иванович, дело намного серьезнее, чем пенсия, — вмешалась в разговор до того молчавшая Маргарита Васильевна. — Вот вы спрашивали, думают ли комсомольцы сделать что-нибудь новое в агитационной работе за колхозы и против кулачества. Как вы считаете — скромный памятник на безымянной могиле у Черных камней и митинг с хорошо продуманными выступлениями не послужат ли добрым привеском к нашим беседам и к читкам газет?

— Так там же... там же — татарин! — не сразу нашелся Артюха. Сейчас он смотрел на Маргариту Васильевну так, будто впервые ее увидел. Проморгался даже и поскреб у себя за ухом. («Ты смотри — вот тебе и тихоня!»)

— Ну и что же? — продолжала Маргарита Васильевна. — Хорошо, что русские комсомольцы заговорят первыми о человеке нерусской национальности, который погиб от руки колчаковцев за советскую власть, за наш сегодняшний день! Мы созовем на митинг комсомольцев из татарских сёл. Может быть, это будет лучше, чем поворачивать с мельницы подводы с зерном из Тозлара и Кизган-Таша?

Артюха почувствовал, что на висках у него выступает испарина. Если сейчас же не запугать девчонок или не напустить им в глаза туману, могила у Черных камней потянет к себе и его — Артюху. Мысль работала лихорадочно.

— Что вам сказать? Ежели подойти с одной точки зрения, — начал он витиевато, как привык выступать на собраниях, — в принципе я присоединяю свой голос. Дело задумано, прямо скажем, политично. Умно задумано! Молодцы!! А только надо еще посоветоваться, помозговать. Это вы правильно, что ко мне обратились. Что касасемо юридических правил, тут вы безошибочно. Но всё это надо ведь по статье и параграфу! А прежде всего — разрешение получить. Где—вот вопрос. Ладно, я уточню. Напишу форменное отношение. Доказывать надо, — вот ведь в чем заковыка. Свидетели потребуются, а где их возьмешь! Имя, фамилия, год рождения того татарина... Задача не из простых. А так, с бухты-баракты, кто же вам разрешит памятник ставить?! Это ведь значит — имя увековечить! Чтобы для поколений! Задача!..

— А если без всех этих формальностей? — проговорила Верочка. — Обелиск и надпись: «Здесь покоится прах неизвестного бойца революции». Можно и по-другому придумать, чтобы каждого за душу трогало.

— Власти на это не пойдут! Властям документ нужен. — Тут Артюха даже со стула привстал и хлопнул себя по лбу ладонью. — Придумал! Завтра же запрошу через суд, куда выслали мельника! Точно! Мельник Семен — эта самая гидра и кровосос — должен помнить всё досконально. Взяли их в камышах, у запруды, так мне рассказывали, а допрос был на мельнице. Оттуда и увели обоих.

— И долго это протянется? — спросила Верочка.

— Что от меня зависит, вы же знаете, Вера Николаевна, я без проволочек. Ну, недельки за две, думать надо, ответ и придет. Нам-то оно не к спеху, как я полагаю, не завтра народ собирать. Важно Семена найти. Пусть он и осужден, и раскулачен на сто процентов, а без его показаний не разрешат. На кого мы еще сошлемся? На кого?! Говорить-то все говорят, а ты докажи! Кто за это возьмется?

Артюха теперь сверлил взглядом поочередно то Верочку, то Маргариту Васильевну. И с замиранием сердца ждал, что одна из них назовет Улиту. Тогда его песенка спета. Тогда этой же ночью бежать с загодя сфабрикованным паспортом. Бежать, пока не приехал учитель. Успеть известить Евстафия Гордеевича и —

в лес. Филька придушит Ивана Кондратьевича, деньги потом пополам — и в разные стороны.

Ждал Артюха, что скажут подруги, и уже видел себя в овраге за Ермиловым хутором. Ноги будто пристыли к полу. Сейчас не подняться, — подкосятся. А девушки обе молчат, даже не смотрят одна на другую. Значит, сказать им нечего. Просто слышали разговор. Кроме Улиты, никто не знает. Ладно.

— Ну, так что же вы приумолкли, красные девицы? — поборов в себе страх, натянуто улыбнулся Артюха. — То подавай им митинг на всю округу, то слова от них не дождешься! Давайте вот так и договоримся: я берусь за все эти запросы и уточнения, вы — между делом — выступления подготовите. Тут надо тоже с умом, чтобы проняло. Как-нибудь соберемся, с Николаем Ивановичем потолкуем. Ну, засиделся я, извиняйте великодушно. Вам-то и понежиться можно в постели, а мне ведь до солнышка надо и на скотном дворе побывать и наряды выписать. Сдуру влез вот в этот хомут, теперь отказаться-то совесть и не позволяет. И кто ее только придумал — счетоводческую должность! До свиданьица!

Коленки дрожали у Артюхи, когда, придерживаясь рукою за стенку, пробирался он по темному коридору. На крыльце издохнул, вытер ладонью залысины. Под окнами сплюнул и чертыхнулся вполголоса, — споткнулся о камень, за углом постоял, огляделся, прислушался. Повременил еще. Ноги теперь порывались с места мчать его волчьим скоком напрямик за Ермилов хутор, а ухо тянулось к окну. О чем они там разговаривают? Спать лягут, да где это видано, чтобы девки уснули не пошептавшись? А окно-то настежь, занавеской марлевой всего лишь задернуто. А ну как назовут всё же Улиту? Тогда он знает, что делать.

Повременил Артюха еще минут десять. Вот и лампу задули в комнате. Татем неслышным прокрался Артюха на завалинку. Так и есть, — разговаривают. Рядом лежат на одной кровати, а головами к окну. Ну конечно, про любовь — амуры! О чем больше девкам вздыхать?! Артюха даже поморщился и подумал, что зря вернулся.

— Вот как надо любить, Риточка! Ты бы поверила? — уловил он сказанное вполголоса Верочкой.

— По правде сказать, не вяжется это в моем представлении, — помолчав, ответила библиотекарьша.

— А по-моему, так оно и есть, — задумчиво продолжала дочь Николая Ивановича. — Я вот к ней давно уж присматриваюсь. Женщина она грубая, дерзкая, может сказать любую вульгарность. А почему она стала такой? И не кажется ли тебе, что грубость — это ее единственная защита? Прежде всего — она человек одинокий и глубоко несчастный. Мне много о ней рассказывала Кормилавна. Она ее осуждала, конечно. И это понятно: мать Дуняши не могла поступить иначе. Я соглашалась тогда, у меня были кое-какие подозрения. И не только подозрения. Не знаю, может быть, это и нехорошо, но на похоронах Дуняши, когда я стала говорить, помнишь, у меня было очень бессвязное начало. И вот я увидела Улиту. Я готова была тогда указать на нее пальцем, и хорошо, что сдержалась: столько ужаса, боли было в ее глазах. Помнишь, она не голосила, а ведь это во сто крат хуже. С тех пор больше года прошло, и я часто вспоминаю этот ужас на ее лице. Думаю...

Артюха и дышать перестал, весь превратился в слух.

— То, что мы узнали сегодня, взволновало меня, — продолжала Верочка. — Памятник, митинг — всё это хорошо. Но это потом. Кстати, мне почему-то кажется, что Артемий Иванович несколько преувеличивает со своими запросами и отношениями. Как и все чернильные души, он раболепствует перед каждой бумажкой. Ну и второе: как бывший волостной писарь, он всё еще по инерции считает себя звездой первой величины. Это папа так про него сказал. Ладно, шут с ним. Надо нам, Рита, хорошенько подумать, как повернуть сознание Улиты. Вот честно тебе говорю: хочется верить, что человек она не потерянный. Кто-то ее сбивает, ты понимаешь? У меня и в дневнике об этом записано. Как вот тут поступить?..

Начинало светать, когда счетовод колхоза появился на скотном дворе. Для начала набросился на пастуха — татарина Мухтарыча, что коровы не доены и воды нет в колоде.

— Я тебя, что ли, буду доить? — ответил старик. — Ты — начальник, заставляй своя люди! Я — пастух. Чего ты кричишь? Или никто не боится?

Артюха не стал терять время на пустые разговоры с Мухтарычем: важно, что он был здесь затемно, что указал на беспорядок. Потом, сам не зная за что, выругал кладовщика, накричал на конюха. Сел за свои бумаги в конторе, прищурил желтые глаза.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Хмурым вернулся Николай Иванович из Бельска, — на пленуме сняли с должности секретаря райкома Акима Мартынова. Долго решали вопрос: кому же теперь доверить руководство партийной организацией района. Николай Иванович выступал дважды: первый раз отстаивал Акима, второй — против Иващенко. Мартынов сам из крестьянской семьи, хорошо знает сельское хозяйство. Район-то ведь вон какой — больше сотни колхозов, ну допустил оплошность, кое-что вовремя не заметил, не было у него надежной опоры в Константиновке, вот и пролезли в правление артели подкулачники, развалили колхоз. Крутиков предлагал строго наказать Мартынова, но не снимать его с должности. Пусть выправит дело; не справится, вот тогда уж и ставить вопрос окончательно. А кто такой Иващенко? Краснобай и приспособленец, в поле ячменного колоса от пшеницы не отличит!

Вопрос был поставлен на голосование. И тут в помещение, где проходил пленум, в запыленном брезентовом дождевике, прямо с подводы, ворвался Антон Скуратов. По всему было видно, что его отозвали из Константиновки, — боялись, что опоздает. Сторонники Иващенко оживились, — в их полку прибыло. И Иващенко был избран секретарем райкома: он получил на один голос больше.

В перерыве Скуратов, всё так же не снимая плаща, с оттопыренным правым карманом, подошел к Иващенко и доложил, как перед строем:

— Товарищ секретарь районного комитета партии! Порученное мне задание с честью выполнено: колхоз в Константиновке восстановлен, шесть человек саботажников арестовано с конфискацией имущества. На приемный пункт утром сегодня отправлен красный обоз. Молотили ночью. Можете заверить представителя

вышестоящей партийной организации, что Антон Скуратов готов и впредь выполнить любое ответственное поручение.

— Поручений на арест колхозников вам никто не давал, это дело прокурора! — от двери уже сказал ему бывший секретарь райкома. — Ваш красный обоз совсем не красный, а самая настоящая продрозверстка. И в довершение ко всему, на месте товарища Иващенко я бы отдал вас под суд. Да, под суд! За то, что, используя служебное положение, выехали в командировку в сопровождении конных милиционеров. Вот так бы я сделал.

Сказал и ушел. А в шумном до того зале стало тихо; даже сторонники Иващенко почувствовали себя как-то неловко. Один Антон пыжился и поглядывал на всех победителем.

Дома Николай Иванович коротко рассказал Роману и Карпу, зачем его вызывали в Бельск, говорил, что первейшей задачей была и остается внимательная и терпеливая агитация единоличников, чтобы на примере соседей-колхозников они убедились: в колхозе работать легче, выгоды больше. Главное — видеть и отмечать добросовестных тружеников, налаживать добрые отношения с соседями за Каменкой. Сила колхозного строя в том еще, что он ломает старые национальные границы.

Все это учитель говорил в классе и при комсомольцах, — они же во всем первые его помощники. Карп с Романом скоро ушли из школы, а молодежь осталась. Верочка глянула на Володьку, тот только и ждал этого, пересел поближе к учителю.

— Николай Иванович! — начал Володька. — Надо в Тозлар съездить. Здорово все получается, только бы фамилию и имя узнать. Сегодня я спрашивал у Мухтарыча, — не знает.

— Что вы придумали?

Тут уж Верочка объяснила отцу, что замыслил Володька. Рассказала и о том, что Артюха помочь обещался, что поспорили с ним вчера вечером из-за мельницы.

— Что это вы вдруг мельницу с ним не поделили? — усмехнулся Николай Иванович.

— Так он же распорядился, чтобы единоличникам

хлеб не мололи! А татарам — тем более. Вот жалко, что Роман Васильевич ушел. Отменить надо это распоряжение!

— А вы как, ребята, думаете?

— Отменить, конечно! — ответил за всех Володька. — У другого, может, ребяташки голодные, где он муки возьмет? И еще надо сказать этому Козлу, не совал бы нос во все дырки. Кричит на всех, даже на стариков, «я» свое выставляет. Кто ему право такое дал?

Николай Иванович снял очки, протер стекла платком, помолчал немного.

— Ты бы, Володя, оставил всё-таки эту нехорошую привычку. У счетовода колхоза есть имя и отчество, есть фамилия. Не нравится он тебе, но это вовсе еще не значит, что можно его обзывать. Вот так. Хорошо, я поговорю с Карпом Даниловичем, поговорю и с товарищем Гришиным. Всё это поправимо.

С памятником решено было сделать проще — обнести могилу у Черных камней изгородью из штакетника, поставить обелиск со звездочкой и ничего на нем пока не писать. Тозларовские школьники будут бегать мимо, у себя в деревне о памятнике расскажут, и имя узнается.

Дотемна опять засиделись. Маргарита Васильевна пьесу новую принесла, — хорошо бы к Октябрьскому празднику подготовить ее. Из колхозной жизни. И народу не так уж много потребуется — семь человек: председатель колхоза, его жена, две пожилые колхозницы, поп, жених и невеста.

— Со свадьбой, значит? — спросил Никишка. — А как же без свахи? Без свахи нам не годится.

— А для чего тебе сваха?

— Не только сваха, но еще и самогонщицу надо. Какая же свадьба в деревне без свахи да без самогона обходится! Для чего же у нас Улита живет?!

Все засмеялись. А Никишка стал всех угощать калеными орехами. Много их в этом году, да всё больше двойняшками. И опять помянул Улиту: без Улиты пьеса не подойдет. И тут все наперебой стали новые роли придумывать. Верочка посмотрела на Никишку, сказала, когда поутихли немного:

— Вот что, ребята, давайте не будем без дела тро-

гать Улиту. Лучше поможем ей в чем-нибудь. Вот ты, Володя: сможешь ты поговорить с трактористом? Где сейчас трактор работает? За Ермиловым хутором?

— Там. А что? — не вдруг догадался Володька.

— А потом куда переедете?

— За поскотину. Роман Васильевич говорил, что новый клин под зябь распахать там надо.

— И тележка у вас тоже за хутором? Ну, на которой вы свои бочки возите?

— И тележка там.

— Вот и привезли бы вдове хоть хворосту для подтопка. На себе ведь чуть ли не каждый день из-за озера носит!

— Можно бы и хороших дров привезти. Сухостою там вон сколько, на самой опушке, — не совсем бодрым тоном начал Володька, — можно бы... через деревню трактор погоним.

— Ну и что? Почему «можно бы»?

— Так опять ведь не в дело дрова изведет.

— Посмотрим.

В это время от сильного порыва ветра хлопнула форточка. Глухо пророкотал гром. Нюшка подошла к окну.

— Ох, и туча заходит! — протянула она, заглядывая кверху. — Ни единой звездочки нету. Вон как опять блеснуло! Боюсь я грозы. Пойдемте домой, Маргарита Васильевна, по проулку я и одна добегу. Поздно ведь, давайте уж в воскресенье пьеску-то читать соберемся.

Когда Валерка совсем было уснул, его растолкала Верочка.

— Сколько раз тебе говорить, не хватай без спроса моих книжек! — ругала она Валерку. — Ты взял Лермонтова? И тетради чистые со стола подевались куда-то!

— Ничего я не брал, — закрываясь с головой одеялом, отвечал Валерка, — я и в комнату твою не заглядывал даже. Ну чего ты пристала: не брал!

— Хватит вам, — проворчал беззлобно отец. Он сидел у порога на низенькой скамеечке и расшнуровывал ботинки. — Принеси мне, дочка, лампу и спи. Я еще часика два поработаю. Найдется твой Лермонтов и тетради. Сама куда-нибудь засунула.

— Никуда не засовывала! Ты же сам тетради привез, я их и положила на стол, а книжка была на этажерке.

— Найдется. Иди, иди — спи. Лампу-то принеси побыстрее.

За окном, как из ведра, хлестал ливень. Николай Иванович долго сидел, писал что-то, выходил курить в коридор, снова писал. Потом улегся и он, а Верочка всё не могла уснуть. Какое-то неясное, пугающее предчувствие охватило ее, не давало забыться. О тетрадях и книжке она уже и не думала. А сон не приходил, мысли были какие-то страшные. Наконец не выдержала, встала с постели, в потемках, на ощупь, стала перебирать на столе и в ящиках. Тетрадей нет, — стопкой лежали. Да здесь их и быть не должно, ведь она отлично всё помнит. Снизу доверху перещупала всё и на этажерке. А где же дневник?

Тяжелая, плотная тетрадь в клеенчатом переплете не попадалась ей под руки. Уж ее-то она ни с чем никогда не перепутает. Постояла, подумала, еще раз перебрала книжки, — нет дневника. Даже дышать тяжело стало. Стараясь не скрипнуть дверкой, сходила в соседнюю комнату, принесла оттуда лампу. Теперь всё как есть переложила по три раза с места на место, — дневника не нашла!

Проснулся отец, спросил сонным голосом, не вставая с постели:

— Ты что это, дочь, не спишь? Лермонтова перечитываешь?

Верочка подошла к двери, приоткрыла ее и ответила сдавленным голосом:

— Папа, дневник у меня потерялся! Дневник...

— Ну вот еще новости! Кому он нужен?

Через минуту, однако, Николай Иванович был в комнате дочери. Щурясь от яркого света лампы, осмотрел для чего-то окно, потрогал шпингалеты, крючок на форточке, передвинул в сторону этажерку.

— В шкафу ничего не пропало?

Там всё оказалось на месте. И новые туфли Верочкины, и пальто, и костюм выходной Валеркин. Верочка откинула одеяло, подушки, скатала в трубку матрац, заглянула во все углы.

— Заново всё напишешь, не огорчайся, — попробовал успокоить ее отец. — Напишешь лучше, чем было. Ты ведь умнее теперь той семиклассницы, которая выводила заголовок на обложке. А я, между прочим, думал, что ты его давным-давно уж забросила.

— Нет, папа, я его не забрасывала. Там были очень важные для меня записи. Очень важные. Одну из них я всё собиралась тебе прочесть. И всё не решалась, чтобы не напоминать тебе прошлое. Я, я... видела этого человека... Я не могла ошибиться... — Говоря это, Верочка опустилась на голые доски кровати, дышала ртом. — Того колчаковца, которому наша мама подписала какую-то бумажку.

— Где это было? Когда?!

— В тот день, когда на Большой Горе закладывали главный корпус МТС. Я не могла ошибиться, папа.

— Успокойся, дочь, успокойся. Кто, кроме меня и Валерки, знает об этом твоём дневнике?

— Маргарита. Ей кое-что я читала. Про Игоря.

— Ещё?

— Больше никто. Кому мог понадобиться мой дневник? Кому?! А если?!

Николай Иванович сходил на кухню, принес стакан холодного чаю.

— На́, выпей, — сказал он, передавая стакан дочери, — и не ломай себе голову. По-моему, это случилось вечером, когда нас не было дома. Дверь входная, как всегда, у нас настежь, вот и забрался сюда какой-нибудь не в пример другим любопытный хлопец. Увидел стопку тетрадей, книжку с картинками, сунул всё это под рубашку, и был таков. Вот и весь сказ. И без всяких таинственных «если».

— А дневник? Зачем этому «излишне любопытному» хлопцу дневник?

— Много там было чистой бумаги?

— Может быть, третья часть.

— И эта ему пригодится! Начнутся занятия — найдем.

Светало, дождь всё не переставал, за окном пузырились лужи. Верочка расстелила матрац, заправила простыни, сидела, покусывая ногти.

— Ещё раз тебе говорю: успокойся, — закуривая, говорил ей отец. — Всё это, поверь, — игра твоего во-

ображения. Со временем это пройдет. Если уж и в самом деле привиделся тебе человек, похожий на того колчаковского офицера, попробуй его описать. Подумай, припомни всё хорошенько.

Кто-то бежит к окну напрямик по лужам. Вот упал посреди дороги, снова бежит, на голове — мешок, свернутый башлыком. Верочка не сразу узнала Федора с Нижней улицы. А тот подбежал, уцепился за подоконник перепачканными руками:

— Николай Иванович, беда! Коровам картошки нерезаной кто-то в кормушки насыпал! Три уж подошли — передавились. Еще сколько-то мучаются. Роман Василич за вами послал, прирезать придется!..

* * *

Понравились Верочке и Маргарите Васильевне лесные каленые орехи. Когда роли по новой пьесе стали распределять, у Никифора снова полные карманы были принесены. Как и тогда, всех угостил, а перед Верочкой и Маргаритой Васильевной в фуражку насыпал. Орехи ядристые — один к одному, и кожура у них не особенно толстая. Репетировать так и не начали. Прибежал рассыльный: Федьку с Екимкой в правление вызвали. Следователь приехал, а они дежурили у скотного двора в ту ночь, когда коровы картошкой подавились.

Ребята ушли, Верочка отложила книжку. Долго молчали.

— Я с ними обоими в тот же день разговаривал, — начал Володька, зная, что все думают сейчас об одном и том же. — Никого они не видали. И конюх не спал. С вечера, верно, насыпано было. А в кормушки заглянуть не догадались, да и в голову не придет такое.

— Кому-то пришло, — нахмурясь, проговорила Верочка. — И этот человек живет среди нас, может быть и в колхозе даже.

— А я вот в это ни за что не поверю, — робко встала Нюшка. — Бедняки этого не сделают. Вон мерина нашего застрелить пришлось, до сих пор мать ревет, как про это вспомнит. С хуторских кто-нибудь. Они и своих-то коров всех перерезали. Совсем озверели.

— Говорят тебе, что ночью там никого не видали! —

оборвал Ньюшку Володька. — Дались тебе хуторские. Может, и хуторские, да только не своими руками.

Ньюшка замолкла, покусывая кончик платка. Верочка передвинула к ней поближе фуражку. Больше уж никто ни о чем не говорил. Так, молча, и разошлись из школы. На улице Маргарита Васильевна спросила у Верочки, что́ она будет делать завтра. Может быть, и самим в лес сходить за орехами? Никифор сказал, что осыпаться уже начинают.

— Куда вы одни-то пойдете? Надо места знать, — ввязался Володька.

— Пойдем вместе с нами! Вот и покажешь.

— Завтра-то мне недосуг, — пожалел Володька, — завтра снопы надо с поля возить. Да никуда они не денутся, ваши орехи. Пускай себе осыпаются.

Маргарита Васильевна даже остановилась:

— Как это пусть осыпаются? Не с земли же их собирать потом!

— Собранные лопатой грести будем! Точно вам говорю, — заулыбался Володька. — У меня и собака к этому приучена.

Теперь и Верочка улыбнулась.

— Собака ищет орехи? — удивленно спросила она.

— Не орехи, а норы. Где хомяки живут. Норы три-четыре за день-то откопаем — вот тебе и половина мешка. Зато уж отборные — орешек к орешку. И ни одного червивого.

— И после крысы их в рот? — Верочка брезгливо поморщилась. — Скажешь ты тоже, Володя!

— А что? — Володька пожал плечами. — Крутым кипятком обдать их в корыте, и всё. Лесники вон с Поповой елани только так и берут. Пудами потом на базар возят. Вот я и не тороплюсь. Подождать еще надо, пока лес совсем оголится.

Не пошел за орехами и Валерка. Давно уже у Провальных ям они с Володькой шалаш в камышах поставили. Перелет начинается, сейчас там от уток черно. Стаями плюхаются на воду у самого берега.

— Ладно, Рита, сходим вдвоем, — согласилась Верочка. — Не найдем орехов, на вырубка к барскому дому поднимемся. Туда, где малину брали.

Так и решили подруги. В тот же день Маргарита Васильевна зашла к Улите, попросила у нее кузовок.

Возле избенки вдовы стояло несколько женщин с ведрами. Разговор всё о том же: «И какая это гадина коров погубила? У кого рука поднялась на безответную животину?»

Улита еще посоветовала, чтобы в чащобу далеко не забирались подружки: в лесах здешних и заблудиться недолго.

— Да мы уж ходили туда не раз! — весело отозвалась Маргарита Васильевна. — И за Ермиловым хутором были, и на усадьбе барской.

Так же она и Артемию Ивановичу сказала, повстречавшись с ним у самого дома. Артюха шел с человеком в милицейской форме, остановил девушек с вопросом:

— Это куда с кузовом-то?.. Ну орехи-то еще и подождают, неделю-другую висеть будут, — протянул Артюха, когда узнал, что подружки уходят вдвоем, — а малине конец. Так, разве где ребятишками не примеченная осталась. Поблизости-то всё уж небось они облазили.

— Что вы, Артемий Иванович, много еще малины! И за хутором и на вырубках туда дальше.

— Не заботьтесь одни-то? Вдруг заяц наскочит, что делать-то будете? Ну, ладно, ладно, знаю, что девки вы смелые. Только, чур, уговор: с пустыми лукошками не возвращаться. Проверю!

Артюха проводил взглядом девушек, покачал головой.

— Вот так и живут наши дачники, — сказал он со вздохом шедшему рядом с ним следователю. — Я их иначе-то, извините за выражение, и назвать не могу. Что им до наших колхозных забот? Ягодки да грибочки, вот и все хлопоты. Сам-то небось давно уж с ружьишком на речку отправился. Пять коров за овражки свезли, ну и что? А попробуй-ка заикнись! Секретарь партийной ячейки...

А Николай Иванович вместе с Романом Васильевичем и подоспевшим на помощь им кузнецом отбивались от наседавших на них женщин. Собрались те на скотном дворе толпой. Одни плачут, другие ругаются. И у каждой ломоть хлеба под кофтой — для своей коровы, у каждой веревка. Догадался учитель, в чем дело. Так, чего доброго, следом за женами и мужья

с недоуздками явятся, как в Константиновке. Насилу втроем-то успокоили.

С утра, как и уговорились, Маргарита Васильевна с Верочкой ушли в лес. Обещали к обеду вернуться, а вот уж и солнышко опустилось, сумерки стали сгущаться, — нету девчат. И Валерки нет дома: этот ушел с ночевьем. Николай Иванович несколько раз принимался чайник разогревать на примусе, всё в окошко поглядывал, — нет, не идут. Вышел потом на крылечко, не одну папиросу выкурил, — нету.

Ночь опустилась на деревню, тягучая, вязкая чернота заполнила улицу, поднялась вровень с крышами. И тишина — как на дне замурованного колодца. Тепло, а учителю холодно стало, озноб по спине прокатился. Сходил в свою комнату, набросил шинель на плечи, а пальцы дрожат отчего-то, жилы на шее дергаются.

Что же такое случилось? Что-то недоброе. Закружиться они не могли: за Ермиловым хутором, и особенно в той стороне, где господский дом, — лес чистый. Да и дороги тут треугольником: на большак два проселка выходят — с Большой Горы и из Нефедовки. Дальше уйти не могли, там заболоченная низина. Если ушли по берегу Каменки — и здесь места не такие уж гиблые. Верочка там бывала не раз.

«На медведя не наскочили бы в овражке! — подумал Николай Иванович. — С перепугу умчатся за тридевять верст. Медведь — полбеда, а если медведица с медвежонком?! Тут дело худо. Эта догонит, порвет».

— Порвет! — вслух повторил Николай Иванович, как будто кто-то второй спорил с ним.

И вдруг короткая, страшная мысль ослепила учителя. Вспомнились слова Верочки: «Дневник!.. Я не могла ошибиться, папа!»

При этой мысли учитель даже отшатнулся, вскинул левую руку к лицу, перед глазами — радужные круги и звон в ушах, как от удара по темени. И тут же второй удар — вспомнил крик филина на тропе за озером, когда провожал Мартынова.

— Нет, нет, подождите! — снова вслух произнес Николай Иванович. — Тут что-то не вяжется. Допускаю, что это был тот самый белогвардеец. Вера его узнала. Но он-то ее не мог ведь узнать! Он ее

видел девочкой! Нет, этого не может быть! А если Филька?!

Николай Иванович тяжело вздохнул, провел рукой по разгоряченному лбу, придерживаясь за стояк, сошел вниз по ступенькам, зажмурившись встряхнул головой, чтобы сбросить присосавшуюся пиявку — мысль. Не удалось. Она вгрызалась всё глубже, набухла кровью, и вот уже тесно ей стало в черепной коробке.

Не отдавая себе отчета, куда он пойдет и к кому, учитель вышел на середину улицы, надел шинель в рукава, застегнулся на все крючки. Постоял, жадно вслушиваясь. Ночь молчала — враждебно и настороженно, как взведенный курок пистолета, затаясь смотрела тысячью немигающих круглых глаз. А учитель один среди улицы, совершенно один.

Николай Иванович прошел в конец улицы, осторожно, чтобы не напугать, постучался в низенькое оконце крайней избы. Долго никто не отзывался. Еще постучал. Наконец послышались шаги. Расплывчатое белое пятно прильнуло к стеклу.

— Кто это? — спросил приглушенно женский голос. — Кого надо?

— Евдокия Фроловна, разбудите, пожалуйста, Володю. Это я — учитель.

— Ах ты батюшки! Аль опять недоброе что приключилось?! Да вы заходите, заходите в избу, Николай Иванович, свет сейчас вздую!

— Вы Володю, пожалуйста, разбудите. Я здесь подожду.

— Так ведь дома-то его нету. Сказал, что в поле останется, на Длинном паю. Может, позвать вам кого?

— Нет, нет, не беспокойтесь. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я сам... другого кого-нибудь попрошу. Голова, понимаете, разболелась страшно...

Отходя в глубь улицы, Николай Иванович раскаивался, что разбудил пожилую женщину. А может, дочь уже дома? Может, пришла? Возле дома Андрона он обернулся: в крайней избе теплился огонек. Оглянулся от церкви — свет загорелся и у Андрона. И в ту же минуту ярким квадратом осветилось угловое окно старой школы.

Николай Иванович шумно вздохнул, ускорил шаги,

почти побежал, хлопая полами длинной шинели. В коридоре его встретил Валерка. Он держал в руке лампу и радостно улыбался, указывая взглядом на разложенных вдоль скамейки матерых кряковых селезней.

— Еле донес! — похвастался сын. — А этого вот навскидку. В сумерках уж прямо на меня налетел. Так к ногам и упал!.. Да что с тобой, папа? Ты болен? Что с тобой?!

— До сих пор Верочки нет с Маргаритой Васильев-ной, вот что. Чертовщина всякая в голову лезет. Дневник этот, Филька...

— Филька?! — Валерка прижался к двери, глаза у него округлились.

— Я только что был у Дымовых, — после паузы продолжал отец, — думал, Володя дома, а его нет. Надо собрать комсомольцев — парней. Искать надо...

Валерка поставил лампу на пол, махнул с крылечка через ступеньки. А в это же время Володькина мать, чтобы не разбудить Андрюшку, шептала на ухо Кормилавне:

— Не осталось ли у тебя капель каких? Верочка-то и порошков и капель тебе приносила. С головой, слышь, замучился. Плохо ему, — хотел, верно, парня моего послать в Константиновку. Посмотри, может, чего и осталось. Я бы и отнесла.

Проснулся Андрон, прошлепал босыми ногами в передний угол, с божницы достал жестяную коробку из-под фамильного чая, пригнув голову заглянул в нее одним глазом.

— Ладно, сам я снесу, — сказал он Фроловне. — От делов-то таких ничего нет мудреного, что и голова на куски развалится. Не слыхала, чем всё кончилось там, в коровнике-то? Власти разъехались?

Небосвод на востоке из темного стал синеватым. обозначились вершины берез и крыши домов. Теперь и левее Андроновского пятистенка один за другим торпливо зажигались огни, а с Нижней улицы уже доносились людские встревоженные голоса. Ожидая комсомольцев у школы, Николай Иванович еще издали услышал скороговорку запыхавшегося Артюхи:

— Ну чего он сразу-то к массам не обратился? Я до полночи в конторе сидел! Мало ли что в наших лесах может произойти? Тут и зверье и кулачье беглое.

Выйдет вот на тропу такой бандюга, ну что с ним девчонки поделают?! Как же сам-то он, Николай Иванович, не подумал об этом! Зверье ведь кругом! И люди-то хуже зверей!!

Пришел Андрон к школе, а тут уж и нет никого. И вот телега остановилась у полевых ворот. Татарин из Кизган-Таша привез Маргариту Васильевну. Лежала она на охапках сена с перевязанной головой и без сознания, а рядом с ней — пустой кузовок. Татарин, как мог, объяснил, что дочку учителя (в деревне у них почитали Маргариту Васильевну за дочь Николая Ивановича) нашли еще вечером. Увидели ее ребятишки окровавленную, перепугались, прибежали домой — им и слова не выговорить. Ночью уже — с фонарями — всей деревней цепью прошли по лесу. Вот привезли, а председатель колхоза в город послал верхового.

Только на пятый день нашли Верочку. Лежала она под кучей хвороста зарубленная. И совсем не в той стороне, где подобрали Маргариту Васильевну. Платье разорвано на спине, туфля одна. Верно, гнались за Верочкой, схватили за плечи...

За эти дни окончательно побелела голова учителя. Милиция в три круга леса окрестные обложила, да разве найдешь в стоге сена иголку! Ушли бандиты.

* * *

Схоронили Верочку на Метелихе. Духовой оркестр из города вызвали. С той же машиной приехал рослый белокурый парень в спортивной майке. С первого взгляда понял Володька: этот не из оркестра. Защемило в груди, колючий комок застрял в горле.

Перед полднем из школы вынос был.

Верхняя улица народом запружена. А когда мимо церкви проходили, в полном облачении отец Никодим в дверях показался. Широким крестом благословил проплывающий над головами увитый кумачом гроб.

Воскресенье было, в церкви богослужение шло. Сказывала потом Кормилавна Андрону: прервал отец Никодим службу, отступление сделал. В проповеди велел мирянам молиться за новопреставленную рабу божью, мученическую смерть от руки злодея приявшую; за отпущение вольных и невольных ее прегрешений.

Как в гору поднялись, увидел Андрон от своих ворот: возле школы подвода остановилась, лошадь в оглоблях шатается. Выпрыгнула из тарантаса женщина в черном, руки вскинула. На Метелиху прибежала, когда гроб уже опустили. Раздвинула народ, разом все догадались: мать. И Николай Иванович чуть в сторону подался. Опустилась она на колени, а потом упала на сырой бугор, разметались у нее волосы.

Долго не расходились люди. Наконец по одному, по два стали спускаться по извилистой тропке, не надевая шапок. Комсомольцы наверху остались да тот, городской — в безрукавке. Глянул искоса на него Володька и протянул парню руку.

— Давай дружить будем, — глухо проговорил Володька, — «Меченым» меня прозывают, а окрещен Владимиром.

— Игорь, — также вполголоса отозвался приезжий, принимая жесткую руку Володьки. — Писала она. Спасибо тебе за всё. Но ты дай слово...

Понял Володька, о чем тот хочет сказать, еще крепче сжал руку Игоря:

— Дух вон, найду!

Последним спустился Володька с горы, разрывными медвежьими пулями снарядил патроны, на неделю пропал из деревни. Одичал в лесу, почернел, но так и пришел ни с чем. Только в одном месте, в пихтаче за Красным яром, на костер затоптанный наткнулся. А в сторонке лапки еловые раскинуты — как будто двое спали.

Там же, в лесу, встретил Володька Андрона Савельевича. После смерти Дуняшки, чтобы как-нибудь приглушить свое лютое горе, принялся Андрон за старое: медведей на овсах караулил, примечал места, где хозяин лесной в зиму залечь собирается.

Андрон первым Володьку в пихтаче заметил, подошел, глянул на угли, серым пеплом подернутые, на лапки, брошенные в изголовье, кашлянул глухо, проговорил, как равному, будто мысли читал Володькины:

— Ушли, сволочи! А ведь наши. Не иначе, Филька...

Помолчал, тяжело опустился на колоду и добавил, медленно процеживая слова:

— Пустое дело, парень, тут их искать. — Еще помолчал. — Не иначе, за Черную речку подались. Места

дикие, — добавил словно издалека, — сдается мне, и в этот раз на пару они со старостой были. Там он, поди, и хоронится, за Поповой еланью: сродственник дальний там у Ивана Кондратьевича объездчиком в заказнике.

Вновь насупился, на носки обшарпанных сапог уставился, вздохнул тяжело и заговорил будто про себя:

— Жалко девку, иначе. Эх, Володька, Володька! Вот ведь как оно всё наперекосяк пойти может. И кто бы мог подумать, што лютость такая в народе живет? Ну за што они ее топором-то?! Што глаза наши темные открывала? — Повернулся круто, спросил строго: — Ты чего это?.. Никак сырость разводишь? Бабам оставь. Эх, Володька! Было бы тебе лет на пяток поболее... — и вдруг спохватился, взял на руку ружье Володькино, взглядом приласкал витые стволы. — Ружьецо, парень, что надо! Доброе у тебя ружьецо. Легковато, конечно, ну да тебе ведь оно для забавы. Да ты вот что, того, парень. Не сразу об этом учителю. Про елань-то. Обмозговать следует. Не сразу, говорю. Тут, как на облаве, выждать полагается. Не спугнуть бы. Ужо сам я Николаю Ивановичу дам знать. Понял?..

Вернулся домой Володька, и первым делом — к Федьке Рыжему. Потом Екимку призывали, Петьку, Никишку. Впятером железными клиньями возле мельницы плиту красную выломали. На другой день, как смогли, обтесали, а вечером на канате пеньковом пронесли по деревне.

Бабы встречные посреди улицы с ведрами останавливались, из окон головы бородатые долго смотрели вслед. Поняли все, для чего плита. Когда на гору поднимались, несколько мужиков подошло, был среди них и Андрон Савельевич. Молча взял он из рук Володьки канат, петлей через плечо перебросил, да так и не менялся до самого верху.

Часто видели потом Володьку на вершине Метелихи. Часами сидел у плиты.

А жена Николая Ивановича прожила в Каменном Броде всего три дня, и опять по деревне слух перекинулся: за бывшее, за давнее прощенья просила, а Николай Иванович ответил: «Простить можно, забыть нельзя». С тем и уехала.

«Когда человек уходит из жизни, вещи его сиротеют и постепенно меняют свои места». Николай Иванович сейчас уже не помнил, когда и в какой именно книге были прочитаны эти слова. Кажется, вскоре после трагической смерти Дуняши. Читала Верочка, а Николай Иванович, Маргарита Васильевна и Володька слушали.

Верочка умела читать по-особенному: не быстро и прислушиваясь к тому, как из отдельных звеньев составляется фраза, как звучит она, если ее повторить про себя и вдуматься в смысл. У нее было богатое, живое воображение, и нередко, остановившись на половине страницы, она опережала автора, спорила с ним, волновалась, вовлекала в спор слушателей. И это она — Верочка — приучила Маргариту Васильевну не просто читать запоем, забывая о времени, а прислушиваться к невятному шелесту слов, видеть окружающее в ином освещении, мыслить и говорить иначе.

Сейчас вспомнилось только одно: что книга была не новой. Строчка эта попала в начале главы, и Верочка сразу же опустила развернутую книгу на колени.

— А ведь это и в самом деле страшно для того, кто уходит, — сказала она в тот раз. — Ушел, и ничего после тебя не осталось. Пусто. А человек жил, у него были свои, ему одному известные, радости и невзгоды, свои затаенные помыслы... Близкие ему люди знали, что по ночам он курил трубку, что она лежала на его столе возле массивной чернильницы. И вот ушел человек, чтобы никогда больше не сесть за свой письменный стол. День или два трубка еще лежит на своем месте. Потом кто-то из родственников убирает ее в ящик. И стол от этого сразу теряет свое прежнее назначение, становится просто столом, как будто и не сидел за ним мыслитель. А еще через несколько дней унесли чернильницу, на столе забыли утюг. Страшно!

— У тебя, дочь, не совсем правильное отношение к вещам, — возразил тогда Николай Иванович. — Вещи служат нам, они наши рабы. В одном согласен с тобой: пустоты после себя действительно надо бояться. И еще больше бояться ее при жизни.

— Да, это верно, папа, — подтвердила дочь. — Пу-

стота — самое страшное. Но ты же отлично знаешь, что я — фантазерка. Вот и потянуло меня в мир осиротевших вещей. Им больно, папа, не спорь со мной.

Затем она приготовилась снова читать, уже набрала побольше воздуха, но вместо следующей фразы из книги продекламировала:

Извечно времени незримое течение,
Скользят года, течет за веком век.
И струи смелых дум сливаются в ученье,
И мудрость пьет из них всесильный человек!

«Кажется, всё это было вчера, — с болью подумал Николай Иванович. — Человек... Был человек». — И обхватил голову руками.

Он сидел в комнате Верочки, за ее столом, накрытым старательно отутюженной простенькой скатертью. На середине стола лежала стопка классных журналов, заготовленных дочерью на новый учебный год, чернильница-непроливайка, как у школьницы. Чуть левее — на проволочной складной подставке и под стеклом — любительская фотокарточка Игоря и бронзовая статуэтка: большеголовый лопоухий щенок припал на передние лапы, склонил набок глупую свою голову и заливается визгливым беззвучным лаем на перевернутого жука-носорога.

Вот и всё, что видела перед собой Верочка на столе, когда оставалась наедине со своими мыслями, вот и все ее вещи, которые трогала она своими руками и которым теперь неуютно и холодно, потому что они осиротели.

Был еще дневник. Он бесследно исчез.

Николай Иванович взял в обе руки бронзового щенка. До сих пор он сдерживал свои чувства, как солдат после гибели боевого соратника. Так было и в лесу, когда он первым увидел на сломанной и вдавленной в землю колючей ветке шиповника сиреневую ленточку от платья Верочки, и потом, когда подошел к куче хвороста, из-под которой виднелась отброшенная рука.

Когда дочь лежала в гробу, когда сам он указал место, где рыть могилу, и сам же ударил ломом в каменистую плиту на вершине Метелихи, Николай Иванович был в каком-то оцепенении. Таким же он оставался и в день похорон, — машинально нагнулся, чтобы бросить вниз горсть земли, и не вздрогнул от того,

что по крышке глухо ударил тяжелый ком глины. А вот теперь, после того как уехала жена, Николай Иванович сжал в пальцах холодную бронзу статуэтки и судорожно захлебнулся.

Дневник... Кроме Валерки и Маргариты Васильевны, никто в деревне не знал о его существовании. И тем более о том, что там было записано. Что дневник был у Верочки и исчез вместе с тетрадями и книжкой, теперь знают еще четверо: кузнец, председатель колхоза, теперешний секретарь комсомольской ячейки Владимир Дымов и счетовод Гришин. Николай Иванович сам рассказал им об этом. Разговор-то, собственно, велся вначале с глазу на глаз с одним Романом, за перегородкой, а потом сюда же вошли Карп и Володька, Артюха с бумажками к председателю сунулся. И, по свойственной ему привычке, сразу же принялся надумывать различные версии. По его мнению выходило, что воришка польстился прежде всего на тетради. Нету ведь их в кооперации, а в город не каждый из родителей может съездить.

Карп и Роман промолчали оба при этом, а Володька обиделся.

— Не сделают этого ученики! — недовольно поглядывая на Артюху, сказал он. — Не сделают!

— За всех-то, брат, не ручайся, — посоветовал Артюха. — Давай уж, знаешь, принципиально, если ты головой комсомола выбран. И не кричи. Не повышай голоса. Не подрывай своего персонального авторитета.

У Володьки побелели губы. Он что-то еще хотел сказать Артюхе, но Николай Иванович приподнял чуть руку:

— Спокойно, спокойно, Володя! — и опять к дневнику вернулся. Сказал, что есть у него одно смутное подозрение, но он никак, даже мысленно, не может связать концы с концами.

Не надо бы учителю говорить про колчаковца, которого Верочка на Большой Горе видела, — Артюха даже дышать перестал при этом, да Николай Иванович не заметил. И Карп и Роман тоже не видели, как кончиком языка облизал счетовод враз пересохшие губы.

— Всегда обо всем мне рассказывала, — продолжал Николай Иванович, глядя под ноги, — а тут промолчала. Ничего не пойму.

Не только Андрон с Володькой искали бандитов. Из Уфы по заданию Жудры приехал один из его помощников, следователь Бочкарев. Не заезжая в Каменный Брод, он сразу же отправился в Константиновку, где в сельской больнице лежала Маргарита Васильевна, никому, кроме фельдшера, не назвал себя, а сиделке сказал, что он — дальний родственник Маргариты, и попросил, чтобы их разговору не мешали.

Маргарита Васильевна рассказала ему, когда примерно вышли они с Верочкой из деревни, как сначала напали на нетронутую малину и собрали ее в один кузовок. Потом оказались на просеке. По ней углубились в лес. Там начинался овраг. Глубокий и каменистый, он уходил к Ермилову хутору. Вот тут — в отрогах оврага — и стали им попадаться невысокие кусты орешника, тоже никем не тронутые.

Быстро набрали и второй кузовок. Маргарита Васильевна сказала подружке: «Ну и довольно. Запомним место, придем в другой раз». А Верочка предложила другое — подняться наверх, сесть где-нибудь на полянке, вылущить собранные орехи, вот и еще добрая половинка кузовка освободится. Дня-то еще и половины нет, куда торопиться!

Так и сделали. Высыпали орехи около пня и стали их лущить. А потом Верочке захотелось пить. Она пошла к родничку.

— Мы и до этого пили там, — вспоминала девушка, — это совсем недалеко за кустами. Там лощинка такая травянистая. И вдруг я слышу — Верочка кричит изо всех сил: «Папа! Володя! На помощь!! На помощь!!!»

Маргарите Васильевне трудно было говорить, голос ее срывался.

— Я не успела ничего и подумать, — продолжала она через минуту, — вскочила, бегу через кусты, зову Верочку. А она: «Рита!! Рита, беги! Спасайся!!» И тут я увидела... Двое их было, один с топором...

Маргарита Васильевна отпила из стакана, потрогала забинтованную голову.

— Больше я ничего не помню, — прошептала она еле слышно. — Бежала, не зная куда, и не видела пе-

ред собой дороги. Сорвалась с каменистого выступа. Опомнилась уже ночью на телеге.

Бочкарев слушал не перебивая. Он ничего не записывал, а Маргарите Васильевне начинало казаться, что ей не верят, и она повторяла всё заново.

— Никого не встречали вы по дороге в лес?

— Никого.

Маргарита Васильевна подумала и добавила, что когда они вышли на просеку, то слышали, как кто-то рубил дерево и как оно упало.

— Далеко это от родника?

— Километра два, может быть, больше.

— А этих двоих можете вы описать? Старые или молодые, в чем одеты? Какого роста хотя бы?

— Этого я не запомнила. Один, кажется, с бородой.

На рассвете следователь был в Каменном Броде. Учитель не спал, сидел за своим столом, механически перелистывая учебные планы. Потом отложил в сторону папку, задумался, на стук в дверь не сразу ответил.

Бочкарев коротко рассказал Николаю Ивановичу о цели своего приезда, предупредил, чтобы при посторонних директор школы обращался к нему как к уполномоченному из районо, сказал, что в ближайшее время собирается здесь побывать и сам Жудра.

— Неладно у вас в районе, товарищ Крутиков, — говорил Бочкарев, — очень неладно. В этом медвежьем углу особенно. — Помолчал и добавил: — Знаю, что тяжело вам, больно трогать свежую рану, но меня служба обязывает. Давайте закурим и рассказывайте. В Константиновке я уже был. Только что из больницы. И знаете, не верю я в эту новую версию. Интуитивно не верю. Прав Жудра: тут чья-то работа.

— А что это за новая версия появилась? — настоялся учитель.

Бочкарев недовольно поморщился:

— Ваши местные шерлок-холмсы зашли в тупик, растерялись. Слишком много свалилось запутанных сложных дел на их плечи. Ведь только по вашему колхозу за полтора года — поджог хлеба в скирдах, побег церковного старосты, явно кулацкая вылазка на скотном дворе и, как финал, убийство. Им же опомниться некогда было. Не смогли додуматься, что в Уфе, в уголовном розыске, имеются служебные соба-

ки. А когда обнаружили труп, даже участкового милиционера на месте преступления не оказалось.

— Тут, пожалуй, больше всего моя вина, — признался учитель. — По правилам следствия я не должен был подходить к этой кучке валежника. Но ведь — дочь, родная дочь.

— Я всё понимаю. На вашем месте любой поступил бы так же, — говорил собеседник Николая Ивановича, сосредоточенно разминая в пальцах нераскуренную папиросу. — Всё это объяснимо. Тем более нельзя было работникам местной прокуратуры ни на минуту отлучаться из Каменного Брода. И вот теперь нашли выход из незавидного положения: присылают к нам в управление бумагу, в которой излагают свои «особые» соображения. Единственного очевидца убийства необходимо-де изолировать. Короче говоря, отправить в тюремную больницу! Доводы? Из-за того только, что не пошла к ручью, когда подружке захотелось пить! И еще — происхождение у нее сомнительное. Вон куда метнуло! В переводе на русский язык это значит, что была в сговоре, завела сознательно. Вы понимаете?!

— Дичь какая-то. Ересь.

— Вот начальник и направил меня сюда. Это всё для начала, товарищ Крутиков. А теперь я готов. — Бочкарев уселся свободнее.

— К чему вы готовы?

— Слушать вас. Рассказывайте всё, и подробнее. Лучше будет, если начнете с первого дня, как поселились в этих вот комнатках.

— А если раньше? Если с тысяча девятьсот девятнадцатого года?

— Тем лучше.

Минутная стрелка стенных часов — худая и голенастая — несколько раз обогнала часовую — короткую и медлительную, а сами часы с остановками, точно раздумывая, принимались не спеша отсчитывать положенное число ударов. А Николай Иванович всё вспоминал, всё рассказывал о годах, прожитых в Бельске, о людях, с которыми вот уже четыре года живет здесь, варится с ними в одном котле, о том, как зарождался колхоз и какие у него есть в этом деле помощники. Рассказал и о том, конечно, что у дочери был дневник и что он исчез, по странному стечению обстоятельств,

в ту же самую ночь, когда произошло чрезвычайное происшествие на артельном скотном дворе, что именно эта кулацкая вылазка помешала ему толком выслушать рассказ Верочки о человеке, которого она случайно увидела на Большой Горе.

— Когда это было?

— Летом прошлого года.

— Продолжайте, слушаю вас.

Николай Иванович снова вернулся к воспоминаниям о годах гражданской войны, о том, что семья его была схвачена колчаковской охранкой, старался припомнить дословно сбивчивые рассказы Верочки и записи из ее дневника, которые она ему показывала еще в Бельске. И как за два дня до злодейского убийства она уверяла, что видела этого колчаковского офицера на Большой Горе, что не могла ошибиться.

Бочкарев молча слушал, дымил папиросой, изредка вскидывал на рассказчика быстрый взгляд.

— Сложная ситуация, Николай Иванович, очень сложная, — сказал он задумчиво, когда учитель рассказал всё, что, по его мнению, могло интересовать собеседника. — Ну, а чем же закончилось следствие по делу о вредительстве на скотном дворе?

— А ничем. Никто никого не видел, никто ничего не знает.

— Это мы с вами пока ничего не знаем, — поправил следователь, — и это плохо. А я убежден, что исчезновение дневника вашей дочери и нерезанный картофель в кормушках у дойных коров — звенья одной цепи. Добро, пойдем помаленьку дальше.

На другой день Бочкарев и Николай Иванович были в лесу.

У начала оврага за Ермиловым хутором нашли поваленную сосну. Ствол ее был распилен на несколько одинаковых частей, два бревнышка расколоты надвое, половинки отесаны. Похоже, что кто-то заготавливал здесь плахи для нового сруба в колодец. С комля дерева не хватало метра на три. Видимо, часть плах уже унесли.

— Вот с этого и начнем, — решил Бочкарев.

Пригнувшись, следователь поднял с земли окурок, повертел его перед глазами.

— Папиросочками кто-то баловался... Не такие и де-

шевые, — продолжал он, разглядывая окурок. — Видите: «Стенька Разин»...

Еще раз съездили в Константиновку. По дороге в больницу Бочкарев зашел в магазин, купил дорогих конфет, печенья, а Николай Иванович попросил у какой-то женщины несколько ярко-красных махровых цветов из палисадника. Всё это положили на тумбочку у постели Маргариты Васильевны.

Посидели совсем недолго, пожелали побыстрее выздороветь, а перед самым уходом следователь спросил: не могла бы вспомнить Маргарита Васильевна, с кем разговаривала на стройке Верочка? На Большой Горе, когда МТС закладывали?

— Со многими разговаривала! — не задумываясь ответила девушка. — С плотниками, с инженерами, с нашими и тозларовскими комсомольцами. Мы даже песни пели, потом с девчатами глину месили. Купались на речке. И, конечно, разговаривали. Теперь уж только не вспомнить, о чем. Так, болтали. Домой пришли уже в сумерках.

— И ничего она вам особенного не говорила?

— Когда возвращались домой, Вера была чем-то взволнована.

— А из дневника своего она вам не зачитывала, после уже, запись, что видела на стройке белогвардейского офицера?

— Офицера?!. Нет. Что вы!..

Больше Маргарита Васильевна ничего не могла добавить. Забылось: год ведь прошел с того дня. Да Верочка ей и на самом деле об этой встрече с колчаковцем ничего не говорила. И записи в дневнике не читала.

Ни в одном из колодцев не найдено было обновленных срубов. Ни в самом Каменном Броде, ни в других деревнях в потребительских лавочках папирос «Стенька Разин» не продавали. И на Большой Горе среди каменщиков и плотников, которые заканчивали строительство МТС, не нашлось человека, который припомнил бы что-либо особенное, что было тут в день закладки главного корпуса.

Из МТС мимо Провальных ям вышли на мельницу, берегом обогнули озеро и оказались у Черных камней. Здесь спутник Николая Ивановича задержался.

Его внимание привлекла невысокая новенькая оградка из свежеструганного штакетника. В ограде невысокий продолговатый холмик и облицованная жестью пирамидка со звездочкой. На пирамидке надпись масляной краской: «Здесь покойся прах неизвестного героя революции. Пал от руки колчаковских бандитов в августе 1919 года».

— «Праха неизвестного героя революции», — про себя повторил чекист, — «в августе 1919 года». Это правильно — в августе, — и вздохнул. Потом посмотрел на учителя и спросил так же вполголоса: — Почему же «героя»? Здесь ведь двое расстреляны. А могло быть и трое.

— Кто третий?

— Я.

— Вы?!

— Да, я.

— Воевали в этих местах?

Бочкарев утвердительно кивнул. Молчком обошел изгородь, снял фуражку.

— Кто это сделал? — спросил он, взглядом указывая на решетку.

— Комсомольцы.

— Ваши ученики?

— Товарищи моей дочери.

— Приеду в Уфу, обязательно расскажу об этом своему командиру эскадрона.

— Это кому же?

— Григорию Жудре. Я ведь сам напросился в эту командировку. Девятнадцатый год тянет. И в моей и в вашей судьбе эти места переплетаются. Да, скажите, пожалуйста, как тут поживает ваш местный поп? Никодим Илларионович, кажется?

— Поп?

— Ну, священник, если вам «поп» не нравится.

— Вы хотите знать, как он ведет себя? И нет ли у меня каких-либо подозрений? Пожалуй, это была бы еще более дикая версия, чем подозрение на подружку Веры.

— Значит, он не в контакте?

— Не думаю, — твердо сказал Николай Иванович. — Или я окончательно слеп. А у вас что, имеются факты?

— Самые достоверные! — почему-то улыбнулся собеседник учителя. — Сегодня же надо обязательно навестить вашего Илью Муромца.

Николай Иванович пожал плечами:

— Что-то вы заговорили вдруг загадками. Откуда-то и отчество раскопали? Я, например, живу здесь скоро четыре года и впервые слышу, что наш поп — Илларионович.

— А я вот запомнил его с девятнадцатого года. Ведь если бы не этот ваш поп, тут и я остался бы на веки вечные... У этих вот Черных камней. Третьим... Вот так.

Следователь провел рукой по сидящим, коротко остриженным волосам.

— Вот так, — повторил он через минуту. — Ладно, всё это для разрядки, как принято говорить. Вначале вы мне рассказывали, теперь — я вам. Только мой рассказ будет совсем коротеньким. Видите ли, Николай Иванович, в этих местах летом и осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года наш кавалерийский особый эскадрон добивал белогвардейскую банду. Уже после того, как освободили от колчаковцев Уфу. Банда большая — без малого в сотню сабель и верховодил ею (теперь-то кое-что нам известно) анархист и черносотенец, а в последнее время колчаковский офицер, по фамилии Ползутин. Были у нас данные, что этот громила частенько навещается на усадьбу Ландсберга, семья которого жила еще здесь. Хитер был бандюга. Несколько раз увертывался, подставлял вместо своих головорезов другую банду — кулацкую, из местных националистов, с которой действовал сообща. И вот именно здесь — в Каменном Броде — эту кулацкую свору мы начисто перебили, а потом обложили большим кольцом всё это волчье логово, включая Константиновку и поместье Ландсберга. Эскадроном командовал Жудра, а я был у него комиссаром.

Николай Иванович слушал не перебивая неторопливый рассказ бывшего сподвижника Жудры. Под конец спросил:

— Стало быть, вы и Фрола знали, если об этих Камнях повели разговор?

— Знал. Он-то и прискакал к нам в отряд, сообщил, что в селе черная банда. А еще через несколько

дней его ранило в перестрелке. Это когда мы начали сжимать кольцо. И опять атаман ускользнул. Вот на него, пожалуй, я и напоролся средь ночи на площади в вашем селе. С коноводом вдвоем мы ехали. И вдруг — залп от церкви. Коновода — насмерть, потом подо мной лошадь рухнула. Да и самого меня — в грудь навывлет... И знаете, где я очнулся? В алтаре, под престолом.

* * *

— Незавидны наши дела, Николай Иванович, со всем незавидны! — рассуждал Бочкарев через несколько дней. — Не за что нам зацепиться. Нет ни улики, ни свидетелей — одни голые рассуждения. Что мы имеем? Окурки и записку в дневнике вашей дочери. Подвал в комендатуре и выруб за Метелихой. Год тысяча девятьсот девятнадцатый и тысяча девятьсот тридцать второй. Будем думать, сопоставлять, искать. Прежде всего нужно найти дневник. Вы говорили мне, что после того, как проводили Мартынова, в лесу по тропе кто-то шел за вами. И спереди кто-то был. Однако не тронули вас. Готовились, ждали — и не тронули. А Веру убили днем. Значит, для кого-то из них она была опаснее, чем секретарь партийной ячейки. Я прихожу к выводу, что ваша дочь действительно опознала на стройке матерого белогвардейца. Кому-то, возможно позднее уж, сказала об этом, а кому — вот вопрос. Вы меня понимаете?.. Окурки, окурки меня смущают: мужики папирос не курят...

Разговор этот происходил в квартире Николая Ивановича, в его комнате, а Валерка вытирал тряпкой угловое окно за перегородкой. К торцу подоконника был прилеплен засохший сплюснутый окурки. Валерка увидел его, смахнул на пол, подмел потом веником и вместе с пылью и мусором бросил в ведро.

Следователь уехал в Бельск. На прощанье сказал, что надо ему поработать в архивах, а до этого побеседовать с Юлией Михайловной. Пообещал приехать через неделю. И не приехал: на одном из заводов Уфы вскрылось крупное вредительство, и Жудра его отозвал.

Николай Иванович за эти дни постарел, плечи у него обвисли. Но работы себе не убавлял. Редкий день

проходил, чтобы не видели его на артельном току или в правлении колхоза.

Дивился Андрон на учителя: неужели все они такие — коммунисты?! Схоронить кровное детище, остаться совсем одному в чужой, озлобленной деревне? Да будь всё оно трижды проклято! Что ему — больше всех надо? Или совсем уж заостенел и нету в нем сердца родительского! Другой давно бы уехал, бросил всё к чертовой матери: тут, не ровен час, и в самого пальнут из-за угла.

Андрон разводил руками, не зная, что и сказать про учителя: и впрямь железный... А однажды ехал он с поля да и замешкался возле школы — битый час просидел в телеге, пока лошадь сама от плетня на дорогу не вывернула.

Дело за полночь было, в деревне всё вымерло, а учитель не спал. Стоял у открытого настежь окна, без света, и в его руках горько плакала скрипка. В жизни не думал Андрон, что эта пустяковая штукovina с волосяным смычком власть такую над человеком возыметь может. Всего наизнанку вывернула. Не кого-нибудь — самого Андрона! Ладно, что ночь была, люди не видели. Уж кто-нибудь посмеялся бы: на медведицу — с топором, а тут — кулаки к носу.

«Каково же Николаю-то Ивановичу? — дома уже подумал Андрон. — Зубами зажал свое горе, а дело из рук не выпускает. Коммунист...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После возвращения в Бельск жены учителя Крутикова для Иващенко наступили тревожные дни. Первый раз он увидел эту женщину из окна своего кабинета, когда она проходила мимо прокуратуры, и ему показалось, что Юлия Михайловна несколько замедлила шаги и дольше, чем следует, рассматривала вывеску. А во флигеле, за кирпичной стеной, находилось еще одно учреждение, название которого с давних пор вызывало у бывшего завуча неприятные, липкие мысли. Да еще этот новый уполномоченный ОГПУ Прохоров, в прошлом балтийский матрос: не успел приехать и сразу же занялся перепроверкой старых, закрытых

дел в прокуратуре, в архивы полез. Мужик мужиком, читает чуть ли не по складам, а «чекист», тоже мне...

«Ну и пусть, пусть зайдет даже туда! — храбрился «товарищ А. С.». — А что она, собственно, может сделать? Кто ей поверит? Ей же совершенно не на кого сослаться! Если бы даже дочь была жива, то и ей трудно было бы что-нибудь доказать».

За это время Юлия Михайловна дошла до аптеки и скрылась за высокой стеклянной дверью. Иващенко про себя усмехнулся. «Не завидую я бедному старикашке, — подумал он. — Эта неврастеничка закидает его теперь рецептами...» И вдруг ни с того ни с сего Анатолию Сергеевичу отчетливо припомнилась школа, урок обществоведения и как он вел рассказ о последних днях Парижской коммуны, потом перевел разговор на революцию нашу и после чьего-то вопроса переключился на события 1919 года, которые захлестнули в то время Сибирь и Поволжье, стал рассказывать о зверствах колчаковцев в Бельске. И... «Неправда! Вас не было в это время в городе!»

Дерзкий выкрик девчонки из-за третьей парты, как удар плетью, обжег тогда завуча. И сейчас, через столько лет, у Иващенко оборвалось что-то внутри, а откуда-то из пространства глянули на него темные ненавидящие глаза.

Юлия Михайловна всё еще оставалась в аптеке, а бывший ее вздыхатель, человек, которому она когда-то слепо во всем доверялась, уже разговаривал по телефону с уполномоченным ОГПУ.

— Известно ли вам, товарищ Прохоров, что в нашем городе появилась некая гражданка Крутикова, осужденная в тысяча девятьсот двадцать пятом году за связь с колчаковской охранкой? — спрашивал он, нарочито растягивая слова и особо подчеркнув два последних.

— Да, нам это известно, — помолчав, ответила трубка шероховатым простуженным басом.

— А достаточно ли хорошо вас ознакомили с сущностью дела? Это ведь был довольно громкий процесс.

— Знаю и это. Дело гражданки Крутиковой Юлии Михайловны пересмотрено в высших инстанциях, и она освобождена из мест заключения.

— Ах, вот даже как! И что же она намерена здесь делать?

— Будет жить и работать здесь, в Бельске. Она была у меня.

— Позвольте...

— И я обещал оказать содействие в ее просьбе.

Трубка еще помолчала, — видимо, обладатель шероховатого баса ожидал новых вопросов, но их не было, и человек на другом конце провода, густо прокашлявшись, положил трубку на место.

Иващенко перевел дух. Дернули черти! Вот уж, действительно, пуганая ворона... Этот мужлан в матросском бушлате может подумать бог знает что. «Обещал оказать содействие»... Нет, нет, если бы между ними был разговор о девятнадцатом годе, он не сказал бы этого. И Анатолий Сергеевич неожиданно для самого себя принял другое решение. Он снова взялся за телефонную трубку:

— Товарищ Скуратов? Зашли бы ко мне на минутку.

Антон не заставил себя долго ждать. Он вошел в кабинет шумно, грузно протопал к столу, протянул широкую, пухлую руку с короткими, толстыми пальцами и тут же плюхнулся в мягкое кресло.

— Если по заготовкам, у меня всё в ажуре, — начал он, отдуваясь. — До плана пустяк остается. Выполним, Анатолий Сергеевич. Выполним и перевыполним! Единоличника за жабры возьмем и еще раз перевыполним. Я уже спустил в низы такую директиву. Выжмем! — И грохнул по столу кулаком.

Но Иващенко не стал интересоваться цифрами сводки. Вместо этого он напомнил Скуратову о всё еще не прекращающихся в районе фактах вредительства, посетовал на чертовскую усталость и бремя ответственности, наигранно повздыхал, позавидовал тому, как выглядит его собеседник, сказал, что с такими помощниками ему нечего опасаться за план государственных поставок, и в конце перевел разговор на другие дела. Спросил между прочим, позевывая:

— Не узнавали в милиции, чем кончилось там это дело в Каменном Броде? Не изловили насильника?

— Это вы об убийстве? — Скуратов почесал затылок. — Не по зубам оказался орешек, Анатолий Сер-

геевич! Всю округу перешерстили. И — ничего. Сам прокурор опасается, как бы ему не вlepили за это. А пуще того соседа боится нового — матроса: притупление, скажет, классовой бдительности!

— Пустое! — вяло отмахнулся Иващенко. — Я уже высказывал нашим следователям свое мнение. Всё это громкие фразы самого Крутикова: «Первая комсомолка», «Застрельщица», «Вожак молодежи!..» А я хорошо помню эту вертлявую девчонку еще по седьмому классу. Пустышка с бантиками! В пятнадцать лет забила себе голову мальчишками, учителям и то глазки строила. Ну и там занялась, видимо, тем же. Это вы ведь, кажется, говорили мне, что в первый же год, как они перебрались туда, деревенские парни калитку у школы дегтем измазать хотели? Вот вам и результат!

— Логично и политично, — глубокомысленно высказался Антон. — Припоминаю, было такое письмишко. Селькор сообщал. Точно, на поведение ссылался. Да, кажется, и сам он — Крутиков — по юбочной части не промах. Вдова там какая-то проживает — солдатка, а потом в избу-читальню девица приехала... Это вы, Анатолий Сергеевич, своевременно подмечаете. Явное аморальное разложение. Факт. Может быть, на бюро его вытянуть? Я бы на вашем месте не потерпел.

— Одернем, одернем, товарищ Скуратов, — заверил его Иващенко. — Всему свое время. Надо проверить содержание писем. Надеюсь, они не уничтожены?

— Что вы, как можно! — замахал руками Скуратов. — В особой папочке все подшиты и пронумерованы.

— Там, кажется, родственник ваш подвизается?

— В газете-то? Да как вам сказать, — замялся Антон. — Седьмая вода на киселе. Но парень не промах: что надо, с лету хватает.

— Вот ему и поручите проверить эти сигналы.

— Будет исполнено! — с готовностью подхватил Антон. — Какие еще последуют указания?

И только теперь Иващенко перешел к главному, ради чего вызвал Скуратова. А весь первоначальный разговор отвел в сторону заранее обдуманно, чтобы в не-

поворотливом мозгу Антона не возникли вдруг какие-либо собственные соображения.

— Указания, товарищ Скуратов, будут, — повременив и откинувшись на высокую спинку секретарского кресла, медленно проговорил Иващенко. — Конечно, по таким пустякам можно было бы и не беспокоить вас — человека, ответственного за огромный район, но партия учит, чтобы любой руководитель всегда и во всем был прежде всего внимательным, чутким.

— Берем пример с вас, Анатолий Сергеевич! — Антон расплылся в подобострастной улыбке. — Я всегда в этих смыслах в первую голову вашу заботу о простом человеке выпячиваю. Вот и вчера выступал в одном месте... Так слушаю, слушаю вас. Может быть, записать, чтобы за делами-то каждодневными не забылось? Позвольте листочек...

«Этого еще не хватало!» — подумал Иващенко, а вслух продолжал:

— Пустое, что там записывать! Это я просто хочу с вами посоветоваться. Понимаете, Антон Саввич, дело такого рода...

Анатолий Сергеевич побарабанил пальцами по столу, для чего-то полистал лежавшие перед ним бумаги и, мельком поглядывая в широкоскулое и тупое лицо Скуратова с набрякшими полукружьями под глазами и тяжелыми складками под подбородком, принялся втолковывать ему свою мысль. Она сводилась к тому, что на данном этапе очень важно не озлоблять людей, особенно тех, кто некогда заблуждался, принадлежал по своим убеждениям к той или иной оппозиции.

— Так вот я вам и говорю, — продолжал Иващенко. — Ну разве можно сопоставить тысячи и десятки тысяч тонн проката и стали, сотни и тысячи пудов колхозного хлеба с мышинной возней каких-то отщепенцев. И тем более с теми из них, которые были уже наказаны или сами чистосердечно во всем раскаялись. Я говорю о жене Крутикова.

— Это которая с высылкой? — понял наконец Скуратов. — Жалко, что мало дали.

— Я уже говорил вам и повторяю, что наша партия во главу угла всей своей деятельности ставит гуманные цели, — наизидательно поучал Иващенко. —

Мне думается, что семь лет, проведенных этой особой в местах не столь отдаленных, кое-чему научили ее.

— Это уж точно.

— Вот и Верховный суд, руководствуясь, видимо, теми же соображениями, не так давно пересмотрел это дело.

— Сколько добавили?

— Освободили досрочно и без поражения в правах.

— Понятно. Значит, скоро приедет? Ловко у вас всё обдумано, Анатолий Сергеевич! Женушка — к мужу, а мы его — на бюро. Логично!

— Вы правильно поняли мою мысль, — согласился Иващенко, видя, что Антон совершенно его не понял. — Могу дополнить: Крутикова уже приехала, вчера звонила мне по телефону, просила принять ее. Я сказал, что подумаю. Не хочется, чтобы в городе возникли кривотолки. Вы понимаете, человек только что из тюрьмы, нашумевшее дело, и вдруг она же в приемной секретаря райкома. Проще будет, если она обратится к вам. Она просит вернуть ей квартиру и предоставить работу по специальности.

— А что же туда... в деревню? Не хочет?

— В предписании у нас сказано: «по возвращении». Вы же знаете, что в Каменном Броде она не жила, как же может она туда возвращаться?

— Понятно.

— Вероятно, она еще будет звонить сюда. Тогда я препровожу ее к вам. Скажу, что со мною всё согласовано, что я не возражаю, а вы уж там дайте соответствующие указания. Но осторожно, доверенным лицам. И... без третьих ушей.

— Будет исполнено. Неукоснительно.

— Ну вот и чудесно. Я всегда думал, что в вашем лице имел и имею надежную и твердую опору. Мне очень приятно сознавать, что наши взгляды и убеждения идентичны. Извините, что побеспокоил вас в разгар рабочего дня.

Скуратов поднялся.

— Да, вот еще что, Антон Саввич, — остановил его у двери Иващенко. — Не поможете ли вы мне восстановить в памяти кое-что связанное с девятнадцатым годом? Я что-то запамятовал: к какому крылу тяготел в то время провизор Бржезовский?

Это вы про аптекаря? В политику он не вмешивался.

— Благодарю. Не смею вас больше задерживать.

* * *

— Ах, Юлия, Юлия! Юлька!.. Не узнаю я тебя, не верю своим глазам! Ну посмотри на меня, улыбнись, как в былые годы. Я прошу. Хочешь, я встану на колени?!

— Не нужно паясничать.

— А если сердце мое разрывается?

— Ваше сердце?

— Я так мучился все эти годы...

— Оставьте.

Высокая строгая женщина с тугим, тяжелым узлом волос на затылке поднялась с дивана, прошла к туалетному столику, бледной рукой прикоснулась к высокому лбу. Потом на секунду открыла черную замшевую сумочку, пальцы ее нащупали продолговатый цилиндрок шприца. Прикусила верхнюю губу, бросила сумочку на место. К дивану вернулась с папиросой.

— Ты куришь?

— Семь лет.

— Юлия, я всё расскажу. Произошло невероятное. Мы все здесь были уверены, что это — судебная ошибка.

— Ошибки не было.

— И ты согласилась с предъявленным тебе обвинением?

— На судебном столе лежали листы протокола допроса, которые я подписала в комендатуре. Вы, Анатолий Сергеевич, должны помнить тот день.

— Но ты же читала их, прежде чем подписать.

— Их читал следователь. И, оказывается, не все. А потом он заставил меня написать своей рукой что-то вроде благодарственного отзыва на имя коменданта города. Что со мной обращались гуманно, не оскорбляли публичной бранью и не подвергали физическим истязаниям. Вернул от двери и подсунул еще один лист, будто бы не подписанный мною ранее.

— Но это же провокация! Изверги, что они сделали!

— Сами они не могли этого сделать.

— Значит, был провокатор?

— Вы не ошиблись. Думаю, что и я тоже не ошибаюсь.

— Кто же он? Кто он, этот предатель?!

— На вашем месте я не стала бы задавать наивных вопросов.

— Юлия!..

— Нас могут услышать. Здесь, в гостинице, очень тонкие стенки.

Иващенко рухнул на колени.

— Встаньте, — последовало жестко сказанное, как на суде. — Я знала, что вы придете. Хотите разведать, не собираюсь ли я что-нибудь предпринять? Так слушайте: пока не намерена. А чтобы вам не снились кошмары, знайте уж и о том, что в Уфе я была у начальника ОГПУ и здесь заходила к уполномоченному. Я просила его помочь мне устроиться на работу. Больше у нас ни о чем разговора не было. А вчера меня разыскал в городе человек от Скуратова. Не ваша ли это прозорливая забота? Если так, я не хотела бы принимать подачки. И последнее: я проживу здесь недолго, подожду того дня, когда меня вызовут во флигель возле прокуратуры. На очную ставку с человеком, которого вы сами назвали провокатором. Повторяю — я ничего не буду предпринимать. Человек этот должен прийти во флигель и назвать свое настоящее имя.

Жена учителя Крутикова прошлась по комнате, открыла и снова защелкнула свою сумочку, нервно подрагивая пальцами, закурила вторую папиросу.

— А теперь идите, — сказала она, не оборачиваясь к Иващенко. — Попросите прощения у своей жены, что опоздали на ужин. Наврите ей что-нибудь, вам это сделать нетрудно. До встречи во флигеле.

Когда Иващенко вышел, Юлия Михайловна долго стояла посреди комнаты, прислушиваясь к неверным удаляющимся шагам в коридоре. Уголки плотно поджатых губ ее не приметно дрогнули. И только.

Подошла к постели, отбросила одеяло. Прежде чем выключить свет, вынула из сумочки шприц, привычным ударом пилочки для ногтей отбила сосочек запаянной ампулы, втянула бесцветную жидкость в сте-

клянный цилиндрик. Укола иглы выше колена почти не почувствовала, засыпая подумала:

«Во флигель он не пойдет и пули в висок не пустит. Для этого нужно обладать характером».

...И начались для Анатолия Сергеевича кошмары: человек, сам себя назвавший провокатором, только сейчас уяснил подлинный смысл этого слова. За неделю он стал неузнаваем, по утрам разучился бриться, на вопросы жены и сослуживцев отвечал невпопад, а сидя в своем кабинете, даже во время совещаний и деловых разговоров, чувствовал вдруг, что какая-то грубая сила железными лапищами хватает его за голову, поворачивает ее налево, к окну. Там, во дворе прокуратуры, одноэтажный каменный флигель, часовой у крыльца. Обратно выходят только по пропуску.

Иващенко стал настороженным, нервным. Холодные, скользкие мысли непрошеными вползали одна за другой под воспаленное темя, переплетались извивающимся клубком, до звона в ушах распирали черепную коробку. И ему уже мнилось, что за ним безотрывно следят, что не сегодня-завтра у подъезда его квартиры остановится среди ночи черная крытая машина, постучатся в дверь люди в зеленых фуражках. А может быть, и сейчас вот войдет в кабинет человек в матросском бушлате, не торопясь прокашляется у порога и скажет басом: «Гражданин Иващенко! Положите на стол то, что вы держите в правом кармане. Следуйте впереди меня...»

Юлию Михайловну в городе видели редко. Из гостиницы она перебралась на Коннобазарную; жила в том же доме, что и до революции, только в другой квартире, работала по соседству, в конторе лесничества. Знакомств прежних не возобновляла, а если куда и выходила по вечерам, то только в аптеку. И всегда старалась войти туда перед самым закрытием, когда провизор оставался один со своими весами, колбочками и пакетиками.

Вскоре об этом стало известно человеку в потертом матросском бушлате. Знал он, что Крутикова — морфинистка, понял с первого взгляда по нездоровому блеску глаз, по нервному вздрагиванию беспокойных пальцев. Вот и решил Прохоров заглянуть в аптеку,

предупредить провизора по-хорошему, чтобы тот не давал ей запрещенных лекарств.

Зашел с черного хода в неурочный час. В узеньком темном коридорчике его встретил сам Бржезовский. Это был невысокий, очень подвижной старик с седыми висячими усами и в двойных очках. Засуетился, захлопал полами длинного халата, а когда они оказались в самом помещении аптеки, провизор прежде всего побежал к столу и поспешно смахнул с него в ящик какие-то нарезанные прямоугольничками бумажки. На каждой из них было что-то написано. Похоже, что до этого хозяин аптеки составлял из них строчки. словно криптограмму какую-то расшифровывал.

От торопливой поспешности, с которой старик смахнул эти бумажки, часть из них разлетелась к весам, две или три упали на пол. Прохоров нагнулся, подобрал одну, прочитал на ней непонятное слово «Бирке», на второй — «Фиер».

— Это латынь, товарищ начальник, — подсказал Бржезовский. — Наклеечки думал вот обновить, — и длинным прокуренным пальцем, как указкой, повел по заставленным склянками полкам.

— Дело ваше, хозяйское, — усмехнулся уполномоченный, а про себя отметил, что этикетки на банках не так-то уж и поистерлись, да и сделаны они из тонкой бумаги, а эти вырезаны чуть ли не из картона. Те широкие, эти — уже намного. А провизор не успокоился, — глаза его бегали под двойными очками, как у карманника, на дряблых щеках проступили розовые пятна. Он выжидательно насторожился.

— Я к вам вот по какому делу... — начал Прохоров и без обиняков высказал свои подозрения насчет морфия.

Бржезовский встопорщился.

— Это она сама вам сказала? — спросил он, снимая очки. — Ну как после этого верить людям! — И вскинул вверх обе руки.

— Она мне ничего не говорила, это я понял сам. Не такое уж трудное дело распознать морфинистку. А вам не следовало бы забывать, что продажа наркотиков карается по закону.

— Ах, матка бозка ченстоховска! За кого вы меня

принимаете! — закудахтал провизор. — Вы думаете, я наживаюсь, да?! Я ни одного грóша не взял, клянусь господом богом!

— Но закон-то вы знаете?

— Я всё преотлично знаю. Это и раньше было запрещено, а если человек плачет? Я — старик и не выношу женских слез. Я сам плачу. И это неизлечимо, товарищ начальник. Уверяю вас, она плохо кончит. Такая красивая, образованная женщина... Она свободно разговаривает по-французски. Так что́ ей сказать?

— Попробуйте убедить, что ей надо лечиться.

— Опять будут слезы.

— Приготовьте нейтральный состав. В таких же ампулах. Скажите, что это в последний раз, пусть экономит. А к врачу — обязательно. Я проверю.

И проверил. Провизор Бржезовский всё выполнил в точности. Через полмесяца Юлия Михайловна лечилась у невропатолога. Не сделал старик лишь одного: не заменил почему-то наклейки на баночках с препаратами. Но Прохоров не стал допытываться, почему он этого не сделал. Так, безразличным взглядом скользнул по пузырькам в застекленном шкафу.

И провизор теперь уже не приплясывал, не хлопал руками, на вопросы отвечал спокойно. На столе у него не было ничего лишнего, нарезанные из плотной бумаги прямоугольнички с непонятными для Прохорова словами давно обратились в пепел, развеяны были в прах. Всё теперь в голове.

А в тот раз старик действительно перетрусил. И Прохоров был недалек от истины, когда подумал, что аптекарь расшифровывает что-то похожее на криптограмму, — он и в самом деле был занят расшифровкой: из отдельных, разрозненных слов, написанных на немецком языке, составлял различные варианты осмысленных фраз. А виной тому мужичонка с внешностью и манерами захудалого акцизного чиновника. Раз пришел — переведи ему невесть откуда вычитанное «Гот мит унс», через неделю еще три слова: «Бирке нумер фиер». Пожалуйста: «С нами бог!» и «Берега № 4». Для провизора это были ничего особенного не содержащие фразы, а у мужичонки зеленым огнем загорелись глаза, но он тут же потушил этот жадный блеск.

Дальше — больше. Мужичок стал хитрить. Сначала он приносил для перевода полные предложения, а потом начал являться с набором разрозненных слов. И сам же предложил оплату: по фунту сливочного масла за каждую переведенную фразу. Однажды развернул перед провизором листок с такими художествами: «Дер», «зюйдлих», «дас», «Бруннер», «Турке».

Бржезовский пожал плечами, взял карандаш и переписал по-своему: «дас Бруннер», «зюйдлих», «дас Турке», а первое «дер» перечеркнул. Потом перевел эту бессмыслицу: «колодец», «башня», «южный».

— Понятно. Премного вам благодарны! — проговорил мужичишка, а еще примерно через месяц пришел всего-навсего с единственным словом: «Пфердшталл» (конюшня).

— Скажите на милость, «конюшня»! — удивился он, заглядывая сбоку в сосредоточенное лицо провизора. — Может, не так? Может, «каретник»?

— Если вы знаете лучше моего, зачем приходить? — рассердился тогда Бржезовский.

— Да нет, откуда же нам — в лаптях-то!

Мужичонка помялся возле стола, пошмыгал носом и, точно решившись на что-то отчаянное, взял карандаш из руки аптекаря и на том же листе написал попечатному: «Алт». Пригнул голову набок и прочитал его вслух.

— Немец сказал бы «альт», — поправил провизор.

— Не подходит, — разочарованно протянул необычный больной.

— Что не подходит?

— Не то, видно, слово. Я ведь, по скудности-то умишка, знаете что подумал? Вот, мол, добавить еще две буквы, и татарское слово «алтын» получится. Золото это по-ихнему.

— Золото?

Теперь и у переводчика предательски задрожали колени и кончик карандаша в руке, которым он хотел обвести короткое слово.

— «Альт» — это... это «новый», «Новый каретник», если вас так больше устраивает.

Мужичонка задумался, поскреб себя за ухом.

— Откуда он взялся, «новый каретник»? Там при мочальном-то барине отродясь нового ничего не стави-

ли. Лошадей помногу он не держал... — Хотел еще что-то добавить и осекся на половине слова, даже рот не сразу захлопнул. А старик провизор через двойные свои очки успел разглядеть, что в глазах мужичка-простачка вместо зеленого алчного огонька на долю секунды мелькнул неприкрытый испуг.

— Шут с ним; новый так новый! — затараторил он через минуту. — Вот ведь до чего оно интересно устроено в языках-то! Для русского — «алт» этот самый совершенно зряшное слово, его и в разговоре-то нашем нету! У немца, видишь ли, «новый», а татарину добавить немного — «золото». Чудно! Ну, до свиданьица вам. Благодарствую! Вы уж не обессудьте за беспокойство: читаешь иной раз книжонку... И что за манера у этих старорежимных писателей! Ну и писал бы, как добрые люди, а нет — где-нибудь да метнет его в сторону. Для чего вот ввернул «алт» после каретника?!

Мужичишка ушел, а провизор Бржезовский так и остался сидеть над листом бумаги, водил и водил кончиком карандаша вокруг злополучного «алт», которому, если читать по-татарски, не хватало всего двух буковок, чтобы получилось золото. Но «альт» — это вовсе не «новый». Наоборот: «альт» — это «старый». «Старый каретник»...

И проснулся в душе старика Бржезовского точно такой же бес, который гонял хитрящего мужичонку за десятки верст в город с двумя-тремя таинственными словами, выписанными по-печатному на бумажку. Теперь очкастый старик раскусил «любителя-книжника». Пусть не темнит, не изворачивается. Гусь какой — манера старых писателей ему не нравится! Выудил где-нибудь в старом судебном деле неразгаданную шифровку или записку нашел в дупле на какой-нибудь барской усадьбе, вот и мерещится клад.

А бес — тут как тут. Шепчет в самое ухо: «Клад и есть! Золото! Сколько его было закопано в подвалах купеческих особняков в семнадцатом-то году! До сих пор находят. И в поместьях барских. Не всё ведь к Колчаку сплыло!»

Аптекарь зажмурился, покрутил головой. Бес свое шепчет. И старик не устоял перед соблазном. Начал с того, что достал из стола лист чистой бумаги и записал из слова в слово всё, что успел перевести хит-

рому мужичку. Получилась бессмыслица. Вот тогда-то провизор Бржезовский и раздобыл лист ватмана, разрезал его на сантиметровые полоски, полоски эти перестриг ножницами на дольки и потом уже на каждой из них написал по слову латинскими буквами. И стал понадежнее запираяться на ночь, особенно после неожиданного появления Прохорова.

Мудрил, комбинировал. Из отдельных слов составлял фразы, выписывал их на отдельную бумажку и снова передвигал на столе одинаковые прямоугольнички. Дело подвигалось медленно. Из десятка слов, не считая первых двух строчек, старик нанизал несколько сот вариантов, затратил на кропотливое это занятие целую зиму и лето, а мужичок как в воду канул.

Одну из составленных фраз провизор Бржезовский считал наиболее достоверной: «В створе южной башни и каретника (конюшни)», затем добавилась и вторая: «от березы № 4 к старому колодцу». И вот сидел как-то он, уже за полночь, над своими бумажками, и вдруг рассмеялся, хлопнул себя по лысине.

— Дурень ты, старый дурень! — воскликнул Бржезовский. — Ведь когда еще сказано было: при «мочальном барине»! Что тебе еще надо?

Было это в начале осени. Поля вокруг Бельска уже опустели, вечерами по Забелю, медленно колыхаясь, растекались вширь молочные реки тумана. Низкое, хмурое небо набрякло ленивыми тучами, иногда целыми днями оно источало назойливый мелкий дождь. Улицы в городке стали безлюдными, в парке с утра и до позднего вечера надсадно каркало воронье.

В один из таких тоскливых сентябрьских дней от пассажирского дебаркадера отчаливал небольшой колесный пароход. Он шел до Уфы. На этом пароходе уезжал из Бельска чекист Жудра. На прощанье он сказал Прохорову:

— Не сиди затворником в своем флигеле. У тебя только два глаза, в нашей работе этого мало. То, что увидишь сам, достоверно, что услышишь или прочтешь — проверяй дважды. Всегда помни: мы такие же люди, как и все. Разница в том, что нам больше доверено, а это значит, что нам нельзя ошибаться. Нельзя.

Жудра легко поднялся по трапу на забитую узлами и чемоданами палубу, помахал правой рукой кому-то — приземистому и широкоплечему, остановившемуся возле перил на дебаркадере. Прохоров тоже приподнял руку. И в этот момент увидел старика в очках и с висячими седыми усами. В брезентовом дождевике, застегнутом на все пуговицы, аптекарь сидел на бухте каната возле металлической решетки, отделявшей машинное отделение, придерживая на коленях небольшой чемоданчик, с каким обычно ходят в баню, и всем своим видом показывал, что уж больно ему не хочется ехать.

Провожающих было немного, и дебаркадер вскоре опустел. Прохоров повернулся, сунув в рот папиросу, похлопал себя по карманам куртки, отыскивая спички, повертел перед глазами пустой коробок и бросил его за борт. Потом зашел в буфет. Там тоже почти никого не было, столики пустовали, только в самом углу за уродливым пропыленным фикусом сидели трое и лениво тянули пиво, изредка перебрасываясь короткими фразами.

Один из них — с наголо обритой головой и острыми, вздернутыми плечами — сидел спиной к двери, второй примостился бочком на краешке стула, как бедный родственник; третьего скрывал фикус. Когда Прохоров, грузно вжимая скрипучие стертые половицы, подошел к стойке, бритоголовый искоса глянул на него и под столом незаметно толкнул соседа коленом. Тот замолчал.

«Спекулянты какие-нибудь, мешочники, — с неприязнью подумал уполномоченный, — но меня, видать, уже знают», — и, чтобы досадить собутыльникам (пусть под дождем дотолкуются!), хоть и вовсе ему не хотелось пить холодного пива в этот ветреный слякотный день, — заказал пол-литровую кружку, молча ткнул пальцем в засохший, скрюченный бутерброд с пластинкой остекленевшего сыра. Забрал всё это на тарелку и нарочно протопал возле самого фикуса. Уселся за столик напротив замолчавших приятелей и сам же крякнул с досады. Оказывается, первого из них он уже знает, — встречались на заседании в райисполкоме. Пришлось кивком головы поздороваться с бритоголовым: это был Полтузин, начальник земель-

ного отдела. Второй — похоже, что деревенский: в рубахе-косоворотке, в грубых сапогах, заляпанных грязью. Лицо у него круглое, на затылке — изрядная плешь, прикрытая рыжеватым пушком. Третьим был инженер из лесничества Вахромеев.

Полтузин привстал со стула, ответил на приветствие.

— Мерзость погодка! — заговорил он первым. — Нам-то, в городе, оно еще ладно, а вот для колхозников недельку-другую и повременить не мешало бы с этой «прелестью». Кое-где яровые еще не убраны. — Он вздохнул.

— И не «кое-где», к сожалению, Евстафий Гордеевич, а почитай по всему району, — живо отозвался его сосед справа. — Гибнет народное достояние! А что ты поделаешь, куда вот в такую-то морось! Я и то уж перед отъездом в город посоветовал своему председателю нарядить косцов на пшеницу. Собрать да свезти на скотный двор, солому хотя бы сберечь. Молотить-то уж нечего: всё осыпалось.

— А вы, прошу извинить за нескромность, из какого колхоза? — обратился Прохоров к собеседнику Полтузина.

— Из «Колоса» я, счетоводом работаю, — с готовностью отвечал тот, — из самого что ни на есть захолустья.

— Это не у вас там комсомолку убили?

— У нас, товарищ начальник. — Счетовод из «Колоса» качнул головой, сокрушенно развел руками. — Места кругом гиблые, глухомань лесная. Бандитизм, он и в прежние годы в той стороне процветал. Ворье, конокрады кругом.

— А при чем тут конокрады?

— Да ведь кто его знает, чьих оно рук, это дело? А конокраду — забубенной головушке — ему всё едино. Подговорил кто-нибудь. А может, и парни сохальничали. Девушка была видная из себя, красивая. Кто его знает...

Говоря это, счетовод разлил из бутылки остатки вина, больше — в стакан Полтузину, Вахромееву с полстакана, себе — пальца на два. Еще покачал головой, вздохнул протяжно.

Полтузин и Вахромеев молчали. Евстафий Гордее-

вич сидел опершись на кулак, смотрел в одну точку на середине стола. Прохоров тоже не задавал вопросов, пил пиво небольшими глотками. Потом закурил.

— Раскулачивали там мало, вот что я вам скажу! — со злостью и задыхаясь проговорил Полтузин. — Либеральничали с так называемыми «середнячками». А я бы так сделал: на кулацкий террор — каждого пятого к стенке! Бывшего секретаря райкома Мартынова надо «благодарить» за такое наследство. Теперь вот — близок он, локоть, да не укусишь. — И впервые за весь разговор глянул прямо в глаза Прохорову, дышал через стиснутые щербатые зубы. И не злость уже, а вскипевшая ярость перехватила ему горло, — последнее слово выдавил через силу.

— Золотые ваши слова, Евстафий Гордеевич! — подался вперед счетовод. — Бывшее партийное руководство не обращало внимания на сигналы с мест. А ведь мы сигнализировали, своевременно предупреждали! Сколько я писем писал? Конечно, будь бы у того же товарища Скуратова поддержка в райкоме, давно бы у нас всё шло по-другому. По всему было видно — зажимал его прежний-то секретарь.

— Вы бы, товарищ Гришин, насчет партии поаккуртнее, — одернул счетовода Полтузин. — Я вот в присутствии ответственного работника могу заявить: уважаю и ценю вас как добросовестного и исполнительного, теперь уж можно сказать, бухгалтера, но в дела, которые вас не касаются, не следует вмешиваться. Примут вас в партию — пожалуйста. И то не везде.

— А что я такого сказал? — ошетинился счетовод. — Все говорят, что Мартынов дохнуть не давал председателю райисполкома. Всё под себя его, всё под себя. А как развалился колхоз в Константиновке, так сам туда не поехал, Антона Скуратова бросили на прорыв!

Прохоров слушал того и другого, молчал. О делах в районе он имел уже достаточно четкое представление. Хорошо помог ему на новом месте следователь Бочкарев, да и сам начальник не зря прожил в Бельске больше недели. Оба они сходились на мыслях, что вражеское гнездо надо искать где-то в верховьях Каменки, и вот — живой человек из «Колоса». Утверж-

дает, что он сигнализировал, а ему не поверили. Можно поискать эти письма. Ладно.

«А внешность-то у тебя, прямо скажем, не особенно симпатичная! — решил почему-то Прохоров, присматриваясь к счетоводу. — Интересно бы знать, кем ты был до революции? Уж не приказчиком ли в бакалейной лавочке? Эти умели сигнализировать!»

С пристани до базарной площади возвращались втроем. Вахромеев сказал, что будет ждать парохода сверху. Про Каменный Брод больше не говорили. На город опускался вечер, быстро темнело. Дождь всё не переставал, под ногами хлюпала жидкая грязь. У собора Полтузин раскланялся, а Прохоров с Гришиным пересекли площадь и свернули потом к Дому колхозника. У крыльца с деревянными балясинами и высокими ступенями Артемий Иванович остановился, приложил к козырьку намокшей кепчонки растопыренную пятерню.

— Разрешите великодушно пожелать вам спокойной ночи, товарищ начальник! — пропел он слащаво. — Будете в наших краях — милости просим. Мой-то дом каждый укажет. Только заранее дайте знать. По телефону, конечно. Чтобы встретить могли по-человечески. Да и опять же — меры принять. Нашему брату и то по дорогам-то тамошним с опаской пробираться приходится.

Шел Прохоров по узкой неосвещенной улочке к себе на квартиру, думал. Нет, не с той, не с той ноты поет этот «сигнальщик»! А черт его знает, — Жудра-то что говорил....

Повременить бы ему, не отходить далеко от Дома колхозника, постоять где-нибудь возле дерева. Тогда бы бывший моряк-балтиец увидел, как, минут через пять после того как они распрощались с Артюхой, возле крыльца с балясинами, по тем же ступеням вниз сползла вороватая тень, озираясь шмыгнула за угол и — назад, к собору. У часовой мастерской, в темной нише проезда ожидал Полтузин.

— Пустили мы ему пыли в глаза! — отдувался Артюха. — Не скоро теперь проморгается... А вы, Евстафий Гордеич, насчет партии-то здорово высказались. Умно. Ну и насчет каждого пятого. У него аж зрачки по копейке сделались. Это уж в точку.

— Подожди радоваться, — охладил Артюху Евстафий Гордеевич. — Плохо, что он нас троих увидел. А каждого пятого мы будем ставить к стенке. Мы, повторяю! А до этого надо кое-что сделать посущественнее, чем эта пыльца. В городе есть два человека, которые мне мешают: Иващенко и его любовница. Понял?

— Пока не дошло.

— Так ты же дневник-то читал?

— Читал. Вас... вас она опознала на Большой-то Горе.

— Эта уже не в счет, — хохотнул Полтузин. — Теперь очередь за мамашей.

— Фильку нельзя отпускать в город.

— Идиот. Твой Филька скоро понадобится на месте. У аптекаря давно был?

— Робеет, — соврал Артюха. — Да я уж и примелькался в аптеке-то.

— Еще один раз сходишь. Дам записку, поймет, что мне надо... для морфинистки. Остальное сделает Вахромеев.

— Ладно, схожу, — согласился Артюха. — Вам, Евстафий Гордеевич, я завсегда помогаю. А мне кто поможет? У меня ведь тоже топор-то над головой. Тоже двое... Улита с учителем. По ножу ведь, по вострому, босыми ногами переступаю, Евстафий Гордеевич!

— Договаривайся сам со своим Филькой. Обоих... Команду отсюда получишь. А мне — пузырек от аптекаря. Завтра же. Всё.

Не выполнил этого поручения Артюха: аптекаря дома не оказалось: уехал в Уфу на неделю. С каким-то отчетом вызвали. Но в Уфу его никто не вызывал. И первым человеком, которому это стало известно в Бельске, был Прохоров. Дней через десять примерно после того, как познакомился он со счетоводом колхоза «Колос», и когда провизор Бржезовский уже вернулся из утомительной командировки и сидел уже за своей стеклянной перегородкой, развешивая порошки по пакетикам, Прохорову по каким-то делам довелось заглянуть в контору лесничества. Там же оказался и обходчик с Поповой елани, татарин Закир. Приехал он получить на зиму меховой полушубок, а кладовщика почему-то не оказалось на месте.

Присели на бревнышко, закурили, разговорились о

том, о сем — о ягодах, о грибах. И рассказал Закир человеку в матросском бушлате такую историю. Грибов нынче много, деревенские бабы не знают, куда их девать. Но бывают чудные люди. Вот и совсем недавно, может неделю назад, Закир сам видел в бору за усадьбой Ландсберга незнакомого старика в очках и с большими висячими усами. День хороший, с утра ни одной тучки не было, а старик ходил по опушке в тяжелом брезентовом дождевике и с корзиной, в корзине же одни мухоморы!

Закир поздоровался с ним, посоветовал за пригорок спуститься: в балке там — грузди, как сахарные, и с большое блюдо. Но чужой человек на приветствие не ответил, ушел к озеру, а потом его у самого барского дома видели: сидел под березой и что-то записывал в свою книжечку. Так и вернулся в деревню с пустой корзиной. В деревне купил сушеных грибов у старухи, дорого заплатил. Потом нанял подводу и уехал в Бельск. Разве здесь грибы хуже?

— Деньги ему девать некуда, — разводил руками татарин. — Грибы покупал — платил, подвода нанимал — тоже платил. Корзинка совсем новый — тоже, наверно, купил. Сколько ему один гриб стоит?

— Да еще и ездил-то вон куда! — добавил Прохоров. — А это точно, что он в Бельск нанимал подводу?

— Шабра говорил, что этот человек аптекам у вас сидит.

Вот и задумался Прохоров. Провизор Бржезовский уезжал в Уфу, а оказался совсем в другой стороне. Чего это ради старому, близорукому человеку понадобилось тащиться за сотню верст к усадьбе помещика Ландсберга? Тут что-то не грибами пахнет. И вспомнились Прохорову вырезанные из плотной бумаги прямоугольнички.

«Бирке фиер»... Ладно.

Перед Октябрьскими праздниками Прохоров выехал в отдаленные колхозы. Несколько дней прожил он в Константиновке, чтобы своими глазами увидеть, как новый председатель налаживает там дела после развала артели. Уж больно расхваливал этого Сальникова на одном из последних совещаний Антон Скуратов: и умен-то он, и хозяин отменный; за партию, за советскую власть не раздумывая в самое пекло бро-

сится. А вот Прохорову не особенно понравился Илья Ильич: лебезить принялся, заискивать. Приволок для чего-то от счетовода книги бухгалтерские, где всё до килограмма было учтено и расписано, а напротив правления под дырявым навесом до сих пор зерно лежит ворохами неприбранное.

Прохоров не стал ничего записывать и в книги не заглянул, подвел Илью Ильича к окошку, указал ему на сарай, спросил грубо:

— А это вон там, под навесом, за что агитация? За советскую власть и колхозы или наоборот?

У Ильи Ильича затряслись коленки.

— Исправлюсь. Завтра же соберу бригадиров, поставлю задачу...

Прохоров так же грубо остановил его:

— Не завтра — сейчас! Немедленно! Забирай своих писарей, сам берись за пудовку.

Илья Ильич пулей вылетел из правления. Не прошло и часа — под навесом затарахтели решетами две веялки. Обливаясь потом, возле одной из них старался сам председатель: отгребал провеянное зерно, таскал мешки на телегу. Под вечер прошел уполномоченный мимо сарая — всё под метелку прибрано, а на крыше два парня заделывают навес. Ухмыляются оба.

Заглянул Прохоров и в больницу, где долечивалась Маргарита Васильевна. К самой-то в палату не думал он заходить: и так перепугана насмерть, зачем еще волновать и без того больного человека. Догадается ведь, с первого слова поймет, откуда он и что ему надо. Просто хотел узнать у врачей, навещает ли ее кто-нибудь из деревни, а в полутемном коридорчике нос к носу столкнулся со счетоводом из «Колоса». Тот растерялся даже, попятился, потом сорвал шапку.

— Племянница тут в родильном, — начал он, как бы извиняясь. — Забежал между делом. Да и этой — библиотечкарше нашей — передачку принес. Нельзя же так, без внимания, тем паче к празднику... А вы тоже к ней?

Прохоров ничего не ответил, только пристально глянул на Гришина, и показалось ему, что вопрос у того неспроста сорвался.

— Направо сейчас, а потом налево, — торопился меж тем Артюха, показывая рукой и стараясь не

встретиться со взглядом уполномоченного. — Может, сиделку позвать — халатик бы вынесла? Я сей момент!..

— Не беспокойтесь, я сам.

В больнице Прохоров пробыл недолго. Когда выходил оттуда, на скуластом обветренном его лице блуждала улыбка. Вот уж чего не мог ожидать! Как и подумалось раньше, никакой племянницы у счетовода из «Колоса» в родильном отделении нет и не было, а заходил он только к библиотекарше. Готовится в партию поступать и вот будто читал он биографию Карла Маркса и попалось ему непонятное слово «Дас Турке» (башня).

«Черт знает, что тут творится! — рассуждал Прохоров. — То старикашка аптекарь немецкие слова на столе раскладывает, по грибы выезжает украдкой за тридевять земель. И не куда-нибудь, а к барской усадьбе Ландсберга! То теперь этому еще, бывшему волостному писарю, в биографии Карла Маркса непонятные слова попадаться начали. Интересно, нет ли здесь ниточки?.. Чепуха это — с биографией».

И решил Прохоров еще несколько дней пробыть в Константиновском сельсовете. Побыл он в МТС на Большой Горе, познакомился с директором Акимом Мартыновым, обошел ремонтные мастерские. Из рассказов Акима много узнал об учителе Крутикове.

— Не везет ему в жизни, — сочувственно говорил Аким. — То с женой такая вот неприятная история произошла — свихнулась бабенка, в партии мы его еле отстояли потом, а тут дочь потерял. Мороз по спине...

— Говоря между нами, некоторые товарищи в Бельске уверяют, что дело обстояло гораздо проще... — начал было Прохоров и остановился.

Аким выдержал длинную паузу, долго смотрел прямо в глаза Прохорову:

— Я скажу вам, от кого вы могли это слышать. Клевета. Наглая, грязная клевета! Он боится Крутикова. Боится его жены. Боялся и дочери. Поэтому и чернит ее.

— У вас есть доказательства?

— Если бы они были!.. Но их и у Николая нет. Он мне рассказывал, что у дочери был дневник. Исчез перед самым убийством.

— Знаю.

— Скажите... вот вы, человек достаточно опытный, несколько лет работали в Бельске, — заговорил через минуту Прохоров, сознательно не называя бывшей должности собеседника, чтобы не ущемить его самолюбия, — мне думается, вы неплохо знали руководящий состав аппарата райисполкома?

— Вы о ком хотели спросить? О Скуратове?.. Тупица и чинодрал.

— Нелестно.

— Поживете, сами увидите. Не подумайте только, что во мне заговорило оскорбленное «я». Нет. По натуре своей я человек не мстительный.

— Ну, а что вы скажете о начальнике земельного отдела? Евстафий Гордеевич, так, кажется?

— При мне в аппарате его еще не было. Знаю, что агроном. Личность весьма отвратная. Честно вам говорю.

Прохоров улыбнулся:

— Тут уж, что называется, припечатали. Не в бровь, а в глаз. А что за человек Вахромеев?

— С этим не сталкивался. Знаю, что инженер-лесо-вод. И только.

Возвращаясь в Бельск, побывал Прохоров и в Каменном Броде, разговаривал с членами партии. Двух всего кроме учителя — Карп да Роман. Вчетвером допоздна просидели. Спросил между прочим, кто это из них напугал бедного счетовода: тот думает, что у него непременно биографию Карла Маркса спросят, когда будут в партию принимать.

— Это Козла-то в партию? — нахмурился Карп. — Пусть богу молится, что в колхоз приняли. «Партеец» мне тоже выискался!

— Не достоин, по-вашему?

— «Достойн», — насмешливо протянул кузнец. — В одном забирает сомнение — кто ему в таком разе поручительство даст? Разве что мельник Семен? Так его раскулачили. Первым в прошлом годе трянули. Улита еще остается. Да и тут надо подумать. Подождать, пока аппарат самогонный сама разломает.

— Понятно.

А у Николая Ивановича был неожиданный гость — Игорь Гурьянов. Он уже прослужил год в армии, в

артиллерии оказался. И вот теперь направили его в школу, в Ленинград. Будет учиться на командира. Парень грамотный, рослый, — вся стать командиром быть. В полку дали отпуск, чтобы родных повидал, а его в Каменный Брод потянуло: захотелось с Николаем Ивановичем радостью своей поделиться, на Метелиху-гору подняться, постоять молча у могильной плиты.

В эту ночь и в Валеркиной комнате долго не гас огонь. Собрались друзья-комсомольцы: каждому небось лестно с курсантом поразговаривать. Три года проучится — командир! И сейчас сапоги на нем хромовые, шинель сшита по мерке, шлем со звездой, а на черных петлицах — перекрещенные пушки. Это тебе не пехота.

Через день вместе с Прохоровым уехал и Игорь, растревожив Володьку с Валеркой. Худо одно — долго ждать: Володьке — два года до призыва, сыну учителя — еще больше.

— Ничего, вот к нему в батарею и попадешь, — успокаивал приятеля Володька. — И я в артиллерию проситься буду. А что? Неужели в райкоме письма нам такого не напишут — чтобы в артиллерию? И от правленья бумагу дадут. Надо только стать поподжаристей, чтобы брюхо не дряблое было. Ну и руки. Брюшной пресс это называется и верхний плечевой пояс. Гириями еще заниматься надо. Там, в артиллерии-то, сила нужна, проворность. Зато уж как ша-рахнет!..

— А папа еще говорил, что математику хорошо знать надо, — добавил Валерка. — Шарахнуть-то можно и в белый свет.

— Это само собой, — солидно подтверждал Володька. — А я тебе говорю про гири и про турник. Это первое всего.

И занялись парни спортом. По всем правилам. Распорядок дня сами себе составили, купались до инея на траве, потом — бег, прыжки. Как перемена — оба на турнике, на кольцах.

Посвежел Валерка, круги темные под глазами стали рассасываться, начал парень вширь раздаваться. Про Володьку и говорить нечего. Как молодой дубок. В лесу-то и не приметен, а попробуй согни его. Глядя

на этих двоих, и другие парни стали подтягиваться. И походка у них изменилась, головы выше держат.

В школе давно уже шли занятия. По теплу еще новые учителя приехали. Вот и Маргарита Васильевна из больницы вернулась. В пятых классах теперь учились вместе с русскими ребята из Кизган-Таша и Тозлара. Некоторые и жили в Каменном Броде. Ничего, смышленные ребяташки, ни в чем русским не уступают, дружные и старательные. Говорят только плохо, да это ведь дело поправимое.

У Володьки забот прибавилось. Школа школой, да и ячейка вся комсомольская на его же плечах. Как-то в конце ноября засиделись они с Николаем Ивановичем. Думали вместе, кого бы еще принять в комсомол, чтобы организация крепла. Борьба за колхозную жизнь еще только начиналась. Враг затаился, озлобился.

Всех перебрали. Удивился Николай Иванович словам и мыслям Володьки. Всё родство кулаков знал чуть ли не до седьмого колена: этим верить нельзя, — не прямо, так через десятые руки навредить могут. Высказывал недоверие в отношении некоторых жителей с Озерной, и особенно напирал на то, чтобы хуторянина Пашаню выслать.

— Это и есть форменная гидра, — настаивал Володька, — поверьте моему слову, Николай Иванович! Сами же говорили: «Не так страшен поп в рясе».

— Улик не имеем. Нельзя же так...

— А чего он в колхоз не вступает?

— Это еще не повод. Если так рассуждать, то и соседа твоего давно раскулачить надо, особенно после случая с трактором.

— Про Андрона Савельевича разговору быть не может, — по-взрослому отвечал Володька, — в мозгах у него заклинило, а тут еще Красный яр.

Помолчал Володька, задумался, а потом поднял голову, на лице улыбка:

— А скажите, Николай Иванович, ведь если за год-другой всю эту контру захороним, до чего же дышать легко будет! Проснусь другой раз среди ночи, лежу на полатах, а глаз не открываю. И мнится мне, будто свет у нас электрический, радио в каждой избе. А деревня — вся под железом. И клуб двухэтажный,

каменный. Картины живые каждое воскресенье. А в дверях — наш Парамоныч: «Сколько у тебя трудодней за неделю?.. Десять?! Валяй проходи бесплатно!»

Володька сидел у окна, учитель напротив. Часы в соседней комнате пробили половину двенадцатого, Валерка у тумбочки возился с приемником; Володька поднялся: надо поспать Николаю Ивановичу.

За окном остутился кто-то; видно, крадучись вдоль стены пробирался, да сорвался с завалинки. Вскинул Володька голову — в стекло темный зрачок винтовочного обреза уставился. Николай Иванович не видит. Крикнуть бы Володьке — слова к языку пристыли. А зрачок отошел левее.

Ударил Володька кулаком по лампе. Вздогнул, отшатнулся учитель. И тут же выстрел. Коротко всхлипнул Володька.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Грохот винтовочного выстрела вскинул на ноги всю деревню. Вскинулся и Андрон, в сенях подхватил топор. По улице два верховых промчались за Метелиху, в лес.

Прибежал Андрон к школе, у крыльца с Николаем Ивановичем столкнулся. На руках у того — Володька. Чиркнул спичку Андрон — дышит парень рывками, а глаза пленкой подернуты. Подоспел тут же и Роман Васильев, мужики с Озерной, с топорами, вилами. Артюха больше всех суетился. Кинулись на конюшню артельную — самолучших коней нет. Конюх Листрат с кляпом в зубах лежит в пустом стойле, на голову торба конская нахлобучена. Роман к телефону — провода у столба сорваны.

Обошел Андрон с фонарем школу, на изморози след у окошка приметил. В сапогах человек вдоль стены пробирался, ногу ставил косо. Тут же и гильза винтовочная валялась. Подобрал Андрон гильзу, еще ниже к следу пригнулся, попросил принести лукошко. Накрыл след, понятого приставил, чтобы до приезда следователя уберечь, а сам в ту же минуту — к Улите. Глядь — и у нее на завалинке тот же след!

В избу вошел не снимая шапки:

— Сказывай, кто заходил! Сказывай!!

Грохнулась в ноги Улита: как стемнело, Филька в оконце стучался, ужин приготовить велел, да и не зашел больше.

— Собирайся!

— Я-то при чем?

— Упредить не могла? Знала, что с Верочкой сделал?!

— Ох, никому про то неведомо! А только, говорит, вякнешь — нож под ребра!

— Хватит! Сказано: собирайся!

Улиту втолкнули в подвал, туда же и конюха заперли. У дверей парни с ружьями встали. Володьку меж тем завернули в тулуп, положили в сани. Роман велел гнать что есть духу в Константиновку.

Тут и Нюшка на глаза Андрону попалась. Стоит у саней без платка и в опорках на босу ногу. Подалась вперед, никого вокруг себя не видит. Ветер треплет юбочонку меж худых коленок, посинела вся, с губ открытых вот-вот крик сорвется.

Маргарита Васильевна прибежала. И на ней лица нет. Увидела, что возле саней учитель стоит, закрылась руками, отошла в сторону.

И еще заметил Андрон: нет возле школы Артюхи. То вертелся у всех под ногами, ахал и охал, руками размахивал, а тут не стало его. Прибежал потом с папкой. Мужикам велел не расходиться и по одному стал вызывать в пустой класс. Записывал со слов каждого, кто что видел и слышал после выстрела, где до этого был.

В тот же день из уголовного розыска сразу трое приехали. Старший первым делом Андрона к себе потребовал, вышел из-за стола, по плечу похлопал.

Артюха изгибался перед начальником розыска.

И опять, как летом, никого не нашли. Артюха спутал все карты.

Догадки Андрона Савельевича, что искать бандитов надо за Поповой еланью, не подтверждались. Но Андрон от своего не отступался.

— Может, оно и так, — говорил он. — Ну, неделю-другую проболтаются где-нибудь на полустанках, на людное место не сунутся, знают — розыск объявлен.

Андрон билет охотничий выхлопотал и без лишней

огласки уехал на дальнюю заимку. Долго не возвращался, а потом постучался перед рассветом в окошко к учителю:

— Я это, Николай Иванович, лампу-то не вздувай, не надо...

Протиснулся боком в дверь, в руки учителя старенькую берданку сунул.

— Это откуда? Чья? — удивленно спросил Николай Иванович.

— Ивана Кондратьевича ружьишко, — ответил Андрон. — На заимке спрятано было. Видишь, затвора нет. Поломан, верно, вот и оставили до случая.

— Власть местную поставил в известность?

— Какая там власть, окромя медведя?

— Как же дальше быть?

— Потому и пришел. Здесь приглядеться надо. Улиты-то теперь нет, иные чем ни на есть помогают. Жрать-то небось охота.

— Думаешь, кто из своих?

— И думать не надо. Вспомни: конюх артельный лежал на солошке — под плетень или в канаву не бросили! Не мычал и не охал, а как развязали, блажить принялся. Што это?

— Так... что же от меня потребуется?

— Ничего. Ты-то как раз виду подавать не должен, и милиции никакой не надо. Тихо всё сделаем, скрадом. Я тут присматриваюсь кое к кому. Здесь он, узелок-то, в нашей деревне. Ну, ладно, пойду я, пока не развиднело.

С чувством пожал Николай Иванович крепкую руку Андрона, посветлело у него на душе.

В тот же день к вечеру зашел Андрон Савельевич в кузницу топор наварить. Топор — это для виду. Другая думка привела Андрона в кузницу: сказывала Кормилавна, что пока самого дома не было, Карп Данилыч да еще несколько мужиков с Озерной в соседний район выезжали своими глазами посмотреть, как в хорошем колхозе люди живут.

Кузнецу больше всего доверял Андрон: верил, конечно, и учителю, да Карп-то, как ни толкуй, ближе: и германскую вместе с ним воевали, и по женам были в родстве. Как бы то ни было, давно уже понял Андрон: не сегодня-завтра и ему придется заявление пи-

сать. Вон и братья Артамоновы, — куда с добром оба хозяева крепкие, — записались. На Верхней улице домов восемь осталось. Косо смотрят на них свои же деревенские; кажется, соседи, а разговору душевного нету. Да и в колхозе не шибко ладно: дырок много, дела пока еще вразнотык идут. А ну-ка в крепкие руки взять бы всё!

Сметливым умом, догадкой, хозяйственным глазом видел Андрон большую силу в колхозе — артель, одно слово. Миром-то и дело любое в полдела, и самая злая беда в полбеда. И всё же не мог решиться, — своего жалко.

Раздвоился Андрон: и в колхоз идти страшно, и единоличником оставаться неохота. Понимал и то, что учитель на него самого виды какие-то имеет; рано или поздно мужик, мол, сам одумается. Вспомнить хотя бы ту же стычку Андрона с трактористом: скажи в тот раз Николай Иванович одно только слово, и был бы Андрон там же, где и Кузьма с мельником. Стало быть, выжидает учитель; ну и Карп, думать надо, поддерживает: в ячейке-то обо всем небось у них переговорено.

Кузница на замке оказалась. По тропинке поднялся Андрон на пригорок, толкнулся в прихваченную инеем дверь, поздоровался, сел у окна на лавку. Роемся Карп Данилыч в ящике, болтики старые перебирает, а на верстаке затвор ржавый разобран. Крякнул Андрон, глаза отвел в сторону. А кузнец сам всё выложил:

— Летом еще принесли хуторские: пружина в двух местах лопнула. Сунул на полку, забыл промеж делом. Совсем из головы вышибло. А тут днями прибегают парнишка: «Дяденька Карп, чего же с пружиной-то? Зайцев, слышь, тьма развелось. Яблони точат».

— Так оно, так... Точат, — механически повторил Андрон. — А парнишка-то чей?

— Да с Ермилова хутора — Дарьи Пашаниной сын! Сам-то через семь колен племянником церковному старосте доводится.

Нескладного рыжего Пашаню и самого Ермила Андрон, конечно, не мог не знать. Знал и то, что Ермил был двоюродным братом Ивану Кондратьевичу, и как

он разбогател. Яблочко от яблоньки недалеко падает, и сынок нечист на руку оказался. Жил не по-людски: сам ни к кому, и к себе никого. А в позапрошлом году и совсем проворовался.

— Да он же посажен был! — воскликнул Андрон, припоминая последнее дело. — За конокрадство!

— Пока тебя не было, отпустили, — недовольно проговорил кузнец, прилаживая пружину. — Оправданным вышел, да мне что-то не верится. У нас, в колхозе, теперь...

— Все они такие-то — в колхоз, — глухо обронил Андрон в лохматую свою бороду. — Точат...

— Ты чего это? — удивился Карп Данилыч.

— Да вот смотрю на вас, на колхозников... — перевел Андрон разговор на дела артельные, а сам глаз не спускает с затвора.

«Затвор, берданка на заимке, двойное родство Пашани со старостой и с Кузьмой... Тут он и есть, узелок, — думал Андрон. — Может, на хуторе с первых дней и скрывается староста? И Филька при нем?..»

И сказать бы Карпу Даниловичу о своих подозрениях на Пашаню, а вдруг невпопад? На человека напраслину проще всего возвести, а потом-то как? Тут ведь не лошадь какая, — две жизни людские замешаны будут. Нет уж, в деле таком надо с поличным брать, хватать за руку. Хоть и партийный Карп, да ведь где двое знают, и третьему догадаться нетрудно. Потому и осекся Андрон на полуслове, — было о чем поговорить и не упоминая Пашаню, над делами побольше, поважней поразмыслить.

А дела — большие и малые — все упирались в колхоз. Не мог Андрон в стороне оставаться, никак не хотел считать себя отрезанным ломтем. Как это одному оказаться, без народа? В артели и думы у мужиков другие, сколачиваются они ближе один к одному, вместе добиваются чего-то, а тут ночи не спишь, думаешь. Будь дела лучше в колхозе, думать не стал бы Андрон, да вот беда — дела-то не ахти завидные.

Поначалу-то оно и ничего было в артели, а на второй год и яровые осотом заглушило, и рожь погнила в бабках. Ходил председатель Роман Васильев сам не свой. Всем хорош человек, да нету в нем жесткости,

уговором норовит больше. А люди ведь разные попадают: одному и слова достаточно, другому — колтеши на голове. В Константиновке вон развалилась артель — и тут шушера разноликая голову подняла. Чья-то работа сказывалась: воровство да добру хозяйскому порча. В поле ехать — дугу искать примутся, лошадь запрягли — вожжи пропали.

— Вот я и толкую тебе, Карп Данилыч: на язык-то у вас шибко дюжие все подобрались, — продолжал Андрон, — один Артюха десятерых стоит, а хозяина настоящего нету!

Кузнец невесело соглашался: действительно, нет хозяина в колхозе, Роман Васильев слабоват для этого. Сам норовит во все дырки. Бригадиров и голоса не слышно.

Помолчали оба, подвернул Карп Данилыч последний винтик на планке затвора, маслом ружейным смазал, протер еще раз паклей, закурил свою трубку.

— Что верно, то верно, Андрон Савельевич: хозяина у нас нет, — отвечая больше на собственные мысли, в раздумье проговорил кузнец. Помолчал, глянул прищурившись на Андрона и добавил совершенно неожиданное для собеседника: — Толковали мы как-то с учителем, и знаешь, что про тебя он сказал? Нам бы, говорит, бригадиров таких, как Андрон! Они бы и людей каждого к месту определили, и Роману во всем надежной опорой были. Чуешь?!

— Какой из меня бригадир! — хмыкнул Андрон. — Тут человек нужен грамотный, да и поразговорчивее меня. Во мне ни того, ни другого. — Замолчал, головой встряхнул даже, как спросонья: теперь только опомнился, что он и не колхозник еще, что и на него самого недовольно посматривают односельчане, как на обсевов в поле, как на коряжину лесную, что объезжать приходится на дороге.

— Подумал бы ты по-хорошему, — продолжал Карп. — Жалко вот, что не довелось тебе вместе с нами в Старо-Петровском колхозе побывать! Богат ты, Андрон Савельич, самую малость больше того богат, чем следует. Вот и клонит тебя на след хуторян константиновских, забегает одно колесо, вроде той телеги, у которой тяжи неровно закручены. Лошади две, сбруя ременная с шаркунцами, хомут выездной с бубенчи-

ками. И висит этот самый хомут не на рогульке в амбаре, где ему быть полагается, а на собственной твоей шее. Тянет он, гнет твою голову книзу, и видишь ты оттого только то, что у тебя под ногами, ну да в сторону шага на два.

— Ишь ты!..

— А что, не так, скажешь?

Поздно вернулся Андрон и опять до утра просидел на чурбашке. Перед рассветом тихонечко поднялась Кормилавна, перекрестила сонного Андрюшку, босая опустилась в углу на колени, долго молилась, а потом так же неслышно оказалась за спиной Андрона, как в первые годы замужества положила руки ему на плечи:

— Не томился бы ты, Андронушка, не изводил бы себя! Бог с ним, с хозяйством, с живностью. Живут люди...

Андрон и не пошевелинулся, глянул искоса через плечо:

— Советчица выискалась. Шла бы ты... знаешь куда?!

* * *

После того как не стало Верочки, Маргарита Васильевна во всем почувствовала себя совершенно одинокой. А тут еще эти нелепые слухи, о которых намекал счетовод. Комсомольцы какими-то недоверчивыми стали, репетиции прекратились. Думалось, что и Николай Иванович в чем-то подозревает. Бывало, зайдет, спросит о чем-нибудь, пусть даже и незначительном, а теперь и этого нет.

Пусто в доме, страшно одной. По ночам всё кажется, что кто-то ходит под окнами. Может быть, воры, — у магазина сторожа нет, за дверью и левой половиной дома поручено присматривать колхозному конюху. Раз в книге записку нашла: «Убиралась бы ты подбру-поздорову откуда приехала». И подписано: «Комсомолец». Решила показать записку Николаю Ивановичу, а по дороге раздумала. Вместо того чтобы к школе направиться, повернула к озеру, присела у корявой старой ветлы.

Осень позолотила опушку леса, на том берегу бродит артельное стадо. Пастух — татарин Мухтарыч —

сидит у костра. Привалился спиной к дереву. Временами ветер доносит с той стороны тягучий напев. Это поет старик. Слов не понять, да их, кажется, и нет совсем: Мухтарыч тянет один звук без конца и начала.

Вода в озере посветлела, на большой глубине просматриваются опутанные водорослями камни. Вот стайка небольших рыбешек. У них видны только синеватые спинки. Левее и глубже медленно передвинулось что-то темное. Рыбешки брызнули в разные стороны серебристыми каплями. Щука затаилась у черной коряжины.

Никогда не видала Маргарита Васильевна так близко от себя живую щуку, а сейчас почему-то подумалось, что и щука видит ее. Посматривает тусклым недобрým взглядом. Ждет. А рыбешки опять собрались возле длинного стебля кувшинки.

Маргарита Васильевна бросила камешек в воду. Снова искристые брызги. Вспыхнули и погасли. Щука осталась на месте. Потом нехотя шевельнула хвостом, ушла.

«Почему так устроена жизнь? — думала Маргарита Васильевна. — Всюду хищники. Сколько страшных смертей. Дуняшка, Верочка...»

Долго сидела у озера Маргарита Васильевна, пытаясь разобраться в том, что ее окружает. Наконец решила — лишняя она здесь и никому не нужна.

— Никому! — вслух повторила Маргарита Васильевна. — И это в неполных тридцать лет. Не нашла себе места в жизни. Ну, а дальше что?

И дальнейшее рисовалось мрачными красками. Вот уедет она из деревни, а в городе назовут дезертиром. Да там никто ее и не ждет, от матери и отчима так ни одного письма и не было. Живы они или нет — Маргарита Васильевна не знает. С Верочкой так хорошо было, — она умела взбодрить, заставляла думать, искать. В мечте, в поиске человек меняется, становится выше и от этого видит не только то, что у него под ногами, что было вчера и неделю назад; он смотрит вперед.

Вспомнились слова Николая Ивановича: «И мне нелегко, не думай, что всё это просто». Теперь ему еще тяжелее.

Николая Ивановича сменила Улита. И опять явно слышались взволнованные слова Верочки: «Вот как надо любить, Рита! Ты бы поверила?»

Чтобы верить в чужую любовь, надо самой испытать ее, а у Маргариты Васильевны и этого не было. Какая она — любовь? Наверно, в этом и есть само счастье. Тогда человеку тепло. Он не один. Самая маленькая радость на глазах вырастает в большую, — ведь ее одновременно двое нашли. Как это хорошо — находить друг для друга радость. От этого каждый день будет светел и не окажется прожитым зря, не оставит горького осадка.

Полюбить бы человека сильного, волевого, который помог бы и самой стать сильнее, упорнее... Вот такого, как Николай Иванович. Его полюбить!

«Так ты же любишь его! — сказала сама себе Маргарита. — Давно любишь и боишься в этом признаться. Даже себе боишься сказать об этом.

Он такой сильный, — думала Маргарита Васильевна. — А сейчас ему одному тяжело. Как же я раньше не видела этого! Надо ему помочь».

В тот же день на двери клуба было вывешено объявление: «Репетиция драмкружка состоится завтра в четыре часа».

Первой к назначенному часу явилась Нюшка. Она была чем-то взволнована.

— Я вчера еще думала к вам забежать, — озираясь по сторонам, шептала она на ухо Маргарите Васильевне. — Что это Артюха на вас наговаривает?

— Артемий Иванович?

— Ну да. Зашла я вчера в правление — отец послал к Роману Васильевичу узнать, не будет ли лошади в Константиновку съездить, матери что-то нездоровится. Ну вот, зашла я туда, а к председателю дверь неплотно прикрыта. Слышу, Артюха и говорит Николаю Ивановичу: «Давно, говорит, собирался сказать я вам, Николай Иванович: плакали государственные денежки! Ну что это за работа? «Обмен книг с двенадцати часов до восьми вечера. Выходной день — пятница». Разве этого требует на сегодняшний день наша социалистическая деревня? И происхождение, говорит, у нее не наше, не пролетарское». Это про вас. «Какая, говорит, от нее польза? Да и книголюбцев-то не ахти как

много в деревне, а она — бог уж с ней, пусть уезжает. Такие не приживутся у нас».

— И что же ему Николай Иванович ответил? — с дрожью в голосе спросила Маргарита Васильевна.

— А он сказал: «Не клеится пока у нее, так и Москва не сразу строилась. Напугана она всем, что у нас тут произошло. Поставьте себя на ее место. А лучше бы помогли ей по-настоящему». Вот что он ответил. Жалеет он вас, Николай Иванович. А Козел вредный, это уж всем известно.

Удивился потом Николай Иванович, когда перед Октябрьскими праздниками пригласили его комсомольцы на генеральную репетицию. Все роли были выучены отлично, а лучше всех Улита сваху играла. И костюмы где-то достали, парики, бороды.

— Какие же вы молодцы! — хвалил потом комсомольцев учитель. — И когда подготовиться успели? Да мы с вами теперь и настоящих артистов за пояс заткнем!

— Маргарите Васильевне спасибо надо сказать! — отозвалась Нюшка. — Она это нас назло всякой контре взбодрила.

Расходились из клуба поздно. Все вместе дошли до ворот дома, где жила Маргарита Васильевна.

И Николай Иванович тут же был, шутил, смеялся со всеми. Очень уж он остался доволен, что так хорошо подготовились к празднику комсомольцы. От калитки учитель ушел последним, а Маргарите Васильевне хотелось, чтобы он еще постоял хоть немного. Ведь когда он рядом, всё как-то вокруг меняется: и избы мужицкие, и сама деревня, и леса окрест кажутся не такими угрюмыми.

«Неужели это и есть любовь?» — спрашивала себя Маргарита Васильевна и боялась признаться, что любит учителя, любит давно. А он, видно, просто жалеет ее, как Нюра сказала. И Маргарите Васильевне вдруг стало грустно.

Николай Иванович так ни о чем и не догадывался. Теперь, вспоминая ту страшную ночь, когда Володя Дымов, спасая учителя, сам подвернулся под бандитскую пулю, Маргарита Васильевна как будто пережила всё заново.

Она плохо помнила, как добежала в тот раз до

школы. И вот она у саней. Нюра Екимова судорожно ухватила за ее руку, что-то шепчет бессвязное. Потом сани тронулись, свернули в проулок. А Николай Иванович так и остался стоять возле крыльца, без шапки, в шинели, брошенной на плечи, и ветер трепал его волосы. Маргарита Васильевна подошла тогда к нему, заглянула в лицо и сказала одними губами:

— Вам надо отсюда уехать. Иначе... иначе еще будет гроб! Я не вынесу этого...

Учитель не понял. Она еще что-то лепетала, говорила, что не оставит его одного, что страшно ей за любимого человека и что она никуда не уйдет.

— Вы понимаете, не могу, не могу я без вас. Коля, ты слышишь меня?!

Николай Иванович отозвался не сразу. Повернулся круто, сверху вниз посмотрел в остановившиеся и заполненные страхом глаза Маргариты Васильевны, сильными руками взял ее за острые девчоночьи локти.

— Если и будет еще один гроб, — сказал он глухим, изменившимся голосом, — советскую власть в нем не захоронят. Не они — мы забьем осиноый кол во вражескую могилу. Это уже агония их.

Потом Николай Иванович отвел Маргариту Васильевну в комнату Верочки, снял с нее шубу и валенки, уложил на кушетку, как маленькую.

— Не выдумывай глупостей, — сказал он при этом строго, — никуда мы отсюда не уедем. Ложись и спи. — Присел было на табуретку у столика, чтобы другими словами успокоить девушку, но у крыльца затопали сразу несколько человек. Громыхая пашкой, в соседнюю комнату вошел милиционер, с ним еще кто-то.

— Ладно, спи! — еще раз сказал Николай Иванович и, прикрыв за собою дверь, ушел к ним.

Легко сказать «спи!», а попробуй хоть на минуту забыться, когда один за другим кошмары перед глазами.

За перегородкой шел разговор о том, куда еще послать верховых, где поставить засаду.

— Мое такое суждение: искать надо в Константиновке, на Большой Горе! — слышался торопливый голос Артюхи. — Кулачье поголовное! Своих активистов под корень обезоружили, а наш растущий колхоз —

бельмом у них на глазу. Там, Николай Иванович, непременно там искать надо Фильку!

Еще и еще приходили люди, а потом прибежал Валерка, сказал, что звонили из Бельска: Дымов уже в больнице — на половине пути подводу встретила райкомовская машина.

Маргарита Васильевна забылась. Проснулась оттого, что кто-то прикрыл ее одеялом. Это был Николай Иванович. В окно заглядывала полная луна, холодным светом заполняя невысокую комнату с бревенчатыми неоклеенными стенами.

— Ну, что же делать-то будем теперь? — спросил Николай Иванович, видя, что девушка проснулась. — Успокоилась хоть немного? — И тут же добавил, присаживаясь в ногах на кончик кушетки. — Отдохнуть тебе надо, сменить обстановку. Хочешь на курсы поехать? В Уфу? По-моему, это совсем неплохо. За год подучишься основательно, походишь в кино, в театр.

— Что я? А вам разве не хочется отдохнуть?

Николай Иванович снял очки, взъерошил седые волосы. На лице у него засветилась усталая добрая улыбка.

— Почему же не хочется? Очень даже. Я вот здесь живу с тридцатого года и каждый год перед концом занятий всё думаю, что возьму отпуск и обязательно съезжу на юг. Мальчишкой еще Кавказом бредил. Понимаешь, Риточка, начитался Лермонтова... И всё вот не удается. То одно, то другое.

— Я не о том говорю, — робко поправила Маргарита Васильевна. — Я не об отпуске.

— Уехать совсем? Нет! — Лицо Николая Ивановича посуровело. — Когда ехал я в Каменный Брод, знал, куда еду: больше одной зимы учителя здесь не задерживались. Я прожил несколько больше. И теперь уж осел здесь навечно.

Николай Иванович привычным движением бросил очки на переносье, посмотрел в окно на освещенную вершину Метелихи, уперся руками в колени.

— У нас сейчас новые люди в школе. Молодые учителя, — продолжал он через минуту. — Надо добиться, чтобы и они не сидели на чемоданах. Напуганы, как и ты. Я понимаю. И всё же победа будет за нами. Она уж близка. Еще годик-два. Неужели не

выдержим? — И вернулся к началу разговора о поездке Маргариты Васильевны в Уфу на курсы библиотечарей.

— А потом — на Кавказ? — приподнимаясь на локте, спросила Маргарита Васильевна и удивилась своей смелости. — Я ведь тоже Лермонтовым зачитываюсь.

— Ладно, спи! — в третий раз повторил Николай Иванович, поднялся и вышел, плотно прикрыв за собою дверь.

* * *

Начались неприятности у отца Никодима. Вскоре после похорон Верочки был у него посланный от архиерея, а потом благочинный приехал. Сам службу провел и при народе корил отца Никодима за недозволенные отступления. Оттого, видно, и обозлился отец Никодим, на покров в Константиновку не поехал.

На покров, престольный праздник, константиновский поп всегда присылал лошадей за отцом Никодимом, — во всей епархии голосу гуще не было.

Худо праздник прошел в Константиновке, служба так себе тянулась, без торжественности благозвучной. Вместо отца Никодима читать «Апостола» вышел какой-то гнусавый дьячок, — старухи и те потом плевались.

После возвращения с заимки и разговора своего с кузнецом зашел как-то раз Андрон Савельич к отцу Никодиму спросить, не купит ли он шерсти на чёсанки. Добрая шерсть была у Андрона Савельича, с первоярок, чистая, на ладони ватой неслышной лежала. Ну, зашел на кухню, с попадьею поздоровался, тихая она была и незаметная, как мышь. Зашел, а в соседней комнате батюшка с кем-то разговаривает, а того, с кем говорит, не слышно. Потом уже догадался Андрон: читает поп книгу вполголоса, и похоже, что не божественную.

— Мать Агриппина, — повысил батюшка голос, — кто-то пришел там, не с требой ли?

— Это я, батюшка, — отозвался Андрон.

— Заходи, чего же на кухне стоять.

— Натопчу еще в горнице-то: сыро на улице нынче, слякотно.

— Заходи, заходи!

Андрон прошел за стеклянную дверь, завешенную изнутри красной бархатной занавесью. Поп сидел за столом, читал книгу с картинками. В рубашке-косоворотке, в штанах, заправленных в белые шерстяные носки, отец Никодим не походил на самого себя, и, если бы не перепутанная изжелта-сивая густая грива, могло показаться, что за столом сидит обыкновенный мужик, только грузен не в меру. И говорит языком человеческим, не то что в церкви.

«За плуг бы тебя, али топор в руки да пни корчевать», — с сожалением подумал Андрон Савельевич, поглядывая на могучую, бугристую грудь попа, на руки, положенные на подлокотники широкого, видимо на заказ сделанного, дубового стула.

— Садись, — буркнул поп, — всё ли в доме-то ладно?

— Радости мало.

— А ты не давай волю послаблению мыслей.

— Знамо дело.

— Не давай! — гудел поп, а сам лицом сумрачный, видно, и у него на душе беспокойно.

Насчет шерсти заикнулся было Андрон. Никодим как и не слышит, смотрит в сторону. Отложил книгу. На обложке написано золотом: «Граф Л. Н. Толстой», а пониже мужик нарисован с растрепанной бородищей и с широким носом.

— Тяжкие годы выпали нам в испытание, — мыслил вслух отец Никодим, точно не замечая Андрона, — вот и опять кровь пролита человеческая. Ах, подлецы! Единственного сына у матери. А ведь и еще кого убить могут. Убьют, если за руку не схватить.

— Ищут, да всё без толку, — вставил Андрон.

Отец Никодим поднял на собеседника свои широко расставленные воловьи глаза, и опять показалось Андруну, что поп не видит его.

— Читаю вот семь раз перечитанное, чтобы голову чем-то забить, — начал он после продолжительного молчания и показал взглядом на книгу с нарисованным мужиком. — Не помогает. Гробы да могилы перед глазами. До чего остервенели люди! И можно ли их людьми называть после этого? Чего добиваются — вчерашний день воротить?

Андрон только крикнул, а поп продолжал, всё так же глядя в пространство:

— Не там ищут. Голова на части разрывается. Я бы их взял, — сан не позволяет. И к учителю пойти не могу. Душно мне. И здесь душно, и в храме.

Андрон навалился грудью на стол, выпятил бороду:

— Мне скажи!

— Вспомни разбойное дело у Провальных ям. Оттуда ниточка тянется. Там и искать.

Поздно вернулся Андрон домой, а у самого то затвор от берданки перед глазами, что у Карпа Даниловича видел на верстаке, то слова Никодима в ушах: «Вспомни разбойное дело у Провальных ям». Перед рассветом достал он с полатей ружье, проверил патроны — и к хутору. Неделю выслеживал Пашаню. А потом как-то встретил у школы Николая Ивановича, — шел тот откуда-то с Нижней улицы.

— Давненько не видно тебя, Андрон Савельевич, в школе, — первым начал учитель, протягивая руку охотнику, — заглянул бы как-нибудь на досуге.

— Да у тебя ведь и так народу-то каждый день.

— Где семеро, восьмой не помеха.

— А што пнем-то сидеть? У вас разговоры артельные, а мне вроде бы оно и не пристало в дела не свои вступать.

— Да ведь ум хорошо, два лучше. Другой раз со стороны-то виднее. А мы днями гостей ожидаем: председатель Старо-Петровского колхоза обещал приехать. Может, зайдешь послушать? С ним и рядовые колхозники будут.

— Как знать. Будет надобность, загляну, иначе. Да, вот што, Николай Иванович, не уважил бы ты нашу со старухой просьбу? В который раз говорить с тобой собираюсь... — неожиданно для самого себя начал Андрон.

— Что такое?

— Перебирайся ко мне на жительство, — потеплевшим голосом предложил Андрон. — Чистая половина избы пустует. На безлюдье-то тошно. А мы уж со старухой как рады были бы! И ей-то было бы за кем присмотреть, прибрать. Сварить опять же вроде бы на семью. И потом еще одно дело, — тише уже продолжал Андрон Савельевич, — насчет Фильки.

— Что? — одними губами спросил Николай Иванович.

— Мыслится мне, взять их в одном месте можно. Недалеко оно...

* * *

Валерка на лыжах бежал по лесу. Федька с Екимкой вперед укатили, а он отстал, — петля у него оборвалась. Пока чинил, тех и голосов не слышно. Лыжню они прокладывали на десять километров. Начало темнеть.

Срезал Валерка крюк, хотел напрямик через овраг перебраться. Вон и хутор Ермилов виднеется. За хутором дорога наезженная. И всё под горку.

Катится он по склону, палками снежные шапки с лапок еловых сшибает. Мороз к ночи крепче. Разогнался Валерка. С маху на просеку вылетел — и прямо лыжами на человека. Над самым обрывом в камнях Андрон затаился.

— Цыц! — прошипел бородач и в тот же момент прихватил рукой парня, вдавил в снег. — Цыц!..

Сам приподнялся, шею вытянул, выглянул из-за камня; что там, внизу, Валерке не видно.

— Волки, дядя Андрон?

— Оне, — так же чуть слышно ответил Андрон. Повернулся, сполз с камня. — Ты вот што, парень... Единым махом домой! Вот што отцу-то скажешь: мол, Андрон на месте. Мужиков собирал бы и сразу ко мне. Понял? На хутор не заходи. И обратно так же. Пошел!

Овраг обложили. Валерка опять к обрыву протиснулся.

— Ты, Николай Иванович, тут оставайся, — говорил Андрон вполголоса, — тебе, Карп, на ту сторону, мы с Романом в овраг спустимся. Сейчас там Филька да староста в землянке-то, Пашаня ушел. Хутор-то, вон он, рукой подать. Тепленького возьмем.

— И смотри ты, как ловко придумано! — продолжал он тут же. — Землянка, видать, вырыта загодя. А следов бы не оставалось — по доске с камня на камень перебираются; видел я, как этот конопатый уходил. А дальше там родничок, в любые морозы не замерзнет. И тропка к нему с хутора. И тем хорошо, и этим: прошел и доску за собой утянул. Умно, ничего

не скажешь! Вот куда они сруб-то готовили, Николай Иванович! К этому самому родничку. Вот он где, а мы в Кизган-Таше да на Большой Горе искали!

Еще посоветовались, каждый на свое место направился. Учитель остался у камня, с ружьем наготове.

— Спят, должно, чего им бояться-то! — усмехнулся Андрон. — Ну ладно, пошли, Роман Василич. Стало быть, так: разом дверь вышибаем... А ты, Николай Иванович, смотри. Побежит кто яром — бей сверху! Ну... с богом! — сам себя напутствовал Андрон и первым начал спускаться по глубокому снежному наплыву. Председатель колхоза следом. Наган у него в руке.

Луна повисла над лесом. Огромная, медленно всплывала она над вершинами заснеженных сосен. На снегу легли синие тени. Осторожно пробирался Андрон по дну оврага. Проваливаясь по колено в рыхлом снегу, подошел к землянке. Врыта она в каменистый яр, с боков пнями завалена. Окон нет, только узкий лаз — расселина меж камнями. Сверху коряжина брошена, как лосиный рог. Заледенела коряжина, на рогах снег нетронутый. Рядом пройдешь, ничего не заметишь, да тут и ходить некому.

Постоял Андрон возле лаза, головой покачал, повернулся к Роману. Знаком велел ему отойти назад.

Шагов на двадцать вниз по оврагу спустились, махнули рукой Николаю Ивановичу. Тот к ним подошел:

— Ну что?

— Мудрено... Двери наружной нет. Лаз меж камнями. Вдвоем не протиснуться, — разводил руками Андрон. — Одному никак неспособно: разом салазки свернут.

Говоря это, Андрон передвинулся еще на полшага и намеревался присесть на кучу валежника. И провалился, рухнул по пояс в снег. Выбрался — яма под снегом.

— Выбрали же местечко, — гудел лесовик. — Тут всё оно в ямах. При царизме еще дурень какой-то золотишко искал. Давай, иначе, решать, Николай Иванович...

Семья хуторянина Пашани за столом сидела. Ребятишки из чугунка картошку таскали, капустным рас-

солом прихлебывали. Пятеро их у Пашани, набольшему пятнадцатый год, остальные — девчонки и все мал мала меньше, а Дарья шестым последние дни ходит. Гора горой от печки к столу передвигается, в словах на истошный визг срывается:

— Жрите вы, окаянные! Передóхнуть не можете... Ты куда, оглашенная, с ногами на стол-то лезешь?! — стукнула меньшую ложкой по лбу. — Сказано: нету! Те еще двое, жеребцы некладеные!..

— Тихо ты! — огрызнулся на жену Пашаня, покосился на сопливую застолицу. — Они тебя в момент под монастырь подведут.

— А мне всё едино, сгорело бы всё оно! — принялась за свое Дарья. — Невмоготу мне больше! Вот святая икона, пойду в сельсовет или к тому же учителю. Сама всё выложу! Ну, куда это гоже: в зиму все босиком остались, а ты их кормишь?! Ночи все как на иголках!

На крылечке шаги слышались. Кто-то шарит рукой за дверь. И еще слышно — двое следом поднимаются по приступкам. Побелела Дарья, так глаза у нее и округлились. Пашаня — ногу на ногу, закуривать принялся, а у самого пальцы трясутся.

— Чай с сахаром! — гулко приветствовал Андрон заробевшего хозяина. — Поздненько, одначе, сумерничаєте! — Шапкой смахнул с валенок снег, выпрямился. За Андроном учитель вошел и председатель колхоза. Ружье за спиною у одного, другой руку из кармана не вынимает. Засосало под ложечкой у Пашани.

— С чем пожаловали, люди добрые? — спросил заикаясь.

— Да вот шли мимоходом, — ответил за всех Андрон, — я и говорю Николаю-то Иванычу: зайдем, мол, на огонек. Скажем заодно, што Карп-то Данилыч давно, мол, ему затвор справил. От берданки...

Пашаня огнем сигарку в рот сунул:

— Какой затвор? Какая берданка?! Ни сном ни духом не ведаю про такое!

— Ну как же «ни сном ни духом»? Мишатка твой што кузнецу говорил? «Зайцев тьма развелось, яблони точат!» Обошли мы кругом — нету в саду следов заячьих. И в овраге нет. По доске они у тебя, што ли, прыгать приучены?

Затряслись у Пашани ноги, глаза дикими стали. Дарья губу в кровь прикусила.

— Ну? Чево молчишь?! — сурово спросил Андрон хозяина. — Веди, показывай! Да упредить не вздумай: первая пуля тебе!

— Прóволочка там, под корягой... — свистящим шепотом начал Пашаня. — Два раза дернуть... Обождать — и еще раз... коротко.

— Нет уж, ты сам давай! Нá, накинь полушубок-то! — Повернулся Андрон, снял с крюка полушубок рваный, бросил его на колени Пашане.

Увели Пашаню. Ребятишки так и остались с разинутыми ртами.

В дверях Андрон немного задержался, нахлобучивая шапку.

— Ты уж того, Дарья Кузьминишна, не обессудь, — обратился он к хозяйке, — а только так надо. Полагаю я, ночевать-то мужик не вернется. Не жди. — Еще постоял, посмотрел на ребятишек, скрипнул зубами: — Эх, люди!..

* * *

Душно в землянке, чадно от копоти. Филька лежал на нарах головой к двери, староста у коптилки латал зипунишко. Время за полночь, а не спится Фильке. Как в тюрьме, еще и хуже. И уйти некуда. Пашаня сказывал — повсеместный розыск объявлен и карточки разосланы. Как-нибудь перебиться до оттепели, а потом в Сибирь махнуть решил Филька. Тайком от старосты, какой из него дружок! Так уж, косая свела. Если бы не первое дело, жил бы да жил, как другие. Куда теперь?

Потянулся Филька за табаком, помял в ладони табачный лист.

— Хватит уж зелье-то жечь. В кишках зелено! — тряс бородой староста.

— Заткнись! Через тебя здесь коптимся.

— Наказывал я племяннику. Слышно, за Черную речку на разработки лесные народ вербуют. Записался и он. А там человек верный, в заказнике. Приметы я указал. Чтоб сумленьев не было, затвор ему Пашаня отдаст. Вот и приготовит тот надежное место. Козел документы выправит.

— Выправит! Держи карман... То-то он норовит поскорее на Елань сплавить обоих. И от того, носатого, ни слуху ни духу.

— А еще, говорят, бумага пришла в сельсовет: колхозы по весне распустят, — помолчав и не слушая Фильку, продолжал староста, — скотину всю и наделы вернуть велено.

— Примстилось тебе?

— Не примстилось, а точно. Сам Роман ту бумагу привез. И с печатью сургучной. В газетах про то пропечатано, а учитель читать не дает! И еще Ортемий Иванович сказывал: где-то в понизовье, на Каме, мужики взбунтовались и коммунистов, слышь, скинули. И у нас, не будь этого учителя, давно бы всё было по-старому! Попа, слышно, в оборот забрал. Вот кого еще сжечь-то надо, да заодно и Карпушку бы голодранца.

— Это что — по заказу Артюхи? Трясется он перед кузнецом за Фрола. Кое-что и нам про это дело известно.

— А хотя бы и так.

— Опять норовишь чужими руками? — усмехнулся Филька. — Поп да кузнец — не девки!

— Да и ты молодец тоже! Ну с той-то — куда ни шло: дело ваше «полюбовное», — паскудно хихикнул староста. — А тут? Не видел, кто у окна-то сидит?!

— Молчи, старая сволочь!

Отвернулся Филька, прикрылся вонючим тряпьем: разговаривать со старостой не хотелось. Были у Фильки свои планы на Артюху, по осени еще сговорились: Филька «пришьет» кузнеца, Артюха за это ему — форменный паспорт. Потому и в зиму остался в этой норе. Староста всё про Артюху знает и тоже от Фильки таится, — и он, думать надо, на Козла свои виды имеет. Про затвор да про родственника — это всё для отвода глаз, а случись что — откупится головой Фильки.

Не раз уже подумывал Филька придушить ночью старосту, да спит тот одним глазом, никогда раньше Фильки не ляжет, и рука чуть что — к поясу. И сейчас нож перед ним у коптилки. Весело этак-то... Ну да ладно, дай срок.

Подумал так Филька, а тут бубенчик над лазом тоненько звякнул. Ударился Филька лбом в потолоч-

ную балку, староста закрестился торопливо. А бубенчик еще трепыхнулся. И в третий раз.

— Чего бы ему это взбрендило? — с опаской প্রশамкал староста, имея в виду Пашаню. — И впрямь, может, бунтуют православные? Отпереть, что ли?

— Обожди! — Филька сунул босые ноги в валенки, в изголовье нашарил обрез, двинул затвором, загоняя патрон. — Обожди, тебе говорят! — Пригнулся под нары, толкнул искусно врезанную в сруб нетесаную горбылину. В углу, у самого пола, квадрат темный означился — выход запасной.

— Теперь открывай! — распорядился Филька, а бубенчик заново принялся вызванивать по-условному.

Отодвинул староста дубовый засов, едва оторвал пристывшую дверь, плотно сбитую из толстых досок. Там, в лазу, на выходе, вторая дверка, потоньше, изнутри бревешком прижата.

— Чего тебе? — слышит Филька приглушенный вопрос Ивана Кондратьевича.

— Выйди, хрёсный, глянь: над селом-то как полыхает! Не иначе, двор скотный!..

Голосок Пашани: боязливый и в нос немного. Влез староста в узкий проем, втокнул бревно на порог землянки. И тут же не стало его, будто вырвал кто. Хрип раздался, удар тяжелый.

— И ты выходи, свояк! Сердце радуется... — тем же голосом позвали снаружи.

Выстрелил Филька вслепую, коптилка на столе опрокинулась. Дверь прихлопнул, засов в скобы не попадает.

— Выходи, стерва! — гремело у лаза.

Это уже не Пашаня: на Андроновский говорок смахивает.

Еще раз выстрелил Филька в дверь, щепка в глаз брызнула. И только теперь заметил: расползается под ногами озерко огневое от лампешки. Красные языки извиваются жалом змеиным, к стенам землянки тянутся, по тряпью на нары перекинулись.

Загнал Филька третий патрон, из паза в бревне запасную обойму в карман сунул, по-медвежьи, задом, под нары протиснулся. Горбылину на место вправил, припер изнутри колом, прислушался в темноте. Вот треснула наружная дверка, — бревном, видать, выса-

дили. Бьют в ту, что на засове внутреннем. Хохотнул Филька, пополз на четвереньках норой. Про выход этот Пашаня не знает, — вдвоем со старостой по ночам рыли.

Долго полз Филька в темноте. Но вот впереди по-светлело. Затаился Филька: неужто прознали, ждут у кучи валежника? Градом пот выступил, а меж лопаток как льдины кусок положил кто, так и прилипла рубаха. Подождал, слушая по-звериному. В дверь землянки по-прежнему бухают. Пробежал кто-то возле самой ямы, конец жерди по валежнику проволокса, своротил кучу в сторону. Снег колючий за ворот Фильке насыпался, потек за ушами. Где-то выше землянки топор размашисто чавкает, — верно, еще слегу вырубают. Галдят у землянки, а голосов старосты и Пашани не слышно, — ошарашили, видно, Ивана Кондратьевича, а Пашане сказать нечего. Продал, сволочь!.. Еще подождал Филька, осторожно высунул голову из-под валежника, осмотрелся. Нет никого возле ямы; приподнялся, а палец на спуске. Никого. И у землянки притихло: советуются. От лаза в стороны раздались.

— Выходи, стреляем!!

Хмыкнул Филька, а там и в самом деле выстрелили. Коротко, как пастух кнутом. И еще два раза.

«С револьверта, — догадался Филька, — эх!..»

* * *

— Отойди, отойди, Николай Иванович, от лаза! — говорил в то же время Андрон, стоя наверху землянки и отворачивая жердью один за другим прихваченные седым инеем камни, которыми завалена была напольная стенка. — Отойди, долго ли до греха! Ему теперь податься некуда, один конец. Да и вы близко не стойте, — обратился он ко всем сразу, кто около входа был, — остатная муха, она норовит укусить больнее.

Понатужился Андрон, в полроста своего плиту отворотил. Вот он и сруб.

Просунул Андрон заостренный конец слег под верхний венец, нажал книзу — густой дым выплеснулся из паза, искры посыпались, а как надавил еще, так огнем и обдало: пламя бушевало в землянке.

— Должно, ты его через дверь клюнул, Василийч, — предположил Андрон, поворачиваясь к Рома-

ну и имея в виду Фильку. — Стало быть, спекся... А другая-то пулька по лампе, видно, стегнула. Вот и весь сказ.

Вытирая лоб варезкой, бородач опустился в тесный круг возле лаза.

— А Иван-то Кондратьич всё еще не очухался? Кажись, легонько совсем я ево... А што это, мужики? Горит хутор-то!! Впрямь, горит!

Разом все к хутору обернулись: и там выплески огневые, корова мычит трубно и голос бабий истошный. Старосту и Пашаню связанного охранять Екимка с Федькой остались, а потом, с полдороги, Роман Васильев вернулся. Веревку на руках Пашани разрезал. В голос заревел тот, на коленях упал перед Романом.

— Беги, спасай, что успеешь, — приказал председатель. — А потом опять свяжем; потому, ты теперь арестован.

Остались Екимка с Федькой вдвоем, веревкой добавочно скрутили старосту, под голову шапку подложили. Дышать помаленьку старик начал. А в землянке потолок рухнул, высоко над яром россыпь искр взметнулась.

— Всё, конец Фильке! — норовя сказать в тон Андрону, проговорил Федька. — Заживо спекся, гад!

Помолчал, пнул ногой старосту, потом обернулся к Екимке:

— Не спускай с него дула, а я лыжи пойду Валеркины принесу. Когда жердь рубил, у сосенки их оставил.

Не нашел Федька оставленных лыж, — как провалились! Потоптался, развел руками: нету. Шел обратно понурясь. И подумать не на кого: Валерка, тот сразу же на пожар убежал с мужиками вместе. Зачем ему лыжи? Снова вернулся Федька на прежнее место. Вот где они стояли, в снег воткнутые! Вот пенек, вот сучья обрубленные, вершина...

Нету лыж!

Ничего не мог придумать Федька, — пропали лыжи! Что теперь скажет он Валерке? А тут гарью пахнуло едкой. Смотрит парень, а из-под кучи хвороста, где Андрон до этого провалился, дым пробивается. Лениво течет низом оврага, так и стелется: при луне-то всё видно.

— Интересно, откуда тут дыму взяться? — удивился Федька.

Подошел он к валежнику, видит — всё разворочено. Низом в сторону ход чернеет, а у ямы, на самом краю, пятерня растопыренная оставлена. Вылезал кто-то наружу и рукой оперся.

Ног под собой не чуя, бросился Федька к Екимке:

— Ушел! Ты понимаешь?! Ушел Филька!.. Ход у них потайной! И лыжи пропали... Ложись! Сюда вот, за камень жмись! Может, он наверху где высматривает!

Сунулись парни за камень. Прележали минуты три, староста голос подал.

— Тихо! — прикрикнул на него Федька. — Молчи уж, коль влопался!.. Знаешь, Екимка, дай-ка дуплетом кверху!

— Чтобы на хуторе услышали?

— Ну да!

...После поджога хутора Филька ушел в лес. Бежал, пока в груди не закололо. Потом по санному следу свернул в густой ельник. След заворачивал возле поленицы кругляка. На вырубке Филька оказался, сел перевести дух.

Разливалось над лесом далекое зарево, луна скатывалась уже книзу. Потемнело в лесу, ветерок потянул. Холодно стало Фильке, тоскливо. Хоть и ушел, а долго ли прсидишь на морозе. В деревни ближние и думать нечего заходить.

Проглотил слюну, еще больше сосет. Закурить бы, и табак там остался. Поеживаясь, лыжи примерил на валенки. Маловаты петли, носок не входит; а так — дело доброе, верст двадцать до свету отмахать можно.

Переждал малость Филька, выстрелы слабые донеслись со стороны хутора. Дуплетом. Еще. И опять дуплет.

«Опомнились! Ищи ветра в поле...» — И осекся на половине слова: с дороги проезжей, той, что за вырубом шла, явственно колокольчик слышался.

Дернулся Филька: погоня! Оттого, что повернулся рывком, обрез из левой руки выскользнул, в правой на одном пальце повис, на спуске. Грянуло под ногами у Фильки, обожгло левую ниже колена — стиснул зубы, матерно выругался, а в валенке потеплело. И бубенцы

на время примолкли, а потом—взахлеб по чернолесью.

Уходить! Куда бы ни шло, уходить... Эти в Константиновку погнажи, а на свороте, может, кто и остался. Встал Филька на лыжи, сгоряча отошел с полверсты. Да и сел в кустах.

Сбросил валенок, тошнота подкатила: кровь из ноги в обе стороны хлещет. Разорвал штанину, как мог перетянул рану, руки липкими стали. Снова пошел. Скат начался, покатился Филька под гору. А уклон всё круче, деревья сплошным частоколом. В одном месте он не устоял, свалился под куст. Укатилась правая лыжа, унесло ее в темень, а снегу в пояс.

Всё равно уходить! Всё равно куда! Ползет, озирается Филька, как волк травленный. Сколько так времени прошло, не помнит, и вот новый след конный. Этот на речку вывел. Каменка, и место знакомое: мельница должна недалеко быть, — кружить начал Филька со страху.

На льду снегу меньше. Поковылял Филька вниз по реке, дальше от мельницы и от деревни. Так всё по льду в сторону Красного яра. Лес редеть начал, снова след потерялся. Смотрит Филька — чернеет что-то на льду. Будто шевелится. Метнулись к берегу одна за другой три тени.

Остановился, вскинул обрез. Жутко сделалось Фильке. Один он, совсем один. И всё против — и ночь, и тени эти.

Еще прошел несколько шагов. Верно, лежит на льду корова, волками обглоданная, ребра торчат да рога, требуха кровяная мерзлая. Ноги деревянными стали, а тени справа и слева. Чудится Фильке, что и за спиной кто-то ползет, вот-вот прыгнет на плечи.

Зажмурился Филька, шарахнулся от костей обглоданных, на бегу оступился. Под ногой громыхнуло что-то железом, похоже — цепь. Падая, выбросил руку. И тут же лязгнуло, ослепило огненным ударом... Опомнился Филька: рука выше локтя железными челюстями капкана схвачена. А волки, вот они, рядом, за кустами присели. Обходят! На лед опускаются! Справа три пары огненно-желтых глаз, столько же слева... Обрез? Где обрез?! Хоть одной рукой выстрелить!

Откатился обрез при падении, дулом отпиленным на Фильку смотрит. И этот против!..

Через день прибежал к Андрону парнишка — сын артельного мельника. Губы синие, так и прыгают.

— Дядя Андрон, не твои капканы у заводи, ниже мельницы поставлены?

— Мои. А што?

— Глянь поди. — Паренек глотнул судорожно. — Страхота!.. В одном волк матерущий пристыл. Этот целехонек. А в другом... в другом, дядя Андрон, человечесьи кости. И черепок на льду...

Принес к вечеру Андрон Савельевич в школу обрез бандитский, положил его перед учителем:

— Вот, Николай Иванович, всё, што от гнезда осталось...

А еще через две недели судили старосту. Не один он сидел перед столом, кумачовой скатертью накрытым: тут и Пашаня, и конюх Листрат, Улита и еще трое с Верхней улицы. Старосту к расстрелу приговорили, вдову оправдали. Не нашел суд для нее подходящей статьи в этом деле. Но страху натерпелась.

Дела артельные на поправку пошли: воровство как рукой сняло, и слухам вздорным конец. Прав оказался Андрон. А перед Новым годом долго сидел он с учителем и в конце разговора из внутреннего кармана достал завернутый в газету тетрадный листок в клеточку. Вздохнул шумно, как гору с плеч свалил, бороду на две стороны расправил, прокашлялся зычно. Наверно, сказать что-то мудрое готовился, а оказалось не то:

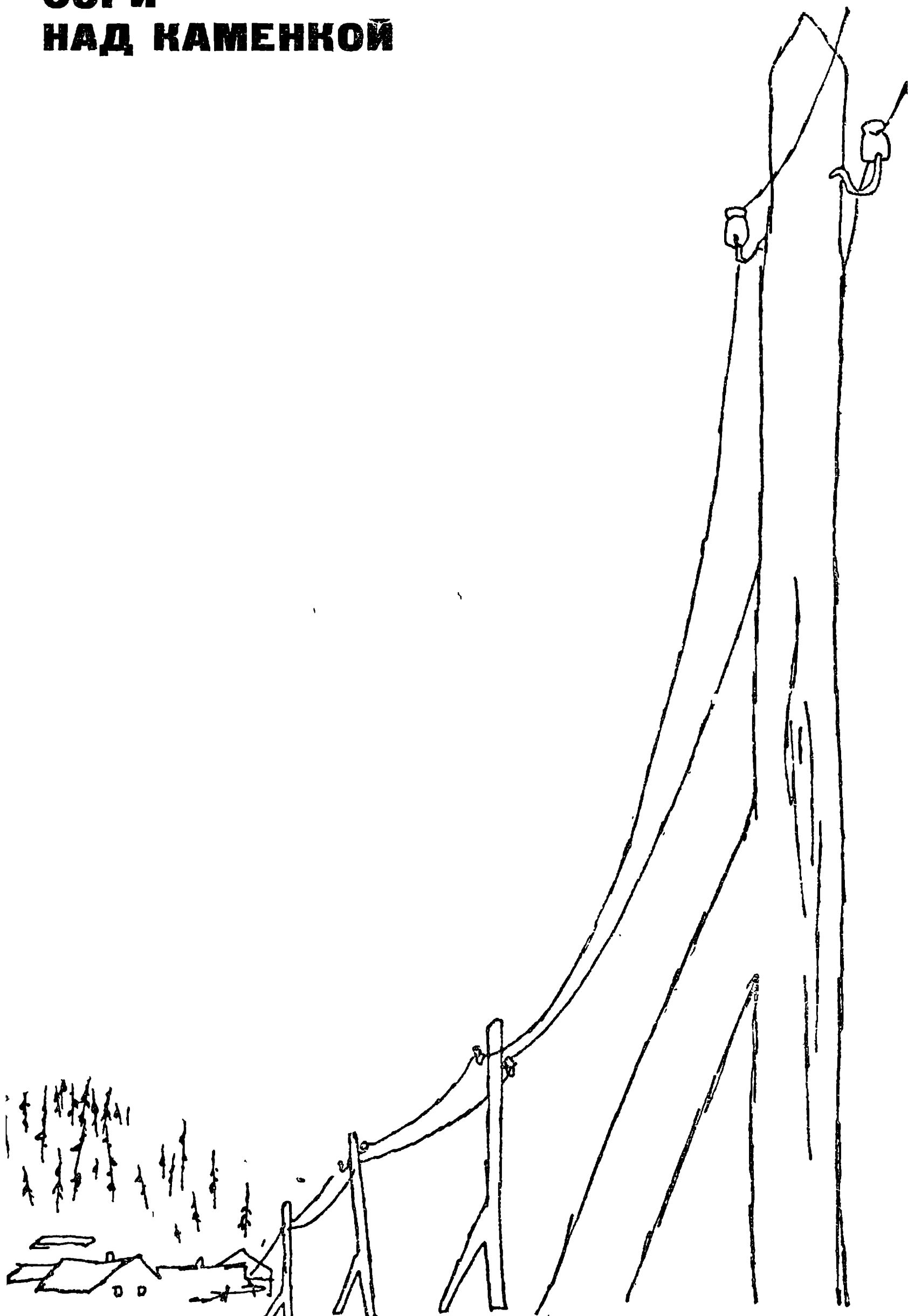
— Вот. Написали мы тут со старухой... заявление это. В колхоз.

На листе, вырванном из ученической тетради, коряжистыми непослушными буквами было написано:

«Потому как народ в беде не оставил нас со старухой и самово меня за трактор простили, кланяюсь миру и прошусь в артель записали бы. А скотины—две лошади, корова с нетелью, овец десять. Кроме того, недвижимость, плуг с предплужником, борона железная, рыдван парный, телега новая, дровней двое. Окованных. Сбруя ременная, веялка справная. Дом — пятистенок, сад на восемнадцать корней, да ульев пять. Семян по наделу полностью.

Савельев Андрон».

ЗОРИ НАД КАМЕНКОЙ



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда на общем собрании разбиралось заявление Улиты, половина колхозников была против приема ее в артель, а больше всех счетовод — Артюха-Козел — недовольство высказывал. Всё он Улите припомнил: и как мужиков несколько лет спаивала — бедноту приозерную множила, против активистов наговоры вздорные разносила, укрывала бандитов. Нагнал страху, а в конце заявил:

— Я так скажу, товарищи граждане, колхозники. Конечно, в университетах там или в техникумах мы не обучались. От сохи, так сказать, политграмоту превзошли. И опять же в каждом из нас происходит классовая борьба. Она, борьба эта, побеждает, ежели, скажем, человек на платформе. Сам я сознательно освободился от пут капитализма, потому, если кто на светлую нашу колхозную дорожку выходит, спрашиваю принципиально: отряхнул ли ты прах?! А что мы имеем на сегодняшний день? Вот перед нами вдова Улита. Несознательная на сто процентов и вообще подкулачница в прошлом — пришла к нам с заявлением. Стало быть, человек подковался. Говори, Улита: с чистой совестью написала ты заявление или недоброе дело удумала? Потому как в Уголовном кодексе есть статья пятьдесят восьмая. И вообще!..

— Граждане, да что же это такое? — взмолилась Улита. — У всех на виду проживаю! Ну был грех, пробавлялась, гнала это самое... Так опять же без скрытности, не воровским манером. И Роман Василич, и все прочие знали. Тем и жила. А теперь и в мыслях того не держу. Вся я тут перед вами... За что же такое-то?

И добро бы уж путный кто в глаз-то колол! От сохи он «грамотность превзошел!» Чтой-то не помнится мне, когда ты за налыгач-то держался. Больше всё перышком закорючки накручиваешь. Чего ты меня страмотишь?! Накося, аблакат какой выискался: Козел протухлый!..

Зычным хохотом грохнул переполненный класс на последние слова Улиты. Артюха отошел от стола явно сконфуженным, а когда собрание расходилось, нагнал вдову в переулке. Прошипел гусиным сдавленным шипом:

— Попомнишь ты у меня!.. Я т-тебе выведу выработку. Вякни еще где-нибудь! Денька через два загляну. Чтобы как полагается. Понятно?!

Улита опешила:

— Креста на тебе нет, Ортемий Иванович!

— Молчи! Ты теперь вся у меня вот здесь! — Артюха поднес к носу Улиты сухонький кулачок. — Про всё знаю! Кто у тебя ночевал на прошлой неделе? Сызнова беглых приваживаешь?!

— Ортемий Иванович!..

— То-то мне! Я, может, специальное поручение от самого товарища Прохорова имею.

— Никовошеньки не было... Провалиться мне!

— А ты не проваливайся: нужна будешь.

Пришла Улита домой, затопила печку, да так до утра и не уснула. Чего от нее надо Артюхе? Ну вырвалось слово, так ведь впервой ли ему слышать такое! Все тухляком называют, конечно — то мужики. На мужиков-то не больно расскочишься. А тут баба. Вот он и взъелся. Заступить-то некому. Эх, жизнь — горькое!

Про всё передумала Улита в ту бессонную зимнюю ночь. Мужа вспомнила, втихомолку всплакнула. Был бы жив, и она человеком была бы. Может, и ребеночка бог бы послал. Умрешь — глаз прикрыть некому. Оттого и места себе не находила, к людям вот потянуло, и — на тебе: Артюха на перепутье! «Статья пятьдесят восьмая». За что?!

Знала Улита: много темных дел на совести у Артюхи, — здесь же, в ее избенке, со старостой бывшим, с мельником бражничал секретарь сельсовета. А потом переметнулся к учителю, на собраниях первое слово —

ему. Знала и то: когда банда зеленая наскочила ночью на Каменный Брод, он же — Артюха — выдал меньшого брата Карпа Данилыча. Расстреляли того за озером. И вот этот самый Артюха — правая рука Романа Васильевича, председателя колхоза, с учителем запросто. Мудреных слов нахватался, и всё ему с рук сходит.

«Не будет тебе ничего, — Улита даже кулаком погрозила в окошко. — Теперь живу, как и все».

К Николаю Ивановичу, может, сходить? Не поверит. Много худого наговаривала она и на самого учителя, и на дочку его в первые годы. От того же старосты, от Дениса, от Фильки наслушалась. Близок он, локоть, да не укусишь. Вот ведь как оно всё перепуталось. А если к Андрону толкнуться? Через него и до учителя ближе. Нет, и Андрон не поможет. Виновата Улита перед Андроном, вовек не забыть тому, что она — Улита — поносным словом оговорила Дуняшку, что помогала Денису. И опять мысленно к Николаю Ивановичу вернулась. Вот ведь жалость какая — не часто он ходит теперь в избу-читальню. Когда Маргарита Васильевна жила в доме Кузьмы Черного, редкий день не заглядывал туда же и Николай Иванович, а теперь книжки выдает учительница Екатерина Викторовна. А библиотекаря на курсы в Уфу уехала, вернется ли — неизвестно. С той было бы проще словом перекинуться, — в доме Николая Ивановича своим человеком была. А так, ни с того ни с сего, самой начать разговор с директором школы? Страшно. На квартиру к нему пойти — мало ли что в народе подумают? Да и до Улиты ли ему теперь, после того, что в семье случилось? И снова перед глазами Фрол, староста, Филька, Денис, Дуняша, Андрон, Верочка. Нет, не будет прощенья Улите!

Наутро возле избенки Улиты комсомольцы прошли с ломами, вилами на плечах, с песнями. Федька Рыжий стукнул в окошко:

— Собирайся, Улита Архиповна! Идем в коровнике навести порядок. Становись в авангард, в комсомол примем!

Екнуло у Улиты под сердцем: не ослышалась ли? И сама-то уж забывать начала, как родителя звали. «Архиповна»...

Вместе с молодежью Улита весь день работала на скотном дворе. Навозу наметали гору. Кладовщик с лесопилки тырсы сосновой привез, разбросали ее под ноги коровам, и сразу всё будто переменялось. А другие парни тем временем ворота отремонтировали, щели в стенах проконопатили.

К вечеру Роман Васильевич заглянул, без слов пожал Федькину руку. И Артюха следом. С портфелем.

— Конечно, вы как есть передовой отряд, наша вам благодарность от правления, — начал он, подбоченясь и поглядывая на Улиту. — Несознательную прослойку перевоспитываете? И это мы видим. Приветствуем от лица правления, и вообще. А только записывать в книгу учета работу вашу не вижу надобности. Потому — полезная инициатива. Сознательность то есть. В газетку про это — можно еще, для районного руководства.

— А мы тебя и не просили! — повернулся к нему Федька. — И в душу ты нам не плюй.

Не могла не заметить Улита, каким взглядом проводил Федька Артюху. И верно ведь: в самую душу плюнул. Закурили парни, поразмяли плечи и разошлись.

Не хотелось домой возвращаться Улите, — закроешься в четырех стенах, сызнава муть перед глазами. Вот ведь как день хорошо прошел: на людях-то и себя человеком видишь. А потом всё Артюха испортил. И, пожалуй, не одной Улите.

Подумала так Улита, вздохнула, подвязала потуже шаль. Куда идти? Вся деревня — своя, а подруги нет настоящей. В это время по стежке через огороды с Нижней улицы Нюшка пробиралась. Кажется, совсем недавно так себе, неприметная была девка. Смотри, какая вытянулась! И лицо стало чистым, кудряшки на лоб пробиваются. Румянец так и горит во всю щеку. И походка другая...

— Ты куда это, девонька, на ночь глядя? — окликнула Нюшку Улита.

— Это я-то? А к Фроловне бегу. Весточка, слышь, от Володьки пришла...

Больше того разругалась Нюшка. Глаза опустила, а ресницы мохнатые, длинные.

— Понятно, всё мне понятно, — помолчав, прогово-

рила Улита. — Парень стоящий. Такого упустишь — покаешься.

Еще ниже голову Нюшка пригнула, ниточку неприметную с полы принялась выцарапывать:

— Ну, уж вы сразу невесть что придумали... И все я ему не ровня. К нему вон городские комсомолки передачи носят, — еле слышно шептала Нюшка, а у самой слезы в голосе.

— Это пустое, избудется, — успокаивала Нюшку Улита. — А ты не робей. Не старое теперь время. Выбрала себе суженого — держись около. Ни разу небось в больнице не была? А ты съезди, чего тут!

Ничего не ответила Нюшка, повернулась и быстро-быстро убежала в проулок. Посмотрела Улита вслед, и у самой отчего-то запершило в горле: вот ведь она — любовь-то, сама из глаз льется.

Теплом отдалась в груди Улиты молчаливая благодарность Нюшки. Вернулась к себе, смотрит—замчишко выдернут из пробоя, за столом Артюха расселся. Не сразу нашлась, что́ сказать незваному гостю. Сам разговор начал:

— Конечно, не учла принципиального предложения? Так я и знал! Ладно, я ведь сгоряча это. Сама посуди: как-никак—счетовод, лицо вполне авторитетное, а ты... За это, знаешь, статью приварить — плевое дело. Давай-ка вот насчет чего потолкуем...

Заглянул Артюха под стол, бутылку с фабричной наклейкой вытянул. Остановилось у Улиты сердце, круги пошли перед глазами. Артюха за руку подтянул ее к столу, табуретку ногой пододвинул:

— Не бойся! Худо тебе не будет! Придерживайся меня. Знаешь, словом я не бросаюсь, а уж если на то пошло — счетовод колхоза это тебе не последняя спица! За меня бумага ответ держит. Тут-то уж Артемия Ивановича учить не надо. Не родился еще такой ревизор... Понятно? Кого захочу — в люди выведу, захочу — в ногах у меня наползается.

— Знаем, не первый раз!..

* * *

Хутор Пашани сгорел не весь, — дом отстояли, и чернел он на опушке ельника обгорелым пнем: крыша сорвана, в окнах где доска, где одеяло лоскутное.

Пусто вокруг, дико. По всему двору торчат из-под снега обглоданные огнем бревна, жерди поломанные; там где амбар стоял, — ворох седой золы, где сарай — чистое место: до земли всё выгорело.

Страшно Дарье одной по ночам. За окном стонет, надрывается вьюга, хлопает ставень; то почудится — смотрит будто бы кто в глазок на единственном уцелевшем промерзлом стекле, то шаги на крыльце. Вот у скобы дверной кто-то рукой шарит, как и в ту ночь, когда мужа забрали.

И ребятишкам страшно: с вечера в кучу собьются на полатах, притихнут и долго не спят — слушают тревожные шорохи за стеной, а Мишку — того не узнать, как подменили. Послушный был парень, боязливый, теперь на мать огрызается, охапки дров в избу не принесет. И товарищей нет у него, и в школу не ходит. Наведаться бы к учителю или к тому же Роману Васильевичу, попросить какой ни на есть поддержки, а как тут пойдешь, когда сам-то посажен? Наплодил полон угол оборванцев, всю деревню кроме того обозлил, да и с глаз долой, — мучайся здесь с этими, разрывайся на части. В тюрьме-то небось хоть худой, да дадут похлебки, хлеба кусок, а тут и картошки нету. И корова сгорела, и поросенок. Стоять теперь Дарье с протянутой рукой под окнами, да не каждый еще и подаст: к охвостью кулацкому жалости мало в народе. А шестой народится?.. Лучше руки на себя наложить, пропади ты всё пропадом!

Ничего не могла придумать Дарья, как бы избавиться от шестого: дрова рубить принималась, лохань полную из избы выносила — хоть бы мертвого скинуть. Ничего не помогло, только дрожь в ногах, круги темные перед глазами.

И вот подошло время, перед утром это случилось. Печку Дарья растапливала, ребятишки спали еще. Пригнулась она к шестку, чтобы бересту смоляную подложить под дрова — и тут схватило ее. Не помнит, как доползла до кровати, замотала голову шалью вязаной, сверху подушку прижала, чтобы стоном ребятишек не напугать. Через силу приподнялась потом на локте — сын. А в избе дыму до полу: вьюшку-то до того открыла не полностью.

— Мишатка, Мишань! — позвала слабым голосом старшего. — Задохнетесь вы там, вынь заслонку-то.

Подождала еще, не глядя взяла на руки того, кто в ногах надрывался, завернула в тряпицу неомытого, прикрыла полой рваной кофты, уставилась в холодную пустоту.

«Навалиться вот так грудью, — подумала, еще более расширяя глаза. — Много ли ему надо? А спросит кто — заспала, — бывает оно... Да и есть ли нужда кому спрашивать — все теперь, как от чумных, отвернулись, и дорогу-то к хутору замело. Дожили...»

Раза три принималась Дарья будить Мишку, не поднимается тот, из девчонок кто-то сполз на пол. А до вьюшки не дотянуться.

— А ты ухватом, ухватом ее, доченька, — подсказала мать. — Ох, видно, самой-то уж и не встать. Подохнуть бы всем в одночасье...

Наконец нехотя спустился на пол и Мишка, грохнулась возле печи чугунная вьюшка. Дым потянуло в топку, развиднело в избе. Видит Дарья — из переднего угла смотрит в упор на нее Николай-угодник, поджал восковые тонкие губы. И лицо у него злое, иссохшее: «Молись, грешница!»

И Дарья на угодника смотрит, скрестились оба ненавидящими взглядами, душит обезумевшую бабу люта́я злоба: как еще и кому молиться? Да и может ли быть му́ка люте́е этой? Где он после этого — бог?!

Хлопнул Мишка дверью, ушел, не сказав куда. Девчонки с полатей посыпались, молчком окружили мать, таращатся на сморщенного человечка, на паучью вздрагивающую лапку, просунутую из тряпок.

— Маманя, а капуста у нас не осталось? — спросила одна, глотая слюну.

— Глянь сама, в кадушке за печью, — не сразу ответила Дарья. — Чугунок пододвинь к огню, вода бы согрелась. — И устало смежила воспаленные веки.

А Мишка тем временем отворотил колоду, которой лаз в погреб завален был, прыгнул вниз на солому. Там, в углу, под камнями, были припрятаны у него коровьи обгорелые ноги, половина разрубленной хребтины. Топором настрогал мерзлого мяса, сунул за пазуху. Потом сидел в бане, на обломке сковороды жарил провонявшие дымом куски, рвал, обжигаясь, зу-

бами, судорожно глотал непрожеванную, сырую еще крованистую мякоть.

В тот же день, как забрали отца, дотемна пробыл Мишка на дне оврага, руками перекопал все угли. Только нож нашел обгорелый. В бане же тайком ручку к нему новую выстрогал, лезвие от окалины кирпичом очистил: пригодится. На суде под поллой пиджака до боли в ногтях сжимал гнутую рукоятку ножа: так и подмывало Андрона пырнуть; заробел, потом в темном углу коридора дожидался судей. И опять ничего не получилось: Николай Иванович с фонарем электрическим первым вышел. Закрылся Мишка в уборной, прошли мимо, не заметили.

А еще как-то Федька остановил на улице, как большой разговаривать начал:

— Ну что теперь? А ведь мы в комсомол тебя принимать по весне собирались. Вот тебе — на сто процентов бедняцкое сословье. Володька вернется, даром оно не пройдет! По-другому дела повернем. Не прикидывайся, что не знал: затвор ты носил в кузницу?

Запугал Федька и без того одичалого парня. Конечно, будь на его месте человек повзрослее, он бы не так рассудил. Но и Федьку винить нельзя: в нем кипела неумемная ненависть жителя Нижней улицы к богачам с Верхней и к хуторянам; ему дела не было до того, что Мишка голоден, что обут в рваные опорки, что и в нем та же злоба. Разница в том лишь, что ненависть Федьки была уже строго определенной, а Мишка топтался на месте в слепой, одуряющей злобе ко всему вокруг. Потому и Андрона ударить ножом собирался, что тот сиротой его сделал при живом отце, и судью за это же самое — почему отца не оправдал. Дальше этого мысли Мишки не шли.

Федька мог что угодно думать про Мишку. А Мишка и в самом деле не помогал ни отцу, ни Фильке со старостой, слова про них дома не слышал. Мать ругалась с отцом, говорила, что сама пойдет в сельсовет, а кто их знает, из-за чего у них ругань? Дня не проходило без этого. И с затвором так же. Откуда знать Мишке, чей это затвор. Замечал: уходит отец куда-то вечерами. Буханку хлеба прихватит или картошки вареной рассует по карманам. И всё. Теперь-то оно понятно.

На Андрона больше всего злился Мишка. Ему-то что надо? Сам далеко ли ушел от того же Ивана Кондратьевича, разве что батраков не держал, а по достатку-то одинаковы. Выслужиться перед учителем захотелось, чтобы не раскулачили? Ушли бы те летом, и черт с ними, а теперь вот отца посадили, голодает Мишка, впору ему на Филькину воровскую тропу выходить. И Федька грозился, а Володька вернется — тот при народе придушит. Чем виноват перед ними Мишка?

И мясо кончается. Сперва думалось: надолго хватит его, а сегодня прикинул — от силы еще на неделю. Ладно, что мать не догадалась в погреб сунуться.

Про сестренек младших, про то, что и они есть хотят, не думалось Мишке: давно уж так-то, украдкой, таскал под полой куски. От отца и перенял, — тот никогда за столом досыта не наедался, а вечером, как спать все улягутся, подойдет к шестку и, стоя, прямо руками вылавливает из чугушка. А мать всё с пинками да с зуботычинами. Да теперь-то уж не перешибет, не дотянется. Нового вон еще выродила, мало ей пятерых!

Поел Мишка, переждал, пока угли пеплом подернулись, вспомнил, что у него отцовский кисет в кармане. Неумелыми пальцами свернул козью ножку, прикурил. Горечь табачная лапой когтистой в глотке скребет, еле прокашлялся, а сигарку всё равно не бросил. За порожек ступил, пошатываясь, у глухой стены в дупло нож запрятал, поднялся на крыльцо.

Дверь широко распахнул — по-хозяйски. Думал — мать перед печкой возле корыта склонилась, а это Улита моет новорожденного. Она-то откуда взялась?

— Не выстуживай избу-то! — не поворачиваясь от корыта, прикрикнула она на Мишку. — Нет чтобы матери-то помочь, где тебя черти носят?! Девчонку вон за мной посылать пришлось, посинела, пока в снегу барахталась!

Мать ничего не сказала, только рукой махнула, — верно, обо всем уже переговорить успели, — а Улита еще больше распалилась: оболтусом и дармоедом обзвала. Не давая опомниться, дров нарубить да за печь натаскать велела не меньше как на неделю. И это

стерпел Мишка. Потом только забрался на полати. А Улита говорила матери:

— Так вот и надо сделать! Люди — они не без понятия. Вины тебе в этом деле никто не приписывает. Вот так и скажи самому Роману Васильичу: мол, под страхом жила! А лучше того — приведи всех в правление: вот, мол, вам, нате. В списках ваших все они значатся в колхоз принятыми; вырастут — отрабotaют. Так и скажи!..

Ободрила Улита Дарью, — кто бы подумал, что совет такой даст? Ты смотри, как всё расписала. Отчаянная! А только нет, не набраться Дарье смелости такие слова выговорить председателю колхоза: духу не хватит... Такая уж уродилась.

Два дня не вставала Дарья, на третий поднялась: надо делать что-то, под лежащий камень вода не течет. Пробираясь вдоль стены, добрела к посуднику, самовар вздула, сухой моркови наскребла щепоть, заварила погуще. От горячего потеплело внутри, силы будто прибавилось. К оконцу пригнулась — солнышко на дворе, и поземки не видно. Решила сходить к Роману. Никого с собой не взяла: чего попусту-то морозить, — будет на то согласие, и так дадут. Собралась, наказала девочкам за дверь не выбегать, — дверь-то им не открыть с улицы, а Мишки с утра опять дома нету.

Пока шла, опираясь на палку, слова Улиты перебирала мысленно, а как во дворе правления увидела Романа Васильевича, всё перепуталось. На счастье, тут же был и учитель.

— Заставь век богу молиться, Николай Иванович! — только и прошептала Дарья, а у самой слезы градом.

— Кто такая, откуда? — спросил учитель, не узнавая.

— Жена я Пашанина, сам-то посажен за душегубов. Нешто не помните? Одна с шестерыми осталась, с голоду пухнем!

Тут и Роман подошел, мужики возле сгрудились. Председатель позвал за собой Дарью, на крыльце вперед себя пропустил, потом Николая Ивановича. И остальные следом в правление ввалились.

Ничего не пришлось объяснять Дарье: в двух словах всё сказано было. Молча ждала, что Роман отве-

тит. В сторонке Артюха сидит, костяшками щелкает. И учитель молчит, очки протирает с мороза. Роман бороду мнет в кулаке. Друг на друга поглядывают.

— Дело серьезное, товарищ Васильев, — проговорил учитель, — и решить его нужно по-партийному: надо помочь, неотложно.

— Знаю, что надо. А чем? — помолчав, отозвался Роман. — Семян и так недохватка, и с фуражного фонда килограмма одного не урвать. — Поднял голову, сбвел взглядом колхозников. — Может, вы, мужики, поделитесь? В самом деле: люди-то погибают... Ну я вот от себя, скажем, дам полпуда муки, картошки ведра четыре. Люди ведь наши они...

Артюха отложил в сторону счеты, провел ладошкой по лысине.

— А по-моему, вопрос этот надо обсудить принципиально, — начал он авторитетным тоном, — собрать правление, а от Дарьи бы — заявление форменное с указанием причин. А там уж подлинные хозяева артели пусть сами решают: помогать нам укрывателям внутренней контры...

Николай Иванович метнул недовольный взгляд на счетовода, не дал ему договорить.

— Пока что, товарищ Гришин, разговор здесь ведут двое, — сухо сказал учитель, — секретарь партийной ячейки и председатель артели. Вашего мнения мы не спрашивали.

Мужики переглянулись, кто-то крякнул в углу одобрительно. Слушала Дарья недовольный голос учителя, а у самой перед глазами нетопленная изба, в углу на кровати сбились одна к другой нечесанные головы девчонок, а в середине, на голых коленях у старшей, сучит синими кулачками меньшей.

— Пойду я, грыжу ведь там накричит, — сказала она неожиданно и поднялась.

— Постой, постой, — остановил ее председатель, — с кем же поздравить-то? — И широко улыбнулся. — Опять небось девка, как у меня, грешного?

Через силу улыбнулась и Дарья, вытирая росинки слез:

— Парнишка...

— Слышали, мужики? — еще веселее продолжал Роман. — Бабы, говорим, одолели, пахать скоро неко-

му будет. Вот он — работник, ударником будет! Нет уж, товарищи, в таком разе помочь полагается! Андрон Савельич, запрягай-ка, брат, воронка, начинай с моего двора. А ты, Дарья Кузьминишна, посиди, обожди самую малость.

Мужики задвигались, загудели, нахлобучивая шапки и хлопая рукавицами:

— В таком разе надо!..

— Следует.

На хутор Андрон привез Дарью на лошади. На худые, заостренные плечи ее тулуп свой набросил. Сам из дровней мешок муки в избу внес, потом девчонки картошку в подолах таскали. Не верила Дарья глазам своим, больше того изумилась, когда Андрон подошел к столу, положил на самую середину тридцатку, придавил широкой ладонью:

— От учителя. На пеленки, свивальники разные. Ну да и этим, — мотнул бородой на девчонок, — купишь сахару фунт... Ничего, Дарья Кузьминишна, головы-то не вешай: народ — он всегда подсобит.

Повернулась Дарья к иконе, именем господа поручиться хотела...

Девчонки меж тем картошку всю перетаскали, полон угол насыпали. И Мишка откуда-то появился, ошалело уставился на Андрона, на мешок возле печки, а потом на радужную бумажку, что лежала на столе. Загорелись глаза у парня, ноздри раздулись, и напомнил он матери в эту минуту своего отца — жадного, вечно голодного Пашаню, трусливого, злого и ненасытного. Он-то и загубил молодые годы, иссушил, озлобил Дарью, по рукам, по ногам оплел.

Семнадцать лет прожила на хуторе Дарья, людей не видала, а люди-то вон они какие! Припомнились слова Николая Ивановича: «Дело это по-партийному решать надо». Вот тебе и безбожник!

Андрон прокашлялся густо, собираясь уходить, посоветовал от порога:

— Прибери деньги-то. Да смотри не вздумай в тюрьму их мужику своему послать: народ-то вы, бабы, дурной. На себя трать.

Постоял еще, переминаясь, и добавил, точно мысли читал у Дарьи:

— А што, Дарья Кузьминишна, как бы ты на это

дело посмотрела, ежели бы перебраться тебе на житьельство в деревню; на отшибе-то, без соседей, худо оно. Закинуть, может, словечко перед тем же Романом Васильевичем? Денисов-то дом с коих пор вон пустует, а из этого на скотном дворе пристройку срубили бы. Подумай.

Уехал Андрон, затопила Дарья печку, напекла лепешек пресных, картошки наварила. Давно уже так-то не ели: девчонок полусонных на печь надо было подсаживать, Мишка и тот кусок недоеденный после себя оставил. И меньшей уснул.

Последней Дарья сама к столу села, подобрала крошки. Да и забылась так-то, задумалась. Тихо в избе, покойно. И темени по углам будто меньше стало — не пугает она, и шорохов нет за стеной; от печки тепло разливается, в сон клонит.

— Вот ведь они, люди-то добрые, — повторила вслух Дарья, мысленно продолжая свой разговор с Андроном, — рядом с нами живут.

Приподняла чуть голову, без робости глянула на суровый лик, без содрогания душевного. Первый раз в жизни из-за стола без молитвы вышла. Только голову на подушку — уснула.

* * *

Всю зиму пролежал Володька в городской больнице. Пуля ударила в левый бок, прожгла оба легких. Три операции перенес парень. Старик хирург разводил руками: откуда такая силища в некрепком на вид парнишке. Когда поправляться начал, сказал Володька как-то доктору без улыбки:

— Оттого и выжил, что к настоящему делу руки потянулись!

Новости деревенские знал из писем Николая Ивановича и от Федьки. Вот только мать неграмотная, Нюшка за нее писала — в каждом письме одни поклоны, а про то, есть ли дрова, сено корове, — ни слова. Самому написать об этом Федьке тому же — тоже не хорошо: разное могут подумать. Сделать, конечно, сделают, да выпрошенным оно получится, а просить не любил Володька.

Вот и с передачами так же. Неизвестно, какими путями прознали в городском комитете комсомола, что

в больнице лежит пострадавший от руки классового врага молодой колхозный активист. В Новый год пришли делегацией, разной разности натащили. Не то что больному — здоровому мужику на неделю хватит. Тут тебе и колбасы, и банка с вареньем вишневым, и пирожки, на коровьем масле поджаренные.

Растерялся парень вконец, когда перед ним корзину поставили. А поверх всего — цветов веник, и записка приложена. При народе не стал Володька записку читать, сказал комсомольцам спасибо и слово дал с дорожки своей не сворачивать. Всё принесенное поделил Володька с соседями по палате. И шоколаду плитку одну аккуратненько так разломал по долькам. Две другие завернул в газетку — матери: в жизни того не видывала. На цветы и смотреть не стал: не мужицкое это дело. Попросил сиделку отнести их в женское отделение.

Вскоре после того пришла женщина незнакомая. Высокая, черноволосая, а на левом виске прядь седая. К самому лицу Володькиному склонилась. Глаза темные — огромные-преогромные. Так и утонул парень в этих бездонных глазах, даже как-то и страшновато сделалось.

Зажмурился Володька — и разом Метелиха в памяти. Вот оно: мать это Верочкина. А женщина положила на Володькин горячий лоб свою легкую руку, по волосам взъерошенным провела, вздохнула по-матерински протяжно. Открыл парень глаза — другой перед ним человек, и во взгляде — тоска. Ничего не знал Володька про эту женщину, а вот глянула так — заворожила.

— Мне про вас Игорь рассказывал, — тихо проговорила женщина. — Я видела вас там, у могилы... Вы понимаете?

— Понимаю.

— Я пришла поблагодарить вас за всё хорошее, что вы сделали для Верочки.

— За нее мы еще не сквитались.

— Не нужно об этом... Ужасно!

— Время наше такое. Меня тоже вот полыснули. Николаю Ивановичу пулю-то готовили. А за что?! Мироедов за глотку взял. А всё одно — правда наша. Есть там еще паразиты...

— А скажите, Володя, вот вы часто бывали в доме у нас... Нет, не то говорю. Учителя вашего, Николая Ивановича, любят крестьяне?

— Мудрено! Не девка он, чтобы любить. Уважают — другой разговор. Это верно. Вы что, думаете, спроста из обреза-то в него целили? А кто целил? Контра, до смерти не придушенная! А раз эта самая контра руку на человека подымает, стало быть, это и есть самый нужный нам человек!

Замолчал Володька. Молчала и неожиданная посетительница, а потом выпрямилась. Глаза снова холодными стали.

— Жестокий он.

— Кому как. К примеру, для нас такого и надо. Иной раз тоже небось душу-то кошки скребут. Не выказывает.

— Кошки... Да, да.

Ушла жена Николая Ивановича, а Володька долго лежал, хмурился. По всему видно: гложет ее тоска, а как выправить дело — не знает. Жалко стало парню чужой поковерканной жизни.

Подумал об этом Володька, письма из дому перечитывать принялся. Больше всего досада брала, как это он в овраге за хутором Пашаниным не рассмотрел гнезда вороньего. Дней за пять всего до полуночного выстрела в окошко проходил Володька с ружьем по дну этого самого оврага. Русака-подранка по следу разыскивал. Прошел у самой коряжины, про которую Федька писал. Как сейчас помнит Володька: сам Пашаня еще в это же самое время к родничку с ведерком спустился. Надо же быть такому: в трех шагах он, Володька, лаза не рассмотрел! Значит, и тогда, после убийства Верочки, нечего было по лесам за тридевять верст мотаться, — тут они были, на хуторе!

Андрон — молодец. Вот кому всей деревней в ноги кланяться. Не найди он логова бандитского, они и не такое бы еще удумали. А ведь раскулачивать собирались, — счетовод Артюха воду мутит. Сволочь мужичишка. Не зря Козлом прозывают...

В больнице время мухой сонной ползет. Хуже всего лежать, когда за окном морось или метель. Галки жмутся на карнизах, как нищенки у церковной ограды. И мысли какие-то тягучие, серые в голове разма-

тываются. Без конца и начала. Холодно от них, неуютно.

Вот и зима на исходе, и всё время смотрит Володька на улицу через двойное стекло. Дела шли худо: вначале словно и полегчало, а к марту задыхаться начал. Проснется среди ночи — не вздохнуть! Врачи так и этак просматривали — ничего не понять. Специалиста из области вызвали. И этот плечами пожимает. Рана зарубцевалась, руку правую куда хочешь верти, а дыханье спирает.

Лучами просвечивали — ничего не находят. Наконец увидели: в легкое осколок ребра вклинился. И положили Володьку на операционный стол в четвертый раз.

Очнулся — один лежит в комнате. На дворе ночь; мороз стекла росписью изукрасил. Вздохнуть попробовал — дышится. Поглубже ртом открытым хлебнул — не колет. В ребрах только заныло. Стало быть, поживем. Тут и сестра дежурная в дверь проскользнула неслышно:

— Больной, вам нельзя шевелиться! И дышать полной грудью не торопитесь.

Подошла, подушку поправила, а сама улыбается. И Володька в ответ улыбнулся.

— Я вас порадую, — сказала сестра, не переставая улыбаться.

— Я и так рад-радешенек!

— А по-настоящему?

— Жив. Куда больше.

— Только при условии, — погрозила тоненьким пальчиком, — не шевелиться! Сейчас же усните, утром к вам кто-то придет!

Щелкнула сестра выключателем, а через верхние стекла двери голубоватый свет всё равно просачивается. Тихо кругом, дремотно. Забылся Володька — лежал, вытянув руки поверх одеяла.

«Кому бы прийти-то?» — задал себе вопрос и не ответил: слабость сонливая не дала ходу мыслям.

Снова дверь приоткрылась; смотрит кто-то в щелку. И не отходит. Шепот торопливый донесся. В покос, ночью, в сене, девчата так шепчутся: одними губами.

Может, спал, может, не спал Володька. Ему каза-

лось — на косилке парной косит он сено у Красного яра, а под дубком Андрон с топором. Отточенным лезвием провел бородач по ладони, поплевал на руки, в три удара повалил дерево. Пнул ногой с яра, закружилась коряжина в омуте. Присел Андрон на пенек, глянул искоса на Володьку: «Был бы ты, парень, постарше...» «Чего это он? — удивился Володька. — Неужели на Дуняшку свою намекает?» Вот и нет Андрона. Верочка руки Володькины перевязывает. А у самой волосы по плечам оголенным рассыпались. Плита на Метелихе... Всё.

И снова невнятные слова у двери:

— Врач узнает — мне попадет, что ночью тебя впустила. Спит человек!

— Ну хоть одним-то глазком!..

И вот утро. Морозное, ясное. На оконном стекле розоватые отблески. Поначалу багрянцем они полыхали, затем синью озерной подернулись, и через эту, мохнатую от инея синеву весенними проталинами отдушины на стекле обозначились.

Захотелось потянуться Володьке, расправить плечи. Эх, на лошадке бы резвой, в санях кованых да по дороге лесной проехать! И чтобы ели кругом заснеженные, пыль с лапок искристая. И была бы рядом...

Вздыхнул Володька, оторвал взгляд от причудливо расписанного стекла — стоит у кровати Нюшка. Смотрит на него широко раскрытыми испуганными глазами, а на пушистых ресницах — слезы.

— Светик мой...

Приподнялся Володька на локте:

— С коих пор это стало?

— Я и ночью к тебе заглядывала... К главному вчера допросилась. Три дня при больнице живу...

Закрылась Нюшка руками, шаг в сторону сделала.

— Ну, чего ты... Садись.

Нахмурил Володька широкие брови, долго соображал, что бы сказать Нюшке, да так ничего и не придумал.

Вернулась Нюшка из города, в голос ревела на коленях Улиты.

— Три дня — как собака под лестницей... Уж я-то им и полы мыть принималась, и халаты в кипятке вываривала, пока к главному допустили. Всем говорю:

сестра я ему двоюродная. Ну, а сиделка-то — эту не проведешь, в годах; все, как есть, выпытала. Подвела меня ночью к угловой палате со стеклянной дверью. Вижу — лежит. А он... он — камень речной, в тину засосанный!

— Поплачь, поплачь, девонька, — приговаривала параспев Улита, — в нашем деле слезы — средство верное. У бабы и горе и радость — всё слезой оборачивается. А твое-то горе — через левое плечо трижды плюнуть. Да такого ли еще приглядишь! В эти-то годы!.. А ты вот что: вернется он к дому — и виду не подавай! Больше того: какого ни на есть завалящего, сопливеенького подхвати да под ручку с ним... Враз глаза-то по полтиннику станут. А гоняться начнет — отпихивай. Потом оно видно будет...

Жалко было Улите Нюшку, вот как жалко. Про всех девок на деревне знала, а к сердцу близко не прикасалось: девок-то — вон их сколько, дорожка — одна. Ну, поголосит, повоет, а как косы вокруг головы обернула, повязалась платком у горла — кончена ее песенка.

Хотелось чем-то еще утешить Нюшку. И за доверие ее, за кротость рассказала Улита про свое заветное, никому не ведомое. Про Фрола, Артюху и того — кривозубого — всё рассказала. Откинулась потом головой к простенку, а Нюшка сидит, не дышит.

— А как же... как же Артюху до сих пор земля носит?! — спросила она через минуту.

— Он-то мне и принес это известие. Я, говорит, специально к тебе их завел. Знал, что Фрол в те поры дома. «Вот ведь незадача какая — упредить не сумел. Как тут сумеешь, когда пистолет перед носом!..» А только не верится мне. У Карпа Даниловича когда в доме искали, Артюху не видели, а на мельнице был. Сказывала мельничиха. Пойди вот теперь, докажи. Сколько лет-то прошло!

— А того, кривозубого? Может, кто хуторской?

— По обличности не подходит. В перчатках. Усики ниточкой. Как сейчас вижу.

Прилепилась Нюшка к Улите, дня не минет, чтобы не забежала. И всё про свое, про Володьку. Веселее стало вдвоем, другой раз и в клуб вместе сходят. Дивилась Улита на хлопоты комсомольцев. Сами дом ста-

росты разобрали, в старой школе переборки сняли, печь переставили в угол; прируб к середине приделали, приемник купили. Народу в клубе полно. И Артюха тут же. То газету читать примется мужикам, то про попов да купцов сказки рассказывает. А больше всего толкует про политику.

Мудрено толкует Артюха, не всякое слово понять. Пятилетка, индустрия, электрификация, тяжелое машиностроение, какие-то блюминги. На заводской пролетариат во всем упор делает. Вот, дескать, жили до революции в подвалах да на чердаках, по двенадцать часов работали, а хлебушка по восьмушке на день. То ли теперь? И опять: «Индустрия!» «Днепрогэс!» Мужик подождет — что ему делается? Трактора дали? Дали! Облегчение?.. Стало быть — обеспечить!..

ГЛАВА ВТОРАЯ

Отшумели февральские метели, ровный безветренный мартовский снегопад приподнял лесные дороги, сравнял поля с берегами Каменки, заменил побуревшие шапки на мужицких избах. Прояснилось небо над деревней. На опушке березняка за Метелихсой за версту косачиные стаи пересчитать можно. Чуть зорька — принимается за свою работу полосатый дятел, далеко из-за речки слышен дробный его перестук; облепили воробьи ветлы над озером, гроздьями висят на ветвях, спозаранку отчаянный спор заводят, на ворону косятся недовольно. Сидит она на шесте, склонив набок носатую голову — изо всех сил старается вникнуть в бестолочь воробьиною. Ничего не понять, так и отступится, улетит куда-нибудь в переулок, подальше от суматошного писка.

Часу в седьмом выкатывается из-за дальнего леса краснощекое, улыбчивое солнце. Прямо по огородам, по затвердевшему за ночь насту, сбегаются в школу ребятишки. Не пускает их Парамоныч, гонит метлой от крыльца — до звонка-то эвон сколько еще! — всё равно в коридор набьются, в классах сцепятся. Ни во что старика не ставят, да и учителей молодых тоже не особенно побаиваются. Николай Иванович показался в дверях — тишина мертвая, только глаза светлячками

поблескивают да носы обветренные розовеют над партами.

Два-три урока пройдет — на доске и на очках учителя запрыгают шустрые зайчики от настеежь раскрытой фортки, а там, за бревенчатой смолянистой стеной, такая же развеселая капель с крыши.

И Николай Иванович не сердится на ребятишек, отмахнется от Парамоныча, когда тот с жалобами пристанет, а если и оставит кого после уроков задачки решать, то и сам тут же в классе остается, проверяет тетради или стоит у окна, смотрит на улицу, и лицо у него доброе-предоброе.

Сколько бы лет ни прожил человек, к весне он всегда молодеет. Как и в пору далекой юности, охватывают его радужные мысли о далеком, прекрасном, возвышенном; а если и вспомнится иной раз такое, к чему возвращаться не хочется, то без горечи, в неведомой дымке мечтательной, теплой грусти. В таком именно освещении представлялись Николаю Ивановичу годы его жизни до переезда в Каменный Брод: всё — и война, и голод, и фронтовой госпиталь.

Но было и такое, чего не удавалось приглушить перебором весенних струн, — страшная смерть Верочки. Это не забывается, — отойдет несколько и вернется вновь, ночью поднимет с постели, днем ни с того ни с сего проглянет между строк учебника, наплывет с колокольным вечерним звоном.

Вот и Валерка последний год учится в семилетке, осенью нужно везти его в город. Неплохой парень, но огонька в нем нет. Скажешь, что сделать, — сделает, не подскажешь — день просидит за книжкой. И здоровьем слаб, устаёт быстро.

Часто Николаю Ивановичу Верочка вспоминалась. И глубоко трогала учителя забота товарищей дочери о том, чтобы сохранить память о первой на селе комсомолке. Ребята решили у подножья Метелихи разбить парк имени Веры Крутиковой, на вершину горы прорубить ступени и обелиск установить на могиле. Мысль эту, оказывается, высказал на бюро за несколько дней до злодейского выстрела Владимир Дымов.

По-своему переживал Николай Иванович горе Володькиной матери. Жалел и парня, конечно, но жалость была особенная, такую понимает тот, кто бывал

на фронте. Без причитаний она, без скомканного у глаз платочка. Тяжелая каменная глыба давит на сердце, и оттого сжимаются кулаки, а во рту солоноватый привкус.

От Маргариты Васильевны изредка получал коротенькие письма. Спрашивала, не считают ли ее комсомольцы дезертиром. А в одном письме такое вдруг написала, что Николай Иванович дважды протирал очки: в общежитие к ним зашел как-то человек в дорогой шубе, вызвал ее в коридор и долго расспрашивал о каменнобродских делах. Всё допытывался: поедет ли она обратно в деревню, а если да, то к кому. И что это просила узнать одна очень интеллигентная особа. Ушел не назвавшись.

«Так это Иващенко! — подумал тогда Николай Иванович. — Какого черта ему еще надо?»

Когда в школе сряду шесть дней заседала выездная сессия суда, когда вводили под конвоем бывшего старосту, учитель впивался взглядом поочередно то в одного, то в другого каменнобродца. Никто не выдерживал этого взгляда. Один только поп не пригнул головы — сидел в третьем ряду каменной глыбой и в перерывах с места не поднимался. Не было на лицах мужиков ни страха, ни сочувствия подсудимым, не было и равнодушия. Только раз дрогнули брови у Николая Ивановича: ага, вот он, — нашел!.. Это когда на вопрос обвинителя Иван Кондратьевич ответил, не поднимая глаз: «Никого больше не было. Кто с нами якшался, все они тут — на скамье».

Показалось тогда Николаю Ивановичу, что кто-то вздохнул возле печки. Глянул туда учитель: кузнеца Карпа Даниловича увидел, рядом — лохматая борода Андрона, а подалее счетовод кумачовым платком лысину протирает. В классе не продохнуть, вот и распарило человека. А может?..

С того дня, как приехал в Каменный Брод, знаком Николай Иванович с Артемием Гришиным. Деловой человек. Рассуждает трезво, ревностный блюститель законности. В колхоз записался вместе с беднотой приозерной, раскопал какие-то старые планы в земельном отделе. Помог разрешить давние споры с Константиновкой из-за луговой поймы. И при раскулачивании колебаний не проявлял. Больше того, осаживать не

раз приходилось. Взять хотя бы собрание, когда братьев Артамоновых в колхоз принимали. Крепкие мужики, торговлей одно время занимались. Правда, и сейчас стороной держатся, но работники оба стоящие...

Приговор вынесен, осужденных вывели из помещения. В дверях бросилась на старосту Володькина мать, сухими руками вцепилась в бороду:

— Тут казнить душегуба! При народе!!

Дюжий начальник конвоя с подоспевшими милиционерами оттащили Фроловну.

Расходились каменнобродцы, гул множества голосов доносился уже из коридора. Так зарождается в горных теснинах обвал. Веками громоздятся нависшие скалы, чудом держится над тропой многотонная глыба. На ней — непомерная тяжесть каменистого оползня. Держится какими-то законами, обрастает метровым наплывом льда, держится. И вот где-то вверху оборвался кусочек породы с кулак — с грохотом ринулась вниз лавина.

Так и сейчас получилось: через открытую форточку слышал учитель гневные выкрики с улицы: «Правиль-но!!», «Изничтожить с корнем!»

Пока судьи прибирали бумаги, надевали шубы, разговаривали вполголоса, ожидая подводу, к Николаю Ивановичу подошел Андрон. Гудел на одной низкой ноте, как огромный лохматый шмель:

— Крепенько, иначе. И без обжалования. Справедливо.

И опять тот же Артюха вклинился:

— А ты думал — цацкаться с ними? Нет уж, брат! За что кровь проливали?!

Хмыкнул Андрон, глянул на счетовода:

— Сдается мне, не дюже много пролил ты ее, крови-то. Так разве — с поносом. Это когда банда зеленая наскочила. А у тебя за день до этого, кажись, на ту-журочке бант красный суровыми нитками пришит был?

Остался Артюха с открытым ртом. Андрон между тем действительно дергал учителя за рукав:

— Сказал бы товарищам, пусть бы уж заночевали в деревне. До станции сорок верст. Мало ли. Да и сам-то шел бы, иначе, ко мне.

— Вот за это хвалю, Андрон Савельич, — не преминул высказаться ошарашенный счетовод. — Это-то ты вот как правильно, в корень смотришь! Гидра, она не сполна предстала на скамье революционного правосудия! Ты скажи?! Кто мог бы подумать на конюха? Стопроцентный батрак! То-то я примечал: не смотрит он в глазу человеку!

* * *

Приняли Андрона в колхоз. Сам он привел на конюшню пару лошадей, Кормилавна следом хворостинкой от веника подгоняла корову. Андрон лошадей своих в дальний угол поставил, стойла вычистил, сена охапку принес, потрепал кобылицу по холке, разом обмяк, ссутулился. Чужой, не своей походкой брел по двору. И тут же счетоводу в Константиновку ехать приспичило. Не успел Андрон за ворота выйти — кобылица в оглоблях. С гиком вымахнул счетовод на улицу, только комья снежные бьют в передок кошовки. У Андрона желваки на скулах перекатились. Видел всё это Николай Иванович, промолчал.

К весне на заседании правления учитель предложил выдвинуть Андрона бригадиром, — нужно было укреплять актив. Против Андрона выступил счетовод — одним голосом «за» отстояли свое предложение коммунисты. Непонятным показалось тогда поведение Артюхи; заняться бы этим делом следовало Николаю Ивановичу, да мысли другие не давали покоя: что-то неладное с планом сева мудрили в земельном отделе. Всё по дням расписали, угодня по-своему перекроили; там, где век мужики проса не сеяли, — сеять заставили, где картошка с горошину, — сажать.

— Стало быть, централизация руководства, — глубокомысленно философствовал счетовод, — специализация то есть! Константиновским вон — горох да пшеницу, нефедовским — ячмень. Самолично с Евстафием Гордеевичем на этот предмет разговор имел в городе. Государственная, скажу вам, голова! Мы, говорит, на новые рельсы перейдем. Потому — план! Указания такие! Заводы-то как работают? На одном, скажем, прокат, так он уж будильники не выпускает. Вот и нам — социалистическая перековка. А как же!

— Мудреное что-то толкуешь, — качал головой Андрон.

— Темный ты человек, Андрон, — укоризненно добавлял счетовод, — дедовскими думками живешь, не дорос до понятия. Оно поначалу мне и то непонятно было, а Евстафий Гордеевич разъяснили. Государству от нас что требуется? Хлеб! Вот Москва и планирует: с Украины — пшеницу-полтавку, с Кубани — масло, Белорусь — картошку. Псков, скажем, к примеру, лен-долгунец. А нам нет пока единой установки. Вот в земельном отделе и прикинули, чтобы нам головы не ломать: картошку и просо. Так-то ближе к единому плану. И товарищ Скуратов одобрил!

— Очередной заворот в мозгах у вашего Евстафия Гордеевича, да и у Скуратова тоже, — высказался тогда Николай Иванович и от лица партийной ячейки предложил не принимать головоугодного плана.

— Это недоверие руководству! — кричал счетовод. — С райкомом партии планы земельного отдела согласованы? Согласованы! Уважаю я вас, Николай Иванович, а всё же такие выступления на данном ответственном этапе...

Пришлось Николаю Ивановичу поехать в город. Председателя исполкома не оказалось на месте, к Иващенко не пошел, а инструктор по оргработе — по возрасту на три-четыре года старше Валерки — пожимал плечами: действительно путаница какая-то.

— Да неужели не ясно вам, что эта «централизация» — прямой путь к развалу колхозов? — стараясь сохранить спокойствие, говорил Николай Иванович. — Хорошо: посеют наши каменобродцы просо за Длинной еланью, а там место низкое, суглинок. Что из этого выйдет, что скажет потом колхозник? Евстафий Гордеевич как был главным агрономом, так и останется, а что мы дадим государству и колхозникам?

— Что же вы предлагаете?

— Сеять то, что сеяли!

— А о повышении культуры землепользования вы думали?

— Думали... В этом году обрабатываем новые участки.

— Хорошо, доложу руководству. На вашу партийную ответственность. Главное — осенние хлебозаготов-

ки. Выполнит колхоз план натурой — не будем вмешиваться.

— А если в плане девятьсот пудов проса?

— Меняйтесь с соседями.

— Черт знает, что получается!

— Не забывайтесь, товарищ Крутиков!.. Вы не на сельской сходке.

— Я прошу обсудить мое заявление на бюро райкома, — настаивал Крутиков.

— План мероприятий по проведению посевной кампании одобрен пленумом, — сухо ответил инструктор. — Вы что, районной газеты не читаете?

— Напишу выше.

— Пожалуйста! Ваше заявление вернется к нам.

Инструктор выдвинул ящик стола, покопался в бумагах, потом для чего-то открыл и снова закрыл сейф.

— Не торопитесь пока уходить! — остановил он Николая Ивановича. — В райком поступают сигналы... Из авторитетных источников. Да, каково самочувствие вашей супруги? Хорошо, что вы сами зашли.

— А вам-то какое до этого дело?

— В комплексе, в комплексе, так сказать. У вас ведь, кажется, нет еще официального развода? Я бы посоветовал предпринять что-то. К этому обязывает элементарная порядочность по отношению к другой женщине.

Николай Иванович вскипел.

— И вот еще что, — продолжал инструктор, — что бы вы ответили на такой, например, вопрос... Не кажется ли вам, коммунисту, что такие, например, явления, как посещения директором школы священнослужителя местной приходской церкви, не вяжутся с установками партии и правительства?

— Представьте себе: с бывшим священнослужителем — вяжутся!

— Так и товарищу Иващенко доложить прикажете? — совершенно уже издевательским тоном спросил инструктор, не обращая внимания на слово «бывшим». — Кстати, он именно — товарищ Иващенко — поручил персонально мне расследовать эти материалы.

Николай Иванович смерил насмешливым взглядом петушистого паренька, сказал с укоризной:

— Рановато вас посадили сюда, молодой человек!

И в школе вас плохо воспитывали. «Персонально!» — скажите, пожалуйста! Давно ли слово-то это выучил?

Долго не мог успокоиться после этого разговора Николай Иванович. Мальчишка! Он, видите ли, будет расследовать! Ему «персонально» поручили!

«А что, собственно, расследовать? Что заходил с Бочкаревым к попу? Вот уж, действительно, смертный грех!»

Николай Иванович дошел до больницы. Хотелось повидать Володю. Не пустили: день неприемный. Написал парню записку с пожеланием скорее стать на ноги. Порадовал тем, что молодежь поднялась стеной, что секретарем теперь избран Федор Капустин.

К вечеру, сам не зная зачем, оказался на Коннобазарной улице. Вот и дом двухэтажный напротив лесничества. В угловом окне свет. Голубоватый, мягкий отблеск ложится на снежные осевшие сугробы. Сосульки длинные свесились с крыши. Сколько раз возвращался учитель мысленно к этому окну с голубым абажуром. Из промерзлых окопов в Полесье, из траншей под Каховкой... Тогда было другое. Нет теперь этого. Песок на зубах. И глаза сухие. Тянет, однако. А что это? Может быть, уже старость?..

* * *

Весна брала свое: потемнели дороги, на высотках курились проталинки, нежилась пробужденная земля, набиралась жизненных соков. Посинела, вздулась Каменка, а в одну из ночей гулко, пушечным выстрелом, прокатился над бором раскатистый треск ледолома. Взыбились на попа саженные льдины, тычась одна о другую слепыми бычьими мордами.

Неделю играла Каменка, напоенная внешней брагой земли, в буйной радости сбрасывая свинцовую тяжесть зимнего панциря; хмельная — не заметила поначалу, что сама же, играючись, перегородила русло, понаставила меж зализанных валунов у Красного яра саженных зеленых плит, наметала на берег ледяного крошева. Уперлась в затор, разъярилась: в ночь захлестнула луговину; в лесу на делянках смыла штабеля бревен, кружила их в пенистых водоворотах вместе с гнилыми, трухлявыми пнями, кучами жухлой

древесной листвы и прелой соломы, а еще через день с каменным тяжким грохотом проломила стену, вырвала с корнем дубок и аршинным валом безудержно хлынула на поля. Давно не бывало такого разлива: почтальон прямиком в Константиновку ездил на лодке. Деда разводили руками, — сила!

Дарью Пашанину записали скотницей во вторую бригаду. Пришла она к вечеру в коровник, заглянула в кормушки — пусто; коровы стоят облезлые, бока у них подопрели, в загородке телята мычат — кожа да кости. В том же дворе — конюшня бригадная, у ворот стожок мелкого сена, стригунки-жеребята втаптывают его в грязь. Испокон веков так ведется в хозяйстве крестьянском, даже у крепкого мужика: лошади сена охапку, корове — полова. Корова зиму живет на объедках, а к весне — на соломе с крыш; не пахать на ней, а ну конь занедужит?

В хозяйстве крестьянском конь — всему делу корень. Сам мужик сидит впроголодь, а коню овса мешок бережет на пахоту, корочку со стола, крохи ему же после завтрака в шапке вынесет. Корове — ничего: требуха у нее двойная, на осоке перезимует. Так и в колхозе осталось: к лошадям постоянный конюх приставлен, за коровами — очередность по улице; стоят иной день недоены. Хорошо, если на речку хозяйка иная сгоняет, напоит в ледяном корыте, а то и этого нет.

Подобрала Дарья из-под ног жеребят помятое сено, отнесла телятам. Тут и Андрон заглянул на двор, — всего две недели, как принял он вторую бригаду; по его-то просьбе и решило правление определить Дарью на скотный двор. Радости мало, конечно, одной за двумя десятками голов не усмотреть, но председатель сказал, что и старый порядок не отменяется: ежедневно в помощники Дарье будет кто-нибудь приходить по наряду бригадира.

— Ну што, Дарья Кузьминишна, — окликнул ее Андрон, — как тебе приглянулось? Вот это и есть МТФ!

— Чевой-то? — не поняла Дарья.

— МТФ, говорю, — недовольно повторил Андрон. — По документам так оно значится: молочнотоварная ферма! Чтоб ей провалиться.

Сердит был Андрон: поля еще не просохли как

следует, в ложбинах кони вязнут по брюхо, а из района звонок за звонком: сколько процентов засеяно?.. Дались им эти проценты!

— Тут вот тоже проценты, — ткнул Андрон большим пальцем в заостренный крестец ближайшей коровы. — МТФ!

Коровенка переступила всеми четырьмя ногами, вздохнула шумно, будто сказать хотела: ну а я-то чем виновата? Знаю, что молока во мне нету — кормить меня надо!

Андрон отошел было в сторону, — буркнул, не глядя на Дарью:

— Ты вот што, на утре приходи, иначе, пораньше. Дам тебе лошадь да девок кого-нибудь пошлю; пока Каменка с берегов не вышла, объехали бы на лугу остожья. Набрать кое-что еще можно, плохо, на ту сторону не попасть. Хозяева, мать вашу, в МТФ...

В ту же ночь прислал Роман Васильевич сторожа за Андронем, — из областного центра приехала уполномоченная. Не только колхоз, «Колос», весь район отставал по севу.

Приехала она еще засветло, пристала к Роману, не отдерешь. Глянул Андрон на нее: из себя чернявая, ногтем пришибить можно, а поди ж ты — такого страху нагнала на Романа. Поздоровался, присел возле печки, чтобы с мыслями собраться. Еще раз глянул: в туфельках приехала, на копытцах.

Покачал Андрон головой, густо прокашлялся.

— Што же делать-то будем, Роман Василич? — спросил как бы про себя. — Негоже нам в хвосте-то тянуться... Может, и в самом деле начнем? С горы-то им ведь виднее!

— Вот именно! — живо подхватила уполномоченная. — Ведь нельзя же, в самом деле, подводить под удар руководство! Ну кому это приятно, если товарищей Иващенко и Скуратова вызовут на бюро? — Осуждающим взглядом смерила председателя, повернулась к Андрону и добавила скороговоркой: — Между прочим, в райкоме твердо уверены, что колхоз ваш никому не уступит первенства. Товарищ Иващенко так и сказал, что здесь, среди непосредственных тружеников, нашли наиболее благодатную почву прогрессивные веяния нового.

— Почва-то она, конечно, особенно на Длинном паю. Куда с добром, — невпопад отозвался из своего угла Андрон.

О товарище Иващенко он меньше всего беспокоился, да и о бюро обкома не имел представления, однако к великому недоумению председателя и всех правленцев заявил, что с утра распорядится сеять овес за Ермиловым хутором.

— В уме ты, Андрон Савельич? — озадаченно спросил председатель. — Да туда через болотину не проберешься! В добрые годы в последний заход сеяли!

— Ничего. То было раньше, теперь сверху виднее. А ты, Роман Василич, того, не сумлевайся. Деньков за пять с клинушком тем управимся, а потом и возле деревни подсохнет. Ничего, раз велят, сеять надо...

Роман Васильев только руками развел: зря надеялся на Андрона, думал — хоть этот поддержит. Ночевать уполномоченную устроил Андрон у себя на чистой половине, а утром чем свет разбудил.

— Мои вон поехали, — мотнул бородой в сторону окна. — Ежели вам желательно в поле побыть, собственными глазами в чем убедиться, обождут. Да только велика ли нужда-то в этом? Дождливо оно на дворе, слякотно, а в туфельках неспособно. Старуха еще вон взяла да калоши ваши с обеих сторон вымыла. А печь не протоплена. Когда теперь просохнут?

Посреди дороги действительно стояла телега, загруженная тугими мешками с зерном. Андрон постучал в окошко, подзывая возницу:

— Поезжай, неча время терять!

Телега тронулась, Андрон потоптался у порога, нахлобучил шапку и тоже ушел. И до вечера позднего, дотемна.

Неделю без малого прожила у Андрона уполномоченная. Каждый вечер сообщала в район, нахвалиться не могла процентами. Каждый день возил кладовщик второй бригады мимо окон Андрона одну и ту же телегу, а в проулке заворачивал обратно. За это время погода изменилась, солнце выпило лишнюю воду из почвы, на пригорках трава пошла. Вот тогда-то и начали сеять. Быстро кончили.

Недоверчиво относился Андрон и к советам агронома из МТС: девчонка городская — много ли она по-

нимает! Вычитала по книжке, что где-то сорт новый вывели, а какие там земли — и в толк не возьмет, сухо там или дождливо? И когда большей частью: в междупарье или с половины лета, когда колос наливаются. Что́ перед тем сеяли, также неизвестно! Наука, конечно, наукой, да и отцы-прадеды тоже ведь не дураками век прожили. Спроси вон ее, ученую-то: сколько дней на полнолуние ведро стоит — не знает; на рябине ягода допреж срока закровянилась — к чему? Опять голову по уши в плечи втянула. Вот тут и рассуди.

Был человек на селе, с которым можно бы посоветоваться обо всем, что обработки земли касается, да и тот от жизни мирской уединился. Отец Никодим лучше всякого агронома угождая окрестные знал, а только вот уже скоро полгода не видно его на селе. Вскоре после того, как сгорел хутор Пашани, как старосту бывшего расстреляли, в последний раз над деревней колокол церковный звонил. Вышел тогда отец Никодим к народу с проповедью, проговорил в глубокой тоске:

— Ведомо мне, православные, что червь сомнения точит мятежные души ваши и многие из находящихся здесь озлоблением преисполнены к совершающимся вокруг нас изменениям. Тяжко мне после злодейств неслыханных, кровопролитья изуверского. Сорок лет я учил вас делать добро другим, сорок лет сам искал правду. И не нашел ее там, где искал. Сомнения обуяли меня и, вельми муками снедаемый, немощен есмь душевный разлад пресечь. Посему не волен именовать себя пастырем. Я сам стою на распутье, сам ослеплен прозрением. Горько одно: поздно пришло оно. Ухожу...

Земным поклоном на три стороны поклонился отец Никодим, снял парчовое облачение, положил на аналой, поверх — крест наперсный серебряный — и ушел. В голос завывали бабы, старухи на коленях ползли за ним, протягивая костлявые руки. Не остановился отец Никодим, шагов своих не замедлил, — так и прошел среди расступившихся прихожан — непомерно огромный, с перепутанной на плечах гривой, с лицом каменно неподвижным.

Закрылась церковь. До весны простоял с заколоченными окнами поповский дом, а сам Никодим пере-

брался на жительство в лесную сторожку, перевез туда своих пчел и совсем перестал показываться на людях.

— Пережил себя человек, — сказал про него Николай Иванович, — тяжело ему, верно. Такие люди не часто встречаются, и врагом его я не могу назвать. Нет!

* * *

Радужная бумажка не давала Мишке покоя. На другой же день мать разменяла ее в кооперативе; масла принесла конопляного, ситца на платья ребятишкам, чаю кирпичного плитку, леденцов в кулечке, к лампе семилинейное стекло.

Светлее стало вечерами в избе. Лежит на полатах Мишка, прикидывает: а сколько же сдачи осталось? По его расчетам, получалось никак не меньше двух червонцев; деньги! Было бы столько в кармане, махнул бы на станцию, да подальше куда-нибудь на подножке товарника. В тайгу бы, где золото роют... Единственный раз довелось видеть Мишке золотой червонец: как-то, до раскулачивания еще, Филька на вечеринке бахвалился.

Андрон тогда помешал: «Прибери деньги-то», — ну мать и сунула их за пазуху, рублевки и той не дает, чтобы в лавочку добежать. И всё же, как ни прятала Дарья сдачу, раз оставила узелок под подушкой. Не успела мать ведро с помоями вынести, шмыгнул Мишка с полатей, озираясь развернул тряпицу, — две пятерки и трешка; мало! Трешку зажал в потных пальцах, завертелся у печи на одной ноге, будто косточку об стояк зашиб, мать ничего и не подумала.

Дня через три хватилась Дарья — нету одной бумажки. Заново в голове всё перебрала, на что и сколько истрачено, — не хватает; сунулась по карманам, должно бы мелочи быть с полтинник, — и этого нет. Девчонок, тех и пытаться не надо: леденца одного не спросясь с блюдечка не возьмут, на что им деньги! Вспомнила, как Мишка по избе кружился, на кровать потом привалился со стоном.

«Так это же он, не иначе, узелок обратно совал под подушку! Вот расподлое семя!»

И другое припомнилось: сколько раз из окна при-

мечала: вертится сын возле погребѣ, в яму зачем-то спускается. То же самое и сегодня: в погреб нырял. Дóма к вечеру только появится, в сумерках, раньше не жди. И сразу же на полати.

Накормила Дарья сынишку (так и живет некрещеным), спеленала, уложила его меж подушек, приготовила скалку, под рукой чтоб была, когда Мишка вернется, а самой в погреб глянуть не терпится.

Спустилась, чиркнула спичку, — от спертого воздуха тошнота подкатила под горло. Ну и сынок, весь в родителя! На крыльце потом долго сидела, не могла отдышаться.

Уехать бы поскорее в деревню. И в школу было бы близенько бегать ребятишкам; старшая вон пропустила зиму: обуть на ноги нечего; да и самой бы не ходить за четыре версты на коровник. А Андрон о переезде-то больше не поминает, и председатель молчит. Не до этого им сейчас: сев начался.

«В пастухи, может, Мишку возьмут? — с надеждой подумала Дарья. — Всѣ бы кусок на себя заработал. Честь-то невелика, конечно, последнее дело пастушья должность, да больше ничего не остается».

По двору, меж втоптаннѣми в землю обломками бревен и остатками лужиц, потряхивая лапками прошел кот. Потерся усатой мордой в ноги у хозяйки, выгнул спину, зажмурился от удовольствия, поточил о перильца когти и, так же неслышно переступая своими пуховичками и извиваясь всем телом, направился в огород.

Бездумным взглядом проводила Дарья кота до самой бани. Еще посидела, встала, за скобу взялась, обернулась при этом: показалось ей, что у бани дверца открыта и дымок желтоватый тянет под крышу.

«Не девчонки ли вздумали для кукол своих топить баню? Ума хватит на это, — беззлобно подумала Дарья, — у каждого своя забота».

Подошла тихонечко, к оконцу пригнулась: босой лежит на полу Мишка, спит. На каменке сохнут его портянки, а на лавке — пустая четвертинка от водки с наклейкой фабричной, пробка и половина луковицы. И сковородка тут же, кот вылизывает ее старательно.

До тех пор была мать Мишку, пока руки не устали. Была молча, до иступления. Дома дверь на крючок

закрыла, холодной воды ковшик выпила, сунулась на кровать ничком.

Сбежал Мишка, две недели не было его дома; заявила Дарья об этом в сельсовет. Так и сказала: «Если поймают где, пусть сразу же в тюрьму сажают: не убил кого, так убьет». Как-то пришла домой с фермы — сидит сын на крылечке. Одичал, глаза у него провалились, оборвался в клочья.

— Работать буду, — сказал головы не поднимая.

Сжалилась Дарья: как бы то ни было — сын; может, и впрямь одумается парень. Ничего не стала напоминать, накормила ужином, рубаху, штаны рваные залатала, достала из сундука мужнину праздничную косоворотку, положила на видное место, вместе с зарей поднялась, забрала с собой сонного Митьку (такое имя придумали малому) и опять на весь день ушла на скотный двор.

Видела Дарья — забирает Андрон бригаду в ежовые рукавицы: сам определяет нормы выработки, добросовестных поощряет, лодырям списывает трудодни за прогулы. Видела и другое: толкуются по вечерам возле правления жалобщики на бригадира, с Артюхой у них разговоры, а раз и в газетке нелестное про Андрона читали. Однако на самого Андрона всё это мало действовало, — от заведенного порядка не отступался: дал наряд на работу — больше не напоминает, заметил неладное — штраф, прогнал кто-нибудь лошадь рысью без надобности — больше не выпросит.

Изо всех сил старалась Дарья угодить Андрону, побаивалась его, в разговоры вздорные не вступала.

Андрон работой Дарьи был доволен. С приходом на скотный двор постоянного человека намного лучше дела пошли: коров всех до одной в поле выпустили, молодняк поправляться начал. Все это видели, потому, может, и председатель сам разговор насчет переезда завел.

— Давай, Кузьминишна, перебирайся в Денисов дом, — сказал он как-то Дарье при встрече, — завтра, пожалуй, отрядим людей, домишко твой раскидать решили мы на правлении, срубить из него водогрейку, ну и скотницам уголок выделим, отдохнуть было бы место, обсушиться. Давай-ка переезжай; Андрону сказано, лошадь прислал бы с утра перевезти имущество.

— Какое там у меня имущество, — развела Дарья руками, — узел тряпок, ведро ржавое да корыто.

— Сколько бы ни было, на себе перетаскивать не пристало. Стало быть, завтра, с утра. Комсомолия наша берется за это дело — водогрейку рубить, как в добрых колхозах. Значит, договорились?

— Ладно, договорились, — ответила Дарья, а сама рада-радешенька: наконец-то вернется к народу.

— Завтра, дочки, в деревню будем перебираться, — сказала мать дома, — складывайте своих кукол!

— Чего это вдруг? — спросил недовольно Мишка.

— Тебя не спросилась.

— Да ведь и кроме меня еще кто-то есть. Может, было письмо какое?

— Не советовалась с ним. Тебе делать-то нечего, напиши. Заодно уж и той четвертинкой похвастайся и на какие деньги купил ее. Обрадуй родителя.

Сверкнул Мишка злыми глазами, замолк.

Утром пришла подвода за пожитками Дарьи, а следом еще две упряжки: комсомольцы приехали дом разбирать. Пока Дарья узлы выносила, те уж на чердаке с ломами, принялись стропила раскачивать, а Нюшка трубу разбирает и по доскам кирпичи опускает на землю.

По углу Мишка забрался наверх, наскочил там с кулаками на Нюшкиного брата Екимку. Капустин с земли осадил обоих, посоветовал «хозяину» отстать по добру-поздорову, и тут же грохнулась сверху первая потолочина, взметнулась из окон ржавая пыль.

Дарья повязала платками головы дочерей, перенесла их в телегу, не торопясь уселась сама и за всю дорогу ни разу не обернулась. Ничего отрадного не сохранилось у нее в памяти. Икона, которой благословлял когда-то нареченных («рабов божьих Павла и Дарью») ее набожный старый отец, и та осталась на прежнем месте: не взяла ее Дарья с собой.

Дом Дениса встретил новую хозяйку застоялым запахом давно нетопленного, непроветренного жилья. Кормилавна пришла пособить. Вдвоем выставили они рамы, пообтерли пыль, вымыли пол.

— Ну вот и живите с богом, — нараспев приговаривала Кормилавна, — соседями станем. Надо будет чего — приходи.

А на хуторе в то самое время раскатывались по двору трухлявые бревна. Парни наваливали их на дроги, подбадривая друг друга. Нюшка всю печь разобрала, сложила в сторонке штабель, углем написала бирку.— «650». Мишка сидел в стороне сутулясь, сплевывал под ноги. Непонятная безотчетная сила удерживала его на месте. Злился на мать, на парней, что с шутками и задорным смехом разламывали простенки, на Нюшку, на самого себя. Про нож вспомнил: забросить бы с яра в овраг, а то, чего доброго, вывалится из дупла, греха еще с ним наживешь! А может, не выпадет, далеко он засунут — на полную руку.

Осталось четыре венца, и тут случилось то, чего опасался Мишка, — подошел к нему Федор, на ладони находку подбрасывает:

— Этого дожидался, думал, что не найдем?

Нехотя повернулся Мишка, скосил взгляд:

— А может, он и не мой? Чего липнешь?

— Не твой, говоришь? — продолжал допытываться Федор. — А это что? «М» и «Е» выжжено. «Михаил Ермилов» вроде бы получается?

— А хоть бы и так? Ты-то мне что за указ? — заносчиво выкрикнул Мишка.

Оставили парни работу, стали плечом к плечу возле своего секретаря.

— Указ не указ, а только с этим кулацким инвентарем не будет тебе на село дороги, — стараясь сдержать себя, говорил Федор. — Спасибо скажи своей матери, что годика на два опоздала тебя родить. Было бы тебе восемнадцать, запел бы ты у нас по-другому.

Уехали комсомольцы с бревнами, еще раза два возвращались. Сидит Мишка на том же месте, цедит сквозь редкие зубы махорочный дым. В последний раз за досками приехали — нету парня. И навстречу не попадался.

* * *

Зачастил Артюха к Улите, особенно после того, как во вторую бригаду ее перевели.

— Ну как? Гудят небось косточки? Так-то: рядовому труженику хлеб-то не медом мазан. Конечно, была бы ты поговорчивей... Да, ты вот что, не стара-

лась бы Ньюшку приваживать. Она комсомолка, чего ты ее разлагаешь? В ячейке об этом разговор был: какая между вами может быть дружба? Наслушается тут у тебя... Вон и мать ее приходила в правление. Не ровен час, случись что с девкой, не миновать тебе выволочки.

Другой раз ночью в окно постучался. Под полой — задняя часть барана.

— Приготовишь к завтраму. Агронома из города ждем. Ну, сама понимать должна... По видам на урожай раскладку начислять приедет, тут надо хитро дело повернуть. Я уж и с Андроном Савельевичем словечком перекинулся, на тебя вся надежда. Конечно, мужик он грубый — форменная деревенщина. Ничего, говорит, с ней не станется, сдюжит! А ублажит — сниму, говорит, с прополки. Думай.

Прикусила Улита губу. Захотелось лыткой бараньей отхлестать Артюху по роже. Сдержалась. Как говорил, всё приготовила: наварила, напарила. Дождалась гостей к вечеру, подушки взбила и ушла на всю ночь: до рассвета у озера просидела.

К обеду Андрон пришел обмерять прополотое, а Улита сажен на десять всех обогнала. Руки огнем горят, осотом исколотые, спина деревянная. Не выпрямилась, не подошла к бригадиру, как другие. Сам окликнул:

— Ты уж не ночевала ли тут? А глаза-то чего набрякли? Дурной вы народ — бабы... Ну, изобидел какой охальник — скажи!

— Чего говорить, когда сам этакое-то счетоводу: «Ничего с ней не станется». Все вы такие: при народе с лаской, а один на один — кобели. Скажи тут попробуй! — Махнула Улита рукой, а у самой — в три ручья слезы. Ничего не сказала и товаркам.

В воскресенье Ньюшка опять забежала, радость из глаз так и брызжет: письмо получила от Володьки. И всего-то полстранички написано; совсем непонятно Улите: чему тут радоваться, когда пишет, чтобы не посчитали механически выбывшим? Однако расстраивать переспросом не стала. Запрятала Ньюшка письмо под атласную кофточку, рукой придерживает.

— Картину сегодня из города привезут... Два билета куплю, ладно?

— Неиздоровится что-то, — пожаловалась Улита, — в грудях колет.

— В Константиновку съездила бы. Фершала нового там прислали. Хвалят.

— Отлежусь. А ты беги, попусту не засиживайся. Пока молода, только и поплясать, попрыгать. Беги, а я уж не пойду сегодня.

Порхнула Нюшка с приступок, убежала, а в сумерках — снова к Улите, принялась рассказывать.

— Перед тем как кино пустили, Николай Иванович на сцену поднялся. И совсем немного говорил: ваша, вторая бригада, как и на севе, на лучшее место сызнава кандидатом. И про тебя высказался. Вот так, говорит, все бы работали!

А в это самое время счетовод колхоза, глубокомысленно покашливая и потирая руки, развивал свои доводы председателю Роману Васильеву:

— Конечно, передовиков поднимать следует. Авангард — наша во всем опора. Комсомол опять же нельзя сбрасывать со счетов. Сила! Инициатива и ударничество. А только я так думаю: откуда они у нас передовики? От сознательности это или оттого, что нормы выработки понижены? Раз самая что ни на есть разбалованная бабенка в день полторы нормы выполнила, тут надо подойти принципиально. А может, у нее на участке и сорняков-то негусто было! Так себе, пробежалась по клинышку, за болтовней-то бабьей оно и незаметно. А бригадир, прямо скажем, захваливает, не ждал я этого от Андрона Савельевича. Тут что-то неладно. И опять же — пусть даже выполнила: что же теперь, с одного-то разу в угол передний ее, в почетный президиум? Нет уж, ты докажи! Вот когда и другие прочие выработку поднимут, а ты — встречный план, это другой разговор. А и в самом деле, Роман Васильевич, не маловаты ли у нас нормы? Справлялся я и в земельном отделе. Да им-то ведь там всё равно. Нет, Роман Васильевич, тут надо в корень смотреть: раз Улита опережает — явный просчет. Не проявили мы с вами принципиальности большевистской. Тут что-то неладно.

— Это у Андрона-то слабинку видишь?

— Что Андрон? И он — человек.

— Как это понимать?

— Да ведь как? Очень просто: и Андрон, говорю, живой человек — пить, есть хочет.

— Ты это о чем? Уж не думаешь ли ты, что на Улиту он виды имеет?

— А чего бы и нет? Чего бы ей бабам в глаза не посмотреть в таком разе. Знает кошка...

— Через край хватил, Ортемий Иваныч! Кому другому не ляпни. Узнает Андрон, останется от тебя мокрое место.

— За достоверность показаний не ручаюсь, Роман Васильевич, и вам-то уж так, по дистанции то есть, как непосредственному руководителю. Сижу в четырех стенах, за что купил, за то и продаю. У меня ведь здесь, в канцелярии, как соберутся...

А еще через несколько дней напала на Улиту Ньюшкина мать:

— Ты что же это, бесстыжая? Сама путалась-перепуталась и других туда же сманиваешь? Я те патлы-то размочалю!

— Опомнись, Никифоровна...

— Молчи! Добрые-то люди, они всё видят. И перед начальством не выкобенивайся. Знаем мы тебя, «ударницу»! Теперь по твоей милости вдвое хребет гнуть придется. Ты знаешь, что наделала? Сходи вон в правление да посмотри: новые нормы на стенке вывешены. Так бы и треснула между глаз...

Отвернулись от Улиты соседки, этого и ждал Артюха; свое зудит:

— Конечно, которые сообразно прикидывают, эти всегда проживут. Работай ты без передыху или так себе, лишь бы у бригадира палочка в списке была поставлена, — одна цена. Потому — трудовень. Косят, скажем, тот же Андрон Савельич, а рядом — Петруха. Этот три прокоса прошел, да прокос-то — косая сажень, а у Петрухи — в два лаптя половина прокоса пройдена. Вроде бы, по правилам-то, полагалось бы Андрону побольше начислять, а у меня — поровну. Потому — оба равноправные члены артели, оба работали по способности, я и пишу одинаково. Трудовень. Указанья такие, директивы!

Стал замечать Андрон: не та стала Улита. Одно время за ней в работе мужикам не угнаться было, а тут будто и канителится, а сделанного нет. На

покосе того и гляди пятки ей косой отхватят, копнуть пошлют — шевелит граблями, как сонная. Чуть солнце за полдень перевалило — Улиты и след простыл. Глядя на нее и другие уходят, а у которых ребята в доме — и вовсе по неделе за ворота не показываются.

Как-то уллучил бригадир минутку, остановил у плетня Улиту:

— Ты что же, нагрузкой, што ли, в бригаде-то быть удумала?

— Не меньше других в поле бываю.

— Бываешь, не спорю, а толку?

— От работы и лошади дохнут.

— Вот оно как!

— А не так, что ли? Это тебе перед учителем выхваляться надо. А мне всё едино.

У Андрона брови на лоб полезли, — экое сказанула! Ты смотри... Поскреб мужик за ухом:

— Прибереги эти мудрости тому, от кого их наслушалась. А мне воду не мути. Понятно?

— Круто берешь: не в батрачки я к тебе нанималась.

— Ого! Да ты, я вижу, шибко грамотной стала!

— А ты думал? Не такие-то мы уж и бессловесные. Кое-что понимаем.

— Самоуком али с подсказки?

— Есть добрые люди...

Крякнул Андрон. Спохватилась Улита, ан — слово-то лишнее вырвалось. Махнула рукой, всё, что накипело на сердце, разом высказала. И то, что за человека ее не считают в бригаде, и что сам Андрон неладное про нее говорит.

— Мало ли что оно было! — кричала Улита в лицо оторопевшему Андрону. — Может, жизнь меня наизнанку вывернула?! Может, я и в день Христов, как слепая, по стенке пробиралась, свету белого не видела! Ты один раз помог — пришел с чересседельником!.. Ты узнал, чего ради в тот раз на полосе я всех баб обогнала? Да я бы глотку тебе перегрызла, попадись ты мне в одночасье! Ты зачем ко мне агронома прислал?! «Ничего ей не станется, сдюжит!»

Андрон попятился, разводя руками:

— Постой, постой... Ошалела баба. Куда ты?

Улита не слушала, полоснула Андрона взглядом и зашагала по переулку.

«Право слово: взбесилась!» — только и мог подумать Андрон.

* * *

Ночевал Андрон в этот раз на покосе; не спалось ему. Мысли всякие тревожили бригадира. Конечно, теперь изменилось дело: думать всем сперва о колхозе надо, а потом уже о своем, домашнем. Окрепнет артель — достаток придет к мужику. Взяться только надо всем скопом, себя пересилить, и всё оно возвернется. Глупостей, конечно, наделали много, не без этого. Да и власти-то государственные это поняли. Мелочь всякую из живности держать заново колхознику разрешено, коровы в хлевах появились. И народ не то чтобы больно уж оборвался. Кто пораньше встает, за краюшкой хлеба к соседу не бегают. С трудоднем, кажется, утряслось, кой-какие запасы имеются. Слов нет, хозяйство пока еще шаткое; так хозяйство сразу не устроишь.

И опять Улита перед глазами; ей-то чего еще надо? В артель из милости приняли, а она теперь недовольство высказывает! Хорошо поработала — похвалили. Другая бы землю рыла от этого, а тут — на тебе. Все слова Улитины мысленно перебрал Андрон, а как до чересседельника дошел, еще крепче задумался. Ну а что было ему тогда делать? В ножки кланяться, что помогла грех венцом поскорее прикрыть? Эх, Дуняшка, Дуняшка!..

Егор вспомнился, — вернуться должен по осени. Агронома своего иметь надо, на городских-то мало надежды, не ко двору они что-то. В Константиновке вон за два года третий сменился. За Володьку было Андрон на правлении слово сказал, да тот же Николай Иванович другое предложил: к машинам ведь тянет парня, по тракторной части. Пишет Володька учителю, что за зиму уйму книжек прочел, а как на ноги встал, за автомобиль принялся: с шофёром больничным по вечерам занимается. Просит учителя, помог бы ему на курсы трактористов попасть.

«Тоже оно неплохо своего человека в МТС иметь, — рассуждал Андрон. — Обучится, бригадир из него бу-

дет крепкий. Этот спуску не даст! И опять Улита — «Ты зачем ко мне агронома прислал?» Да разве я? И в мыслях того не держал! Был разговор в канцелярии, сказал тогда счетоводу: «Пристрой человека куда поспособнее, чтобы ребята малые отдохнуть не мешали». Наплетут эти бабы! Да и баб-то брехливых в тот раз вроде в канцелярии не было. Одна Нюшка в газетке стенной полоски меняла. Чудно! Неужели Нюшка? Вот тебе и комсомол!»

За делами позабыл Андрон о стычке с Улитой, да и она о том не поминала. На работе держится серединка на половинке, разговору вздорного от нее не слышно, ну и ладно. Сорвалась баба, откричалась, пойди докопайся, с чего это. К Николаю Ивановичу думал сходить, — не до того ему. Третий раз в райком вызывают, а зачем — не рассказывает, и председатель молчит; о делах партийных рассуждать при посторонних не полагается.

Началось с весны, с планов сева; по-своему сделали, а соседи — как земельный отдел расписал. В грязь, в тину сеяли, а потом заново весь яровой клин перепахали, и ничего — нефедовского председателя не трогают, агронома, правда, под суд отдали. Так и увезли, а он-то чем виноват? Выполнить всё поровил, вот и выполнил. В Каменном Броде иначе обернулось: яровые в конце июня в дудку погнало, а председателя с Николаем Ивановичем на бюро вызвали.

— С властями надо ухо держать востро, — всякий раз приговаривал Артюха, — одно понять непременно важно: чего хочет от тебя начальник. Догадался — бей в точку! Завсегда человеком будешь...

Непонятно это Андрону: агроном-то нефедовский вон как старался — сидит! Наши не потрафили — тоже нехорошо. Где же правда? Жить, как Артюха? Сомнительно. Правда-то — она с народом. Не покорился учитель директиве, так уж как небось руки горят у начальника земельного отдела, а взять-то нельзя! А теперь кто же он есть после этого — Евстафий Гордич? Непонятно.

Видел однажды Андрон на столе у Николая Ивановича конверт, сургучом опечатанный. Написано: «Москва, Кремль, товарищу Сталину». Выходит, немалый

спор завязал учитель. Комитет — слово серьезное, как это против комитета единому решиться? Там-то ведь тоже партийцы! Или такой же Артюха мозги остальным затуманил? Да неужто и в партии они есть?

Долго ломал Андрон голову. Не найти ему правильного ответа. Одно ясно, как божий день: если пролезли такие людишки к руководству, не жди от них доброго дела. Один по дурости черт-те чего придумает, другой от зависти перед умным, а третий и по злобе, с умыслом. Это вредительство.

Вредить можно по-разному: делом не удалось — языком. Злее оно другой раз получается. И опять чересседельник припомнился Андрону. За что он тогда исполосовал Улиту? За язык. С умыслом она сбрехнула в тот раз про подол? Едва ли. Какая была корысть наговаривать? Ляпнула сдуру, и всё. Тогда Улита говорила своими словами. А теперь у нее другое...

— А всё-таки спытать надо Нюшку, — проговорил Андрон вслух. — Неужто она?

Случай подвернулся скоро: сама Нюшка пришла на двор бригадира лошадь просить в Константиновку.

— Отец чего не пришел?

— Ехать-то мне надо.

— Чего?

— Железо там оцинкованное в кооперации есть.

— Железо? К чему оно понадобилось?

— Карп Данилович говорит: листа три надо. Мы ведь уже всё приготовили на памятник Верочке. Пли-ту тесать заново специалиста призывали, кузнец из прутьев решетку сварил. А теперь листового железа надо: тумбочку такую сделали, как в городе на партизанской могиле. Обшить ее только осталось. А надпись в Уфе на заводе делают медными буквами. Это уж Маргарита Васильевна постаралась. Пишет, что скоро приедет.

— Это вы дело удумали. Николай-то Иванович знает?

— Знает, да не про всё.

— Дело, — еще раз проговорил Андрон и тут же отправился на конюшню.

По дороге спросил, не глядя на спутницу:

— Ты чего это Улите про меня сбrehнула?

— Что вы, дядя Андрон? — У Нюшки даже голос сорвался.

— Никого больше не было. Ты да Артюха. А она мне потом такое выложила!..

Андрон только сейчас глянул на Нюшку. Лицо у той в пятнах белых.

— Что вы, дядя Андрон. Сло́ва я ей не сказала!

— Занятно в таком разе...

— А про чего разговор-то? — спросила Нюшка, переводя дух и не переставая моргать часто-часто.

— Да так... Девкам-то оно и слушать про такое неспособно.

— Ох, дядя Андрон, дядя Андрон, — одно и то же повторяла Нюшка, и по тому, как горели ее щеки, как срывался голос, понял Андрон, что подозрения его на Нюшку были напрасны.

Когда Нюшка уселась в телегу, подобрала вожжи, Андрон вывел коня из ворот, боком присел на охапку травы, намереваясь проехать до Ермилова хутора. За хутором издавна пустовал порядочный клин хорошей земли, трактористы из МТС под пары его сейчас обрабатывали.

Нюшка молчала до самого поворота за Метелихой, потом проговорила как бы про себя:

— Знали бы вы, дядя Андрон, что мне Улита про счетовода нашего рассказала! Жалко вот, нет на мельнице старого хозяина, спросить не у кого сейчас.

— Про Артюху?

— Про него. Про то, как он человека продал!.. Он и Улиту сбивает, а вы на меня такое...

— Это кого же? — медленно повернулся Андрон к Нюшке. — Кого продал Артюха? Кому?

— Младшего брата Карпа Данилыча, вот кого!

— Постой, постой... А при чем тут Улита?

— А вы сами ее обо всем расспросите. Затыркали бабу...

Остался Андрон на свороте, проводил Нюшку долгим взглядом. Пока шел по лесу, перебирал в памяти далекие смутные годы. Крутился тогда Артюха и нашим и вашим: попробуй теперь разберись! Потом подумал о комсомольцах: насчет памятника — это хорошо. Молодцы, ничего не скажешь. Молодежь растет

добрая. Заберет она скоро всё в свои руки, повернет дело по-своему.

Вот он и выруб. У самой дороги трактор стоит, пыхивает синими колечками. Тракторист и парнишка-прицепщик сутулятся у высокого зубчатого колеса. Наседает на них с кулаками костистый, поджарый малый, в расстегнутой, без пояса, косоворотке. Издали слышит Андрон:

— Вы что? На кого вы работаете?! Да за такую работу к стенке вас становить! «Пар мы поднимаем!»... А потом за вас заново перепаживать? Заново трудодни начислять? Двадцать сантиметров полагается брать, а у вас?

Подошел Андрон ближе: Володька!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как пришел Владимир к Николаю Ивановичу утром, так и не уходил до позднего вечера. Совсём пусто показалось теперь в квартире учителя. Валерки с весны опять нет дома: снова лежит в больнице, в Уфе. Обо всем переговорили, перед обедом на речку прошлись. Рассказал Дымов учителю о книгах, какие прочесть удалось, о городских комсомольцах, с которыми сдружился. В первый день, как выписали из больницы, был у них на заводе. Хорошо встретили, машины разные показали, а на котором станке флажок треугольный — тут ударник работает, только стружка сизая из-под резца!

— Вот если бы и у нас так же, — мечтательно проговорил Владимир, — по-ударному!

— Надо кому-то пример показать.

— За этим дело не станет, Николай Иванович, да я не о том говорю, — продолжал Владимир. — На заводе тоже работа нелегкая, но там всё-таки проще: человек знает свое постоянное место, станок у него отрегулирован, инструмент приготовлен, болванки, какие обтачивать, на тележке рядом. Отработал он свои восемь часов, сколько ему начислено — знает. А у нас?

— В передовых колхозах об индивидуальной сдельщине идет разговор. Кое-где это уже практикуется. Отличные результаты.

— Читал я про это в газете, читал...

По тому, каким тоном были сказаны эти слова, Николай Иванович понял, что врожденным мужицким умом вчерашний подросток оценивал сегодняшний день колхозной деревни, пытался представить себе и свое и колхозное завтра, сопоставлял всё это с промышленным производством.

За разговором незаметно миновали пастбище, берегом Каменки вышли к запруде у мельницы, без слов постояли на шатком переходе. Моста через реку не было: срезало его льдом, и плотину прорвало. Огромное обсохшее мельничное колесо стояло накренившись набок. Дом мельника, приземистый пятистенник из кондовых бревен в обхват, с ободранной крышей и закопченными окнами, казалось, подсматривал искоса за всем, что происходит вокруг, и затаил про себя что-то недоброе. Мельница обветшала и тоже осела набок. Как-то нехорошо было тут, тягостно.

— Прудить надо, — по-деловому высказался Владимир. Нахмурясь, осматривал он поломанные сваи, запустелый мельничный двор с покосившимися постройками, затем перевел взгляд ниже — туда, где бешено бурлил под ногами поток, пенился в горловине пролома, а дальше разливался в отлогом котловане и лениво зализывал оплетенные водорослями прогнившие бревна слани. Улыбнулся совсем по-мальчишески:

— В этом месте окуни под корягами — как поленья! Горохом пареным можно привадить, а потом на зорьке — жерлицу с блесной. Не пробовали? А вон там, в заводи, щуки. Другая часами стоит у затопленных кустиков, не шелохнется. Ту — на живца...

Сошли на берег. По заросшей, давно нехоженной тропке углубились в небольшой перелесок. Справа и слева — молодые стройные березки; они то сбегались стайками, как хохотушки подружки в праздничный вечер, то теряли одна другую и, рассыпавшись по чернотелю, стояли так в одиночестве, задумчиво покачивая густолиственными вершинами. В низинке — ольшаник, ивняк, осина с вечно беспокойными листьями; на взгорке — снова березки, местами дубок проглянет приземистым крепышом. Этот держится независимо, и темно-зеленая листва его неподвижна.

Вот и Красный яр. Владимир первым увидел, что на обрыве нет приметного дерева.

— Уж не Андрон ли срубил? — спросил он, обернувшись к учителю.

Николай Иванович пожал плечами, а когда подошел ближе — поняли, что за Андрона река постаралась: с корнем вырвала уродливую коряжину, чтобы не напоминала она о былом не только Андрону, но и другим. Что было — прошло-пережито.

Владимир остановился у самого среза скалы, смотрел прямо перед собой в даль луговую. Николай Иванович поотстал немного, наблюдая со стороны, как жадно глотает паренек живительный воздух родимых мест, как по лицу его разливается улыбка, а глаза разгораются, стремясь охватить всё вокруг. Вот и щеки из матово-бледных сделались розоватыми, губы разошлись немного, да так и остались несомкнутыми. И глаза и полуоткрытый рот говорили об одном: жив я! Живу и жить буду!

«Жить — значит работать, делать добро другим», — про себя заключил учитель и сам широко улыбнулся от сознания того, что об руку с ним, еще ближе, чем это было вчера, будет теперь молодежь. И в этот момент учителю показалось, что он тоже горяч и молод, что нет у него одиночества, неустроенности в личной жизни, бессонных ночей и преждевременной седины.

Внизу глухо рокотала Каменка; вздутые хлопья пены медленно кружились в водоворотах, а у берегов выплескивались на голодный оскал красноватых плит; мельчайшая, невесомая водяная пыль до краев заполнила тесную впадину, и двойная радуга опрокинулась в нее переливчатой разноцветной подковой.

— Помните последний наш разговор, Николай Иванович? — по-прежнему глядя перед собой в даль заречную, заговорил Владимир. — Я тогда мечты свои высказывал, сны недосмотренные, про свет электрический, про радио в каждой избе. А главное не успел сказать... С этого места жизнь нашу переделывать надо — станцию здесь построить!

Учитель глянул поверх очков на парня, ответил не сразу. Ему вспомнился день приезда в Каменный Брод, босоногий вихрастый парнишка: «У наших-то баб как еще и напросишься! Так тебе, думаешь, каждая и про-

даст?»... Урок арифметики, и этот же сорванец предлагает: «Сложить бы всё вместе, а потом поделить поровну». Тогда Володька подсознательно выразил затаенную мысль безлошадной бедноты о колхозах, не имея еще представления о непонятном слове. Сейчас, через пять лет, перед учителем стоял испытанный в настоящем деле, убежденный строитель новой жизни.

Николай Иванович подошел вплотную к первому своему ученику, как и в тот раз, на уроке арифметики, положил ему на плечи крепкие свои руки и, умышленно величая по отчеству, сказал твердо:

— Будет. И это будет, Владимир Степанович.

Обратно шли мимо Черных камней. Оградку у безымянной могилы кто-то выкрасил масляной краской, а вокруг обелиска маки посажены. Распустились они огневыми махровыми цветами, до самой звезды дотянулись. И кажется оттого, что звезда эта купается в жарком пламени, что сама она светится.

— Знаю я, кто посадил эти маки, — задумчиво проговорил Владимир, когда поравнялись с оградкой. — Улита.

— Улита?

— Она. Больше никому.

И рассказал Владимир учителю всё, что знал со слов матери о младшем брате кузнеца Карпа Даниловича.

— Кто-то из наших продал, — закончил свой рассказ о Фроле.

— Почему ты так думаешь?

— Мать говорила, что сразу к Улите нагрянули, а потом уж у Карпа искали. Откуда бы белякам знать про то, что свои деревенские Фрола видели чаще на Верхней улице, чем у своего дома на Озерной? Нашлась какая-то сволочь. Карп на Артюху думает. Неужели вам он об этом не говорил?

Владимир замедлил шаги и, хоть на лесной тропе не было никого, добавил, понизив голос:

— Про больницу-то я не всё еще вам сказал, Николай Иванович. Два раза ко мне приходил человек в кожаной куртке и с пистолетом. Первый раз не назвался, это зимой еще было, а потом сказал, что он — Прохоров. Так вот этот Прохоров оба раза больше всего про Артюху меня расспрашивал. Про Пашаню, про

Фильку и старосту всё знает. А за Артюхой велел при-
смотреть: не приезжает ли к нему кто из города. И
еще наказывал, чтобы мы, комсомольцы, вас оберега-
ли пуще глазу.

«Век живи, век учись, — рассуждал Николай Ива-
нович, сидя на жесткой кровати и докуривая папиро-
су, перед тем как уснуть. — Старая, как мир, аксиома,
но почему же люди — подчас и неглупые — воспомина-
ют об этом в последнюю очередь? Прохоров был в де-
ревне единственный раз, и у него уже есть какое-то
подозрение на счетовода. Я живу шестой год. Что мо-
жно сказать об Артюхе? Хитер, изворотлив, любит
похвастать. Да, кузнец его откровенно недолюбливает,
Андрон тоже. Улита — боится, молодежь, и особенно
комсомольцы, терпеть не может. Отчего бы всё это?
Может, и в самом деле ошибаюсь я? Обманулся в Ар-
тюхе с первого дня? Говорят, нет дыма без огня. Ста-
ло быть, есть что-то такое, что знают и видят односель-
чане и не вижу один я — учитель, секретарь партий-
ной ячейки! Артюха неглуп. А что, если он — дву-
рушник, спекулирует лозунгами партии, сознательно
извращая их? Вот и Андрон, по мнению Артюхи, ку-
лак, и эта идиотская «специализация» с посевными
культурами. А как он выгораживал мельника до рас-
кулачивания! И Пашаню, когда тот проворовался. На
Дарью пытался обрушиться со своими судейскими па-
раграфами. А в прошлом году, без ведома председа-
теля колхоза, самочинно запретил молоть хлеб едино-
личникам на колхозной мельнице. Что это: результат
недомыслия или — палки в колеса?»

Николай Иванович с силой расплющил окурок в
пепельнице, прошелся по комнате. Взгляд его остано-
вился на портрете Верочки. Вспомнил ту ночь, когда
она искала дневник, а потом Маргарита Васильевна —
после того как выписалась из больницы — рассказыва-
ла ему, что накануне исчезновения дневника у них в
комнате долго сидел Артемий Иванович; разглаголь-
ствовал, упрекал комсомольцев в бездеятельности. Но
для чего Артюхе дневник? Для чего?! Прохоров хочет
знать, не приезжает ли кто-нибудь к Артюхе из горо-
да... Может быть, он напал на какие-нибудь связи?
Артюха — Фрол — колчаковец; колчаковец — днев-
ник — Верочка... И при этом Филька, староста. Артю-

ха с платком на лысине во время допроса старосты на суде! А ведь это не просто: сидеть тут же, в зале, когда судят сообщников и когда прокурор требует высшей меры! А вдруг один из тех, что сидят на скамье, повернется лицом к народу и скажет потом судьям, что он может подвинуться, потесниться: отвечать, так уж всем. Староста этого не сказал. То был враг. Враг лютый, матерый. И не меньший по злобе на советскую власть сидел в глубине напряженного зала. И высидел до конца. Это не просто.

И решил Николай Иванович съездить в Бельск к Прохорову. Приехал, а того нет на месте, — в Уфу срочно вызвали, в управление. Дежурный сказал — денька на три. И учитель туда же отправился — к Жудре. Заодно навестить сына, к Маргарите Васильевне заглянуть на минутку.

Жудра сам встретил Крутикова в вестибюле, махнул рукой постовому: пропустите! Когда поднимались по лестнице на второй этаж, посмотрел в лицо Николаю Ивановичу, спросил настороженно:

— Как ты узнал?

— Что?

— Я думал...

— Что ты думал?

— Я думал, что ты поэтому и приехал...

— Никакого «поэтому» я не знаю.

— Пойдем. Там как раз Прохоров. Я его специально вызвал. Труп начал уже разлагаться.

— Чей труп?

В кабинете, кроме Прохорова, никого не было. Жудра усадил Николая Ивановича в кресло напротив себя, достал из сейфа желтую папку.

— Ты, Николай, прежде всего — солдат, — проговорил он несколько глуше обычного. — Читай сам. — И положил перед учителем раскрытую папку.

В папке лежала всего одна бумага — акт судебно-медицинского вскрытия трупа гражданки Крутиковой Юлии Михайловны. Эксперты утверждали, что причиной смерти явилось отравление сильнодействующим ядом, принятым в большой дозе и вместе с вином.

— Когда и где это произошло? — спросил Николай Иванович, сняв очки и пригнув голову.

— Неделю тому назад, — начал Прохоров, — ваша

жена со служебными документами и с небольшой суммой казенных денег выехала на пароходе из Бельска в Уфу. Ехала в одноместной каюте второго класса. По прибытии на конечный пункт следования и после выгрузки пароход был отправлен к затону на промывку котлов. И только на третий день в носовой каюте был обнаружен труп. Документы и деньги не тронуты.

— Инсценировка самоубийства, — добавил Жудра, — для простачков. А мы имеем данные, что вино в буфете покупал другой человек. Не женщина. На бутылке и пузырьке с аптечной наклейкой остались отпечатки пальцев. Он же унёс и ключ от каюты, бросил на берегу. Найдем! Это, Коля, девятнадцатый год отрыгается. Знаем кому.

— Вот что, товарищ Прохоров, — продолжал Жудра далее, — провизора Бржезовского пока не арестовывайте. То, что он собирается раскопать где-то клад, пусть себе тешится. Не мешайте. Но и не давайте ему возможности ускользнуть из Бельска, как уже было в прошлом году.

— А счетовод из «Колоса»? — спросил Прохоров. — Он ведь тоже с некоторых пор усиленно изучает немецкий язык.

— Надо свести их друг с другом. Но только после того, как узнаем, кому провизор Бржезовский продал наркотик. Вот так. Говорю это при тебе, Николай, — Жудра повернулся к учителю, — чтобы и ты нам помог по возможности. Оттуда, из ваших лесов, клубочек начал разматываться. Ну, а теперь рассказывай, чем ты хотел поделиться. Не зря ведь приехал. Извини, брат, что с таким известием встретили. Лучше уж сразу... Ты ведь прямо с пристани, не обедал, конечно?

Николай Иванович махнул рукой. Потом стал перечитывать протокольные строки акта.

— Дайте собраться с мыслями, — попросил он, не поднимая головы. — Слишком всё это неожиданно и страшно. Ты прав, Григорий, кто-то и здесь пытается замести следы девятнадцатого года. Ведь могла и Юлия встретить в Бельске того же колчаковца, которого видела моя дочь на Большой Горе. И вот теперь убрали ее. Прав ты и в том, что клубок начинает разматываться. Но он размотался бы раньше, намного раньше, если бы я — я тебе честно признаюсь, Григорий, — не

оттолкнул Юлию. Сошлись бы мы или нет — неизвестно, но если бы я поговорил с нею по-человечески, уверяю тебя, что не читали бы мы сейчас вот этого документа.

Говоря это, Крутиков двойным узлом затянул те-семки картонной папки, положил ее на середину стола, затем поднял голову и посмотрел прямо в глаза Жудре.

— Возможно, вполне возможно, — согласился тот.

— Гордость мужская запротестовала. Ревность, — продолжал Николай Иванович. — Значит, и я виноват. Не защитил — пусть не жену, но мать своей дочери и своего сына. Вот ведь, Григорий, как складываются обстоятельства.

Жудра и Прохоров молчали.

— Не наговаривай на себя лишнего, — после продолжительной паузы начал Жудра, — и, самое главное, не опускай рук. Еще раз говорю тебе, Николай: ты — солдат. И мы вот с товарищем Прохоровым — тоже солдаты. Мы выполняем общую задачу. Идем к своей цели не парадным шагом, а по минному полю, под огнем и в огне. Сколько у тебя в деревне членов партии? Трое с тобой? Вот и получается, что ты — командир отделения, идущего головным дозором, а за тобой — развернутым строем — рота. Я тоже поблизости, но я — командир саперного взвода, если уж мыслить теми же категориями, и мои солдаты обязаны найти и обезвредить на месте заложенные на вашем пути фугасы, проделать проходы в заграждениях из колючей проволоки. Ты думаешь, мне не горько видеть, когда подрываются твои люди?

— И запомни еще одно, — закуривая, развивал свои доводы Жудра, — чем мельче и злобнее враг, тем труднее его обнаружить и распознать. Нужно быть очень внимательным ко всем, кто тебя окружает. Я знаю, ты смелый и честный человек. Ты сильный — поэтому излишне доверчив. Но осторожность никогда не ставилась в один ряд с подозрительностью. Надеюсь, ты понял меня?

— Я всё понимаю, — отвечал Николай Иванович. — Вот ехал сюда и всё успокаивал свою совесть. Думал, что опаздываю на год. А вот прочитал эту бумагу и понял, что со своими «прозорливыми» открытиями,

кстати сказать подсказанными мне моими же учениками, я опоздал не на год и не на два. Вот что меня мучает.

— Будем считать, что мы, как и раньше, понимаем друг друга. Что с сыном? Я слышал, что он в больнице. Если располагаешь временем, я помогу тебе встретиться со специалистами нашей клиники. Мог бы я это сделать и завтра, но завтра у нас пленарное заседание обкома. Весь день буду занят.

Жудра встал, здоровой рукой одернул защитную гимнастерку, расправил складки под поясом:

— Вечером потолкуем еще. А теперь — обедать. Ко мне. Жена у меня великий мастер варить борщи.

* * *

Артюха положил на стол председателя отчет за первое полугодие. Глянул Роман на итоговые цифры, засосало у него под ложечкой... Задолженность по ссудам выросла, а тут из МТС бумага: за горючее не уплачено, трактористы натурой не рассчитаны.

— Знаю; чего в третий раз подсовываешь? — сказал счетоводу. — Подождут до уборки.

— Опасенье имею, Роман Васильевич, не закрыли бы в банке счет. Потому — неплатежеспособный клиент. Им это запросто. Самому управляющему лично докладывал. И он ничего поделать не может, — закон!

— Как же быть?

— Да ведь маленький я человек, товарищ председатель, чтобы вам советы давать, а раз уж под яблочко захлестнуло...

— Захлестнуло. Что верно, то верно.

— Вот и я так полагаю. Сердце кровью обливается, а не иначе — труба. Подсудное дело...

— Не тяни душу. Говори.

Артюха передвинулся вместе со стулом, заговорил вполголоса:

— А что, если продать бы нам малость из живности, Роман Васильевич, а? Нетелей, скажем, голов десять на мясо пустить. На базаре сейчас — шаром покати, вот и рассчитались бы с долгами.

— Не дело ты говоришь, Ортемий Иванович. Нетелей — под нож, что нам за это колхозники скажут?

— На всех-то не угодишь. Думаете, мне легко слова такие высказывать! А ну трактористы к уборке зартачатся? Народец-то пошел шибко грамотный. Знают, мошенники, когда требование свое предъявить. Этих посулами не умаслишь. А если со жнивьем затащим? За это, брат, втридорога заплатишь! Смотри, конечно, спрос-то с тебя...

— Да ведь было же у нас для расчета с трактористами полсотни пудов.

— Было, конечно, так ведь сами же вы, Роман Васильевич, и роздали это в третью бригаду, как по весне с хлебом поджало.

Сидел председатель, думал. Не дело говорит счетовод, а другого выхода нет. И Артюха молчит, посматривает из-под очков, на дряблой щеке его налились красноватые жилки.

— Пусть закрывают счета, пускай судят, а чтобы племенных нетелей... Нет, Ортемий Иванович, не могу!

— Думай, на то ты и хозяин. Соображай. Мое дело — десятое. Или вот что еще...

Артюха покосился на дверь — прикрыта ли, — и задышал торопливым шепотом в самое ухо председателя:

— Подсвиночка пудика на два... Сам отвезу. Не управляющему, нет, этот из заводских. Бухгалтеру-контролеру. Неприметный такой старикашка, а человек — золото, большими тысячами ворочает. Через него и ссуду выпишем. На плотину, скажем, на мост, на жернова новые. Мельница-то на всю округу одна! Лесу у константиновских выпросим, запруду починим, а там кто нас проверит, нанимали мы плотников или нет, новые жернова поставили или старым насечку сменили. До черта их по двору валяется, которые еще и пустить можно. А с мельником договорюсь. Деньги на счет МТС перечислим, дело в шляпе!

— А если к Мартынову самому мне съездить? — после длительного раздумья заговорил председатель. — Поговорить с ним по-человечески. Еще лучше — Николая Ивановича попросить об этом. Друзья ведь они.

Артюха пожал плечами:

— Дело ваше, конечно, Роман Васильевич, но учитель тут не поможет. Что друзья они старые с теперешним директором МТС, всем известно. А только по-

сле того, как бывший секретарь районного комитета партии оказался у нас на Большой Горе, на друзей-то прежних по-другому он смотрит. Все они — друзья до черного дня, как говорится. Чего бы в таком-то разе не отстояли его на прежней должности? Стало быть, ослабило? А кто и ножку подставил. Думаешь, ему не обидно?

Помолчал Артюха, покачал головой и добавил:

— Дело ваше, а я так полагаю, Роман Васильевич: без старикашки-бухгалтера не видать нам с тобой просветления. Многие так-то делают. Незаконно, конечно, да и закон — он ведь что столб: перескочить его не перескочишь, а вокруг обойти — что справа, что слева — одинаково. Смотри, однако...

— Стало быть — взятку? Мне, члену партии, говоришь такое?

— Да что ты, Роман Васильевич! — замахал руками Артюха. — Ты и знать ничего не знаешь! Подпишешь актишко: подход поросенок. Всё! Неужели на меня думаешь? Не первый год рука об руку. Могила!

— Пусть закрывают счета. Точка!

Неделю не было слышно голоса счетовода, — сидит, закопался в бумажках. Когда бы ни заглянул председатель в правленье, Артюха как врос за столом. А из города что ни день — отношение; от директора МТС официальная жалоба в земельный отдел поступила. Приехал оттуда уполномоченный. Как удалось Артюхе уговорить его не снимать трактора МТС с подъема паров, не спрашивал председатель, знал одно: выписал себе счетовод аванс, а потом два дня не было его на работе.

— Повезло нам, Роман Васильевич, на этот раз, — хвастался после Артюха, — не горазд силен человек оказался, в нормах высева ничего не смыслит. Ну я и подсунул ему реестрик, что, мол, фонды, выделенные на выдачу трактористам, по особому на то решению председателя, израсходованы второй бригадой на новом клину. На пять десятин. Видал, каков грамотей?

— Чего не сказал, что на помол роздали?

— Что ты! Да за такое тебя первого к ответу бы и потянули. Как это можно из графы отчуждения на личные нужды колхозников употреблять? Это всё рав-

но что и не было у нас тех восьми центнеров проса. Хуже, чем если бы сами уворовали!

— Постой, постой... О каком просе ты речь ведешь? — не вдруг догадался Роман. — Колхозникам-то мы роздали что? И в помине там проса не значилось!

Артюха открыл было рот и схватился за голову.

— Запамятовал, вот ей-богу, запамятовал! А ведь он всё это в книжечку себе записал. Придется теперь самолично к Евстафию Гордеевичу ехать. Пропала моя головушка!

— Чего там «пропала»? — стоял на своем Роман. — Росписи на то имеются, люди живые подскажут.

— Не можем мы эту ведомость показать, Рома Васильевич! Не можем под страхом судебной ответственности! — простонал Артюха. — Графа не позволяет, закон!

— Чего же весной молчал?

— Думал, как-нибудь вывернемся: свой брат-бедняк голодует. А этот — как знал: только приехал — журнал натуральных фондов потребовал. Одна надежда теперь на самого Евстафия Гордеевича. Так я уж поеду завтра, беру вину на себя... С делами такими голова-то и впрямь дырявой станет, — сокрушался Артюха. — Далось мне это чертово просо — с марта месяца из башки не выскакивает. И тут невпопад черти дернули. И добро бы не знал! А ну глянем для верности, что у меня в реестре-то. Неужто и там просо?

Покопался Артюха в бумажках, подшивку перелистал, а в ней листочек, красным цветом пронумерованный, и черным по белому запись: «Бригадиру второй бригады выдано из кладовой проса в центнерах 8 (восемь)».

— А кто подписал? Мудришь ты чего-то. Да сам-то смыслишь ли ты, сколько этими пятьюдесятью пудами засеять можно? На пять десятин! — Роман за бока схватился.

— Мое дело вести счет, — нахохлившись, отвечал Артюха. — Перемеривать и перевешивать — это меня не касается. Выдано, и конец, по документам у меня проведено. Помнится, сами вы об этом и говорили, когда Андропова постоялка в уком докладывала. У меня и это записано: «За Ермиловым хутором — про-

са...» На худой конец они ведь и райкомовские записи могут поднять. Нет уж, Роман Васильевич, тут надо до тонкости.

И опять остался для Романа весь этот разговор не заслуживающим внимания, — махнул рукой на Артюху: сам наврал с перепугу, сам пусть и расхлебывает. Ну где это видано, чтобы на посев пяти десятин пятьдесят пудов проса требовалось? Да и не было его столько в колхозе. Ячмень, правда, оставался. На то ведомость в деле подшита.

Съездил Артюха в город, вернулся совсем больным от расстройства и переживаний, — опоздал: «добавочный клин» второй бригады оказался уже занесенным в отчет земельного отдела и в довершение всего отправлен с другими документами в областной центр.

— Придется активировать на градобитие, — сокрушенно вздыхал счетовод, — сами Евстафий Гордеевич так и посоветовали. Потому — чистой воды очковительство. А ну поставки начислят, пусть и пять десятин, да это ведь не овес — просо! Приедут, допустим, проверить: в сводках-то, что оно значит за Пашаниным хутором — овес или просо? Евстафия-то Гордеевича тут не обманешь! Вот тебе и подлог, вот тебе и пожалуйста к районному прокурору. Мое-то ведь дело, сам знаешь, — бумага. Тут всё в ажуре. А тебя могут спросить: какой ты есть коммунист после этого? Вот билетом своим и поплатишься!

— Я? Партбилетом?! Да я тебя наизнанку выверну! — Роман только сейчас стал понимать, что с ним сделал Козел.

— Видит бог, всё принимал на себя! — истово клялся Артюха. — Всё как есть выложил. А только Евстафий-то Гордеевич — его такими штучками не проведешь. Знаем, говорит, кого выгораживаешь! Этот ваш учитель утвержденный план под корень срывает, а ты за него по глупости на себя наговариваешь. Это, говорит, троцкистская вылазка чистой воды. Вот оно куда повернуло!.. Роман Василич, христом-богом прошу: давай замнем меж собой это дело. И Николаю Ивановичу не говори; чего человека до время расстраивать. Авось всё и уляжется, утрясется; нам бы ведь первого дождичка только дожждаться, — град, и шабаш! И в банк заходил, намекнул этому — стари-

кашке-то. Разорался, ногами затопал! Говорю ему спокойненько так: на кого кричишь-то? Знаю, мол, кто и сколько возил. Всё знаю. Подействовало. Дал адресок записать домашний, — дело понятное! Все ведь люди, Роман Василич, и каждому пить-есть надо. А нам без ссуды — форменная труба. Пока этот хрыч не одумался, свезти бы ему подсвинка?.. А?

Спеленал Артюха Романа Васильевича, по рукам-по ногам опутал. До того дошло — голоса своего не стал подавать председатель, прежде чем со счетоводом не посоветуется. А тому что! Только чаще и чаще акты подсовывает. То бычок-трехлеток ногу сломал, то поросят подсосных matka порвала. Козырем ходит Артюха по Верхней улице. Галифе себе справил, сапоги хромовые.

Замечать стали соседи и то: курится по ночам беловатый дымок над трубой Улитиной избушки. В окнах огня не видно, а дымок идет. Не спится вдове, конечно, дело не молодое. Может, рубахи выпаривает?..

* * *

Андрон не ошибся в надеждах своих на сына Фроловны: дня три посидел парень дома, да и то не без дела — крылечко подремонтировал, дымоход наверху перебрал, а потом вечерком завернул во двор к бригадиру.

— Дело у меня к тебе, дядя Андрон.

— Выкладывай.

— Дал бы ты нам дней на десять плотника настоящего.

— Кому это вам?

— Нам — комсомольцам. В протоколе у нас записано: «Силами молодежи построить на скотном дворе водогрейку». Пока рожь не поспела, срубили бы.

— Дело.

Поскреб Андрон за ухом. Где плотника взять? Один вместе с Карпом Даниловичем телеги к уборке готовит, двое на бригадном гумне привод к молотилке конной налаживают, решета к веялке им же перетянуть велено, в овине сруб заменить. А что, если Петруху Пенина, Егоркиного отца? Лодырь старик, пьяница горький, а плотник-то неплохой.

— Ладно, давайте Петруху, — согласился Володька, — мы его подмолодим.

Не откладывая, уговорились, кому камень возить на фундамент, кому за бревнами съездить: добра мало осталось от избы Пашани. Всё рассчитали, разместили. Как с равным, с Володькой Андрон разговаривал, а про себя всё прихваливал парня: глаз у него хозяйский, этот маху не даст, побольше бы их — таких-то. В коровник зашли, и тут нашел, что предложить Володька: вычитал где-то, что в добрых колхозах на скотных дворах проходы глинобитные делают, стоки, а жижу потом — на поля: лучшего удобрения и не придумать. Всё это знал и Андрон, да руки пока не доходили. Конечно, кормушки бы надо из досок поставить, кадушку для каждой коровы. Думал об этом.

— Стало быть, нас, стариков, на буксир берет комсомолия? — любопытствовал Андрон в конце разговора.

— Да нет, вы еще в коренных походите, — шуткой ответил Владимир, — мы за пристяжную.

— Пристяжной-то, той, коли знаешь, скоком идти полагается. И шею — дугой.

— Правильно, а коренник — рысью размашистой, только грива полощется на ветру.

— Была, парень, грива, была, — помолчав, сумрачно отозвался Андрон, — а вот заново отрастет ли, не знаю. Тянешься вот, как двужилый... Слышал небось, рожь еще на корню, яровые в дудку толком не выгнало, а поставки уже расписаны. Урожай-то добрые люди в закромах подсчитывают, а потом уж — куда и сколько.

— Уладится всё, дядя Андрон.

— Когда-то оно еще будет...

На другой день во дворе бывшего лавочника вместе с восходом солнца дружно ударили топоры. Парни здоровые, кипит у них дело в руках. И Петруха тут же, рубаха мокрая к лопаткам прилипла. К вечеру до верхних подушек в окнах подняли сруб, косяки вставили. И не как-нибудь — по всем правилам: на мох положили бревна, переводы новые вытесали. За неделю поставили дом, перегородили его на три части, в одной половине печь заложили на два котла, ведер по двадцать в каждом. За котлами пришлось

председателю посылать подводу на станцию. В МТС труб раздобыли и прямо из водогрейки коленом провели в коровник — не таскать бы ведрами через двор. И от колодца такую же трубу проложили, и насос поставили. Тут уж Карп Данилович подсобил комсомольцам: желоба, краны приделал.

Дарья ходила повеселевшая, словно лет десять с плеч своих сбросила: в зиму теперь теплое пойло будет коровам, а если еще пол наберут в стойлах, как Нюшка сказала, да бочки у каждой кормушки поставят — не коровник будет, а загляденье. Доярок бы еще постоянных, ну да не всё вдруг. И за это не знала Дарья, как благодарить Романа Васильевича, а на Володьку смотрела с нескрываемой завистью: вот бы Мишка таким был! Да нет, верно говорят в народе: от худого семени не жди доброго племени. Второй месяц доходит, как в другой раз сбежал из дому Мишка, и думать о нем не хотелось.

Видела Дарья и то — Нюшка Екимова глаз не спускает с Володьки. И она тут же, с парнями работает. Правда, толк от нее невелик, да на нее глядя, каждому хочется и бревно подхватить половчей, и топором ударить посноровистей. Славная дочка выросла у Екима, веселая, голос звонкий, залиvistый. И парни с ней не смеют охальничать. Это за последние годы на спад пошло: и песен похабных не слышно, и драк меньше стало, — комсомол, одно слово. И чего бы не быть с ними Мишке?..

Закончили парни водогрейку да в тот же день, с топорами на плечах, в правление: заявить председателю о новом своем намерении — потягаться силами с Каменкой.

— С константиновскими и нефедовскими комсомольцами у нас полная договоренность, — говорил за всех Владимир, — немного времени потребуется, чтобы запруду поставить. И из Тозлара помогут.

— А кто свай бить будет, мост наводить? Настоящих-то мастеров голым лозунгом, пожалуй, не прошибешь, — вставил свое замечание Артюха, — им ведь наличность потребуется. Где ее взять?

— Потому и пришли к председателю, — не глядя на счетовода, продолжал Дымов. — Знаем, что с наличностью не густо. Раньше-то обходились без денег?

По дворам собирали — где бревно, где доску, а теперь три колхоза вокруг этой мельницы. Неужели на станцию, за сорок-то верст, каждый свой мешок повезет?

— В том-то и дело, что раньше помочью всё это называлось: хозяин выставит миру первача пару ведер, барана в котел, — веселись, мужики!

— Вы бы, товарищ Гришин, оставили эту «веселость», — посоветовал счетоводу Федор Капустин, — мы ведь не с вами разговариваем.

Председатель постучал легонечко по столу, просительно посмотрел на Артюху.

— Мы вот что хотели бы от вас, Роман Васильевич, — снова начал Владимир: переговорить бы вам самому с председателями соседних артелей. Два-три человека погоду в колхозе не делают. Остальное берем на себя. В народе нехватки не будет: наших восемь парней, из Нефедовки — десять да человек пятнадцать константиновских, — сила! Хворост рубить девчат поставим, камень — тут же, в яру. Загодя всё это подвезли бы к плотине, а землю потом уж, на лошадях, как за главное примемся.

Говоря это, он развернул на столе председателя лист плотной бумаги:

— Вот они, наши планы: всё тут рассчитано. С Николаем Ивановичем две ночи сидели.

— Ого! — невольно вырвалось у Романа Васильевича. — Да вы, я вижу, Днепрогэс строить удумали!.. Это что же — мост на быках ряжевых, водослив со щитами подъемными? Лихо задумано...

— Строить так строить по-настоящему.

— Такого нам, братцы мои, не осилить, — поразмыслив, проговорил Роман, — время упущено: при всем готовом на забивку одних только свай дней десять уйдет, а через неделю уборка...

— Значит, на станцию, за сорок верст? — не вытерпел снова Федор.

— Скажи ты на милость, какие все вы занозистые! Кто вам сказал, что на станцию? Говорю — разом всего не осилить, — говорил председатель. — Давайте не будем слишком вперед забегать; добро бы, хоть как раньше-то было наладить. Как ты на это смотришь, Ортемий Иваныч?

— Ежели в принципе — за! Инициативу, ее, Роман Василич, я всегда поддерживаю, — с готовностью подхватил счетовод. — Раз комсомол берется — пускай! С председателями соседними — правильно они предлагают — вам самолично переговорить следует. Прикинем тут по мелочи, приплатим мостовикам. А чтобы задору добавить, знаете, что я думаю? Там же, на мельнице, — артельный обед! Чего тут робеть-то?

Ободрённые поддержкой председателя, комсомольцы гурьбой высыпали на крылечко. Одно не совсем было понятным: чего это вдруг Артюха ужом извернулся? То «голым лозунгом не прошибешь», то «прикинем», «приплатим по мелочи». Всегда он такой — и нашим, и вашим, на этом и держится. Пока шли до площади, еще раз силы свои пересчитали: плотина — дело серьезное, а коли взялся за гуж...

— Ладно, пусть так пока, без ряжей, — говорил Владимир, имея в виду мост, — а на будущий год сразу же после разлива по-новому всё переделаем. И еще один желоб на водосливе — третий. Понимаешь, Федька, а от этого третьего колеса через шкив ременную передачу — на динамо-машину, как в Швейцарии... Чуешь? Нам бы на первое время школу да клуб осветить.

— И в коровник хоть одну лампочку, — вздохнула Нюшка.

— Обождешь, — возразил Владимир с таким видом, точно динамо-машина была уже установлена и его беспокоило только одно — как бы не перегрузить линию.

Нюшка обиделась, отошла в сторону: всегда вот так, что бы она ни сказала. И всегда при народе норовит ее срезать, а один на один молчит, до ворот не провел ни разу.

— Вычитал я в больнице в одном журнале, — донеслось между тем до слуха обиженной девушки, когда Володька дальше рассказывал про неведомую ей Швейцарию, — в этой самой державе на каждом, самом маленьком, хуторе — своя электростанция. В школах под партами обогреватели в полу вделаны: поставил на него ноги, вот они и оттаяли.

— У нас так не получится, — усомнился брат Нюшки, — по себе знаю: спать буду.

Рассмеялись все дружно, улыбнулась и Нюшка, а рассказчик не нашелся, что ответить.

«Подумаешь, вычитал он! — про себя высказалась Нюшка. — Да у нас лет через десять, может, и не то еще будет, сказывал Николай Иванович. А про эту самую Швейцарию и словом не обмолвился!»

— Ты чего это там шепчешь? — спросил ее вдруг Володька. — Думаешь, неправду сказал? Напишу вот доктору, мне этот журнал и пришлют.

Как-то уж так получилось, — глянула Нюшка на парня из-под черных, стрелчатых бровей, вскинула гнутые, как пчелиные лапки, мохнатые ресницы, и показалось Володьке, что говорит он совсем не то.

— Не веришь? — задал всё же вопрос, чтобы скрыть непонятное замешательство.

— Чему верить-то? — вопросом ответила Нюшка. — Ты мне и не сказал еще ничего. Про Швейцарию я и сама прочитаю.

Федька толкнул локтем Екимку, моргнул незаметно Никишке, прибавили парни шаг. Вот он и переулочек, свернуть бы в него, постоять за тыном у старой ветлы.

Только подумала Нюшка об этом, а из проулка Андрон: за передник тащит Улиту, а у той на плече мешок, туго набитый чем-то, а в другой руке — ножницы, какими овец стригут. Мешок, по всему видать, не слишком тяжел, местами соломинки из него пролезли.

— Куда это вы ее, дядя Андрон? — удивился Владимир.

Бородач сверкнул сердитым взглядом, не останавливаясь подтолкнул Улиту, изругался матерно.

— В правление, куда ее больше. На месте словил! Осталась Нюшка одна в переулке.

Не ждал Артюха беды, а она за углом притаилась, — насилу уговорил председателя не передавать дело Улиты судебным властям. Добро еще, Андрон не догадался прямо с поля заглянуть к ней в избенку: опять гнала самогон, потому и колосья стригла, что наказ счетовода к Ильину дню выполнить старалась.

Пока Андрон рассказывал председателю, как ему удалось на месте преступления захватить воровку, Артюха, улучив минутку, болезненно скрючился и,

снимая очки, из-под руки успел моргнуть Улите: не сдавайся, мол, говори, как я научил. Потом, прижимая живот, потихонечку вышел и через старостин запустелый сад, озираючись, пустился к огороду вдовы, гвоздем колупнул замчишко, кочергой из-под печки достал змеевик, квашню трехведерную, в которой барда последние часы доходила, у плетня в крапиву запрятал и тем же путем вернулся к своим бумажкам.

Улита сидела бледная, настороженная к каждому слову, и по тому, как сверкали временами ее глаза, как судорожно передергивались плотно поджатые губы, понял Артюха, что истинное назначение набитого колосьями мешка пока еще не открыто.

— Не пришлось бы в больницу слечь, — вслух пожаловался счетовод, усаживаясь на место и поочередно оглядывая собравшихся. — И кто бы подумать мог, что огурцы малосольные такую напасть причинить могут! Не дошли, верно, а потом, сдуру-то, молока парного стакана два выпил...

— Стало быть, опасаясь, что на трудовень ничего не будет? — спрашивал Роман у вдовы.

— Стало быть, так, — отвечала Улита, — потому — при теперешних ваших порядках половина деревни с котомками разбредется по осени.

— Неплохо придумано.

— Верьте вы ей! — выкрикнул с места Володька. — Кулацкая пропаганда! За это пять лет полагается? А может, снова аппаратом обзавелась?

— Именно! — подхватил Артюха, точно ждал этого слова. — Справедливые подозрения высказывает товарищ! Понятых и бригадира с ними — сейчас же форменный обыск. И тогда уж вы, гражданочка Селивестрова, не пятерочку, а полный «червонец» схлопочете!

На щеках Улиты, до того бескровных, пятна багровые выступили.

— Идите, — выдавила она через силу, — пойдете все вместе. И ты, Ортемий Иванович, иди. Протокол вместе подпишем, рядышком и на суде посидим. По тебе-то давно уж скамеечка эта тоскует.

От Улитиных ядовитых слов, от тяжелого взгляда Андрона у Артюхи мурашки по спине пробежали, ноги ватными сделались... Обнесло, однако: ничего не нашли при обыске, а Улита как в рот воды набрала;

установилась диким взглядом на пустое место, где квашня стояла, — единого слова от нее не добились.

— Завтра придешь на заседание правления, — уходя, обронил Роман. И тут неожиданным защитником Улиты оказался кузнец: высказал предложение, чтобы обсудить ее на общем собрании и чтобы работой себя оправдала.

Одна беда кличет другую: не успел отдышаться Артюха после этого дела, дернули черти приехать в колхоз Евстафия Гордеевича. Не раз говорил ему Артюха, когда бывал в городе: в Каменный Брод не показывайся, опознать могут!

Явился. Да и опять — как не поедешь, когда из обкома строжайшее предписание: проверить с научной точки зрения и доказать, что в Каменном Броде сознательно попирают агротехнику, живут по старинке, а виной всему этому учитель Крутиков. Сам он морально разложился, попал под влияние немарксистски настроенных элементов, сожительствовал с библиотекаршей, козыряет тем, что в него будто бы стреляли, выставляет свое личное «я» и на этой почве организует сопротивление новшествам науки.

Вместе с заведующим земельным отделом приехал товарищ из Уфы. Это сразу смекнул Артюха. И приметил еще, что рука левая у него в локте не гнется и перчатка на ней кожаная. Этот больше молчит. При нем Евстафий Гордеевич о подлинной цели своей командировки не говорил, а как с глазу на глаз со счетоводом остался, настрого предупредил, чтобы на квартиру их вместе устроили и никаких намеков на счет выпить и прочее. Если в доме молока не достать, тем лучше. Пусть видит уфимский, что колхоз — в чем душа держится, земля три года навоза не видела, где его взять.

Артюхе повторять не надо, — всё понял с полуслова. Специально провел приезжих по Озерной улице на квартиру к Петрухе Пенину и сам же наказал хозяйке самовара не ставить, а если спросят, так сказала бы, что нету его — самовара-то. Пусть подумают, каково жить стало, на то они и партийные начальники, чтобы всю подноготную видеть.

Изба у Петрухи ветхая, окна маленькие и не открываются, оттого в избе душно. Костлявая, хмурая

старуха, повязанная наглухо темным платком, затолкала на печь ребятишек и принялась устраивать постель ночлежникам. Долго вздыхала за пологом.

Евстафий Гордеевич тем временем снял пиджачок, уложил его аккуратненько на подоконник, поверх рубашку свернул. Сам Петруха на печь взгромоздился, сидел, свесив босые, искривленные в ступнях ноги.

— А клопы у вас водятся? — спросил Евстафий Гордеевич, подозрительно осматривая закопченные стены.

— Кло́пушка-то? Должон быть, а как же! — шамкал Петруха, силясь превозмочь зевоту. — Кло́пушка, он допреж хозяина в избу входит.

— Молчал бы — «хозяин»! — сурово перебила его старуха. — Сиди уж! — И, выйдя на середину избы, остановилась.

— Уж не своим ли признать хочешь? — попробовал усмехнуться Евстафий Гордеевич, видя, что старуха смотрит на него пристально. — Понапрасну не тужься.

— Тужиться мне нечего, — не меняя ворчливого тона, ответила бабка, — что верно, то верно: таких-то носатых в родстве не бывало. А только видела где-то...

— На базаре, где больше, — буркнул, отворачиваясь, Евстафий Гордеевич. — Иногда интереса ради прохаживаюсь по колхозным рядам.

Хозяйка не уходила. Склонив голову набок и скрестив под передником руки, она бесцеремонно разглядывала нежданного гостя.

— На базаре-то я и не помню в кои годы была, — не унималась старуха. — А только смотрю на тебя... Память не та, вот худо. Постой, постой! А случаем, с красными ты не воевал?

— Ты... Вот что, — нашелся наконец не в шутку перепуганный ночлежник, — шла бы ты, бабка, на свое место: штаны снимать буду.

— Надо же придумать такое, — говорил он минуту спустя своему соседу, — воевал ли я с красными? Ляпнет так человек, и готово — поминай как звали!

— А что вы хотите, — в тон ему отозвался невольный свидетель замешательства Евстафия Гордеевича, — сколько угодно!

— Но я документы имею!

— Нервы у вас, однако, пошаливают, — укладываваясь поверх лоскутного одеяла и позевывая, проговорил сосед Полтузина. — Она же не сказала, что вы воевали против красных. «С красными» — значит, на их стороне!

Евстафий Гордеевич почувствовал, что на лбу у него выступил холодный пот. Надо же быть такому! Вот уж действительно: пуганая ворона...

Клопы кусали отчаянно. Временами Евстафию Гордеевичу казалось, что весь он, с головы до ног, обложен крапивой, его бросало в жар, но он не шевельнул и пальцем: а вдруг этот не спит — неужели понял?.. Так прошла ночь.

Наутро бабка поставила на стол горшок с простоквашей. Хлеб нарезала от непечатого каравая. Делала всё молча и к разговору ночному не возвращалась.

Евстафий Гордеевич торопился уйти из этого дома. Ему страшно было взглянуть в лицо старухи, и потому он безотрывно следил за всеми ее движениями, сутулился еще больше. Вздохнул облегченно только на улице. И сразу же принялся торопливо закуривать. Скомкал, бросил пустую пачку в крапиву:

— Ну и ночь, будь она проклята. Это не клопы, а тигры бенгальские!

— Нервы, нервы у вас не в порядке, — флегматично отозвался уполномоченный из Уфы, провожая взглядом смятую пачку. — Меня не кусали.

На другую ночь оба приехавшие спали в помещении правления колхоза. Сторожиha охапку сена в угол бросила, прикрыла дерюжкой — куда как выпались!

Артюха пришел рано. Сидел, щелкал костяшками. Когда поливал на руки Евстафию Гордеевичу воду, мигнул ему незаметно и обронил, словно бы к слову пришлось, но так, чтобы и тот — другой — слышал:

— Не дотумкал я сразу-то: на сене куда вольготнее спать. Старуха там фортеля никакого не выбросила? Шарики у нее не в ту сторону забегают... Потеха! Приходит как-то ко мне — это когда еще в сельсовете работал. Ну, вошла, проморгалась, а потом — умора! — давай на портрет Карла Маркса креститься! А еще — встречает раз на улице учителя, а он до сих пор ведь шинели не сбрасывает, и помстилось ей сослепу-то, будто это урядник. Своими глазами, говорит, видела,

господин становой от батюшки со двора вышел. В деревне-то все это знают, так — живет позабытая богом...

На полях Евстафий Гордеевич не задерживался долго. Приехал на бричке, посмотрел, завернул в газетку горсть стебельков пшеницы, на которых колосок поменьше, — в низинке набрал. Гороху зеленого кляч выдернул, проса метелки четыре. Потом по списку, заранее составленному Артюхой, мужиков вызывать принялся, два дня из правления не показывался. Акт писать начал, утонул в табачном дыму.

Второй товарищ тоже времени зря не терял: видели его и на вырубках, где Андрон новый клин под озимый сев готовил, за Ермиловым хутором, где вместо прсса по плану земельного отдела выше пояса овес стоял. Побыл он на скотном дворе, покурил с дедами на бревнах, с комсомольцами словом перекинулся, — те как раз на плотине работали. Даже к попу во двор заходил и долго там пробыл.

Все эти дни председатель Роман Васильевич словно на углях сидел, но его не торопился вызывать Евстафий Гордеевич. И книги бухгалтерские не копнул, записал недоимки по итогам, и всё. Зато тот, из Уфы, часа три про настроение в народе выпытывал, и о том, как думает председатель искоренить обезличку, как пресечь уравниловку, управится ли колхоз с заготовками до распутицы и предпринимает ли что-нибудь в этом направлении партийная организация.

Роман, не таясь, все свои беды высказал: организатор из него далеко не завидный, грамоте учен мало, характер уступчивый. Если бы не учитель, не удержаться ему на председательском стуле. И вот еще жалость какая — нету учителя сейчас на месте: у сына здоровьишко незавидное, вот и поехал в Уфу к специалисту. Не придется товарищам побеседовать с Николаем Ивановичем, а надо бы. По всем вопросам полную ясность имели бы.

— А когда он вернется?

— Пятый день как уехал. Пора бы уж и приехать.

Во время этого разговора постучалась в председательское оконце с улицы синеглазая высокая дивчина:

— Роман Василич, ну сказали бы счетоводу, чтобы он пропустил меня! Столом своим дверь в коридоре заставил, а мне рамку взять надо газетную! Не ка-

нючь, говорит, люди дело делают! А мое-то дело тоже ведь не забава!

Роман Васильевич покачал головой. Вышел за перегородку — верно: стол счетовода к самой двери придвинут, бумаги холстами по лавкам разложены. В углу, отгородясь от света, Евстафий Гордеевич пером скрипит, сычом нахохлился.

Нюшка вошла, от порога впилась глазами в сутулую спину уполномоченного, рамку со стенки дернула, а сама на нее не смотрит. Оборвалась веревочка на гвозде — рамка плашмя на скамейку, брызги стеклянные в стороны разлетелись. Евстафий Гордеевич вздрогнул, локтем столкнул со стола раскрытую папиросную пачку. Сухая, обтянутая коричневой кожей, бритая его голова рывком повернулась вправо.

Никогда не видал Роман Васильевич такого испуга в глазах человека. И Нюшка попятилась, прижимая рамку к груди.

— В третий раз говорю вам, товарищ Полтузин: нервы!

Это сказал за спиною Романа Васильевича Жудра. Он стоял, придерживаясь рукою за тонкую переборку. Потом подошел к столу, за которым сидел Полтузин, пригнулся, подобрал рассыпанные папиросы. На пачке был нарисован казачий весельный струг, на носу — атаман: Стенька Разин. Отвернулся, правой рукой похлопал себя по карманам защитного френча, отыскивая спички, закурил и сам. Постоял еще, задумчиво глядя в окно, не торопясь обратился к Роману:

— Продолжим нашу беседу, товарищ председатель.

А Нюшка бежала по улице. Торопилась сказать Улите всего одно слово: он!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Николай Иванович приехал со станции к вечеру. За деревней попался ему навстречу Аким Мартынов, от него узнал учитель, что в колхозе четвертый день находится Жудра и с ним специалист земельного отдела.

За последнее время постарел Мартынов, под глазами у него залегли синие плотные тени, и голос не тот, бьет человека кашель.

— Замотался вконец, ребяташек в неделю раз вижу, — жаловался Аким. — Трижды распроклятая бумага всё захлестнула. Приедешь вот, а на столе ворох входящих. И на каждой «строго секретно», «сообщить принятые меры». В конторе рядом с честными, преданными специалистами сидят склочники, карьеристы, люди с сомнительным прошлым. И у каждого где-то «рука», ты понимаешь? При раскулачивании мы обрушились на деревню, а сколько злостных врагов — взяточников, подхалимов и кляузников — окопалось по городам в управлениях? И самое страшное, что многие из них козыряют партийным билетом. Вот я о чем думаю, Николай...

Постояли молча, каждый думал о своем, перебрались незначительными фразами о том, что обоим было хорошо известно, — о погоде, нехватке машин в колхозах. И как-то уж так получилось — сказал Николай Иванович Аким о том, что скоро его вызовут на бюро.

— На бюро? За какие провинности?

— За моральное разложение и связь с попом.

— Шутишь? — Аким сделал большие глаза. — О том, что письмо ты написал в Цека, знаю. А это уж что-то слишком...

— «В комплексе», как выразился известный тебе инструктор. И сослался на личное указание «товарища» Иващенко. Вот так-то, Аким.

— А ты — что? Был в райкоме и не мог сразу же всё выяснить?

Учитель нахмурился.

— У любовника своей бывшей жены? — спросил он. — За кого ты меня принимаешь?

Аким посмотрел на Николая Ивановича, закурил новую папиросу.

— Подожди, подожди, — начал он, собираясь с мыслями. — Ты это серьезно? Мне, между прочим, и раньше почему-то казалось, что твои отношения с теперешним секретарем райкома были не совсем нормальными. Ты ведь и раньше подозревал?

— Уверен был в этом, — признался Николай Иванович. — Знал с того проклятого девятнадцатого года. Уверен и в том, что делами этого проходимца заинтересуются со временем соответствующие органы.

— Есть доказательства? — Мартынов понизил го-

лос. — В таком случае как же ты — коммунист — можешь держать про себя такое?

— Ждал возвращения жены, — не сразу ответил Николай Иванович. — Думал спросить ее кое о чем в присутствии дочери.

— Так она же вернулась! Приезжала к тебе!

— Опоздала. На четыре дня опоздала. А потом сам я не смог с ней разговаривать.

— Понимаю, всё понимаю. Что же теперь?

— Были надежды на Жудру. Но и он не успел с нею поговорить. Тот, кто боялся этого разговора, опередил. Так, говоришь, Жудра в Каменном Броде? С кем же приехал он?

— Я же сказал: с начальником земельного отдела. С Полтузиным, — машинально ответил Мартынов. — Не знаешь такого чиновника? С неких пор с легкой руки Скуратова в главных специалистах ходит. Торопись выручать Романа Васильевича: заест его без тебя этот законник. Вот только зачем сюда Жудра приехал в компании Полтузина, ума пока не приложу.

В том же лесу еще раз пришлось остановиться Николаю Ивановичу, после того как он распрощался с Акимом, — на повороте окружили подводу чубатые, загорелые парни. Уставшие, но довольные, в полинялых рубашках, шли они плотной ватажкой, перебрасываясь шутками. Это были комсомольцы из Константиновки, многих из них Николай Иванович знал в лицо.

— Сворачивайте теперь направо, — посоветовали они учителю, — ваши там настил через шлюз набирают.

Через час, не больше, был Николай Иванович у мельницы, но никого из комсомольцев села на плотине уже не застал, нагнал их у самого озера и первое, что услышал, — про неприглядный поступок Улиты.

«Час от часу не легче», — про себя подумал учитель. Дома умылся с дороги, пыль обмахнул с пиджака — Владимир в дверях. Этот рассказал обо всем подробно.

После такого неприятного сообщения полагалось подумать. Тут и вошли к учителю оба приезжих. Жудра — высокий, подтянутый — с порога еще взглядом дал понять Николаю Ивановичу, что мы, мол, с тобой

незнакомы. Поступай как надо. Тот, что поменьше, горбатенький, бритоголовый, на Володьку уставился. Николай Иванович догадался: при постороннем не хочет товарищ начинать щепетильного разговора.

Поздоровались, сели. Начальник земельного отдела блокнот из кармана выложил.

— Слушаю вас, — проговорил Николай Иванович.

— Нам бы хотелось сугубо конфиденциально, — начал бритоголовый. — В соответствии с планом контроля и помощи низовым организациям проводим некоторое уточнение по поступившим сигналам.

— Может быть, вы проинформируете меня, как секретаря партийной ячейки, что это были за «сигналы»?

— Видите ли, мы еще не обменялись мнениями. — Полтузин кивнул в сторону Жудры. — Товарищ доложит свои соображения руководству...

— После того как персональное дело коммуниста Крутикова будет разобрано на бюро райкома? Или до этого? Давайте не будем юлить! Вы что, за мальчишку меня принимаете?

Николай Иванович, пригнув лобастую голову, глянул поверх очков на Евстафия Гордеевича, подождал немного.

— Володя, ты всё-таки вышел бы, потом мы с тобой потолкуем.

Владимир поднялся, нехотя снял фуражку с гвоздя у притолки.

О чем расспрашивали уполномоченные Николая Ивановича, о каком персональном деле говорил он сам, Владимир Дымов не знал; слышал на днях от Федьки, что весной еще крепко повздорил учитель со счетоводом на заседании правления, назвал кого-то из районных властей головотяпами и что после этого раза два вызывали Николая Ивановича в Бельск.

От школы уходить не хотелось, а те всё сидят, огонь зажгли в комнате. Мохнатые теплые сумерки напоззли от Метелихи, потонула деревня в тумане. Где-то у озера гоготнул встревоженный гусь, протарахтела у околицы запоздалая телега. Тишина разлилась вокруг, теплынь зыбкая, а поверху — звезды: крупные, с зеленоватым отблеском. Молчат, перемигиваются.

За учителя был спокоен Владимир Дымов. Мало ли чего наплетут пакостные людишки, — правда-то, она на виду. Ну, обругал Козла, — подумаешь, персона; головотяпом кого-то назвал, — сто́ит того. Овцой-то быть тоже не велика заслуга.

Кто-то идет по переулку, в темноте не вдруг опознаешь. Один — широченный, не спеша надвигается, рядом второй — этот в два раза тоньше. Голос Нюшки — захлеб:

— И туда, и сюда — всё обегала: нету! Узнала потом у конюха — на Попову елань в леспромхоз за углем вчера еще отрядил обоих Артюха. Доверенность на Карпа Данилыча выправлена, а Улита — ездовым... Он это, дядя Андрон, с места мне не сойти!

— Не трещи! Экие вы, иначе... Проверить надо. На человека наклепать просто. Скажем вот Николаю Ивановичу, обмозгуем...

— К Николаю Ивановичу погодите ломиться, — подал свой голос из темноты Владимир. — Эти у него, из города. Вот и меня за дверь выставили.

— Володька? — Андрон тиснул Володькину руку, опустился рядом на бревно. — Ну вот и посумерничаем по-соседски. А ты, пигалица, брысь. Может, оно и вправду тот самый, так ты тут без надобности. Надо, штобы не догадался. Понятно? Если в городе он живет — никуда не денется. Ну, иди, иди...

Когда Нюшка ушла, Андрон долго молчал, отдувался шумно.

— Написали, иначе, бумагу, — начал он. — Такое, брат, наворотили, — ахнешь! Я говорю, на правленье надо зачесть и от ячейки штобы все были, — куда там! Это, говорит, внеплановая ревизия, на особом положении. Обсуждать, говорит, потом будете.

— Это ты о чем, дядя Андрон? — не сразу понял Дымов.

— Да про акт. Горбатый-то этот двое суток строчил.

— Ну и что?

— Как это — што? Подписать заставили... Не подчиняемся указаниям, самовольно планы земельного отдела нарушаем, и другое разное.

— И ты подписал?!

— Што я — себе недруг, што ли?

— А председатель?

Андрон ничего не ответил.

— Ну и что же теперь? — в тревоге уже спросил Владимир.

— А ничего... Цыплят-то по осени считают.

— А не думаешь ты, дядя Андрон, что всё это неспроста? Николай Иванович, пока я там сидел, про письмо какое-то говорил, вроде бы он напрямик в Кремль обо всем прописал. Вот теперь и копаются.

— Знаю. А этак-то оно и лучше.

Опять Нюшка из проулка вынырнула:

— Не ушли еще? Артюха всн лошадей к правленью подогнал; парой заложены...

— Пускай себе едут, — отмахнулся Андрон. — И до чего же ты, Нюшка, прилипчивая! Сказано, без тебя обойдется. Отвел бы ты ее, парень, домой, сделай доброе дело.

И безо всякой задней мысли бородач подтолкнул локтем Володьку:

— Я уж один тут дождусь, когда Николай-то Иванович проводит гостей. И верно, ступайте-ка оба...

* * *

По лесной безлюдной дороге, мягко покачиваясь на ухабах, катился рессорный тарантас, запряженный парой сытых лошадей. До рассвета еще далеко: золотая гнутая ручка большого алмазного ковша только-только начала опускаться книзу. На десятки, на многие сотни верст разлилась вокруг дремотная тишина. На обочинах спят придорожные кусты, привалившись один к другому; спят великаны сосны и замшелые ели, упираясь вершинами в теплый бархат звездного неба; спят лесные поляны, накрывшись ватными пеленами тумана; спят озера, подернутые невесомой молочной дымкой. Спит и сама дорога, укачивает седоков под неторопкий и мерный цокот копыт. На облучке недвижной копной возвышается плечистая фигура возницы. Он изредка шевелит вожжами, прокашливается густо, добродушно ворчит на пристяжную:

— Но, но — балуй!..

В кузовке тарантаса за широкой спиной возницы сидят еще двое — Григорий Жудра и начальник земельного отдела Евстафий Гордеевич Полтузин.

Полтузин, похоже, дремлет: уткнулся подбородком в поднятый ворот плаща, и голова его безвольно мотается на ухабах, руки засунуты в рукава, сложены вместе. Пожалуй, оно и верно, — спит Полтузин, без привычки-то трудно выдержать неделю на колесах. Это хорошо, если спит, — значит, ни о чем не догадывается. Хорошо, что руки засунуты в рукава.

Жудра сидит правее Полтузина. Ему и вздремнуть нельзя. Он знает, с кем едет, знает и то, что Полтузин вооружён. Всё знает Жудра про соседа слева: еще до отъезда из Уфы побывали в руках у чекиста изобличающие Полтузина документы, найденные в архивах: послужной список земского агронома Полтузина и несколько поблекших от времени фотографий. На одной из них Евстафий Гордеевич запечатлен в мундире белогвардейского офицера. При орденах.

Можно было и не рисковать Жудре. Позвонить бы в Бельск Прохорову, сказать ему всего-навсего одно слово, и колчаковца немедленно бы арестовали. Но Жудра не сделал этого: опыт чекистской работы подсказывал ему, что это пока преждевременно. Враг осторожен, и конечно же, у него есть сообщники. Надо выявить агентуру, и лучшим помощником в этом опасном деле может стать сам Полтузин. Вот и повез его Жудра в самые отдаленные колхозы, поближе к имению Ландсберга — в Константиновку и в Каменный Брод, где Жудру никто не знал, исключая учителя Крутикова и теперешнего директора МТС Мартынова, а у Евстафия Гордеевича должны были быть единомышленники по девятнадцатому году. Для Жудры многого и не требовалось: один-два перехваченных взгляда, многозначительное покашливание при «случайной» встрече или неприметный жест в разговоре с каким-нибудь канцелярским деятелем, вроде счетовода из «Колоса».

Этот, однако, перестарался! Как он ловко под учителя «базу подвел», что тот со двора от батюшки вышел. И будто бы об этом ему говорила придурковатая, позабытая богом старуха. Хитер, ничего не скажешь. А Евстафий Гордеевич при этом одобрительно хмыкнул.

По таким же вот недомолвкам приметил Жудра и еще одного агента Полтузина — хозяина заезжего дво-

ра в Константиновке. Узнал потом через Мартынова: конюхом был у Ландсберга. Всё понятно.

До света еще не близко. Тарантас всё дальше и дальше катится по лесной дороге. Возница изредка хлопнет ременной вожжей по гладкому крупу пристяжной:

— Побалуй, побалуй еще у меня!..

И снова вокруг безмятежная тишь, перемигиваются сверху зеленоватые звезды. Голова Полтузина всё ниже и ниже утыкается подбородком в грудь, обе руки по-прежнему засунуты в рукава плаща. Спит. Хорошо, если и в Бельске всё чисто сработает Прохоров. У того на эту неделю был тоже составлен довольно примечательный план — прощупать совсем неприметного старикашку, банковского бухгалтера-контролера. И его родственника, инженера Вахромеева, сотрудника жены учителя Крутикова.

С давних пор бывшего казначея земского банка мучает ничем не одолимая бессонница, изводит его по ночам. Все средства старик перепробовал, порошков проглотил уйму, комнату свою сплошь пузырьками заставил, — не помогает. И вот нашелся добрый человек в больнице: посоветовал принимать люминал или настойку опия. Средство это без рецепта на руки не давали, но были бы деньги, с деньгами всё можно сделать. Деньги у старикашки были (было и золотишко припрятанное!), и провизор Бржезовский стал отпускать ему по несколько капель на неделю.

Ожил старик, повеселел, не знал, чем и отблагодарить своего избавителя от проклятой хворобы. А жил он со своей старухой да с дочерьми незамужними на окраине города в собственном полукаменном доме, — сам на втором этаже, а низ сдавал квартирантам. И еще жил с ними племянник, лесной инженер.

Племяннику лет за сорок, — видный мужчина, образованный. Но до сих пор не женат. И по службе нет ему продвижения. Зол, страшно зол был племянник на советскую власть. И друзья у него такие же были, особенно этот агроном из земельного отдела, который через племянника уже давно задолжал бухгалтеру крупную сумму денег и всё не отдает. Старик и сам недолюбливал родственника: держал бы тот язык за зубами, а еще лучше — перестал бы якшаться с Пол-

тузиным. Языком ничего не поделаешь, а в тюрьму запросто угодишь. Женился бы да и жил, как люди.

Племянник, похоже, послушался, — Полтузина не было в доме бухгалтера больше года, а в начале весны, когда яблони в саду распустились и вся семья собралась пить чай на веранде, племянник спустился сверху вдвоем с высокой, красивой женщиной. Представил ее как свою сотрудницу.

«Вот и добренько, вот и слава богу», — подумал тогда старик.

Всё шло хорошо. Но вот стал замечать бухгалтер: высыхают у него запретные капли. Аптекарь добавил немного, — опять не хватает. И пузырек в темном месте стоит, пробка притертая. Сохнут, и всё. И вдруг в середине лета старшая дочь принесла откуда-то неприятное известие: в каюте парохода «Чистополь» отравилась та самая работница из конторы лесничества, которая заходила к ним в дом с племянником.

«Злодейка любовь, что́ она делает! — закатывала глаза старая дева. А старику стало отчего-то не по себе. Ведь и племянник уехал в Уфу. Ладно, что раньше на двое суток. В народе-то черт-те чего наплетут, если бы вместе уехали.

Обо всем этом Прохоров узнал намного позже от самого бухгалтера. А начал он с аптекаря Бржезовского. Вызвал его в тот же день, как вернулся из Уфы, и спросил, глядя в упор:

— За грибками не собираетесь?

— Рано еще, товарищ начальник, какие теперь грибы? — пожал тот плечами.

— Как это «рано»? А бирке номер фиер? У Ландсберга! Ну? Когда клад-то выкапывать будем?

— А вы... вы уже знаете, да? — пролепетал ошарашенный провизор.

— Я всё знаю. И место, и сколько зарыто. И компаньона вашего могу назвать. Гришин его фамилия.

— Бог мой... Я давно собирался к вам. Но — сами знаете — страшно. Поверьте моему слову. Теперь всё расскажу чистосердечно.

— Вот вам бумага, вот карандаш. Садитесь и пишите. Подробно и обо всем. Врать не советую. Я ведь всё знаю.

Обливаясь холодным потом и мысленно распростив-

шись уже с белым светом, аптекарь с час просидел над листом бумаги, прежде чем смог написать первую строчку.

Прохоров взял от него написанное, прочитал начало, скомкал и бросил в корзинку:

— Я вам сказал: «Врать не советую!» Было это сказано или нет?

— Так, было. Обязательно было.

— А вы что написали?.. «Как-то зимой позапрошлого года...»

— Так, так оно было, — прижимая руки к груди, простонал Бржезовский. — Как перед господом богом!

— За что вы отравили Крутикову?

— Я?! Мадам Крутикову?!

— Вы и ваши сообщники. Вы знаете, что она умерла?

— Нет, нет... Боже мой! Этого быть не может!

Тогда Прохоров выдвинул верхний ящик стола, вынул оттуда и поставил перед провизором пустой пузырек с аптечной наклейкой:

— Здесь был яд.

— Рубите меня на части, но этого я не делал.

— А надпись на этикетке?

Бржезовского снова бросило в жар. Он задыхался.

— Да, надпись моя. Но неужели вы думаете, товарищ начальник, что я выдал бы кому-нибудь такое количество яда, которое способно убить человека, и оставил бы этикетку?

— Но пузырек-то ваш, черт побери? — не сдержался Прохоров. — Ваш или нет, я спрашиваю?

— Пузырек из нашей аптеки!

— Значит, и содержимое его было ваше.

Провизор молчал. Он теперь не пытался даже вытирать крупные капли пота, выступившие на висках и залысинах. Но в глазах его не было страха и обреченности преступника, — было недоумение, и только.

— Нет, я не делал этого, — проговорил он сдавленным шепотом. — Мадам Крутикова мне ни в чем не могла помешать. Не мешала она и ему... Нет, не мешала.

Прохоров подался вперед вместе со стулом:

— Кому?

И провизор назвал фамилию банковского бухгалтера-контролера.

Потом они разговаривали уже вполголоса, и всё становилось на свои места. От провизора Прохоров узнал и о неженатом племяннике бывшего казначея, о том, где он служит, о том, что казначей намекал как-то на ожидаемую свадьбу племянника, жаловался на старого должника. А должником этим был Полтузин.

— И много он должен? — спросил мимоходом Прохоров.

— Старик говорил, больше тысячи. Расписку имеет.

Провизор долго сидел потупясь, потом пересилил себя:

— Теперь отправляйте меня в тюрьму, товарищ начальник, я всё рассказал.

— Ступайте домой, — распорядился Прохоров, поднимаясь со стула. — Я от вас не требую ни подписки, ни письменных показаний. Ни слова о том, что было здесь!

Провизор ушел, а Прохоров долго еще ломал себе голову над нерешенным вопросом. Буфетчица с «Чистополя» дала показания, что мужчина, покупавший вино, был не первой молодости, одет со вкусом, лицо сухощавое, злое. Кажется, зуб золотой вверху. Может, это и есть племянник бывшего казначея?

«Полтузин... А он-то чего хотел от старикашки? — размышлял далее Прохоров, припоминая осеннюю встречу в буфете на пристани. — Пьет с племянником и в долг берет кругленькую сумму, а возвращать не торопится. Похоже на то, что старик с деньгами».

На второй день с утра Прохоров был в конторе лесничества. Там уже сидел прокурор. Инженер еще не вернулся, его ожидали дней через пять.

— Может быть, отозвать? — предложил прокурор при посторонних.

— Не вижу в этом особой необходимости, — не вдруг отозвался Прохоров. — Человек выполняет служебное поручение, зачем отрывать от дела. Да и о чем вы будете его спрашивать? Она ведь была морфинисткой, вы знаете это? Конец таким предрешен.

А сам будто машинально перелистывал послужной

список инженера-лесовода, которого и сам хотел увидеть как можно скорее. Ага, вот его фотография: лицо с туго обтянутыми скулами, тонкие губы плотно сжаты, подбородок выдается вперед.

Прохорову стало немного жарко. Вот бы буфетчице показать этот снимок! Но он ничем не выдал охватившего его волнения.

— Что вы нам посоветуете? — снова спросил прокурор.

— Вы — прокурор, не мне вас учить, — не в шутку уже рассердился Прохоров. — Я же сказал: морфи-нист-ка! — А сам подумал: «Кули бы тебе на баржи таскать!»

А потом он был в сберегательной кассе, по карточкам вкладчиков искал фамилию банковского бухгалтера. Таковой не оказалось. Покопался в пропыленных папках уже закрытого в городе магазина «Торгсин». Тут нашел. Несколько раз в накладных этого магазина попадалась фамилия бывшего казначея. И всегда он сдавал николаевские золотые червонцы. Забирал рулоны дорогого сукна, меховые шубы, ящиками вино и дефицитные продукты.

Когда в Бельск приехал Жудра, Прохоров обо всем ему доложил.

— Вы на верном пути, — похвалил его Жудра. — И я вот для вас привез кое-что интересное. — И достал из портфеля штук десять фотографий Полтузина.

И опять стало жарко Прохорову. Молча глянул он в суровое лицо Жудры, взглядом спрашивая: «Когда его взять? Сегодня, сейчас?»

— Повременим, — понял по взгляду Жудра. — Неделя-другая роли теперь для нас не играют. Я думаю взять его в сопровождающие. Свезу подлеца в Каменный Брод.

— Догадается.

— Посмотрим, чьи нервы крепче.

— Но ведь риск-то какой, Григорий Матвеевич!

— Волков бояться — в лес не ходить! — шутливо ответил Жудра. — Говоришь, у банковского хрыча есть расписка Полтузина?

— Через вторые руки.

— Добывай из первых. Давай вместе подумаем.

И придумали. Когда Жудра с Полтузиным был уже

в Каменном Броде, Прохоров позвонил в конце рабочего дня в контору госбанка и попросил управляющего прислать к нему на часок-другой опытного бухгалтера.

— Вам срочно? — спросил управляющий. — Может быть, завтра?

— Да нет, лучше бы уж сегодня.

— Собрание у нас профсоюзное, долго задержимся.

— Это даже и лучше. Так я очень прошу — самого опытного! На кого пропуск выписать?

Прохоров не ошибся: управляющий назвал фамилию бухгалтера-контролера, — лучшего специалиста не сыщешь. Собрание и впрямь затянулось, бухгалтер поскребся в дверь к Прохорову, когда на город уже опускались сумерки. Это был благообразного вида старичок с бородкой клинышком, в полотняной толстовке, в соломенной шляпе и со старомодной тростью-зонтом, несмотря на душный августовский вечер.

— Вы уж извините, пожалуйста, — начал Прохоров, после того как старичок представился, — придется еще обождать самую малость.

— Я весь к вашим услугам, — почтительно поклонился старик. — На работу кого-нибудь принимаете? Я так и понял нашего управляющего. А велик ли окладац?

Прохоров, не задумываясь, назвал трехзначную сумму, намного превышавшую его собственный заработок. Глаза старика загорелись. Он поперхнулся даже, почесал смущенно бородку. Помялся немного, потом спросил:

— Надо думать, партийного товарища подбираете?

— Необязательно. К нашим делам он ведь не будет иметь никакого отношения. А «кредит» и «дебет», они везде означают одно и то же.

— И еще «сальдо»! — Старичок назидательно поднял вверх указательный палец. — Преехидная вещь, скажу вам!

— Особенно кредиторское и в годовом счете, — подхватил, улыбаясь, Прохоров, чем привел старика в полнейший восторг.

За разговором незаметно пролетело полчаса, еще столько же. За окном совсем потемнело. За это время Прохоров узнал от бухгалтера, что живет он скудно, за дом и сад налоги платить приходится, на базаре всё

дорого, а в семье он — «единственная тягловая сила». На четырех человек шестьдесят-то рублей не густо.

— А племянник? Он же приличную ставку получает?

— Самому не хватает, — старик безнадежно махнул рукой, — вино да девочки...

— Женить его надо, — посоветовал Прохоров. — Женить, пока совсем с кругу не спился.

Старик ничего не ответил. Прохоров посмотрел на часы.

— Заболтались мы с вами, однако, — проговорил он затем, разминая плечи, — а дело-то ведь не ждет. Вот что, дорогой папаша, вашему управляющему я сказал немножко не то, ради чего нужно мне было встретиться с вами.

Старичок моментально преобразился, свернулся ежом, и даже маслянистые глазки его стали колючими.

— Вы не пугайтесь, — поспешил успокоить его Прохоров. — Нам хорошо известно, как дорожат вами в банке, вы на отличном счету; нет ничего предосудительного и в вашей биографии. И, пожалуй, я взял бы вас на вакантную должность бухгалтера, если бы не одно «но».

— А что это за «но»? — взглянув исподлобья, спросил старик.

— Видите ли, ходят по городу слухи, будто у вас имеется золото.

Это был «ход конем».

— Валюта или в изделиях? — ехидно осведомился бухгалтер. — Может быть, в слитках? Чем время терять, взяли бы да и проверили.

Прохоров понял, что вопрос о золоте не застал старикашку врасплох, и решил вернуться к нему несколько позже. Прежде всего надо узнать, давал ли бухгалтер деньги Полтузину, и получить его расписку.

— За проверкой дело не станет, — спокойно говорил Прохоров. — Да ведь я не зря сказал, что, прежде чем вызвать вас сюда, мы хорошенько всё разузнали: что вы за человек, как на работе себя зарекомендовали. Ведь что могло получиться — вот нагрянули мы к вам с обыском среди бела дня и ничего не нашли. Сели да и уехали. А вам каково? Что соседи поду-

мают, как на работе у вас к этому отнесутся? Зачем же позорить нам честного человека?

— А вы верьте больше кляузникам! — всё еще топорщился старикашка.

— Ну а в долг-то Полтузину давали?

— Так не золотом же! — огрызнулся старик. И схватился за горло.

— Расписка при вас? — помолчав, спросил Прохоров.

Старик еще больше ужался, дышал сипло. И вдруг грохнулся на колени.

— Что хотите делайте, облыжно про золото сказано! — взмолился он. — Да откуда и быть ему? Не купцом ведь я был, не заводчиком. Домишко еще до германской войны поставил, как говорится — с черного хлеба на квас перебивался. А злыдни-то зарятся, пьют глазищи анафемские на чужое добро.

Прохоров вышел из-за стола, усадил старика на прежнее место.

— Вы напрасно волнуетесь, — говорил он ему, успокаивая. — Ну, нет у вас золота, и не надо. Я ведь не требую: вынь да положь. И нет у меня оснований вам не верить. А расписочка Полтузина мне нужна. Мы сделаем вот что. Сейчас уже ночь, на улице нас не узнают. Давайте пройдем до вашего дома вместе. Там вы ее мне и покажете.

Всю дорогу старик хлюпал носом, хватался за руку Прохорова, поносил на чем свет стоит завистников. У калитки на них набросился свирепый кобель, громыхая цепью взвился вровень с забором, хрипел, давясь яростью. Старик еле-еле оттащил его прочь, на крылечке стал обмахиваться платком, — упарился с таким лохматым дьяволом. В сенях горел свет, и дверь оказалась незапертой изнутри.

— Кто там в сенях-то топчется? — из-за двери еще заворчал хозяин на кого-то из своих домашних. — Чего лампочка у ворот не включена? Оштрафуют вот, кто платить будет? Зарабатывать-то вас никого нету...

И опять осекся на половине слова, навалился спиной на Прохорова: за дверью, перед лестницей на второй этаж, стоял человек в зеленой фуражке. У плеча его тускло поблескивал штык.

Еще более страшную картину старик увидел, поднявшись наверх. За круглым столом в маленьком зале, обставленном пузатыми купеческими комодами и с золоченой люстрой, сидели еще двое непрошенных гостей. Перед одним из них на бархатной скатерти стояла резная малахитовая шкатулка. И точно такой же пузырек, какой уже видел Прохоров в Уфе, в кабинете Жудры. Окаменевшие домочадцы бухгалтера — жена и две дочери — застыли истуканами у кафельной печи.

— Давайте откроем, — обратился Прохоров к хозяину шкатулки. — Может быть, и расписка здесь?

Он не ошибся. Теперь оставалось подождать возвращения инженера. Взяли его на пристани.

Лесовод Вахромеев на первом допросе закатил истерику. На втором промямлил, что ехал в Уфу на «Чистополе». Оpozдал на свой пароход. Но в буфет не ходил и никакого вина не покупал. На третьем сказал, что видел у Полтузина ученическую клеенчатую тетрадь.

* * *

В середине августа Николаю Ивановичу позвонили по телефону из Бельска, предупредили, чтобы ждал письменного вызова. Говорил сам Иващенко.

— Быть может, вам потребуется еще и моя подписка о невыезде? — не совсем вежливо спросил учитель.

Иващенко положил трубку.

«Теперь всё ясно», — подумал Николай Иванович.

Вызова не было еще дней десять. За это время поля вокруг Каменного Брода покрылись копнами сжатой ржи. Погода стояла безветренная, солнце пекло сильно, и вместе с рожью дозрели и яровые. Уборка и обмолот у колхозников — дел хоть отбавляй, председатель и бригадиры осунулись. А из Бельска — бумага за бумагой: срочно организуйте красные обозы с хлебом. Наконец Николаю Ивановичу принесли опечатанный сургучом конверт. «В субботу, ... августа, в 18.30 быть на заседании бюро. Бюро рассмотрит Вашу жалобу в ЦК ВКП(б)», — написано было на форменном типографском бланке со штампом райкома и скреплено замысловатой подписью.

— Посмотри, что делается, Николай Иванович, —

жаловался Андрон учителю накануне его отъезда в город. — Ну где это видано, чтобы прямо из-под серпа снопы пускать в барабан молотилки? В народе-то што говорят?! Не дошло зерно, половина его в колосе остается.

Когда подвода стояла уже у крылечка, на ступени поднялся кузнец. И у него лицо хмурое.

— Самое большее — переждать бы неделю, — в тон бригадир начал и он. — Неужели власти этого не понимают? Не срываем мы хлебосдачу, урожай, весь до зерна, убережь хотим! Уберем, не спеша обмолотим, не один — два обоза отправим!

Посоветовались втроем. Решили обмолот приостановить, всё имеющееся тягло перебросить на подвозку снопов к бригадным токам и гумнам, трактор, который стоял на приводе у молотилки, отправить за Ермилов хутор. Кузнец обещал изготовить сцеп на две конные жатки. Поле там ровное, и овес уродился добрый; если трактор с жатками пойдет хорошо, быстро можно управиться. На вязку снопов — комсомольцев поставить. Андрон в своей бригаде сам распорядится, а с председателем обо всем с глазу на глаз тот же Карп взялся переговорить так, чтобы Артюха не слышал. С тем и уехал учитель.

— Если подмога какая потребуется, дай знать: в ночь доскачем! — донеслось до слуха учителя.

Николай Иванович обернулся: бригадир и кузнец, оба кряжистые, бородатые, стояли у школы, Андрон помахал рукой.

Телега свернула в переулок, ленивое облако пыли долго висело в недвижимом вечернем воздухе. Надвигались сумерки, над озером обозначилась голубоватая полоска тумана, она обволакивала прибрежные ивы, и оттого начинало казаться, что деревья плавают в этом тумане.

Занятый невеселыми думами, Николай Иванович окинул взглядом заозерную болотистую низину. Вон там, у искривленной сосны, прикрытая охапкой валежника, лежала убитая дочь; левее, у Черных камней, расстрелян бандитами партизан Фрол — брат Карпа Даниловича. Об этой истории рассказал учителю Андрон, а потом и сама Улита, которую силком затащила к Николаю Ивановичу Нюшка. И кузнец, и Ули-

та в один голос заявили, что из тысячи сутулых недоносков безошибочно опознают того, кто им нужен, — тринадцать лет прошло, срок не так и велик.

Николай Иванович не верил этому, тем более что ни Карп, ни Улита начальника земельного отдела в лицо сами не видели. Да если б и видели — мало ли схожих людей? Ведь не может бандит руководить отделом райисполкома, выполнять специальное поручение районного комитета партии? Нет, быть этого не может!

Так рассуждал Николай Иванович, пытаясь мысленно докопаться до истинных причин, которыми руководствовался Иващенко, когда направлял в Каменный Брод Полтузина. Может быть, это Жудра заставил так сделать? Учитель чувствовал интуитивно, что дело, конечно, не только в разборе его письма в ЦК. Припомнился разговор с инструктором, его довольно прозрачные намеки на какие-то «сигналы». Хорошо, что вместе с начальником земельного отдела приезжал в Каменный Брод и Жудра. Жаль только, что не удалось переговорить с ним с глазу на глаз.

Но в этот раз Жудра вел себя очень странно: даже виду не подал, что знаком с Николаем Ивановичем, не задал ни единого вопроса и сам ничего не сказал. И всё-таки думалось Николаю Ивановичу, что Жудра не зря приезжал в колхоз. Затем, безо всякой связи с Жудрой и вызовом на бюро, припомнился суд над старостой, Артюха с кумачовым платком на лысине. Этот теперь никуда не уйдет; после того, что стало известно учителю от Улиты, предатель будет держать ответ.

«Вот тут уж действительно близорукость, — осуждающе подумал Николай Иванович про себя. — Столько лет вертится перед глазами этакая мразь, — и не понять его, не вывести на чистую воду!»

Теперь Николай Иванович был убежден, что Артюха до последнего дня имел связи с Филькой и со старостой, что на суде он боялся разоблачения. Может быть, и кража дневника его же рук дело? Значит, и гибель дочери...

И снова перед глазами Андрон, Улита и Карп. Для чего понадобилось Артюхе на два дня оторвать кузнеца от работы в самую горячую пору и послать за

углем черт знает куда? Не раньше, не позже, а именно в то самое время, когда в колхоз приезжал Полтузин? И не его ли видела Верочка на закладке МТС? Почему вместе с Карпом Даниловичем была отправлена Улита? Совпадение ли это? Простая ли это случайность?

В полувоенном костюме, скрипучих новеньких сапогах, ровно в половине седьмого вышел из своего кабинета напыщенный Иващенко. С некоторых пор к нему вернулась самоуверенность и особая начальственная походка. Про таких говорят, что они не идут, а «шествуют». Рядом семенил Евстафий Гордеевич, на ходу перелистывая подшитое дело. За столом президиума давно уже сидел незнакомый Крутикову человек, должно быть из аппарата обкома.

«А ведь этот Полтузин, пожалуй, и задаст тон разбирательству моего письма: „стойку“ делает!» — подумал Николай Иванович.

— Опаздываем, товарищи, — поглядывая на часы, сухо начал Иващенко, — не приучились мы еще ценить минуты. Смотрите: без двадцати пяти семь, а у нас не все еще в сборе. Для руководящего звена несолидно!

Говоря это, Иващенко краешком глаза посматривал в сторону работника обкома, как бы призывая его в свидетели, что уж где-где, а здесь хорошо понимают, что значит потерянная минута, и, конечно, опоздавшие будут посрамлены. Но товарищ из Уфы никак не реагировал на устремленные в его сторону взгляды.

— Приступайте к делу, — обронил он сухо, раскрывая блокнот.

На повестку дня выносилось два вопроса: организация хлебозаготовок и разбор персонального дела члена партии Крутикова.

Не спрашивая у членов бюро, согласны ли они с предлагаемой повесткой дня и будут ли какие изменения, Иващенко тут же переменял очередность в обсуждении вопросов, мотивируя это особыми соображениями. В зале еще не всё затихло, а он был уже у трибуны и, читая по бумажке, стал предъявлять Николаю Ивановичу обвинение за обвинением. Тут было всё: и непозволительная для коммуниста связь с каменнобродским священником, и укрывательство от следственных органов «антисоветской вылазки» Ан-

дрона с поломкой трактора, преднамеренное затягивание сроков весеннего сева, демонстративный отказ подчиняться предписаниям райкома в распределении посевных культур и клеветнические измышления на партийное руководство в целом.

— К вышеизложенному следует присовокупить, — продолжал Иващенко, — личную невыдержанность секретаря каменнобродской ячейки в обращении с работниками вышестоящих партийных инстанций — грубость и заносчивость. Предлагаю приступить к обсуждению. Слово имеет коммунист Полтузин!

На протяжении всей этой злопыхательской речи товарищ из вышестоящей партийной инстанции не поднимал головы, записывая что-то в блокнот, и даже ни разу не посмотрел в зал.

Механическим движением Николай Иванович снял очки, и сразу всё расплылось перед глазами, лица сидящих в президиуме потеряли свои очертания, стали блеклыми и какими-то студенистыми. А в ушах отчетливо слышалось Андроновское: «Если подмога какая потребуется, дай знать: в ночь доскачем!» Нужно было действовать.

Евстафий Гордеевич не успел еще разложить на трибуне свои бумаги, а Николай Иванович уже поднял руку и встал.

— Прошу внести в протокол мое заявление, — начал он с места. — Заседание бюро открыто с нарушением норм внутрипартийной демократии: во-первых — повестка дня не утверждена общим голосованием, стало быть, она и не принята. И, во-вторых, присутствующие не ознакомлены с текстом моего письма в Москву. Как же они будут его обсуждать? Не по вашей же голословной информации?

— Правильно! — слышалось из рядов.

Иващенко побагровел.

— Вам не давали слова! — крикнул он, обращаясь к Николаю Ивановичу.

— Это право коммуниста — не быть безучастным свидетелем, когда решается его судьба, — надев очки, сказал учитель. — Я вызван был на бюро для обсуждения моего письма в Цека. Так написано в официальном вызове, а здесь почему-то письмо мое оказалось последним в перечне предъявленных мне обвинений,

сфабрикованных из кляуз бывшего волостного писаря. Настаиваю на том, чтобы письмо было зачитано полностью, а потом уже члены бюро сами поймут, для какой надобности был командирован в Каменный Брод ваш приспешник Полтузин. Прошу внести в протокол и это мое добавление!

— Присоединяюсь к заявлению товарища Крутикова! — в полный голос сказал кто-то за спиной Николая Ивановича. — Что это за «особые» соображения? Чем вызвана эта непонятная поспешность?

Опускаясь на стул, Николай Иванович оглянулся, — на него обращены были взгляды большинства собравшихся. Только в том месте, где сидел до этого Полтузин, три или четыре человека сидели не поворачиваясь. В последнем ряду Николай Иванович заметил директора завода, с которым они вместе работали после гражданской войны. Он-то и высказал свое возмущение вслух. А левее его, у самой двери, сидел Жудра. Перед началом заседания его не было в зале.

— Я вижу, что некоторые товарищи проявляют подозрительную неустойчивость, — продолжал Иващенко. — Предупреждаю: вы на партийном бюро!

— Поосторожнее с «неустойчивостью», товарищ Иващенко! — посоветовал тот же голос. — И не запугивайте. Мы ведь не школьники.

— Вот видите сами теперь, в каких условиях приходится здесь работать! — изогнувшись в сторону представителя обкома и сдерживая себя, говорил Иващенко. — Видите?

— Ставьте на голосование, — хмуро ответил тот. — Пора бы уж, кажется, этот порядок знать!

Иващенко повиновался. Предложение Николая Ивановича одержало верх: повестка дня была принята в первоначальном порядке.

* * *

Два часа шло обсуждение первого вопроса, и Николай Иванович всё это время испытывал тягостное состояние раздвоенности. Как будто бы рядом с ним сидел второй Крутиков, дело которого будут разбирать после перерыва. Ему хотелось выступить, рассказать о настроениях народа, об особенностях нынешнего

лета и о том, что погоня за первыми обозами ничего, кроме огромных потерь зерна, не принесет. Он достал записную книжку, набросал на листке: «Прошу слова», потом скомкал бумажку и сунул ее в карман. В перерыве на лестнице встретил Мартынова.

— Молодец! Здóрово ты его осадил, — пожимая руку Николая Ивановича, говорил Аким. — Это по-нашему, по-кавалерийски, называется «вышибить из седла». Продолжай в том же духе.

В дальнем углу коридора, окруженный прилизанными сослуживцами, рассказывал что-то веселое Евстафий Гордеевич и рассыпался дребезжащим, скрипучим смешком. У окна дымил папиросой Жудра.

«Что с ним случилось? — недоумевал Николай Иванович. — Не поздоровался даже издали. Что это — равнодушие? В такой-то момент?!» А тот погасил недокурную папиросу, расплющив ее о поддон цветочного горшка, и, подойдя к перилам площадки, заглянул вниз. Там стояли два милиционера. Человек в черной поношенной кожанке разговаривал с ними вполголоса, — видимо, отдавал распоряжения. Это был Прохоров. Поодаль от них, у колонны, волнуясь, ожидала кого-то невысокая девушка в светлом плаще.

«Маргарита! Зачем она здесь?!» — задал себе вопрос Николай Иванович, и ему нестерпимо захотелось увидеть сейчас Андрона, Карпа, пусть даже Улиту, для того только, чтобы издали показать им Полтузину. А вдруг это и есть тот самый?

Из приемной раздался звонок, все направились к двери. Прохоров подошел к Жудре, молча подал ему что-то похожее на небольшую книгу, завернутую в газету.

— Товарищи, кто мне укажет Крутикова?

Это спрашивал милиционер, поднимаясь по лестнице. Николай Иванович остановился:

— Я Крутиков.

Милиционер протянул ему сложенную квадратиком записку.

«Я всё знаю, — прочел Николай Иванович. — Надеюсь на Ваше мужество. Буду здесь ждать до конца. Рита».

— Продолжим нашу работу, — начал Иващенко и постучал по графину. — Во время перерыва поступило

предложение: дать первое слово самому товарищу Крутикову.

— Не вижу в этом необходимости, — остановил председательствующего Жудра. Теперь он сидел в президиуме. — Вы уже объявили фамилию выступающего, пусть он и докладывает. К чему эти передергивания? — И принялся развертывать на столе переданный ему пакет.

Долго и путано Иващенко пытался объяснить, чем вызвана эта перестановка. Оказывается, во время перерыва к нему обратилось несколько членов бюро, возмущенных поведением Крутикова и его попыткой огульно обвинить руководство в предвзятом к нему отношении. Что командировка в колхоз заведующего земельным отделом не имела целью сбор каких-то порочащих коммуниста Крутикова данных, а была принята исключительно для того, чтобы помочь Жудре выяснить сложившуюся в колхозе обстановку, и потому еще, что сам же товарищ Жудра, прежде чем выехать в Каменный Брод, просил направить с ним вместе именно начальника земельного отдела — человека компетентного, хорошо разбирающегося в сельском хозяйстве; что товарищ Полтузин — экономист и агроном по специальности и лучше, чем кто-либо другой из работников районного центра, знает естественные условия, в которых находится колхоз, знает жителей деревни, и его многие колхозники знают.

— Положим, не так уж и многие. — Жудра взглянул на Иващенко, усмехнулся. Теперь у него под руками лежала толстая ученическая тетрадь в коричневой обложке. — Если хотите знать — за всё время нашего пребывания в деревне одна только старушка пыталась было признать в нем знакомого. Но мне тогда показалось, что неожиданная встреча эта не доставила вашему «специалисту» особого удовольствия. Не так ли, Евстафий Гордеевич?

Полтузин издал свистящий сдавленный звук, схватился за горло, как будто ему не хватало воздуха. И диким взглядом уставился на шелестевшие в пальцах Жудры страницы.

— Так на чем вы остановились? Простите, что перебил, — тем же тоном продолжал Жудра, обраца-

ясь снова к Иващенко. — Откровенно говоря, я прослушал. Чем вы мотивируете свои соображения?

— Так это же общепринятое правило, — попытался увильнуть Иващенко, — коль скоро мы разбираем персональное дело. Пусть товарищ Крутиков расскажет подробно о том, как он... что побудило его...

— Написать письмо в Цека? — перебил его представитель обкома.

— Ну да... и про письмо тоже. А потом мы прижмем его фактами.

— Ах вон даже как! Чтобы впредь кому-либо другому из рядовых членов партии неповадно было бы обращаться в Цека?

Иващенко окончательно растерялся, а Николай Иванович теперь только заметил, что за столиком левее трибуны сидит стенографистка. (При обсуждении первого вопроса ее не было.) Девушка прилежно записывала каждое слово, и это еще больше нервировало Иващенко. В зале слышались покашливания.

— Хорошо, представителям вышестоящего органа мы обязаны подчиниться, — сдался наконец Иващенко. — Если вы так настаиваете и если это не будет расцениваться как нарушение внутрипартийной демократии... как давление сверху...

— Вот именно, об этом как раз и говорили некоторые коммунисты в начале сегодняшнего заседания, — подхватил Жудра. — О том, что состояние внутрипартийной демократии в вашей организации оставляет желать много лучшего. И что нарушаете ее — вы!

— В таком случае я... — запальчиво начал Иващенко.

— Что «в таком случае»? — резко спросил его Жудра. — Где вы и в роли кого находитесь? Дайте слово Полтузину! Вы готовы, товарищ?.. Прошу! — И сделал нетерпеливый жест в сторону трибуны.

Евстафий Гордеевич вздрогнул, покосился на дверь, будто меряя до нее расстояние, втянул свою черепашую голову в плечи. Держась за сердце, тупо глядя перед собой, вышел к трибуне, шаркая непослушными ногами.

— Что это с ним стряслось? — повернувшись к Николаю Ивановичу, спросил Мартынов. Теперь они сидели рядом. — Только что анекдоты рассказывал!

— Товарищ просит час времени для обстоятельного доклада,—не глядя на Полтузина, объявил Иващенко.

Глотая окончания слов, заикаясь и кашляя, Полтузин говорил что-то о севообороте, о химическом анализе почв, о внедрении в недалеком будущем в колхозах района морозоустойчивых гибридов озимой пшеницы, о расширении посевных площадей клеверов и о необходимости всячески поощрять пчеловодов. При этом опять раз или два покосился на дверь, увидел, что возле нее сидит начальник милиции, и уткнулся в доклад. Он говорил явно не то, что было у него приготовлено, сбивался, возвращался к тому, что уже было сказано. Иващенко несколько раз нетерпеливо перебивал его: «Ближе к делу, товарищ Полтузин», но эти напоминания не помогли, «дело» разваливалось. В зале слышались разговоры, недоуменные восклицания.

На восемнадцатой минуте Жудра встал, остановил докладчика, постучав по столу корешком тетради.

— Хватит! Давайте сюда вашу писанину, — брезгливо сказал он Полтузину. — А теперь заодно расскажите уж членам бюро без бумажки о том, как штабс-капитан колчаковской армии, агроном бывшего Пермского земского управления Ползутин стал именоваться Полтузиным. Как в ваши руки попала вот эта тетрадь — дневник комсомолки Веры Крутиковой. Или вы предпочитаете дать свои показания в другом месте?

Евстафий Гордеевич окаменел, у Иващенко отвисла челюсть. В зале все замерли...

* * *

Давно уже стала замечать Кормилавна: пропадают со двора цыплята; то одного, то двух недосчитается. Да и не маленькие уж цыплята-то, ворона таких не унесет. Забор вокруг плотный, на улицу им не выскочить, в огород не пролезть. И сама курица беспокойная стала: перья у нее взъерошенные. День-деньской, бывало, копошится под навесом, возле амбара учит своих пiskuнов зернышко выискивать, а теперь от крыльца не отгонишь.

«Не хорь ли завелся?» — подумала Кормилавна и пожаловалась вечером Андрону.

— Нюх у меня не песий, — ответил тот, как всегда, хмуро.

— Посмотрел бы, может, нора где...

— Только мне и делов.

Кормилавна вздохнула, воды налила в самовар, в огород сходила, луку зеленого нарвала, огурцов; за квасом в погребок спустилась — окрошку на ужин сделать. Когда на крыльцо поднималась, Андрюшка за подол ухватился:

— Киса, баб, киса, — и ручонкой под клеть указывает.

Свой кот, мордатый увалень, лениво жмурился на завалинке, а внучонок настойчиво тянет бабку к амбару. Тут же и курица со своим семейством у приступок расположилась, а посередь двора два голенастых задиристых петушка на скакивают один на другого. Подпрыгнут, столкнутся в воздухе — и в стороны, снова шеи вытягивают, топорщатся. Один мохноногий, перья на зобу сизые, — красавец будет петух! А поодаль — молодочка: присела в траве, черной бусинкой глаза посматривает на бойцов, растопыренной лапкой нос себе чистит. Тоже славная будет курочка, ручная.

Кормилавна присела на ступеньку к Андрейке, выбрала самый лучший огурчик, обтерла его передником и только протянула было его внучонку, как изпод клетки вымахнул огненно-рыжий котище. Опомниться не успела старуха — молодку поминай как звали.

Всполошилась Кормилавна, схватила грабли — не достать ими кота. Забился тот под амбар в дальний угол, фырчит, глазищи зеленые.

На крылечке Андрон показался. Вдвоем дотянулись они до разбойника, а тот всё равно не бросает добычи. Придавил Андрон кота сапогом, любимицу Кормилавны из зубов у него вырвал, а кот шипит, извивается, вцепился когтями в штанину хозяина.

Поднял Андрон кота за грязный хвост, швырнул через забор в переулок:

— Вот те и хорь... Кот это был Денисов: весь в хозяина.

Обмыл Андрон руки, молча принялся за ужин. Кузнец Карп Данилыч по делу зашел: в Константиновку, в МТС, послать бы кого — у одной лобогрейки

зубья летят. Еще кое о чем поговорили, про учителя поинтересовался Андрон: «вернуться бы должен, как-то там у него. Тут и сторож школьный в окно постучался, поманил пальцем Карпа:

— Выдь-ка, Данилыч, дело сурьезное. Велено сглазу на глаз.

— Зови в избу, лучше уж я уйду. Нешто и этот в партейцах у вас записан? — хмыкнул Андрон, не поворачиваясь в сторону окна, за которым нетерпеливо переминался старик Парамоныч.

Кузнец понял, что хозяин обиделся, однако — мало ли что мог наказать Николай Иванович через сторожа — вышел. Парамоныч ждал у калитки.

— Подводу бы, говорит Николай Иваныч, до станции, — загоразживаясь рукой, шамкал беззубый старик. — Самолично меня вызывал к аппарату этому самому в правленье!

— И это ты при Андроне сказать побоялся? — рассмеялся кузнец.

— Как велено, так и делаю, — насупился дед. — А потом еще наказал: Артюху бы к телефону не подпускали. А как его не допустишь? Вот я и сидел почти часа два, пока он не запер свои бумаги. А как дверью хлопнул, я проволоки эти самые начисто ножом отчекрыжил. Судить, поди, будут, а?

— Постой, постой, — остановил старика Карп Данилыч. — А Роман-то где же был в это время?

— Должно, по бригадам уехал, а может быть — на току, где ему быть-то!

Слушал кузнец Парамоныча, а у самого перед глазами Артюха. Неспроста предупреждает Николай Иванович, — значит, что-то случилось такое, о чем счетоводу не полагается знать. У Козла в городе связи, да и этот, из земельного-то отдела, первым оповестит. Задумался Карп Данилович, а старик дребезжит свое опять возле самого уха:

— Так и так, передай, говорит, чтобы лошадь на станцию. И голос совсем не тот — веселый. Вот я и думаю: непременно пару и с колокольцами, кореннику — ленты в гриву! А что — не чужой он нам человек, Николай-то Иваныч, понимать это надобно!

Вечерело. От ворот Озерной улицы нарастал глухой, медлительный топот, — возвращалось стадо. Ми-

мо окон Андропова пятистенника мелькнула повязанная платком голова Дарьи. Следом вышла на улицу и Кормилавна с подойником; сама напросилась в помощницы к новой соседке. Славная она баба — Дарья, работающая, и ребята послушные. Думала поначалу Кормилавна, что в огород лазить будут, грядки вытопчут, — нет, не было этого. У самого тына бобы посажены, рядом горох сахарный — ни одного стручка не тронули. Другой раз уж сама поκληчет которого, смородины горсть протянет или еще чего с грядок, так и возьмет-то не сразу. И — опрометью обратно. Соберутся все, как галчата, делят по кучкам на каждого. Ни драк у них меж собой, ни реву. Вот только старший так и пропал, да его, видать, и не жалко матери. Как это можно?

Удивлялась и тому Кормилавна, что соседка ее ни разу про мужа не заговорила; рядом живут, обо всем переговорить успели, а про Пашаню и про то, нет ли от него какого известия, ни словом не обмолвилась Дарья. Будто и знать не знала такого, будто и не муж он ей и не прожито с ним под одной крышей пятнадцать лет. Чудно! Другая бы глазам своим высохнуть не давала, с этакой-то оравой оставшись, а эта ни слезинки не выронит. Никогда ничего не просит и не пожалуется.

А сегодня Дарья была чем-то расстроена, молча поклонилась Кормилавне, даже с Улитой не задержалась у водогрейки, та ли уж ей не приятельница, забрала свои ведра и — под навес, к яслям, где подпасок коров привязывал, а еще часом позже, уже уходя домой, услышала Кормилавна надрывный глухой плач из темного закоулка: уткнувшись в копешку перематой прошлогодней соломы, судорожно всхлипывала Дарья.

— Не корова ли тебя зашибла, Дарьюшка? — отчетливо сознавая, что говорит явно не то, спросила испуганно Кормилавна. — Молоко-то не пролила?

— Какое там молоко! Жизнь у меня вся перешиблена, вот и реву. — Дарья провела рукою по лбу, минуты на две замолкла и пуще прежнего разревелась.

Бывает так: крепится-крепится человек, ходит со стиснутыми зубами, и вдруг нападет на него такая тоска, такая защежит боль, что сами собой упадут ру-

ки, а в горле застрянет колючий комок, проглотить который не вмоготу. И тогда в три ручья хлынут слезы; едучие, горькие, зальют они щеки, упадут на губы круто солеными каплями. Задохнется от них человек и в такие минуты расскажет всё тому, кто окажется поблизости. Знала про то Кормилавна, присела возле Дарьиных ног на перевернутое ведро.

Получила Дарья письмо от Пашани; пишет, что дело его пересмотрено, через полгода освободят. И еще пишет, что вышибет из нее дурь — зачем дом отдала на слом, за что Мишку выгнала (было ему от сына известно, будто мать по неделям есть ему не давала и в милицию сама на него донесла, что знал он про дела отцовские). Пишет Пашаня, что Мишка ушел недалеко, выберет время — спалит: теперь ему всё едино.

— Спаси нас крестная сила! — еле выговорила Кормилавна. — Да нешто он, супостат, на мать родную экое дело замыслил! Не в своем ты уме, Дарья! Когда письмо-то пришло? Может, подметное? Может, Мишка сам же и написал?

— Нет, не Мишка. Рука не его. Сам писал, по словам это мне понятно.

Дарья выпрямилась, вытерла щеки, заправила волосы под платок, снова стала какой-то каменной, но ненадолго. Видно, то, что вырвалось вместе с горечью страшного одиночества, расслабило ее волю, и захотелось ей запросто, по-соседски, чисто по-бабьи, с причитанием и мелкой слезинкой, высказать и остальное, что в могилу с собой унести собиралась, а перепуганной Кормилавне всполохи огненные мерещились: дома-то ведь рядом стоят, а сушь-то какая — чисто порох всё!

Слушала Кормилавна исповедь Дарьи, а та рассказывала, как выдали ее замуж в богатый дом, как сидела она вечерами возле окна и заливалась слезами, а напротив стояла избенка с печкой по-черному, жил в ней распоследний в деревне бедняк: гроша медного за душой не имел, босой и голодный. Сядут они, бывало, с женой на порожек, тесно прижмутся друг к другу, как голуби, или песню затянут, и всё-то им нипочем, всё-то у них хорошо!

— Вот смотрю на них, Кормилавнушка, — причита-

ла Дарья, — смотрю да реву. Кусок в горло не лезет. Сытая я, одета-обута, а слова ласкового не слыхивала. Не в богатстве счастье-то наше, в человеке оно! А потом, как на хутор выехали, говорить совсем разучилась. Знаешь, поди, покойничек-свекор, не тем будь помянут, кистенем добро нажил, да и мой-то лучшего гостя в доме не знал, кроме Гарифки-конокрада. Раз в тюрьму да в другой, — как пришло, так всё и сплыло добро-то. Одичала я, людей начала бояться. А они, люди-то, — человеки. Это я в тот день поняла, когда Андрон твой хлеба привез. И вот потянуло меня к людям. Не поверишь, на бога роптала, что хутор совсем не сгорел, а что при муже живом осталась вдовой — нисколечки не жалею. И вот на тебе — «вышибу дурь». Да сгори бы он сам вместе с тем домом постылым!

В глазах у Кормилавны потемнело: слова Дуняши повторяла Дарья. «Не за человека вы меня отдали, маманя, за богатство, за коров да свиней...» Вот он и Красный яр, Денис под дубком, а на взлобочке за околицей, под березкой раскидистой, — холмик дочерней могилы. Три года минуло... И опять словно гарью соломенной обдало. Андрейка-то в сенцах спит. Ой, лихо мое! Сам, дай бог, если в полночь вернется, — молотьба. Вот и лежи как на иголках!..

Андрон в это время был на своем бригадном току. Председатель не послушался того, что наказывал передать ему перед отъездом в город Николай Иванович, распорядился молотилку не останавливать, — трактор в другой раз едва ли удастся выпросить. А тут еще, как назло, из МТС нарядили к ним в колхоз полторку на три дня. Тут же, прямо из-под барабана молотилки, непровеянное зерно загружали в кузов машины.

«Роман — что телок, — в который раз принимался думать Андрон. — Цыкнули на него — молотит, нажали еще — повез. А Козел — змеем перед председателем: „Директива, Роман Васильевич, не моги и в мыслях послушаться, в порошок сотрут!“»

Скрипнул Андрон зубами, к мужикам было отошел, что курили в сторонке. И те молчат, у каждого одно на уме: своими руками добро губим, сгорит ведь

оно, зерно-то! Солодом в кузове обернется, пока до станции довезут.

— Неужели вверху-то там не видят этого? — возвращался Андрон к своему последнему разговору с учителем. — Ну план — ладно, согласны: города кормить надо. Да ведь это не хлеб для государства нашего — крохи! По газетам урожаи везде неплохие, стало быть, голодающих нет. Неужели мужик сам не знает, когда ему молотить! Вот оно всё в снопах, в кармане я его не унесу в свой сусек. Рожь молотим, а яровые того и гляди осыпаться начнут. Сталину бы об этом сказать. И сказал бы, а что?!

Председатель уехал, Артюха на гумне остался, у весов. По договоренности с кузнецом Андрон решил сам присматривать за счетоводом, — рассказал Карл Данилович бригадиру всё, что ему передал старик Парамоныч.

«Стало быть, всё в порядке. И так, и так — хорошо!» — про себя улыбнулся Андрон. Искоса посматривая на Артюху, обошел ворох зерна у веялки. Что говорил в это время Артюха в кругу насупленных мужиков, Андрону не было слышно: грохотал барабан молотилки, хлопали решета веялки, тяжелой широкой струей шелестело зерно на них.

Сутулясь возле подвешенного к застрехе фонаря, Артюха записывал в книгу центнеры и килограммы, сам перекладывал на весах гири и, словно между прочим, вполголоса высказывал такие слова:

— Вольготное время подошло, ей-богу! До колхоза-то как оно было? Гнул мужик хребет над сохой, вытягивал себе жилы. Ни продыха ему, ни просвета. А теперь? Теперь мужику — благодать! Слышно вон, партийные наши руководители об станции электрической разговоры разговаривают. Культуру и прочее просвещение в массы. А в поле посмотришь. — душа не нарадуется: во всем стопроцентное облегчение. — Артюха воровато озирался по сторонам, сутулился еще больше. — Машина полюшко вспашет, машина посеет, машина сожнет, машина и увезет!

Дальнейшее произошло в считанные минуты: никто не видел, откуда взялся Владимир Дымов. Оттолкнув нескольких человек, протиснулся он к весам,

вздернул за грудки Артюху. Повисли у того очки на одной дужке.

— Что ты сказал? Что ты сказал?! — тихо и очень внятно спросил Владимир. — «Стопроцентное облегчение»? Кулацкую пропаганду ведешь! — теперь уж не сдерживаясь, кричал он в перекосившееся от страха лицо счетовода. — Ты что? Думаешь, если кое-где на местах у властей мозги набекрень, так и во всей стране то же самое? Ты кому подпеваешь?!

На току всё смолкло. Плотным кольцом обступили колхозники весы с горкой мешков на них. В крепких руках Владимира Артюха не мог вздохнуть.

— Мы давно за тобой следим, — продолжал Дымов, — каждый твой шаг видим, каждое слово твое у нас записано. Говори, гад ты ползучий, при всех: кто подбивал Улиту колосья стричь?! Кто напраслину плел на Андрона? Молчишь?.. Ну, ты еще скажешь, всё скажешь, шкура! Хочешь, в морду сейчас тебе плюнет один человек?

Владимир отпустил Артюху, осмотрелся вокруг, увидел в гуще голов темный платок Улиты, рядом белела косынка Нюшки.

— Гражданки Улита Селивестрова и Анна Пантелеева! — строго, как на суде, обратился к ним Дымов. — Идите сюда!..

...Когда приехал со станции Николай Иванович, Артюха сидел под замком в подвале на дворе бывшего церковного старосты. У двери с двустволкой в руках прохаживался брат Нюшки Екимка, ждали вызванного милиционера. Не успел учитель расспросить, как всё это случилось, на крылечко поднялся Андрон, с ним закутанная в платок Дарья.

— Кажи письмо, — подталкивая вперед заробевшую спутницу, буркнул Андрон, — да не реви ты, корова, прости меня, господи! Вот уж истинно сказано: свяжешься с бабой — самому тошно станет.

* * *

Ползутина, Артемия Гришина и инженера Вахромеева судили в Бельске, в городском театре. Первым двум — высшая мера, третьему — десять лет. Иващенко сразу же после заседания бюро увезли из города,

и о нем ничего не было слышно. А первым секретарем райкома избрали парторга завода, бывшего молотобойца.

На суде выявилась хитроумно сплетенная антисоветская сеть шантажа, клеветы и провокаций. Корни ее уходили в далекие годы колчаковщины, когда по Уралу, в Поволжье, в степях Оренбургской и бывшей Уфимской губерний свирепствовали кулацкие банды, когда на смену разбитым регулярным белогвардейским частям в освобожденные города врывались конные отряды анархистов, «черных», «зеленых», смешанных, когда русские монархисты разжигали национальную вражду к иноверцам, а вооруженные топорами, самодельными пиками и дрекольем ватажки татар опустошали затерявшиеся в лесах и в бескрайнем степном разливе деревеньки русских.

Банда Ползутина была наголову разбита в верховьях Каменки, однако сам атаман остался в живых, перебрался в купеческую Самару, год или два колесил по низовьям Волги, потом оказался в Уфе, в период расцвета нэпа на ярмарке в Бельске встретил Артюху, когда тот продавал полукровка-жеребчика.

Наметанным глазом Евстафий Гордеевич сразу определил, что лошадка уворована, — достоверным свидетельством тому была суетливость Артюхи и подозрительная настороженность его подручного — одноглазого татарина, прихрамывавшего на левую ногу. Татарин держался в сторонке, и его единственный глаз пробуравливал каждого, кто больше, чем следует, задерживался возле резвого жеребца.

Молодой конь упрямо крутил головой, стриг ушами, приплясывал, норовя взвиться на дыбки, или приседал, раздувая ноздри, а Евстафий Гордеевич змеиным, немигающим взглядом смотрел на Артюху и вспоминал... Волк увидел щенка.

Торг подходил к концу. Артемий Иванович мысленно благодарил бога за удачный исход сделки, намеревался уже из полы в полу передать новому хозяину ременный повод уздечки, но именно в эту минуту вплотную перед ним оказался сутулый человек в потрепанной куртке.

Евстафий Гордеевич нахально глянул тогда в лицо бывшего волостного писаря, опустил правую руку в кар-

ман, левой же несколько приоткрыл лацкан куртки, из потайного кармашка которой выглядывала красненькая обложка обыкновенного пропуска на кирпичный завод. Этого было достаточно, — Артюха остолбенел, покупатель шарахнулся в сторону, одноглазый татарин исчез и того раньше.

Пробираясь кривыми переулками и через проходные дворы, Ползутин, не вынимая руки из кармана и следуя в двух шагах за Артюхой, вывел его на знакомую улицу, жеребчика велел привязать под навесом во дворе, где размещались какие-то склады, мигнул конюху, а еще через час, обливаясь холодным потом, Артемий Иванович здесь же, в конторке склада, поклялся «уполномоченному ГПУ», что необходимые тому бланки со штампом и печатью Каменнобродского сельсовета будут вручены ему лично через четыре дня. Так снабжались фиктивными документами сообщники Ползутина и терялись потом в лесной глухомани; так Ползутин — Полтузин, приемщик готового кирпича, приобрел «квалификацию» счетного работника в торговой сети, а потом и агронома-геодезиста, родители которого были «расстреляны» колчаковцами, а сам он — «бывший красногвардеец, воевал на юге».

К тому времени, как отбыл Артюха год тюремного заключения за свои коммерческие промахи, Евстафий Гордеевич прочно обосновался в Бельске, пролез в партию, приблизился к руководству и мстил Советам. Умело играя на честолюбии недалеких людей, Полтузин искажал директивы, завышал планы, выдвигал явно невыполнимые нормы заготовок зерна и других сельскохозяйственных продуктов, нарушал систему землепользования в колхозах, организовывал травлю партийных работников на местах, готовил контрреволюционное выступление в верховьях Каменки.

Улита, Владимир и Нюшка выезжали на суд свидетелями, вызывали туда же Андрона и Маргариту Васильевну. Когда Нюшка вышла к судейскому столу, Владимиру вспомнилось, как они ходили с ней по наказу Верочки к отцу Никодиму, как тащилась Нюшка по улице нога за ногу, как попятилась, увидев седую кудлатую гриву попа и услышав его трубный голос, как съежилась, втянула голову в плечи, когда поп обратился к ней, и плела чепуху.

«Вот и сейчас ересь пороть начнет, — подражая Андрону, хмыкнул Владимир. — И на черта нужна она здесь, собьют ее с толку, заревет еще, чего доброго».

Но Нюшка не заревела. Вышла спокойно к столу, гордо пронесла затянутую красной косынкой голову меж гудящих рядов, стала вполоборота к судьям — гибкая, как лозинка. Первые же ее слова на вопрос судьи, предупреждена ли она об ответственности за ложные показания, несказанно удивили Владимира.

— У нас и в родстве того не было, чтобы кто-нибудь неправду сказал, спросите вон бригадира нашего, — с дрожью в голосе проговорила Нюшка, — а я — комсомолка!

— Ай да девка! — вырвалось у Андрона. — Вот те и пигалица!

А Владимир смотрел на сестру школьного приятеля Екимки и не узнавал ее. Нежданно-негаданно что-то зыбкое, теплое разлилось в груди непокладистого, дерзкого парня, и совестно стало ему за то, что обидел он Нюшку тогда в больнице. А она и в самом деле пригожая девушка, статная, и походка и глаза — вон у нее какие!..

Домой ехали — сели рядом в задок телеги, и оба почему-то старались не смотреть один на другого. Улита тараторила без умолку, Андрон время от времени прокашливался в кулак.

Так миновали согоры — версты на четыре поросший березняком и изрезанный глубокими оврагами каменистый спад. Слева, далеко, до самого горизонта, густо утыканные стогами, расстилались заливные луга с широкой и тихой рекой посредине. Дальше дорога сворачивала на подъем, упиралась в казенный лес. Сошли с телеги. Заложив руки за спину, Андрон широко шагал за телегой, следом за ним, путаясь в юбках, семенила Улита. Нюшка отстала завязать шнурок на ботинке, замедлил шаги и Владимир, а когда поравнялись, телеги уж не было видно, — дорога начинала петлять в этом месте.

Одолев самый крутой подъем, Андрон придержал вожжи и оглянулся: сосед его шел рука об руку с дочкой Екима-сапожника.

«Вон оно что, — шевельнул бровями Андрон, — оно конечно, вдвоем подыматься легче. Намного легче».

Августовские ночи прохладны. В низинах, по лесистым балкам, над зеркальной гладью озер еще с вечера повисают туманы. Тягучие, как душистая патока, лениво переливаются они через прибрежный ракитник, заполняют широкую пойму Каменки, окутывают густолиственные купы игривых березок, разбежавшихся по луговине, серебрят длинные иглы придорожных сосен, обильной росой ложатся на сочную зелень отавы. Не успеет поблекнуть на западе розоватая грань облаков, в густой синеве небосвода зажигается крупная россыпь недвижных звезд; задумчиво смотрят они на землю, на поля, утяжеленные тучными скирдами, на уснувшие деревеньки.

Спит всё живое: угомонились в траве голенастые скрипуны-кузнечики, смолкли лесные птицы, забылся на время трепетный лист осины; надвинув на самые брови тяжелую шапку размашистой кроны, спит вековой коряжистый дуб. Тихо вокруг. Изредка плеснет в озере рыба, ухнет в лесу пучеглазый филин, и снова вокруг забытье.

Никодиму не спалось. И писать не мог, — не было нужного слова. Он убрал на полку бумаги, затушил огарок свечи, сидел теперь на пороге лесной избушки, широко расставив толстые ноги и опершись подбородком о кулак, заслонив широченной спиной проем двери. У окна, на охапке сена, разметался искусанный пчелами Мишка. Парень стонал, принимался бормотать бессвязное, грозился кому-то, всхлипывал.

На этот раз Никодим подобрал Мишку в овраге возле колодца, после того как установил на место опрокинутый улей и когда несколько успокоились разъяренные пчелы. Они-то и обезобразили парня: шея, лицо и руки у Мишки превратились в бугристое кровавое тесто, оба глаза заплыли. Там же, в овраге, Никодим по частям сорвал с Мишки изопревшую, порванную в клочья рубаху, прикрывавшую покрытое ссадинами и коростами исхудалое тело, обмыл избитые в кровь ноги парня, запеленал его в полы своего подрясника и перенес в избушку. Напоил взваром сушеной малины, обложил всего листьями подорожника и оставил в покое.

«Вот она — благодарность! — мысленно рассуждал Никодим, прислушиваясь к неровному дыханию Мишки. — Давно ли вырвал его из рук осатанелого татарина — хлестал тот парня ремненным кнутом за украденного гуся, — и теперь у меня же разорил улей!»

Как и тогда, в разгар сенокоса, отец Никодим не спросил, кто этот парень, откуда он; по избитым опоркам, лохмотьям посконных штанов понял одно: бродяга. В тот раз Никодим привел Мишку к себе на пасеку, накормил, дал отоспаться и отпустил на все четыре стороны. Наказал одуматься.

— Голоден, бос — иди к людям, — говорил тогда бывший поп Мишке, — в людях больше добра, чем ты думаешь.

«И вот результат. Воровство, как и ложь, захлестывает без передыха, — рассуждал Никодим. — Раз украл — не остановишься, соврал в малом — потянет на большее».

«Вчера — гусь, сегодня — улей, завтра — с ножом к горлу, — развивал свою мысль Никодим, — а ведь он рожден человеком».

Семьдесят лет Никодиму, из них сорок с лишним прожил он в Каменном Броде священником и всю свою долгую жизнь искал в человеке хорошее. Фанатиком не был, святошей тем более, — верил в бога рассудком. Оставшись наедине сам с собою, любил поразмыслить, пофилософствовать о бренности жизни человеческой: всё тлен и суета сует; с мужиками был прост. До революции сам пахал, сеял, при нужде брал в руки топор, фуганок, разводил пчел, выращивал новые сорта пшеницы. Был агрономом и лекарем, советчиком и строгим судьей, трепал за вихры ребятишек на уроках закона божьего. Крестил, венчал, отпевал, пил с мужиками на праздниках.

Однажды пустился вприсядку на богатой свадьбе — вызвали к церковному начальству.

— Приемлешь?

— Грешен, владыко. Много грешен, — ответил в тот раз каменнобродский пастырь, а осенью в тот же год схватился на переправе с татарами. Избил до полусмерти полдесятка нехристей, перевернул вверх колесами не одну телегу вместе с поклажей только за

то, что некуда было ему просунуть свою лошаденку на пароме, и уехал один. За это ему не было ничего.

Всё это в прошлом. Год от года рассуждения отца Никодима принимали иной оборот; присматриваясь к тому, что его окружало, священнослужитель становился в тупик. Вот и сегодня, после того как забылся Мишка, присел Никодим на порожек, задумался.

«Человек — царь природы; всё для него: и леса и воды, и недра земные и воздух. Человек наделен разумом, в нем равно всего — пороков и добродетелей. Для испытанья душевного богу угодно подвергать человека искушениям и соблазнам, устоять перед которыми может не всякий. Зачем это? Святые отцы проповедуют любовь к ближнему, бескорыстие и веру в прозорливость всемогущего бога-отца. «Не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего, ни осла его, ни вола его». Это в законе божьем. А войны? Бедствия целых народов — эпидемии, голод? Слепая, безотчетная ненависть христиан к мусульманам, католиков к православным? Много ли нужно слабому человеку, чтобы сделать его отступником, чтобы поколебалась вера его? Посильны ли те испытания?»

Ночь молчала вокруг. С высоты так же молча смотрели далекие звезды. Они не давали ответа, жили своей непонятной жизнью. Жил своей жизнью и лес, наполненный шорохами, жил ручей, плескавшийся неподалеку, звери лесные, твари болотные, рыбы и птицы. Где-то пискнула мышь, с мягким шелестом крыльев шарахнулась над кустами сова, испуганно крикнул зайчонок. Нет, природа не прекращает жизни. Невидимый и вездесущий огонь бытия не гаснет.

«Свет побеждает тьму, — философствовал Никодим, — но и силы тьмы не рассеиваются навечно: так устроено. День сменит ночь, ночь сокроет светило дневное. Было, есть, будет. Слаб человек и немощен, чтобы постигнуть таинство мироздания. Тщится он вникнуть в неведомые законы небесной механики и падает ниц, ослепленный вечным огнем... Однако — так ли оно? Ужели настолько мал человек, что имя ему — песчинка? Разве не он заставил воду крутить жернова мельниц, не он обуздал ветры, приручил огонь и взмыл в поднебесье на крыльях? Истинно — царь! Но почему этот царь живет в постоянном стра-

хе? Где правда жизни? И правдой ли прожил я сам семьдесят лет на земле? Не лгал ли себе, народу?»

— Лгал. Всю свою жизнь жил обманом!

Эту фразу Никодим произнес неожиданно вслух и отчетливо вспомнил вдруг день и час самого страшного в жизни года, когда поколебалась вера его. Вспомнил детей: Аполлинарию, Михаила и Клавдию и старшего сына — Дмитрия. Этот уже служил на железной дороге телеграфистом, а меньшим всем вместе было двенадцать лет. Все трое — в одной могиле: в неделю скосила их скарлатина.

Когда один за другим умирали дети, отец Никодим поседел в три дня. Как он молился тогда! Какими словами просил всевышнего отвести холодное дыхание костлявой старухи от человеческого детеныша! Всевышний не внял этому воплю: Полинаричка, Мишенька, Клавдинька навечно смежили веки на руках потрясенного родителя.

«Ты не видишь, — значит, нет тебя!» Кощунственные эти слова пламенели тогда в воспаленном мозгу отца Никодима, а он в это время крестился, читая заупокойную молитву.

Это было перед первой мировой войной, а еще через год погиб под Варшавой и Дмитрий. Известие о гибели старшего отозвалось тупой, ноющей болью... Только голос дрогнул во время воскресного богослужения, когда среди длинного перечня воинов, убиенных за веру, царя и отечество, среди каменнобродских парней было названо имя сына. Голосили истошно матери, жены, бились в истерике на холодных плитах церковного пола, а священнослужитель, стоя с поднятыми руками, снова просил создателя. Просил остановить неслыханное братоубийство; крови пролито много — достаточно для того, чтобы доказать солдатскую верность отечеству.

В те годы молился не один каменнобродский священник — вся необозримая Русь стонала похоронным звоном церковных колоколов. Всевышний и всемогущий не внял и этому.

«Ты не видишь, — значит, нет тебя!» Суровые складки запали на широком лбу Никодима, и пастырь каменнобродского прихода рядом с Библией и Евангелием — увесистыми, переплетенными в кожу и тис-

ненными золотом книгами — положил тоненькую брошюрку философских высказываний Вольтера, найденную на самом дне захламленного сундука.

Гегель, Руссо, Фейербах, Чернышевский, Толстой, Герцен — уйму книг прочитал Никодим, чтобы с разных сторон посмотреть на веру и самого себя, мучился в поисках большой человеческой правды, искал и не находил. Искал ее в людях вокруг себя, в укладе патриархальной крестьянской семьи и убеждался всё более, что правда не может жить рядом с алчностью, вера опутана тенетами лжи и лицемерия. «Церковь — пристанище лжи и ханжества», — тогда уже мелькнуло в мыслях Никодима. Это видел он на примере вышестоящих духовных лиц, читал между строк на страницах «Истории дома Романовых», и всё-таки сам по себе человек, человек-труженик, оставался в сознании Никодима достойным наибольшего уважения.

• Революцию воспринял Никодим как нечто само собой разумеющееся, — уж слишком замордованной была Россия, чтобы не вздыбиться, и — «несть власти, аще не от бога!» — сказал так-то вот при благочинном, и прослыл по епархии еретиком. А ведь это слова из Писания!

* * *

Деятнадцатый страшный год. Смута. То белые размещаются по дворам на постой, то красные. Гулкие выстрелы из винтовок средь ночи, пулеметные злые очереди. Раз летом среди бела дня запрудили улицы верховые на неоседланных конях, резкий гортанный говор и выкрики разнеслись далеко окрест. Захлестнула деревню пьяная и одуревшая от крови черная банда. Начался повальный грабёж. Добрая половина жителей укрылась в церкви, сторож запер ее на замок, а потом и сам прибежал, слова выговорить не может: ломаются басурманы в храм, вырывают решетки из окон.

Вышел тогда отец Никодим из дома, под сатанинский свист и улюлюканье не спеша миновал площадь, грузно поднялся на каменные ступени церковной паперти. Здесь толпилось человек двадцать бандитов, двое из них, обливаясь потом, ломом выкручивали

пудовый висячий замок. Здоровенный пузатый татарин, в чалме и с кинжалом за поясом, стоял подбоченясь и ждал.

— Что вам здесь надо? — негромко спросил у него Никодим.

— Деньга давай! — Предводитель банды схватился за нож. И захрипел, задохнувшись. Русский поп ухватил его поперек туловища, перевернул в воздухе, вскинул над головой, как тряпичную куклу.

Паперть вмиг опустела. Никодим поставил татарина на землю, подобрал брошенный возле двери лом.

— Золота в церкви нет, — сказал он обалдевшему предводителю банды. — Там люди. Старики, женщины, дети. От вас, супостатов, попрятались. Обижать их не дам.

— Шайтан ты, русский мулла! — отдуваясь, ответил татарин. — Урус шайтан! — Поднял руки и восхищенно добавил: — Батыр!

Татары церковь не тронули. А еще через месяц, не больше, в этой же церкви Никодим сам укрывал от колчаковцев раненого красного комиссара. Теперь уж не вспомнить, кто наступал — красные или белые. Да и боя-то настоящего не было. Ночью под самыми окнами хлестнуло несколько выстрелов, конский топот в намет, и все стихло. На рассвете вышел отец Никодим в сад — лежит ничком человек меж кустов крыжовника, гимнастерка на нем кровью залита. Кажется, дышит.

Осмотрелся поп: никого поблизости. Подошел ближе: раненый без погон, а на рукаве пониже локтя — красная звездочка, — комиссар. Приподнял осторожно за плечи, перевернул на спину — лет двадцать пять парню. Лицо чистое, как у девушки, на высоком лбу прядка светлых волос прилипла. Сына Дмитрия вспомнил. Отнес комиссара в каретник, там привел в чувство, перевязал, дал напиться.

В обед казачий разъезд прогарцевал перед окнами. Спешились за углом, прошли вдоль забора. Потом разделились на две группы. И — со двора во двор. Офицер с коноводом остался, поманил пальцем какого-то мальчонку, расспрашивал, верно, что за люди живут по соседству. «Что же делать? — спрашивал мысленно сам себя Никодим. — Ищут, собаки. Комиссара ищут».

О себе почему-то не думалось. Дождлся ночи и перенес раненого в церковь: здесь-то уж не посмеют обижать.

А на завтра — пышная офицерская свадьба. Разбежавшаяся было семья Ландсберга снова собралась под крышей барского дома, и младшая дочка помещика спешно выходила замуж за колчаковского штабс-капитана. Никогда не забыть отцу Никодиму этой венчальной службы. В одном месте он сбился: раньше времени возложил венцы на головы новобрачных. В церкви — офицеры и бородатые казаки. От сивушного перегара даже свечи чадили. А в алтаре, за складками тяжелого бархата, покрывавшего до самого пола престол, разметался в горячке комиссар — светло-волосый парень двадцати с небольшим лет, одногодок Дмитрия. Вдруг он застонет?

...Новый учитель в Каменном Броде. Хмурая та была осень, когда он приехал, и зима выдалась вьюжная. Долго присматривался отец Никодим к Николаю Ивановичу, ожидал поначалу удара в лоб. Но учитель оказался не таким. Никодим понял: учитель видел в нем человека.

Следуя неизменным привычным путем примирения духа и плоти во имя загробной жизни, проповедуя обветшалую догму непротивления злу насилием, отец Никодим не мог не понять, что зло от этого не уменьшится.

Разве проповедью остановишь руку озлобленного убийцы? Вокруг полыхали пожары, лилась кровь, храм божий превратился в убежище душегубов и насильников. Никодим вспомнил старосту, лавочника Кузьму, Дениса. Какому богу поклонялись они? И нужен ли этот бог? Учитель же призывал к открытой и беспощадной борьбе с алчностью, тунеядством. И он верил в человека-труженика, верил больше, чем сам Никодим, с тою лишь разницей, что ратовал за жизнь земную и не терзался сомнениями. Мог ли после этого отец Никодим назвать Николая Ивановича непримиримым врагом? Не враг, а человек новой и более сильной веры; и Никодим нашел выход: своими руками среди бела дня повесил замок на церковных дверях. Уединился от мира и здесь в лесу начал писать книгу «Религия есть обман».

Погруженный в раздумье, отец Никодим не заметил, как проснулся и сел на своей постели Мишка, как разжал он пальцами слипшиеся веки. В тесной избушке стоял густой запах мяты, ромашки и еще каких-то неведомых Мишке трав, развешанных пучками у притолоки. В единственное оконце пробивался рассвет, а на пороге возвышалась огромная фигура попа, с непокрытой, низко опущенной головой.

«Бежать! — первым делом подумал Мишка. — Он теперь не отпустит: сведет в сельсовет...»

Мишка привстал, крадучись передвинулся в сторону. На столе — полбуханки хлеба, и тут же в плетеной миске огурцы, в чугуне — картошка. Засосало у парня под ложечкой: три дня во рту крошки не было. Протянул Мишка обе руки к столу.

— Пить захотел? Ведро на скамейке, там же и ковш, — не поднимая головы, сказал лохматый человек и вздохнул так шумно, что шевельнулись подвешенные у притолоки пучки засушенных трав. Мишка глотнул судорожно, отдернул протянутые к столу руки.

— Полегче стало, или всё так же печет? — не повышая тона, осведомился хозяин. — Да не бойся ты, не трясись; бить не буду; хватит с тебя и того, что пчелы меток наставили.

Ничего не ответил Мишка, выпил воды, вернулся на прежнее место. В оконце больше светлело.

— Шел бы умылся, — через минуту снова заговорил поп. — Мыло вон на заплечке и полотенце. Вонь от тебя, что от козла; весь оботришь.

Посторонился поп, передвинул одну ногу. Мишка скользнул в образовавшуюся щель, поеживаясь голыми плечами стал спускаться по земляным приступкам в наполненный плотным туманом овраг. Мылся долго, старательно ключевой холодной водой, вытекающей по лубочному желобку из-под угла осевшего сруба. Разогнал мурашки жгутом полотенца, поплясал на холодных, скользких камнях, похлопал себя ладонями по ногам и впалому животу. Захотелось пуститься наверх вприпрыжку; молока бы сейчас парного или щей мясных, а потом бы на целый день в поле снопы возить! Пусть не себе, ладно уж, только чтобы пальцем никто не тыкал.

Помрачнел Мишка, нехотя начал подниматься и так же нехотя переступил порог избышки. Никодим разливал по стаканам крепко заваренный чай, по-мужицки — ломтями — нарезал хлеба.

— Думал — опять сбежишь, — буркнул он, оборачиваясь на скрип двери. — Не держу. Только в третий раз не попадайся.

* * *

Переполненный клуб гудел, как встревоженный улей; за пять с лишним лет не помнит Николай Иванович такого многолюдного собрания. Время давно уже за полночь, а ко второму вопросу — выборам нового председателя — всё еще не приступали. Роман Васильев часа полтора потел на трибуне и сейчас отдышаться не может, сидит за столом красный. Здесь же и власти районные: секретарь райкома, директор МТС, новый заведующий земельным отделом.

Окна в клубе открыты, а душно. Разгоряченные спором, потные лица колхозников обращены к трибуне. Временами где-то в задних рядах зарождается глухой шум. Он нарастает подобно морской волне, пенится выкриками. И тогда нет уже ровного ряда лиц, — чубы, бороды, съехавшие набок платки, распахнутые косоворотки — всё мешается, бурлит.

На трибуне — Еким Епифорыч, отец Нюшки.

— Одного в толк не взять, — говорит он, обращаясь к президиуму, — как это вы, товарищи партийцы, не рассмотрели, а кто же такой он, Козел, почему получилось так, что замест председателя колхозом Артюха правил? А не лучше ли было бы тому же Роману, раз видит, что дело его тухлятиной отдает, собрать бы народ да и карты на стол? Народ, он всегда рассудит. И ты, Николай Иванович: в Москву написать сумел — не за нашу одну деревню, за всю округу всё выложил, не побоялся, а козявку, жучка-короеда в новой нашей постройке не высмотрел! И ты, Карп Данилыч! Тебе-то уж знать бы Артюху!

Еким потоптался на месте, укоризненно посмотрел на Романа, махнул рукой:

— Эх, Роман, Роман!

Екима сменил Андрон. Комкая шапку, стоял возле сцены, — на трибуне ему не выпрямиться.

— И про себя сказать не мешает, — начал он, не спеша подбирая фразу, — после драки-то все мы кулаками махать горазды. Двуликий он человечиска был — Артюха. Умен — этого не отнимешь, вот и навесил шоры на глаза председателю. Видали и мы, сколько разов примечали: не туда гнет артельный наш счетовод. И опять подумаешь: а черт его знает, может статься, и указания такие имеет, с властями он запросто. Ну, одним словом, виноваты мы все одинаково. Наперед поглазастее надо быть. И не чураться друг друга. Партийный ты или нет — говори прямо, что видишь.

Мартынов кивнул Николаю Ивановичу. Андрон уловил в этом поддержку, расправил бороду тыльной стороной ладони:

— Раз уж так оно получилось, что советская власть указывает нам жить одной семьей, то и думать надо каждому за всех. Про Романа не скажу худого: колхозной копейки он не тронет, в артельный сусек со своим мешком не залезет. Раз нету растраты, во вредительстве не замешан — нету ему и статьи уголовной. И всё-таки председателем он не гож. Это, как бы сказать вам, ну всё равно, как солдат на ученье: направо, налево, приказ любой выполнит, а командовать сам не может. Давайте нового подбирать.

Председателем выбрали Карпа Даниловича, Романа оставили бригадиром. И опять не обошлось без вмешательства Николая Ивановича. Раздвоилось собрание: поровну подняли руки за Андрона и за Карпа, — три раза считали.

— Повторяю, товарищи, — пояснил учитель, — партийная организация не против того, чтобы председателем артели был избран Андрон Савельев: человек он добросовестный, честный, хороший хозяин. Бригада его на первом месте, люди сработались. Зачем нам разбивать сколоченный коллектив? И Карпу работать легче будет, когда у него такая опора.

К столу Федька Рыжий протиснулся. Не дожидаясь, пока смолкнут голоса, заявил убежденно:

— Комсомольцы сказать велели, чтобы дядю Андрона с бригады не трогали: потому нам соревноваться не с кем будет. У него вон вырубка корчевать с весны начали, клеверов больше плана посеяно и в коровни-

ке чистота. Очень даже для соревнования с молодежью авторитетная кандидатура!

— Ученик ваш? — кивнул Николаю Ивановичу Мартынов на плечистого парня, когда тот усаживался в кругу молодежи.

— В прошлом году семилетку закончил. А что?

— Счастливые вы люди — учителя! — вздохнул Мартынов.

Секретарь райкома записывал что-то себе в блокнот, а Николай Иванович вспомнил при этом сына Пашани — Мишку. И решил сразу же после собрания рассказать руководителям района про письмо, полученное Дарьей; заодно уж поведать и истинные причины отвода кандидатуры Андрона на пост председателя колхоза. Ожидают нового агронома, — со дня на день должен приехать Егор, не будет у них мира с Андроном.

* * *

— Пчела — насекомое зело трудолюбивое... Вот видишь, солнышко чуть взошло, а она уже со взятком в семью, в улей к себе возвращается! Смотри, сколько у нее набрано — и на лапках, и на загорбке. Видишь, капельки как росинки, — мед.

Говоря это, Никодим указательным пальцем правой руки медленно вел по тыльной стороне своей левой ладони, на которую опустилась тяжело нагруженная пчела.

Рука у Никодима большая, шире Мишкиной во много раз, заросла густым седым волосом, и пчеле, наверное, показалось, что попала она в непролазную чащу лесную, в бурелом.

Так же думал, пожалуй, и сам Никодим, потому-то и помогал пчеле выбраться на более чистое место — легонько подталкивал ее ногтем к первым суставам полусогнутых пальцев. Пчела ползла, переваливаясь с боку на бок, осторожно перебирая лохматыми лапками и чуть подрагивая распростертыми прозрачными крылышками, а оказавшись на косточке среднего пальца, сложила слюдяные свои перышки и остановилась перевести дух.

Теплым взглядом широко расставленных желтоватых глаз Никодим следил за каждым движением тру-

женицы, дышал в сторону и всё время поворачивал ладонь так, чтобы для пчелы не было подъема.

— Притомилась, бедняга, — не говорил, а скорее всего думал вслух Никодим. — Мед — он тяжел. Эти капельки для нее всё равно, что человеку гири двухпудовые на каждую ногу, а ей лететь надо.

— А если ужалит? — спросил удивленный Мишка.

— Чего ей жалить-то? Я ведь ее не обижаю. Пчела, она всё понимает. Это у нас, у людей, другой раз за добро лихом расплачиваются, у пчелы нет этого. Потому и живут они лучше нас, дружнее.

Мишка дышать перестал, — про попа Никодима одну страшнее другой истории рассказывались: то разбойникам головы скручивал, как цыплятам, то татар перебил с полдеревни, лошадь через забор, как овцу, пересаживал медвежьими лапищами. Из всей деревни один разве только Андрон мог без страха подать руку Никодиму. Эх, была бы у Мишки такая сила! Припомнил бы кое-кому...

— Вот смотри: отдохнула.

Мишка вздрогнул, снова глянул на руку попа. Пчела расправила крылышки, собираясь лететь. Никодим отвел руку подальше и опустил. Желтой вытянутой каплей пчела повисла в воздухе и полетела к тому самому улью, верх с которого позапрошлой ночью опрокинул Мишка.

— Так-то вот, парень, — провожая задумчивым взглядом пчелку, говорил Никодим, — пчелиной семье позавидуешь. Далеко еще нам — людям — до этой бессловесной твари.

Никодим повернулся лицом к Мишке, под седыми кустистыми бровями теплились далекие мерцающие огоньки. Никогда не доводилось Мишке видеть такого спокойного и печального лица. У отца глаза были всегда злые, колючие, у матери — слезливые.

Припомнились Мишке и еще одни такие же внимательные глаза — учителя, Николая Ивановича. А что отец про него говорил? Деда Кузьму кто раскулачил, кто отца забрал?! Учителю верить нельзя. Голь к нему липнет, верно. Им-то что: рады стараться, чтобы и у других тоже не было ничего. Сделаться бы похожим на этого вот попа, хоть бы половина силы его

перешла в руки Мишки. Показал бы тому же Володке.

— Великое благо дано человеку — разум, — продолжал между тем Никодим. — Разум поднял его над всем живущим. И второе благо — речь. Слово человека останавливает реки, раздвигает горы, в дремучих лесах и на вековой гнили болотной воздвигает сказочные дворцы; слово единит помыслы черных и белых, желтых и краснокожих, в сто крат умножает духовную силу простого смертного. Имея разум и речь, человек не может жить в одиночестве, чтобы снова не стать зверем. В другой раз говорю тебе: иди к людям.

Страшно Мишке и непонятно всё это. Смутно припоминал, что и учитель говорил как-то про черных и белых, желтых и краснокожих и что все они одинаковы друг перед другом. И учитель говорил про разум и речь, а больше о том, что всем надо работать.

«Как же так — одинаковы, когда и говорят-то по-разному и бог у каждого свой? — тужился уразуметь Мишка. — У одного дом-пятистенник под жестью, рысаки выездные, у другого — солома в окне? И что законы для всех одни — вранье это. Вот Гарифка, приятель отца, жеребенка украл в Константиновке; на пять лет упекли в острог, да отцу — два года за то, что сбыл того жеребенка на сторону, а у деда Кузьмы белым днем сундуки вытряхнули — по сей день ходят по воле. Это как понимать?!»

— Вот говоришь ты, что жить одному нельзя, — сутулясь и не глядя в лицо Никодиму, начал Мишка, — а сам-то чего же ушел?

— Может быть, и вернусь еще, — не сразу ответил тот, — мне поразмыслить надо.

— Тоже нашкодил чего-нибудь? — нахально засмеялся Мишка. И попятился шага на два от Никодима: хлестнет наотмашь — пришибет, как козявку.

Но Никодим даже не шевельнулся, всё так же копной сидел на колоде, положив ладони на колени.

— Ты против меня — мизгирь, — проговорил наконец Никодим. — Если я говорю: иди к людям, — иди. То, что ты напроказничал, избывается просто — родительским словом или кнутом. Человеку в мои годы надо самому себя по костям переламывать. Понял?

Три дня после этого разговора молчал Никодим.

Было похоже на то, что он забыл о присутствии в своей избушке еще одного человека или не замечал его. По утрам, однако, разливал чай в два граненых стакана, двигал в сторону Мишки плетушку с нарезанным хлебом, миску с медом. Так же и вечером, после того как приносил в ведрах процеженный мед, спускался в подполье и долго двигал там бочками. На ужин приносил огурцов и помидоров. Всё это молча съедалось, и Никодим укладывался спать; храпел до того страшно, что у парня волосы поднимались на макушке.

За эти дни опухоль на лице и руках Мишки опала, но кожа оставалась лоснящейся и тугой, в темных пятнах с обводами. Отоспался Мишка, повеселел от сытой еды. На четвертый день Никодим взвалил на плечи липовую кадушку и отправился напрямик через лес в Константиновку.

— Сиди дома, — сказал, выходя уже на тропу, — к ночи вернусь.

С тем и ушел не оборачиваясь, как будто на своего оставил избушку и всё, что в ней было. А добра у попа порядочно: за печью — тулуп овчинный черной дубки и с волчьим воротом, валенки почти новые; там же на полке сложено стопкой исподнее. Под кроватью — сундук. Тоже такого не видывал Мишка, — на заказ, верно, сделан был этот сундук: длинный, во всю кровать, и широкий. По углам жестью окован, и замок пудовый.

— Вот, наверно, деньги! — внутренне ахнул Мишка. — И золото, поди, есть!

Жарко сделалось парню, во рту пересохло, и голова вокруг пошла. Выглянул в дверку — пусто. Обошел раза два вокруг избушки, к роднику спустился. Намочил голову. Пробрался через кусты в другой овражек, что огибал пасеку лесом, притаился за пнем. Нет, никого не видно и с той стороны. А перед глазами — сундук, червонцы старинные.

За полгода бродячей жизни отведал Мишка лиха. Вначале недели две толкался на станции, ночевал в будке разбитого паровоза, тянул, что плохо лежит. Били. Раз чуть было под колеса сам не попал. Пробрался потом в город, и там не лучше. Пошел снова по деревням; где у пахарей узелок стащит, у пасту-

ха — торбу с картошкой, а то и корову выдоит. Так и кружил возле знакомых мест. Раза два по базарным дням в Константиновке к магазину присматривался. Ставень там на одном окне еле держится, и сторож всю ночь в переулке дремлет, а окно со двора. Как назло, оба раза перед самым закрытием магазина приходил милиционер с кожаной сумкой и вместе с кассиром уносил деньги.

Мишке нужны деньги — в Сибирь махнуть или к морю, где зимы не бывает. С деньгой и документы любые выправишь, и про еду думать не надо, рассуждал Мишка, а там и жениться впору или в дом к кому побогаче — примаком. На деньги любая пойдет.

И вот они — деньги! Как же раньше-то не подумал?! От небывалого напряжения мысли пот на висках выступил, пальцы впились ногтями в мякоть ладоней. Подмывает Мишку ужом проскользнуть меж деревьев к избушке, раскидать постель Никодима, топором разбить крышку заветного сундука. Есть у него потайное место за болотом на острове. Землянка заброшенная. Переждать можно будет с недельку.

А ноги не слушаются. Да и в самом ли деле ушел Никодим? Может, он лежит где-нибудь за колодой — испытывает?

— Ну и пусть лежит, — решил неожиданно Мишка. — Трогать сегодня не буду.

Выломал прутик, шел по тропе к избушке, присвистывал. И вот тебе — крест могильный. Оградка из струганых планок, и тут же скамеечка на двух столбиках. Трава вокруг вытоптана до земли, на кресте — веночек с черными лентами.

«Вот она — попадья! — почему-то обрадованно подумал Мишка. — С прошлого раза еще думал, куда же она подевалась? Стало быть, окачурилась».

У поленницы дров в чурбан березовый воткнул топор. Выдернул его Мишка, лезвием провел по ладони. Замахнулся, чтобы на манер плотника бросить топор на прежнее место и чтобы встал он торчмя, а пальцы не выпускают гнутого топорщица. Пристыли. Так и вошел в избушку, держа топор за спиной, по-воровскому.

С час, если не больше, просидел Мишка на полу возле деревянной кровати Никодима. Забросил конец одеяла, тронул замок пальцами, так и прожгло до пя-

ток. Решил — всё равно крышку потом рубить придется: замок кованый, а под накладкой пробоя видна фигурная врезка и второго замка, внутреннего. Находился Мишка, втянул голову в плечи, но мысли уже не рвались.

«Сказано: не уйдет!»

Топор лежал под скамейкой, тускло поблескивая отточенным жалом.

Перед вечером затарахтела под окнами телега. Вскинулся Мишка: в дверях Никодим и еще трое — Андрон и Федька с Володькой. Засосало у парня под ложечкой, — влопался!

— Ты что, уж не в работниках ли? — скривил губу Федька. — И матери знать не даешь. Не хватит ли бегать-то?

— Вот к дому и пробираюсь, — соврал Мишка, поглядывая на окно, — за Черной речкой на сплаве работал.

Дальнейшее поразило Мишку. Не успел он опомниться от того, что увидел односельчан, и хоть смутно, но догадался, что хватать его они не собираются, как Никодим присел к сундуку, ухватился за витые скобы и, заметно натужась, вытянул его из-под кровати. Потом без ключа снял верхний замок, бросил его на постель.

Когда Никодим поднял крышку, Мишка невольно зажмурился, слышал только, как скрипнули петли и прозвенела струнными переливчатыми голосами потайная пружина.

— Мертвым капиталом лежит, — откуда-то сверху докатился голос попа, — не хочу быть собакой на сене. Забирайте всё.

При слове «капитал» Мишка судорожно глотнул, приоткрыл один глаз и вытянул шею из-за спины Андрона: сундук был набит книгами.

* * *

Вот и Каменный Брод. Не думал Мишка, что так оно всё получится, даже мысли не допускал среди белого дня вернуться домой. Когда ехали мимо хутора, захотелось спрыгнуть с телеги, обойти заросший бурьяном двор, как большому молча постоять возле

грудки битого кирпича в том месте, где печь стояла. Как бы то ни было — свой дом; четырнадцать лет в нем прожито — вся жизнь Мишкина со всеми ее бедами и невзгодами. Тянет. Но Андрон подхлестнул мерина, — разве этому ироду что понять! Отвернулся Мишка, колотил босыми пятками по дощатому дну телеги.

Обогнули Метелиху, рысью подъехали к школе. Книги складывали в коридоре. Мишка тоже носил, выбирал какие потолще. И не заметил, как Андрон шепнул что-то учителю и кивнул при этом в его сторону.

Николай Иванович вслух похвалил попа, сказал, что не ожидал такой щедрости; вот радости будет у Маргариты Васильевны!

Кончили перетаскивать книги, присели на бревнышко. Николай Иванович повернулся к Мишке.

— Значит, потеря нашлась? — спросил неожиданно.

Мишка вздрогнул, подвинулся на бревне.

— Правильно сделал, что одумался, — продолжал Николай Иванович, — молодец. Отправляйся домой, мать обрадуй. Хорошая она у тебя, заботливая, а здоровье у нее неважное. Беречь ее надо. Ладно, беги.

Мишка не трогался с места. Ему всё казалось, что стоит только завернуть за угол, как там его обязательно перехватят Федька или Володька и что им известно, с какими мыслями приходил Мишка в школу, когда здесь судили отца. И о том, что полянину украдкой ел, что деньги стянул у матери. И Андрон, уж конечно, догадывается, — чего бы иначе ему с учителем-то шептаться? Соседи теперь — в огород кто залезет или в доме что потеряется, — все на Мишку укажут.

Но Володька и Федька даже ни разу не переглянулись, закурили оба при учителе. Андрон сел на телегу, уехал, а эти всё же остались. Ждут чего-то.

— Вот так, Михаил, — снова заговорил учитель. — Будем надеяться, что ты все эти фокусы бросишь. К добру они не приведут, а в тюрьму в два счета упрячут. Парень ты уже взрослый, сам понимаешь... Иди, помогай матери. И о том подумай, чтобы делу настоя-

щему выучиться. Увидим твое старанье, сами на место определим. Договорились?..

— А вам, друзья мои, строгий наказ, — говорил учитель комсомольцам другим уже тоном, когда Мишка ушел, — ни единым словом не напоминать парню про его прошлое. Где он болтался, с кем — не ваше дело. Нищенствовал, воровал, может быть и грабил. Сколько ему, лет пятнадцать? Возьмите его к себе.

И всё-таки не вовремя появился Мишка у калитки Денисова дома, — лучше бы переждать: не до беглого сына в тот час было Дарье. У крыльца толпились соседки, на все лады расхваливая белобокую рослую не-тель, — только что привела ее Дарья (получила по решению правления). Вот и сбежались соседки позавидовать. Тут и Улита, и Кормилавна, и Нюшкина мать. Девчонки успели натаскать травы, намешали пойла в ведерке, по спине, по бокам телки водят ладошками, нарадоваться не могут, а хозяйка стоит в середине круга, глаза платком вытирает.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Николай Иванович жил теперь в своем домике вдвоем со школьным сторожем Парамонычем. А Вальерка, как выписали его из больницы, так и остался в Уфе — в строительный техникум поступил, а пока, до начала занятий, в санаторий уехал по путевке. Пусто в доме, учителю и словом перекинуться не с кем, вот и сказал старику — перебирался бы тот из церковной сторожки в свободную угловую комнату. Парамоныч не заставил себя упрашивать, — в тот же вечер принес сундучок с пожитками, смастерил себе топчан за перегородкой, а через неделю-другую стал при учителе кем-то вроде заботливого дядьки: готовил еду, прибирал в квартире, вел денежные расходы по немудрёному холостяцкому хозяйству.

После того как с треском сняли Иващенко, разрубили напрочь змеиный клубок во главе с Ползутиным, Николай Иванович, как солдат, одержавший победу над коварным и сильным врагом, на некоторое время позволил себе расслабить волю и мускулы. И это было естественно и необходимо, как необходим отдых сол-

дату, позабывшему счет боям, дням и верстам. Да, это был бой — жестокий, кровопролитный, и продолжался он, не затихая ни на минуту, более десяти лет; начался и кончился в Бельске. И вот — победа. Победа, купленная дорогой ценой — жизнью дочери и жены. Если бы не Владимир Дымов, не быть бы в живых и самому учителю. Дымов — тоже солдат, проверенный в настоящем деле. И с ним целая гвардия комсомольцев — бойцов первого эшелона. А там — главные силы: Карп, Андрон, братья Артамоновы. Живая человеческая стена — армия. Гулко, как по булыжному плацу, она печатает твердый шаг.

Победа. Правое дело, за которое ратовал учитель, взяло верх. Но радости, такой, чтоб искрилась она в глазах, не было. Что-то тяготило Николая Ивановича, неясное, пока еще ни к чему не приравненное и не имеющее определенного названия. Учитель испытывал какую-то внутреннюю подавленность. И всё чаще и чаще обращался к тому, что уже было пройдено. В такие минуты, оставшись наедине, он закрывал глаза, видел себя молодым, каким уходил в армию, когда было ему двадцать пять лет. Потом гнилое болотное Полесье, яростные штыковые атаки «за веру, царя и отечество» и «Окопная правда», солдатские митинги, захлестнутый кумачовыми флагами Петроград. Юденич, Колчак и Врангель. Давно-давно это было. И опять бои, теперь с врагами незримыми, постоянное напряжение.

«Нет, браток, ты уж отвоевался, — говорил ему кто-то другой скрипучим, насмешливым голосом. — Посмотри на себя, посчитай морщины и шрамы. Ну выстоял, победил, а что ты за всё это получил? У тебя даже семьи не осталось. Ты — один, а в одиночку победу не празднуют».

— Пожалуй, ты прав, — вслух соглашался учитель со своим невидимым оппонентом, — в одиночку нет праздника человеку, нет даже отдыха. — И начал думать о сыне. Хорошо, что Жудра помог найти доктора, который заглушил у парня подозрительные пятна на легких. Всё рассосалось; кажется, миновала опасность и рецидива; во всяком случае, во время последнего разговора с профессором тот сказал, что самое страшное позади.

Валерий мечтает стать инженером, даже в больнице с задачкой по физике не расставался. Пусть учится, раз сам выбрал, пусть добивается своего. Инженеры нужны: весь Урал одевается в леса промышленных новостроек.

«Ну, а я уж здесь буду век доживать, в этой школе, — не в первый раз решительно заключал Николай Иванович. — Здесь мое место».

А невидимый не отставал. Он всё скрипел и ухмылялся ехидно. В полночь неслышным шагом приблизится к изголовью, уставится немигающими глазами. Гонишь его — не уходит. И дыму табачного не боится. И зудит, зудит. Что дальше, то хуже, навязчивее. И не только средь ночи, но и днем — в разговоре с Карпом Даниловичем или с Андроном — стал напоминать о себе. Правда, голоса своего в этих случаях он не подавал, перед глазами не маячил, но нет-нет да и кашляет где-то в сторонке, присвистнет многозначительно: здесь, мол, я, вижу.

От такого незримого и навязчивого собеседника нужно было избавляться, и как можно скорее. Вот тогда-то и догадался Николай Иванович позвать к себе жить Парамоныча. Старик он был разговорчивый, хлопотливый, минуты не мог посидеть без дела. Дрова под навесом колет, долотом, рубанком орудует, вечером ковыряет шилом старые сапоги. И всегда в зубах у него трубка, даже на ночь совал ее под подушку.

С Парамонычем веселее стало учителю. Дед всё время о чем-нибудь да рассказывал: про житье-бытье стародавнее, про солдатчину, бои-переходы, про зверей и птиц, водяных и леших. Иной раз, увлекшись, вспоминал солдатские песни времен Балканской войны с турками, вполголоса напевал их дребезжащим старческим тенорком. И не понять бывало иногда, где кончается у него сказка и начинается бывальщина, где припевка, а где сама песня. Говорил старик мудро и с меткими мужицкими изречениями и прибаутками, чтобы было над чем и подумать. И всегда так разговор повернет, что уж нет того хуже, чем состариться бобылем.

Слушал его Николай Иванович, посмеивался в усы, а того, скрипуна-то, не стало! Редко-редко когда шевельнется в потемках в дальнем углу.

Вернулась в Каменный Брод Маргарита Васильевна. С похвальной грамотой курсы окончила. Из Константиновки позвонила по телефону, попросила Николая Ивановича выслать подводу, — книги не донести, иначе не стала бы и беспокоить. Подводчик отправился утром, а после полудня учитель вышел за околицу и, сам не замечая того, оказался на большаке за Ермаловым хутором. Тут и встретились. Не ожидала Маргарита Васильевна этого, застеснялась, да и Николай Иванович чаще обычного принимался покашливать, мял в руках сорванную травинку. И разговорились не вдруг, молча шли по тропе, отпустив возницу, изредка вскидывая один на другого взгляды.

— Вы, наверно, посмеялись тогда над моей запиской? — заговорила наконец Маргарита Васильевна. — Я ведь поступила как школьница. Отдала записку милиционеру, а потом испугалась: ну что я для вас?

— Для меня? — Николай Иванович не сразу нашелся с ответом. — Почему для меня? И вовсе я не смеялся. Если хотите знать, я сберег эту вашу записку... А почему же вы не дождались в тот раз? Как это называется?

— Вы просто меня не заметили! Вспомните: вы спускались по лестнице с Жудрой и Мартыновым. И по вашим лицам я сразу же всё поняла. Раньше еще догадалась, когда черным ходом вывели на улицу арестованного Ползутину. Ну как, как не могла я припомнить это в больнице! Ведь видела я его там на стройке, когда МТС закладывали. И как с Артюхой он разговаривал. Никогда не прощу себе этого. А счетовод, счетовод-то наш мразью какой оказался. Страшно подумать!

— Страшно, — помолчав, согласился учитель. — Для меня, Маргарита Васильевна, это трижды страшно и непростительно.

Николай Иванович еще помолчал и добавил:

— Вот если бы на бюро спросили меня: «Почему вы, товарищ Крутиков, называя себя коммунистом, за столько лет не смогли распознать этого выродка?» — я сказал бы, что виноват. Вот за это я и наказан. Жестоко наказан. Всё правильно: не будь простофилей, сними розовые очки.

— «Розовые очки»? — повторила Маргарита Ва-

сильевна. Она даже остановилась при этом. — А разве были у вас такие?

— Выходит, что были. Такова уж интеллигентская наша натура. В чем-нибудь да обязательно не увидишь того, что другие видят и знают. Ну кто мне мешал поговорить по-хорошему с той же Улитой? Почему не подумал, что она прежде всего человек, а потом уж самогонщица? Вот это и называется, дорогая моя, политической близорукостью. Такие вещи надо называть своими именами.

— Не наговаривайте на себя лишнего, — незнакомым для Николая Ивановича тоном возразила Маргарита Васильевна. — Я, например, всегда думала и думаю, что вы разбираетесь в людях лучше других и обладаете редкой способностью видеть перед собой ясную цель. И я вам всегда завидовала, мечтала хоть чуточку быть похожей на вас.

— А теперь?

— И теперь завидую, — твердо ответила девушка. — Пусть вы ошиблись в ком-то, но вы же не дух святой. Вы работали не щадя себя, при жизни еще след на земле оставляете. И в душах людских.

— В душах?

— Да, в душах. Посмотрите вокруг. Разве это видели вы, когда подъезжали к деревне впервые? Вон ваша школа, вон клуб.

Николай Иванович снял и протер очки. Ему просто не верилось, что всё это слышит он от Маргариты Васильевны, которая, кажется, только вчера собиралась бежать из деревни. До отъезда в Уфу она и слов-то таких, пожалуй, не знала! А Маргарита Васильевна, точно угадывая его мысли, продолжала:

— Я благодарна вам больше всего. Если бы вы не удержали меня в тот отчаянный для меня вечер, не пристыдили бы, я никогда не смогла бы найти свое место в жизни. Но это я поняла только в Уфе, где рядом со мной учились девчата и парни из таких же вот отдаленных сел. Это подлинные энтузиасты. И не раз я ловила себя на мысли, что все они — ваши ученики. Я дала себе твердое слово... Нет, нет, я не то говорю.

Маргарита Васильевна дотронулась до локтя учителя, перевела дух.

— Я всегда мысленно с вами советовалась, — за-

кончила она неожиданно для себя самой, — задавала вопросы и сама же на них отвечала. Так, как вы бы ответили. Вот.

У Николая Ивановича собрались под глазами мелкие лучики морщинок. Он видел, что девушка волнуется, и это волнение передавалось ему, захватывало всё больше. И к чувству хорошей радости, которую испытывают при встрече давние друзья, исподволь и не приметно стало добавляться что-то более значимое, которому нет пока еще названия.

Маргарита Васильевна выглядела сейчас собраннее и строже, и от этого казалась стройнее и выше, была еще более женственной и обаятельной.

— Что же вы замолчали? — спросил Николай Иванович и опять снял очки. Ему подумалось, что вопрос задан глупо и совершенно некстати.

Но спутница Николая Ивановича, видимо, этого не заметила, — она была занята какими-то своими мыслями. Чуть запрокинув голову, она долгим, внимательным взглядом посмотрела на учителя и сказала, понизив голос:

— Хорошо, что вовремя удержалась.

— А что могло быть?

— Могла сказать глупость.

Николай Иванович пожал плечами; шел, поотстав на полшага от Маргариты Васильевны. Смотрел на нее и думал, что у нее всё впереди, что в ее годы и он вот также идеализировал некоторых людей, был романтиком.

«Плохо это, — рассуждал он далее, — очень плохо, когда человек, пусть даже и мысленно, говорит о себе «был». А что поделаешь? Оглянись на себя. Укатали сивку крутые горки. Как говорится, был да весь вышел».

Учитель еще более замедлил шаги. Это ведь не его слова! Это добавил тот, второй, который приумолк было при Парамоныче. «Что значит «был»? Значит, всё в прошлом. Значит, нет для тебя ни «сегодня», ни тем более «завтра». Такому человеку невозможно жить, он не сможет работать, — ведь для этого надо сказать «есть» и «буду». И не только сказать, — надо верить в это».

«Верил и верю, — доказывал сам себе Николай Иванович, — и всё-таки «был». «Был» потому хотя бы, что тебе уж за сорок и что ты остался один. Кроме работы у тебя всё в прошлом, а у нее вот всё еще впереди».

Долго шли молча. Так миновали лощину, небольшой перелесок перед Метелихой. Впереди показалась деревня. Подводы не было видно ни у школы, ни возле длинного пятистенника бывшего лавочника, а след тарантаса заворачивал от околицы вправо, к дому учителя. Тут их и встретил старик Парамоныч.

— С прибытием вас, Маргарита Васильевна! — начал он, раскланиваясь еще издали. — С приездом. Вещички ваши я на крылечке сложить велел. Потом сам же и отнесу. Не беспокойтесь. А сейчас с дороги-то отдохнуть полагается, чтобы не сразу за веник да тряпку браться. Наказал я с подводчиком — девки там приберут, а у меня и самоварчик готов. Не обессудьте уж — чем богаты, тем и рады. Не побрезгуйте нашим холостяцким угощением!

Торопливо закидывая свою деревяшку, дед направился к палисаднику, услужливо распахнул калитку перед Маргаритой Васильевной и с видом заговорщика подмигнул Николаю Ивановичу. А в комнате был накрыт стол, на тарелке — аккуратно нарезанная колбаса, невесть откуда взявшаяся пачка печенья, копченая рыба. На керосинке что-то шипело в закрытой сковородке. И в довершение ко всему, тут же на полу, возле керосинки, стоял щербатый глиняный кувшин, а в нем два огромных георгина — темно-бордовый и розовый.

— Как сейчас помню, в старорежимное время, это при царе еще то есть, — пристукнул старик костылем, — к нашему ротному господину поручику на боевые позиции самолично его богоданная супружница пожаловала из Питера. Так вот в те поры я коноводом при нем состоял. При их благородии — господине поручике. И был мне приказ — дух вон, а цветы чтобы были. Нашел! Под турецкими пулями доставил. Вот и мы с Николаем Ивановичем тоже... Полагается в таком разе.

Старик почесал себя за ухом, потом приподнял с полу кувшин. Маргарита Васильевна посмотрела в

лицо учителю, улыбнулась, и Николай Иванович улыбнулся.

Над селом опускался вечер. Солнце уже закатилось, оставив после себя расходящийся веер широких лучей и багряные гаснущие всполохи на краях облаков. В густолиственных кронах берез у церкви отчетливо проступали первые золотистые вкрапины. В настежь распахнутое окно из садов и полей вливалась бодрящая свежесть, напоенная сложными запахами ранней осени. Где-то, — должно быть, за озером или под облаками, — мелодично и грустно курлыкали журавли. Трубные крики эти раз от разу всё удалялись, становились слабее, печальнее.

— Улетают, — задумчиво проговорила Маргарита Васильевна, прислушиваясь к замирающим отзвукам. — Вот и я так же мучалась прошлой осенью.

— А сейчас? — спросил Николай Иванович.

— Вернулась, как видите. Я не могла не вернуться. — И посмотрела прямо в глаза учителю.

* * *

Торопился Андрон убрать яровые, круто пришлось поворачиваться. Не успели сжать рожь, перевезти снопы на гумно — овсы подоспели, пшеница пригнулась янтарным колосом. Клевера, горох, греча — всё требует рук. И озимь сеять, зябь поднимать, по кустам отаву подкашивать. Обошел как-то раз луга, проверял, не потравили ли стогов пастухи, — за Красным яром снова трава в колено. Наказал старику Мухтарычу не гонять туда стадо: лишний стожок по весне пряником окажется. Скотниц снял с полевых работ, косы велел приготовить. Подоили утром коров — и на луга. Клевер, горох, гречу — мужикам косить, на пшеничный клин — лобогрейку, на овес — старух. Можно бы и машиной овес убрать — соломы жалко: серпом-то пониже возьмут. Николай Иванович прав был: после собрания веселее народ стал работать.

Ночи не спит бригадир. Погожие дни упустить боится. Трактористы из МТС ворчать начали.

— Что мы — двужилые? — слышал не раз Андрон. — Железяке и той отдохнуть полагается от нагрева, иначе крошиться начнет.

Так и сегодня, — перед обедом заехал Андрон на Длинный пай, трактористы меняют масло. Осунулись оба — глаза да зубы. Тут же с ними прицепщики — Екимка, сапожника сын, и Владимир.

— Ну что, Степаныч, — обратился к нему Андрон, зная, что этот не станет жаловаться, — денька за три управитесь с клинушкой-то?

— Если бы в ночь пахать, можно и за два, — ответил тот, вытирая ветошью руки.

— А кто вам мешает? — шуткой спросил бригадир. Трактористы оба полоснули Андрона злобными взглядами. Тот, что постарше, выдавил через силу:

— Круто берешь...

— Тебя накормить хочу, дура, — хмыкнул Андрон, подбирая повод. — Стало быть, так и договорились: через три дня принимаю клин. Ну, я поехал, бог на помочь вам.

Владимир придержал коня за уздечку.

— Дядя Андрон, поговорили бы вы с механиком, — начал он, просительно заглядывая снизу вверх в насупленное лицо бригадира. — Ей-богу, не поломаю! Третий год топчусь вокруг этого «путиловца»; свечу заменить или фильтры прочистить — всё знаю. Сколько раз уже и с плугом один разворачивался. Пусть они днем на пару работают, мы — ночью с Екимом.

— Не пойдет на это механик, — хмуро сказал тракторист. — Машину, может, ты и впрямь не испортишь, а с выработкой волынка получится. На кого часы начислять?

— И не надо, — живо отозвался Владимир, — не нужны нам эти часы, пусть на вас всё и записывают. Верно ведь, дядя Андрон?

— Разве что так, — нехотя согласился перемазанный тракторист.

— Тогда и к механику ехать мне незачем, — заключил Андрон. — Парень-то дело говорит; давайте в три смены. За сверхплановые гектары особо начислю.

К вечеру снова заехал Андрон на Длинный пай; к тому, что раньше вспахано было, добавился изрядный клин. Трактор ворчал за перелеском, в стороне от бочек с маслом догорал костер, на сошке висели закоптелый чайник и котелок с остатками ужина. Трак-

тористы спали под телегой, тут же прикорнул и Екимка.

«Стало быть, в ночь на паю оставаться решили, — удовлетворенно подумал Андрон, видя, что трактористы уже поужинали. — А кто же там за прицепщика?»

Из-за ближайших кустов, попыхивая колечками сизого дыма, показался трактор. Поблескивая отполированными шпорами на высоких колесах и не сбавляя скорости, перевалил он через дорогу, натужился, как норовистый конь, и, отталкиваясь десятками невидимых лошадиных копыт, пошел ровно, оставляя за собой четыре перевернутых маслянистых пласта. Лоснились они в отвалах, рассыпались на комья, надежно укрывая опрокинутую стерню. Когда трактор поравнялся с телегой, Андрон пригнулся, подобрал горсть земли, сугулясь растирал ее в пальцах, делая вид, что ничего особенного он и не заметил: сидит на прицепе Нюшка, ну и пусть, — не всё ли ему равно?

Всё это так, для виду; Андрону давно известно, что сосед его зачастил вечерами ко двору Кузьмы Черного, а дочка Екима-сапожника в таких случаях старается побыстрее управиться со своими коровами. Руки вымоет, поправит кудряшки над бадейкой с чистой водой — и в переулочек.

Ничего не сказал Андрон Владимиру, когда тот остановил было трактор, намереваясь услышать что-нибудь от бригадира, не спросил и о том, почему Нюшка здесь оказалась, когда товарки ее на лугах докашивают отаву. Краешком глаза видел — зарумянились щеки у Нюшки, а Дымов сидит за рулем заправским механиком. Это уже не подросток и не просто парень с пушком на губе — настоящий работник, мужик. Махнул бригадир рукой — поезжайте! — и вздохнул беспричинно.

«Где двоим хорошо, третьему не надо показывать, что он видит это, — подумал Андрон. — Пусть подольше прячут они свою радость; на людях-то вянет она».

Опустил Андрон еще ниже голову, вел коня в поводу. Дуняшка припомнилась и суровые слова попа Никодима: «Казнись теперь!» На опушке ельника лицом к лицу с председателем Карпом Даниловичем столкнулись. Рядом с Карпом — Егор.

— Вот и мы теперь с агрономом! — начал Карп,

хлопая по плечу Егора. — Свой, нашенский: так-то оно надежнее, верно, Савельич? Обошли озимые в первой бригаде, проклюнулись чисто. А как у тебя?

Вчера только объезжали вместе озимый клин бригады, знает Карп, что и у Андрона всходы не хуже, чем у соседа, местами погуще даже, но раз уж так хочется председателю не ударить лицом в грязь перед своим ученым земляком, бородач развел руками: смотрите, мол, сами.

— Вроде бы ничего, — сказал он при этом. — Дождичка бы сейчас теплого: как щетка, полезла бы.

Егор в разговор не вмешивался, — и это Андрону нравилось. Шел, поотстав на полшага, а когда миновали лесок и впереди раскинулось озимое поле второй бригады, присел на меже, выдернул хрупкие бледно-зеленые стебельки, на ладони расправил пальцами ниточку корня.

— Загущенный сев не всегда дает то, чего мы ожидаем, — начал он. — В лучшем случае одно зерно два-три стебля выбросит.

— А ты что захотел, чтобы десять было? — спросил Андрон не особенно дружелюбно.

— Двенадцать, и колос на каждом в четверть! — помолчав и глядя прямо в глаза бригадиру, ответил Егор. — На нашей земле получать надо не по восемьдесят, а трижды по столько пудов с гектара!

— Ну, это ты, знаешь, при народе где-нибудь не сбрехни.

— А вы не смейтесь, дядя Андрон, — с незнакомой и, как показалось Андрону, жесткой ноткой в голосе отозвался Егор, — дайте мне на вашем поле опытный участок.

— Припоздал ты малость, — не меняя тона и уже не скрывая нахлынувшей неприязни, продолжал Андрон. — Авось будущей осенью и поучишь нас, дураков, как рожь высевать, а теперь — не взыщи. Припоздал, говорю; видишь — посеяно!

Андрон рывком вздернул повод, грузно упал животом на седло. Уехал, не попрощавшись.

— Горяч, горяч ты не в меру! — укоризненно выговаривал Карп новому агроному, после того как Андрона не стало видно за кустами. — Можно бы и по-другому о том же самом сказать.

Егор упрямо мотнул головой:

— Знаю! Насквозь его вижу: жил куркулем, и сейчас таким же остался. Ни он — ни к кому, ни к нему — никто.

— Это ты брось! — назидательно повысил голос Карп. — Добром тебе говорю: помирись с Андроном; за коренника он у нас. И нутро у него человеческое. Не дури.

— Человеческое! — горько усмехнулся Егор. — Кому вы рассказываете, дядя Карп? Шерстью медвежьей заросло нутро-то у него!

— Ладно, не об этом речь, — минутой позже, другим уже голосом продолжал задетый за живое Егор. — Не для красного слова я про триста пудов сказал. С месяц тому назад, перед экзаменами, ездили мы всей школой в опытное хозяйство. Своими глазами видел: пятнадцать стеблей от одного корня, триста пудов с десятины!

* * *

Вечерело. Огромный оранжевый диск солнца медленно опускался за маковки елей, золотистые стволы сосен погружались в наплывающий из низин полумрак. Над полями и перелесками у излучин Каменки с торопливым посвистом узких крыльев проносились утиные выводки; где-то вдали, на болоте, трубными призывными голосами перекликались журавли; вода в озере стала еще позрачнее.

Хорошо теплым вечером пройтись по лесной опушке, пройтись одному, ни о чем не думая, хорошо, когда прожито всего-навсего девятнадцать лет. В этом возрасте всё улыбается человеку: и лес, и река, и пушистое облачко, что задержалось над озером. И человек улыбается всему, что его окружает, и себе самому — своей удали неумемной, затаенным помыслам и делам, пусть еще не свершенным. Хорошо одному, но еще того лучше, когда по тропе идут двое.

Чтобы дойти до деревни от того места, где оставил Андрон трактористов, нужно затратить час. Без счета, как себя помнит, хаживал этой тропой Владимир: обед носил, сначала на жнивье, а потом уж и к трактору, когда сам стал работать; миновал косогор с березняком, по жердям махнул через Каменку — вот

тебе и огороды Озерной улицы. С завязанными глазами пробежал бы за полчаса. В первый раз вот так получается, что идут-идут, а тропе и конца не видно, и не хочется — ох как не хочется, чтобы деревня вдруг показалась!

А всему причиной она — Нюшка. С того самого дня, как судили Артюху, понял Владимир, что Нюшка имеет над ним какую-то силу; тянет она его, дразнит, а сама увертывается. Смотрит издали, манит, а вдвоем остались — глаз на нее не поднять: строгая. И откуда что взялось! Давно ли по носу щелкал, на переменах за косы дергал? Попробуй сейчас! Поведет глазом — и пальцем не шевельнешь, молчит — и тебе слова не выговорить, а смеяться примется — и сам не удержишься, дурак дураком. Сердился на себя за это Владимир, а поделаться с собой ничего не мог: уж больно хороша была Нюшка, когда смеялась. Залюбуешься!

Вот и сегодня, после того как уехал Андрон, договорились они со старшим трактористом, что Владимир сядет за руль с полночи. Екимка отправился было домой за хлебом, и вот тебе Нюшка с подругами — «хотим на тракторе прокатиться!» — и одна за другой на крыло карабкаются. В другое бы время шугнул их Владимир, не дожидаясь, пока тракторист слово вымолвит, а тут согласился:

— Ладно уж, до леска провезу.

Ну и поехали. Довез до леска — не слезают; дал полный круг — двое спрыгнули, а Нюшка осталась.

— А что, если я попробую на плуг пересесть? — спросила она улыбаясь. — Братец-то задается уж больно, а если и я сумею? Ну хоть маленечко, хоть до дороги.

— Свалишься, чего доброго, — пытался отговорить ее Владимир, — да и раму тебе не поднять: четыре отвала — не шутка!

— Подниму! Трогай! — А сама по-прежнему улыбается.

Как тут откажешь? Выжал Владимир сцепление, повернулся боком, полегоньку тронул, всё смотрел, как она с рычагами управится. Всё правильно получилось у Нюшки: лемеха, как нож в масло, в землю врезались, поднялись тугие пласты на отвалах, опро-

кинулись и ровно улеглись один к другому. Нюшка смеется от радости.

Вот и дорога проезжая; повернулся опять Владимир на своем сиденье: Нюшка всем телом повисла на рычаге, изогнулась, лемехи вышли наружу в придорожной меже, а за накатанной колеей снова ушли в землю. Поехали дальше. И так до тех пор, пока солнце не склонилось к закату, пока тракторист не поднялся. Выспался, подобрел, на меже поднял руку:

— Ладно, парень, слезай. Приходи ужо утречком, отдохни в деревне.

— Девку-то запылил — посмотри, на кого похожа, — ворчливо говорил он, минутой позже усаживаясь на место. — Отмачивать теперь надо!

По дороге к дому поле гороховое попало, отбежала в сторону Нюшка, пригнулась, с головой упряталась в перевитые длинные стебли; прыгают в глазах у нее озорные бесенята.

— Помню, маленькая была, знаешь, как страшно в чужом горохе!

— Эка важность — в горохе! Со мной и похуже бывало.

Дальше шли по кустам с охалками зелени, вылущивали из стручков горошины. Те, что покрупнее, помягче, Владимир незаметно собирал в руку, сыпал потом в протянутую ладошку Нюшке.

— А из стручка сразу — слаще! Вот так. — Нюшка находила стручок, зубами срывала верхнюю спайку, чуть прикусывала у пальцев раздавшиеся створки стручка и выдергивала его прочь.

— Верно ведь, слаще? Эх ты, не умеешь!

За кустами — сосняк. Мерно покачиваются густые, раскидистые вершины. Кажется, вспоминают сосны что-то свое, далекое, стертное временем. Владимир замедлил шаги.

Тропинка вильнула на луговину, нестройный шум сосен заглох, на смену ему нарастал kloкочущий рев Красного яра. Розоватая дымка, как всегда, колыбалась над омутом, внизу билась, негодовала Каменка. И здесь не хотелось разговаривать громко: неумная сила воды останавливала разбежавшиеся легкокрылые мысли, направляла их в сжатое русло. И мысли

становились другими — весомее, с резкими гранями. Это уже не мечта — раздумье.

В полверсте вниз от Красного яра Каменку можно вброд перейти, там же на трех столбах — жерди положены, а еще подалее опять котловина с мелким промытым песком по берегу.

— Пойдем искупаемся, — предложил Владимир.

— Скажешь тоже! — Нюшка пожала плечами. — Как же я при тебе купаться-то буду?

— А кто нас увидит?

— Купайся, я подожду.

На берегу Нюшка скинула кофту, разулась, зашла по колено в воду, вымыла руки, шею. Владимир плескался на середине реки. Когда надевал рубаху, она скаталась валиком на плечах.

— Подожди, поправлю, — сказала Нюшка и долго смотрела на розовые наплывы над левым соском. Осторожно притронулась пальцем, шепнула одними губами: — Бедный ты мой!

Владимир приподнял ее голову, заглянул в глубину потемневших глаз:

— Почему это «бедный»?

— Так... — Нюшка вздохнула. — Помнишь, в больницу к тебе приходила. А ты? Если бы вот со мной так же самое... Пришел бы?

Обнял Владимир Нюшку, крепко прижал к себе. И она обвила его руками.

* * *

В этот же вечер, возвращаясь к деревне лесной тропой от барского дома Ландсберга, шли еще двое: Николай Иванович и Маргарита Васильевна.

— Действительно прекрасная мысль, — говорила девушка. — Электростанция на Каменке и санаторий «Колхозник» — это, право же, замечательно! Я уже вижу всё это!

— И как вам оно представляется? — спросил учитель.

— Как? — Маргарита Васильевна мечтательно улыбнулась. — А вот так... Я пока о санатории... барский дом полностью восстановлен. Здесь — главный корпус: палаты для отдыхающих и столовая. Пруды

очищены, на озере — лодочная станция. У пруда и в аллеях парка — красивые беседки. В санатории — постоянный штат врачей, уютные комнаты. И отдыхают здесь, лечатся рядовые колхозники по бесплатным путевкам.

— И как скоро это осуществится?

— А почему вы меня об этом спрашиваете? Разве мне первой пришла в голову эта мысль?

— Ну а всё-таки?

— Если вашим предложением заинтересуются в Бельске, а то и в Уфе, годика через три-четыре будем праздновать открытие.

— А я думаю — раньше, — заражаясь оживленностью Маргариты Васильевны, подхватил Николай Иванович. — Вся округа поднимется. И я тоже вижу, но пока еще только штабеля бревен на усадьбе, печников и плотников. С этого ведь начинать будем. Огромная предстоит работа. Дух захватывает!

— А как же с очками? — не переставая улыбаться, спросила Маргарита Васильевна.

— С какими еще очками?

— Вот я вас и изловила на слове! — Маргарита Васильевна забежала вперед и, круто повернувшись, остановилась перед учителем, откинула голову. — Я говорю о тех самых интеллигентских розовых очках, которые, по вашему мнению, мешали вам видеть настоящее дело. Вспомните наш разговор, когда вы сетовали на какие-то ваши, присущие всем интеллигентам, отрицательные качества. Так вот я тогда еще сказала вам, что это — напраслина. Мечтательность — не беспредметное фантазерство. Да пусть даже и так, всё равно это лучше, чем видеть вокруг себя только черное. Ведь я на себе это испытала. И не вы ли мне говорили в свое время: «Раз взялись за гуж — вытянем!» Сумбурно я говорю, правда?

— Нет, нет, почему же. Смысл я улавливаю, — поспешил сказать Николай Иванович.

— Не понравились вы мне в тот раз, — теперь уже без улыбки продолжала Маргарита Васильевна, — не тот это был Николай Иванович, с которым мысленно я советовалась в Уфе. А вот сегодня — тот! И этому Николаю Ивановичу я во всем, абсолютно во всем, буду помогать. И учиться у него умению мечтать. Вот

как сегодня. Мечта окрыляет и многое сбрасывает со счета.

— Вот даже как!

— Да.

Николай Иванович положил обе руки на узкие плечи девушки, заглянул ей в глаза, сказал по-товарищески коротко:

— Рад за тебя, Маргарита! Рад видеть тебя такой изменившейся.

— И я рада, — не отводя своего взгляда, твердо проговорила она. — Рада, что буду работать с вами, видеть вас. Я... я заменю вам всё, что вы потеряли.

* * *

Всё до последнего колоса подобрал Андрон на полях своей бригады, пар поднял с избытком, яровые обмолотил. Напоследок помог Роману с картошкой управиться. В первый раз получили колхозники по килограмму на трудодень — о деньгах и разговора в те годы не заводили. Колхоз понемногу начал освобождаться от задолженности по ссудам, полностью рассчитался с МТС, обзавелся своими семенами на весну. Карп Данилович оказался хорошим хозяином; настоял на заседании правления отложить кое-что про запас: хлеба, сена, картофеля (можно и больше бы выдать на трудодень, да ведь надо и о завтрашнем дне подумать!). По-новому рассудили и то, как быть с дровами на зиму: в своем лесу назначили обходчика. Надо дров — подбирай валежник, вырубай кусты на лугах за Каменкой: деревцо-то, особенно елку, лет пятьдесят, если не больше, ждать надо, пока из него строевое бревно получится. Строиться нужно колхозу, на государственный фонд нечего рассчитывать. Там тоже ведь по годам всё расписано!

Принялся за дело и агроном. Вечерами, по средам и пятницам, собирались в школе парни и девушки; толковал с ними Егор об основах агрономии. Учительница по ботанике и химии опыты разные показывала. И опять извлечен был из шкафа волшебный фонарь, с которым когда-то начинал свои первые лекции Николай Иванович. Маргарита Васильевна подбирала для него пластинки, меняла их по ходу беседы. А к

началу занятий в школе и Валерка приехал. Парень вытянулся, повзрослел. И у него над верхней губой темноватый пушок означился.

После стычки с Андроном Егор долгое время не показывался на Верхней улице, копался в своем огороде и никому не говорил, что он делает. А потом всё выяснилось: за тыном Петрухиного огорода взошла озимь, да не просто посеянная, не вразброс и не рядками, как при машинном высеве, а отдельными кустиками, и были эти кустики расположены один от другого на три вершка. Так и под снег ушла эта грядка. Когда об этом стало известно Андрону, он хмыкнул по своему обыкновению, запустил пальцы в бороду:

— На грядке-то, может, оно и получится, а у меня вон на одном Длинном паю почитай четыреста десятин!

Андрон в тот вечер долго держал на коленях внука, ворошил загрубелыми пальцами шелковистые волосенки на его затылке. Отнес потом сонного на кровать, — зыбку давно уже выбросили: парню четвертый год. Умный парень растёт, не по годам понятливый. Другие-то в это время говорят не поймешь что, а этот пришел как-то с улицы, залез на колени к бабушке да и спрашивает: «Баб, а баб, а кто меня выродил?»

Сутулился у окна Андрон, комкал бороду, а на другом конце деревни у другого окна так же сидел Егор. В избе давно все уснули, а он сидел и смотрел в заполненный тьмой переулок, механически гладил рукой по лакированной выгнутой шее игрушечной лошади, — сыну привез подарок из города.

И Дарья не спала, — второе письмо получила от мужа: к Новому году приедет. На полатах ворочался Мишка, — этот ждет не дождется. Всем четверым — Андрону, Егору и Дарье с Мишкой — ночь показалась длинной. Такой же тягучей и неуютной была она и для попа Никодима, и только два человека — Владимир и дочка Екима-сапожника — не заметили, как она пронеслась. Легким вздохом лесным, ветерком залетным пролетела для них эта ночь...

Вот и зима, снова курятся дымки над трубами, луна проплывает над лесом, на Метелихе — допоздна

ребятишки с салазками. Зима сытая, с брагой и свадьбами, с перебором двухрядки. Опять замело дороги, почтальону беда с газетами, — первый след по утрам ему пробивать.

Как-то шла Кормилавна с водой от колодца — почтальон повстречался, на усах сосульки.

— На́, покажи хозяину, — сказал, хлопая рукавицами, — про него тут прописано!

Не поверила Кормилавна, однако газету взяла, желобком свернула — и в рукав. Дома поставила на скамеечку ведра, чугунок с картошкой к огню сунула, угольков в самовар, отогрела озябшие пальцы. Развернула газетину и руками всплеснула: бородища Андронova заняла полстраницы. И брови его — козырьками лохматыми, и глаза, и плотно сжатые губы. А одна половина лица от самого носа черная.

— Да за что же его едак-то изувечили? — опешила Кормилавна, глядя на темную щеку мужа. — За-всегда лицо было чистое, а ето что же такое — как есть голенище, да еще и воспинами изрыто! За что едак-то?

Андрон снег отгребал за воротами, в избу вошел медведем заиндевелым. Крякнул, сбрасывая полушубок:

— Жмет, одначе. Добро!

— Какое уж там добро, — всхлипнула Кормилавна, — глянь-ка вон, что они с тобой сделали! С клеймом — чисто каторжный! Ладно уж кабы пьяница горький или конокрад какой...

— Да про што это ты?

Кормилавна указала на газету, и губы ее обиженно вздрагивали.

— Совсем ты одурела, — от окна уже прогудел Андрон. — Тут прописано «Добрый сеятель», а вовсе не конокрад.

— До того, что прописано, мне и дела нет! — не сдавалась Кормилавна. — Ты на косицу, на щеку-то левую глянь!

— Ох, горяшко ты мое! — сейчас только догадался Андрон. — Да это от света, дура! Тень это на левой-то стороне!

Старательно перечитывал Андрон написанное о нем, временами хмурился, прокашливался густо, по-

сле того сложил вчетверо газету, перегнул ее еще раз и упрятал в угол за иконы.

С этого и начались неприятности для Кормилавны. Через неделю, не больше, потребовали Андрона в город, «к начальнику», как говорила Улита, — в райком, а на святках зашел Николай Иванович и с ним еще какой-то приезжий.

— Ну что ж, бригадир, собирайся! Один от всего района поедешь, — радостно улыбаясь, говорил учитель. — Не каждому такое везенье.

Кормилавна у печи стояла, ничего понять не могла: куда опять посылают Андрона и чего это Николай Иванович так радуется. А тот подошел к Андрейке, пощекотал его пальцем, поднял с полу на руки:

— Наказывай деду конфет привезти и игрушку хорошую! Знаешь, куда он поедет? В Москву! В самый Кремль!

И поехал Андрон на съезд. В феврале того года собирались в Москве хлеборобы — ударники колхозных полей.

* * *

Мишка работал на скотном дворе — помогал матери. По утрам убирал навоз, качал воду в котлы водогрейки, возил сено. И всё это молча, соглядкой исподлобья. В первый же день мать сказала: уходи, откуда пришел, или работай, жрать не получишь иначе. В доме все его сторонились, сестренки пугливо жались по углам и за стол не садились вместе, пока мать не прикрикнет. Прожил дня три чужаком и отправился на двор своего раскулаченного деда Кузьмы. Там уже всё по-другому: в самом доме лавка кооперативная, тут же и продавец живет приезжий, во дворе — коровник на полсотни голов. Про это знал Мишка, а вот своего хуторского дома не думал увидеть: стоит он на заднем дворе, только пониже стал венца на два, перегородкой дощатой перегороджен и на всю первую половину — плита с тремя десятиведерными котлами. Когда заканчивал убирать в стойлах, заходил в водогрейку, забирался к трубе на котельные крышки, грелся. Случалось, и спал тут же, а больше думал — про отца, который должен скоро вернуться, про деда.

Вечерами пробирался за перегородку, садился к столу, прижимал к вискам наушники. В это время в клубе включали приемник, — комсомольцы протянули проводку по избам. И на скотный двор тоже. В клубе-то хорошо слышно, а здесь и слов не понять; всё равно слушал Мишка, особенно когда музыка.

Приходила Улита, поднимала крик; полной хозяйкой распоряжалась она по всему двору, только на мать голоса не поднимала, затихала при ней. Мишка старался понять, чем же это мать его от других коровниц отличается, почему ей не перечит даже Улита. Понял и это потом: старанием в работе отличается мать — и коровы у нее сытые, и телята не дохнут.

Изредка наведывался Андрон. Пройдет по коровнику, матери два-три слова буркнет, и опять неделю не видно его. Один раз сам подозвал Мишку, на крышке котла развернул обернутую в газетку тетрадь:

— Распишись, тут твоя выработка за три месяца.

Мишка глазам не поверил: шестьдесят два трудодня!

— За мать я не буду расписываться, — сказал Мишка и положил карандаш.

— За себя, — подтолкнул Андрон. — У Дарьи Кузьминишны на другом листе.

Присмотрелся Мишка — верно: фамилия его и имя, всё честь по чести, как у большого, даже с отчеством. Послюнявил огрызок, расписался. Когда из бригадного амбара хлеб выдавать начали, и Мишке без малого четыре пуда отвесили. Вот уж не думал!

В два раза отнес домой заработанное. Нарочно до вечера ждал, когда у ворот мужики покуривали, у колодца бабы с ведрами собирались. Тут и Федька попался навстречу, — видать, от Володьки шел.

— Чего тебя в школе не видно? — спросил без ухмылки. — Кто работает, двери тому не закрыты. Чего барсуком-то сидеть?

Дома, ссыпая в чулане зерно, сказал матери:

— Мам, а мам, может снести в кооперацию пуда три? Вытяжки там яловые на сапоги за хлеб продают. Еще заработаю — отдам.

— А чего нам делиться-то, — ответила из-за двери мать. — Все оно на семью заработано, и твое и мое. Думай сам, чего тебе надо, а по-моему, лучше бы

пиджак справить. Наведывалась я к Фроловне — сошьет между делом.

Показалось Мишке, что дрогнул у матери голос при этом, давно так-то не говорила. И за столом в этот раз как-то всё по-другому было, веселее. Ел Мишка свой кусок; как старший в доме, выпил лишнюю кружку чаю, закурил при матери. Ничего не сказала Дарья, — пусть курит, украдкой-то хуже оно получится может.

На другой день сестренка пристала, — задачка у нее не выходит с дробями. Мишка и сам позабыл их, однако часа полтора пропотел над тетрадкой, — вышло. Мать всё это видела; подошла, погладила по плечу жесткой ладонью, и от этой молчаливой материнской ласки несказанное тепло разлилось в груди Мишки. В первый раз заговорила совесть и выступили на глазах слезы. Захотелось рассказать матери обо всем: и про то, как били на станции, как татарин хлестал кнутом, и про попа, и что ограбить хотел его, вместо того чтобы доброго слова послушать. Но рассказать не смог... Чтобы сестренка не увидела вдруг покрасневших глаз, пригнул еще ниже голову, спросил грубо:

— Понятно теперь? Ворон на уроках-то ловишь!

Подобрел Мишка: и дрова в избу, и воду с колодца — всё носит, без указки. Когда матери недосуг — и печку растопит, нетели корму задаст. По воскресным дням в клуб заглядывал, книжки начал домой носить. Однако парней, тех, что с Дымовым, сторонился: всё казалось, что смотрят они на него не совсем-то добрыми взглядами. С Николаем Ивановичем раза два встречался.

— Помогаешь матери-то? — спросил учитель.

— Помогаю, Николай Иванович! Теперь мы живем хорошо! — И зашагал по улице, как настоящий работник: шестьдесят трудодней не шутка. А ночами ни с того ни с сего нападала тоска: как-то будет с отцом. В колхозе он не останется, да и не примут сразу, если проситься будет. Опять — пинки, подзатыльники. Кому на него пожалуешься, — отец. И мать, верно, то же самое думает. Всё понимает Мишка, по глазам ее мысли видит. На чью сторону сын повернет, — вот о чем думает мать. А Мишка и сам не знает...

Как и писал отец, к Новому году выпустили его из тюрьмы, а тут и еще гость нежданный: отбыл срок высылки дед Кузьма. Вместе домой приехали. Вернулся Мишка с работы — сидят они за столом, водку пьют. Глянул парень на мать — опять в лице у нее ни кровинки, как в тот раз на хуторе, когда взяли отца.

Дед мотнул бороденкой, протянул костлявую руку с черными загнутыми ногтями, больно сжал локоть:

— Поклонись отцу-то, обойми! И ты, похоже, не рад? Кланяйся!

Мишка вывернулся из жесткой клешни деда.

— Здравствуй, папая, — сказал хриплым голосом.

— Не так надо бы. — Отец кривил в пьяной ухмылке слюнявые губы. — Как тебя дружки-то теперешние учили? «Про такого и знать, мол, не знаю, потому — контра!» Говори, сучий выродок, так учили?! — со всего маху ударил кулаком по столу.

Пашане хотелось покуражиться перед тестем, показать, что его боятся, что хозяином в дом вернулся.

— Чего разорался-то? — вступилась за Мишку мать. — Не успел через порог ступить, налил zenки и снова за старое? Ты не у него — у меня спроси: знаю ли я такого! И захочу ли еще под крышу принять?!

Дарья говорила вполголоса, чеканя каждое слово. У Мишки глаза округлились, Кузьма огурец выронил на колени, а отец так и остался с открытым ртом.

— Доедайте, что подано, и — с богом, — тем же тоном добавила Дарья, указывая на дверь. — Слов нет, рада с обоими свидеться, но без вас лучше было. Вот так.

Дед подскочил как ужаленный, закричал страшным голосом:

— Ты кому ето... кому слова выговариваешь такие! Вожжей захотела?!

Пашаня силился встать, шарил растопыренной пятерней по стенке. С печи горохом посыпались ребятишки, с воем окружили мать. Дарья повернулась к зыбке, взяла на руки маленького, выпрямилась:

— Бейте! Бейте, ироды. Только знайте: за меня теперь вся деревня заступится. В ногах у меня оба напозаеются, а я вам в хари буду плевать! Ну чего ты таращишься? — передвинулась шага на два к Паша-

не. — Ударь! Не ты ли в тюрьме еще рукава закатывал, дурь вышибать обещал? Бей!

Мишка не слышал последних слов матери, не видел ее лица с пламенеющими глазами, как был — без шапки, так и бросился в сени, захлебываясь в колючей поземке, бежал в правление. На площади круто повернул к школе, — из окон ее лился голубой ровный свет.

— Там... мать убивают! — с порога выдохнул в класс и прижался виском к высокому гладкому косяку.

Обратно бежал с парнями, спотыкался, боялся отстать. У крыльца присел на приступок — задохнулся. Когда вошел в избу, мать всё так же стояла у зыбки. За столом, там, где до этого сидел дед, усаживался Дымов, опередивший Мишку. Передвинул пустые бутылки, шапкой Кузьмы смахнул пролитое на клеенке, подобрал с полу опрокинутую солонку. Выждал, пока у самого дыханье уляжется, отбросил со лба мокрую прядь темных волос.

У Кузьмы и Пашани хмель как рукой сняло. Смотрел Мишка то на отца, то на деда: у обоих губы трясутся. Особенно неузнаваем стал дед: сжался, сгорбился, хочет достать из кармана кожаный бумажник и опять засовывает его обратно. И у отца щеки зеленые, пот на висках горошинами.

Никогда не думал Мишка, мысли не мог допустить, что придется ему просить помощи у комсомольцев, — кому-то охота в чужие дела ввязываться! И вот как оно получилось: на родного отца пожаловался! И кому?! Давно ли считал Меченого лютым своим врагом, спал и во сне видел, какую бы учинить ему пакость? А отец — разве это отец? И никто не учил Мишку, чтобы отказался он от отца. Сам придумал.

— Документ, — сказал наконец Владимир, уставившись на Пашаню. — Документ, говорю! А ты не юли, — отмахнулся, не глядя, на бывшего лавочника, — я пока с зятьком твоим разговариваю. Так... А почему в сельсовете не отмечено? — спросил, изгибая бровь и положив перед собой бумажку, переданную Пашаней. — Ты что? Отсидел годок, и думаешь, в го-

лубинные перья оделся? А этапом не хочешь на прежнее место?!

— А я... я и пальцем ее не тронул, вот святой крест! — гнусавил Пашаня.

— Скажи — не успел, — поправил кто-то за спиною Мишки, — не пальцем бы, а поленом. По старой-то памяти.

Обернулся Мишка — за спиною его стоит Карп Данилович.

— Ну вот что, — сказал председатель, выходя на середину избы, — документы давайте мне, а утречком — в сельсовет. Ты уж им дай переспать-то здесь, Дарья Кузьминишна: они теперь смирные будут.

Карп Данилович кивнул комсомольцам; сгрудились они у дверей, надевая шапки. Когда шаги парней замолкли под окнами, еще раз обратился к Дарье:

— Дай переспать, говорю. Завтра мы с ними разберемся. Дело твое, конечно, как ни кинь — родственники, а всё же, мне думается, надо правление собрать. Если людьми вернулись, может, и разрешим в деревне остаться.

С тем и ушел председатель. Кузьма и Пашаня сидели пришибленными. Дарья бросила на пол дерюжину, в изголовье шубейки ребячьи, нехотя выдавила:

— Спите, гости долгожданные!

Потом уложила на своей кровати девчонок, укрыла их потеплее, сама повязалась шалью.

— Пойду я, сынок, — потеплевшим голосом сказала Мишке. — «Красавка» должна отелиться, запрись тут.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поезд в Москву прибыл ночью. Андрон переждал, пока освободится от узлов и чемоданов узкий проход между полками, подтянул покрепче кушак на дубленом романовском полушубке, распустил черную бороду с густыми прожилками седины по бокам, прихватил под мышку суму из новой беленой холстины с подорожниками, напеченными Кормилавной. Из вагона вышел последним. Там его ожидали попутчики Хурмат и еще один татарин из соседнего района;

так уж договорились — вместе дорогу в Кремль спрашивать.

На перроне — сутолока. Матовые шары на столбах окутаны морозным паром. Впереди, во всю ширину огромного сводчатого переплетения металлических балок, на которых покоится крыша, откуда-то свисает с добрый полог кумачовая скатерть. Надпись на ней аршинными буквами: «Добро пожаловать, товарищи делегаты! Слава хлебобобам-ударникам!»

— Слава-то слава, а где ночевать? — вслух подумал Андрон, задерживаясь под лозунгом. — Встретят, сказывали, да разве тут разберешься, кто, куда и зачем!

От чугунной литой решетки отделилась тоненькая девичья фигурка. До того приплясывала на одной ноге, дула в посиневшие кулачки. Голоском первоклассницы пискнула:

— Вы на съезд, товарищи? Пойдемте, провожу вас к машине!

При слове «товарищи» Андрон приподнял лохматые брови, пригнул несколько набок голову, сверху вниз глянул на вздернутый остренький носик, прогудел миролюбиво:

— Проведи, проведи, птаха — московская жительница. Сама-то не трусишь ночью дорогу домой потерять?

— В Москве, дорогой товарищ, днем и ночью светло одинаково! — ответила «птаха».

— Шустрая ты, иначе! Ну ладно, веди.

Шофёр разговорчивый попался, провез по ночной Москве, называл дома, улицы, возле Кремля проехал и потом уж только остановился у подъезда серого многоэтажного дома с такими высокими дверями, что Андрон отступил на полшага, прежде чем взяться за резную полированную ручку. Шел по широченной мраморной лестнице, стараясь не ступить на ковер; в номере попросил, если есть, принести табуретку, — в кресло сесть не решался: под чехлами всё отутюженными, а кровать пружинная — под шелковым голубым одеялом. Как на такую мужику ложиться?

Татары растерянно озирались, потом один из них — приземистый, крепко сбитый, лет сорока пяти, с курчавой, аккуратно подстриженной бородкой и черны-

ми, чуть раскосыми глазами — махнул рукой, широко улыбнулся.

— Ничего, — сказал он, обращаясь к Андрону и обнажая два ряда белых зубов, — теперь мы хозяин! Раньше канюшня валялся, сейчас Николашкин кровать спим! — И быстро-быстро проговорил что-то по-своему Хурмату, прищелкивая языком и всё так же оставляя открытыми крепкие, плотно посаженные зубы.

Хурмат положил в угол у двери котомку с привязанным к ней медным чайником, движением плеч сбросил грубошерстный домотканый чапан. Андрон развернул на столе тряпицу, выложил пироги, кусок сала.

— Садитесь, иначе, — пригласил он соседей по номеру. — Сегодня мое, завтра — ваше. Свинину-то будете есть?

— Теперь всё можно! — весело отозвался татарин с бородкой. — Утыр, инде Хурмат! — распорядился он, кивая медлительному приятелю. — А это как? — И поставил на середину стола нераскупоренную бутылку.

— С дороги оно позволительно по стаканчику, — согласился Андрон. — Не проспять бы только.

— Ничего! — еще раз махнул рукой словоохотливый земляк. — Большой разговор рано не начинают!

Проспать Андрон, конечно, не мог: по извечной мужицкой привычке встал затемно, а делать нечего. И сосед, тот, что постарше, проснулся. Перекинулись парой слов, — томит безделье. Не сговариваясь, потянулись к шапкам.

На улицах дворники подметали панели, мороз пробирался за ворот. Рабочий люд торопился к трамваям. Местами в глухих дворах, по тупикам, в проездах на обжигающем сквозняке, жались друг к другу закутанные в шали женские фигуры.

— Не ахти как завидно рабочий-то класс живет, — в раздумье проговорил Андрон, — за хлебушком очередь. Неужели и карточки всё еще не отменены?

* * *

Большой разговор начался во второй половине дня. Пока выписывались пропуска, делегатов по группам провели вдоль кремлевской зубчатой стены, показали

мавзолее Ильича. Андрон старался держаться поближе к экскурсоводу, напоминал, что Красная площадь потому так названа, что с давних времен красна Кремлем и собором, и еще красна от пролитой человеческой крови. Сколько непокорных мужицких голов скашивалось здесь по пропитанным густой кровью плахам Лобного места? Тут и вольный донской казак Степан Разин — гроза боярских посадков в городах волжских, и простые стрельцы-ослушники, и другие — без числа и счета. И всё за то, чтобы веками стояла Русь.

У ворот — часовые в тулупах, в островерхих шлемах со звездами. Тускло поблескивает граненая сталь штыков. Строго. Правильно, так и надо. На мужицких костях Кремль построен, — место святое. Развернул Андрон пропуск, часовой прижал штык к седому от инея воротнику, встал по команде «смирно».

Вот и дворец беломраморный, зал на тысячу мест.

Хотелось Андрону поближе место занять, рассмотреть бы получше руководителей партии и правительства, — спросят ведь, когда домой вернешься, да и самому интересно — такое не каждому выпадает. Не удалось, — когда в зал вошел, до последнего ряда всё занято, пришлось на балкон подниматься.

Посмотрел Андрон в переполненный зал — пиджаки, косынки, полосатые халаты, чекмени, расшитые серебром тюбетейки. Истинно — Всероссийский съезд! Нестройный гул множества языков и наречий. В четвертом ряду увидел своих земляков. Белозубый татарин захватил два места, стоит боком к Андрону, озирается, ищет кого-то взглядом.

«Для меня стул бережет!» — догадался Андрон, но не успел двух шагов сделать, как сверху, откуда-то с потолка, упал металлический голос:

— Товарищи!.. От имени Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и Рабоче-Крестьянского правительства...

Далеко внизу за столом президиума стоял невысокий и, как показалось Андрону, немного сутулый даже, сидящий человек, с густыми, закинутыми назад волосами, в очках и с бородкой клинышком.

Гул в переполненном зале затихал лесным шелестом, а сверху, по-прежнему от потолка и со стен, сры-

вались и падали четкие, усиленные динамиками слова, гремели под сводами:

— Разрешите приветствовать вас и в вашем лице всё многомиллионное трудовое крестьянство Союза Советских Социалистических Республик — верного и беззаветного сподвижника партии и рабочего класса в борьбе за построение социализма в нашей стране!

Передние ряды как волной подхватило. Пиджаки, домотканые халаты, платки и тюбетейки стоя ответили громом аплодисментов. Где-то внизу, в гуще тесно смеженных плеч, выплеснулся звонкий девичий возглас: «Ленинской партии — слава!» И пошло, покапало тысячеголосым эхом, падая и пенясь кипучим морским валом:

— Партии слава! Слава!!

«Экая силища! — восхищенно подумал Андрон. — Одно слово — народ!» — А у самого глаза разгорелись, словно сбросил он половину прожитого и в смоляных волосах нет у него серебряных перекрученных нитей; стоял во весь богатырский рост, загораживая проход, и оглушительно хлопал, не в силах остановиться.

Наконец помалу утомонились. Съезд начал свою работу.

* * *

На второй день в обеденный перерыв Андрон пришел в зал задолго до заседания. Разговорился с новым соседом из ставропольского колхоза. Об этом колхозе и в докладе упоминалось; дивился Андрон услышанному: до семи килограммов на трудодень там приходится. Это одной пшеницы, да еще кукуруза, яблоки, мясо и молоко! Хотелось лучше расспросить живого человека.

Люстры в зале горели не в полный свет, а по углам и совсем темновато было, — только и беседовать по душам, как у себя за столом, когда лампа подвернута. Тихо, спокойно, и мысль оттого не рвется. Не заметили за разговором, что вокруг собралось еще несколько делегатов, стали вспоминать вместе первые годы коллективизации. На Ставропольщине тоже всякое было: и обрезы кулацкие, и поджоги. Не обошлось и без перегибов: наезжали ретивые начальники, лучшие зем-

ли отводили под картошку, а она в тех местах совсем не растет; заставляли и в грязь сеять, чтобы похвастать процентами.

«Шутка ли — заново ярового клина десятин, скажем, сотню перепахать! — думал Андрон. — А у другого и семян в запасе нет — какой тут запас, — и тягло слабое. Пропала земля — к осени зубы на полку. Вот тебе и процент!»

— Было и у вас такое? — спросил кто-то сбоку глуховатым баском.

— Бывало, — по привычке глядя под ноги, ответил Андрон. — Добро бы, в одном колхозе! А тут вон, в самой Москве, в шесть часов за хлебушком очередь. Вот во что они, эти хваленые-то проценты, оборачиваются!

— И кто же, по-вашему, виноват? — продолжал допытываться старческий, чуть надтреснутый басок.

— Сразу-то и не скажешь, — развел руками Андрон. — Ругаешься другой раз в горячке, а подумать по-настоящему мозгов маловато. Вот и уперся лбом в стенку.

Андрон теперь только повернулся: на ковровой дорожке у третьего ряда стоял перед ним с палочкой седой человек в очках, чем-то сильно напоминавший каменнобродского учителя. Такие же очки в простой металлической оправе, широкий мужицкий нос и борода клинышком — точь-в-точь, как у Николая Ивановича, только совсем белая. При последних словах Андрона человек этот присел на свободное место, плечи его ужались, борода уперлась в грудь.

«Должно, из ученых», — подумал Андрон, но соседи его как-то по-особенному притихли, а земляк-татарин толкнул коленом.

Первый раз за всю жизнь захотелось Андрону обругать себя за дурную привычку не остерегаться своих суждений. Глянул бы чуточку раньше, — ведь сам всероссийский староста задавал ему эти вопросы!

Крякнул Андрон. Комкая бороду, выговорил с остановками:

— Вы уж того, Михаил Иванович, извиняйте за сестрость нашу мужицкую.

— Бросьте вы эти слова! — Михаил Иванович даже рукой махнул. — Никогда наш русский крестьянин

не был серым! И всё, что здесь сказано было, верно. Случается ведь кое-где и такое дело, что к власти пролезают скверные люди. Вы об этом не думали, товарищ?

— Как же не думали? Думали, да еще как: голова пополам раскалывалась! — отвечал Андрон, по-прежнему не выпуская бороды из пальцев. — И так, и этак прикидывали. Да ведь мужик, он что лошадь в кругу: в свой след норовит ступить.

— Деды, прадеды наши дальше межи своей ничего не видели. Советская власть расширила горизонты, а вековой старый груз назад тянет; не вдруг разберешься, куда повернуть. Правильно ли понял я вас? — спросил Калинин.

— Точно. Вот потому и трещит голова, Михаил Иванович, не влезает в нее то, что видишь!

— А тут еще перегибы, подпевалы всякие. Кто свой, кто чужой — не поймешь.

— Истинно так, — разговорился Андрон. — Вначале-то, как кулака тряхнули, думали — тут ему и конец. Ан нет! Вот и в нашем колхозе почитай три года за одним с нами столом такая гнида сидела и столько напакостила, что и в мыслях всего не удержишь. А у той гниды — рука в городе, в самом земельном отделе! Докопались, конечно, нашли. Было потом в газетке. Да ведь этим одним не поправишь дела: есть колхозы, под корень подрезанные.

— Ну вот мы и вернулись к началу нашего разговора, — улыбнулся Михаил Иванович. — Стало быть, научились сами в людях разбираться; выходит, не под ноги смотрите?

И Андрон улыбнулся. Бывает такое: с первого взгляда подкупит тебя человек, а слово сказал — и совсем душа перед ним распахнулась. По всему видно — из простых, всё понимает. Не терпелось Андрону выложить наболевшее — всё рассказал: и про черные замыслы Ползутина, и про письмо Николая Ивановича, и про то, как чуть было не заплатился учитель за это письмо партийным билетом. Не забыл упомянуть и уполномоченных, тех, что «совсем без понятия». Рассказал, как он «сеял» просо, как заставил свою Кормилавну с обеих сторон вымыть калоши у девицы, чтобы той из дома нельзя было выйти, и о том, как несколько дней сряду возил под своими ок-

нами одну и ту же телегу с зерном, а уполномоченная записывала проценты.

Михаил Иванович внимательно слушал, поблескивая стеклами дешевых очков. За стеклом — глаза умные, светлые, без желтизны стариковской.

— А она ведь, уверяю вас, училась побольше вашего, — со смехом отозвался Михаил Иванович о незадачливой уполномоченной. — Чего доброго, с дипломом в кармане! А вы говорите — «серость»! На поверку кто же серым-то оказался? Выходит, что не всякий ученый еще и умен!

Люди всё подходили и подходили, усаживались по сторонам, один за другим останавливались в проходе, плотным кольцом окружили Михаила Ивановича и его собеседников. Вот и свет дали полный, перерыв заканчивался; кажется, всё уже было рассказано Андронем, а отпускать Михаила Ивановича не хотелось. На всю жизнь останется в памяти эта встреча; подрастет Андрейка, и ему порасскажет дед, с кем ему довелось в Москве разговаривать. И не в том вовсе дело, что Михаил Иванович сказал что-нибудь особенное, не это дорого, а само обращение всероссийского старосты к рядовому труженику, уважение его к человеку.

— Ну а сейчас-то как? — спросил в конце Михаил Иванович. — Семена, тягло, инвентарь — в каком они состоянии? В снегу за околицей плуги-бороны пораскиданы или собрано всё под крышу? Лошадям есть ли овес на пахоту?

— У нас теперь новый хозяин, — ответил Андрон, — агронома опять же своего деревенского выучили.

— Стало быть, дело на лад пошло?

— Пошло, Михаил Иванович! Теперь мозги у мужика по-другому работают!

— Именно этого и добивается партия!

За столом президиума позвонили. Слово предоставлялось Председателю ВЦИК Михаилу Ивановичу Калинин.

Вместе с Андроном речь Председателя ВЦИК слушал и весь колхоз. До обеда еще Николаю Ивановичу позвонил из Бельска Жудра, передал, что на вечер-

нем заседании съезда будет выступать Михаил Иванович Калинин. На последнем уроке это известие было объявлено ученикам и за считанные минуты облетело не только Каменный Брод, но и соседние деревни. Не успел старик Парамоныч наносить к печке дров на утро, как у колхозного клуба собралась молодежь. Тут и гармонь, конечно, девичьи припевки с приплясом.

Народу собралось — руки не просунуть; Кормилавну и ту затащила Улита. Первый раз за всю жизнь свою осмелилась старая перешагнуть порог клуба. И Андрюшку с собой привела — дома-то одного не оставишь. Подсела к соседке Фроловне, а по другую сторону — Дарья с Улитой, Еким-сапожник с женой.

Николай Иванович озабоченно прохаживался по сцене: ослабло питание приемника, придется трансляцию выключить, а этого делать не хотелось. И Владимира долго не видно. Отправил его председатель колхоза верхом в Константиновку, должен бы привезти запасную батарею, да что-то задерживается. Но вот шум в коридоре. Наконец-то!

В проеме открытой двери мелькнула знакомая шапка Дымова: одно ухо кверху. Перешагивая через скамейки, парень пролез на сцену. Осторожно поставил к ногам Николая Ивановича перетянутую проволокой увесистую черную банку автомобильного аккумулятора, а у самого рука обожжена и штанина расползается клочьями, на новеньком валенке по всему голенищу полоса коричневая дымится.

— Понимаете, Николай Иванович, в МТС пришлось гнать! — вполголоса и как бы извиняясь начал Владимир. — На почте не нашлось батареи, ну и махнул прямо к директору МТС. Выручайте, говорю, товарищ Мартынов, чем можете! Нельзя, говорю, колхозников в такой день оставить без радио. И, знаете, с легковушки своей он аккумулятор отдал!

— А с рукой-то что? — спросил Николай Иванович, видя, что Дымов старается не показывать ее.

— Так, пустяки! — отмахнулся Владимир и тут же присел, покрывая полрой полущубка располосованную штанину, а левой рукой принялся распутывать проволоку, поясняя вполголоса и отдуваясь:

— Тяжелый он, дьявол, побольше пуда — на весу не продержишь долго. Взял его, черта, под мышку, а у него пробка, верно, была неплотно повернута... Кислота. Ладно еще, на коня не попало.

— Отправляйся сейчас же ко мне на квартиру, — так же вполголоса распорядился учитель. — Аптечка за дверью, знаешь где. Отправляйся, сам сделаю! Ключ спроси у Маргариты Васильевны.

Но Владимир не торопился. Всё так же прикрывая полую колено и держа правую руку в кармане, помог он учителю присоединить к приемнику добавочное питание, а потом пригнулся вплотную к самому уху Николая Ивановича и, указывая на неплотно прикрытую дверь, сообщил по секрету:

— Поп в коридоре, провалиться на этом месте! Не иначе с заявлением в колхоз пришел... А что?! Я бы принял: на покосе за ним и Андрон не угонится!

В динамике нарастал отдаленный гул аплодисментов, и по мере того как этот гул становился отчетливее, в клубе становилось тише. Даже ребятишки, пробравшиеся к самой сцене, примолкли. На носках, чтобы не скрипнули половицы, Владимир пробрался к окну, боком втиснулся на скамейку.

— Я видела всё, давай сюда руку! — торопливо шептала Нюшка, развертывая на коленях расшитый узорами батистовый тонкий платок. — Горюшко ты мое...

Владимир нахмурился:

— Тихо ты, при народе-то! Вон и мать твоя обернулась.

— Я не прячусь.

Нюшка смочила платок в желобке на крашеном подоконнике, приложила его на обожженное место руки Владимира, завязала концы узелком. Не мигая, выдержала укоризненный взгляд матери.

— Славного парня вырастила Фроловна — огонь! — подталкивая локтем Дарью и так, чтобы слышали родители Нюшки, проговорила Улита. — Эх, сбросить бы годиков двадцать! Я бы с таким-то — в прикусочку!..

— Остепенись, право слово, бесстыжая! — зашикала Дарья. — Ну и язык у тебя!

В динамике раздалось наконец приглушенное

покашливание, потом слышно было, как там, в московском Кремле, на трибуне съезда, за тысячи верст от затерявшейся в лесах деревеньки, прошелестел перевернутый лист бумаги, и вот ровным, спокойным голосом было сказано:

— Пословица говорит: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Ночь всё больше окутывает капиталистические страны, но звезды в них светят ярче, общественные явления делаются трудящимся массам виднее, понятнее...

— Андрону-то счастье привалило, — не унималась Улита, теперь уже подталкивая Кормилавну. — Кто бы подумал...

— Остановись, тебе сказано! — повысила голос Дарья.

И Николай Иванович строго глянул поверх очков в эту же сторону.

Кормилавна покрепче прижала Андрейку, закутала ему ноги шубой, изо всех сил старалась и никак не могла представить себе, что же происходит сейчас с ее Андроном. Задумалась Кормилавна, забылась, и вдруг зашумел народ. Про весенний сев говорил Калинин, про то, что колхозы должны стать большевистскими, а в конце — снова про сев, что на этот раз сев показать должен, насколько окрепли колхозы и смогут ли они уже в этом году выполнить долг перед рабочим классом и партией.

Учитель поднялся на сцену.

— К вам, товарищи колхозники, обращается всероссийский староста, — начал он, приподняв несколько руку. — Слышали, что сказано было? Окончательная наша победа над кулаком — это ударный сев!

— Правильно, Николай Иванович!

— Ну и что же теперь?.. Послушали и — на полати?! — блеснув очками, спросил учитель.

— Кто говорит про полати? За семена, плуги-бороны приниматься надо!

Нюшкин отец поднял руку:

— У меня предложение: письмо написать в Москву!

— И послать его с нарочным! — выкрикнул с места Володька. — Лично — товарищу Сталину! Напи-

сать коротко: «Выполним!» И всем как есть подписаться!

— Никакого нарочного не надо; есть на то телеграф, — поправил Владимира Карп Данилович, — а у нас в Москве — представитель. Так и адресовать: «Москва, Кремль, делегату съезда Андрону Савельеву». Он и передаст съезду.

Сразу сделалось тесно в клубе. Кормилавна попробовала было пробраться к выходу — куда там, совсем затолкали старуху. Каждый к столу продирается, а Улита уже подписалась, через головы мужиков Дарье ручку протягивает.

Подписалась и Кормилавна: крестик сбоку поставила. У порога опустила на скамейку Андрюшку. Только взять его на руки собиралась — подхватил кто-то парня. Глазам своим не поверила Кормилавна, и дух у нее захватило: сидит Андрюшка на плече у Егора. И не кричит, не отталкивает его. Ничего не сказала Кормилавна Егору, — слов не нашлось. Непослушными шагами ступила к порогу и больше того напугалась: стоит возле печи отец Никодим — в тулупе овчинном, без шапки, и волосы, как у Андрона, обрезаны за ушами.

«Господи твоя воля!» — внутренне ахнула Кормилавна. Перешагнула порог, оглянулась: точно, острижен поп под гребенку. Вот тебе и отец Никодим... Кто бы такого-то приневолил? Сам, видать, отрешился!

На крылечке — ледок; Егор придержал Кормилавну за локоть. А позади — Улита и Дарья.

— Давно бы вот так-то, — певуче проговорила Улита Егору, видя, что Андрейка сидит у него на плече. — Помогай, помогай бригадиру внучоночка пестовать!

Кормилавна только головой покачала: ну и баба эта Улита, и до всего-то ей дело! Ладно еще, не обмолвилась другим каким словом. Вот уж истинно на мочале язык-то подвешен. И Егор промолчал, — что он скажет? Андрейке — тому всё равно, кто бы ни нес. Не знает, что первый раз у отца на руках, да и надо ли знать-то ему про это? Так и шли молча до самых ворот. А у клуба опять гармонь с переборами, звонкие голоса девиц...

Вернулся Андрон из Москвы — не узнала его Кормилавна: молодым приехал, веселым! Андрейке привез заводного мышонка, кучу сладостей выложил на подоконник, Кормилавне — набивную шаль. Накинул на плечи ей, как в молодости, — прослезилась старая, снизу вверх заглянула в потеплевшие глаза мужа, молча и робко погладила его руку. Свернула дорогой подарок, на самое дно сундука упрятала, а внучонок на мышь не нарадуется. Катится она по полу и — до чего же забавная, — если щель на пути попадает, остановится перед ней, как живая, подумает малость и — в сторону! Подвернет Андрон ключиком — снова бегают мышь, и Андрейка за ней вперевалку. Дед за внуком на коленях ползет, бородой метет половицы. Кот смотрел-смотрел с печи — шмякнулся пухлым комом, сграбастал мышонка. Все трое один на другого навалились.

Не дали Андрону повозиться с внуком: первым пришел Роман, следом — Еким с председателем, соседи набились. И каждому заново начинай: кого видел, с кем разговаривал, будут ли новые законы?

— Один он у нас, закон: пятнадцать пудов с десятины — в казну, — говорил хозяин. — Больше посеял — твое.

— Это как понимать? — как на собрание, поднимая руку, спросил дед Парамоныч. — Земли промерены и записаны, где ты еще прихватишь?

— Захочешь — найдешь! Вырубов, гарей — мало тебе в лесу? А за Мокрой еланью? Ну, пни, бурелом, что же тут страшного? Деды наши не на такую землю садились! За Пашаниным хутором эвон пласт какой ивняком затянуло. Наша земля?!

— Доброй была бы — хуторские не бросили бы...

— Всё подберем! Через годика два-три и эта бросовая земля сам-восемь, а то и поболее даст; руки к ней приложить надо! Вот об этом и толковали: из году в год поднимать урожай, тогда к этим пятнадцати пудам с десятины сами набросим десяток для рабочего класса, семена будем иметь свои собственные да и на трудовень килограммов по восемь перепадет!

Разговорился Андрон, плечи расправил, дивуется

Кормилавна: подменили в Москве человека, да и только!

С этого и пошло, закрутилось. Не заметили, как весна разлилась теплынью. Грачи облепили березы, ручьи подточили ледяной утрамбованный горб почерневшей дороги, с Верхней улицы пробуравили лаз к огороду Улиты. А потом за неделю согнало снег, уползла зима по оврагам в пади лесные, по крутому скату Метелихи зелень брызнула. Давно такой весны не было: то с ветрами, с изморозью, с тягучим туманом, а тут, как по заказу, день ото дня суше. Пробудилась земля, напилась хмельным вешним соком, нежилась в парной истоме.

Воскресным днем велено было Андрону показать бригаду в полном составе. Из города приехала комиссия, и соседний колхоз, с которым соревновались, прислал своих представителей. На площади возле клуба выставил бригадир в ряд плуги, бороны, сеялку конную. На телегах — тугие мешки с зерном и по одному — у колеса. Этот развязан: пусть каждый видит, а захочется, и на руке взвесит, чем засеять будет бригада яровые поля. Пшеницу чуть не по зернышку отбирали, овес, гречу веяли по два раза, сортировали, на брезентах разостланных прогревали на солнце (про новое это дело — обогрев семян — ставропольские колхозники рассказали Андрону в Москве).

Часам к десяти подъехал Мартынов. Вместе с комиссией обошел весь ряд, потом осмотрел упряжь и лошадей, привязанных тут же к церковной ограде. Кони сытые, гладкие, как в кавалерии, гривы у всех расчесаны. Карп Данилович, по старой памяти, сам расковал тех, которым ходить в борозде, — тут особый отбор, — и копыта зачистил рашпилем. Нечего было сказать комиссии, — всё приготовлено к севу как полагается. После этого направились к трактору. С пол-оборота завел его Дымов, — он теперь был за старшего на «путиловце», за зиму настоящие права получил.

— Лихой из него выйдет танкист! — подойдя к Николаю Ивановичу, проговорил Аким, с видимым удовольствием глядя на сноровистого, подвижного парня. — Лихой!

Часом позже закончили смотр бригады Романа Васильевича; и там всё в порядке.

— Добро! — похвалил Мартынов. — Хороших вестей дожидаться будем и стопудового урожая! А потом разведем коров-холмогорок. Так, что ли, агроном? — повернулся он к Егору. — Что с твоим опытом, не оскандалишься?

— Пойдемте посмотрим, — предложил тот.

За плетнем Петрухиного огорода кустилась диковинная озимь. В каждом гнезде пучок сочно-зеленых стеблей. Местами до десяти, и в полметра ростом. Вместе с народом подошел и Андрон. Долго стоял у плетня, шевелил крылатыми бровями, но в разговор не вступал.

Вечером партийная ячейка заседала, — с Романа снимали взыскание. И Андрон был тут же, а вернувшись домой, не стерпел — рассказал Кормилавне про тех, кого принимали в партию.

— Вот я тебе и толкую, — добавил Андрон, — Николай Иванович сегодня показал нам бумагу, подписанную знаешь кем? «Отрекаюсь от веры в загробную жизнь, от бога и дьявола. Верю в человеческий разум и в то, что вижу своими глазами». Чуешь? Поп Никодим написал! И в колхоз — заявление. Пятнадцать рамочных ульев сдает в артельное наше хозяйство, а к осени у него двадцать пять верных будет. На худой конец по четыре пуда нацедит с улья. Прикинь-ка, во что оно для колхоза-то обернется!

Как во сне слушала всё это Кормилавна и плохо соображала, что было потом. Андрон после ужина сам унес самовар, развернул на столе газету, высыпал на нее три горсти пшеницы, ножом отбирал самые крупные зерна, шевеля беззвучно губами. Так и не знает старуха, ложился в ту ночь Андрон или нет. Встала утром — хозяина и во дворе не видно, а в огороде самая лучшая грядка жижей навозной залита. Еще через день грядка вскопанной оказалась, граблями разрыхлена.

Неделю колдовал Андрон на своем огороде: по вечерам, как с поля приедет, и на рассвете. И только с ольховых шишек пыльца посыпалась, а сирень набрала бутоны — бледноватая тонкая зелень проклюнулась у него на грядке, как у Егора, гнездами. На колхозных полях — на что рано сеяли — едва появились первые всходы, а у Андрона на два вершка пше-

ница поднялась! Там начала куститься — у бригадира в трубку погнало, и в каждом кусте по восемь-двенадцать стеблей!

«Земля наша много дает — братъ не умеем», — рассуждал Андрон месяцем позже, когда пшеница на его огороде колос выбросила.

«Что у нас получается? — продолжал он развивать свои мысли. — Высеваем на десятину двенадцать, а то и пятнадцать пудов, в наилучший год собираем восемьдесят... сам-семь. Это в добрый год, а бывает и так: дай бог сорок намолотить. Вот теперь и ломай голову: пятнадцать пудов в казну, пятнадцать обратно на семена, остальные десять или колхозникам разделить, или продать да купить лесу на скотный двор. А налоги, в МТС натурную плату — где на это взять?»

Пригибался ниже Андрон, забирал в горсть от самого корня упругие шелковистые стебли, пересчитывал заново:

«Десять, двенадцать... Прибросим на круг по пятьдесят зерен в колосе. Полтысячи с одного куста, страшно подумать! Вот где богатство неопишное, а как его взять?»

Андрон эту грядку четыре раза полон и окучивал растения, в каждую лунку чуть ли не с ложечки подливал удобрения. Поперек и вдоль на коленях елозил. А ведь огородная грядка — не десятина! И за сотню лет всем колхозом не перепоползть того, что засеяно в этом году в бригаде. Вот бы машину такую, чтобы обрабатывала она междурядья у зерновых культур, тогда — другой разговор... А машины такой пока еще не придумали...

«Стало быть, сеять гуще, — приходил Андрон к выводу, — отбирать самолучшие семена и не жалеть лишних два-три пуда на десятину. Перед добрыми всходами сорные травы не устоят. Вот и весь сказ!»

На полях к тому времени заканчивали прополку, в бригадах готовились к сенокосу, трактористы поднимали пары. С Егором Андрон не советовался, будто и не было для него агронома в колхозе, будто не он с осени еще занялся обновлением запущенного сада на усадьбе бывшего старосты, не он ратовал за подсев клеверов и не давал покоя председателю с раскорчевкой новых полей.

Как-то зашел Николай Иванович, покачал головой, любуясь на невиданную пшеницу.

— Соревнуешься с агрономом? — спросил у Андрона, протирая очки и пряча догадку в лучистых мелких морщинках, разбежавшихся под прищуренными глазами.

— Сопли хочу ему подтереть, — услышал в ответ учитель. — Грядкой-то нас не удивишь. У меня вот лучше будет.

Николай Иванович понимал: не может Андрон помириться с Егором. И дело, конечно, не в том, что Егор пытается в чем-то умалить авторитет бригадира, — об этом и речи не может быть. Причиной всему Дуняша: Андрон, как отец, не может простить себе трагедии с дочерью, а в Егоре видит начало этой трагедии. Помириться — значит всю вину, без остатка, открыто взять на себя. Вот до сих пор и бунтует: знает, что сам виноват, и не соглашается — самолюбие не позволяет. Виноват и Егор: смалодушничал он, когда нужно было открыться перед Андроном. Не совсем хорошо поступил и потом: не сумел настоять, чтобы Дуняша бросила всё и ушла к нему в город.

Трудно Егору работать с Андроном, а не встречаться нельзя, и при любом, самом незначительном, разговоре оба они не смотрят в лицо друг другу. Чем дальше, тем хуже: если осенью и зимой Андрон всего лишь усмехался в бороду, когда на собраниях выступал Егор, то теперь дошло до того, что агроном не рискует оказаться на полях второй бригады с глазу на глаз с бригадиром, председателя ждет; тот к Андрону, и Егор с ним. Разве это работа?

— Послушай, Андрон Савельевич, — начал в тот раз учитель, — а не кажется ли тебе, что и бригадиру и агроному, если оба они наши советские люди и оба стараются сделать большое доброе дело для всего государства, — Николай Иванович особенно подчеркнул слова «наши советские люди», — нельзя оставаться недругами, хотя бы и были между ними какие-то старые счеты? Как ты на это смотришь?

— Ты с чего это, Николай Иванович? — делая вид, будто не понял, спросил Андрон.

— Мы с тобой в один год поседели, — издалека

начал учитель. — Давай потолкуем начистоту, как отец с отцом, как человек с человеком.

Николай Иванович отошел под ближайшую яблоню, присел в тени на скамеечку. Андрон нехотя опустился рядом.

— Давно я собираюсь начать с тобой этот не совсем-то приятный разговор, — глядя в упор на Андрона, продолжал учитель. — Раньше думалось мне, что и сам ты поймешь ошибку, сам переменишь свое отношение к агроному. И вот вам, пожалуйста!

— Что «пожалуйста»?

— Ответ твой насчет соплей.

— Да я и при нем то же самое бы сказал. Эка невидаль: грядка! У меня вот не хуже, а я ведь не агроном.

— Не о грядке речь. Ты прекрасно знаешь, что я не верю в то, будто бы в этой грядке зарыта собака. И не я один — весь колхоз это видит.

— Знаю.

— Ну и чего добиваешься? Хочешь, чтобы твоя личная неприязнь к агроному захватила колхозников? Сомневаюсь, Андрон Савельевич! Сомневаюсь! — повторил еще раз Николай Иванович через минуту, не дождавшись ответа. — Агроном делает всё, что он может. Надо ему помогать.

— А я — что? Палки в колеса ставлю?

— Вот именно! Ты для чего эту грядку посеял? Сам же сказал: нос утереть агроному. Вот и выходит, что, сам того не желая, поперек дороги ему становишься! Я с тобой говорю по-хорошему, Андрон Савельевич.

Андрон долго молчал, перебирая в пальцах сорванную травинку: доводы Николая Ивановича были для него неожиданными.

— Стало быть, я... Кто же я-то теперь? — спросил наконец. — Вроде к вредителям причисляешь?

— Этого я не сказал. Егор, как и ты, человек порядочный, и грядку свою он совсем не для того выхаживает, чтобы только перед властями выхваляться, как ты говоришь, а для того, чтобы показать народу, что может дать наша земля. Настанет время, когда будем снимать с гектара по двести и триста пудов. И если хочешь знать, так больше, чем на кого-либо,

надеется он на твою поддержку в своих начинаниях. Больше того скажу: когда в райкоме партии шел разговор о кандидате на съезд, Егор первым за тебя высказался.

Андрон ничего не ответил. Прощаясь с учителем, он задержался возле калитки: на высоком плетне висела отточенная коса, слепила зеркальным блеском. Молча проводил Николая Ивановича до калитки, вернулся, снял косу, поплевал на руки. В несколько взмахов повалил зеленую стену пшеницы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вместе со стариком Мухтарычем Мишка пас стадо. По утрам вставать не хотелось, но Мишка заставлял себя делать это, а добрый старик давал ему часик-другой вздремнуть на лесной полянке, когда в обед сгоняли коров к водопою.

Мухтарыч — одинокий бедный татарин без роду и племени, и как-то уж так получилось, что никто в деревне не знал, когда и откуда он взялся. Зимой и летом ходил старик в лисьем треухе, в дырявых опорках и подпоясанном лыком зипунишке, не старел и не изнашивался. Лет десять, если не больше, пас коров и овец до первого снега, а на зиму уходил неизвестно куда, чтобы весной появиться вновь в том же потертом треухе и в том же ветром подбитом зипунишке. Мишка знал теперь, что когда-то у Мухтарыча была семья, своя лошаденка, но в голодном двадцать первом году тиф скошил ребятишек, схоронил старик и жену, забросил тогда на плечи котомку и ушел из своей деревни, нанялся батраком к каменнобродскому мельнику. Так и прижился на мельнице. За кусок хлеба день-деньской ворочал кули с зерном, откармливал хозяину кабанов и гусей, следил за исправностью нехитрой механики, а по ночам караулил амбары.

— Дюрт ярым (четыре года) как собака жил, — говорил старик Мишке и обязательно поднимал при этом на уровень глаз свою обезображенную левую руку без большого пальца.

— Дюрт ярым, — горестно повторял Мухтарыч, а потом пригибал мизинец и рассказывал далее, что за

четыре года один-единственный раз поужинал вместе с хозяином за столом на чистой половине его дома, да и то, когда у мельника ночевали милиционер и налоговый инспектор.

После того как покалечил батрак свою руку, она долго болела, начала сохнуть, и Мухтарычу было отказано, — кому нужен такой работник! Вот и стал пастухом.

Старик замолкал, уставившись в одну точку, сидел, покачиваясь, поджав под себя ноги, или принимался вполголоса напевать. Лицо его становилось печальным, как и сама песня — без конца и начала, слов которой Мишка не понимал. Точно очнувшись от сна, Мухтарыч вздрагивал, моргал красноватыми веками и снова обращался к своему прошлому.

— Зачем живет такой люди? — искренне изумлялся старик, вспоминая жадюгу мельника. — Деньги мешок день-ночь под рубашкой держит, хлеба амбар, мед, сало бочкам стоит — сам лаптям ходит, кислый похлебка ест! Зачем много?! Есть-пить хватит — сосед позови. Хорошо сделал другому — на душа веселье, никому не даешь — сохнешь. За это тюрьма садить надо!

— Ну и выслали же, — вставил свое слово Мишка, — всё отобрали.

— Давно так надо! Такой люди — зараза: он, как дохлый кошка, воняет!

От Мухтарыча же многое узнал Мишка и про каменнобродских богатеев, о том, как жили они до колхоза. В те годы пастухи нанимались на сельском сходе, кормились и ночевали обходом — из дома в дом, и уж кому-кому, а Мухтарычу за десять-то лет довелось всякого повидать. Вот и делил поэтому старик жителей Каменного Брода на две неравные части: «якши кеше» и «ин яман кеше» (добрые и очень плохие люди). К хорошим относились мужики с Нижней улицы, к плохим — богатеи с Верхней. Теперешнего председателя Карпа Даниловича, Андрона, Екима-сапожника, Володькину мать Фроловну Мухтарыч хвалил и за старое; Дениса, церковного старосту и деда Мишкиного — Кузьму Черного причислял к наихудшим и, всякий раз, упоминая их, принимался плевать.

— А про попа что ты скажешь? — во время одного из таких разговоров любопытствовал Мишка. — В колхоз ведь зимой еще приняли — пасечником!

— Ваш поп — умный поп, — ответил Мухтарыч. — Батыр ваш поп. Я татарин, а он меня своим чашка кормил. Один раз ураза поспел — вот такой кусок мяса давал! — Старик показал руками, как будто держит арбуз.

— Этот год, Мишка, лучше жить стало, — говорил Мухтарыч, хотя вопроса об этом ему и не было задано. — Смотри сам: кусок хлеба не просим, чапан новый дали, Карпушка сказал — осень придет, настоящий сапог куплю. Сказал, чтобы я тут оставался зимой лошадям смотреть. Наверно, останусь.

«А я пастухом быть не хочу, — про себя рассуждал Мишка. — Попрошусь на курсы трактористов. Чем я хуже того же Екимки?»

Завидно было парню смотреть на трактористов, особенно когда встречал Дымова, и во сне не раз уже видел себя в комбинезоне синем и в кожаной шапке с очками. По осени в армию должен уйти Дымов, на тракторе Екимка останется, вот и подучиться бы Мишке, а лучше того — на шофёра бы! Краешком уха слышал такой разговор Мишка: если урожай будет добрым, купят для колхоза автомобиль.

В середине лета затеяли комсомольцы новое дело — от мельницы свет провести в деревню. Посоветовались с председателем, с Николаем Ивановичем расчеты свои прикинули — как будто всё хорошо; к водосливному колесу установить дополнительную передачу и ремень на динамо-машину — Дымов это предложил. Однако на деле расчеты эти не оправдались; тут уж и Николаю Ивановичу пришлось поломать голову. Первое — мало воды; если всё время держать шлюз открытым, пруд обмелеет и мельница остановится. Второе — нельзя гонять вхолостую рабочее колесо, чтобы жернова попусту не обтачивались, а веретена отключить нельзя. Значит, хочешь ты или нет, света не будет, пока не начнется помол. Ночью мельница чаще всего не работает, вот тут и думай.

Дымов не отступал — предложил рядом с мельничным еще одно колесо поставить, шлюз разделить. Мельник опять за старое: мало воды.

— Запруду поднять метра на два!

— Слабовата она, напора не выдержит, — противился мельник. — Полетит всё к черту — колеса твои и мост! И так еле держится, по ночам другой раз заслоны приходится поднимать. Пока нет помола, через слань лишнюю воду сгоняю.

— А во время помола?

— Тогда, вестимо дело, заслоны отпущены. Все, кроме шлюзового.

— Задача!

— Ничего, решим! — успокоил Владимира Николай Иванович. — Займитесь, пока позволяет время, столбами.

Когда столбы устанавливали, на два дня отпросился Мишка у Мухтарыча, чтобы поработать со всеми вместе, — к этому времени и его в комсомол приняли. И у Николая Ивановича задача решенной оказалась.

Навозил Владимир из леса столбов, а плотники на мельнице второе колесо установили, только не в рабочем шлюзе, а под мостом — у сливного лотка. По другому наладили и передачу на динамо-машину. Динамо теперь можно было включать попеременно и к рабочему колесу мельницы, и к добавочному.

— Волки сыты, и овцы целы, — шутил Николай Иванович, — а самое главное — свет!

Школу, клуб и правление колхоза осветила пока что Каменка. На первое время и этому рады, — что ни говори, электричество!

— Всё это — первая проба, Николай Иванович, — добавлял Владимир. — Проживем еще годика два, сил наберемся — заставим Каменку работать по-настоящему, как вы говорили. У Красного яра турбину зацементировать — вот это да! Сила!

От этой своей мечты — построить у Красного яра электростанцию — Дымов не отступал, и даже на собрании комсомольском, когда принимали Мишку, говорил об этом. Семь потов сошло тогда с Мишки, разговор вели строго, а больше всего Федька противился и Екимка. Недостойн, и всё, потому — дед раскулачен, отец лишен права голоса.

Мишка совсем упал духом. Вот тогда-то и поднялся Дымов.

— Всё это нам известно, — сказал он, успокаивая

своего напарника, — одного в толк не взять: из-за чего шум поднимаем? В заявлении подпись: «Михаил Ермилов», а мы говорим про Кузьму! Ну, был такой кровосос, трягнули его. Отец и совсем не живет в деревне, на лесопильном заводе бревна катает. Мишка с нами живет, с нами вместе работает. Спрашивал я Андрона, с Мухтарычем разговаривал: худого за парнем нет ничего. А может, он и еще лучше станет, когда доверие наше увидит? И вот что еще непонятно: по-моему, кроме отца и деда, есть у Мишки еще и мать. Когда ей доверили ферму, про Кузьму разговора не было, хоть она ему дочь родная, а чего же мы внука отталкиваем? Неправильно это, и я голосую «за»!»

Поднял Владимир руку, и только ее одну видел Мишка. Рука надежная, крепкая. Поднялась и покончила все сомнения. Другим человеком почувствовал Мишка себя, и захотелось сделать ему что-то такое, чтобы все это поняли. А что сделаешь, когда в руках всего-навсего кнут пастуший! Вот и решил тогда выучиться на тракториста.

Со столбами мучились долго, — длинные они и сырые, а мужиков не хотелось звать. На счастье, Никодим ехал на пасеку. Привязал у куста лошадь, подошел к парням, поплевал по-мужичьи на руки:

— А ну-ка, попробуем!

И не успели парни опомниться, как столб оказался в яме. А потом и другой, третий. Штук восемнадцать до самой реки один наставил.

— Черт-те знает, до чего интересно всё получается! — удивлялся потом Екимка, когда Никодим уехал. — Попробуй скажи в райкоме, что бывший пол помогал нам свет проводить в деревню!

— Сам же ты сказал «бывший», — поправил его Дымов. — Чему удивляешься?

— А может, он колхозников хочет задобрить, — усомнился кто-то, — как и с книгами тогда?

Комсомольцы пожимали плечами, а еще через несколько дней всех удивил Мишка. В доме печь у них задымила: дымоход расселся. Давно надо было бы и всю печь переложить, занимала она полдома, да руки всё не доходили, а тут поневоле пришлось разбирать. И вот ряд за рядом, снимая старые кирпичи, добрался

Мишка до печурок, куда зимой кладут варежки. Снаружи было три печурки, а в углу оказалась четвертая, и в этой потайной, замурованной печурке — жестяная плоская коробка с расписной крышкой. Небольшая коробка, вроде табакерки, как у деда Кузьмы, а тяжелая. В сумерках дело было, Мишка работал один, мать у крыльца глину месила, и девчонки там же в корыте пачкались. Подошел парень к столу со своей находкой, колупнул ногтем крышку, да так и ахнул, — золотыми до краев наполнена!

— Мам, а мам, — позвал Мишка сдавленным голосом, — подь-ка сюда.

Мать отозвалась не сразу. Мишка стукнул в стекло, еще раз позвал.

— Чего у тебя стряслось? Голосу, что ли, не стало? — недовольно проговорила Дарья, заходя в избу и вытирая передником руки.

Вместо ответа Мишка указал взглядом на стол, выдохнул через минуту:

— Что будем делать-то, а?

Дарья присела на лавку, влажной рукой провела по вискам, подобрала волосы, долго смотрела на сына, и вдруг на ресницах ее засверкали слезы.

— Чего ты, мама? — не понимая еще того, что творится сейчас в душе матери, испуганно спросил Мишка. — Реветь-то зачем? Золото ведь!

— Слушай, сынок, что мать тебе скажет, — собралась наконец со своими мыслями Дарья, — слушай. Одно время я думала: нет у меня сына; в прошлом году сказала себе: сын у меня есть; а сейчас говорю: сын у меня, мой сын. Если так, золото это не наше. Чужое добра не приносит. Понял?

— Понял, — механически повторил Мишка, а у самого перед глазами Филька с золотым в кулаке, дед Кузьма с крючковатыми пальцами, поп Никодим и старик Мухтарыч. «Хорошо сделал другому — на душе веселье; никому на даешь — сохнешь!..»

И в тот же вечер жестяная плоская коробочка с расписной крышкой оказалась на столе председателя колхоза, а наутро старик Мухтарыч сказал своему подпаску:

— И-их, малай, долго жить будишь!

Всё улыбалось Мишке — и леса, и горы. Весело на

душе у парня, а в обед только прилег у костра — и вот тебе, не трактористом уже увидел себя и не шофёром в синем комбинезоне, а летчиком, таким, как на плакате в клубе нарисован: в кожаной куртке, в унтах. И рядом с ним — Ворошилов...

Всё улыбалось вокруг и матери Мишкиной — Дарье, особенно после того, как отец ее перебрался на новое жительство: Карп Данилович да Андрон посоветовали Кузьме делом заняться, — вот уж кому спасибо-то! Поняли, видно, что не вмоготу больше Дарье жить с отцом под одной крышей. Нашли ему работенку — на колхозную мельницу сторожем определили, а Карп наказал перед всем народом:

— Чуть что замечу, Кузьма Епифорыч, «волчий билет» тебе, так и знай!

Дарья собрала котомку — пару исподников чистых в нее положила, полотенце новое, рубаху. Сала кусок завернула в тряпицу, чаю из банки отсыпала. Старик сидел на чурбашке, посматривал недовольно.

— Вот вам, папаня, — сказала дочь и указала на сумку. Стояла возле стола высокая и прямая. В руки не захотела дать и шагу к отцу не ступила.

— Это что же, — не сразу нашелся Кузьма, — стало быть, вроде бы насовсем отца родного выпроваживаешь? Коли двое портов, стало быть, самому и стираться?

— Свет не без добрых людей, а только в дом ко мне не ходите. По ночам девки с хрипа вашего леде-неют.

— Вон оно как! — Кузьма ошетинился. — Ишь ты, ваше какое благородие! А ежели законный наследник дому этому я?! Куриной своей башкой ты про это подумала? Братов дом — стало быть, правов моих больше. Через суд правду добуду!

— Не смешите, папаня, людей, — как маленькому ответила Дарья. — За какую это правду хлопотать будете? На вашем бы месте только одно и осталось — в ноги председателю Карпу Даниловичу поклониться, миру всему. «Наследник»!..

Про то, чего больше всего опасалась, не сказала Дарья отцу, — за Мишку она боялась. По всем статьям на правильный путь выходил ее сын, не помешал бы этому старик. И все-то его разговоры — про богат-

ство былое, про деньги. Бывало, прикрикнет Дарья — замолчит, ссутулится на лежанке, глаз не видно, закрыты, а бороденка седая шевелится: сам с собой разговаривает. Вот уж верно, что бог отвел: в тот день, когда Мишка шкатулку нашел, уходил старик в Константиновку, — справку какую-то надо было ему получить в сельсовете.

Попросторнело в доме после ухода Кузьмы, воздуху стало больше, и стены словно бы пошире раздвинулись. Про Пашаню Дарья и думать забыла: как ушел по зиме еще на казенные выруб за Черную речку — ни письма от него, ни весточки. И не жалко. Летом донесся слух (Улита откуда-то прихватила) — спутался там с какой-то вдовой при детях; это от своих-то от шестерых! Махнула рукой.

Та же Улита рассказала Дарье, что Николай Иванович расписался с Маргаритой Васильевной, а потом вместе отпуск взяли и уехали в Крым к теплему морю. Вот тебе и учитель!

— Ну и что тут плохого? — спросила Дарья. — Тебе-то какое дело? Слюбились, стало быть, ну и в час добрый. Чего от себя им прятаться. Жизнь-то, она всё по-своему поворачивает.

— При сыне, поди, совестно. Какая она ему мать?

— Не твоя печаль.

* * *

И еще одно дело неслыханное в то же лето в Каменном Броде случилось: самовольно ушла из дому Нюшка. И не крадучись, не в потемках сбежала — среди бела дня! Заявила матери, что в Константиновку едет, отцу поклонилась, узелок под мышку — и в дверь. В проулке Володька на тарантасе с Екимкой на козлах. Устинья — к окну, а там только пыль вихрится. И не догадалась сразу, развела руками, посмотрела в упор на хозяина:

— Куда это они сломя голову?

Еким-старший усмехнулся, молчит.

— Тебя или нет спрашиваю? Чего ухмыляешься?

— В Константиновку, сказано было. Или уши тебе заложило?

— А этот, Меченый-то, зачем?

— Темная ты бутылка, — тем же тоном добавил муж. — Ну где это видано, чтобы жених да невеста поврозь в сельсовет добирались!

Устинья так и осталась с открытым ртом. Опомнившись, ринулась в сенцы. Еким перехватил ее за подол.

— Не дури! — по-другому уже говорил Еким. — Неужели глаза тебе позастилало? Али не помнишь, что с девкой было, когда Володька в больнице лежал? Не видишь — последние дни ног под собой не чует? А что? Да за такого-то парня... Орел!

Легла Устинья пластом на скамейку, в голос выла до вечера. Не то горько, что дочь ушла без родительского благословения, — не венчаны ведь останутся, чисто басурманы какие! Ну и время пришло, — лихо-летье, всё-то идет наизнанку. Ни стыда у людей, ни совести. И все кругом как сговорились. От учителя всё оно. Верно в народе сказывают: «Седина в бороду — бес в ребро!»

— Не при живой жене! — повысил голос Еким. — И нечего тут наговаривать. Тебя не спросились!

«Пойду ужю, оттаскаю за патлы седые мать Володькину, — решила Устинья в сумерках. — Не могла, старая, словом обмолвиться! Она-то небось раньше всех поняла, к чему дело клонится. Нет чтобы намекнуть. Ну и сделали бы всё по-хорошему».

Потихоньку сползла со скамейки, и опять муж перенял на пороге:

— Давай-ка, Устиньюшка, вечерять: с утра на Попову елань за бревнами бригадир посылает.

Часом позже Екимка приехал. Уставилась на него Устинья, не моргнет, а тому и горюшка мало: картошки поел с огурцом малосольным, квасу напился, пиджачишко за ворот с крюка у печки снял да на поветь, — день-то не праздничный завтра.

— Что ж ты, «дружкой» был, а со свадьбы вроде бы и не прихмелившись притопал? Или места в застолье не хватило? — поджимая тонкие губы, ехидно спросила мать.

— Обождем до крестин, маманя, — не полез за словом в карман Екимка. — Оно уж, пожалуй, и ждать-то недолго осталось.

Схватила Устинья метлу, успела огреть по заду

занозистого сыночка, в другой раз замахнулась, а Екимка уже наверху. И лестницу за собой утянул.

В это время Володькина мать, вытирая кончиком глухо повязанного платка заслезившиеся глаза, сидела в переднем углу, обезображенном и пустом, после того как не стало в нем образов в золоченых ризах. Сын сам принес самовар, развернул на столе газетку, колбасы порезал, ближе к матери пододвинул сахарницу.

— Купили уж хоть бы бутылочку, — разливая чай, сказала Фроловна, — позвать бы кого: свата да сватьяшку. Как же без них-то? Ну Карпа, еще Андрона да Дарью, соседи ведь.

Нюшка подняла голову, благодарным дочерним взглядом обласкала старушку.

— Думали мы об этом, — вполголоса отозвался сын. — Слов нет, позвать надо бы, хоть и строго у нас с этим делом в ячейке. Позовем, пожалуй, на воскресенье.

Сидел за столом Володька как настоящий хозяин: плечи широкие, покатые, шея крепкая, слова и движения неторопливы.

— Вам виднее, — согласилась мать. Помолчала, хотела что-то такое сказать, чтобы на всю жизнь и невестке, и сыну запомнилось. И не нашлось нужных слов. Вспомнила, как ее самое мать иконой благословляла. Поднялась, обняла Нюшку:

— Живите, господь вам навстречу. Живите, а я уж, старуха, порадуюсь, на вас глядячи. — И снова на глазах ее засеребрились росинки.

Так и зажили — теперь уже втроем. С небольшим узелком в дом старухи Фроловны принесла Нюшка непочатый сосуд серебристого смеха, торопливый, неслышный шаг, проворные, хлопотливые руки и душевную песню. Посветлело в избе: пол горит, как вощенный, подоконники, стол и скамейки каждый день успевала ножом проскоблить, печку выбелила, занавески на окнах вздернула. Всё умеет — и в доме, и в огороде полной хозяйкой держится. И всё-то споро, бегом, всё с улыбкой приветливой, с шуткой.

Не заметили, как осень подкралась, поля опустели. Урожай был добрым, по сухой дороге с хлебопоставками справились, больше плана сдали намного и от-

сеялись вовремя. Бригады подсчитали остатки, — по пяти килограммов на трудовень выпадало. Появилась в колхозе своя новенькая полуторка, вели разговор — теперь уже по-настоящему, на общем собрании — о том, чтобы строить на Красном яру электростанцию. Жизнь колхозная, что шла поначалу вразно-тык, вкривь и вкось, — разворачивалась, с разбитых проселков на большак выходила, набирала разгон. Перед праздником, чтобы отметить семнадцатилетнюю годовщину Великого Октября, всем селом полных три дня на площади проработали — заложили сад. До самой Метелихи тополей и берез понасадили. Ограду церковную сняли, решетки железные в кузницу отвезли, а на самом куполе вместо проржавленного креста красный флаг выбросили.

— Через годик-другой сроем всё до основания, — говорил комсомольцам Николай Иванович, показывая на церковь. — На этом месте выстроим каменный клуб. И не клуб даже — настоящий Дворец культуры. Будет, всё это будет, друзья мои! А сейчас неотложное дело для нас — электростанция на Каменке. По первопутку снова за топоры возьмемся, в междупарье — на Красный яр!

Не пришлось Владимиру Дымову на плотине работать, не пришлось увидеть, как ровно год спустя, вспыхнуло над Красным яром светлое зарево; вскоре после праздников вызвали парня повесткой в военкомат, призвали (и так уж сверстников своих пропустил — льготой пользовался). Провожали всем селом, в клубе вечер устроили. И опять старики дивились: в былые-то, царские, годы рев стоял по деревне, когда в солдаты парней забирали, нынче с песнями, с переплясом!

На прощанье председатель колхоза обнял Владимира, похвальную грамоту от правления артели вручил, — знали бы там, в полку, какого работника в строй принимают. И по-отцовски же наказал строго:

— Знай, кому служишь отныне — всему государству нашему! До этого дня спрос с тебя был невелик, был ты у нас на глазах, в одной с нами семье вырос. Чуть чего, мог совета спросить. В армии, брат, уговор не будет; там — приказ. Может и так случиться:

приказать некому будет. Присягу не забывай; это тебе приказ до последнего дыхания.

Помолчал, подумал и добавил, глядя прямо в глаза новобранцу, будто мысли его читал:

— Семью поддержим, не думай об этом. Ну, давай-ка по обычаю стародавнему...

Карп Данилович тиснул еще раз за плечи парня и троекратно расцеловал в губы.

Вернулась Нюшка домой от околицы — пусто в избе. Принесла воды из колодца, самовар разожгла, две чашки на стол поставила и стакан граненый. Принялась протирать полотенцем всё это. Мутное дно у стакана, чем больше трет, тем хуже: разводы радужные появились на гранях. Потом догадалась: слезы это мешают смотреть.

Убрала стакан в шкафчик, отвернулась к окну, прислонилась виском к холодной глади стекла. Долго стояла так, крепко зажмурившись, и так же, не открывая глаз, опустилась на лавку. Усталым движением провела по щекам пальцами, а пальцы дрожат, горячие. И щеки впалыми показались. Открыла глаза — лежит на подоконнике раскрытая книжка «Трактор „фордзон-путиловец”». Прочитала зачем-то несколько строк — расплываются буквы, и не видно уж книжки и самого подоконника. Вместо этого Длинный пай, шалаш трактористов, возле телеги — костер. Смотрит Нюшка со стороны, вот он, трактор, ползет по меже, за рулем Володька, а сама она покачивается на упругом сиденье прицепа. Вот и поле гороховое, тропинка лесная, Красный яр, заводь, заполненная туманом. Где-то рядом скрипит коростель, торопливый посвист утиных крыльев вверху, над уснувшим лесом, и тягучий, терпкий настой увядающих трав...

Не мигая смотрела Нюшка в это свое мимолетное прошлое, такое короткое и уже навеки оставленное за дверью; вспомнила все слова, сказанные жарким выдохом возле самого уха. Так же машинально, как посуду перетирала до этого, нащупала газету на этажерке, бережно завернула в нее книжку, отнесла за полог к постели, чтобы спрятать под пуховик, — были бы с ней навсегда и думы Володькины. И тут не выдержала — задернула полог, сунулась ничком в зыбкую толщу подушек.

Свекровь всё это видела. Подошла, узкой шершавой ладонью провела по плечу, вздохнула. Подсела поближе, еще раз вздохнула.

Нюшке подумалось — вот сейчас скажет, как Улита когда-то: «Поплачь, поплачь, девонька; в нашем бабьем деле оно помогает», но свекровь сказала совсем другое.

— Не на войну ведь ушел, чего слезы-то лить? Скольких забрали, все домой возвращаются, — говорила она неожиданно твердым голосом. — И там по машинной части определится; дело это для него не новое, да и служба теперь в солдатах короткая...

— Ляг по-хорошему да усни, — переждав минутку, продолжала Фроловна и, чтоб убить время, принялась рассказывать Нюшке, как она провожала своего Степана также вот осенью в четырнадцатом году. Одна-одинешенька с ползунком-несмышленишем осталась. Дождалась, однако, хоть долгих шесть лет горемыкала. С немцем когда замирение вышло, в лазарете муж лежал, в Питер потом подался, доподлинно всё распознать: правда ли, что земли барские да казенные новая власть мужику отдала? Ну, узнал, сказывал после-то: от самого Ленина слова эти слышал; да вместо того, чтобы домой, — в Сибирь, с Колчаком воевать. Вернулся вместе с Романом. Месяца не прошло — из лесов прикамских банда нагрянула. Прознали откуда-то, что у красных служил. Возле крыльца шашками зарубили. На ее глазах. Так же вот у окна стояла, Володькину голову к себе прижимала. До сих пор видит.

Кончила старая скорбную свою исповедь, а Нюшка лежит идохнуть боится. Знала, слышала стороной, та же Улита рассказывала, что Володькиного отца во дворе беляки насмерть убили, а чтобы так вот, в несколько слов, от самой Фроловны услышать, не думала.

— А может, Артюха всё это, маманя? — спросила Нюшка, глотая колючий комок. — Как и Фрола? Как Верочку?

— Чего не знаю, того не знаю; греха на душу брать не буду, — ответила та. — Козел свое получил, бог с ним совсем. Степану-покойнику и мне оттого не легче. — И замолчала, оставив руку на Нюшкиной голове.

Долго молчали обе. Потом старушка поднялась.

— Так-то вот, доченька, — говорила откуда-то уже издалека, — всякого повидать довелось, а твое-то горе и горем не след называть. Настоящего горя не ждешь, не знаешь, когда в дверь оно постучится. Спи, давай-ка укрою тебя...

* * *

Больше недели письма не было, а потом сразу три: из Уфы, Челябинска и Новосибирска. Еще дней через десять прочитала Нюшка в жирном оттиске почтового штемпеля — «Чита». В этом конверте было второе письмо — Николаю Ивановичу. В тот же час отнесла его Нюшка учителю.

«Здравствуйте, Николай Иванович и Маргарита Васильевна! — так начиналось это письмо. — Еду вторую неделю и от окошка не отхожу — до чего же велика Россия! Насмотрелся на горы уральские, на степи бескрайние и тайгу сибирскую. Когда Байкал объезжали, задумал было туннели считать — сбился на четвертом десятке. Помню, в школе мы проходили, как-то не верилось, а теперь вот своими глазами увидел: на сотни верст земли нетронутыми лежат, леса — шапка завалится, а в горах руды всякой не перебрать, наверно.

На Урале, куда ни посмотришь, заводские трубы дымят, а тут нету. Верно, руки еще не дошли, а дойдут, Николай Иванович, быть не может того, чтобы край этот необжитым остался!

А Байкал — правильно в песне поется — море! Аж дух спирало, когда поезд по самой кромочке пробирался, а внизу обрыв сажен на тридцать. Страхота — одно слово. И народ тут чудной: на коровах верхами едут. Не поймешь — мужик или баба: с трубками все и в штанах из собачьего меха. Жалко вот, аппарата нет у меня фотографического; наснимал бы я тут такого, что в Каменном Броде никому и присниться не может. Отслужусь, в школе нашей обязательно обо всем расскажу. А служить мне, Николай Иванович, в танковой части. Как в Челябинске нас развели по командам, к нашему строю подошел командир в черной кожанке и в таком же кожаном шлеме. С ним и едем теперь, а куда — не сказывает».

— Нет, не ошибся я в тебе, Владимир Степанович, — вслух произнес учитель, складывая письмо. — Ты смотри, Маргарита, мысли какие: «Быть не может того, чтобы этот край необжитым остался!» А сколько их, таких же вот сорванцов Володек, сейчас в нашей школе!

Письмо Дымова обошло все классы от четвертого до седьмого. Читала его Маргарита Васильевна (она кроме работы в библиотеке веда теперь еще и географию) и удивлялась потом: стоило ей в любом классе задать вопрос о природных богатствах Советского Союза, о реках, озерах или о горных массивах — сразу же поднимались десятки рук. Ученик подходил к зеленому полю карты, брал указку и размашисто обводил огромный овал, захватывая северные отроги Урала, всё Заполярье, Камчатку и Дальний Восток; вверх по течению Амура вел линию до Забайкалья и далее по железной дороге к Челябинску, смотрел при этом прямо в глаза учительнице и заявлял убежденно:

— Всё это есть тут, Маргарита Васильевна!

Вот и белые мухи полетели густо-густо, лес за Каменкой почернел, затаился. Притихло село, забылось на короткое время. Так всегда бывает вслед за первой порошей: не вдруг узнают друг друга дома-соседи: и улица перед ними не та, и деревья другие. Вот исподволь и присматриваются, словно подмигнуть норовят один другому. Вечерами хозяйки не спешат зажигать огней: в тепле, после сытного ужина хорошо помолчать, посумерничать. Мысли такие зыбкие наплывают, обволакивают дремотной просинью, подхватывают неслышно мохнатыми мягкими лапами, несут куда-то, укачивают.

Так было и с Нюшкой. Всё улеглось, успокоилось, пошли чередой недели и месяцы. Теперь она уже знала, где ее суженый — на одном письме, снова в штемпеле, прочитала не совсем понятное — «Турий Рог». Николая Ивановича постеснялась спросить; как-то вечером забежала в школу, долго искала по карте. Нашла. У самой границы с Монголией — озеро с копеечную монетку. «Ханко» написано, а повыше — кружок в два обвода; это и есть Турий Рог — пограничный город. Горы вокруг, леса. А потом и карточку получи-

ла: трое в кожаных шлемах стоят у танка в обнимку. Улыбаются. Все плечистые, крепкие. Крайний слева — он. По темному пятнышку над левой бровью узнала. И он улыбается, — видно, успели сдружиться.

Как и говорил Николай Иванович, по первопутку уехали комсомольцы за Черную речку. Агроном снова курсы затеял: посыльный из правления каждую субботу стучал по наличникам палкой, созывал народ в школу.

Приходил и Андрон. Усаживался на порожек у двери больше для порядка, чтобы во время занятий кто-нибудь не шмыгнул в коридор: раз позвали — сиди. С Егором по-прежнему не здоровался и не смотрел в его сторону, но и слова плохого не обронил ни разу ни с глазу на глаз, ни за спиной агронома. И Николай Иванович и Карп, каждый по-своему, пытались сломить упорство Андрона — не поддается.

— Не невольте меня, Христа ради, — сказал как-то учителю. — Пусть делает свое дело. Не маленький я, понимаю. А только не надо нас на одну половицу ставить: не разминемся по-доброму. Вот и всё.

Не изменилось отношение Андрона к Егору и после того как в доме старика Петрухи появилась невестка: женился Егор на учительнице химии. Знала или не знала будущая агрономша что-нибудь про покойную дочь бригадира и тем более про Андрюшку, Андрон не допытывался, но когда услышал, что дело со свадьбой решенное, улучил минуту на скотном дворе, отозвал в сторону Улиту:

— Ты вот что, Улита, подь-ка сюда.

Улита послушно отставила вилы.

— Ты вот чего, — продолжал Андрон, не глядя в лицо раздобревшей, как и в прежние годы, наглова-той вдовы, — Егорка-то женится. Слышала?

— На этой — с мочальными-то кудряшками? — загорелась Улита. — Это на спиченьке-то?

— Сказать не соврать — я особо не приглядывался, — возвышаясь на две головы над Улитой, неторопко гудел Андрон. — Это меня некасаемо: с кудряшками она или вовсе с залысинами; костлявая или кое-где есть у нее мясо. Я вот к чему это: оженятся, стало быть, жить будут.

— Куды денешься! — развела руками Улита, не

зная еще, куда гнет бригадир. — А только горазд она хлипкая. Какая-то вся слюдяная, живинки в ей нету.

Андрон теперь только глянул в лицо Улиты — озноб пробежал у той меж лопаток.

— И это нас некасаемо.

— А чего же меня-то изводишь? Я-то при чем в этом деле? — жалась всё больше Улита под хмурым Андроновым взглядом.

— А при том. Жить, говорю, будут, а в жизни всякое станется: побранятся, повздорят промеж себя, не без того. А она — Катерина-то Викторовна — у вас тут бывает и к Дарье частенько заходит. Так вот, чтобы слова лишнего...

Андрон постучал жестким ногтем по железной скобе на воротах, повернулся. Сутулясь, шел по двору на выход.

— Чего это он с тобой? — спросила Улиту Дарья, когда грузные шаги Андрона заглохли, а сам он завернул в переулок.

— За «зятя» печется. Чтобы Петрухина сношенька, видишь ты, стороной про Андрюшку чего не прослышала, — поджимая губы и вновь принимаясь за вилы, не смогла удержаться Улита. — За год-то откуда ей знать!

— И правильно: знать не надо, — рассудила Дарья. — Что до нас — без нас. А только, сдается мне, не Егорку жалеет Андрон: ее — Катерину Викторовну. Ну как прознает? Каково это ей будет?

А Андрюшка рос, и горя ему мало. День-деньской во дворе копошится. Дед ему и лопату из липовой плашки выстругал — снег отгребать у калитки, и лыжи наладил кленовые. В меховом полушубке, в валенках, шар шаром перекатывался по ступенькам. Голос звонкий, залиvistый, щеки пухлые, точно клюквенным соком измазаны, а глазенки — звездочки после дождя! Андрона звал дедушкой, Кормилавну — «баб» или «мам», про отца и мать настоящую не догадывался спросить, да и не было в этом нужды. И всё-таки случилось то, чего больше всего опасалась старая Кормилавна. Пришел как-то с улицы, поиграл с котом у печки, сел потом на чурбашек, положил свою голову на колени бабушки:

— Баб, а баб?

— Чего тебе, светик?

— А я в школе был. Мне тетрадку дали. И книжку. Хочешь, покажу?

— Лучше дедушке после покажешь. А по осени к Николаю Ивановичу побежишь; вот и пригодится тебе эта книжка. Выучишься, про всё узнаешь.

— И про тятю?

— Про какого тятю? — ахнула Кормилавна.

— Ну, про моего... Вон у Митьки Дарьиного есть, только уехал куда-то, а у меня нету. И все говорят: и отца нет, и матери. А где они, баб?

— Старая я, Андрюшенька, ничего уж не помню, — нашла наконец Кормилавна не совсем убедительный довод. — Вырастешь, сам узнаешь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вторую весну готовились встречать каменнобродцы с новым председателем, — хозяин из него получился с умом, расчетливый. Шуметь не шумел, кулаком по столу не стучал, как в Константиновке, но уж так выходило, что каждое слово, будь даже вскользь брошено Карпом Даниловичем, достигало намеченной цели. При нем колхозники повеселели и работа дружнее пошла.

Зимой работа председателя незаметна, а хлопот непочатый край. Взять тот же навоз у скотных дворов, — кому неизвестна старинная поговорка: «Клади навоз густо — в амбаре не будет пусто!» И Роман это знал, и колхозники знали. Поэтому во всех трех бригадах в коровниках и на конюшнях — чисто. Андрон еще дальше пошел: с осени сам прорубил окна в стене коровника, через них скотницы каждый день выбрасывали навоз в огород и сразу же в котлован. Туда же велел он со всей улицы золу из печек носить. Всё это перемешивалось, а сверху, чтобы не промерзло, прикрывалось соломой. Намеревался Андрон сбересть это добро до того, как земля просохнет, а потом сразу чтобы под пласт — в борозду.

Умел найти Карп нужное слово и в разговоре с помощниками своими — с бригадирами. По пустякам не дергал: не маленькие, сами хорошо знают, что делать. А если уж и требовалось напомнить о чем-нибудь, то делал это с «подкопом», чтобы бригадир по-

чесал затылок после такой беседы. Так вот и с Митрохиным получилось в третьей бригаде.

В конце февраля дело было, проверял председатель, в каком состоянии семена находятся. У Андрона — зерно к зерну, как руками отобранное. Всё в мешках на подстилке, на завязках бирки привешены — всё честь по чести расписано. У Романа — перелопачивают в сусеках, чтобы не согрелось, веялку под навесом поставили, а у Митрохина и дверь в кладовку до половины под снегом.

Призвал бригадира, спросил негромко:

— Сеять-то нынче думаешь?

— А как же! Ужо потеплеет, плужки посмотрю, в кузню что надо свезем.

— Вот, вот... Андрон сев закончит, знамя получит, как в прошлом году, а у тебя к тому времени, глядишь, и первую борозду проложили. Еще неделька-другая минет, за голову схватившись побежишь к Роману: «Выручай, брат Василич, веялкой!» Или уж так — лопатой прямо из амбара с пылью, с мышинными гнездами да в сеялку? Весу в ём больше! А там, мол, по осени видно будет; в случае чего, колхоз-то один — стало быть, и на трудодень припадет одинаково. Ну, чего смотришь-то? Не признал спросонья?

— Какое там «не признал»... Не разорваться, однако. Дома неделю не был, на утре вон с Елани вернулся. Трелевать начали там. Лес ничего, добрый...

— Ты мне зубы не заговаривай. Отвечай-ка лучше на прямой вопрос: думал ли ты когда-нибудь, что лавочка эта скоро прикроется? Это я про обезличку. А не думал, так слушай. Сдается мне, вскорости и у нас как в той сказке будет: кому вершки, кому корешки. Только она теперь по-другому, сказка-то, сказывается: не кто кого обманет, а кто что заработает. Не дошло? Думай, на то ты и бригадиром приставлен.

Больше не пришлось напоминать бригадиру о сортировке семян, подготовке инвентаря, сроках запашки. По примеру второй бригады началось весной соревнование: кто больше новых земель обработает. Прямую выгоду увидели колхозники в этом деле, а МТС к двум тракторам-колесникам, которые были закреплены за артелью, добавила еще один — на гусеничном ходу. Машину эту сбежались смотреть всем колхозом.

— Видите: «ЧТЗ», — говорил учитель собравшимся, поглаживая массивный чугунный лоб шестидесятипятисильного тягача, — наш, до последнего винтика советский! Притопал сюда из Челябинска. А сколько таких отправлено на Украину, в Сибирь, в Белоруссию! Вот оно — слово и дело большевиков!

Тут же, у трактора, — Мишка с пастушьим кнутом на плече. Смотрел во все глаза на механика, а потом вздохнул, отвернулся: не удалось ему на курсы попасть, учился мало.

Учитель не мог не заметить смертельной тоски в этом вздохе.

— Заходи вечером, потолкуем, — сказал он Мишке. — За лето попробуем подогнать. С письмом у тебя не ладится, так, что ли? Приходи.

У крыльца дожидалась учителя Кормилавна.

— Николай Иванович, сказал бы ты председателю, тебя он послушает, а мне не осмелиться, — начала она издали.

— Что случилось?

Кормилавна шагнула поближе, загородясь рукой зашептала на ухо учителю торопливо:

— Нюшке-то время пришло, а мой не объявится до ночи, да и тряско в телеге-то. Вот я и вздумала — спросить бы у Карпа машину до Константиновки. Больно уж славная молодуха, пускай ее по-доброму разродится при докторах. Чтобы не как мы, грешные, на меже да возле корыта рожали.

«Тронулся, тронулся лед», — пронеслось в голове Николая Ивановича. Кивнул Кормилавне и зашагал через площадь к правлению...

Народилась у Нюшки дочь, маленькая, беспокойная и глазастая. Всё-то вертится, всё кряхтит, пеленать не дается. Долго думали всей палатой, как назвать девчонку; для парня-то загодя приготовлено было имя: по дедушке, Степаном хотели назвать, и вот тебе на — девка. Думала, думала Нюшка, да так ни на каком имени и не остановилась, попросила сиделку отнести телеграмму на почту — туда, в Турий Рог, на границу. Написала крупными буквами: «Сердись не сердись, а подскажи лучше имя девчонке».

Приехала Нюшка — избу свою не узнала. Пока в больнице лежала, председатель распорядился крышу

старую заменить, голубой масляной краской наличники выкрасить, — было бы новому человеку радостнее входить в большую и светлую жизнь. В избу вошла, а на столе телеграмма ответная: «Экипажем решили — быть дочери Аннушкой».

В тот же день и Николаю Ивановичу почтальон принес телеграмму из Ленинграда. Со второго курса Валерка решил уйти в армию — в инженерную школу. Отец побаивался вначале: вдруг медицинская комиссия не допустит. И вот: «Всё хорошо, папа! Можешь поздравить. *Курсант Крутиков*».

* * *

В междупарье забили первую сваю в берег у Красного яра. Из города инженер приехал, у штабеля источавших янтарные слезы бревен развернул тонко вычерченный метровый лист, потом стоял в окружении мужиков на самом обрыве.

— Плотина тут не нужна, — говорил инженер, — этой плите в веках износу не будет. Турбины упрячем вниз, водосброс сузим с боков стальными щитами, обуздаем навечно Каменку вашу. И будет она работать, хватит ей водяного тешить. Замуруем всех духов в бетон.

На берегу спозаранок и до позднего вечера чавкали топоры, полоскались продольные пилы. Тут же, в яру, клиньями выворачивали ноздреватые плиты, мельчили кувалдами на щебенку. Когда уложили настил и полукружье по дну котловины, вспомнили про Кузьму. Знали все — работник из него никудышный, но голос у черта старого до звону в ушах. Издавна так ведется: где артель мужиков ухаёт многопудовой «бабой» — без песни не обойтись. Вот и призывали Кузьму запевалой, послали за ним на мельницу.

Кузьма пришел в лапотках, в посконной до колен рубахе с красными ластовицами. Маленький, тощенький, с лицом сморщенным, как печеное яблоко, стоял он на яру, притопывал. По-бабьи — до невозможности высоко и залиvisto — выводил начало:

Ой да как у барыни высокой...

Мужики внизу — кряжистые, бородатые, потные — подхватывали медвежьими, мохнатыми голосами. Ма-

терное, конечно, через семь колен, с перевертом. Иначе нельзя, — и песня будет не в песню, и дубовая, в обхват, комлевая «баба», окованная полосовым железом, не вздынется на вытянутые руки. Хором заканчивали припевку, на последнем слове «баба» ухала по торцу сваи, вгоняла ее на четверть в каменистое дно омута.

Кузьма хорохорился наверху, крякал, притопывал лапотком, выставлял кадык и, покрывая тяжелый гул водопада, над котловиной взмывала новая, самым же Кузьмой сочиненная, небылица:

Раз, два — в саду была,
Раз, два — ...

Мужики лютовали на кóзлах, багровели от наплыва молодецкой удали. «Баба» взлетала выше голов...

Приближался покос, травы в лугах зацвели, на Красном яру народу ополовинело. Оставалось уложить переводы в турбинном боксе. Просмоленные кряжевые балки подсыхали в сторонке. Опустить их на место — дальше работа пойдет попроще, плотники сами малым числом управятся.

Балки спускали вниз по жердям, на веревках, по бревенчатому настилу откатывали в конец перемычки. Осталась одна, последняя; вшестером еле-еле конец занесли. А до берега метров с полсотни, подъем небольшой, как раз к тому самому месту, где дубок когда-то стоял.

Выкурили по сигарке, поплевали в ладони, облепили бревно. Андрон стал под комель, братья Артамоновы — оба под стать бригадиру — впереди на полшага, у вершины — Роман со своими подручными, а всего человек двенадцать.

Когда поднимали еще, глянул Андрон поверх головы старшего Артамонова. «Неладно взяли», — подумал. Тяжесть такую полагается брать всем на одно плечо, а тут с обеих сторон лесины шапки виднеются. Наверху надо перемениться, перед тем как на землю бросать.

Только подумал так, а бревно уж поплыло на горку. Помаленьку, по полшага переступали, ворошили лаптями щепу, хрипло дышали в затылок один дру-

гому. И надо же быть беде — на половине дороги споткнулся Артамонов-младший. На него повалился старший. Бревно закачалось, а у Андрона — круги зеленые перед глазами: жмет его, давит непомерная тяжесть. И бросить нельзя, — передним концом остальных сомнет.

Остановился Андрон, захрустела под ним щепка, через стиснутые зубы выдохнул с хрипом, а вновь не вздохнуть: заклинило. А в голове — новый крест рядом с Дуняшкиной могилой и Андрейка. Один-одинешенек стоит он под березой между двух крестов.

«Всё, конец...»

От мысли этой Андрон зажмурился, и вдруг тяжесть уменьшилась, — кто-то с разбегу втиснулся в сбитую кучу тел.

Бревно дрогнуло, приподнялось, и опять зашуршала под ногами стружка. Переступил и Андрон, всё еще не открывая глаз, а когда проморгался, увидел, что борода его раскинулась дымчатым веером по тугому плечу Егора.

Наверху бревно сбросили. Колыхнулся берег. Андрон повернулся к Егору, молча тиснул крепкую его руку. Задержал в своей и еще раз тиснул.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Время шло своим чередом. На второй год Нюшка не так уже тосковала, да и забот прибавилось: Анка-маленькая заполнила всё собой. Проказницей росла, а уж падала — места живого не было на девчонке! Ровно год ей исполнилось — ночью из зыбки вывалилась, стали привязывать полотенцем. Всё равно ужом норovit вылезти. А ходить начала — и того хуже: всё кувирком, всё через голову. Замучилась с нею Фроловна. Мать-то в поле или на ферме; а бабке и по хозяйству за всем присмотреть надобно, и за внучкой глаза да глазыньки: того и гляди, с курами из одной чашки наестся, молоко выпьет у кошки или в подворотню пролезет. А там и собаки, и свиньи, и гуси — долго ли до греха!

Один раз Андрон принес сонную, — уснула на самой дороге. Глаза, нос, уши — всё пылью забито;

спит, а кулачки оба сжаты. Обтерла ее бабушка мокрой тряпицей, стала пальцы помаленьку разжимать — в обеих руках по лягушонку!

— Наградил же господь на старости лет! — говорила Фроловна снохе. — Обои вы в ней. Помню, и ты ведь вострухой росла, а уж сам-то — господи твоя волюшка! Любуйтесь теперь на чадушку...

Мать подхватывала дочурку, тормошила ее, и обе отправлялись к простенку, что возле перегородки. Там, в нижнем углу зеркала, карточка была вставлена.

— И вовсе мы не плохие, верно ведь, батя? — спрашивала Нюшка-большая, а дочь дергала ее в это время за волосы, хватала за щеки. Ногти острые, как иголки.

Ждать Володьку оставалось не так уж и долго. Вот и третья зима миновала, вот и лето прошло. Отрывной календарь на стенке становился всё тоньше и тоньше. Вернулись из армии одногодки Владимира — Федор с Озерной улицы и Никифор, — эти служили на Западе в пограничных войсках. Вытянулись, в плечах раздались, куда какими молодцами заявили, а от Владимира вдруг письмо:

«Обожди еще годик, лапушка; я теперь — командир машины».

На снимке — тот же скуластый парень с темной метинкой у левой брови. Промигалась Нюшка, всмотрелась получше: тот, да не тот. На петлицах суконной, ладно пригнутой гимнастерки с обеих сторон по два треугольника стекленеют и значок на подвеске над левым кармашком. Про значок-то и раньше писал, награжден приказом по части за отличную службу, а про треугольнички эти и слова не было.

Расстроилась Нюшка. Забрала к себе на колени дочку, долго сидела с ней, не включая света, у задернутого занавеской окна. И непоседа дочь притихла, сунулась пуговкой-носом в разрез байковой кофты матери.

А на улице — слякоть, ненастье, скрипит-надрывается ставень, капли дождя по стеклу змеятся.

Осень в этом году наступила рано, с густыми, тягучими туманами, с крупой, с изморозью. Хлебнули забот каменnobродцы, однако с уборкой управились,

а обмолот затянулся. И скот пришлось раньше времени по дворам поставить — какой это выпас, когда сверху льет и коровы весь день одна от другой не отходят. Чтобы несколько придержать сено и клевера, Карп Данилович распорядился косить отаву, перемешивать ее с овсяной соломой. На гумнах дымили овины, подсушивали сортовую пшеницу и обмолачивали тут же вручную, — опасались, как бы в кладях не сспрела.

Картофель забуртовали в поле, и опять председателю дума неотвязная: в дождь буртовали, а ну как по голой земле мороз ударит!

И в школе у Николая Ивановича начались неприятности. Прислали нового завуча с институтским образованием; сам же Николай Иванович и просил: школа большая, семилетняя, одних учителей-предметников шесть человек да в начальных классах столько же, всего не охватишь. Вот и приехал человек с дипломом, историк по специальности, привез жену-математика.

«Хорошо, — подумал вначале Николай Иванович, — в нашем полку доброе подкрепление».

Александр Алексеевич Чекулаев — так звали нового завуча — оказался не по годам молчаливым, насупленным. Жена тоже под стать ему. И всё-то их не устраивало, всё неладно. Квартиру нашли в добром доме, с опрятной хозяйкой, а через неделю съехали, — ребятишки, мол, за перегородкой плачут, спать по утрам не дают. И в школе оба — как в институте: отчитали свои часы, и нету их.

Попросил как-то Николай Иванович Чекулаева в клубе с лекцией выступить — мигрень у завуча; в другой раз предложил было новой математичке помочь счетоводу сельского кооператива разобраться с квартальным отчетом — повела она этак плечиком и говорит:

— Я не обязана. Вот если бы сахар и масло продавали без хлебных квитанций, если бы вы, как директор, заботились о своих коллегах по-настоящему... Неужели фондов особых нельзя выхлопотать? Какой городишко Бельск, но там даже разговора никто не заводит о продуктах питания. Мы же всё-таки интеллигенты!

Кто-то из старых учителей был в это время в канцелярии, и слова «коллега» и «продукт» стали нарицательными строптивой чете. Чекулаев пожаловался в роно.

С этого и пошло.

Зимой, на районной учительской конференции, Чекулаева выступила с критикой постановки воспитательной работы в Каменнобродской ШКМ, говорила о том, что директор чувствует себя удельным князьком, загружает работой, которая не имеет никакого отношения к преподавательской, не способствует росту молодых учителей.

В защиту Николая Ивановича поднялась учительница по химии — Екатерина Викторовна, жена агронома.

Едва сдерживая себя от возмущения, потребовала она от заведующего районным отделом народного образования и секретаря райкома партии немедленно убрать из коллектива склочников. Тогда вышел к трибуне Чекулаев.

Потирая сухие, костлявые руки и без нужды поправляя черный галстук, высказал свое мнение, мнение завуча. Нет, он не полностью разделяет суждение товарища Чекулаевой, несмотря на то что она близкий ему человек. Справедливости ради нужно сказать, что директор Каменнобродской школы пользуется вполне заслуженным авторитетом. Да, к подчиненным требователен, это необходимо.

— Но, — Чекулаев сделал большие глаза, — в практической своей деятельности товарищ Крутиков допускает излишнюю опеку над воспитуемыми. Это не стимулирует проявления индивидуальности, подавляет в зародыше творческое пробуждение личности. В современный период перед школами колхозной молодежи поставлены благородные задачи воспитать подлинных строителей новой жизни; мы совершаем культурную революцию на селе. Естественно, что те взгляды и методы работы, которых придерживается директор школы, на мой взгляд, несколько отдают до-революционной гимназией, входят в глубокое противоречие с установками нашей партии.

«Змееныш!» — только и мог подумать Крутиков. Когда ему предложили выступить, отказался.

— Прошу назначить комиссию; лучше, если вы сами приедете. У меня всё, — сказал он председательствующему.

Проверять школу приехал заведующий районным отделом народного образования Нурғалимов. Чекулаевой было велено извиниться перед директором, завуч струсил, понял, что перегнул палку на конференции, и написал пространную объяснительную записку. Ему-де после трехлетней практики в городской образцовой школе показалось несколько странным то, что пришлось увидеть в Каменном Броде: городские школьники более самостоятельны и предприимчивы, а здесь робость какая-то перед учителем, подавленность. Вполне возможно, что это и не есть прямой результат диктаторства со стороны директора.

«Разумеется, я пересмотрю свои чисто профессиональные концепции», — так заканчивалась записка.

— Сопля! — теперь уж вслух проговорил Николай Иванович, не стесняясь присутствия Нурғалимова.

— Остерегайся, однако, — по-товарищески предупредил Нурғалимов, — этот народец способен больно ужалить. Иващенко, думаю, не забыл?

— А при чем тут Иващенко? — вскинул брови Николай Иванович.

— К слову пришлось. Такие заблаговременно запасаются поддержкой кое-кого из вышестоящих. После этого начинают мстить.

— Имеете основания? — настороженно и вполголоса задал вопрос Николай Иванович.

— Интуиция, — так же вполголоса отозвался заведующий роно, — всего лишь одна интуиция. Но в городе ходят слухи, что кто-то помог ему свалить Прохорова.

— Прохорова?!

— А вы что — не слыхали? Снят с должности и отозван.

Интуиция... Это нерусское слово довелось услышать каменнобродскому учителю и еще раз, вскоре после проверки школы Нурғалимовым. Как-то заехал Аким Мартынов — подписывал договоры в колхозах на посевные и уборочные работы, по дороге к дому завернул на огонек к своему боевому соратнику по Южному фронту.

После ужина долго сидели один напротив другого, перебрасывались короткими малозначащими фразами о делах житейских.

Аким всё отчего-то хмурился, смотрел под ноги, глухо прокашливался, затем перевел разговор на сообщения центральных газет. Они пестрели гневными восклицаниями. Повсеместно — на фронтах и заводах, в колхозах и в воинских частях — проводились бурные митинги: «Смерть презренным врагам Отечества — наймитам троцкистско-бухаринской банды!»

— Что хочешь делай со мной, Николай, — приподняв голову, говорил Аким, — не верю! Кстати, так говорил и Жудра, когда я встречал его полгода назад. В Москве это было.

— Почему — «говорил»? Почему «полгода назад»?

Аким ответил не сразу. Принялся закуривать, медленно разминая в пальцах папиросу, потом для чего-то заглянул в мундштук, чиркнул спичку и только после этого пристально посмотрел в глаза Николаю Ивановичу.

— Арестован Жудра. И Прохоров арестован...

Уехал Аким, на прощанье как-то особенно задержал руку Николая Ивановича, усмехнулся чему-то:

— Ну, надо думать, увидимся.

— Само собой!

А через неделю не стало Акима. Во дворе МТС разморозили трактор. На ночь забыли слить воду из радиатора — разворотило рубашку мотора. Вместе с трактористом увезли и Акима. Оба стали вредителями.

Враги народа... И Жудра — враг, и Прохоров, и Аким... «Разве это враги?» — спрашивал себя каменобродский учитель и не находил ответа. И не раз скудный февральский рассвет заставал Николая Ивановича сидящим над стопкой непроверенных, приготовленных еще с вечера тетрадей, не раз среди ночи, лежа с открытыми глазами, спрашивал он вязкую темноту: «Неужели Жудра и ты, Аким, с ними?» — «Надо думать, увидимся», — отвечала ночь словами командира буденовской сотни. Неуютной, жесткой казалась постель, в головах — кирпич, не подушка. Николай Иванович поднимался, шел к своему столу,

механически перелистывал тетради и не видел того, что в них было написано. Часами сидел, тупо уставившись перед собой.

Просыпалась и Маргарита Васильевна. Зябко пожимая плечами, куталась она в одеяло, смотрела на мужа с затаенным испугом.

Так миновала зима, летом меньше стало в газетах тревожных сообщений. Вот и рожь налилась, созрела. Парадной колонной отправились комсомольцы на Длинный пай, первый сноп перевили кумачовой лентой, а к вечеру прискакал верховой на взмыленной лошади:

— На Дальнем Востоке не ладно! Самураи перешли границу!

Всё селом ждали последних известий по радио. Как и в дни работы съезда колхозников-ударников, когда Андрон уезжал в столицу, клубный громкоговоритель сняли со стенки и перенесли на стол посредине сцены. Но клуб не мог вместить всех желающих, и радист установил трубу на подоконнике.

Разноликая толпа запрудила площадь. Нестройно и глухо гудела она до первых сигналов Москвы. У самого подоконника, притиснутая со всех сторон разгоряченными, потными телами, стояла Нюшка без кровинки в лице. Она никого не видела и не замечала того, что ее толкают; широко раскрытыми, испуганными глазами не отрываясь смотрела в черную горловину трубы, и только с полуоткрытых пересохших губ ее срывались короткие жаркие выдохи.

Народ всё прибывал и прибывал, мужские и женские головы теснились до самого переулка. Ребятишки гроздьями унизали соседние деревья и сидели там молча.

Если долго и мучительно ждешь первого слова, часто бывает и так, что, когда оно уже сказано, хватаешь только его окончание и потом уже мысленно приставляешь к нему недостающие части. Так было и с Нюшкой: она не успела расслышать не только первого слова диктора, но пропустила целую фразу.

Без торопливости, четко, как размеренные удары молота, падали сверху суровые, гневные и, кажется, где-то уже не раз слышанные или прочитанные слова;

ложились, как кирпичи в стенку: прочно, впритык один к другому, на вечные годы, и Нюшке почудилось, что она потерялась от всех, что перед ней всё выше и выше подымается эта глухая стена, а где-то там, за высокой кладкой, остался Владимир, и она никогда его не увидит. Никогда.

«...На удар поджигателей ответим тройным, сокрушительным ударом, — гулко, раскатами внезапно пробудившегося грома, рокотала труба. — Священная наша земля не потерпит ноги агрессора!»

Опомнилась Нюшка от мелодичного перезвона Кремлевских курантов, они отбивали полночь.

— Неужели это по-настоящему, Николай Иванович? — слышался чей-то вопрос.

— К тому, что сказала Москва, ничего не могу добавить, — ответил учитель. — С провокаторами у нас не принято церемониться.

— Стало быть, всё же война?

— А далеко он — Хасан?

— До моря рукой подать, вот туда и швырнут, — пояснял Николай Иванович. — Слабое место ищут.

«Мой всё больше про горы пишет, а про море ни разу не было», — светлячком придорожным промелькнула коротенькая обнадеживающая мысль в голове Нюшки и тут же погасла: и от озера Ханко не так уж далеко до моря, а Николай Иванович только что сам же сказал — самураи ищут слабое место. Утром — Хасан, в полдень — у Турьего Рога. Может, сейчас вот...

Вскрикнула Нюшка, не выдержала. Николай Иванович обернулся на сдавленный крик, подошел вплотную:

— Это еще что, Анна Екимовна? — и положил теплую руку на узкое, конвульсивно вздрагивающее плечо бывшей своей ученицы. — Постыдилась бы! А ну как мы все заревем? Перестань сейчас же, слышишь?!

Как в классе когда-то, подняла Нюшка глаза на учителя, а лицо у него совсем не сердитое. Отцовское что-то, родное и в морщинах под стеклышками дешевых очков, и в том, как поджаты губы. Молча покусывал их Николай Иванович, — видно, что-то еще сказать собирался, а слова-то нужного нет. Не сразу его

найдешь — это уж знала Нюшка; и то, что учитель ищет это слово, хочет подбодрить, успокоить, что называл по отчеству и руку не убирает с плеча, — без слов говорило о мыслях самого Николая Ивановича. Не мог не думать старый учитель в этот момент о первом своем ученике, о комсомольце, который не откинулся за простенок, когда увидел в окне темный зрачок винтовочного обреза. Верочку вспомнила, — и тогда, на Метелихе, у Николая Ивановича так же еле заметно вздрагивали кончики прокуренных, пепельно-серых усов. Отец, — каково ему было? Крепился он, надо и ей зубами зажать свою боль.

Вытерла Нюшка глаза, попросила вполголоса:

— Можно мне, Николай Иванович, последние известия слушать у вас на квартире? Там не так глушит и слова все понятнее, я ведь до сих пор первую передачу помню.

— Приходи, обязательно приходи. По утрам я буду записывать на листок, а вечером будем вместе слушать. Вот увидишь, кончится там вся эта перепалка, о нашем герое по радио говорить будут. Приходи.

Одиннадцать дней шли бои у Хасана, и все эти дни в половине двенадцатого ночи собирались у клуба каменnobродцы, а Нюшка прямо с работы спешила в открытую дверь квартиры учителя.

Хорошо понимала ее и Маргарита Васильевна. В эти тревожные дни завязалась между ними большая, хорошая дружба.

Военный конфликт на Хасане всколыхнул доселе непроявленные силы коллектива: работа кипела в руках колхозников. Не дожидаясь наряда бригадиров, на жатву и обмолот выходили семьями. Первыми из района каменnobродцы отправили на станцию красный обоз с хлебом нового урожая. «Наш ответ самураям!» — написано было на кузове головной машины. Военные сводки передавались из уст в уста, и как там — на далекой границе — каждый день рождались герои, так и здесь — на полях колхоза — множились трудовые успехи.

Усталые, запыленные возвращались колхозники к позднему ужину, чтобы до света снова быть на токах, снова налечь на поручни плуга. Работали каждый на своем участке, за три-четыре версты друг от

друга, но в половине двенадцатого ночи неизменно встречались под окнами клуба.

Ни одной передачи не пропустила Нюшка, и всё же раз опоздала. Сидела возле приемника и почему-то старалась не показывать Николаю Ивановичу рук, перепачканных липким сырым черноземом. А в деревне так никто и не догадался потом, кому это надоумилось перенести из своего палисадника на вершину Метелихи вместе с корнями охапку распустившихся георгинов.

Темно-бордовые, огненно-красные, до глубокой осени пламенели они широким костром вокруг латунного обелиска.

Может быть, один только Николай Иванович и догадался бы, кто это сделал, но к этому времени его уже не было в Каменном Броде.

Не успела Нюшка поделиться с учителем своей радостью о том, что Владимир жив и здоров, — письмо получила в последние дни августа. Писал, что был в настоящем деле. А в самом конце — приписочка: «Дни считаю».

Пробежала Нюшка по строчкам глазами, стиснула письмо на груди, еле-еле слова потом выговаривала, когда свекровь вслух прочитать заставила. На заре с этим письмом — за Ермилов хутор, овес дожинать. Так до воскресенья и не собралась зайти к Николаю Ивановичу. Пришла вечерком, а его нет дома: в пятницу еще в город вызвали по телефону на какое-то срочное совещание. Машина ночью вернулась, а он почему-то не приехал. Шофёр передал, что, как и договаривались, ждал его до шести часов у конторы «Заготзерно», потом, уже в сумерках, подъехал к райисполкому, обошел все отделы. Закрывается кругом, и света не видно, а сторожиха сказала, что сегодня вроде и совещания-то никакого не было.

— Может, с кем из константиновских подъедет еще, — предположила Нюшка. — Теперь много машин попутных.

— Всё может быть, — согласилась Маргарита Васильевна, а у самой голос срыгается. — Всё может быть. Но ведь мог бы и позвонить. Завтра начало занятий.

Так и не узнали в Каменном Броде, что случилось

с директором школы. Дней через десять в квартире Крутиковых появился Чекулаев. Поджимая тонкие губы, молча обошел все комнаты, будто в первый раз видел их.

— Если письма какие есть — в печку их, — посоветовал он Маргарите Васильевне уже от двери. — Из лучших чувств, по велению сердца, предупреждаю: мало ли... Вот как у нас теперь с честными интеллигентами поступают.

Постоял еще, взялся за ручку, добавил, не глядя в лицо хозяйке (а та уж последние дни ходила):

— И вот еще что, гражданка Крутикова: ищите другую квартиру; здание это школьное. С меня ведь тоже могут спросить; неважно, что я всего-навсего «врио». Прошу вас...

В октябре, поздней ночью, проснулась Нюшка, — шаги под окном почудились. Вот и калитка скрипнула, на крылечко кто-то взошел, сапоги о скребок очищает.

Рванулась к двери, без слов упала на грудь Владимира, замерла надолго. От солдатской грубой шинели, пропитанной стойким запахом перегретого железа и масла, дымом бивачных костров, не могла оторваться, шептала:

— Ну теперь-то уж навсегда. Довеку!

Мать всполошилась, не знает, что в руки взять, что поставить. Из-за полога выглянула Анка-маленькая, посмотрела сердито.

— Дочурка, это же батя!

Так и не подошла, задернула занавеску. Силком пришлось вытащить.

Утром Дымов зашел к соседу. Андрон, всё такой же — жилистый, бородатый, сидел за столом, сам резал хлеб. Ломти отрезал по-мужицки — от середины клином и на себя, прижимая буханку к животу. Бережно и не торопясь подобрал крошки и потом только вышел навстречу:

— Здорово, служивый! Присаживайся. Мать, нет ли там каких ни на есть капель? Глянь-ка. Дома-то, поди, не вдруг догадаются: бабы, какой с них спрос.

Долго мямл за плечи коренастого парня, разглядывал боевой орден.

За столом — жена Николая Ивановича, в уголке — Андрюшка, у окна — прикрытая пологом зыбка.

— Семья наша, видишь, прибавилась малость, — усаживаясь на место, гудел Андрон; мотнул бородой при этом в сторону Маргариты Васильевны, потом в сторону зыбки. — Андрейке вон невесту высмотрели. А ты вытянулся, иначе. Вот бы глянул сейчас на тебя Николай-то Иванович.

— Я ведь за тем и зашел спозаранок — узнать, нет ли вестей от него.

Андрон вздохнул:

— Как молоток в воду. Этот, — Андрон мотнул головой, — как его, Чекулаев, что ли, и съел его живо. Вздулся теперь, как чиряк на локте: вся рука омертвела.

— Писать надо.

— Думали — весу в нас маловато. А этот — страшает. Тебе вот — с орденом-то — другое дело. А мы — всем колхозом — в сто рук подпишемся.

Это же говорили и Карп, и Егор, и пасечник Никодим, и Дарья с Улитой; всех запугал Чекулаев, как Артюха, хвастался связями. Однако письмо от колхозников было послано; лично Михаилу Ивановичу Калинин; Андрон и Владимир первыми свои подписи поставили.

...Время шло. От Николая Ивановича вестей по-прежнему не было; жив или нет — неизвестно. Валерка был уже лейтенантом, год прослужил в полку где-то на Украине, а потом его демобилизовали из армии. Но в Каменный Брод он не приехал. А у Маргариты Васильевны росла дочь — Варенька. Мишку призывали в армию; год отслужил — в летную школу направили. Улита остепенилась, раздалась в стороны и ростом, кажется, ниже сделалась. Дарья заведовала фермой племенных холмогорских коров. Председателем оставался Карп, Егор агрономом, Роман и Андрон — также на своих местах, Владимир — механиком в МТС. Колхоз славился по району стопудовыми урожаями озимой пшеницы, фермой и пасекой.

Сад разросся на площади. По весне незнакомому человеку могло показаться — опустилось к подножью Метелихи круглое пышное облако с розовыми пенно-взбитыми краями, да так и не захотелось ему по-

кидать полюбившегося места. Леса вокруг, сочная мурава луговая, а на озере — зеркальная сизая гладь.

...Июнь 1941 года погромыживал ранними грозами, вечерами в полнеба полоскались зоревые всполохи. Ночи душные, а к полудню засинеет над лесом тучка; набухнет, насупится, края у нее побелеют рваными клочьями. Обойдет за Метелихой к Черной речке, долго гудит, рокочет.

В субботу — 21 июня — Владимир поздно вернулся домой; три дня до этого колесили с директором МТС по тракторным бригадам, разбросанным на десятки верст от центральной усадьбы: проверяли готовность к уборке. Приехал пыльный и злой, — замотался.

После бани выпил холодного квасу с мятой; с Анкой-маленькой поболтал на крылечке, — отлегло, хмурые складки у переносья расправились. Потешная она, Анка: нос так и остался приплюснутой пуговкой, глазенки лукавые, и вся-то она, как котенок у печки, — пушистая, теплая и озорная. Через год и ей в школу, это уже — работа. Вспомнил себя, каким был в ее годы, вздохнул, — детства каждому жалко.

Спали на сеновале, а на рассвете что-то пригрезилось Владимиру — перепутанное и страшное: насел на него клыкастый невиданный зверь, подмял под себя, в жаркую, смрадную пасть забирает голову.

Вздрогнул всем телом, проснулся. И Анка-большая открыла глаза.

— Чего ты? — спросила сонно.

— Ересь какая-то приплелась.

На дворе светало. В неплотно прикрытый лаз виднелись крыши домов верхней, Нагорной улицы, дремлющие березы, травянистые склоны Метелихи, густая гребенка ельника, окутанная прозрачной кисеей тумана.

Под застрехой чивикнула белогрудая ласточка, порхнула в слуховое окно сарая. Бездумным взглядом проводил ее Владимир. Стараясь не трогать с места левую руку, на которой уютно покоилась голова жены, потянулся к опрокинутому фанерному ящичку, где лежали часы и папиросы. Чиркнул спичку также одной рукой.

Внизу шумно вздохнула корова, затем скрипнула дверь, ударили в стенки подойника тугие, звонкие струи, потом они стали глуше, погасли в молочной пене.

Слышно было, как мать похлопала по спине пеструху, выпроваживая ее к воротам: «Ну иди, иди с богом, не оглядывайся!» — а с улицы уже надвигался медлительный грузный топот артельного стада.

Стремительная и неслышная, как летучая мышь, скользнула к застрехе ласточка; птенцы подняли оголтелый писк. Веки у Анны дрогнули, Владимир приподнялся на локте. Прорезая сиреневую, лениво колыхавшуюся под крышей ленту табачного дыма, по вороху непримятого сена скользнул первый солнечный луч, стал пробираться к подушке и запутался в раскиданных льняных волосах Анны. Через минуту осветилась прозрачная мочка уха с точечной ямочкой от прокола иглой: в детстве еще для серег мать проколола. Световая узенькая полоска передвигалась наискось по виску, золотистыми тонкими нитями вспыхнули вдруг незаметные днем пушинки возле родноков.

Залюбовался Владимир, задержал выдох. Сколько раз за четыре солдатских года вспоминал он — там, на далекой границе — про эти льняные волосы, про глаза неотступные. Видел их в эшелоне, когда поезд катился к Байкалу, видел ночью, расхаживая дневальным по уснувшей казарме. И потом — в огне и дыму болотистого перешейка у Заозерной и на каменистых склонах самой высоты, куда вместе с первой цепью пехоты вымахнул его танк.

Как сейчас помнится: прямым попаданием снаряда заклинило башню, осколками срезало штырь антенны. От удара танк вздрогнул, попятился. По бортам смотровой щели полоснула пулеметная очередь, капельки расплавленного свинца навечно засели в надбровных дугах Владимира. Танк на долю минуты ослеп и оглох — онемел даже: поврежденная рация молчала. И тут же огневыми словами, отчетливо, как на экране, вырисовывалось отеческое напутствие Карпа Даниловича: «Знай, кому служишь... Может и так случиться — приказать некому будет. Присягу не забывай».

На полной скорости танк рванулся вперед, сокрушая переплетенные колючей проволокой ежи, рогатки, надолбы. Грохоча гусеницами, яростно развернувшись на одном, на другом окопе, где прятались ошалевшие самураи, упрямым лбом боднул пушку. Вздрыбился, подмял ее вместе с прислугой...

Всё это позади — дым, и огонь, и разлука. Заботы теперь о другом.

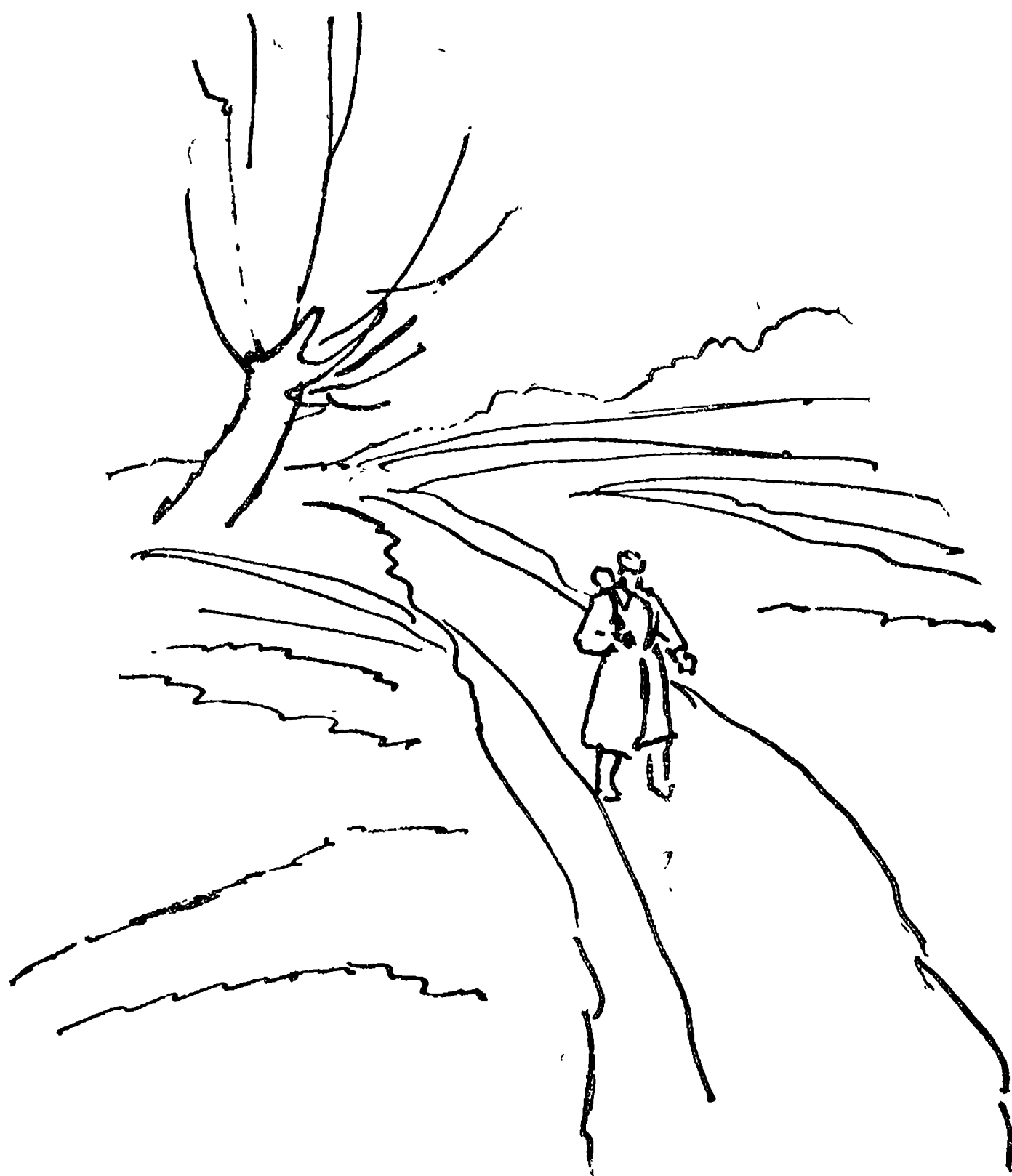
— Так и не спишь? — пробудившись от прикосновения лучика, тихо проговорила Анна. — А завтра опять на неделю.

— Может быть, Аннушка, и сегодня даже. Может быть, и больше, чем на неделю. Страда...

Владимир взглянул на часы. Минутная, голенастая стрелка догоняла часовую, короткую и медлительную. Обе сошлись чуточку ниже четверки.

В этот день и час началась война.

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И лицом, и нравом Андрейка выдался в деда. Всё у него Андроновское: лоб широк, бугристый, кость крепкая, волос жесткий. Когда еще маленьким был, умоет, причешет его Кормилавна, не успеет за стол усадить — каждая волосинка сама по себе. А потом и в походке, и в разговоре дедовская манера обозначилась. Другие-то ребятишки в его годы всё кувырком да через голову, а этот в семь лет, бывало, не спеша вышагивает серединой улицы, как и Андрон Савельевич, вжимает сапоги в землю. И слово скажет не вдруг — прикинет, подумает прежде.

Всё у него было свое. Свой крючок за дверью — вешать шапку и полушубок, свой топор, две лопатки. Той, что поменьше, грядку копал в огороде, побольше — снег отгребал зимой. Послушный парень растет, хозяйственный, великая радость деду. Зашибется — молчит; на улице кто обидит — не жалуется; в лавочку сходит за спичками — копейки не потеряет и пряник на сдачу не возьмет. И в доме его не слышно. Сидит у окошка, мастерит что-нибудь из лучинок или картинки по букварю рассматривает. Большие печатные буквы до школы выучил. Это уж Маргарита Васильевна помогла.

Маргарита Васильевна так никуда из Каменного Брода и не уезжала. А от Николая Ивановича по-прежнему вестей не было. Не было ответа и на письмо, отправленное в Москву.

Когда у Маргариты Васильевны родилась дочь, долго все вместе думали, какое дать ей имя. Мать

хотела в честь старшей дочери Николая Ивановича назвать Верочкой, да тот же Андрон рассоветовал.

— Возвернется родитель, — прогудел он, задумчиво теребя бороду, — эта к нему потянется, а он и будет то и дело на Метелиху-гору поглядывать, на могильный каменный столб...

— Думаете, что вернется? — еле слышно, одними губами спросила Маргарита Васильевна и, не мигая, долгим взглядом, полным отчаяния, посмотрела в глаза Андрону.

Андрон не мог выдержать этого взгляда: ему вспомнился давнишний случай на охоте. Весной оно было, на Каменке ледоход чертоломил. Андрон с тока тетеревиного возвращался, шел себе бережком. Каменка в этом месте крутую излучину вроде восьмерки выписывает. И вот на той стороне, меж кустов, раз и другой что-то серое промелькнуло. Присмотрелся охотник — козуля, а за нею — три волка. Гонят ее к реке, обложили подковой.

Заметалась козочка вправо, влево. Выскочила было на крутояр, повернулась и — с полного хода — в речку. С головой ушла в воду. Вынырнула, однако, и пошла перемахивать по торосам. До берега каких-нибудь сажен десять осталось — поскользнулась, упала. Взыбилась подле нее зеленая многопудовая глыба, жамкнула ледяной пастью и снова поднялась торчком.

На коленках выползла козочка к берегу; попытался Андрон поставить ее — не стоит: задние ноги поломаны, а в глазах — настоящие человечески слезы.

«Вот и эта — затянуло ее в такой же людской ледолом, — не раз думал Андрон про Маргариту Васильевну. — Смяло, затерло. Чем тут поможешь?» А вслух другое сказал:

— Не такой он человек, Николай-то Иваныч, чтоб ни за что ни про что сгинуть. Инженера вон главного, с МТС, два года мурыжили — объявился...

Дочку называли Варенькой. Время шло, дни складывались в недели, один за другим чередовались месяцы. Чекулаев, новый директор школы, самовольно, без приказа из Бельска, вычеркнул Маргариту Васильевну из списков учителей. И уроков-то у нее было не так уж много: в пятых классах вела географию, получала в месяц полсотни рублей. И этого скудного

заработка лишилась теперь Маргарита Васильевна, а ключ от библиотеки давно уже был передан жене Чекулаева.

— Ничего, не убивайся,—успокаивал Андрон свою квартирантку,—живешь и живи. Хлеба вон с прошлого года сусек не почат, с приварком не бедствуем. Придет сам — разочтемся.

Многого Маргарита Васильевна и не знала. Той же осенью, как арестовали Николая Ивановича, Андрона два раза спрашивал Чекулаев:

— Не думает ваша нахлебница уезжать?

— Куда ей с дитём-то?

— Так и запишем: живет на полном иждивении. Только к лицу ли это передовому бригадиру? Не пришлось бы и самому показания давать?

— Ну и дам. Кому их давать-то, тебе?

Чекулаев при этом подсказывал:

— Со всей ответственностью предупреждаю вас, товарищ Савельев,—со всей партийной ответственностью! Советский народ сурово карает изменников и предателей. В прокуратуре имеются доказательства: Крутиков еще до приезда в Каменный Брод был связан с троцкистом Жудрой, не говоря уже о Мартынове.

— Знаю. Говаривал как-то Николай Иванович: батьку Махно, полячишек вместе рубали они. В Крыму Врангеля добивали. Ты про это слыхал?

— Сожалею, Андрон Савельевич, весьма сожалею,—притворно вздыхал Чекулаев...

Минул год, и еще один, Андрейка во второй класс перешел. Варенька копошилась возле крыльца вместе с цыплятами, с визгом кидалась к матери, когда та возвращалась с поля,—рядовой колхозницей на скотном дворе работала она зиму, а летом в бригаде Андрона полола овес и пшеницу. Осунулась, почернела. Только в глазах да в усталой улыбке и оставалось еще что-то похожее на прежнюю библиотекаряшу. Да и то ненадолго,—пока дочку в постель не уложит.

Уставала страшно, до тупой, ноющей боли в спине, до радужного разводья перед глазами. И всё же по вечерам по старой привычке брала с подоконника свежую газету, уходила на ферму к Дарье или, обогнув озеро, по знакомой тропке шла к вагончику трактори-

стов, подсаживалась к огоньку. Там ее ждали парни в промасленных комбинезонах — подручные Владимира Дымова и сам бригадир с ними.

Чекулаев кривил тонкие губы: «Жена отъявленно-го троцкиста агитирует за генеральную линию партии! Это ли не парадокс!»

...Июнь 1941 года. Война. За несколько дней опустело село. Вслед за бригадиром Владимиром Дымовым и его сверстниками проводили за околицу парней помоложе. Потом агронома Егора и еще многих. Мишка, сын Дарьи, прислал письмо. Этот с первого дня в боях. Воевал в Западной Белоруссии, под Белостоком был сбит, снова летает на «чайке». Из Днепропетровска пришла открытка от сына Николая Ивановича — Валерия. Он командовал взводом в саперном батальоне, спрашивал, не слышно ли чего-нибудь об отце. Откуда-то из-под Новгорода подал неожиданную весточку Игорь Гурьянов. Он командовал батареей в артиллерийском полку...

Дымное колесо войны катилось по лесам Прибалтики к Ленинграду, от Смоленска к Москве, от Днепра к Дону. У Маргариты Васильевны дрожали пальцы, когда она развертывала газету, жирные строки заголовков сливались в бесформенную кровавую кляксу. Как глубоководное морское чудовище, эта клякса волнообразно раздавалась в стороны, расплзалась всё шире и шире, заполняла газетную полосу и вдруг начинала просвечивать в середине. И уже не газета оказывалась перед глазами. В клубах аспидно-черного дыма вырисовывались смутные контуры площадей Минска, Вильнюса, Киева. Развороченные фугасками многоэтажные корпуса жилых домов, опрокинутые трамвайные вагоны. Кровавые всполохи пожарищ, трупы, трупы и трупы. И кровь. Живая человеческая кровь. Дым и огонь. Кровь. От этого перехватывало дыхание, губы пересыхали и трескались, в горле застревал колючий клубок. И не было слов, не было мыслей. Набатом тысячепудового колокола гудело в висках.

В начале зимы сгорела электростанция на Каменке: механика взяли в армию, вместо него Карп поручил присматривать за машинами пареньку чуть постарше Андрейки. Заискрило на главном щите, еле

сам без шубенки на берег выскочил, и погрузилось село во тьму. А вести с фронтов — что ни день, то хуже. После работы Андрон зажигал висячую лампу, подсаживался к столу, забирал газету. Читал про себя, шевеля землистыми губами, настороженно, цепким стариковским взглядом пробегая сводки Информбюро. Лохматые брови его и кончики жестких усов приходили в движение, а зрачки становились точечными.

Первую похоронную принесли в дом к Екимусажнику; сухая, костистая Устинья рухнула возле печи. Дружок Владимира Дымова — Еким-младший — погиб в жестоком бою под незнакомым городом Великие Луки на Ловати-реке. «Похоронен с воинскими почестями в братской могиле», — сообщалось в конце извещения.

Где этот город Великие Луки, что за река Ловать?

Устинью отливали водой, полдеревни сбежалось во двор, до утра голосили. Анна прижимала к груди седую голову матери, а у самой перед глазами Владимир. Он-то где? Извещение о гибели брата пришло в конце августа, а подписано в первых числах июля. Единственное письмо-треугольник от Владимира было получено месяц тому назад. Опущено на станции Дно. «Выгружаемся и своим ходом — в дело, — писал на клочке бумаги Владимир, — погромыхивает где-то уже недалеко. Всё, кончаю. Береги Анку-маленькую. В школу ей через год. Букварь купи загодя и тетрадок. Себя береги».

— «Себя береги, себя береги», — шептала Анна. — Со мной ничего не станется. А тебя-то кто сбережет? «Своим ходом — в дело», «Недалеко уж погромыхивает». Недалеко...

«Какое уж там «недалеко»? — перебивала другая мысль. — Вот оно, это «недалеко»: «в братской могиле, с почестями». А сколько без почестей, просто так? На лесных дорогах, у мостов, переправ, на болотных гатях?»

«Недалеко» черным призраком с пустыми глазницами и жутким оскалом стало под окнами каждой избы. Две с лишним тысячи верст отделяли заброшенную в лесах уральскую деревеньку от огневого грохочущего вала. Это по зеленому полю географической школьной карты. Но ведь родственные чувства не под-

чиняются расстояниям, они не слабеют от дальности. Каменнобродские парни, тридцати- и сорокалетние отцы семейств бились насмерть с фашистами на самом верху этого огневого кипящего гребня. Под Ленинградом и Вязьмой, в степях левобережной Украины, у терриконов донецких шахт, в Крыму они сражались прежде всего за Москву — столицу социалистического Отечества, за всю необъятную Родину. Значит, и за Урал, за тысячеверстную суровую Сибирь, за братские республики Кавказа, за хлопковые поля Туркестана. Рядом с ними бились татары, узбеки, азербайджанцы, латыши, грузины. За Москву, за колыбель революции город Ленина, за Севастополь. И за Каменный Брод, за то, чтобы Анка-маленькая через год побежала в школу.

«Смерть немецким оккупантам!» — гремело на фронте от Белого до Черного моря. Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия и Закавказье отвечали единым многомиллионным голосом: «Всё для фронта, всё для победы!»

«Всё для фронта, всё для победы!» Этот лозунг повесили у правления колхоза. Карп Данилович по неделе домой не заглядывал, бригадиры дневали и ночевали в поле. И не дали осыпаться ржи, до последнего колоска убрали пшеницу. Молотили на бригадных токах, вручную, государственные поставки перевыполнили в два раза.

С последним обозом ездил в Бельск и Андрон. Рассказывал после, что в городе расквартировывают беженцев. Много больных, народ голодает. Работы в городе не найти, с жильем и того хуже. Больницы забиты, и в школах — госпитали.

Вскоре незнакомые люди с узелками и чемоданчиками, с какими обычно ходят только в баню, стали появляться и на улицах Каменного Брода, сидели на бревнах возле правления, ожидая председателя. А потом потянулись и семьями. Одну такую семью из Витебска приняла Дарья, Улита пустила к себе старушку с внучонком. Эти оказались из Гомеля. У Романа Васильевича поселился высокий латыш с седыми висячими усами. Звали его Альберт Пурмаль. Кто-то пустил слух, что это вовсе и не латыш, а самый настоящий фабрикант-немец, чуть ли не миллионер, что

под Ригой было у него именье. Сам же Пурмаль называл себя плантатором-садоводом и на другой же день занялся колхозным садом.

— Этот нам пригодится, — говорил Карп Данилович. — Вот бы еще агронома или зоотехника случай привел!

И такой человек нашелся — специалист с высшим образованием, на вид ему было лет тридцать. Приехал он из Ленинградской области с больной матерью, да и сам, по всему видать, здоровьем не мог похвастаться: молодой, а лицо с просинью под глазами, без очков на людей натыкается. Потому, должно быть, и в армию не призвали. Поселились они по соседству с Андроном — у Дымовых.

Фронт требовал продовольствия. По дорогам пылили гурты скота, скрипели тяжело груженные подводы. Андрон собрал мужиков возле своего двора, велел подогнать парный рыдван. Когда собрались все, пригнувшись шагнул в амбар, вынес оттуда заранее приготовленный чувал с зерном пудов на шесть. Без слов поняли своего бригадира колхозники: до проулка воз не проехал, а коням и с места его не тронуть. Запрягли еще одну пару, потом третью и еще две. Тут и Чекулаев подоспел с фотоаппаратом, — для районной газеты матерьялец что надо. И приписочку можно сделать: «По инициативе штатных пропагандистов». Глядишь, и в райкоме обратят внимание.

И так, и этак приноравливался Чекулаев весь обоз захватить в узкую щелочку видоискателя: то в сторону отбежит, присядет, то на плетень взгромоздится.

— Затвор, понимаете, барахлит: тросик, видимо, заедает, — пожаловался он колхозникам, когда всем уже надоело снимать свои мешки с телег и выстраиваться с этими мешками в очередь.

— Другим бы затвором тебе позабавиться, — не без умысла обронил Андрон. — Там оно без задержек.

Чекулаев вспыхнул. Пока он суетился возле телег, бригадир, как назло, заслонял ему добрую половину кадра и всякий раз оказывался спиной к объективу, и тут уж, задетый за живое, Чекулаев не выдержал.

— Я прошу вас, товарищ Савельев, по возможности отдавать себе отчет в том, что вы намерены высказать! — запальчиво начал он. — У меня сохранилась

копия заявления военкому. Это уж вы министру обороны излагайте свои претензии; его приказом на работников просвещения с высшим образованием оставлена в силе броня!

— Вот оно и добро бы бронированному-то в окопчике посидеть, — с усмешкой ответил Андрон. — В таком разе вроде бы и не след министром-то прикрываться.

* * *

Похоронные шли и шли. Маргарита Васильевна из своего окна научилась безошибочно определять, с какими вестями поднимается по тропинке колхозный письмоносец. Идет понурясь, — значит, тяжелый груз у него в тощей, обшарпанной сумке, а иной раз и с полной сумой, да еще и с добавочным свертком газет, бодро стучит батошкой по наличникам.

Для себя самой перестала ждать писем Маргарита Васильевна, зато почти ежедневно читала чужие. Приходили соседки — жены и матери, бережно развертывали запрятанные за пазуху дорогие солдатские письма. Многие из них не раз и не два были прочитаны вслух раньше, но что ты поделаешь со старушкой, которая хочет и сегодня услышать слова своего первенца. Для матери сын навсегда остается ребенком; пусть у него борода во всю грудь — всё равно он Ванятка.

Чаще других приходила Дарья, — Михаил писал аккуратно каждую неделю, письма его Маргарита Васильевна знала дословно. И сама Дарья помнила их наизусть, — в семье четверо школьников. Но ведь дома одно, тут другое; Дарья гордилась сыном, — думал ли кто-нибудь, что Мишка ее таким будет. Добрые люди сохранили ей сына, а теперь — смотри — лейтенант, летчик!

Перечитывая полустертые строки писем или сидя над чистым листом бумаги и выводя под диктовку родительские напутствия, Маргарита Васильевна всё больше и больше проникалась глубоким уважением к этим простым, сердечным людям, которые не хлюпали и не жаловались на непомерную тягость. И ей уже становилось как-то не по себе, если день-другой никто не стучался в дверь ее комнаты. В эти дни она

лишалась единственного утешения, и тогда ее полонили безотвязные тревожные мысли.

Как-то ночью (это было уже в октябре) дверь бесшумно открылась и на пороге показалась высокая, закутанная в шаль женская фигура. На Маргариту Васильевну глянули широко раскрытые, немигающие глаза Анны Дымовой. Молча и, кажется, не сгибая ног, она дошла до середины комнаты и долго стояла так, глядя в пространство.

— Что?.. Что случилось, Аннушка? — свистящим шепотом спросила Маргарита Васильевна и торопливо задернула полог у кровати: ей подумалось, что Анна крикнет и напугает сонную Вареньку. Но Анна не кричала.

— Вот, — одним словом выдохнула она. Положила на угол стола раскрытый конверт и опустилась на табурет, такая же прямая и отсутствующая.

«Мы еще в эшелоне обменялись адресами родных и близких,—про себя, с трудом разбирая бисерный почерк, читала Маргарита Васильевна. — Если с одним из нас что-либо произойдет, другой напишет на родину. Со слов своего командира взвода я знаю — вы сильная, волевая женщина. Поверьте, дорогая Анна Екимовна, мне очень тяжело писать эти строки, но и не написать невозможно. Ваш муж — старшина Владимир Степанович Дымов — героически погиб, защищая Родину. В бою у станции Черская, в двадцати пяти километрах южнее Пскова, огнем и гусеницами своего танка он уничтожил боевое охранение гитлеровцев на марше, подмял офицерскую машину, врезался в колонну грузовиков с пехотой...»

Дальше шло непонятное, а строчкой ниже: «Мы жестоко отомстили врагу за смерть командира. Будем мстить и еще — до Берлина, до самого логова. Вот поправляюсь и снова сяду за рычаги грозной машины. Не бывать тому, чтобы Русь на колени стала. Не бывать!» И подпись: «Старший сержант *Кудинов*. Казань, 14 октября 1941 года».

Маргарита Васильевна пересилила себя, подняла голову. Она чувствовала на себе неподвижный взгляд Анны.

— Посмотри у себя в газетах, когда это было?

Псков-то когда наши сдали? — только и спросила мать Анки-маленькой.

Оказалось, что Псков оставили 9 июля. Кто знает, что было потом со старшим сержантом Кудиновым, когда и где был он ранен и много ли прошло времени, прежде чем он смог написать это письмо.

— В первом бою, — как отдаленное эхо коснулось слуха Маргариты Васильевны сказанное соседкой. — И схоронить было некому. Он ведь писал «погромыхи-вает где-то уж недалеко». Чувствовал, верно. И чтобы книжки для Анки купила бы загодя, велел. В школу ей через зиму...

Это было все, что сказала Анна. И голос у нее был ровный, и глаза сухие.

Когда Анна поднялась, чтобы уйти, Маргарита Васильевна вышла ее проводить. Андрон не спал; сидел за столом и пил чай из остывшего самовара. В широкой холщовой рубаше с расстегнутым воротом, лохматый и медлительный, механически нацеживал он стакан, механически наливал чай в блюдце, подносил это блюдце на толстых расставленных пальцах к губам. Пил большими глотками и зачем-то дул потом в опустевшее уже блюдце. А Маргариту Васильевну душили спазмы.

— Вот ведь горе какое. Смотри, как зашибло бабу, — принимаясь за новый стакан, по обычаю своему глухо и с большими паузами проговорил хозяин дома. — Эх, Володька, Володька!

— А вы?.. Когда вы узнали об этом письме? — спросила Маргарита Васильевна, смутно надеясь, что Андрон не знает подробностей.

— На утре еще с квартирантом виделись. Вместе в правление шли. А письмо-то вечор, слышь, получено.

— А мне, мне-то почему до сих пор не сказали? — почти выкрикнула Маргарита Васильевна. — Что я для вас — чужая?!

Андрон отодвинул недопитый стакан, медленно повернулся всем корпусом, посмотрел в лицо Маргарите Васильевне:

— У тебя своего горюшка через край. И горе твое — горше этого. — Помолчал и добавил, точно мысли читал по взгляду: — А Нюшку-то я уже не мог удержать: умом бы не тронулась, думаю. Молчит.

Стало быть, и слеза-то уж в ней окаменела... Еще одна сирота...

Вот и зима, замело сугробами деревеньку. Ночи темные, без просвета, без звездочки. Москва на осадном положении. Вьюжная хмарь захлестнула страну. В оголенных вершинах берез стонет, надывается ветер, швыряет в окна огромной лопатой мелкую ледяную крупу. Маргарите Васильевне слышно, как на второй половине скрипят половицы под грузным шагом Андрона. Старику не спится, а керосину только что в лампе на донышке.

Ночь над всей необъятной Родиной. Из края в край на многие тысячи верст вьюжная беспросветная хмарь, ледяная стужа. Темень. Спит и не спит деревня, да разве уснешь? Мысли одна страшнее другой, без конца и начала.

Вечерами при свете самодельных плашек у Кормилавны собираются соседки, такие же старушки, как и сама хозяйка. Сидят возле докрасна раскаленной печурки, прядут шерсть, вяжут носки и варежки. Монотонно жужжат на полу веретена, в сухих узловатых пальцах проворно мелькают спицы. Носки и варежки получаются большими, но это не смущает вязальщиц: не школьники ведь у пушек-то там стоят. Дребезжащим старческим голосом Кормилавна заводит старинную песню:

Казак помер, казак помер, померла надежда,
Остается конь вороный, сбруя золотая...

Через неплотно прикрытую дверь доносится протяжный горестный выдох старушек, и в песню вплетаются новые голоса:

Несут тело, ведут коня, конь головку клонит,
Молодая казаченька наземь слезы ронит...

Около полуночи появляется в доме Андрон, хлопает у порога задубевшими рукавицами — как из ружья выстрелит.

— Вы бы, девки, плясовую, что ли, сыграли! Чего сидите, скукожились? Нешто смерзли у печки-то?

«Девки» обиженно замолкают, а Маргарита Васильевна долго еще лежит с открытыми глазами. Наконец всё утихнет в доме, забудется и она. А в голове всё одно и то же. Где-то он — Николай? Жив или

давно уж схоронен? Почему так всё сложно в жизни? Где справедливость? И еще, еще влетаются разноликие мысли. Как одной вырастить Вареньку? Ведь не всё же время будет их содержать Андрон. И сколько сирот наделала эта война, сколько еще добавится! Сколько вдов...

В одну из таких ночей кто-то взбежал на крыльцо, лязгнул запором у двери. Послышался торопливый, срывающийся голос Дарьи, потом шумный выдох Андрона. И еще голоса впереводку, теперь уж и не понять чьи.

Андрон приоткрыл дверь в комнату Маргариты Васильевны. Яркая полоса света упала на крашеный пол: лампа горела вовсю.

— Васильевна, а Васильевна! Выдь-ка, послушай, вести какие, — помолодевшим голосом сказал Андрон. — Дали ему под Москвой-то. Скулы на сторону. Вздрыбились, взлупомялись Русь!..

Дней за пять до Нового года утихли злые метели. Ребят распустили на каникулы. На озере, как и в прежние годы, расчистили лед, устроили карусель. Дети есть дети: Анка-маленькая возила на санках дочку Маргариты Васильевны, Андрейка отваживался кататься на лыжах с Метелихи, а в переулке возле избы Улиты с утра и до позднего вечера «куча мала». Пятиклассники затеяли было военную игру в разведчиков и фашистов, но из этой затеи ничего путного не вышло. Добровольно никто не хотел фашистом быть, а когда придумали по старинке решить дело жеребьевкой и поделились на равные партии, то такое побоище учинили, что родителям пришлось вмешиваться.

В канун новогоднего праздника докладчик приехал из Бельска. Поздно вернулись из клуба Маргарита Васильевна и Андрон. Пришли, а их почтальон дожидается: письмо у него заказное. На конверте рукой Николая Ивановича четкими ровными буквами: «Андрону Савельевичу Савельеву», а пониже в скобках — «для М. В.».

— Ну што́ я тебе говорил? — гудел Андрон, разглядывая плотный конверт. — Смотри-ка — штемпель московский. Может, и сам уж в дороге? А реветь-то зачем?

Не снимая полушубка, полез в посудник, достал приготовленную к празднику поллитровку. Налил стакан почтальону:

— Коли радость такую принес, давай-ка, браток, прими.

Ушла Маргарита Васильевна в свою комнату, не вскрывая конверта, бросилась целовать дочурку. Письмо оказалось коротким: «Так уж сложились обстоятельства, что мы оказались на свободе. Правда, пришлось для этого поработать штыком и прикладом. Разумеется, в глубоком фашистском тылу. Сейчас мы находимся в Партизанском крае, говоря языком дипломатическим — интернированы. Письмо в Москву увез Жудра — наш командир. Он же отправит тебе и эту записку. Думаю, что просьба наша не будет отклонена: мы уже доказали, на что способны старые большевики, и дали слово, если нам разрешат, в том же составе воевать до полной победы».

А на завтра еще одна новость. В обед появился над Каменным Бродом небольшой почтовый самолет. Сделал два круга над самыми крышами, сел на пруду у мельницы. Валом хлынула деревня к запруде, а самолет поднялся и улетел. Остался на льду одетый в меховой комбинезон рослый, плечистый парень. Выбрался он на дорогу, идет улыбаясь, по собачьим унтам хворостинкой похлопывает.

Так никто и не смог признать в этом парне Мишку Пашанина, пока сам не назвался. В избу когда вошел, мать на стол накрывала, по числу едоков курник резала.

— А мне там кусочка не достанется? — сказал сын, пригибаясь, вроде бы снег обмести с унтов.

— Милости просим, — ответила Дарья. И, взглянув, обмерла, нож уронила на пол.

Сутки только и побыл парень дома. Сестры украдкой трогали пальцами темно-бордовые вкрапины лейтенантских кубиков на голубых петлицах его гимнастерки, братишка тянулся к медали. До рассвета не спали в доме. Народу набилось — другому и на полу присесть места нет. Мишка рассказывал про бои под Москвой, о том, как гнали фашистов назад — к Смоленску, и сколько положили их на лесных дорогах.

Уезжал лейтенант вечером. Пока ожидали ездово-

го, заглянул на минутку в чистую половину Андропова пятистенника.

— Слышал я, Маргарита Васильевна, с известием радостным вас поздравить следует? — начал он, останавливаясь в дверях. — Обязательно от меня привет передайте Николаю Ивановичу. Очень прошу.

— Писать-то куда? — развела руками Маргарита Васильевна. — Письмо в Москву доставлено откуда-то из тыла. Обратного адреса нет.

— Это теперь полбеда! — улыбнулся летчик. — Если он в Партизанском крае под Псковом или на Валдае, туда-то как раз мы и будем летать. При народе я не мог всего говорить, а вам скажу. Из Сибири на Уфимский аэродром перегоняют сейчас партию транспортных самолетов. Мы за ними, собственно, и откомандированы штабом партизанского движения. В Уфе я упросил коменданта забросить меня домой на денек. Тороплюсь. — И приложил руку к фуражке по военному.

Не знала в тот раз Маргарита Васильевна, да и сам лейтенант не мог предположить, что в первый же вылет на «малую землю» в его самолете окажется Жудра. И совсем уже не думала Анна Дымова, что через год на другом аэродроме в глубоком фашистском тылу, на Псковщине, летчику Михаилу Ермилову доведется встретить человека, заросшего густой бородой и с глубокой вмятиной над левым глазом.

* * *

Лето 1942 года было сухим, ветреным. Оренбургские суховеи выжгли, в цвету загубили сады, опалили лесные увалы, выпили сочную зелень буйных пойменных трав. В июле пожухла листва на деревьях, сникли хлеба, в раскаленном, дымчатом мареве дрожали синие дали гор. Яркое солнце подолгу висело в зените. Земля, покрытая пепельно-серой пылью, безмолвно простирала к мутно-молочному знойному небу свои натруженные, бугристые ладони. Испещренные глубокими трещинами, они просили хоть каплю росы.

В бору за Каменкой спертая духота, как в жарко натопленной бане. Листы не шелохнутся. Тишь. Работяги-дятлы не стучат, кукушки давно не слышно. Зе-

лененькая пичужка с наперсток прицепилась на кончике ветки, бусинкой черного глаза с тревогой косится на огромного сивобородого деда. Жарко пичужке, клюв у нее раскрыт, часто-часто трепыхается на подгрудке белое пятнышко с горошину. Дед заметил живой комочек, чуть пониже в сучьях — гнездо, отошел шага на три в сторону. Это пасечник Никодим вышел на луговую поляну, где в четыре ряда расставлены колхозные ульи. Меду нынче не будет, пчелы зудят тонко и зло, как осы, к улью падают сверху. И к летку не ползут, отдыхают на крыше.

Часто видели Никодима на Длинном паю. Опершись на суковатую палку, без шапки, часами стоял он недвижно на безлюдной дороге. Мертвое поле не колыhalось. Плоские щетинистые колосья пшеницы торчали реденькой щеткой. Сорванный колос просвечивал, неслышным птичьим пером лежал на ладони. Стоял Никодим как выбеленный столетьями могильный камень на заброшенном мусульманском кладбище. Устало и часто моргая красноватыми веками, смотрел, потупясь, под ноги. Над дорогой, у самых стариковских ног, с жалобным писком проносились ласточки:

«Пить... Пить... Пить...»

Под вечер Никодим приходил к своему шалашу, опускался на завалинку омшаника. И опять каменел надолго, опустив голову и уронив на колени опутанные веревками жил мужицкие задубелые руки, такие же бурые и обожженные, как сама земля. Думай не думай — голод.

В августе взмыла тучка. Побродила над бором — растаяла. А на смену ей с другой стороны наплыла другая. Истомленная зноем земля, чахлые травы, заполненный застоялой сонной одурью лес — всё живое жаждало влаги. Наконец-то брызнет она, долгожданная, из тугих грудей тучи-поилицы. И вот накрыла туча деревню — сизая, с седыми рваными космами, заклубилась она над полями и перелесками. Обложила полнеба, надвигаясь с глухим грозным рокотом и распростерши черные крылья... и вместо прохладной живительной влаги из набрякших сосков ее полоснули багряные огневые стрелы. Градом перемесило поля,

перебило гусей на озере. А напоследок ударило в скотный двор — свечкой сгорел, без остатка.

Засуха и градобой... и война не уходит вспять. Немцы вышли на Волгу. У правления — плакат: забинтованный пехотинец бросает с размаху под гусеницы вражеского танка последнюю связку гранат. Спрашивает сурово: «Чем ты помог Сталинграду?»

Всё, что было, отдали. Самое дорогое — сыновей и отцов. Меньше и меньше мужиков в деревне. С половины лета где-то под Новороссийском, у Черного моря, воюет Роман Васильев; Иван Артамонов — в Карелии. Сутулясь в телеге, уехал на станцию пришибленный Чекулаев, прихватил с собой банку варенья, стеганое ватное одеяло и старые валенки. А всего лишь дня за три до этого на заседании правления бил себя кулаками в грудь: «Если потребует Родина, если партия скажет, — каплю за каплей!» Вручили повестку — челюсть отвисла.

«Языком-то проще оно», — подумал тогда Андрон. Отвернулся, махнул рукой. Какой из него солдат! Где-нибудь в лазарете баню топить, подштанникам счет вести в интендантском складе.

В сентябре председателя колхоза вызвали в Бельск вместе с директором МТС. И у того повестка.

— Ты коммунист — принимай, — сказали Карпу в райкоме.

Возвратился Карп, в тот же час собрал членов правления и бригадиров. Молча достал из кисета печать, обдул с нее табачные крошки и, так же без слов, положил ее на середину стола. Как старшина на вечерней поверке, осмотрел всех по очереди, снизу вверх, и передвинул печать вправо. К тому месту, где сидел Андрон.

— Разговоры разговаривать не время. В райкоме со мной согласились. Бери, Савельич, печать!..

До рассвета не поднимался Андрон со скамейки.

Далеко Сталинград, больше тысячи верст до него. Но и здесь слышно, как тяжело вздыхает приволжская степь. Солдату под Сталинградом надо помочь. Когда пришел счетовод, Андрон пересел на стул председателя. Положил перед собой кулаки-гири, разжал узловатые пальцы, стиснул их снова. Сказал, не глядя на вошедшего:

— Ты вот што... Перво-наперво это упомни. Кто будет справки просить на паспорт — в лесхоз, на станцию и тому прочее — ко мне их.

Помогать Сталинграду надо хлебом, а его и самим-то нет. Ржи собрали только-только отсеяться. Больше недели лежит зерно, как в золе. Что делать? И скотина — кожа да кости. Обошел Андрон яровые поля, думал — здесь подберут что-нибудь коровы. Нечего взять. На покотине и лугах — как на току, — молотить можно. Наказал Мухтарычу, выгонял бы тот артельное стадо в лес, за Ермилов хутор. Пусть и грубый корм, резун да осока в низинках, — наедятся.

Главное — удержать народ, не бежали бы из колхоза, а тут от вербовщиков не отбиться. Под Уфой строятся нефтеперегонные заводы, в Свердловске, Челябинске и того больше. Не дать — нельзя, — фронт того требует; отпустишь — хозяйство разваливается. Хоть и бабенки, девье, а всё лишние руки; не мужицкая, а всё же подмога тому же фронту. О себе думать забыли.

За деревней, на новом месте, строили скотный двор, поближе к воде. Никогда такого позору не было, чтобы в лесной уральской деревне стены заплетали хворостом, а потом глиной замазывали. Этого даже и до колхоза, у самого распоследнего бобыля на подворье не видывали. Ничего не поделаешь: плотников нет, лес возить некому да и не на чем. Собрал председатель стариков да старух — слепили сараюшку шагов на сорок. Стены двойными сделали, связали веревками; какая была солома, сметали тут же за тыном. Вот и весь корм на зиму.

Видел Андрон — на задворьях и по оврагам бабы жнут лебеду, желуди сушат. А в правлении уполномоченный по заготовкам: хлеба нет — компенсируйте мясом, маслом и шерстью.

— Шерсти-то можно еще набрать фунтов десять, — невесело пошутил Андрон, — кликнуть разве дедов, а тебе в руки овечьи ножницы. Валяй, стриги меня первого.

Уполномоченный вспылил:

— Я выполняю требование партии и советской власти! Не мне это надо — фронту!

— И я, брат, о том же толкую, — не повышая го-

лоса, вразумительно говорил Андрон. — Фронту оно и сегодня, и завтра понадобится. И, чую я, еще годика на два вперед. Было — три плана сдавали, сами везли. Ты видал, што в полях-то нынче у нас? А ведь мужик, он с земли живет. Всё у него на земле родится — и мясо, и шерсть. Отдам я тебе сегодня, а завтра чего? Ты ведь и завтра заявишься?

— Вы думаете, что я ничего не вижу? — спросил уполномоченный уже спокойнее. — Прекрасно всё понимаю. Но ведь солдату под Ленинградом, на Волге и на Кавказе еще труднее. Подумайте, я заеду еще дня через три.

Вслед за уполномоченным и Андрон уехал, только в другую сторону. Для себя самого никогда не пошел бы на это — просить в долг у соседа. В Константиновке, на Большой Горе, града не было. Хоть чем ни на есть должны бы помочь.

Председатели мнутя, и тот и другой уклоняются от прямого ответа. Что оставалось, на трудодни расписано. И рады бы, да у самих маловато. Председатель константиновского колхоза «Красный Восток» Илья Ильич пообещал, правда, что поставит этот вопрос на заседании правления, — как оно решит.

— Ну, а сам-то ты? Вопросы по-разному ставить можно, — настаивал Андрон.

— Хозяин всему — народ, — развел руками Илья Ильич.

— Понятно.

Андрон нахлобучил шапку на самые брови, повернулся грузно. На обратном пути в Тозлар заехал к Хурмату. Напоил у колодца лошадь, привязал ее у ворот, хмуро поздоровался с хозяином. Заехал будто просто так, — нет ли махорки, мол, в лавочке. Может быть, завалилась где пачка.

Это для виду, а на самом деле захотелось Андрону перекинуться словом, чтобы обиду на константиновских заглушить. Просить у Хурмата он ничего не собирался: полям тозларовским тоже досталось не меньше, чем каменнобродским, и картошка выгорела. Правда, луга у них заливные, на лесных полянах. Сена накошено порядочно, да и скота зато раза в три побольше, чем в Каменном Броде.

За чаем разговорились. Вспомнили, как вместе в

Кремле были на первом съезде колхозников-ударников, как с Калининым по душам беседовали. И хоть неудобно было Андрону жаловаться, не удержался, всё рассказал Хурмату про Илью Ильича.

Молчал, думал татарин, скоблил ногтями коричневый подбородок:

— Ладно. Саням ездить можно будет — дадим.

— Чего дадите? — не вдруг отозвался Андрон. Вначале-то подумал, не ослышался ли.

— Сена дадим, — подтвердил Хурмат. — Хочешь — бракованный старый корова завтра же на тебя писать буду?

— Платить-то чем?

— Не каждый год беда ходит, рядом живем, соседи.

Хурмат еще поскреб подбородок, добавил:

— Плохо другое: людей мало. Я вот нынче озими половину плана сеял. Зачем ворона кормить? А ты старый корова тоже отдай. Молодой телка корм оставляй. Будет телка — теленок будет, мясо, масло — всё будет.

— Это ты верно. Это оно по-хозяйски, — согласился Андрон, думая совсем о другом.

Долго искал подходящего слова, чтобы отблагодарить Хурмата за нежданную помощь, да так и не подобрал. Через стол молча стиснул крепкую руку татарина.

* * *

Невесел осенний день. По утрам за единственным подслеповатым оконцем караульной избушки на скотном дворе часами висит густой, тягучий туман. Он наползает с озера, пузырится, льется через плетень, как тесто из переполненной квашонки, нехотя обволакивает поленницу дров, ометы соломы, колодезный невысокий сруб, самое постройку, скапливается у противоположного тына и, заполнив двор, переваливает на поскотину, стелется луговиной до самого леса. Чуть повыше — тучи. И они такие же ленивые. Точно слепцы на распутье, топчутся, поворачиваются на месте, зацепившись махрами штанин за вершины окрестных деревьев, разбредаются в стороны, снова сходятся. И так без конца.

В избушке живет старик татарин Мухтарыч; летом — пастух, зимой — сторож. Занятие у деда немудреное: с вечера завязать ворота в коровнике, подпереть рогулькой калитку, утром выгнать скотину к деревянной колоде. Всё остальное делают Дарья с Улитой. Они и корм задают, доят по два раза в день с десятков коров, в ведрах на коромысле относят молоко в деревню. Ночью Мухтарыч сидит у печурки, днем спит в уголке на топчане.

Большая была старому радость, когда прилетел Мишка. И тот не забыл давнего своего наставника — заглянул в сторожку.

— Э-э-э, малай! Э-э-э, — тянул Мухтарыч, принимая в обе руки и не сильно сжимая теплые пальцы летчика. — Вот спасибо тебе, начальник, вот спасибо!

Мишка угостил старика дорогой папиросой «Беломор» и карточку на память оставил. Чтобы не обидеть «начальника», Мухтарыч от папиросы не отказался, закурил первый раз в жизни, и тут же жестоко закашлялся. До слез. Папироса упала на пол, закатилась в щель. Старик наклонился, хотел подобрать ее, но лейтенант взял старика за костлявые узкие плечи, усадил на скамеечку и подал ему вторую папиросу, — совсем позабыл, что Мухтарыч не курит!

Эту вторую папиросу Мухтарыч положил на подоконник, а потом, когда лейтенант ушел, подобрал и ту, что погасла в щели. Долго держал ее перед глазами, понюхал и, уловив тонкий, щекочущий аромат, беззвучно пошевелил впалыми губами: «Мишка начальник стал! Э-э-э...»

Чтобы кто-нибудь из подростков не стащил дорогого подарка, обе папиросы старик бережно завернул в газетку и сунул в паз между бревнами у самого потолка. Карточку вставил в самодельную рамку и повесил ее на стенку рядом с портретом Ворошилова. Когда приходила Дарья, Мухтарычу было приятно видеть, что, доставая с полки подойник, она всякий раз смотрела на карточку сына. Однажды Мухтарыч сказал, кивнув на простенок:

— Вместе воюют, оба начальник. Пускай рядом будет. Вот какой стал Мишка. Я давно говорил.

Кто-то сказал старику, что маршал Ворошилов командует всеми партизанскими силами, руководит

главным штабом, а Мишка летает по ночам через линию фронта.

— Я говорил: вместе воюют, — ответил тогда Мухтарыч. — Мишка тужа большой начальник. Вот. Ты видал, какой он курит сигарка?

Ученики-старшеклассники протянули на новую ферму радиопровода из клуба. Приемник включали теперь редко, берегли батареи, но всё же по праздничным дням каменnobродцы слушали московские передачи. Тогда и Мухтарыч, накинув на острые плечи тулуп, садился к столу, прижимал к замшелому стариковскому уху эбонитовое блюдечко наушника. Но про Мишку почему-то ничего не говорили.

Как и в прежние годы, Дарья появлялась во дворе, прежде чем помутнеет в оконце. Потом приходила Улита. У Мухтарыча к тому времени жарко горели дрова под котлами, избушка наполнялась паром. Крутым кипятком обдавали изрубленную солому, из бутылки плескали туда же настой из еловых лапок, лукошком носили в кормушки. Про еловый настой агроном надоумил, — тот, что у Дымовых жил. Он же и соли где-то достал лизунцовой. Ледяными грязно-зелеными комьями лежала она в углу под топчаном Мухтарыча. Андрон строго-настрого наказал беречь ее пуще глазу, давать только стельным коровам.

В конце октября ударили заморозки, поскотина поседела, а озеро стало черным. В ноябре, в первых же числах, прилетели белые мухи. Медленно кружась в густом неподвижном воздухе, спускались они на землю, да так и не таяли. Старики примечали: добрая будет зима, крутая. Зато и весна не задержится.

Видимо, так же рассуждал и Пурмаль. Как-то воскресным днем появился он на берегу озера с толпой ребятишек из младших классов. Нарезали они камыша, нагрузились вязанками и отправились в сад, обвязывать яблони. Тут же со школьниками возился и агроном — ленинградец Стебельков. Звали его Вадим Петрович. Один он теперь остался, — мать по весне схоронил.

— Дерево тоже живет, — говорил агроном школьникам, — только на зиму оно засыпает. Начнутся морозы, вьюги, вы закутаетесь в полушубки, наденете валенки и меховые рукавицы, а яблоньке будет хо-

лодно. Кора у нее потрескается, и деревцо захворает. Другие в мае будут цвести, набирать соки, а эту придется лечить.

Пурмаль согласно кивал при этом, попыхивая дымком из трубки. А потом достал из кармана заранее приготовленные фанерные бирочки на обрывках шпагата. На бирках были проставлены номера. В руке Вадима Петровича появилась ручка. (Вот бы такую Андрейке! Стеклянная, и перышко у нее вечное. И чернильницу в школу таскать не надо: набрал из бутылочки — и пиши неделю.)

— Значит, так и условились, — продолжал между тем агроном, поглядывая на окруживших его ребят, — каждый из вас облюбует себе деревцо и будет за ним ухаживать. Вот на этой дощечке напишем фамилию, а потом, когда вырастут яблоки, отберем покрупнее да получше... И что же мы с ними сделаем?

— Я тятке своему пошлю, — угрюмо ответил приземистый парнишка, сын Ивана Артамонова. И шмыгнул носом.

— А я — Николаю Ивановичу, — добавил Андрейка.

— Правильно! — похвалил Вадим Петрович. — Ну, выбирайте себе яблони. Разбегайтесь!

Ребятишки бросились в разные стороны. И Анка-маленькая с ними же побежала, а потом остановилась, поднесла к губам посиневшие кулачки:

— Не буду я никакой себе яблони выбирать. Ничего мне не надо.

Спохватился Вадим Петрович, да поздно: девчонка заплакала. Взял Стебельков ее за руку:

— Знаешь что, Нюрочка, давай-ка мы вот что сделаем. Спросим у Альберта Францевича, какая из яблонь первый раз зацветет весной. Он-то наверное уж знает. И будем за этой яблонькой ухаживать вместе. Знаешь, какие яблоки вырастим! Пospеют, сорвем и принесем их бабушке, а самое лучшее — мамке. Договорились? А плакать не будем. Видишь, я ведь не плачу, а у меня совсем никого не осталось.

Так и ушли они с Анкой в самый конец сада. Выбрали самую маленькую яблоньку. Внимательно осмотрел агроном ветку за веткой, про себя улыбнулся. Анка своими руками привязала за нижний сучок

бирку. И еще об одном договорились: об яблоньке этой дома молчок. До лета. Вот тогда обрадуем мамку.

К советам Вадима Петровича прислушивался и Андрон. Взять тот же хвойный настой: на язык — горечь зеленая, а надо, видать, животине. Кура и та вон на чисто лапку еловую обдерет, если в курятник бросить. Сытая, а клюет иголки. Стало быть, не без пользы оно, организм требует.

То, что солому лучше всего резать да теплой водой обдавать, — это и раньше известно было. Деды-прадеды на соломе зимой коров держали. На то она и корова: ополосков напьется, набьет утробу мякиной — лежит. Лошадь — дело другое. Тут уж добрый хозяин куска не доест. Крошки и те, бывало, сметет со стола в полу, сам коню вынесет, прежде чем запрягать.

«Теперь в колхозе, конечно, того не увидишь, — сожалел Андрон. — За какие-то десять-двенадцать лет избаловался мужик, перестал уважать коня. Чуть чего — трактор ему подавай, машину. Да и власти-то, по всему видать, не гораздо далеко вперед заглянуть старались. Не думали, что война вспять отбросит. А она, как всегда, прежде всего по мужику ударила. Кусай теперь локти: ни трактора, ни коня.

В глубине души у Андрона теплилась кое-какая надежда, что Карп Данилыч не оставит без внимания нужды своего колхоза. Да и другие ведь тоже просить будут, а во дворе МТС осталось старье. Гусеничные шестидесятисильные «челябинцы» вместо плугов да сеялок пушки теперь тягают; колесные тракторы «фордзоны-путиловцы», «интернационалы» и ХТЗ доживают последние дни: ни частей к ним запасных, ни инструмента. Да и с топливом — лишнюю бочку не схватишь: всё оно там же, на Волге.

«Вот и надо чем ни на есть коня поддержать, на корове в поле не выедешь», — рассуждал Андрон. Поэтому всё, что касалось фермы, поручил решать Дарье, сам же занялся делами на артельной конюшне и в кузнице. Деды ремонтировали упряжь — хомуты, седелки; бабы ткали мешковину. Нефед Артамонов прямо в избе распаривал, гнул ободья, вытачивал ступицы для колес.

Обижалась Улита, что Андрон редко на ферме бывает: всё сами, всё на себе. От лопаты да вил спина не разгибается. А отелы начнутся? Так под коровой и сдохнешь!

Яростно принималась греметь ведрами у колодца, без нужды гоняла Мухтарыча: слазил бы тот на поветь, накинул на крышу лишнюю пару жердей, чтоб с ветреной стороны солому не раскидало. Или сколол бы лед у колоды. Безответный старик молча опоясывался веревкой, кряхтя и стеной пригибался под лавку за топором, жаловался потом Дарье:

— Этот Улита — настоящий черт. Ладно, что не чальник.

Зато когда агроном появлялся на ферме, Улита преобращалась. Начинала расспрашивать про газетные новости, сокрушалась, что вот такого ученого человека загнала война невесть куда. И живет-то он здесь один-одинешенек, а там в Ленинграде невеста, поди, осталась? Звать-то как, показал бы хоть карточку.

Вадим Петрович подсаживался к печурке, проти-рал запотевшие стекла очков, записывал что-то в свою тетрадочку. На вопросы Улиты не отвечал, только улыбался застенчиво. Выглядел он теперь намного лучше, чем в первое время, посвежел, и походка уверенней стала. Скорее всего, это сделал лесной смолистый воздух.

— Эх, сбросить бы мне десяток годков! — вырвалось раз у Улиты, после того как Вадим Петрович распрощался и, по своему обыкновению, осторожно прикрыл скрипучую дверь избушки. — Я бы тебя расшевелила!

— Я давно сказал: черт. Настоящий черт! — отозвался из своего угла Мухтарыч.

Улита и ухом не повела. А в другой раз надела на Дарью:

— Рядом живете, неужели не видишь? В эти-то годы — вдова! — сквозь стариковскую вязкую дремоту слышал Мухтарыч. — Люди они ведь оба, человеки. Самой уж, верно, надоумить придется. А вы все деревянные! Ну, убили у ней мужика, что же теперь — до гробовой доски глаза бы не просыхали? Ты смотри, что сделалось с бабой! Завяла, как маков цвет, голосу не подаст. Состарилась за год, на корню зачахла. А

ведь ей и тридцати еще нету! В девках-то, помнишь, какая была?

— Все мы когда-то попрямее были, все каблучками притопывали, — ответила Дарья. — Было — прошло, не воротишь.

— Для кого прошло, а для кого за углом еще дожидается, — не сдавалась Улита. — Убитому — ему всё равно, он не мучается. А тут каково?! Гляну вот издали на нее, всё во мне так и захолонет. Куда что делось!.. Ей ли не жить, и уж это ли ей не пара была бы? Из себя видный, ума палата. Водки в рот не берет, слова срамного не скажет.

Дарья еще что-то сказала, но старик не расслышал. Улита снова за прежнее; донимала ее неумная бабья жалость.

— Поверь слову моему: опомнится баба, да поздно будет. Может, свекрови боится? А что на нее смотреть! Кормят ее, и ладно. И девчонка, пока не выросла, скорее бы приобвыкла. Тоже ведь человек растет. А он, Вадим Петрович, любит, видать, ребятишек. Сколько раз примечаю: в школу рядом идут. Семенит сиротинка возле него, лопочет что-то, за руку держится. А вечер вон при мне тетрадок купил в косую полосу. Для себя, думаешь? Вот я и толкую: самой уж придется...

— Бесстыжая ты, Улита. Право, бесстыжая! — сказала Дарья погромче. — А если душа у нее не лежит?

— Ляжет.

Мухтарыч не всё толком понял. Повернулся на другой бок, с головой укрылся тулупом. Засыпая, подумал беззлобно: «Черт».

* * *

Ночью Мухтарычу спать нельзя: не пришел бы из лесу волк. Зима нынче ранняя, волк голодный. Он может забраться на крышу, лапами разгребет солому. Надо смотреть, слушать. Можно и не выходить во двор, чтобы узнать, нет ли поблизости зверя. Для этого надо только выдернуть тряпочную затычку в стене над котлами. Там прорублено слуховое оконце, как в черной бане. Сам Андрон велел сделать, чтобы пар

от котлов выходил бы наружу. Коровы весть подадут, если учуют волка. Это одна корова молчит, а когда их много, они не молчат.

Каждую ночь старик держит наготове фонарь и большое ведро. Если в коровнике будет беспокойно, он выйдет к сараю, будет кричать, бить по ведру палкой. Хоть и голодный зверь — всё равно уйдет; кто в лесу живет, тот огня и человеческого голоса боится. И в эту ночь старик тоже не спал. Сидел у печурки, поджав по-турецки ноги, раскачивался, чтобы не задремать, подбрасывал на тлеющие угли хворост, думал свои бесконечные стариковские думы. Война не уходила обратно, в деревне остались бабы да ребятишки, земля не родила хлеба, — как будут жить?

Война одинаково плоха и русскому, и татарину. Кто ее только придумал? Вот убили хорошего парня, сына Екима-сапожника. Кто поможет теперь старикам? Бригадира Дымова тоже убили, — кто будет землю пахать, кормить весь колхоз? И у немцев есть ведь такие же старики. Есть жены и ребятишки. Получают письма — режут. Зачем это?

Старик вспоминает. Давным-давно был и он молодым. Была у него семья, земли не хватало. Ушел из своей деревни к русскому мельнику. Четыре года работал, пока не придавило жерновом. Хозяин выгнал. Татарина тогда везде выгоняли. А теперь татары и русские мирно живут. Ребятишки из Тозлара и Кизган-Таша бегают в русскую школу, сам учитель Николай Иванович ездил в гости к татарам.

Серым чешуйчатым пеплом подернулись угли в печурке, от двери тянет холодом, по-стариковски кряхтят от мороза бревна избушки. Мухтарыч закрывает глаза, продолжая ритмично раскачиваться, ловит обрывки собственных мыслей, снова вяжет их в длинную цепочку. За спиной у него пробежала мышь, ловко забралась на подоконник, обнюхала надкушенную луковицу, недовольно отвернулась. Бесшумно скатилась на грубо сколоченный стол, старательно обследовала помятую жестяную кружку, привстав на задние лапки, заглянула в глиняную солонку. По-собачьи озабоченно почесала за ухом.

На стене, где висели портрет Ворошилова и карточка лейтенанта-летчика, что-то легонько шелкнуло

и зашипело. Мышь, испуганно пискнув, шмыгнула вниз.

Мухтарыч открыл глаза. Шипело в наушниках. Потом мелодичным далеким перезвоном явственно донеслись позывные Москвы.

«Кончился ночь, — подумал старик. — Москва говорит: вставай».

Согнутыми пальцами старик оперся о половицу, медленно встал на колени, еще медленнее стал выпрямляться. Хлопнул себя по по́лам дырявого бешмета.

— Ай-яй-яй! Печка совсем погасла, котел не кипит! Улита опять ругать будет. И-их, малай!..

Мухтарыч засуетился. Голыми пальцами выхватил из печурки горячий уголь. Перекидывая его из ладони в ладонь, как испеченную в костре картофелину, стариковской трусцой обежал приземистую и широкую печь, с головой влез в топку под котлами и сунул раскаленный уголь в пучок заранее подготовленной бересты. Подул. Смолистые трубочки вспыхнули, еще больше свернулись, осветив уложенные над ними березовые поленья.

В печи загудело пламя, но Мухтарыч был уже у колодца. Ударом обуха сбил покрытую мохнатым инеем крышку, для чего-то приподнял ее. Из темного зева колодца дохнуло теплом, беловатое облачко пара рассеялось в воздухе. Старик поднял голову, чтобы глянуть на звездное небо.

Над заснеженной деревенькой недвижно висела голощекая оранжевая луна, окруженная голубым сиянием. Украшенная дорогими самоцветами рукоять большого ковша только-только начала опускаться, а сам серебряный ковш отошел несколько вправо от полудночной звезды.

Старик присвистнул даже: ошибка! Рано еще, только полночь. Развел в недоумении руками. Постоял у закрытых ворот коровника, прислушиваясь, и вернулся в сторожку. А из наушников всё так же струились далекие переливы знакомой мелодии. Как круги на воде, они заполняли полутемную избушку, отражаясь от закопченных стен, а навстречу им плыли новые, еще более звучные и торжественные.

Мухтарыч любил эту музыку, и ему всегда почему-то представлялась одна и та же картина — степь, подернутая предрассветной дымкой. В балке — тучное стадо, подпасок свистит на курае. Далеко-далеко скачет всадник, — мчится с радостной вестью. Но всё это только казалось. Вестей радостных не было. Москва опять скажет, наверно, что после тяжелых боев оставлен такой-то город. Зачем говорить об этом? Надо ли поднимать народ в самую полночь?

Музыка оборвалась, дед привалился плечом к простенку, мембраны шипели у самого уха.

— «Московское время ноль часов десять минут, — как-то по-особенному четко и громче обычного сообщил диктор. — В ноль часов тридцать минут будет передано важное правительственное сообщение. Повторяю: в ноль часов тридцать минут...» И сразу же победный гром торжественного марша.

«Э-э-э, — изумился старик. — Такого не бывало! Москва хочет сказать большой новость». И опять всполошился Мухтарыч: спит деревня, люди не знают, что Москва хочет обрадовать большой новостью. Надо сказать: быстрее бежали бы в школу.

Мухтарыч поднял Нижнюю улицу, стучал в окна палкой. На Верхнюю не хватило силы подняться, — задохнулся.

— Скорей, скорей торопитесь, — махал он руками, указывая по направлению к школе. — Москва велела всех собирать! Может, война конец...

В полночь Москва передавала приказ Верховного Главнокомандующего войскам Донского, Воронежского, Сталинградского и Степного фронтов. Под Сталинградом развернулось невиданное в истории сражение. Трехсоттысячная армия фельдмаршала Паулюса была уже окружена, сжата бронированными клещами. Бои идут уже две недели. Две недели молчала Москва, и вот сегодня — приказ.

Андрон сидел у самого приемника в забитом до отказа классе, смотрел под ноги. Временами он приподнимал голову, смотрел в переполненный класс. Вон Еким с женой, вон лохматая шапка Нефеда Артамонова; у окна — Дарья, Улита, Маргарита Васильевна, агроном Стебельков и Нюшка; у двери виднеется седая голова Пурмаля с неизменной трубкой в зубах. На

партах ближе — учителя. Не видно одной — жены Чекулаева.

«Двадцать две отборных дивизии, — мысленно повторял Андрон, — триста тысяч — сила... Ну, теперь уж ему не сдюжить. Нет».

Когда расходились из школы, сверху сыпался мелкий снежок. Андрон обратил внимание на то, что в окнах квартиры Чекулаева горит свет, но следов у крылечка не видно.

«Чего же это она не пришла? — безотчетно подумалось Андрону. — В агитаторах числится, и до школы — рукой подать. Вся деревня сбежалась. Каждый знает: на Волге судьба государства решается. Как же это оно, без внимания?..»

А Чекулаева в это самое время спокойно перечитывала письмо, полученное накануне. За участь Александра Алексеевича можно было особенно не волноваться: между строк она прекрасно видела — муж находится не в окопах. Сейчас Руфину Борисовну занимало другое. Неделию тому назад она получила посылку — двенадцать кусков серого солдатского мыла. Один (под большим секретом, и прежде всего от Андрона) успела продать Кормилавне за фунт сливочного масла, другой променяла Анне Дымовой на кусок беленого полотна. В письме муж спрашивает, получила ли она эту посылку. А в конце — приписка: «Спрячь и не вздумай кому-нибудь продавать!»

«Бойтся — продешевлю, просчитаюсь, — самодовольно усмехнулась Чекулаева. — Не такая уж я, мой дорогой, фефёла...»

Дарья ушла вслед за Андроном, а Улита задержалась; учителя столпились у карты — искали город Калач, где соединились войска, охватившие сталинградскую группировку. Здесь же стояла и Анна Дымова. Маргарита Васильевна провела указкой от Белого моря до Черного, захватив при этом Кубань и Новоросийск.

— Много еще отбивать городов, — говорила она, — но мне почему-то кажется, что очередные, такие же радостные, сообщения придут вот отсюда, — и указала на Ленинград. — Не так ли, Вадим Петрович?

— Как ленинградец, присоединяюсь безоговорочно, — пошутил агроном. И все вокруг заулыбались.

Не улыбалась одна лишь Анна. Перед нею была та самая географическая карта, на которой когда-то искала она небольшой, мало кому известный городок Турий Рог у пограничного дальневосточного озера Ханко. Теперь взгляд ее был прикован к лесному Псковскому краю. И здесь два огромных озера. Вот он — Псков, вот железная дорога на юг.

«В двадцати пяти километрах южнее Пскова, у станции Черская, — пронеслось у нее в голове. — Дойдут наши до Пскова — поеду. Может быть, кто на станции видел? Могилку укажут».

И Маргарита Васильевна смотрела в эту же сторону. Сын Дарьи не обманулся в своих предположениях. Он действительно летал в Партизанский край, писал об этом намеками, а в одном из писем вставил такую фразу: «Повстречался я тут однажды с лесным мужичком. Этаким бородач, вроде нашего соседа. Пришел он к нам за патронами. Разговорились, он больше расспрашивал, а потом как схватит меня в охапку. Смотрю — Николай Иванович! Жив и здоров. Кланяется всей деревне».

На другой день проводили митинг. Написали большое письмо героям Сталинграда, поздравили их с победой. Тут же зашивали посылки. Вадим Петрович своей самопишущей ручкой выводил печатными буквами: «Лучшему пулеметчику», «Снайперу», «Отважному разведчику-артиллеристу», «Истребителю танков», «Летчику-штурмовику».

В посылках были носки и варежки, обернутые в чистые тряпицы куски солонины, девичьи подарки — расшитые цветочками носовые платки и кисеты, лесные каленые орехи. А Кормилавна принесла мешочек сушеной малины — от простуды. Всё берегла на самом дне сундука: вдруг Варенька или Андрейка застудятся. Ребятишки ведь, разве за ними усмотришь! А тут не стерпела: у ребятишек-то, в случае чего, и молоком кипяченым хворь эту выправить можно. Загнать вон на печку — сиди. А солдату, ему небось по неделе и обсушиться-то негде.

Отдала Кормилавна мешочек, попросила агронома, написал бы, как пользоваться настоем, и — к дому. День выдался солнечный и без ветра. На шестке верный чугунок с кипятком, и корыто в избе оставлено.

Пришла, занялась стиркой. Мыло только на белое тратила. Шутка ли — фунт на фунт! Ладно, что сам-то не знает. Вот и торопилась, пока не увидел. Возьмет да и спросит: «Где же это ты достала?».

А мыло какое-то слабое, кусок так и тает в руке. Вздохнула старушка: и масла жалко, и без мыла нельзя. Пригнулась, достала из кучи Варенькино платишко. Замочила в корыте, легонько помылила. Скоблит что-то по ладони. Еще раза два провела — скоблит.

«С костями, что ли, мыло-то нынче варят?» — недовольно подумала Кормилавна, нащупав пальцами острый предмет в середине куска. Глянула — что-то темное бугорком выпирает. Подошла к окну — блестит! Колупнула ногтем — красненькая стекляшка с гречишное семя.

— Что за диво?

Подцепила веретеном — золотое кольцо с камнем в оправе. Тут и Андрон на пороге.

— Чего рот-то раскрыла? — спросил, развязывая кушак. — Руку-то чего не опускаешь, аль занозу вогнула?

Кормилавна не шевелилась. Андрон подошел поближе, заморгал удивленно:

— Где нашла?

Кормилавна молча показала на кусок мыла.

Не больше как через полчаса Андрон и Вадим Петрович сидели за столом в квартире Чекулаева. У дверей топтались понятые — Еким и Нефед Артамонов. Негодующая Руфина Борисовна принесла из кладовки фанерный ящик, бросила его на пол, пообещав немедленно позвонить в райком и прокурору.

В ящике было десять брусков мыла. Хозяйским хлебным ножом Андрон крест-накрест резал куски. В двух первых ничего не оказалось. В третьем нож остановился на середине. Андрон поманил понятых пальцем, разломил кусок надвое — кольцо. В четвертом — сломанная золотая чайная ложка, в пятом — два крестика и червонец...

Потрясенная Руфина Борисовна судорожно глотала воздух. Андрон молча пригибался за очередным куском, молча резал его. Отбрасывал в чайное блюдце то крышку от медальона, то брошку.

Когда агроном Стебельков закончил писать прото-

кол и все присутствующие, в том числе и сама Руфина Борисовна, подписались, Андрон обратился к хозяйке дома:

— Адресок бы нам, гражданка Чекулаева. Адресок, говорю, где воитель-то твой находится. За такое, по нашим советским законам, в мирное время стреляли. Сейчас — вешают. А теперь ступайте звонить.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зачастила Улита к Дымовым. Вздумалось ей сшить себе новое платье. Дорогой отрез шерсти года три лежал в сундуке: до войны еще вместе с Дарьей премию они получали в Бельске, на районном слете ударников колхозных полей. Ну, лежал и лежал кусок — хлеба не просит; мало ли, как она, жизнь, повернется, да и года-то не те уж, чтобы обновками хвастаться. Война началась — тем более не до форсу стало. А тут Новый год подходит, 1943-й, и в самый канун — Улитины именины. Хоть и в гости некого ждать, и самой идти тоже не к кому, достала отрез, перевязанный голубой широкой лентой, и отправилась вечерком к Фроловне.

В избу вошла развеселая, прибаутками так и сыплет. Развернула отрез на столе, смахнула невидимую пылинку, подбоченилась:

— Нам ли жить да тужить?! Эка важность — хоромы о трех углах, во дворе скотины — летучая мышь на повети да сыч на трубе! Вот возьму да и закачу гульбище на неделю! Чужедальные гости съедутся... А я — как дочка купецкая на смотре! Тут Мухтарыч при галстучке, тут Петруха Пенин при часах и с гармонью. На столе — пироги с калиной! Обьеденье!

— Веселый ты человек, Улита! — вздохнула Фроловна, подвязывая суровую нитку к сломанной дужке очков.

— А что толку-то, если б не такая? — в том же тоне продолжала Улита. — Ну и иссохла бы в двадцать пять лет. А та-то кто скажет, что мне сорок четыре? Жалко вот — женихов не густо в деревне. Придется, видно, за Мухтарыча выходить: один он из холостых-то остался. К постояльцу вашему думала притулиться — старовата.

— Будет тебе! — отмахнулась Анна. — И как это язык у тебя не устанет?

Анна причесывала девчонку, заплетала в косичку тесемочку. Анка-маленькая стояла возле матери, смотрела на Улиту строго. Половина избы цветастым пологом отгорожена. Угол полога закинут на проволочку. Там — кровать и стол, шкаф самодельный некрашенный. Самого Стебелькова дома не было.

Улита поманила Анку-маленькую, вынула из-под шали свою гребенку, распустила льняные волосы девчонки, тесемочки отложила в сторону и вплела в коротенькую косичку ту самую ленту, которой сверток завязан был. Бант широкий расправила. Засмеялась, запрыгала Анка, — много ли надо ребенку!

Улыбнулась Анна, и у Фроловны взгляд подобрел. Этого и добивалась Улита; принялась тормошить Анку, погналась за ней по избе. Поймала за пологом:

— Ты чего это на чужую половину бегаешь? Увидит Вадим-от Петрович!..

— А он вовсе и не чужой, — задорно ответила Анка. — Бабушка говорит: в других-то семьях и родные так не живут. А у нас всё вместе и за столом на всех поровну. Вот!

— Ну и слава богу, ну и ладно, коль так, — говорила Улита, усаживая Анку к себе на колени и прикрывая шалью голые коленки девчонки. — Я ведь это нарочно всё. Знаю — балует он тебя, озорницу. А ты его слушайся, ласковой будь. Возьмет да уедет, что делать-то будете? — И глянула быстро на мать и на бабушку.

— А мы его и не отпустим! — ответила Анка, свертываясь в клубочек.

— Лезла бы ты на полати! — повысила голос Анна. — Отправляйся сейчас же!

Улита прикрыла Анку полой полушубка, укоризненно посмотрела на мать:

— Чего на ребенка-то взъелась? Лишним она не обмолвилась. Чего ты тигрой рычишь?

— Ладно уж вам, — примирительно вступилась Фроловна и под столом дважды толкнула ногой Улиту. — Сказывай, как кроить-то будем? — Поднесла отрез ближе к свету, добавила: — Что-то боязно за такое приниматься. Не испортить бы.

Улита поняла, что старухи не следует опасаться.

— А ты не робей, — подбодрила она Фроловну. — Как сошьешь, так и ладно, не мне же тебя учить. Ну, пошире, конечно, попросторнее чтобы было. Обтягиваться-то мне уж вроде бы и зазорно. Ладно, мерку-то в другой раз снимешь. Подумай пока, прикинь. Смотрите-ка, девка-то спит! Пригрелась, касатушка...

Раскачиваясь вместе с задремавшей Анкой, Улита ловко перевела разговор на последние деревенские новости. Рассказала о том, сколько золота нашли у Чекулаевых. Что золото бесприменно награблено. И что Андрон написал письмо командиру части и печать приложил — судили бы этого грабителя трибуналом. Вот и еще беда: Романа поранили на Кавказе, Егор потерялся без вести. И тот же Андрон будто бы ездил к Карпу Данилычу, просил его, нельзя ли так сделать — принять бы Вадима Петровича на работу в МТС, а колхозы закрепить за ним по соседству с нашим. А Карп будто на это не соглашается, хочет его на главную должность определить.

— Ты к чему это клонишь? — сухо спросила Анна, выходя вслед за Улитой в сени, чтобы закрыть наружную дверь. — Знаю я всё без тебя. Сам говорил, что Карп место ему по весне обещает.

Улита как и не слышит:

— Девчонку-то больно уж любит твою... сколько разов примечала.

Анна взялась за крючок и за скобу двери.

— Может, еще что скажешь?

— Скажу! — Улита повременила и неожиданно для самой себя выпалила одним духом: — Сам бог ложку полную масла в рот тебе положил, а ты не глотаешь. Гордая больно! Никого ты, милая, нынче этим не удивишь, а дурой-то всяк назовет.

Анна хлопнула дверью.

* * *

Улита не унималась: то одних пуговиц принесет, то других. И всегда одной или двух не хватает. А в разговоре, как пластинка испорченная, всё про горькую вдовью долю, про сиротские крохи. Анна сердилась, принималась греметь у шестка посудой, а потом лежала до свету с открытыми глазами.

На широкой печи вздыхала и охала мать Владимира, Анка стучала пятками на полатах. Агроном спал спокойно, изредка легонько всхрапывал. Анну больше всего возмущало это спокойствие, способность уснуть за минуту. Знает, что некуда человеку податься, улыбается про себя. Расставил петли-удавки, ждет — приведут на веревочке. Само это слово «сватовство», да еще под таким нажимом — в молчаливом сговоре со свекровью, с подкупом Анки-маленькой — оскорбляло ее. Подло это.

А Стебельков ни о чем и не догадывался. Вставал по будильнику затемно, пил из термоса приготовленный с вечера чай, уходил по бригадам. За обедом выбирал для «дочки» картофелину посуше да поразваристей. Потом проверял, хорошо ли написано у нее в тетрадке, читать заставлял вслух, да погромче. Котенок ластилась к нему Анка.

— Не мешай! Дай отдохнуть человеку! — одергивала мать Анку. — Нужна ты ему со своими тетрадками. У него другая забота.

Как прибитая собачонка, уползала Анка в свой угол, посматривала оттуда большими печальными глазами. Стебельков пожимал плечами, задерживал полог. За Анку-маленькую немедля вступалась свекровь:

— Не узнай тебя, Анна! Что это случилось с тобой? Что ты в самделе рычишь, ребенка своего тиранишь?

Раз улучила Анна минуту, когда с глазу на глаз осталась с Вадимом Петровичем. Сидел он в своем углу, на счетах костяшками щелкал, записывал что-то в тетрадку.

— Как у вас с Карпом? — тихо спросила Анна, вместо того чтоб сказать «с Улитой». — Договорились?

— Всё решено, — ответил Вадим Петрович и повернулся вместе со стулом в сторону Анны. — Подсчитываю вот семена и тягло по колхозам зоны. Сводный план составляю. Понимаете, для меня это своего рода вступительный экзамен. Вдруг провалюсь?

— Небольшая беда, если только с бумагой.

— Логично, вполне логично, Анна Екимовна. С бумаги урожая не снимешь, хоть как ты ее ни распиши.

Помолчали, думая каждый о своем. Стебельков следил взглядом за выражением лица Анны. А она медлила, хоть и клокотало всё в ней. Наконец решилась:

— Ищите другую квартиру.

Брови Вадима Петровича дрогнули.

— Неужели сплетня какая?

— Ищите.

Опусти он взгляд или пожми недоуменно плечами, на этом бы всё и кончилось. А он встал и, не сводя взгляда с побледневшего вдруг лица Анны, подошел, взял ее за руки:

— Анна, ты что-то скрываешь? Что я сделал плохого? Ну, чего ты молчишь? Скажи.

Первый раз он назвал ее Анной, и сказал это шепотом. И за руку взял робко, просительно. Ребенок, большой ребенок. И лицо у него обиженное. И всколыхнулось в Анне что-то забытое, теплой волной разлилось в груди.

— Нечего мне сказать. Другой бы давно уж всё понял. Мучаешь ты меня.

Сказала и испугалась сказанного. Словами этими горькими сама мужику навязалась.

...Вечером снова пришла Улита. Смотрит — Анна не хмурится. Не швыряет горшки ухватом. И у Вадима Петровича вид не тот. Бывало, и голосу не подаст. а тут перелистывает свои бумажки и песенку вроде мурлычет. На столе у него всё стопочками разложено, занавесочка свежая на окошке.

Улите на всё раз глянуть. Про себя решила: не мытьем, так катаньем пристроила бабу. Засиживаться не стала, — на ферме отелы пошли. Разочлась за шитье с Фроловной, лоскутки, какие от платья остались, перед Анкой-маленькой разложила, распростилась со всеми за руку.

— Чего же ты без примерки? Пойди вон за полог, — посоветовала Анна. — Вадим Петрович! Вышел бы ты на минуту.

— Лучше уж я у себя дома всласть покручусь перед зеркалами, — пропела Улита. — Хоть и за пологом, а всё одно при мушшине стесняюсь.

Пришла, швырнула сверток на лавку. Непослушными пальцами расстегнула крючки полушубка, вялым движением плеч сбросила его под ноги. Постояла так посреди избы, ощупью, как слепая, добралась до своей постели. Зависти к Анне не было, каждому в жизни — свое. А слезы душили — едучие, горькие.

На большом фанерном щите старшеклассники-комсомольцы нарисовали схему сталинградского «котла». Фанеру оклеили обоями и на этом сером бумажном поле изобразили положение фронта на 19 ноября 1942 года, потом — на день окружения, когда наступающие войска соединились в городе Калаче и в кольце оказались 22 фашистские дивизии. Щит повесили в клубе, и через каждые десять дней вносили поправки, не стирая первоначальных линий. И каждый мог видеть, как с юга и с севера сдавливалось это кольцо, как оно дало трещины и развалилось на части.

У схемы всегда толпился народ. Поддалась общему настроению и Маргарита Васильевна, хотя долгожданная весточка от Николая Ивановича пришла откуда-то с другой стороны. И только Анна Дымова не ходила в клуб, не радовалась вместе со всеми, глядя на разбитый «котел». У себя дома она нашла старые школьные книжки Владимира и всё смотрела, смотрела часами — до тумана в глазах — на штриховую карту северо-западных областей Союза. Вот он — Ленинград, вот — Псков, вот еле приметная ниточка дороги на юг от Пскова. Где-то здесь безымянная могила. У станции Черская. Но станции этой на карте не было.

И еще были в деревне два человека, которые нетерпеливо вырывали из рук друг у друга такую же карту и тыкали пальцем в точечный город Псков, потом находили Валдай и замолкали надолго. Эти двое были неразлучные приятели: пятиклассник Андрюшка и Митька, — этот в четвертом еще учился. Пожалуй, только они и знали точно, где сажает свой самолет теперь уже капитан Михаил Ермилов, сын Дарьи. Он летал по ночам к ленинградским и псковским партизанам, поднимался с ледяного озерного аэродрома под Валдаем. Вот туда бы обоим попасть — в леса, к партизанам! Там ведь и школьники есть в отрядах, а из них — самые лучшие разведчики...

Письма шли с разных фронтов — солдатские полевые треугольники. Нередко приходили и такие, что посланы были из больших городов: из Казани, Сара-

това, Ярославля. Были и из Ташкента. Это писали раненные из госпитальных палат. Матери, сестры и жены знали, что эти живы. Пусть без руки, без ноги вернется, но жив. Ребятам отец, и в доме хозяин. Но были и другие солдаты, о которых близкие и друзья думали, что они давно уж зарыты в мерзлую землю, а они воевали, жестоко мстили врагу за поруганную Родину, за кровь и слезы необъятной России. Был среди них и Владимир Дымов, в недалеком прошлом старшина-танкист, а теперь партизан-пулеметчик в партизанской бригаде Леона Чугурова, бывшего секретаря райкома партии. Бригада эта действовала в глубоким тылу, в лесах за Шелонью-рекой, что на Псковщине.

Больше года пробыл Дымов в фашистском плену, находился в лагере недалеко от города Острова. А в Остров его привезли 9 августа 1941 года, в тот самый день, когда наши войска оставили Псков. Бежать из лагеря удалось в октябре 1942 года.

Сейчас в бородатом, угрюмом дядьке никто из деревни не признал бы первого колхозного тракториста; даже мать родная не вдруг разглядела бы на опаленном суровом лице родные черты, разве только по вмятине над левым глазом и догадалась бы, что это и есть ее сын, пропавший без вести в первом бою.

Сегодня в третий раз дежурит Дымов ночью на лесной поляне, сидит у облитой соляркой кучи валежника, ждет, не послышится ли над вершинами сосен приглушенный рокот «кукурузника». Самолет даст условный сигнал, и тогда на поляне вспыхнут костры, два больших и один поменьше — «заходи от больших».

Самолет должен прилететь во втором часу, сейчас половина первого. Спички Владимир держит в нагрудном кармане суконного кителя под меховым дубленным полушубком, пучок бересты — на коленях. За спиной у него, на столбе, укреплен пулемет с полным диском патронов. Может и так случиться, что фашистские летчики заметят, как загорятся костры на поляне, и надо будет отбивать этих стервятников. Кружат они стороной, высматривают.

Рано еще. Подняв воротник полушубка и пригнувшись, Дымов раскуривает самокрутку, прячет ее в ру-

кав. Такова уж солдатская привычка: даже днем в партизанской землянке тот, кто бывал в переплетах, никогда не будет сидеть с сигаркой и чтобы нога на ногу, как на блинах у тещи. Понимать всё это надо.

Притулился Дымов в снежном окопе возле кучи хвороста, дымит самосадом, а перед глазами подвал Островской комендатуры, комендант обер-лейтенант Пфлаумер.

...Было это в ночь на 8 августа 1941 года и ровно через двое суток после того, как только что сформированный в глубоком тылу танковый батальон выгрузился на станции Дно. Тут и получили приказ форсированным маршем через Порхов—Славковичи выйти в район города Острова и поддержать огнем и гусеницами боевые действия стрелковой дивизии, которая занимала оборону по правому берегу реки Великой.

Сухие строки приказа Дымов помнит дословно — именно так и было в нем сказано: «Огнем и гусеницами». Читал коренастый майор, а позади него над башней головного танка колыхалось развернутое знамя батальона. В том же приказе был отдельный параграф, где говорилось: «Ввиду некомплекта подготовленного младшего офицерского состава командиром первого взвода первой танковой роты назначаю старшину Дымова Владимира Степановича, имеющего боевой опыт в защите дальневосточной границы социалистического Отечества».

В районном поселке Славковичи батальон разделился: вторая и третья роты прогрохотали гусеницами по дороге на юг, а первая свернула на запад — на станцию Черская, что находится как раз на половине пути между Псковом и Островом.

Дымов помнит всё до мельчайших деталей. После того как в Славковичах первая рота повернула направо, он сам вел головную машину по горбатому булыжному большаку. Километрах в десяти от поселка дорога сбегала к мосту через безымянную речку. И реку эту форсировали вброд; хотя мост был в исправности, но у въезда на дамбу стоял столб с указателем: «Тракторам объезд справа». В танках сидели вчерашние трактористы — по натуре своей люди мирные, бережливые. У столба с указателем каждый из них при-

тормаживал запыленную машину, выжимал на себя рычаг правого фрикциона. Танки, как большие зеленые черепахи, сползали с берега, зарывались покатыми броневыми лбами в желтоватую теплую воду, осторожно лавировали между замшелыми валунами, пробираясь на песчаную отмель, а под мостом возились саперы, передавая из рук в руки увесистые ящики со взрывчаткой.

Владимир горько улыбнулся; ему припомнилась поговорка: «Снявши голову, по волосам не плачут». А тогда хмурились — жалко было моста. Высокий, на массивных бетонных опорах, с решетчатой гнутой фермой над проезжей частью, он, как живой, ждал своей скорбной участи и, кажется, еще больше горбился, припадая к реке, распростертыми крыльями опираясь на ее берега.

Истинно так оно было, так. Рвали построенное своими же руками, отворачивались, чтобы не видеть приговоренное к смерти, и, не оглядываясь, уходили понутив головы. Рвали мосты, заводы, электростанции, валили под откос паровозы, жгли хлеб на корню. А вверху, в полуденном небе, волна за волной проплывали с надсадным и хриплым ревом разлапистые чернокрылые бомбовозы — «юнкерсы», «хейнкели», «дорнье», желтобрюхими змеями шли в крутое пике «мессершмитты» и «фокке-вульфы». И так же — волна за волной — разливались внизу пожарища. Солнце не в силах было пробить своими лучами смрадные тучи гари и казалось кровавым. Кровавые росы падали по утрам на землю, трупный тяжелый чад расползлся из балок и от речных переправ.

Было. Всё это было. Именно так. И совсем недавно. И этого не забыть.

К вечеру в тот же день рота вышла к намеченному рубежу — к станции Черская. И еще разделилась: второй и третий взводы отошли южнее, а первый замаскировался в кустах в полусотне метров от магистрального шоссе из Пскова на Остров. И вот здесь, с глинистого пригорка, утыканного покосившимися кладбищенскими крестами, на рассвете 9 августа Дымов увидел длинное пыльное облако, сползавшее по шоссе на север.

Это была вражеская колонна. Немцы шли на

Псков, как на параде: без головной разведки и бокового охранения. А километрах в пяти на высотах слева то вспыхивала, то угасала беспорядочная ружейно-пулеметная перестрелка, беловатыми шапками вырастали по отлогим скатам дымки от разрывов мин и снарядов. Какая-то стрелковая рота, — а может быть, и батальон, зажатый в подкову, — медленно отходила на восток, пятилась к дальнему лесу, не давая сомкнуться огневым флангам наступающих.

Глухое татаканье пулеметов, отдаленные пушечные выстрелы, сами высоты и распростершаяся вокруг болотистая низина, покрытая чахлым кустарником, неизгладимо врезались в память, как и первый бой у Хасана, как последнее мирное утро, когда солнечный лучик крадучись подбирался к сомкнутым ресницам Анки, а в застрехе под крышей сеновала чивикала белогрудая ласточка.

Пехоту слева бомбили пикировщики. Над лесом один из них загорелся и рухнул за высоту, а колонна приближалась с каждой минутой. Вместе с командиром роты сбегали они потом с кладбищенского пригорка к своим машинам, укрытым в кустах... Мог ли думать тогда старшина Дымов, что, спустившись в башню танка и плотно закрыв за собой броневую плиту люка, он должен был прощаться с экипажем, что в этом первом бою с фашистами потеряется сам, потеряет свою Анку, семью? И сколько же лет минуло с того злополучного дня? Ведь не так уж много, если считать по-обычному — день за день и в сутках по двадцать четыре часа. А какими часами следует измерять сутки плена, чему равна ночь, проведенная в каменном подвале комендатуры? Тут одна мера времени — седина. И она так же медлительна, как и рост самого умершего волоса.

* * *

И снова перед глазами комендант обер-лейтенант Пфлаумер... Когда опомнился, то увидел себя в окружении солдат в рогатых касках и с засученными по локоть рукавами. Документы в правом нагрудном кармане гимнастерки были на месте, а левый вывернут. Цел и орден, а залитый кровью комбинезон разорван

до пояса. Солдаты тыкали в орден пальцами, смеялись, галдели по-своему.

Владимир пришел в сознание, сел. Солдаты притихли на минуту, с любопытством разглядывали очнувшегося танкиста. Владимиру нестерпимо хотелось пить, ухо его улавливало недалекий и ровный плеск широкого потока. Где-то рядом была река, возможно — сразу же за собором, что стоял на площади. А пить не давали. Сколько времени он находился здесь и куда его привезли, Владимир не знал. Последнее, что сохранила память, — это желтая огневая вспышка пушечного выстрела в упор и тут же ослепительный, искрометный удар по башне.

Не верилось, что это — конец. Уж не бред ли? Нет, не похоже. Справа и слева от Владимира лежали и сидели еще десятка полтора красноармейцев. Многие из них были ранены и тут же, в дорожной пыли, меняли друг другу повязки, используя для этого нижние рубашки. У стен собора жались белоголовые ребяташки. В руках одного Владимир увидел ржавую консервную банку. Из нее капало. Сидевший неподалеку пехотинец с обвязанной головой поманил пальцем парнишку. Тот подошел озираясь, трясущимися руками протянул банку. Тогда из толпы солдат отделился голенастый поджарый немец. Он один из всех был в фуражке, в хромовых сапогах и с портупеей. Мальчишка кинулся прочь без оглядки, а офицер, не говоря ни слова, расстегнул пистолетную кобуру, выстрелил в лицо пехотинца. Пробитая пулей банка откатилась к ногам Владимира.

Привезли еще пленных. Потом всех построили в две шеренги, отобрали документы, окружили плотным кольцом автоматчиков, погнали в тюрьму. Предположения Владимира оказались верными: сразу же за неказистыми торговыми ларьками и палатками, подковой обступившими неширокую городскую площадь, виднелись опорные башни старинного цепного моста. Дальше — небольшой островок с остатками крепостной стены и церквушкой. И еще один мост, с такими же башнями и цепями. Ночью — первый допрос.

Дымов со связанными за спиной руками сидит у холодной кирпичной стены, за столом напротив — го-

ленастый поджарый немец, тот самый, что выстрелил в лицо пехотинцу. Рядом с ним — переводчица, черная стриженная девчонка в запыленных, обшарпанных туфлях и в гимнастерке, какие в тридцатых годах носили комсомольцы. Точно в такой же зеленой гимнастерке с отложным воротничком и с портупеей схоронили Верочку. У дверей застыли истуканами два конвоира в касках и с автоматами.

Обер-лейтенант вертит в пальцах орден Красной Звезды. Тут же на столе лежит красноармейская книжка Владимира. Заглядывая сбоку через плечо коменданта, переводчица читает: «Старший сержант, командир танка». А в петлице у пленного четыре рубиновых треугольничка. Он — старшина, и, хоть звание это не офицерское, он был командиром взвода боевых машин.

Ни комендант, ни переводчица не знают этого и никогда не будут знать. Нет перед ними и партийного билета танкиста. Где же билет? Пригнув голову, Дымов снова видит располосованный комбинезон, вывороченный нагрудный карман своей гимнастерки, а выше клапана небольшое круглое отверстие от штифта ордена и широкий отчетливый отпечаток самой звезды.

— Фамилия?

— Иванов.

— Как Иванов?! Тут сказано — Дымов!

— Это между своими. Для вас мы все — Ивановы, все Ивановы.

— Офицер? — скрипит гитлеровец, перелистывая книжку.

— Не дорос еще, — глядя в упор в желтые глаза гитлеровца, отвечает пленный.

— Коммунист?

— Гражданин Советского Союза...

Слепящий удар плетью по голове. Второй, третий. Потом по лицу наотмашь.

«Только бы не упасть. Только не сунуться головой в ноги фашисту», — хватает Дымов обрывки собственных мыслей. И не упал. Уперся ногами в щербатый каменный пол, развернул тугие покаты плечи. Выпрямился во весь рост. И не отвел ни на долю секунды побелевших от ярости глаз от змеиных зрачков

коменданта. И тот опустил плетъ, нехотя, точно его вжимали, опустился на стул. Тогда сел и Владимир.

Комендант что-то пролаял девчонке. Та вышла из-за стола, дрожащими руками зачерпнула кружку воды из ведра, стоявшего на подоконнике. Пленный старшина и ее встретил таким же яростным взглядом.

— Пейте, товарищ! — одними губами прошептала девчонка и поднесла кружку Владимиру.

— Сука! — выдавил Дымов и неожиданно для самого себя пнул ее сапогом в живот, отбросил к противоположной стенке.

Тогда на него навалились конвоиры. Опомнился в одиночке на скользком бетонном полу. И опять первой мыслью было — где же партийный билет? Комендант, конечно, не стал бы молчать об этом. Значит, не знает. Кто же взял партбилет? Где и когда? В танке еще или уже по дороге в город? Ответов на эти вопросы не было.

Еще и еще допросы. Чернявая старательно переводила каждое слово и так же старательно прятала под табуретку ноги в рыжих стоптанных башмаках. Догадалась, видно, по взгляду, что́ думает о ней пленный.

«Наша, русская, стерва!» — решил про себя Дымов, и всякий раз при этой мысли его кулаки наливались чугуновой тяжестью. Злоба душила. Она была во сто крат сильнее сыромятной плети, притупляла тяжкую боль в ребрах от ударов кованых сапог конвоиров. И каждый раз кулем волокли в подвал. Через сколько времени приходил в себя, неизвестно. Гимнастерка превратилась в клочья, заскорузла от крови. Комендант называл сержантом, и чернявая не поправляла его, ни разу не подсказала, что пленный старше по званию. Всё равно не откупишься. Не откупишься, стерва.

Дымов давно потерял счет дням. В одиночке их сидело уже шестеро. Были тут и средние командиры. Раз среди ночи прямо на людей бросили седьмого. Владимир нащупал разбитое, обезображенное лицо и капитанскую «шпалу» на вороте кителя. Утром оказалось, что это женщина-врач. Она так и осталась лежать у порога.

Когда мертвую выносили, один из пленных бросился на конвоира, сорвал у него с пояса ножевой

штык. Второй солдат оглушил парня прикладом. В узкой сводчатой трубе тюремного перехода один за другим грохнули три винтовочных выстрела. Пороховая терпкая гарь долго держалась в камере. Она царапала глотку и после того даже, как в этой каменной норе осталось двое, — в середине дня всех пятерых вывели на середину двора, а чуть подальше согнали в кучу обитателей всей тюрьмы. Обер-лейтенант сам прочитал приказ, стриженная перевела: «В камере № 3 произошел вооруженный бунт. Зачинщик убит, трое из пятерых соучастников будут сейчас расстреляны».

Комендант сложил приказ вдвое, перегнул бумагу еще раз, сунул в планшетку.

— Как это будет по-русски? — начал он, подбрасывая на ладони пистолет. — На порядок номер считай!

Первый, третий и пятый упали возле каменного забора. Владимир оказался вторым в шеренге, а на другой день остался один в камере, — его сосед обломком стекла разрезал себе ночью запястья на обеих руках.

Потом — лагерь на торфяном болоте за городом. В первый же день Дымов забрался было в пустую вагонетку, — думал переждать до ночи. Нашли. Зверски избили. Похоже, что переводчица подсказала начальнику лагеря, что Дымов понимает в машинах. Он до глубокой осени работал потом машинистом на торфодобывающем экскаваторе. О побеге не могло быть и речи, — лагерь к тому времени обнесли проволочным ограждением в три кола. Проволока — под током. Ввели новые правила: когда выходили на работу, у ворот считали пленных пятерками, правофланговый отвечал за шеренгу до вечерней проверки. За побег одного остальные сами рыли себе могилу. На стене головного барака охранники повесили зеленый брезент. На нем была нарисована карта Советского Союза. Синяя лента фронта всё передвигалась и передвигалась на восток. Флажки со свастикой вонзались всё в новые и новые города — каждый день ножом в сердце. Раз кто-то из пленных сказал: «Кончали бы уж скорее. Москву всё равно нам не удержать» — и вытащил из кармана фашистскую листовку. Утром его нашли под нарами с выпученными, остекленевшими глазами.

Когда умывались возле деревянной конской колоды, сосед Дымова по нарам — донецкий шахтер — почему-то дольше других оттирал песком свои руки. Пфлаумер лютовал, а «фрейлейн» Эльза — так звали переводчицу — пожимала плечиками. К тому времени она сменила стоптанные башмаки на щегольские хромо-вые сапожки, на широком офицерском ремне с порту-пеей носила маленький браунинг...

Это было, пожалуй, в конце ноября. Пленных выстроили перед картой в четыре ряда, завернули фланги. Долго ждали кого-то. Наконец от караульной казармы подошли четверо: начальник лагеря, комендант Пфлаумер с переводчицей «фрейлейн» Эльзой и еще один офицер — толстый, в кожаном реглане с дорогим меховым воротником и в фуражке с черным околышем. Он поздоровался с пленными и произнес речь.

— Господин полковник, — переводила Эльза, — обращается к вам от имени родины, от имени ваших родных и близких. Он отдает должное уважение мужеству русского воина. Он сам солдат и презирает предателей. Но вы жестоко заблуждаетесь — вас предали раньше. Время покажет, кто прав.

Полковник утвердительно покачивал головой, потом остановил переводчицу и заговорил сам по-русски, довольно свободно подбирая слова:

— Я хорошо знаю Россию, долго жил в Петербурге до той война. Знаю, как жил русский крестьянин до революция, как он живет теперь. У него отобрали землю и веру в бога. Это не есть справедливо. Великий германский армия очищает ваша страна от большевистов и евреев. Наши танковые дивизии окружают Москва, что вы видите здесь, на карта, германский верховный командование по радио сказал всем ваши солдаты: «Штыки в землю!»

— Мели, Емеля, — про себя буркнул сбоку Дымова тот же шахтер. А полковник продолжал:

— Евреи и комиссары мешают вам найти правильный дорога. Ваши дезертиры делают плохо с мирный житель. Поэтому немецкий командование не может сказать вам: «Ступайте домой». Еще месяц-два надо работать. Потом — конец. Ваше правительство давно уже бежало из Кремль.

От столь продолжительной речи полковник устал. Он сделал передышку, вытер виски и шею платком.

— Я сказал, что русский дезертир делает плохо с мирный житель. Немецкое командование не может иметь каждый маленький деревенька свой гарнизон. Но у нас есть русский генерал Власов. Он говорит вам: идите моя освободительная армия. Вам сейчас будут выдавать прокламация.

«Фрейлейн» Эльза развернула при этом принесенный с собою пакет и обошла строй. Не поднимая глаз, она совала в руки пленным бумажки с портретом изменника Власова. Перед Дымовым задержалась, судорожно глотнула, будто собиралась что-то сказать. И заторопилась дальше.

В этот день, впервые за всё время нахождения в лагере, пленные ели горячую похлебку с мясом, а к вечеру каждому выдали еще и по пачке махорки. Потом стали по одному вызывать в кабинет начальника лагеря. Перед полковником лежал длинный список. Тут же находилось еще несколько офицеров, комендант и переводчица. Полковник вежливо предлагал вошедшему стул, угощал сигаретой. Заводил разговоры о доме, семье, спрашивал, нет ли каких претензий и жалоб.

— Какие тут могут быть жалобы? — вопросом на вопрос ответил Дымов, когда и его спросили о том же. — Всё хорошо. Всё правильно. Русский мужик — грубый и неотесанный. Только так его и учить надо — понял бы, что Россия и Германия не одно и то же.

— О да! Яволь! — Полковник расплылся в довольной улыбке.

Пфлаумер настороженно покосился на танкиста, попросил Эльзу перевести.

— Я вижу, вы есть образованный человек, сержант Дымоф! — тянул полковник. — И если бы не эта беда, был бы уже офицер.

— Пожалуй, — согласился Владимир. Помолчал немного и добавил: — Только тогда я не стал бы попусту тратить время на такие вот разговоры с пленными. Если бы даже они были и старше меня по званию.

— О! Я понимаю! Люблю прямой мужински разговор!

В этот раз полковник сам перевел немцам сказан-

ное Дымовым и, продолжая улыбаться, задал новый вопрос:

— А хотел бы вы стать офицером?

— Мало ли что я хочу.

— Генерал Власов будет давать большой чин. Много денег. Вы еще совсем молодой человек, Дымоф. Соглашайтесь скорее.

Полковнику, видимо, очень нравилось разыгрывать роль культурного офицера. Оказывается, он уже всё знал о Дымове: как тот вел себя на допросах, как пытался совершить побег из лагеря.

— Это напрасный риск, — сказал полковник, когда зашел разговор о вагонетке.

— Думал поспать немного, — ровным голосом ответил Владимир. — Уйти-то ведь всё равно некуда. Да об этом теперь никто и не думает. Сами видим — отпрыгались.

Полковник быстро взглянул на пленного и опять перевел офицерам слова Дымова, как бы желая показать им, что умеет разговаривать с этим народом. Повертел в руке карандаш и против фамилии танкиста поставил жирную точку. Подумал еще и подчеркнул два раза.

— Всем, кто идет служить освободительный армия, — начал он торжественно, — немецкий командование возвращает военное звание, ордена и другие знаки различия. Хотели бы вы получить обратно свой орден?

— Мне его Михаил Иванович Калинин вручал. Всероссийский староста. А теперь из ваших-то рук не совсем оно и пристало.

Полковник сделал вид, что не всё понял. Однако спросил, за что и когда награжден танкист.

— Приятелей ваших живьем давил на Хасане.

— Не будем старое вспоминать, — отмахнулся полковник. — Я жду ответа.

Дымов потянулся к портсигару, закурил. Самодовольно откинувшись на спинку кресла, полковник не торопился с ответом и сам принялся разминать между пальцами кончик дорогой сигары. Комендант по-прежнему смотрел исподлобья, а переводчица отошла к окну и оттуда, из-за спины полковника, во все глаза глядела на пленного.

— Соглашайтесь, — отеческим тоном повторил полковник. — Там будет всё — деньги, вино, красивая девушка.

— А оружие? — спросил Дымов. — Наше, отечественное, или ваше?

— Для русский освободительный армия генерал Власов получает свое оружие. Мы уважаем национальный традиция. А какое это имеет значение?

— Жалко русскую пулю.

— Вас?! Что ты сказал?! — Немец закашлялся.

— Говорю, пулю русскую жалко, — раздельно повторил Дымов. — Вот если бы из вашего автомата его полоснуть. Власова этого самого.

Короткая шея полковника побагровела. Он бросил недокуренную сигару на пол.

— Хорошо. Я всё понимайт, Дымоф. За этот слова тебя надо становить стенка. Но я сам сказалъ — люблю прямой разговор. Будешь сидеть карцер. Долго сидеть. Иди!

Ни комендант, ни начальник лагеря так и не поняли, отчего обозлился полковник. А переводчица, кажется, улыбнулась.

* * *

Приказ оставался в силе. На работу выходили колоннами по пять человек в ряду. Каждый в пятерке должен был знать номера соседей и на обратном пути вставать на свое место. За побег одного четверых расстреливали. И всё равно люди бежали. Их выслеживали, травили собаками, вешали у ворот лагеря. Бежали другие. А из барака в барак передавались известия: Москва устояла, немцы отброшены от столицы. И еще: недалеко от города, если идти на восток, в лесах располагаются партизанские бригады. Партизан там многие тысячи, и везде у них есть свои люди. В каждой деревне.

Весной удачно бежал шахтер — сосед Дымова по нарам в бараке. Потом сразу — группа. И тут ни одного не взяли. Охрану усилили, в каждый барак под видом мирных жителей, будто бы арестованных за связь с партизанами, насовали полицаев и власовцев. Когда подсохло болото, Владимир снова принял ковшевой

экскаватор — громоздкую, многотонную машину на широченных гусеницах, которая вычерпывала из карьера торфяную массу. Как-то копался он в инструментальном ящике и в куче ржавых болтов и гаек нашел свернутую в трубочку записку на промасленной оберточной бумаге. Озираясь, прочел неровные строки: «Солнце всходит на Востоке. Товарищ, иди на Восток. Смерть людоеду Гитлеру!»

Записку тут же порвал в мелкие клочья, ночь пролежал без сна. Через неделю — еще записка. Эта уже походила на партизанскую листовку, — напечатана была на машинке. Кто-то был, видно, ночью у багера и раскидал листовки у транспортера и штабелей просушенного торфа.

Листовки пошли по рукам. А потом в соседнем бараке охранники нашли саперные ножницы и два топора. Барак опустел наполовину. Говорили, что это провокация. Владимир решил, что уйдет один, ни с кем не стал сговариваться и сам же отметал всевозможные хитроумные варианты побега. Думал всё лето, да так ни на чем и не остановился, пока не попалась ему на глаза запасная медная трубка от маслопровода. Как-то вечером, перебирая инструмент, в сотый, наверное, раз перебросил он эту трубку с места на место, и вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил старую мельницу на Каменке и как мальчишкой еще, с камышовой дудкой в зубах, любил прятаться от ребят под нижней сланью. Вспомнил, и даже жарко от мысли этой сделалось.

Как он ушел? Вот эта самая медная трубка и помогла. Свернул ее Дымов колечком, спрятал в надежное место, там же у багера, и стал дожидаться подходящего случая.

Бараки стояли на пригорке, внизу — мостик через глубокую канаву, заполненную ржавой водой. Возвращаясь с работы, пленные мыли тут руки, а чуть подалее — озерко небольшое, с камышовым островком на середине. В настиле моста давно уже не хватало одной плахи. Вот в эту дыру дождливым сентябрьским вечером и скользнул Владимир, когда конвоиры уже пересчитали пленных и шли позади строя. Над головой у него протопали последние шеренги, слышно было, как часовой у ворот отбросил на место ро-

гатку, и всё замолкло. Нужно было уходить, пока не спущены собаки. Но Владимир никуда не ушел. Как стемнело, не выходя на берег, он перебрался по канаве в озеро, в камышах просидел до рассвета. Утром в лагере всполошились. Из ворот выбежали проводники с овчарками. Тогда Владимир вздохнул поглубже, взял в рот трубку и погрузился с головой в ледяную воду.

Неделю прожил потом на дне глубокого заброшенного колодца на краю соседней с лагерем деревеньки. По ночам старик-инвалид опускал к нему на веревочке котелок с круто заваренным чаем и парой картофелин. Он же подал потом и лестницу, а за сарайчиком ждали двое с трофейными автоматами.

...В партизанском отряде доверились тоже не сразу. Дальше землянок дозорного оцепления не пропускали. Дня через три или четыре после того, как разведчики привели сюда Дымова, на опушке соснового бора появился командир отряда Леон Чугуров — высокий и грузный, с немецким автоматом на шее. Он подозвал пальцем новичка, спросил густым с хрипотцой басом:

— Ну, как — отоспался? Обедал сегодня? Видок-то у тебя, прямо скажем, не гвардейский.

— Были бы кости целы.

— Понятно. А с оружием как?

— В лагере нам пулеметов не выдавали.

Командир вскинул лохматые, как у Андрона, брови, минуту молчал, прищурясь оглядывал новичка.

— Добывать надо. Скажи отделенному, что я разрешил прогуляться до большой дороги. На сутки, — начал он, четко подразделяя короткие фразы. — Это у нас называется свободным поиском. Хорошенько запомни местность, но обратно к этой опушке не выходи. Вон к тому дереву присмотришься, — указал рукой на отдельную березу, что стояла на бугре за болотцем. — Крякнешь там по-утиному, тебе ответит коростель.

Владимир усмехнулся:

— С коих это пор у вас тут коростели после заморозков кричат?

— У нас кричат.

С тем и ушел командир. Это было первой провер-

кой. Среди бела дня на большаке проволочной петлей вырвал Дымов с седла проезжавшего мотоциклиста. Не успел оттащить труп в канаву и свалить туда же машину, как на шоссе показалась еще одна черная точка и тут же нырнула в ложбинку.

«Будь что будет!» — решил тогда Владимир. С автоматом убитого он перебежал по кювету вперед метров на пятьдесят, залег в бомбовую воронку на обочине. А справа уже нарастал торопливый стрекот мотора. Это тоже был мотоцикл, но с люлькой и пулеметом. В мотоцикле сидело трое гитлеровцев. Черный «цундап» с ревом вымахнул на пригорок и, располосованный очередью в упор, нелепо подпрыгнул, перевернулся через люльку. Яростного клетота своего автомата Дымов не слышал, только ощущал судорожные толчки в плечо.

Через минуту, нагруженный оружием и патронами, он, пригибаясь, уходил к оврагу в противоположную от леса сторону. Долго кружил по кустам и пустынному, осиротелому полю с одинокой полоской невытеребленного льна, пока не набрел на заболоченный ручей, заросший ольшаником. Погони не было, да и подумал об этом Владимир уже в последний момент, когда стоял посреди дороги над распластанным офицером с мертвым оскалом вставных металлических челюстей. Он был похож на коменданта Пфлаумера, такой же сухой и поджарый.

Вниз по течению ручья, прямо по руслу, прошел еще километра два. Потом выбрался на пригорок; береза, которую указал Чугуров, виднелась далеко на горизонте. И тут на Владимира напал страх отрешенности и одиночества, — нервы сдали. Ему показалось, что он давно уже окружен со всех сторон, что из-под каждого куста, из-за каждой кочки на него уставились жуткие, немигающие зрачки винтовок, что они нацелены в затылок, в грудь, в переносицу. От этого пересохло в горле, язык стал шершавым, как терка, а пальцы так сжали цевье и шейку тяжелого, неуклюжего пулемета, снятого с мотоцикла, что и сама смерть не заставила бы их разжаться.

Озираясь, спустился к ручью, напился, а меж лопаток испарина. Мысли остановились. Вот и ушел, называется. На своей земле бешеным волком кружить.

А командир наказал к сосновой опушке не возвращаться. Значит, не верит. Боится, как бы «на хвосте» кого не привел. Правильно делают: и пленные всякие бывают. Чем ты докажешь, что не власовец, не полицей? И сейчас еще больше могут не поверить: как это, скажут, тебе помогло одному с четырьмя управиться? Может, и пулемет, и автоматы заранее приготовлены были, для отвода глаз? Вот ведь, не догадался документы их забрать из карманов! Теперь уже поздно.

Вечерело. Всё по ручью, по ручью, местами по пояс в воде, уходил Владимир, как ему думалось, всё дальше от дороги. Ручей петлял между невысокими холмами и чахлыми перелесками. И ни одной деревеньки поблизости, ни одного хуторка. Хоть бы тявкнула где-нибудь дворняга или петух закричал. И этого нет, будто вымерла вся округа. А ноги окончательно заledenели от нестерпимого холода, и зубы стали позванивать.

В одном месте поскользнулся на камне. Не выпущкая из рук пулемета, растянулся в рост, и вместе с шумом собственного падения и плеском воды настороженный слух его уловил хруст валежника на берегу позади себя. Вскинулся, извернувшись пружиной, — никого. Переждал затаив дыхание — тихо, только шуршат на ветру желтые перья камыша. Над головой низко плывут рваные клочья туч, рассевая следом мелкую водяную пыль. Ни туман и ни дождь, но от этого еще хуже, тоскливее, еще горше переносить одиночество.

Даже в одиночке такого не было. Думалось — только бы выжить, только бы устоять. Там помогала постоянная лютая ненависть ко всему вокруг да теплился где-то запрятанный в самые тайники души малюсенький уголек надежды на счастливый случай освобождения. Там хоть убивали перед строем, — кто-нибудь да дождется свободы, расскажет другим, как погибали люди. Тут — всадят пулю в затылок, и будут завтра кружить над болотцем вóроны. Будь она трижды распроклята — этакая свобода.

А идти всё равно надо, не стоять же на месте. На ходу-то как будто и теплее. Прошел еще с полкилометра. И опять — э, была не была — вылез на берег,

поднялся на глинистый бугорок со следами прошлогодней траншеи, да так и присел. Прямо под ним — дорожная выемка, а чуть поодаль стоят две машины: грузовик, набитый солдатами в приплюснутых черных касках, и легковая с откинутым верхом. Сбоку от грузовика вытянулся в струнку немец в офицерской шинели, а перед ним размахивает руками коротенький человек в кожаной куртке, перетянутой ремнями, и в фуражке с черным околышем. У обочины — два проводника с овчарками.

«Ну вот и пришел. Сам напоролся. Теперь-то уж всё, конец!»

Пригнувшись в обвалившемся окопе, Владимир убрал с бруствера пласт выгоревшего дерна, приложился к пулемету. Расставил пошире ноги. Автоматы сложил на бровку, чтоб под рукой были. Пистолеты — за пояс.

— Много их там? — раздалось совсем рядом.

На долю секунды Владимир оцепенел. Пересилив себя, повернул голову: в траншее за ним сутулился плечистый дядька с карабином. Шахтер! Тот самый, что первым ушел весной из лагеря.

Не дожидаясь ответа Владимира, он протиснулся по окопу вправо:

— Бей по машине! Бей, пока всех не срежешь! Я — по собакам!

Последние слова шахтера заглушил отрывистый лай пулемета Владимира. Сбоку гулко один за другим гремели выстрелы карабина. На шоссе — свалка, дикие вопли.

«Это вам за убитого пехотинца у собора! Это — за первую плеть! За капитана-врача, — успевал схватывать свои мысли Дымов в короткие перерывы между очередями. — А это за того парнишку, что кровью истек на моих руках».

Не отрывая взгляда от прорези и прыгающей мушки, он в третий, в четвертый раз прошивал пулевыми строчками кузов машины. С обоих бортов ее вниз головами свешивались убитые. Ему хорошо были видны и оба боковых кювета. И там смятыми, перекрученными мешками валялись подкошенные солдаты. Офицер в кожанке лежал поперек дороги, второго не было видно. По капоту легковой машины змеились огневые

полоски. Вот они перекинулись в пустую кабину, лизнули бак под багажником, и в небо взвился смолячистый раскидистый гриб дыма.

— Ну, брат ты мой, на один-то день этого, пожалуй, и за глаза! — отдуваясь проговорил нежданный сосед Владимира. — Это они ведь лес прочесывать собирались. Опоздай мы на самую малость... — И вытер локтем крупные градины пота, струившиеся по его скуластому темному лицу.

Вздохнул и Владимир. И теперь только понял, что весь этот день по пятам за ним шел человек, что шорох в кустах ему не слышался. Приказ есть приказ; он и сам поступил бы так же, если б ему поручили проверить нового человека.

— Жадный ты больно, — потом уже, в лесу, за дорогой, ворчал шахтер. — Ну кой черт тебя дернул еще и с теми троими связываться? Первого-то ты ловко ссадил. Я со стороны позавидовал даже.

— И всё-таки крался следом?

— Всё норовил голос подать, да любопытство разбирало, как ты к месту выйдешь, — откровенно признался тот. — Глаз у тебя, однако, верный. И от собак по речке — это ты правильно.

— Понятно. Всё мне понятно.

— Да брось ты к чертовой матери это свое «понятно»! — рассердился шахтер. — Сам я пошел за тобой; думал — может, в чем подсобить придется. Много ты понимаешь...

Дымова зачислили в роту, которой командовал бывший председатель райисполкома Николай Камагин, а политруком была Анна Петровна Татарина — инструктор райкома партии. Этим двоим кое-что рассказал Владимир о себе. Но их больше устраивали не разговоры о прошлом, а огневые росчерки из ночных засад, подорванные мосты и количество опрокинутых вагонов. Зимой «уральскому дядьке», как звали в отряде Дымова за его плотную курчавую бородку, уже поручались рискованные задания по сбору разведывательных сведений далеко за пределами Партизанского края; знал он и многие засекреченные явки по деревням и на железнодорожных станциях, выучился работать на переносной радиостанции. И не

раз провожал разведчиков-парашютистов в глубокий вражеский тыл.

Перед Новым годом среди ночи прибежал связной из штаба бригады:

— Где тут Дымов? Срочно к комбригу!

Вошел в штабную землянку, да так и прирос к косяку: сидит в переднем углу чернявая стриженная девчонка! Вскочила она со скамейки, первая протянула руку, а сама улыбается:

— Здравствуйте, гражданин Советского Союза! Не узнаете?!

— Здравствуйте, — растерянно произнес Дымов и протер кулаками глаза. Головой покрутил даже.

— Спасибо вам за памятный мне урок, — продолжая улыбаться и заглядывая снизу вверх в заросшее лицо Владимира, говорила «фрейлейн» Эльза. — Я ведь в тот раз чуть было всё дело не испортила.

— Это... когда с кружкой? — вспомнил Дымов про первый допрос.

— Когда сапогом, — уточнила девушка.

Владимир виновато развел руками и не нашелся, что сказать. Здесь же, в землянке, были Леон Чугуров, теперь уже командир отдельной бригады, начальник политотдела Макаров и политрук Татарина. На столе перед Чугуровым лежала туго набитая картами офицерская полевая сумка, а перед Макаровым — небольшой продолговатый пакет, завернутый в плотную промасленную бумагу. И все смотрели на этот плоский сверток, а Дымову безотчетно подумалось, что сейчас что-то должно произойти. Он тоже смотрел на пакет.

Начальник политотдела задал вопрос:

— Скажите, товарищ Дымов, когда и где вас принимали в партию?

— Я же вам говорил: в июле тридцать восьмого. За несколько дней до начала боев у Хасана.

— А орден за что получили?

Наступила долгая пауза. О том, что был награжден, Дымов никому не рассказывал.

— Если на то пошло, можно сказать и про орден. — Владимир еще помедлил, чтобы проглотить колючий комок. — За штурм высоты Заозерная, вот за что получил я эту награду.

— По тем временам это очень большая награда. Я бы не стал скромничать.

— Ордена всё равно нету. Что попусту говорить.

— А номер партбилета сможете вспомнить? — спросил до того молчавший Чугуров.

Владимир еще раз глотнул, назвал семизначное число, потом добавил второе — номер ордена.

Тогда начальник политотдела медленно, очень медленно стал разворачивать пакет. Под промасленной бумагой оказалась плотная домотканая холстина, еще дальше — новенький носовой платок с голубыми каемочками, перевязанный ниткой. Вот и нитка развязана, на стол с глухим стуком упал орден, матово блеснула рубиновая эмаль пятиконечной звезды. У Владимира вздулись на шее толстые вены.

— Повторите еще раз номер, — проговорил командир бригады, рассматривая обратную сторону звезды. — Точно. И билет ваш, конечно?

— Мой, — шумно выдохнул Дымов. — Как же нашлось всё это, товарищ комбриг, где?!

— Об этом попросите рассказать «переводчицу». Да заодно и извиниться бы перед ней не мешало. Изуродовать мог человека, а она ведь в дочки тебе годится! — строго добавил Чугуров.

— На его месте и я поступила бы так же, — улыбаясь, проговорила девушка. — Если бы, конечно, имела такую силу.

Макаров вышел из-за стола.

— Поздравляю вас, Владимир Степанович! От души поздравляю! — говорил он, передавая Дымову партийный билет и орден. — В бригаде вас знают как отважного разведчика, дерзкого и находчивого воина. А то, что рассказала нам Зоя, стоит еще такой же награды. Считай себя снова в партии, хотя ты и не выбывал из ее рядов. Бери.

Бережно принял Владимир бесценную находку, вытер пересохшие вдруг губы.

— Вот видите, какой подарок к Новому году принесла вам наша Зоя! — положив руки на плечи Владимира, продолжал начальник политотдела. — Чем же вы ее отблагодарите?

— Меня благодарить не за что, — покачала головой «фрейлейн Эльза», пока Дымов собирался с мыс-

лями. — Мне только передали ваш партийный билет. А сохранила его учительница Беляева из села Малые Горюшки.

— А орден? Он же у коменданта был!

— В сейфе, — уточнила бывшая переводчица. — Вместе с теми вон картами, — и посмотрела на сумку.

* * *

Незнакомую ему учительницу из села Малые Горюшки партизан-пулеметчик Дымов видел потом в землянке комбрига Чугурова. И вот что она ему рассказала.

В тот день, когда немцы заняли Остров, Татьяна Дмитриевна была на станции, думала съездить в Псков. О том, что и Остров наши оставили, она, конечно, не знала. Но вот вместо ожидаемого пригородного поезда на Псков промчалась дрезина. Какой-то железнодорожник прыгнул с нее на ходу и бросился к нефтяным бакам, которые находились неподалеку. Вскоре там оглушительно грохнуло, к небу один за другим взметнулись огромные огненные столбы. И на путях начались взрывы. В воздухе кувыркались обломки шпал.

Теперь ей трудно вспомнить, как она оказалась в домике на самой окраине поселка. По шоссе на Псков уже пылили громоздкие черные машины. С грохотом и лязгом они проносились под окнами. В кузовах за высокими бортами сидели чужие солдаты в приплюснутых касках и с зелеными, неживыми лицами.

Татьяна Дмитриевна стояла у окна и не слышала сдавленного шепота хозяйки дома, которая кружилась по комнате, как подбитая птица, и всё хватала из зыбки то матрасик, то одеяльце, и всё это валилось у нее из рук. Потом над головой учительницы звякнуло стекло, чуть пониже в неуловимо короткий момент образовалось круглое отверстие с белыми краями. Хозяйка охнула и осела посреди пола, а Татьяна Дмитриевна так и не могла еще понять, что это пули и что стреляют немцы с проносящихся мимо машин.

Потом что-то случилось на дороге. Один грузовик с солдатами опрокинулся на полной скорости, второй наскочил на него и тоже перевернулся. В разбитую

филенку окна ворвался яростный скрежет танковых гусениц. Он заглушил вопли гитлеровцев. Броневым широким лбом с ходу танк боднул еще одну машину, поставил ее на попа, взревев мотором ринулся на офицерский лимузин, тяжело перевалился через груды сплющенного железа и человеческих тел, рывкнул из тупорылой пушки. Следом за ним шел с таким же металлическим грохотом еще один танк. И еще один.

Не отдавая себе отчета, Татьяна Дмитриевна высунулась из окошка по пояс, но чья-то сильная рука сорвала ее с подоконника и вытолкнула на кухню, к раскрытому лазу в подпол. Это сделал муж убитой хозяйки дома. Вокруг уже рвались снаряды.

Бой закончился так же неожиданно, как начался. Всё произошло в течение нескольких минут, и наступила гнетущая тишина. Она пугала больше, чем выстрелы. Потом по булыжной мостовой зацокали подковы, с храпом промчались две или три упряжки, протарахтели колеса. Хозяин выглянул в отдушину, проделанную в фундаменте.

— Наша батарея проскочила! — проговорил он, не поворачиваясь от отдушины. — Эти теперь дадут. — И вдруг засмеялся старческим дребезжащим смешком, раскинув в стороны руки, пошел вдоль стен, натываясь на глиняные горшки и кадучки, бормоча что-то невнятное.

Это было самое страшное, что пришлось повидать учительнице за всю войну, — у нее на глазах человек сошел с ума.

Она не помнит, как выбралась из погреба и оказалась в огороде, между грядок гороха и помидоров. На перекрестке смрадно горел танк. Башня у него была сорвана и отброшена в сторону. Ни артиллеристов, ни их пушек поблизости не было видно, как не было и двух других танков. А этот — с проломленным бортом и сорванной гусеницей — перегораживал дорогу. Огонь бушевал уже внутри бронированной коробки, выплескивался длинными языками.

Неподалеку слышались голоса, резкие выкрики на чужом языке. Татьяна Дмитриевна проскользнула в низенькую дверку бани и в щель между тонкими бревешками предбанника наблюдала, что делалось на перекрестке. Туда несли и вели под руки раненых нем-

цев, клали их на обочине, а по другую сторону, так же в ряд, укладывали убитых и раздавленных гусеницами. Этим было намного больше. Татьяну Дмитриевну поразило тупое равнодушие, с каким солдаты волокли по дороге мертвецов, бросали их, едва оттащив с проезжей части, а офицер, затянутый блестящими ремнями, расхаживал, как журавль, между трупами и раскуривал сигаретку.

«Если они к своим соплеменникам так относятся, чего же нам ожидать, — пронеслось в мозгу учительницы. — Людоеды!»

Немцев набиралось всё больше и больше. У перекрестка останавливались машины, солдаты галдели в кузовах, прыгали на дорогу. Оставаться здесь было опасно, и Татьяна Дмитриевна, пригибаясь, нырнула в кусты малинника, буйно разросшегося вдоль изгороди. Сразу же за огородом — высокая стенка ржи. Она и укрыла учительницу. Там же стояли и пушкарки.

Домой, в Малые Горюшки, Татьяна Дмитриевна добралась только к вечеру, а до этого обогнала на болоте остановившуюся перед продавленным мостиком еще одну артиллерийскую упряжку. Орудие было развернуто стволом в сторону станции, а на широком двойном сиденье снарядного ящика лежал старшина с орденом Красной Звезды над левым кармашком гимнастерки. Темноволосая его голова была запрокинута, лоб забинтован, из уголка губ стекала по щеке тонкая струйка крови.

Минуту, может быть две, учительница постояла у высокого, окованного толстым железом, колеса, своим платком вытерла кровь на лице раненого. Он не открывал глаз, только судорожно глотнул.

Орудийная прислуга возилась у моста, подкладывая обломки прогнивших бревен под сломанные переводы. Пожилой коренастый сержант с рыжими щетинистыми усами, стоя по пояс в болотной тине, выжимал рычагом широкую скользкую плаху и вполголоса ругался матом. На Татьяну Дмитриевну никто не обратил внимания. Несколько дальше, под елочкой, еще несколько артиллеристов копали могилу. Лежали тут же двое убитых в кожаных шлемах и комбинезонах. Учительница догадалась, что это были танкисты. Из головного танка.

А в Горушках уже хозяйничали гитлеровцы, они пришли сюда по другой дороге. В избах колхозников было всё вверх ногами, на крылечке у школы сидел часовой. Солдаты в коротких, мышиного цвета мундирах, гонялись по дворам и переулкам за курами, под навесами истошно визжали подсосные поросята. У ворот, точно каменные изваяния, стояли хозяйки, окруженные насмерть перепуганными ребятишками.

В сумерках возле школы остановилась колонна серых от пыли, похожих на утюги, бронетранспортеров. Тут же дымила походная кухня. Здоровенный рыжий верзила в поварском колпаке топором разбивал выброшенные из окошка парты, подкладывал крашеные обломки в огонь, а в трех шагах от него лежали в пленнице наколотые березовые дрова. На рассвете колонна ушла, а еще через сутки в угловое оконце квартиры учительницы кто-то осторожно постучал. Раз и другой. Татьяна Дмитриевна не спала, лежала не раздеваясь, с открытыми глазами. Стук сильнее, настойчивее. Тогда она подошла к окну, раздвинула занавески и увидела прильнувшие к самому стеклу щетинистые усы.

— Здесь проживает учительница Беляева? — густым приглушенным басом спросил усатый.

— Я учительница. Что вам нужно? Да вы заходите.

— Ничего мне не надо. И в избу я не пойду: с той стороны луна светит, — вжимая голову в плечи и озираясь, хрипел человек. — Спрячьте! — И сунул в раскрытую створку перевязанную тесьмой пилотку.

— Что это? От кого?

— От меня. С убитых да с раненых какие смог документы забрал. Пожечь было думал, коли один остался. Да тут партийный билет, руки не поднялись.

Что было в свертке, Татьяна Дмитриевна не посмотрела. Когда рассвело совсем, вышла она в огород подкопать картошки, и на тропе между грядками огурцов зарыла обернутую в клеенку эмалированную миску. Там же, в солдатской, пропитанной солью, пилотке, зарыла и свой партбилет.

Сержанта больше не видела и никого из соседей не спрашивала ни о чем. И так всё понятно. Кто-то из них подсказал солдату, что в крайнем домике живет

учительница, что она — член партии. Ведь иначе тот не отдал бы документов, не назвал бы ее по фамилии. Значит, народ ей по-прежнему верит. И Татьяна Дмитриевна уже другими глазами смотрела на встречных. Как знать, может быть этот вот сивобородый дед и послал к ней сержанта-артиллериста? Или вон та многодетная колхозница? Теперь у всех одна дума, одна цель — сделать так, чтобы не погибла советская власть, чтобы холодной змеей не вползло в душу предательское сомнение. Тогда — гибель всему.

А машины всё шли и шли. По булыжному большаку раскачивались запыленные танки. И в небе одна за другой, с темна до темна, с надсадным ревом всё плыли и плыли вереницы черных бомбовозов. На север и на восток, на север и на восток. Казалось, нет силы, которая остановила бы всё это.

И вот, через неделю после того как Татьяна Дмитриевна впервые увидела немецких солдат, на станции Черская произошло столкновение товарных составов. Еще через несколько дней тяжелый раскатистый взрыв докатился из-за Черехи: на перегоне возле разъезда Подсевы сгорел эшелон с боеприпасами. А потом и у школы забегали люди в белых халатах, из санитарных машин выносили раненых. На замкнутых, потемневших лицах колхозников появилось подобие скрытой усмешки.

— Партизаны! — передавалось шепотом со двора во двор. — Сам народ поднялся!

Народ. Сам народ. Весь народ. Это и есть сила. Народ подняла партия. И учительница пошла по домам. В одну, в другую деревню.

— Видите?

— Видим.

— Слышали?

— Знаем.

— А если добавить?

— Можно. Кое-что есть на примете.

— Только ты сама-то поберегись, — советовали другие, — мало ли...

По ночам — раз или два в неделю — раздавался условный стук в угловое оконце. Никаких записок. А потом приходил другой человек. Молча слушал, наклонив бородатую голову. Растворялся в ночной бес-

проглядной темени, а на душе учительницы становилось светлее. Сила скапливалась по окрестным лесам, грозная, беспощадная.

За солдатской пилоткой пришли через год. Сказали, что от Чугурова. Ночью выкопала Татьяна Дмитриевна эмалированную миску. Не зажигая света, вынула содержимое пилотки и завернула в новенький носовой платок. Пакет унесла чернявая стриженная девчонка. А перед глазами Татьяны Дмитриевны всё маячил почему-то зарядный артиллерийский ящик и раненый старшина с забинтованным лбом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всё шло извечным, единожды указанным чередом. Старик-февраль бражничал сряду недели три, скликал для этого на лесной опушке свору поджарых выюг с нечесаными седыми космами. На закате нетвердой походкой взбирался он на Метелиху, через голову кувыркался вниз; кружась и присвистывая по-разбойному, до утра колобродил по улицам. Умаявшись, падал потом где-нибудь подле тына, разметав руки-ноги и выставив вверх растрепанную бороду, отдувался ленивым дымком поземки. Добрый молодец март осадил, притоптал сугробы; улыбчивый и пригожий, стоял подбоченясь, и под ласковым взглядом его в окнах мужицких изб с утра до полудня плескалось расплавленное серебро, а вечерами играло червонное золото; апрель — красное солнышко растопил снега, брызнул зеленью по задворкам.

По твердой еще дороге девчонка с Большой Горы, курносая и веснушчатая, в засаленной телогрейке с чужого плеча и с подвернутыми рукавами, пригнала к правлению колхоза колесный трактор с двумя прицепами. В одном прицепе — две бочки солярки, трехкорпусный плуг с отточенными лемехами; во втором невысокая горка мешков с зерном — ссуда на посевную.

— Директор наказывал передать: ни семян, ни горючего больше не будет, — сказала девчонка Андрону. — Велел обходиться, чем есть, а план непременно выполнить.

— Так и сказал «бесприменно»?

— В срок и на сто процентов! — подтвердила девчонка. — А мне чтоб оплату натурой по договору. И без задержек.

— Заработай сперва, пигалица, — хмыкнул Андрон. — Чего машину не глушишь? Боишься не завести, когда настынет? Эдак-то мы с тобой «бесприменно» отсеемся вовремя.

Девчонка обиженно шмыгнула носом, утерлась, оставила на щеке жирный масляный след.

«Негусто, совсем негусто живем; на колхоз один трактор, а давно ли в каждой бригаде по два приписано было», — думал Андрон, посматривая в окно и видя, как девчонка вскарабкивается на высокое сиденье трактора, как дует она в голые кулаки, прежде чем тронуть с места машину, чтобы отвезти зерно в кладовую. В прицепе от силы пудов шестьдесят, а по плану одной пшеницы надо сеять две сотни гектаров. Вот и считай проценты. Правда, в артельной кладовой было немного ржи, — придержал ее Андрон в надежде раздать по весне колхозникам хотя бы по несколько килограммов; смолоть и раздать мукой перед пахотой. И колхозники знали об этом, ждали.

Созвал Андрон бригадиров, членов правления. Мужиков-то один Нефед, остальные все бабы, — разве с ними столкнешься! И Екима не видно, — хворый дома лежит; за него Устинья пришла.

— Думайте, мужики, — начал Андрон. — Ссуды половину того не дали, что надо. А земле пустовать нельзя. Может, рожь-то где ни на есть на овес и ячмень заменим? Землю, ее ведь запустил в одно лето — в три года потом не подынешь. Думайте.

Сказал, а сам на Нефеда смотрит. Думал, Нефед поддержит; не ахти какой говорун, но мужик с рассуждением. А Нефед молчит. И бабы молчат, одна на другую поглядывают, прежде чем навалиться скопом.

— Может, не всю. Половину, может? — продолжал Андрон, рассчитывая этой уступкой сбить надвигающийся галдеж. — С нового урожая два пуда за пуд отдадим. Так и в решении запишем.

— «Отдадим», «отдадим»! — подскочила Устинья. — Все это мы слышали. Ты сейчас дай команду

кладовщику. Сам небось знаешь — лучше синицу в руки...

И пошло, и пошло-поехало. Отдавай, и точка. Наше оно, заработанное. В добрых-то вон колхозах не зажимают! А если бы с осени выдано было? Стало быть, и на счету его нет. О чем толковать в таком разе? Списано — нету его. Съели!

Андрон посмотрел на Дарью. Та кивком головы ответила: повремени, пусть откричатся другие. Наконец подняла руку.

— Сколько раз уж вот так на совет собираемся, — начала она издали, — и всегда председатель наш говорит нам одно и то же: «Думайте, мужики». Зазорно, что ли, ему или язык у него так устроен, что другого слова не знает? Ну и сказал бы: «товарищи женщины», — или мы этого не стоим?

Крякнул Андрон, запустил пятерню в бороду. Бабенки друг друга локтями подталкивают. А Дарья вроде того не видит, что председатель сутулится, что глаз ему не поднять.

— То, что землю нельзя запускать, знаем, — продолжала она. — Не хуже вас, мужиков, разбираемся, ладно оно или нет. Не с того ты начал, Андрон Савельич! С мужиками сошло бы и так, с матерями да с женами по-другому надо.

Дарья поправила гладко зачесанные волосы, видимо подбирая слова, чтобы самые языкастые и крикливые бабы, вроде Устиньи, не нашлись бы, чем возразить.

— Ты вот в землю смотришь, — обратилась она снова к Андрону, — жалко тебе ее, как бы она, кормилица, не заклекла. Правильно это — в земле наша сила. А ты иначе бы повернул. Мол, товарищи женщины, зиму с грехом пополам перебедевали. Сейчас третья неделя марта. Коровенки, хоть и плохонькие, всё же дают молока литра по два, по три, куры нестись начинают. Это, мол, вот я к чему: есть, мол, у нас в кладовой пудов сорок ржи, с вашего же согласия на самый на черный день берегли ее. А теперь так давайте рассудим: о ком у нас больше всего забота? Детишки бы с голоду не опухли — раз, — Дарья пригнула палец на левой руке, — солдату в окопах

был бы сухарь — два! Это я говорю по-нашему, по-матерински, и никто мне слова не скажет против.

Дарья подняла голову, выпрямилась, смотрит в упор на Устинью. А у той глаза мокрые: трое сынов у нее на фронте, один давно уже отвоевался. Приподняв одну бровь, Андрон наблюдал за соседкой, и ему припомнилась вдруг другая Дарья — в ночь, когда взяли Пашаню. Правда, и времени минуло изрядно, но человек-то вырос — рукой не достать!

— Вот что я думаю, товарищи члены правления и бригадиры, товарищи жены и матери, — повернулась Дарья лицом к остальным, — всю рожь мы не будем обменивать. Десять пудов смолоть, выдать мукой по полпуда на семью, где двое да трое малых ребят. И ни в какие ведомости этого не записывать. Дать от колхоза, и всё. Остальное пусть председатель меняет. По осени разочтемся, и без всяких надбавок. Всё у меня.

Дарья села на место, снова пригладила волосы.

— Это оно конешно. Вестимо оно, — глубокомысленно заключил Нефед. — Куды тут.

— Кто еще хочет слово сказать? — спросил Андрон, выждав минуты три. — Нет никого? Стало быть, так и запишем. Единогласно. — Помолчал и добавил для себя самого неожиданное: — Спасибо вам, товарищи женщины. От наших фронтовиков спасибо. От всего нашего государства.

...Апрель брал свое. Вздунулась, отшумела Каменка, валом хлынула через гать у мельницы, в ночь затопила луговую пойму. На березах у церкви хлопотали грачи. Мухтарыч выгнал артельное стадо в ближайший лесок. Коровы больше лежали, поднимались с трудом, но облезлых не было (хвойное пойло сказалось). Только в марте разрешил Андрон добавлять в соломенную резку понемногу сена, а завезли его на скотный двор еще по первопутку. Да и дал-то всего два воза, остальное велел сметать у конюшни.

— Были бы кости целы; мясо, оно нарастет, — не раз говорил он Дарье. — Падежа не случилось, и на том слава богу, а коню, как подсохнет, — в хомут.

Тут же, в березовой рощице, на солнечной стороне выставил свои улы пасечник Никодим. Пчелы, вялые, с беспомощно раскинутыми крыльями, одна за

другой выползали на крыши домиков, грелись часами, не шевелясь. Здесь же, на крышках ульев, Никодим приспособил маленькие корытца, пузырьков навешал на срезанных ветках; свежим березовым соком наполнял корытца. Подкормить бы пчел сахаром, да где его взять? Вот и придумал соком поить: на ночь снимал корытца, обдавал их крутым кипятком, чтобы плесенью не подернулись, насухо обтирал чистой тряпичей, а на зорьке вновь наполнял их.

Школьники сразу после уроков торопились к Пурмалю. Как и было условлено, каждый спешил к своей яблоне. Пролопатали, разрыхлили землю, стволы известью выбелили. Мусор собрали в кучи, сожгли, подправили изгородь. На березах лопнули почки; крохотные, со спичечную головку, свернутые в кулачок листики расправили зубчатые края. В густом, неподвижном воздухе с каждым днем всё ощутимее разливался медовый настой первой зелени. Развернулись коричневые чешуйки и на Анкиной яблоньке. Прибежала как-то девчонка, смотрит, а на ветках прицепились розовые комочки ваты. Возле одного пчелка сидит. И не улетает. Обхватила лапками чашечку и внимательно так рассматривает, что у нее внутри запрятано. Крылышками трепещет.

В этот день Пурмаль собрал ребят.

— Завтра, э-э-э, не нужно сюда приходить, — сказал он, растягивая слова. — Завтра тут будут другие работники. Они, э-э-э, о-чень сердятся, когда им мешают. Я и сам не приду: они о-чень не любит трубка.

А вечером Анка видела из окна, как по улице проехала телега с пчелиными домиками, плотно укрытыми мешковиной. Рядом с лошадью, держа ее под уздцы, шел огромный лохматый старик без шапки, в белой домотканой рубахе и с такой же белой бородой. Пурмаль ждал его возле школы.

— Знаю теперь, кто будет нам помогать, чтобы яблоки выросли! — крикнула Анка и тут же забралась на колени к Вадиму Петровичу. — Дедушка немец сказал, что они не любят, когда им мешают. Пчелы это! А одна уж сегодня сидела на нашей яблоньке!

Вадим Петрович молча погрозил пальцем, и Анка замолкла, — вспомнила, что секрет надо хранить дольше. Она не видела, как улыбнулась мать, и не услы-

шала от нее, как было раньше: «Не мешай! Дай отдохнуть человеку...» Девчонка была довольна, а до другого ей не было дела.

Поля просыхали медленно, — много талой воды приняла земля. Соседи уже отсеялись, — места у них выше, а каменобродцы всё еще меряли шагом борозды. Пахали на лошадях, а трактор стоял на опушке. В районной газете Андрона нарисовали на черепахе, а константиновский председатель Илья Ильич проби-вал облака на самолете. Карп заехал к Андрону вместе с новым своим механиком. В самом деле, почему ХТЗ до сих пор простаивает? Машина исправна, а трактористка вон жалуется на другое — наряда ей нет на пахоту. Совсем непонятно. Не доверяешь — так и скажи.

— А сколько ты мне горючего дал? — вместо ответа спросил Андрон.

— Столько же, сколько и константиновским. Ни больше ни меньше, — ответил Карп. — Думаешь, мне не обидно, что делегат московского съезда ударников на черепахе едет?

— Надо в кого-нибудь камнем бросить.

— Интересные у вас, однако, представления о нашей советской печати! — вступился за Карпа до того молчавший механик. — Надеюсь, рядовые колхозники мыслят более здраво?

— У колхозника думка одна — урожай получить побольше.

— А председатель палки в колеса вставляет.

Андрон снизу доверху осмотрел нового человека. Роста среднего, в пехотной шинельке чуть пониже колен, в ботинках с обмотками. Лицо нездоровое, с просинью, взгляд колючий.

— Так сразу и палки? — спросил Андрон.

— А как же иначе назвать такое? Соседи рапорту-ют о завершении сева, а тут нашелся умник — пашет на клячах, а трактор в сорок пять сил держит на при-коле! И я его не могу отправить в другой колхоз. Га-зета его справедливо критикует, указывает на оши-бки, так он разобиделся: камнем, видите ли, в него метнули!..

Андрон еще раз глянул в лицо механика, буркнул нехотя:

— Поостынь чуток; осмотришь. А рапорта эти константиновские сбереги до осени. Сгодятся. Газета, говоришь, подправила? Чудно! Не подправила — осмела она меня, а только ко мне это ни с какой стороны не липнет.

— Вы уверены?

— Будет времечко, заезжайте деньков через десять. Заодно и редактора этой газетки не худо бы привезти. Знаем такого. За сто двадцать верст мастер он указывать на наши ошибки. На месте-то, думать надо, еще умнее окажется.

Эмтээсовский «козлик» взревел мотором, подпрыгивая на ухабах, умчался к Ермилову хутору. Рассерженный не на шутку механик гнал машину на предельной скорости. Карп сидел рядом, сосредоточенно дымил самокруткой.

— В райкоме сказали мне — «самородок» про этого вашего хваленого председателя, — заговорил наконец спутник Карпа. — А по-моему, он — консерватор! А вы-то чего молчите? Мне говорили, что по вашей именно рекомендации доверили ему руководство передовым колхозом района. Хорош «передовик», ничего не скажешь!

За хутором лежало вспаханное поле. В дальнем конце его виднелось несколько парных упряжек. Туда же тянулись подводы с мешками. Карп положил руку на колено механика. Машину оставили на обочине, молча шагали по рыхлому чернозему, направляясь к остановившимся телегам. Поле было уже пробороновано, и, видимо, не в один след: нога вязла по щиколотку.

В первой телеге верхом на тугом мешке сидел бригадир Нефед Артамонов, яростно высекал кресалом искру, чтобы раскурить носогрейку. Увидев Карпа и рядом с ним незнакомого человека, оставил свое занятие.

— Здорóво, отец! — приветствовал его механик.

— Здорóво.

— Что ж это с севом-то запоздали?

— Для ково запоздали, для ково, может, и нет, — не особенно дружелюбно отозвался Нефед. — А вы кто же такой будете? — принимаясь за свое кресало и поглядывая на Карпа, осведомился он через минуту.

Механик улыбнулся, назвал себя:

— Механик я новый. Фамилия моя — Калюжный, а звать можно и попросту: Семен Елизарович.

— Стало быть, у нашего Карпа в помощниках? В таком разе знать бы должны — зерно раскидать дело немудрое; важно, во што и как ты его захоронишь, — не меняя тона, ворчал Нефед. — Коли механик по должности, опять же не можешь не знать, что трактор у нас один и сеялка тоже одна. Не горазд тут разгонишься.

Карп сразу всё понял: ХТЗ был у Андрона в резерве на самое ответственное дело. Яровой клин по чернозему глубокой вспашки не требует. Андрон так и сделал: на лошадях подготовил поля, в два, в три следа старательно разрыхлил верхний слой почвы. Видимо, не раз проверил свои расчеты, чтобы хватило горючего на рядовой сев тракторной сеялкой.

Нефед между тем высек искру, раздул огниво, прокуренным толстым пальцем вдавил кусочек затлевающего трута в горловину обугленной трубки с коротким изгрызенным чубуком, окутался ядовитым облаком дыма.

— Вот я тебе и толкую, — продолжал Нефед, завязывая кисет и пряча его в карман пестрядинных широких штанов, — скоро-то оно не споро. Был я вечер в Константиновке, ездил серпов прикупить. Воронья у них на полях! Знать, со всей округи слетелось. По всему видать: с ероплана мешок опростали. Так поверху зерно и лежит.

Калюжный поднял брови:

— Как это с аэроплана?

— Нешто газетку-то нашу не видел? — невесело усмехнулся Нефед. — На ероплане они ведь! Вот я и толкую...

* * *

Районную газету «Красный сигнал» редактировал в то время Орест Ордынский (по паспорту Орефий Осипов) — въедливый, золотушного вида субъект, отличавшийся полнейшим незнанием сельского хозяйства и умением во всем, всегда и везде найти повод для критики. Про него рассказывали, что в одном из пригородных колхозов в течение нескольких дней он

искал, где же растет солод, в другом спрашивал председателя, почему в плане севооборота ничего не сказано про возделывание пшена. Было это еще до войны.

Писал Орест бойко. Свои публицистические подвалы и критические «кирпичи»-трехколонники начинал с патетических восклицаний. Через два-три абзаца, после поворотного пункта «однако» или «наряду с этим», строки его постепенно наполнялись желчью, а концовка дышала испепеляющим гневом государственного обвинителя. С равным успехом писал он очерки и фельетоны.

Литературное «дарование» обнаружилось у Орефия рано. В седьмом классе на уроках физики и математики, когда соседи по парте подсчитывали по формулам работу тока в джоулях или решали уравнения с одним и двумя неизвестными, парень строчил стихи, нанизывая рифмы «почки» — «ночки», «ты» — «мечты», «любовь» — «кровь». В третьей четверти нахватал двоек, и тогда-то в кабинете директора школы в полной парадной форме начальника пристани появился Антон Скуратов — дальний родственник и друг семьи Осиповых.

— Советская власть, на чем она держится? — прежде всего спросил он у заробевшего Иващенко, и сам же ответил: — На полной и стопроцентной сознательности граждан. От грузчика до наркома. И полная свобода личности как таковой. А у вас тут имеются бывшие. Так что учтите это.

Сказал, надвинул на брови зачехленную фуражку с кокардой, авторитетно прокашлялся и отбыл — величественный, как монумент. Результат не замедлил сказаться: в переводном табеле двоек у Орефия не оказалось. Потом он учился в педагогическом техникуме, после окончания которого год или два слонялся по городу в расстегнутой косоворотке, тискал потными пальцами клеенчатую тетрадь со стихами, на титульном листе которой было написано с завитушками: «Орест Ордынский». К этому времени он успел отпустить длинные волосы, научился откидывать их ленивым движением бледной руки, а в глазах у него появилась застоялая муть.

Антон Скуратов шагал по служебной лестнице всё

выше и выше. Когда-то он был всего-навсего плотогоном, потом комлевым на лесопильном заводике, заместителем директора. Ходил он тогда в брезентовой куртке, и сам другой раз ловко орудовал багром в затоне, приговаривая:

— Нам, от сохи-то, не привыкать. На том и советская власть держится, что любой директор может за-просто и кочегаром две смены выстоять, и кули та-скать на загорбке.

Но вот Антона назначили начальником пристани. В белоснежном кителе с ярко начищенными пуговицами и в зачехленной фуражке с «капустой», он уже ни слова не говорил про кули и перестал здороваться за руку со своим помощником.

Когда Орефий заканчивал техникум, Антон Скуратов сидел в горсовете за столом заместителя, а в начале тридцатых годов стал хозяином обширного кабинета председателя райисполкома. Тут-то и улыбнулась фортуна нескладному парню: по рекомендации дядюшки приняли Орефия сотрудником в аппарат редакционной газеты. И не кем-нибудь, а сразу заведующим отделом.

В председательском кресле Антон сидел плотно. Секретари райкома приходили и уходили — одних повышали, другие расставались с партийным билетом, Антон оставался на месте. Жил он теперь в купеческом особняке, на службу выезжал на персональной машине, с первого дня войны раздобыл широкий ремень с портупеей.

С него — Антона Скуратова — копировал манеру изображать подобие улыбки и редактор Ордынский, растягивая губастый рот, говорить «шибко занятой» и «в таком разрезе», а со временем перенял и манеру прогуливаться по городу, заложив руки за спину и не отвечая на приветствия встречных.

Армейские сапоги и защитный китель с накладными карманами носил и Орест Ордынский. На совещаниях районного масштаба, на пленумах и партийных конференциях он появлялся в фойе городского театра за три минуты до открытия; боковым коридором, минуя зал, шел прямо в президиум. Протирал устрашающие очки в роговой оправе и с простыми стеклами и с видом дьявольски утомленного человека

вынимал из внутреннего кармана уникальную ручку — принимался править газетные полосы.

Второй отличительной особенностью Ореста Ордынского была неумемная страсть к распознаванию служебных и семейных неурядиц работников районного аппарата. Со скрупулезностью следователя по особо важным делам холостой, начинающий лысеть мужчина коллекционировал и смаковал вздорные пересуды рыночных торгов, наговоры «оскорбленных» пишбарышень и квартирные склоки. Под благовидным предлогом — уточнение цифр или сверка цитат — задерживался иной раз дольше обычного за двойной, непроницаемой, как в подводной лодке, дверью кабинета председателя райисполкома. Информировал.

* * *

Всё шло хорошо. Но вот редактору позвонили из Большегорской МТС. Недавно назначенный туда главным механиком бывший фронтовик Семен Калюжный требовал напечатать опровержение. Из его слов явствовало, что в артели «Колос» качество предпосевной обработки почвы и особенно заделка семян не идут ни в какое сравнение с тем, что есть на полях соседних колхозов.

— Газета не частное предприятие, — сухо ответил Орест, — это политический орган райкома партии и райисполкома, — и положил трубку.

Телефон надрывался еще с полчаса, редактор не отвечал. После обеда коротко и властно звякнул второй аппарат. Ордынский вздрогнул, вобрал голову в плечи:

— Разумеется, всё было санкционировано, Салих Валидович. Вас, видимо, не было в городе. Обязательно, обязательно разберусь, — мямлил он в микрофон. — Есть, будет выполнено, Салих Валидович! Нет уж, я лично сам. Сам выведу.

Отдышался, вытер вспотевшие затылки, прикрыл поплотнее дверь, позвонил Антону.

— Вы понимаете, во что это может перерасти? — глотал он обрывки слов. — Хорошо, дам я опровержение. Возьму вину на себя. Но это же пощечина партийной организации района, удар по райкому! И ка-

кая гарантия, что через неделю-две не отыщется и второй такой же Калюжный!

Опровержение в газете опубликовано не было и после того, как Семен Калюжный прислал письмо за подписью директора МТС и главного агронома. А когда начался сенокос, с разгромной статьей по зоне Большегорской МТС выступил сам председатель райисполкома.

Семен Калюжный только руками развел. В статье и в редакционной передовой так ловко было закручено, так всё «обосновано», что прямым виновником «очевидного и во всей своей неприглядной наготе явно обозначившегося срыва уборки, включая жатву и обмолот», оказывался не кто иной, как бывший политрук роты, посланный на укрепление кадров, у которого «думали поучиться боевой хватке», «которому вверили», а он «размагнитил», «пустил под откос». У него, мол, и раньше были «поползновения» и попытки замазать критику, представить в ином освещении общеизвестные и неопровержимые факты.

— «Смерть немецким захватчикам» и Семену Калюжному! — добавил уже от себя Вадим Петрович, возвращая газету механику. — У нас, брат, строго; не будешь опровержения писать.

— Странно, — Калюжный пожал плечами. — Пусть приедут и сами увидят это «иное освещение». На каменнобродских полях оно уже колосится. В пояс вымахало! А там, где «с ероплана мешок опорожнили», сплошные огрехи.

— И опять, вот увидишь, будут хвастать количеством убранных гектаров.

Вадим Петрович как в воду смотрел. Когда подошло время убирать яровые хлеба, на полях константиновского колхоза «Красный Восток» вперегонку хлопали крыльями конные лобогрейки, а каменнобродцы жали пшеницу серпами: машиной такую не взять — полегла от тяжести колоса.

Всех, кого можно было, поднял Андрон на ноги, даже древних старух и школьников. Маргарита Васильевна устроила во дворе настоящий детский сад. Деды по росе косили пшеницу косами. За Ермилов хутор спешили после утренней дойки Улита и Дарья, там же, не разгибая спины, работали и учителя. Рас-

четы с квадратного метра показывали: двадцать пять — тридцать центнеров давал гектар. Что еще сделать, чтобы спасти невиданное богатство? Задержишься на неделю — барабан молотилки будет жевать пустые колосья.

Агроном Стебельков и механик Семен Калюжный почти ежедневно бывали в колхозе, помогали Андрону, механик особенно. Душевным он оказался человеком, заботливым и во многом напоминал Николая Ивановича. В обед подсаживался к жницам; где беззлобным упреком, где шуткой подбадривал женщин. Первая стычка с Андроном давно забылась.

С Калюжным обо всем можно было говорить без утайки: жизнь изрядно помяла его самого, научила разбираться в людях.

И Андрон понял это. Захлестнула его неотвязная думка — вроде и найден выход, как спасти яровые, а одному на такое дело решиться смелости не хватает, — нигде про это не слыхано. А время идет, вот и овсы побелели; как тугие конские хвосты, сникли к земле золотистые кисти проса.

Ночью приехал Андрон в МТС, разбудил директора и Семена Калюжного.

— Послушайте, товарищи начальники, — начал он, присаживаясь на лавку, — рассудите по-партийному: правильно ли оно будет?

— Если для пользы делу, всё правильно. А что именно? — спросил Семен, натягивая сапоги.

— Колхозникам долг я отдал, это ты знаешь? — издали подбирался Андрон к тому, что заставило его среди ночи поднять уставших людей. — Немного, правда, всего пудов шестьдесят ржи размолот, выдал мукой, как по весне решили. Народ веселее стал, сам это видишь. Государству в казну отправил полсотни возов, семена на осень засыпаны. Это с рожью. Боюсь за пшеницу-кубанку. Море ведь разливное; а ну, осыпаться зачнет?

— Так что́ рассудить-то?

— А вот что, — Андрон положил свою руку на плечо Семена. — Вложат мне по хребту али нет, ежели я такую команду дам: нажала, скажем, старуха девять снопов — ставь их в общий суслон; десятый себе! На трудовень само собой подсчитаем, а это сей-

час забирай. И без вычета. Тысячи ведь пудов в за-
крома положим!

Семен Калюжный даже привстал с топчана.

— И чего же ты заробел? — говорил он Андрону. — Да за это завтра же соседи наши ухватятся! Не себе ведь в карман положишь ты этот десятый сноп — народу. И народ тебе трижды воздаст. Трижды, ты понимаешь?

* * *

Туп и чванлив был Антон Скуратов. Мысли в мозгу у него проворачивались медленно и со скрипом, как обсохшее мельничное колесо. Сам с собой никогда не спорил, рассуждениями себя не утомлял. Больше всего боялся, как бы не прогневить вышестоящее руководство. Терпеть не мог возражений и даже попыток доказать свою правоту. Поэтому надолго запомнил письмо Семена Калюжного, в котором были намеки на критику снизу. Поблажки давать нельзя! Тут только раз ослабь вожжи...

Подчиненных Антон делил на две группы: эти могут, эти не могут; всё зависело от того, как тот или иной товарищ воспринимает указания свыше. К первой категории относил редактора Ордынского и председателя колхоза «Красный восток» Илью Ильича — мужика изворотливого, который раньше других умел догадаться, чего же от него хотят. Андрон занимал промежуточное положение: может, и дело знает, да норовит иной раз по-своему повернуть. И почтительности особой не проявляет. Поэтому, когда Антону доложили, что на уборке яровых не больше как за неделю «Колос» выравнялся с «Красным востоком» и что там применены какие-то неведомые ему «десять процентов», Скуратов насторожился.

Вспомнил, что в земельном отделе толкуют про какой-то десятый сноп, сам позвонил в МТС. Карпа в конторе не оказалось, Калюжного также. К телефону подошел Стебельков.

— Что у вас там за партизанщина? — с места в карьер пустился Антон. — Билеты иметь при себе всем троим надоело?

— О чем это вы, товарищ Скуратов? — спросил озадаченный агроном.

— Что это за новое дело — «десятый сноп»?!

— Десятым снопом спасаем следующие девять.

— Прекратить!

— Что прекратить? Уборку?..

Антон бросил трубку. Встал, одернул подол шевиотовой гимнастерки, расправил складки под поясом. Прихватив пачку бумаг и тяжело отдуваясь, поднялся на второй этаж к Нургалимову.

— Черт знает, что это в самом-то деле творится у нас на Большой Горе! — начал он, прежде чем поздороваться с первым секретарем райкома. — Мое предложение такое: кого-то надо снимать!

— Кого и за что? — осведомился Нургалимов.

— Мечешься тут, как в смоле кипишь, — не обращая внимания на вопрос Нургалимова, продолжал, распаляясь, Антон, — дома бываешь гостем, а тут тебе каждый день сюрпризы. Вы понимаете, Салих Валидович, спать не могу! Только забудешься на полчасика, и снова как встрепанный.

— И поэтому надо кого-то снимать? — Нургалимов отложил в сторону убористо исписанный лист. — Мы не можем вовремя обеспечить поставки по району и, чтобы уснуть спокойно, ищем виновных на Большой Горе? Разумно ли это?

— Завидую вашему характеру, Салих Валидович! — совершенно иным уже тоном заговорил Антон. — С таким отношением к рядовому трудящемуся... у республиканского кормила вам бы стоять!

— Что случилось на Большой Горе? — остановил Антона Нургалимов.

Антон покосился на дверь и зашептал торопливо:

— Председатель колхоза «Колос» Андрон Савельев, против которого осенью еще на бюро я воздерживался, запустил руку в государственный карман. Вот что! А директор МТС и его заместители, вместо того чтобы твердой революционной рукой в корне пресечь, вместо того чтобы сигнализировать об этом в райком и в прокуратуру, потворствуют этому, спекулируют лозунгом партии «Всё для фронта!»

— В чем это выражается?

— Придумали до распределения на трудодни выдавать натуру! Вовремя к уборке не подготовились, да и сев-то у них прошел, сами знаете, не ахти как за-

видно. Ну и подперло, конечно. Так вот, чтобы видимость подпустить, что у нас, мол, стар и мал—все поголовно в поле, необмолоченную пшеницу каждый себе во двор волочит! Это у них называется «десятый сноп», вроде бы за выработку, за перевыполнение. А я имею авторитетные сигналы, — тут же соврал Антон, — брехня всё это. Половину растаскивают!

— Вы проверили?

— За руку не поймал еще, но поймаю. — Антон вытер платком затылок и продолжал: — И вот что больнее всего ударило меня, Салих Валидович, в самое сердцешибануло: как же это партийные наши товарищи на Большой Горе такую политическую неподкованность проявляют? День ото дня сюрпризы! Посевную там затанули. Покос начался — мне самому пришлось через газету вмешаться! Вот и теперь... Как же это? Без циркуляра сверху, без нашего одобрения какой-то десятый сноп придумали!

— Значит, вы возражаете?

— Категорически и принципиально против! Этот десятый сноп фронту нужен. Курску, Орлу и героическому Ленинграду! А тут должен быть патриотизм. И стопроцентная сознательность. Вот что я думаю.

Нургалимов полистал календарь. Был на исходе август. По лицу Нургалимова нельзя было понять, разделяет он спасения Антона или нет. Усталое, немного скуластое, обтянутое коричневой кожей, оно выражало одно — тревогу за считанные дни лета и большое, ничем не измеримое, простое человеческое желание — прямо здесь, в кабинете, упасть на диван и выспаться за неделю.

— В этом десятом снопе большого преступления я не вижу, — проговорил наконец Нургалимов. — Не думаю и того, что Андрон допускает расхищение. А по сводке всё правильно: крепко нажали в «Колосе». Съездить нужно туда.

— Именно так, — живо подхватил Антон, приподнявшись со стула и тоже заглядывая в календарь на обведенную жирным овалом цифру. — Было бы лучше, конечно, самим вам туда заглянуть. А что это завтра — бюро?.. Вот ведь нескладно как получается: сплошная загруженность ответственными мероприятиями! И у меня неотложных дел по горло. Ох, нало-

мают там дров, Салих Валидович! Так я, стало, быть, часика в три отшвартуюсь. Ночь всё равно не спать. Да, денька на два. Наскоком-то оно не в моем характере. Народ, сами знаете, там тяжелый, лесной; внушить надо каждому, подвести соответственно базу. Я-то уж как-нибудь знаю; не первый год в хомуте.

* * *

Ровно в три райисполкомовский «козлик» хрипло кашлянул под окнами редакции. Непроспавшийся, хмурый Орест взгромоздился на заднее сиденье. «Козлик» дернулся с места, вильнул за угол на булыжный тракт. За татарским кладбищем Антон молча кивнул шофёру, машина свернула влево на узкую полевую дорогу, юркнула в редкий лесок, по крутому склону осторожно спустилась на городской выгон.

Через полчаса были у знакомого бакенщика. Антон сам забрался в садок, выбросил в лодку двух золотистых стерлядок. Третью — побольше — подержал на весу, плотоядно причмокнул.

— Завтра до вечера не уснет? — спросил он хозяина, сутулого и конопатого дядьку с медвежьими глазками и с чахлой растительностью на скулах, похожей на бурый болотный мох.

— Вечор всего поймана, — не должна бы, — буркнул тот и засопел, отвернувшись.

— Еще бы таких вот парочку. Ты уж того, расстарайся, Павел Ермилыч. Знаю ведь, ловишь-то чем. Чёго это возле хвоста у нее? — Антон указал пальцем на рваную рану у хвостового пера извивающейся рыбины.

— Гвоздь, должно, в днище, — не глядя на стерлядь, ответил Пашаня.

— Понятно; всё, брат, понятно, — опуская рыбу обратно в садок и вытирая руки, ухмыльнулся Антон. — По правилу-то за эти бы «гвозди» указать тебе адресок в места не столь отдаленные. Ладно, замнем. Значит, затра заеду.

Пока ожидали уху, солнце выкатилось над лесом. По реке, вверх по течению, прошлепал прокопченный, черный как жук, буксир с двумя плоскодонными баржами. Лениво вспарывая волну, баржи прошли возле самого берега. Трюмы их были открыты.

— Эти за хлебушком, не иначе — к нам, — вздохнул Антон и задержал ложку в воздухе. — Вот так-то и кормим всю Волгу. А ты тут как проклятый... Лучку, лучку бы сюда репчатого. Перчику красного. А?.. Так ты не забудь, Ермилыч. Завтра к ночи заедем.

Председатели колхозов ждали Скуратова до обеда. Не дождались. Первым поднялся Хурмат, плюнул у двери, выругался по-своему. Через час еще двое ушли. Андрон мял в руках шапку, — ему нельзя было уходить, а там у Нефеда молотят, во второй бригаде на гречу должны бы выйти, на Длинном паю озимь сеять. И только Илья Ильич почитывал себе газетку, потом предложил Вадиму Петровичу сыграть в поддавки. Тот отмахнулся. А Антон Скуратов бушевал в это время в бригаде Нефеда Артамонова:

— Кто разрешил? Что-о?! Молчать! Мало вас тут пораскулачивали, мало пересажали. Вот когда она отрыгнулась, крутиковская закваска! Всё вижу, всё понимаю! Не выйдет!

Это и было «внушение» по-скуратовски. Нефед ничего не отвечал. Слушал, переминаясь с ноги на ногу, стоя возле запыленного «козлика», смотрел из-под выгоревших рыжеватых бровей на Антона не то с сожалением, не то с плохо скрытой издевкой. Потом выразительно высморкался и, повернувшись, направился к молотилке. Парнишка-погонщик прищелкнул ремennым кнутом, лошади тронулись по кругу, вытянув шеи и покачивая в такт шагам костистыми головами, а Нефед, так и не обмолвившись словом, уже подавал снопы в барабан машины.

Оресту Ордынскому всё это показалось верхом мужицкой наглости. Он хотел сказать об этом Антону, но вовремя остановился: в прямоугольном зеркальце, укрепленном у лобового стекла автомобиля, ему было видно лицо шофёра. Парень ухмылялся.

Проезжая через деревню, Антон велел остановиться возле колхозного сада. За тыном, пригибая к земле раскидистые ветви яблонь, рдели крупные яблоки. Шафран, анис, полосатая рассыпчатая китайка, гроздьями свешивались налитые медовки. Скуратов выразительно крикнул.

Шофёр остановился, откинул спинку заднего сиденья, в руках у него оказалась вместительная корзи-

на. Побежал вдоль тына к воротам сада, но вскоре вернулся с пустой корзиной и в сопровождении высокого старика в парусиновой шляпе.

— Я есть, э-э-э, работник, э-э-э, этот плантация, — представился дед, приподнимая старенькую шляпу. — Если уважаемый товарищи, э-э-э, хочет покушать — пошалуста. Корзина нельзя.

— Я — Скуратов, — нехотя выдавил Антон. Но ожидаемого впечатления на странного старика это не произвело.

— Если покушать — пошалуста, — повторил он и еще раз приподнял шляпу. — Корзина никому нельзя. Нет.

«Уму непостижимо!» — недоуменно пожимал плечами Орест, когда машина огибала озеро. Антон клокотал. Шофёр язвительно улыбался.

Вот и Большая Гора. Возле деревянного домика конторы МТС — коновязь. Несколько неоседланных вислобрюхих лошадок машут хвостами, отпугивая слепней. Никто не выбежал на крыльцо. Лопухий щенок тявкнул было испуганно и тут же пригнул к земле глупую морду, перевернулся на спину, бесстыдно выставив голое пузо. В сторонке путано и торопливо пробормотал что-то индюк. Надменно закинув утяжеленную красными пузырями голову, важная птица не торопясь проследовала через дорогу.

— Сидите? Бездельничаете?! — с ходу обрушился Антон на Карпа и Калюжного, швырнув на скамейку портфель-бочонок. — Нет, дорогие мои товарищи, не выйдет! Не пройдет, говорю!

Орест наблюдал за выражением лиц собравшихся. Андрона он видел впервые и мысленно содрогнулся, представив себе встречу с этим мужиком с глазу на глаз в недобром месте. Пылкое воображение и безудержная фантазия зачавшего на корню поэта влекли его дальше, рисовали картины одну страшнее другой. Ночь, дремучее чернолесье, мост. Машина напоролась передними скатами на плаху с гвоздями. Лес курчавится от разбойного посвиста. Две огромные волосатые ручищи просунулись в выдавленные целлулоидные оконца «козлика». Одна ухватила Антона, вторая шарит по заднему сиденью. Антон извивается, как стерлядь: «Заявляю принципиально: я — против!»

Шофёр ядовито ухмыляется. В руках у него пустая корзина.

Орест покрутил головой, проморгался. Выхватил ручку-самописку, чтобы не упустить редкостную литературную находку. Пригодится в романе.

Антон всё ещё бушевал за столом директора. Карп и Семен Калюжный молчали. Председатели сидели с каменными лицами, Андрон тискал шапку. Только Илья Ильич украдкой позевывал: «Красный восток» докашивает последние гектары овса, переходящее знамя останется у него и на осень. Надо уметь.

Наконец Антон выдохся. Густо и авторитетно прокашлялся, сел за стол, широко расставив локти. Орест приготовился записывать.

— Теперь давайте конкретно, по существу, — говорил Антон, нахмурясь и постукивая ребром ладони по краю стола. — Районный комитет партии и я лично надеемся, что этот политический вывих в мозгах оторвавшихся от жизни руководителей встретит единодушный и стопроцентный отпор. А вас, товарищ Савельев, категорически и принципиально ставлю в известность: в двадцать четыре часа изъять всё, что незаконно присвоено колхозниками. Мы не позволим расхищать народное достояние!

— А колхозники што́ — не народ? — по-медвежьи поворачиваясь в сторону Скуратова, спросил Андрон.

— Принципиально не возражаю. Но я говорю: незаконно! Мы не имеем соответствующих указаний.

— Стало быть, лучше под снег бы ушло? — Андрон усмехнулся. Это взорвало Скуратова. Дряблые щеки его побагровели, тугой воротник врезался в шею.

— Снимали и будем снимать! С позором! — выкрикнул он, вскакивая.

Андрон встал, подошел к столу. Орест спрятал ручку.

— Я не глухой, слышу, — начал Андрон, закипая злобой. — Много ты тут наговорил, я тебе не мешал. А теперь ты послушай. Изымать у колхозников то, что сам я им отдал, не буду. Поезжай и возьми. А допрежь того собери матерей да жен, спроси у них: как, мол, это вы, товарищи женщины, без отцов да мужей зиму перебедовали после засухи да градобоя? Где семян на сев раздобыли? Хорош ли у вас урожай?

Сколько сдали в казну и еще сколько свезете? По моим, мол, записям будто и лишнего у вас посевов-то получается, я ведь ссуды-то выписал вам всего-навсего шестьдесят пудов! Поезжай!

Андрон посмотрел на Калюжного. Тот мигнул. Орест перехватил этот взгляд.

— И вот еще что не забудь, — продолжал Андрон, возвращаясь на место. — Непременно скажи и про то, как ты хлебушко наш гноишь в дырявых лабазах, как лежит он у тебя под дождем в затоне. А теперь сымай меня за десятый сноп. Не больно страшно. Не ушибусь. Мне ведь падать-то не шибко высоко. А земля, она к пахарю завсегда пуховой периной обернется. Ты будешь падать — подстилку ищи.

Антон дышал ртом, правая щека у него дергалась.

* * *

День и еще два дня ждал Пашаня Антона Скуратова, а того всё не было. Лежал он больным у себя дома, — сердце не выдержало. А у Пашани всё приготовлено: в отдельном садке с подкормкой томились три хорошие рыбины, каждая фунтов на пять. Садок был затоплен у вежи в начале переката, чуть пониже того места, где на мертвом якоре бился в струе окрашенный ярким суриком железный бочонок. С берега — как ни смотри — этого бочонка никто не увидит: он под водой, а напротив — у острова — еще такой же. Здесь-то и ставил Пашаня свою изуверскую снасть: на закате солнца перегораживал всю реку поперечным продольником с отточенными тройными крючками без наживки.

В июле и в августе стерлядь «играет». Рыба эта любит быстрину на неглубоком месте. Крючки поставлены часто на лесках различной длины, и у каждого — пробка. Поэтому крючки не лежат на дне, а тоже «играют» в струе, когтистой кошачьей лапой хватают рыбину за крутые бока, вонзаются в белую мякоть брюха.

Через верного человека Пашаня сбывал улов в городе. В конце недели, чаще всего перед вечером, у землянки бакенщика появлялся одноглазый татарин в лохмотьях — сухой и костистый. Сбрасывал с плеч бе-

рестяной короб с лесными ягодами на донышке или с десятком грибов-подберезовиков.

— Исян-ме, дускаим? — несмотря на преклонные годы, бодро приветствовал он хозяина землянки. — Халь да ничик?¹

Пашаня бурчал в ответ нечто нечленораздельное. Так и встречались они — в недалеком прошлом гроза всей округи неуловимый конокрад Гарифулла (ныне сторож аптечного склада) и озлобленный на всех и на всё, трижды судимый Пашаня. Молча варили похлебку, распивали бутылку самогона. Затем Пашаня без слов забирал брошенный у порога короб, спускался с ним в лодку, отъезжал к садку. С тупой жестокостью, точно рассчитанным ударом по затылочному щитку глушил пятнистых щук и плоских унылых лещей. Для «особых» заказчиков завертывал в лопух пару стерлядок. Всё это укрывал травой, сверху нетолстым слоем разравнивал малину или черемуху. Туда же бросал несколько штук грибов.

В сумерках, взвалив на сутулую спину тяжелую ношу, Гарифулла уходил в лес, оставив на подоконнике горсть смятых тридцаток. При свете тусклого фонаря Пашаня разглаживал деньги, развертывал на коленях кусок просмоленного паруса, старательно пересчитывал перевязанные бечевкой пачки и уносил всё в дупло старого осокоря.

В этот раз татарин пришел не один. Вместе с ним в землянку протиснулся незнакомый Пашане мужчина в армейской зеленой куртке, наброшенной на плечи. На вид ему было лет пятьдесят, а может, немногим больше. Лицо у него было помятое, с дряблыми складками под водянистыми, навывкате, глазами, губы тонкие и с недоброй ужимкой; на Пашаню глянул недоверчивым, прощупывающим взглядом, в разговор не вмешивался.

— Я сегодня той сторона пойду, — после ужина сказал одноглазый Пашане, — этот человек пусть у тебя живет. Так надо.

В лодке уже добавил:

— Вахромеев. Помнишь, Артюха вместе судили? — ткнул большим пальцем по направлению костра у зем-

¹ Здоров ли, мой друг? Как твоя сила? (Т а т а р.)

лянки. — Десять лет тюрьма сидел. На фронт посылали — бежал.

— А тут-то чево ему надо? — осведомился Пашаня, выгребая на стрежень.

— Тут не надо, другом месте надо.

У Пашани похолодело между лопаток.

— Жить-то долго ли у меня будете? А ежели милиция?

— Паспорт я достану.

Больше Гарифулла ничего не сказал, а через неделю Пашаня шагал по лесной дороге в сторону Каменного Брода. Нужно было сходить в заброшенное и теперь совсем уже развалившееся имение Ландсбергов. Гарифулла велел узнать, не живет ли там кто-нибудь. И еще — посмотреть, сколько осталось берез за домом. Промерять шагами от угла до первой. На время, пока не будет Пашани, немудрые обязанности бакенщика должен был исполнять Вахромеев.

«Клад, должно, взять собираются», — догадался Пашаня, и ладони его сразу сделались потными.

«Мне-то что? Я схожу. Мне оно вовсе не страшно, — подбадривал себя Пашаня, — документы мои в порядке. А потом законную долю потребую. Иначе — любой пароход ночью остановлю. Возьмут».

Пашаня припоминал: когда Уфа была занята колчаковцами, в имение Ландсберга оставался один управляющий. Потом и белые и зеленые поочередно переворачивали вверх дном всё поместье. Был слух, что в саду у озера выкопали окованный железом сундук, но в нем оказалась посуда. Гарифулла толкует про березы во дворе усадьбы. Значит, всего не нашли.

На вторые сутки к обеду Пашаня был на месте. Как и наказывал ему татарин, в деревнях не останавливался, а Каменный Брод и Большую Гору обошел стороной. Берез за домом оказалось четыре: три в ряд, старые и раскидистые, и одна на отшибе. Эта наполовину сухая. От дома осталась одна каменная коробка. Потолки обвалились, стены потрескались, вот-вот и они рухнут. От надворных, также каменных, построек кое-где виднелись покосившиеся столбы, кучи застарелого хлама. И всё заросло дремучим чертополохом. Черногал и боярышник прижились даже на булыжном кругу в середине двора.

— Да, пожилы люди в свое удовольствие! — сокрушенно, как о своем собственном, вздохнул Пашаня. — Пили не день, не два — по неделе. Сам государь-император таких гульбищ, поди, не устраивал. Летом на озере лодки, по ночам по всему взгорью огни китайские. Зимой — тройки птицами. Да-а.

Постоял за углом, еще раз осмотрелся. Поблизости ни души. С берез осыпается лист, на озере лениво перекатываются отлогие волны. Навстречу им приседают, кланяются в пояс прибрежные камыши.

Пашаня промерил шагами расстояние от угла до каждой березы, записал это огрызком карандаша на клочке бумаги. Постоял, подумал и, пристроившись на куче битой черепицы, на той же бумажке стал рисовать что-то похожее на план: стену дома, березы, остатки внутреннего двора. Когда обозначил крестиком четвертую березу, отчетливо вспомнил, что возле нее как раз и был проезд между постройками. Направо — каретный сарай, налево — конюшня. И то и другое сгорело, оттого и береза засохла.

«Тут! Не иначе под полом в каретнике и захоронено! — чуть не крикнул Пашаня, ослепленный внезапной догадкой. — Во дворе-то какой дурак яму рыть будет!»

Пашаня покопался в кирпичных обломках, вытянул проржавленный лом, постукал в разных местах под ногами. Всё та же щебенка, битая черепица, уголь. Копнул еще в одном месте, за кустом боярышника, выворотил обломок трухлявой доски-половицы.

— Тут! Может, на ём и стою, — вырвалось вслух. — Эх, знать бы!..

Один за другим выворачивал Пашаня истлевшие горбыли, в кровь изодрал себе руки и, не замечая этого, остервенело бил ломом. Лом уходил всё глубже и глубже и ни разу ни во что твердое не ударялся. Стоя по колено в земле, Пашаня ухватился еще за одну доску. Натужился, обломил и ее; сверху в темный провал с шумом посыпались битые черепки. Разгреб всё руками, пощупал ломом под обнаженными корнями кустарника и перестал дышать, — лом уперся во что-то большое и каменное.

Это оказался бетонный цоколь сточного колодца. С двух сторон к нему подходили такие же бетонные

желоба. В самом колодце выросла порядочная березка. В сучьях ее тонко посвистывал ветер, срывая последние листья.

«Ошибся, — подумал Пашаня. — Каретник-то, стало быть, у меня за спиной». Присел на кирпичную стенку раскопанного фундамента, вытерся рукавом. А листья всё падали и падали. Тупым, бездумным взглядом Пашаня следил за этими листьями. И вздрогнул, втянул голову в плечи: кто-то шел по двору, большой и неторопливый. Вот остановился в нескольких шагах за спиной Пашани, шумно вздохнул.

Как вор-домушник, застигнутый в кладовке, Пашаня ждал негромкого окрика и боялся пошевелиться. А тот молчит, переминается с ноги на ногу, вот раздвинул кусты. Наконец Пашаня не выдержал, пригнул еще ниже голову, глянул через плечо. Шагах в десяти за кустом боярышника стоял лось. Пашане видна была горбоносая бурая голова с раскидистой костяной чашей рогов, откинутой на спину, и седая широкая грудь могучего зверя. И лось увидел человека, скосил настороженным темным глазом, фыркнул и так же неторопливо и величаво унес свою гордую голову в ближайший лесок.

Пашаня облизал пересохшие губы; ружьишко бы под рукой иметь! Мясо-то в городе вон куда подскочило... И снова пригнулся: за домом всё ближе и явственнее слышались голоса ребятишек. Кто-то трещал палкой по чугунной решетке внешней ограды, потом бросили камнем в свисавший с чердака лист железа.

Через минуту во двор высыпала шумная ватага учеников вместе с учительницей. Уйти незамеченным было нельзя, и Пашаня залег.

— А я говорю, что это не вяз и не илим, а клен, — настойчиво говорил худощавый подросток с лучковой пилой на локте и показывал другому два круглых деревянных колесика, видимо только что выпиленных где-то неподалеку.

— А вот и не клен, — упрямо бубнил второй парнишка. Он был намного ниже первого, босой и в армейской фуражке с голубым авиационным околышем.

«Неужели Митька? — ахнул Пашаня. — По годам, должно, в пятом классе ему бы сидеть. Может, в шестом? А тот, с пилой-то, Андронов внучек. Точно».

Ребята сгрудились возле крайней березы, обступили учительницу.

— А правда, Нина Сергеевна, что тут самый настоящий помещик жил? — спрашивал первый подросток. — Дедушка говорил, что тут до войны еще целый трактор нашли. Только на части разобранный. А еще того раньше полный воз книжек набрали.

Учительница что-то отвечала, но слов ее не было слышно. А потом снова из шумного разноголосья вырвался голос Андрейки:

— И ничего у них не получилось. Дали им в прошлом году, а нынче еще добавили. Так и надо. Не суйся в чужой огород. Мало ли, что они захотят, фашисты.

Тесной ватажкой школьники пересекли двор, спустились к озеру. Пашаня уже посчитал, что ему удалось остаться незамеченным, но этим же, всё еще не закончившим спор, подросткам вздумалось зачем-то вернуться в кусты, и они увидели Пашаню. Не испугались, не бросились с криком обратно, только прижались друг к другу. Меньший смотрел исподлобья. Андрейка спросил:

— Ты, дяденька, не лесник? Или утиль собираешь?

— Нашел вот для кузни железаку, — нехотя буркнул Пашаня.

— А ты откуда?

— Дальний я, — отмахнулся Пашаня. — А вы идите отседа. Учителяша вон уж где!

— Догоним, — помолчав, проговорил подросток, и Пашаня только сейчас понял, что он заврался, то «железяку для кузни», то «дальний». Этих не проведешь.

Озираясь и крепко держась за руки, ребята отступили к озеру и вскоре скрылись за отлогим скатом. Пашаня забросил лом на плечо и также ушел из кустов. На опушке леса остановился, глянул назад. Все ученики высыпали на пригорок и смотрели ему в спину.

«Черти вас принесли, — злобно подумал Пашаня, — теперь дай бог ноги».

Гарифулле Пашаня не всё рассказал. Прежде всего потребовал равной доли. Татарин оскалил желтые лошадиные зубы:

— Один думал или кто помогал?

— Сам не такой уж дурень.

— Давай бумага.

— Бумаги у меня нет; всё здесь. — Пашаня постукал себя костяшками пальцев по узкому, скошенному назад лбу.

— Дурак! — Гарифулла коротко хохотнул. — Боишься, обману́, что ли? Было раньше так? Было, нет?

— Ну и што, коли не было? А этот? — Пашаня мотнул головой по направлению прикола, где у лодки возился Вахромеев.

— Дурак! — повторил татарин. — Пусть Гарифулле спасибо скажет, что я его милиция не сдавал. Я ему сразу сказал: сколько дам — хватит. — И еще раз по-звериному приподнял верхнюю губу, выставляя зубастую челюсть.

Племянник бывшего казначея с веслами на плече поднимался по тропке. Гарифулла достал откуда-то из-под рубахи пожелтевший от времени, плотный, как жестяной, лист бумаги. Нахально посматривая единственным глазом то на Пашаню, то на Вахромеева, он развернул на столе бумагу, коричневым жестким пальцем ткнул в середину.

Это был план поместья в крупном масштабе. Пашаня увидел затушеванное синим цветом озеро, четко обозначенные постройки, сад и прямую аллею от полевой дороги к барскому дому. Местами на листе расползлись водянистые пятна, голубые тонкие линии поблекли. Во внутреннем дворе было обозначено в ряд несколько кружочков величиной с горошину и одна такая же горошина чуть поодаль. Все они были под номерами. Без особого труда каждый бы понял, что это и есть те самые березы, про которые говорил татарин, посылая Пашаню в поместье.

— Видишь сам, мне твоя бумажка не надо, — издевательски ухмылялся Гарифулла. — Говори, какая береза на месте остался?

Пашаня склонился над планом.

— Эта есть, и эта, и эта, — показал он пальцем. — Между ними по двенадцать шагов.

Гарифулла сбросил руку Пашани с плана и ткнул своим пальцем в кружок у конюшни.

— Эта?

— Стоит, — нехотя выдавил Пашаня и тут только заметил, что кружок у конюшни обведен дважды, номер подчеркнут другим цветом, а ниже, у самого озера, стоит та же цифра и возле нее в две строки что-то написано нерусскими буквами.

— Артюшка, он больно хитрый был, — разговаривая Гарифулла, не обращая внимания на Вахромеева. — Меня и то обмануть хотел. Гарифулла не дурак. Артюшка этот человек испугался, я не боюсь. Я давно знал, кому говорил Артюшка немецкий слова на наши сказать.

— А как ты узнал его? — осмелел и Пашаня, видя, что давнишний его приятель и в счет не ставит бывшего инженера.

— Узна-ал, — протянул татарин. — Я такой люди сразу вижу.

Гарифулла свернул бумагу, запрятал ее под дырявую посконную рубаху, левой рукой погладил реденькую бородку.

— Ярый инде¹, — сказал он при этом, — мало-мало надо годить. Потом копаем. На шесно. И — разный сторона. Ну, сав булыгыз, дуслар²...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дарья встретила Маргариту Васильевну в переулке. Издали поманила пальцем и, хоть не было никого поблизости, зашептала торопливо:

— Давно тебя тут высматриваю. Увидела из окошка, что ты рубахи пошла полоскать на озеро, пособрала вот, что под руку попадет. Дай, думаю, встречу с глазу на глаз...

Говоря это, Дарья опустила к ногам плетеную круглую корзинку, в которой было несколько скрученных тряпок.

— Что? Что случилось, Кузьминична? — невольно поддаваясь волнению соседки, так же вполголоса спросила ее Маргарита Васильевна. — Уж не с Михаилом ли беда какая?

— У него про себя-то всего одна строчка: «Жив,

¹ Ладно (татар.).

² Будьте здоровы, друзья (татар.).

здоров, не кашляю». — Дарья запрятала под платок выбившуюся прядку волос, улыбнулась устало и, оглянувшись по сторонам, продолжала: — С Мишкой всё ладно, а вот как оно с Нюшкой будет теперь? Ума не приложу!

— А что с ней? Родить собирается. Всего лишь вчера заходила; сыном думает Вадима Петровича обрадовать.

— Радость-то эта, Васильевна, как бы худом не обернулась. Владимир-то жив у нее!

— Что-о-о?!

Маргарита Васильевна опустила ведро, — оно почему-то показалось неимоверно тяжелым. Дарья повторила, что Дымов жив. И в подтверждение этого сунула в руки соседке плотный конверт.

— Дома, дома читай! — торопилась Дарья. — Стемнеет уже — загляну. Ох, и не знаю, как про такое Нюшке сказать! И таиться нельзя, а она на сносках...

Кое-как разбросала Маргарита Васильевна по частоколу Варенькины рубашонки, на поленище дров оставила опрокинутое ведро, плотно прикрыла дверь за собой, присела к окошку.

«У меня всё хорошо, — писал Михаил, — ночью летаем, днем отсыпаемся. Недавно в партизанской газете прочитал такую статейку — «Герой-пулеметчик Дымов». Внимания не обратил на фамилию: мало ли Дымовых по белому свету! А потом, на своем уже аэродроме, задумался — сосед-то ведь наш под Псковом погиб, считается. Награжден посмертно, а похоронной у матери нет. Письмо мне Анна показывала: кто-то видел, что танк его подорвался. И только.

Вскоре подвернулся случай снова лететь в Партизанский край. Пока выгружали боеприпасы, разговорился я с одним парнем. «Помнишь, — говорю ему, — про пулеметчика Дымова ваша газета писала?» — «Как же не помнить? С этим Дымовым полгода в одной землянке ночуем». — «Родом откуда, не знаешь?» — «Точно не помню, вроде откуда-то с Урала. А чего ты схватился-то поздно? Он ведь только что сам тут был. С первой повозкой уехал». А мне оставаться нельзя ни минуты; пока не развиднело, улетать надо. Спросил еще: «Нет ли, мол, на лице у него какой-нибудь метины. старой». — «Есть, говорит, на

лбу вмятина, над левым глазом. А отчего, не спрашивали».

Тут и командир подошел. Всё как есть точно: Дымов Владимир Степанович. Танкист. Воевал на Хасане, орден за это имеет. В августе 1941 года здесь же, под Исковом, контуженным попал в плен. Через год с лишним бежал из лагеря. Он это и есть — «Герой-пулеметчик Дымов». Сосед это наш; всё как есть сходится».

Маргарита Васильевна несколько раз перечитала письмо. Сомнений быть не могло: Владимир Дымов жив. Но почему он сам до сих пор не прислал письма? Ведь и Николай Иванович где-то под Исковом, а от него хоть в полгода раз да приходит письмо!

Не раздеваясь, достала с этажерки чернильницу-непроливайку. Надо немедленно написать Михаилу, дожидаться второго письма. А вдруг?.. Вдруг Владимир опередит?!

Кто-то вошел в хозяйскую половину, мягко переступая по дорожке приблизился к запертой двери, постучался легонько.

— Дарья, ты? Заходи, чего же ты скоблишься, — не оборачиваясь, отозвалась Маргарита Васильевна. — Думаю вот, что же ему написать — Михаилу? А не лучше ли в этот же конверт положить и другое письмо — командиру партизанской бригады? «Сообщите по прилагаемому адресу всё, что известно вам о...»

Маргарита Васильевна вовремя оглянулась, и готовое уже сорваться слово застряло у нее в горле: на пороге стояла Анна.

— Чего испугалась-то? — с усмешкой заговорила та. — Боишься, рассыплюсь до времени? И мой так же самое вот — шагу ступить не дает. Заладил одно: поезжай в Константиновку, и всё тут. Знаю, когда мне ехать, а он подводу вон выслал. Вот и зашла попросить: присмотрела бы ты, Маргарита Васильевна, за девчонкой. Хоть бы вечером с улицы в дом ее было кому загнать.

— Хорошо, хорошо, — с готовностью согласилась Маргарита Васильевна, загораживая спиной письмо Михаила. — Поезжай, и всего тебе наилучшего. Заранее поздравляю с сыном.

— Спасибо на добром слове.

Анна присела на стул; на лице ее то угасала, то разгоралась улыбка. Она не страшилась пересудов, не пряталась от языкастых соседок; так уж сложилась судьба. Все знают — Владимир погиб два года назад. Есть документ: вырезка из «Известий» о посмертной награде старшины-танкиста орденом Красного Знамени. Есть письмо сержанта Кудинова. Может быть, поспешила? Нет, и этого не было. В году три с половиной сотни дней, столько же и ночей. Бессонные, на десять, а может и на все двадцать лет раньше времени посеребрили они девичью тяжелую косу, затуманили взгляд, изменили походку и голос, выпили сочный румянец щек, проложили мелкую сеть морщин под глазами. Одна, может, и прожила бы. А Нюшка? Как мотылек на свет лампочки, влетела она в теплые руки Вадима Петровича. Попробуй сними мотылька со стекла — крылышки в пальцах останутся. И тут оно так же. Нет уж, пусть греется. Как знать, вырастет, может, ни о чем и не спросит? А будет еще один — рука об руку, вместе потянутся к отцу на колени. Неужели столкнет которого?

Больше всего мучила совесть Анну за то, что произошло всё это на глазах у матери Владимира. Правда, Фроловна и словом не укорила. Утерла только слезы передником, когда Вадим Петрович сказал перед ужином, что будет для нее сыном родным, внучке ее — отцом. Вздохнула, погладила Нюшку по голове и долго сидела так, обхватив девчонку. Потом встала, подошла к сундуку, из-под самого низу достала новую кожаную куртку Владимира — подарок командира дивизии за Хасан, сама положила на колени Вадима Петровича: «Носи. Не гоже главному агроному в дырявом пальтишке трепаться».

Как-то весной еще Карп предложил Стебелькову перебраться на жительство поближе к конторе. Семья бывшего директора МТС выехала с Большой Горы, полдома освободилось. Вадим Петрович в тот же день сказал об этом Фроловне.

«Дело ваше, а я никуда из деревни своей не поеду, — запротестовала старуха. — Тут выросла, тут и умру. Здесь всё мое, там — казенное. И люди чужие. Нет, не поеду».

Всё осталось без перемен. Так же, как и Владимир,

Вадим Петрович в доме был гостем, с утра до ночи мотался в седле по колхозам; у него даже волосы конским потом пропахли. Фроловну звал матерью и за стол не садился, пока она щей себе не нальет в тарелку. Как почувствовала Анна, что быть вскоре ребенку, ведра в избу принести ей не давал. Раз пришла с огорода, а он пол моет, поперек половиц водит тряпкой. На девятый месяц перевалило — гонит в больницу, сердится.

— Поеду, пожалуй, — говорила Анна, поднимаясь со стула, а Маргарита Васильевна так и не нашлась, что бы еще сказать, кроме того, что заранее поздравила с сыном.

— Что-то ты не в себе сегодня, — уже взявшись за ручку двери, добавила Анна. — Дарью встретила, и у той глаза круглые. Принялась целовать с приговорами, будто сама не рожала! Кому писать-то, Риточка, собралась — муженьку, конечно? Могла ли думать об этом, когда, помнишь, у печки тебя оттаивали? Вот ведь как в жизни всё вьется-переплетается. И я... попробуй скажи бы кто, что Меченого своего забуду. Никому не понять этого, никому...

Маргарита Васильевна провела Анну за ворота, усадила в возок. Дарья заботливо укрыла ее до груди стеганым ватным одеялом, наказала вознице — держал бы лошадь покрепче на повороте к мосту, а лучше всего под уздцы свел бы с горки. И долго-долго стояли обе посреди дороги, не зная, что сказать друг другу. Анка-маленькая пеленала в тряпицу котенка.

За ужином у Маргариты Васильевны было подавленное настроение. Это заметил Андрон, но расспрашивать при ребятах не стал. Варенька и Андрейка ели из одной чашки, подталкивали один другого, фыркали. Андрон постучал по столу ложкой, ребятки примолкли, а Маргарита Васильевна и головы не повернула. Выпила чашку чаю, и всё.

Кормилавна убрала посуду, Андрейка тут же разложил свои книжки, уткнулся в задачник. Варенька пристроилась на подоконнике, заглядывала через плечо, что получается на листе бумаги.

Осень стояла сухая, погожая. Уборка в колхозе заканчивалась. После стычки с Антоном Скуратовым Андрон долгое время не мог успокоиться, ждал вызо-

ва в Бельск, в райком. Но оттуда даже по телефону не позвонили. И в газете — ни строчки. Ни добра, ни худя. Будто бы и не было в районе такого колхоза. А про «Красный восток» из номера в номер: и убрали там раньше других, и семян больше засыпали, про государственные поставки и говорить нечего.

На районную газету Андрон давно уж махнул рукой. Одних хвалит без удержу, других — в хвост и в гриву; тут — сознательные все, там — разгильдяи и лодыри. Нет, чтобы о простом колхознике доброе слово сказать, всё больше председателей расписывают. Этот — как дух святой: всё-то он знает, всё предугадывает, и всё у него как по щучьему веленью, само собой, происходит; тот — дурак дураком. Про таких чаще всего писали, как помогают им уполномоченные из района. Приедёт парнишка, молоко на губах не обсохло, побудет в колхозе два дня — прозрел будто председатель! А если такое случится, что сам Антон куда-нибудь выедет, тут уж сплошные: «Товарищ Скуратов сказал», «Товарищ Скуратов указал», «Научил», «Заметил».

О секретаре райкома в газете редко упоминалось, да и в народе о нем отзывались иначе: с Антоном его на одну доску не ставили. Говорили, что Нургалимов вначале спросит, послушает, а потом уж и распорядится. Так было с Хурматом, когда у того неотложное дело к секретарю райкома выпало: не смог Хурмат управиться вовремя с хлебопоставками (зерно в ворохах, под навесом), а тягло всё на пахоту бросил. Пока погода установилась, думал отсеяться, а Скуратов свое: вези. Назвал саботажником и вредителем. «На чью мельницу воду льешь?» Хурмат — к Нургалимову: «Я не вредитель, Скуратов больше моего враг!» Нургалимов молчит; дал высказать всё, что на душе у того накипело, а потом и говорит: «Хлеб-то везти всё равно надо». Порешили на том, что затребовал Нургалимов с лесопильного завода трехтонку.

«Вот и с моим «десятым снопом», не иначе он же и заглушил дело, — подумал Андрон про Нургалимова, — не то вломили бы по загривку».

Этот «десятый сноп» не только подобрал колосовые, но крепко помог и на зяблевой вспашке. В бригаде Нефёда заканчивали обмолот овса, во второй на-

много раньше «Красного востока» начали убирать картофель. Прикинул Андрон между делом — на трудодень в этом году должно бы килограмма по три перепасть, такое и до войны нечасто бывало. И это не считая выданного «незаконно». Как-то вместе с Калюжным поинтересовались у бухгалтера МТС: сколько на круг сняли зерна с гектара пахоты в «Колосе» и в «Красном востоке». Бухгалтер пощелкал косточками, — одиннадцать и восемь центнеров. Получилось, что у Андрона без малого на двадцать пудов больше, чем у Ильи Ильича. И это опять не считая «десятого снопа». Вот тебе и самолет!

Махнул рукой Андрон и на эти подсчеты; пусть разбираются те, кому надо. Сейчас другие заботы одолевали председателя: задумал он ставить свою лесопилку. Война, по всему виду, покатила обратно, вернутся домой мужики — не узнать им деревню. Избенки, как нищенки, притулились по взгорью, ни забора вокруг, ни сараюшки. То пожгли на дрова, то совсем развалилось без хозяина. Вот и решил Андрон исподволь обзавестись пилорамой, Карп обещал списанный трактор дать: ходовая часть у него износилась, а мотор ничего еще, дышит. Приспособить его на бетонных опорах — годика два-три послужит. И лесу загодя навозить можно; в штабелях подсохнет, потом правление распорядится, кому и как выдавать. А строиться надо будет. Своя изба и та как-то вдруг скособочилась, нижние бревна трухлявиться начали, и крыша провисла.

«Одно слово — старость, — шумно вздохнул Андрон. — Во всем оно так. Война на десятки лет всех состарила. На людей глядя и сама деревня вид потеряла. Кто постарше, ему деться некуда: семьей оброс. А парни вернутся? Их ведь тут не удержишь».

Вот о чем думал Андрон, пока Андрейка решал задачки. Кормилавна меж тем подоила корову, парным молоком напоила Вареньку.

— Спать-то где нынче будешь? — спрашивала она девчонку. — Легла бы вон на полати. Тулупом укрою. Знаешь, как хорошо!

— В самом деле, заberi ее, Кормилавна, к себе, — отозвалась со своей половины Маргарита Васильевна, — лягается страшно.

— Я не лягаюсь, я от бандита бежала, — оправдывалась Варенька. — Дядя Андрон, а бандиты так в лесу и живут? А где они спят?

— Христос над тобой, какие еще бандиты? — хлопотала возле Вареньки Кормилавна. — Это ты небось напугал девчонку? Тресну вот по затылку! — повернулась она к Андрейке.

— И вовсе не я. Митька ей рассказал.

— А ты не мог сказать, чтобы он не болтал, чего не следует? Ты ведь побольше его!

— Ну и что ж, что больше? Вместе мы его видели. Бандита. Сухопарый, рыжий, и борода свалялась. Говорит, что ломик для кузни искал, а сам к Провальным ямам подался.

— Пстой, пстой! Ты о чем это? — поворачиваясь вместе с чурбашком, спросил Андрон. — У кого борода свалялась?

И Андрейка рассказал деду о том, как неделю назад, возвращаясь с экскурсии, во дворе заброшенного барского имения встретили они с Митюшкой незнакомого человека, который выламывал гнилые доски и, видно, что-то раскапывал.

* * *

Осень стояла сухая, погожая. Ранние заморозки прижали к земле густую отаву на луговой пойме, припорошили игольчатым инеем кочкарник за озером. По утрам под ногой похрустывало отороченное бисером звонкое кружево лужиц, над Каменкой проносились стремительные стайки запоздалых утиных выводков. Высоко в холодной синеве неба, ритмично взмахивая крыльями, проплывали треугольники журавлей. Изредка сверху падал их трубный прощальный голос. Лес за Метелихой уронил багряный наряд, задумался, и только гордые ели еще выше вскинули отточенные шпильки вечно зеленых вершин, зубчатой грядой уходили к далекому горизонту, к синим увалам гор. В самый канун Октябрьского праздника выпал снег. Деды говорили: «К добру».

Двадцать шестую годовщину Великого Октября каменнобродцы встречали торжественно. Как и в добрые довоенные годы, Андрон решил справить артельный

ужин, велел забить пару баранов, напечь пирогов и шанег. В кладовой на полках стояли деревянные чашки с медом и с маслом, в коробах из лыка горками возвышались пунцовые яблоки. Улита с ног сбилась, собирая по избам стаканы, Никодим у себя в лесу наварил медовухи. После отчета правления решено было премировать лучших работников. За подарками посылали в город. С докладом попросили выступить Калюжного.

Семен согласился. Пока прибирали клуб, мыли-скоблили столы и скамейки, развешивали по стенам лозунги и портреты, украшали их пахучими еловыми лапками, Калюжный на школьной географической карте накалывал булавками синие и красные ленточки от студеного Белого моря до теплого Черного. Полоски накалывал в три ряда: на ноябрь 1941 года, когда Москва была на осадном положении, потом — битвы на Волге и на Курско-Орловской дуге. Длинными школьными ножницами Семен вырезал из плотной бумаги гнутые стрелы, тут же закрашивал их в красный и синий цвета, пригнув коротко стриженную светлую голову, старательно прищипливал всё на зеленое поле карты. За этим нехитрым занятием и застала его Маргарита Васильевна. Неслышным шагом прошла она вдоль стены, поднялась по ступенькам на клубную сцену, положила на стол канцелярскую папку.

Отложив на минуту кисть и ножницы, Семен посмотрел на жену Николая Ивановича и тут же заулыбался, довольный своей затеей.

— Знаете, о чем я только что подумал? — спросил он Маргариту Васильевну, протягивая через стол руку, чтобы ответить на приветствие, и продолжая улыбаться. — А не подать ли мне, думаю, рапорт: быть может, начальнику Генерального штаба требуется помощник? Как вы находите?

— Я бы на вашем месте не стала долго раздумывать, — в тон ему проговорила Маргарита Васильевна, рассматривая карту. — Правда, я не большой знаток военной стратегии, но смело могу утверждать: зарываете вы свои таланты, Семен Елизарович. Губите на корню!

— Золотые слова! — нарочито громко вздохнул Ка-

люжный и, помолчав, добавил другим уже тоном: — Если бы не осколок под ребрами, не поврежденные позвонки, шагал бы сейчас политрук Калюжный со своим саперным батальоном знаете где? По ридний Вкраини, по ковыльному степу. Вот о чем думка моя, дорогая Маргарита Васильевна.

Маргарите Васильевне было хорошо известно, что у Семена Калюжного где-то под Днепропетровском осталась семья. Разбитый параличом старик отец, жена и двое ребят. Семен до призыва в армию был партийным работником крупного совхоза, жена — врач.

«Кажется, самое время поговорить», — решила Маргарита Васильевна. Она посмотрела поверх головы Калюжного в безлюдный пока еще зал и положила на стол свежую газету. На первой ее полосе, в центре, красным карандашом был обведен Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о награждении героев-партизан. Указав взглядом на жирный овал, Маргарита Васильевна подчеркнула ногтем одну из строк.

Калюжный не сразу понял, прочитал вполголоса: — «Орденом Красного Знамени — Дымова Владимира Степановича». Ну и что?

— В деревне у нас центральные газеты выписывают четверо. Все эти номера у меня в папке, — понижая голос, сказала Маргарита Васильевна. — Под разными предлогами я собрала их все. Даже успела перехватить у главного агронома.

— Ничего не пойму! — в полнейшем недоумении пожал плечами Калюжный.

— А вы еще раз прочтите, — не убирая руку с газеты, настоятельно предложила Маргарита Васильевна. — «Дымов Владимир Степанович». Вам ничего не говорит эта фамилия? Неужели за полгода работы в МТС вы ни разу не слышали об этом человеке? Или не знаете, что агроном Стебельков женился на Анне Дымовой?

Семен Калюжный заморгал часто-часто. Сел на скамейку, поднялся, стал перекладывать с места на место то кисть, то ножницы.

— Жив он — Владимир Дымов! — приглушенно и оттого еще более четко говорила Маргарита Васильевна. — Еще до этого Указа я получила ответ на срочный запрос в штаб партизанского движения. Потом

написала мужу. Он ведь тоже где-то под Псковом. Может быть, ему и удастся разыскать через командиров своего бывшего ученика. Вы — второй человек, которому я говорю, что Владимир Дымов не погиб в августе тысяча девятьсот сорок первого года. Он и сейчас воюет. Там же, под Псковом. А здесь у него...

— Сын! — глухо добавил Калюжный. — Что же делать-то будем теперь, Маргарита Васильевна?

— Этот вопрос я готовилась вам задать.

— Может быть, совпадение?

— Из Москвы мне ответили: «Уроженец села Каменный Брод, Бельского района, Башкирской АССР».

— Задача...

* * *

За окном вечерело. Раньше обычного сторожика зажгла большую висячую лампу, а в коридоре уже слышались шаги. Колхозники приходили семьями, рассаживались на скамейках. Примерно в это же время лесник Закир Сафиуллин возвращался с обхода. Забросив за спину старенькую двустволку, шел он лесной тропой от Провальных ям к Ермилову хутору. Наискось пересек поляну возле усадьбы Ландсберга, намереваясь берегом озера выйти на торную дорогу, но на пригорке остановился. Ему почудилось, будто в доме упало что-то железное — глухо и со звоном. Так по каменной лестнице катится лом.

Лесник прислушался: вокруг все по-прежнему тихо. Только с озера доносится слабый шорох по-осеннему неживой, уже тяжелой волны. Сонно покачиваются седые метелки прибрежного камыша. Пустыми глазницами давно выбитых окон уставился всеми заброшенный барский дом на широкий свинцово-холодный плес, возвышается за кустами, будто голый череп с могильным оскалом. Машинально Закир повернул к дому и у крайней березы наткнулся на свежий след. Кто-то стоял здесь совсем недавно, большой и в лаптях: на голубоватом снегу отчетливо отпечатались широкие следы. Лапоть русский, с округлой пяткой, татары плетут иначе. Тут же возле березы, видать, стояла железная лопата, а потом человек ушел с ней в кусты, чертил лезвием справа.

В кустах примята пожелтевшая крапива, у невысокой каменной кладки еще два следа. На развороченной куче щебенки лежит вырванная с корнем молодая березка.

— Зачем губил дерево? — вслух пожалел Закир. — Кому он мешал?

Следы уходили к берегу и тут, на узкой полоске чистой земли, пропадали.

«Может, на лодке кто был? — подумал Закир. — А что там упало?» — Он направился к дому.

Обратно лесник не вышел, а вместо него в проеме двери показался Пашаня с ломом в руках, потом дезертир Вахромеев и одноглазый Гарифулла. По-волчьи, след в след, сутулясь, один за другим миновали они открытое место, сгрудились у загубленной березки.

Гарифулла молча ткнул пальцем в сторону неглубокой ямки. Пашаня с размаху ударил в мерзлую землю ломом. Вахромеев руками начал отбрасывать комья. Торопились, работали на коленях, тяжело сопли, облизывая пересохшие губы. Гарифулла сидел на фундаменте, единственным своим глазом сверлил поочередно каждого.

Когда яма стала по пояс, Вахромеев прыгнул в нее, оттолкнув Пашаню, ногтями рвал прогнившую деревянную обшивку, которая закрывала нишу в бетонной трубе отстойника. Пашаня стоял над ямой, готовый вцепиться в глотку обоим сразу — и Вахромееву, и Гарифулле, только бы увидеть, что за обшивкой действительно что-то окажется.

Вахромеев вырвал последнюю доску, влез с головой в темную нору, сдвинул с места что-то тяжелое. Пашаня попятился от ямы, потными пальцами впился в граненый лом. Гарифулла глянул искоса на Пашаню, и пальцы у того сами собой разжались.

Наконец дезертир выпрямился. В руках у него был увесистый ящик с висячим круглым замком и железными скобами. Пашаня принял находку и, не дожидаясь, пока Вахромеев выберется из ямы, ломом свернул изъеденную ржавчиной дужку замка.

— Ни здес! — прикрикнул Гарифулла, но было уже поздно: Вахромеев взвизгнул по-бабьи, зло и пронзительно, в руке у него тускло блеснуло тонкое жало клинка — и Пашаня рухнул ничком.

Дезертир тут же отпрянул в сторону, повернулся лицом к Гарифулле. И выпустил нож: татарин сидел на месте, только немного приподнял правую руку. Темный зрачок пистолета смотрел в упор на Вахромеева.

— Сабака! — медленно процедил татарин. — Или я не сказал: на шесно? Обратно лезь этот яма. Сам полезай!

Пашаня поднялся на четвереньки, привалился к железному ящику, сел на него, скрюченными пальцами подобрал нож Вахромеева.

— Шуму не делай, Гариф, — прохрипел Пашаня, — мы его по-нашему, по-лесному... А допрежь того пускай бок мне обвяжет. Рубаха на ём исподняя стираана.

Гарифулла поднялся, медвежьей лапой рванул за ворот солдатской куртки Вахромеева. С треском посыпались пуговицы. Студенистые щеки бывшего инженера задрожали.

...Быстро темнело. Лохматые сумерки обволакивали лес и развалины барского дома. Полуголого Вахромеева Гарифулла отнес на себе и бросил в озеро, потом расстелил на снегу куртку убитого, без видимого усилия одной рукой приподнял за проржавленную накладку ящик. Крышка не открывалась, ее держал внутренний замок.

— Ни здес, — буркнул татарин, завернул ящик в куртку, узлом завязал рукава и сунул всё в мешок.

Пашаня стоял опираясь на лом, дышал с хрипом.

— Тово, в доме-то, тоже бы надо убрать, — напомнил он про Закира, видя, что напарник собирается взвалить на спину тяжелую ношу.

Но Закира в доме не оказалось. Оглушенный ударом по голове, он пролежал недолго: спасла меховая шапка с кожаным верхом. Не найдя подле себя ружья, лесник ползком перебрался к противоположному выходу. В голове гудело, за ворот рубахи лилось что-то горячее, перед глазами мельтешили красные и зеленые искры. Пересилив себя, Закир приподнялся на одно колено, снегом с подоконника остудил распаленный лоб и тут услышал пронзительный крик.

Тогда лесник встал на ноги. Придерживаясь за стенку, обошел дом и выглянул из-за угла. Вначале он видел только двоих. Один был без шапки и почему-то

раздевался: снял куртку и гимнастерку. Потом за кустом поднялся еще один и тоже снял полушубок, выставил оголенный бок. Тот, что разделся первым, разорвал свою нижнюю рубашку и стал бинтовать другого, а третий стоял в стороне. Был он выше других, в татарском малахае. Разговора не было слышно, но Закир понял: этот, в лохматой шапке, главный в шайке.

Полуголый человек кончил свое дело и остался на месте. Наверно, ему было велено не оборачиваться. В руках у длинного взметнулась черная палка, и человек упал. Лесник зажмурился и опрометью бросился в лес.

* * *

...Семен Калюжный сказал последнее слово. В переполненном зале долго и гулко били в ладоши. Вопросов к докладчику не было. Никто не поднял руки и после того, как отчитался Андрон. На сцену внесли стол с подарками, Маргарита Васильевна зачитала протокол с решением правления. Первой по списку шла девушка с Большой Горы. За отличный весенний сев, ударную работу на уборке и обмолоте правление наградило ее похвальной грамотой и лакированными туфлями. Дарья и старшая дочь ее Груня получили по шерстяному отрезу на юбки, Улита — теплую шаль, Нефед — грамоту, пасечник Никодим — набор столярных инструментов, Пурмаль — толстую книгу по садоводству с печатью и дарственной надписью. Подарки вручал Андрон и каждому говорил: «Доброе дело добром избывается» или «Носи на здоровье».

На столе уменьшалась горка пакетов и свертков, но в центре его стоял никелированный самовар с фарфоровым чайником и с большой эмалированной кружкой, привязанной ленточкой за ручку самовара. Все посматривали на этот нарядный самовар, ждали, кому он достанется, шумели, подталкивая друг друга. Вот и последний сверток унесла со сцены младшая дочь Екима-сапожника семиклассница Настя. В зале притихли.

— Фазылов Муних Шайхаттарович! — прочитала Маргарита Васильевна, и грохнул переполненный клуб, над головами колхозников испуганно заморгала висячая лампа.

- Ловко подмечено! Здрóрово!
- Это ему за выслугу лет!
- Мухтарычу наше колхозное «ура!»

Андрон стоял на краю сцены с самоваром в руках, гулкие хлопки и выкрики не смолкали, в передних рядах люди встали и оборачивались назад.

А Мухтарыч сидел у себя в сторожке, боясь шевельнуться. С вечера он натаскал воды в оба котла, задал корму коровам, хорошо проверил запоры на воротах, нащепал лучины на растопку. И совсем уже собрался было отправиться в клуб, как Дарья велела, но из наушников разлилась по каморке родная далекая музыка. Тягучие переливы курая остановили старика на пороге. Пальцы сами собой развязали кушак, ноги перенесли иссохшее тело к угловому окошку, глаза устало закрылись, голова поникла, сердце замерло, и только слух — один слух жадно впитывал трепетные, нежные звуки, чистые, как ключевая вода, тонкие, как лепесток розы, ароматные, как цветущая яблоня, и грустные, как затаенный вздох девушки:

Агидель-да чигып киле колпагын, корсавуна,
Хичь бер даува табалмыйем, чунки жирак явуна... ¹

Медленно раскачиваясь в такт переливам курая, Мухтарыч одними губами шептал слова мало кому известной старинной песни и не расслышал, как кто-то вплотную подошел к оконцу, не видел настороженного, злобного взгляда, каким нежданный ночной гость прощупал через мутное стекло голые стены сторожки. Когда хлопнула дверь, старик подумал, что это пришли за ним.

— Ярый, ярый, хазыр бараим-але ², — быстро проговорил он по-своему, всё еще находясь под властью курая.

— Мнда тр, тик-кана тр! ³ — грубым, простуженным голосом распорядился вошедший.

Мухтарыч поднял голову: перед ним стоял Гари-

¹ «Ты плывешь, как лебедь по Белой реке, Никакого лекарства не могу найти, чтобы залечить свое сердце...»

(из старинной башкирской песни).

² Ладно, ладно, сейчас иду (татар.).

³ Здесь сиди, тихо сиди! (Татар.)

фулла. Шагнул еще, вырвал из розетки эбонитовую вилку наушников. Музыка оборвалась.

— Тик-кана тр! — еще раз, как старый коршун, гортанно проклекотал бандит, и Мухтарыч вжался в угол избушки.

Он ничего не сказал, не спросил по стародавнему обычаю, принятому у татар, хороша ли была дорога и не притомился ли конь дальнего путника, не предложил присесть к огню. Да Гарифулла и не нуждался в этих проявлениях вежливости и гостеприимства. Не снимая шапки, прошелся он по избушке, заглянул за печь и под нары, сдернул с крюка у двери старый бешмет Мухтарыча, набросил его на крышку от котла и приставил щитом к окну. Потом открыл дверь, негромко кашлянул у порога.

В сторожку вошел Пашаня и сразу же сел на нары. Гарифулла запер дверь на задвижку и, не обращая внимания на Мухтарыча, начал помогать Пашане расстегивать крючки полушубка, а старик сейчас только увидел, что у порога стоит ружье, что бок у Пашани в крови.

— Э-э-э, шабра, давай мало-мало мажим карболкой! — приподнялся в своем углу Мухтарыч. — Хочешь?

— Мажь, всё одно мне подыхать! — ответил Пашаня.

Мухтарыч засуетился, достал с полки бутылку, намочил в котле Дарьино чистое полотенце. Гарифулла молча забрал и то и другое, кивком головы отправил деда на прежнее место.

Гарифулла долго возился с Пашаней, а Мухтарыч сидел и думал, как сообщить в деревню, что у него в сторожке остановились недобрые люди. Сейчас они уйдут. Наверно, свяжут его и заткнут ему рот тряпкой, а может, и убьют. Теперь он узнал и ружье; это ружье лесника Закира. Приклад у него самодельный и перетянут медной проволокой. Не спастись. В клубе сейчас про него, старого пастуха, забыли. Сам виноват, сказал Дарье: «Приду». Вот она и сказала, наверно, Андрону: «Знает ведь он. Не большой барин, чтобы за ним рассыльного посылать».

Мысли путались у Мухтарыча. Пашаня, похоже, уснул на топчане, Гарифулла присел у порога, завер-

нул большую сигарку, шарит по карманам. Старик снова поднялся, достал с полки коробок спичек. Второй коробок у него в кармане. Лучше отдать полный.

— Ты этот парень знаешь? — спросил Мухтарыч у Гарифуллы, чтобы как-нибудь затянуть время, и кивнул на портрет Мишки. — Вот какой сигарка курит! Мне тоже давал. Все знают.

Гарифулла показал желтые зубы.

— Надо прятать его, — разговорился старик и посмотрел на Пашаню. — Может, на крыша таскать? День-два на сене полежит...

Гарифулла молчал. Тогда Мухтарыч вылез из-за стола, пощупал в кармане спички, согнулся, придерживая впалый живот. И, набравшись храбрости, трусцой засеменил к двери. Застонал даже.

Гарифулла посторонился, но вышел вслед за Мухтарычем. В дальнем конце двора, у самого тына, темнела небольшая копешка сена. Мухтарыч, всё так же не разгибаясь, пустился рысцой, присел за копешкой. Гарифулла долго ждал с другой стороны, потом отошел к колодцу. Это и нужно было Мухтарычу. Через минуту старик побежал обратно в свою сторожку, говоря на ходу:

— Давай чайник на печка ставим. Давай! — и плотно закрыл дверь избушки.

В сторожке Гарифулла достал из кармана кожаный толстый бумажник и положил на стол две сотни.

— Лошадь и сани надо. Помогай, — сказал он. — Гарифулла всегда платил много.

— Ат¹ будет, сани тоже будут, всё будет! — с готовностью отвечал хозяин сторожки, пряча деньги и не думая о том, что с Гарифуллой можно было бы говорить на родном языке. — Я никому не скажу. Не бойся! Не один слова не скажу. Вот увидишь. Давай Пашаня за печка прячем! День-два лежит, ты на крыша сена сидишь. Давай!

Говоря это, старик плотнее приставил круг у окошка и подоткнул у косяков свисавшие на скамейку по́лы дырявого бешмета, всем своим видом показывая Гарифулле, что прекрасно понимает опасения конокрада: свет может привлечь кого-нибудь. По той же

¹ Лошадь (т а т а р.).

причине не стал включать и наушники: даже маленький шум внутри избушки помешал бы слышать, что делается снаружи. На самом же деле Мухтарыч плотнее прикрыл окно совсем не потому, чтобы свет из сторожки не виден был на той стороне озера, а чтобы в избушке не стало светлее. Гарифулла сам помог придумать сигнал. Ветер дует в другую сторону. Это не страшно.

В печурке потрескивали березовые поленья, чайник начал позванивать крышкой. И вот долгожданный топот множества ног за плотно закрытым окном. Пашаня вскинулся было на нарах, но тут же схватился за бок, да так и застыл в углу, ощерившись, Гарифулла выхватил пистолет, бросился к двери, но она распахнулась раньше. На стенах коровника плясали огненные отблески, а в сторожку разом втиснулись бригадир Нефед и Семен Калюжный.

Мухтарыч ударил поленом по руке бандита. Гарифулла уронил пистолет и стал пятиться к стенке, поднимая на уровень плеч растопыренные пальцы. Пашаня лязгал зубами.

Первым всё понял Нефед:

— Вон тут гости какие на праздник-то к нам пожаловали! Давненько, давненько не виделись.

Калюжный подобрал с полу новенький браунинг, недоумевая посматривал то на Гарифуллу, то на Мухтарыча. Старик спустил полено, снял с гвоздя у прилоки свернутый длинный пастуший кнут, отдал его Нефеду. Гарифулла налившимся кровью глазом молча сверлил Мухтарыча.

— Цх... старый сабака! — сдавленно прошипел он, спускаясь на лавку и по-прежнему держа руки на уровне плеч.

— Ладно уж, опускай руки-то, — распорядился, подходя к нему Нефед. — Вставай, поворачивайся! — И не спеша принялся вязать конокрада.

А в сторожку заглядывали всё новые и новые люди. У косяка, сжимая виски, стояла Дарья. Андрейка с Митюшкой, вытянув шеи, рассматривали Пашаню.

— Тот самый, помнишь? — шептал Митюшка в ухо своему приятелю. — Ну и морда!..

В дальнем углу двора догорала копешка сена, огонь плескался за тын. И еще топот, теперь уже кон-

ский. У колодца крутились на взмыленных лошадях татары из Кизган-Таша. С ними был и Закир. Он рассказал всё, что видел.

Шкатулку нашли в снегу за дровами, принесли в сторожку. Ценного в ней ничего не оказалось. Какие-то истлевшие бумаги с большими гербовыми печатами, план поместья и старые векселя. А в самом низу — свернутый в трубочку лист пергамента с печатью губернского нотариуса.

— «Дочери Марте и зятю Евстафию», — прочитал Семен, когда ему подали этот листок.

— Завещание, вот что это такое, — проговорил Калюжный. — Поздновато схватились. Ну а где же он сам — наследник?

— Вот они, корешки-то, где! — воскликнул Нефед. — Вот почему «господин Полтузин» в наших краях смуту готовил!

— Это кто же такой? — спросил Калюжный.

— Колчаковец один, зять помещика Ландсберга, — пояснил Нефед. — Шлепнули его в тридцать четвертом.

— А кого же там в озеро бросили? Лесник-то что говорил?

— Завтра узнаем, — ответил Закир.

Гарифулла и Пашаня сидели уже в санях, накрепко привязанные ременными вожжами. Единственный глаз татарина подернулся тусклой пленкой.

— Я сказал тебе: ат будет, всё будет, — говорил ему Мухтарыч. — Видишь, как всё хорошо получился, только копешка жалко.

Гарифулла ничего не ответил.

* * *

В декабре Семену Калюжному дали отпуск; поехал к себе на Украину разыскивать семью. Вернулся он перед Новым годом, привез ребятишек — трехлетнего сына Стасика и девочку Свету. Ей уже десять лет исполнилось. Жены не нашел в живых, — за несколько дней до освобождения Киева расстреляли ее фашисты за найденные при обыске бинты и склянку йода. Вот и всё, что узнал Семен. Старика отца схоронили соседи в день ареста жены; подобрали его во

дворе с разбитой головой, онемевших от ужаса ребят вытащили из-под кровати.

Семен почернел от горя. За всё время, пока был он дома, добирался поездом до Уфы, а потом в кузове попутной машины до Бельска, дочка ни разу не назвала его папой, ни о чем не попросила. Когда на станциях он оставлял ее где-нибудь в уголке и наказывал не потерять в людской толчее братишку, Света только моргала, присаживалась на чемодан, обхватывала худыми ручонками Стасика и надолго застывала в таком положении. Ко всему безучастная, с недетской молчаливой покорностью, вздрагивающая от каждого стука и громкого голоса, она больше всего пугала отца. И глаза были у нее пугающие, заполненные пустотой.

«Города мы отстроим заново,—рассуждал Семен,—восстановим мосты и шахты, плотины и заводские корпуса, разобьем сады. Сделаем всё, как было до войны, даже лучше. Но как вернуть детство таким вот тысячам Светок и Стасиков, как это сделать?!»

Навстречу громыхали эшелоны с танками, тяжелыми пушками и разлапистыми артиллерийскими тягачами, тянулись нескончаемые вереницы цистерн с горючим, воинские составы с переполненными теплушками. Урал и Сибирь посылали на фронт людей.

Семен пробирался подальше от двери, присаживался где-нибудь в уголке, прижимал к себе ребятишек. Пробовал заговорить с ними, рассказать что-нибудь смешное. Шутки не получалось, в глазах беспрестанно вздрагивавшей девочки стояла всё та же пугающая пустота.

Сынишка тоже молчал, цепко держался за руку сестренки. В Рузаевке отцу удалось купить в буфете два бутерброда с засохшим, как слюдяная пластинка, сыром. В котелке принес кипятку. Света разломил один ломтик хлеба на две части, маленькую отложила себе, ту, что побольше,—братишке, а второй бутерброд завернула в газету и спрятала за пазуху.

— Я не съем,—сказала она отцу.—Когда наша мама была дома, она всегда оставляла мне утром кусочек хлеба. А мы берегли его до вечера.

— Ешьте, всё ешьте,—боясь заглянуть в глаза

дочке, проговорил Семен, — на другой станции купим еще.

— А если там... если там фашисты?

— Не бойся, больше ты их никогда не увидишь.

— Мама тоже так говорила, а они пришли.

— Теперь уже не придут. Никогда не придут. Ешьте.

В Бельске Калюжный вызвал подводу с Большой Горы, два дня прожил в Доме колхозника. Ребят сводил в баню и потом уже, укладывая их в постель, рассмотрел по-настоящему, до чего же оба они худы, особенно Света. На чистой, отглаженной простыне острые плечи ее просвечивали бледной синевой, шея тоненькая, как у цыпленка, и с нездоровой кожей. Платье и рубашонку Светки, лохмотья Стасика бросил в печь, а утром отправился к Нургалимову. Тот позвонил в детдом, выдали там Семену два комплекта детской одежды. Ребята всё это время просидели в кровати, завернувшись в одеяло.

Ехали молча, погода выдалась славная — яркое солнце и небольшой морозец. И опять в глазах Светки не замечал Семен ни детской радости, ни удивления. Справа и слева медленно проплывали огромные заснеженные ели, дорога петляла в старом лесу, взбиралась на каменные увалы, ныряла в седые заросли озерного камыша, с метелок которого струилась серебристая пыль, а девочка смотрела на всё с тупым безразличием.

В одном месте Калюжный велел придержать лошадей. У самой дороги, на сухой, с обломанной вершиной березе, деловито работал большой черноголовый дятел. Скосив недовольно носатую голову, онглянул вниз, на людей, и принялся выстукивать замысловатую дробь.

— Дома ты ведь живого дятла не видела, — сказал Семен дочери. — Смотри, смотри, как старается!

— А фашисты его не застрелят? У нас они всех голубей постреляли.

Семен стиснул зубы. За три года войны он многое повидал, но никогда еще с такой жгучей ненавистью не произносил мысленно проклятого слова «фашист».

Ночевали в Каменном Броде. Можно было засветло еще добраться и до Большой Горы, но Семену хоте-

лось узнать, нет ли каких новостей у Андрона и Маргариты Васильевны. А новости были, и это сразу увидел Калюжный по лицу Маргариты Васильевны; в последнем письме Николай Иванович сделал коротенькую приписку: «Вышли на Большую землю. Нас отвели в армейский тыл, поговаривают о том, что кое-кому придется сдать автоматы, заняться другой работой. Получил подтверждение: Дымов жив, немедля обрадуй Аннушку».

Кормилавна только руками всплеснула, увидав, в чем приехали ребята: на ногах ботинки с загнутыми рыжими носами, а у Светки даже и варежек нет.

— Ох, уж эти отцы! — хлопотала она, кружась встревоженной наседкой то возле Стасика, то возле Светки. — Экую даль на морозе, смотри-ка ты, в чем привез! Ну и снял бы обутки-то, видишь, совсем задубели. А ножонки у обоих завернул бы в тулуп. Истинно сказывают в народе: у отцов одна думка — дочку выдать скорее, сыну — топор или вилы навозные в руки...

— Ты бы, мать, попусту не шумела, — отозвался Андрон, приседая у чугунной буржуйки, чтобы подбросить дровишек. — Чем руками-то хлопать да причитать, давай-ка с самоваром управляйся покруче. Картошки с салом поджарь. Вот они и оттают.

Семен расшнуровывал ботинки на ногах дочки, Маргарита Васильевна раздевала Стасика. И вот — дверь настежь, и в избу ввалился разноголосый заснеженный ком. Это Варенька с Анкой Дымовой, в снегу, покрасневшие и озорные, ввалились через порог. Кормилавна бросилась к ним с веником, и так это потешно у нее получилось, что Света не выдержала и засмеялась. Тоненький ее голосок прозвенел серебряным колокольчиком и тут же робко замолк. Семен ушам своим не поверил.

Девчонки с детской непосредственностью внимательно рассматривали друг друга. Дверь снова открылась, на этот раз не так широко, — Андрейка с Митюшкой вошли. И у них щеки как клюквой измазаны, так и пышут здоровьем. Семен невольно задержался взглядом на Вареньке, потом посмотрел на своих.

Перехватив взгляд Семена и поняв без слов тревогу отца, Андрон загудел, присаживаясь у подтопка:

— Обойдется, Семен Елизарыч, всё избудется! Неделька-другая минет, на парном молоке и на шанежках и у них заблестят глазенки! Хозяйка, да скоро ли там у тебя? — повысил он голос. — Коли такое дело, давай уж на всех. Артелью оно веселее.

Кормилавна внесла и поставила на середину стола деревянную миску, доверху наполненную густыми, наваристыми щами, разложила вокруг нее ложки. Андрон достал из приделанного на стенке шкафчика большой каравай и принялся нарезать длинные ломти хлеба. Горбушку протянул Светланке, безотрывно следившей за его неторопливыми движениями.

— Я не могу столько, — сказала Света.

— Как это «не могу»? — нарочито сурово басил Андрон. — У нас такого слова не говорят. Как же расти-то будешь? Тогда и в школу тебя не примут, и девчонки наши кататься с горы не возьмут. Видала, какая у нас гора? Ну вот. Берись-ка давай за ложку. Да подюжей, подюжей.

Вшестером ребятишки в два счета расправились со щами и с огромной сковородкой жареной картошки, заели это ряженкой с жирными пенками. А Андрон всё подбадривал:

— Вот это семейка! Ай да молодцы! — и, повернувшись к Калюжному, продолжал доверительно: — Годиков через пять знаешь, Семен Елизарыч, какие из них будут работники! Андрейку вон бригадиром назначим, Митюшку — на МТФ. Оженим их на своих же, на доморощенных, невестах, ну и твоя на агронома аль на доктора выучится, сынишка на трактор сядет... Загремит наш «Колос» на всю округу!

— Неплохо, совсем неплохо придумано, — улыбнулся Калюжный.

— А что? Годы-то ведь летят! Летят, Семен Елизарыч, — вздохнул Андрон. — Давно ли мой вон Андрейка катышом от печки к окну перебирался?.. Весной седьмой класс кончает! Митюшка — в шестом, ведь тоже без отца вырос. В эти-то годы я уж сам коня запрягал, боронил, в лес за дровами ездил. Скорей бы война кончалась, вот с ними и будем подымать колхоз.

Последние слова Андрон произнес вполголоса, и они прозвучали с особой значимостью.

Кормилавна вытерла стол, принесла вторую миску — поменьше.

— Теперь и наша очередь подошла. Подвигайся, Семен Елизарыч, и ты, Маргарита Васильевна, — говорил Андрон, принимаясь снова за нож и буханку, — чайком побалуемся, посидим, потолкуем. А вы, молодцы, — глянул на внука, — давайте-ка — кто домой, кто на полати. Задачки-то все решены? Ну, марш в таком разе.

После ужина Андрон пересел на чурбашек, слушал не перебивая невеселый рассказ Семена о том, что довелось ему повидать там, где фронт проходил. Митюшка с Анкой ушли, Андрейка залез на полати, свесил оттуда чубатую голову. Кормилавна на своей постели уложила ребят Калюжного, еще раз вытерла стол, присела возле Маргариты Васильевны.

— Какая же мать таких супостатов на свет народила! — воскликнула она с горечью, когда Семен говорил о сожженных дотла украинских селах, о противотанковых рвах под Киевом, заполненных трупами расстрелянных.

— Казнить бы до единого, — буркнул Андрон.

Долго молчали. Женщины думали о том, как поднять на ноги сирот, чтобы людьми выросли, мужчины — как удержать хозяйство. В колхозе всё меньше и меньше рабочих рук, с каждым годом меньше земли в обработке, а хлеба надо всё больше и больше. И солдату надо, и тем, кого вызволили из фашистской неволи. Хотя на первый раз было бы чем клочок поля засеять, грядку картошки посадить в огороде.

— Ну, а совхоз-то ваш как? — спросил наконец Андрон у Калюжного, чтобы прервать тягостное молчание. — Что-нибудь уцелело?

Семен вяло махнул рукой:

— На центральной усадьбе осталась одна водонапорная башня, и та — на боку.

— А люди?

— Восемь землянок. А был настоящий поселок с водопроводом и электричеством. На фермах — три сотни дойных коров...

И опять замолчали надолго. Лицо Калюжного окаменело, и только пониже левого уха, на сухой коричневой шее, билась-дергалась не приметная жилка.

— Ну и без бы сюда все эти восемь семей, — неожиданно подала свой голос Кормилавна. — С голоду ведь там перемрут.

Андрон шевельнул бровями.

— Баба — баба и есть, — выдавил он. — А на какие капиталы поехали бы они? Шутка сказать — из-под самого Киева на Урал! И чего это ради? От своей-то земли, от раздолья степного.

Андрон укоризненно покачал головой, медленно повернулся вместе с чурбашком в сторону Калюжного и продолжал, теперь уже обращаясь к нему:

— На твоём бы месте, Семен Елизарыч, перво-наперво толкнулся бы я к Нургалимову. Рассказал бы ему про всё, что видеть тебе довелось на родном пепелище. А потом так разговор повернул бы: лесов, мол, у нас во все стороны на десятки верст, народишко кой-какой в деревнях есть. Вот и дал бы команду набрать лесорубов да к весне связали бы на той же Каменке плот кошм в десять-двенадцать. Чуешь, к чему я клоню?

У Семена дрогнули плотно сжатые губы, а Андрон развивал свою мысль, четко разделяя короткие фразы:

— С полой водой ушел бы наш плот до Белой реки, а там и дальше — по Каме и Волге до Саратова, скажем. Это одно. А теперь и другое: рассказать по колхозам, что наделали звери-фашисты с народом нашим. Самому и простыми словами, вот как нам говорил. И спросить: как же страдальцам этим силу вернуть, чтобы руки у них плетями не обвисли? А сила мужицкая — она от земли да от скотины. Вот и сколотить бы за это же самое время до подножного корма гурт нетелей голов в пятьдесят. На баржу его и тоже вслед за плотом — до того же Саратова. А в совхоз — письмо: высылали бы человека, чтобы, как говорится, с рук на руки. Это, мол, вам от уральских колхозников. И безвозмездно.

Семен ничего не сказал в ответ, сидел опустив голову.

— Не пообедем, — всё так же коротко и с большими паузами продолжал Андрон. — Пусть по одной, по две телушки с колхоза, а землякам твоим — стадо. На том и Русь наша держится. Так я полагаю.

Спать легли после полуночи. Маргариту Васильевну подмывало показать Калюжному последнее письмо мужа, но она не знала, как это сделать в присутствии Андрона. Решила отложить на завтра. Только легла, укутала одеялом разметавшуюся Вареньку и тут же уснула. И сразу увидела сон: приехал Николай Иванович.

Вот он шагнул через порожек — большой и широкоплечий. Не снимая шинели и шапки, на носках подошел к изголовью кровати, склонился. Дохнуло от него горьковатым дымом партизанских костров, а на бровях и в бороде — иней. И не поцеловал. Постоял так минуту и снова вышел неслышно. У двери разделся, повесил на крюк шинель, легонько похлопал руками, растирая замерзшие пальцы, стал закуривать. Маргарита Васильевна отчетливо слышала, как зашипела спичка. Она не спала — просто лежала с закрытыми глазами, боясь вскрикнуть.

Наконец-то он снова рядом. Присел на низенький Варенькин стульчик, положил свою крупную голову ей на грудь и, чего с ним никогда не бывало, стал мурлыкать какую-то песенку. Без слов. Тогда Маргарита Васильевна обхватила обеими руками эту дорогую седую голову и почувствовала у себя на щеке прикосновение жестких усов. Открыла глаза — на груди у нее развалился тяжеленный увалень, кот Мурзик, баловень Вареньки. В сладкой истоме нежился он, изгибал короткую шею, толстыми мягкими лапами перебирал по одеялу, осторожно вонзая в него широко расставленные когти, тянулся усатой мордой к ее подбородку, самозабвенно мурчал сильным стариковским басом.

Маргарита Васильевна не любила кошек, но на этот раз не прогнала Мурзика. Только передвинула его подальше, чтобы не дышал в щеку, и забылась снова.

...И он приехал. Нежданно-негаданно, без письма и телеграммы. Это было в конце февраля. Маргарита Васильевна вела урок географии, рассказывала пятиклассникам про Кавказ, читала на память давно полюбившиеся стихи Лермонтова:

...И глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял.
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел...

Ребятишки сидели притихшие, боясь шевельнуться, и оттого отчетливо были слышны шаги уборщицы в коридоре, а потом в открытую форточку залетел далекий залиvistый звон колокольчика почтовой пары. Что-то необъяснимое заставило Маргариту Васильевну подойти к окну, дожидаться, пока не проедет знакомая упряжка.

Мохнатые заиндевевшие лошадки легко вымахнули из-за угла. На площади возок остановился, с кожного длинного мешка, притороченного к наклёсам саней, прыгнул высокий мужчина в дубленом полушубке и в валенках, забрал из головок саней чемоданчик и помахал варежкой вознице.

Знакомое, очень знакомое было во всем: и в том, как этот человек поднял голову, повернувшись к школе, как расправил широкие плечи, для чего-то снял шапку и провел рукой по волосам, а потом развел руки в стороны, как бы собираясь схватить в охапку всё, что видит перед собою.

Маргарита Васильевна видела, как у сторожа Парамоныча, который колот дрова у сарайчика, выпал из рук топор, как он заковылял по тропинке, направляясь к приезжему, и побежал, спотыкаясь в рыхлом снегу. Вот они обнялись, троекратно расцеловались, старик подобрал чемоданчик. Идут в школу.

Маргарита Васильевна слабо вскрикнула, прижалась к высокому косяку, крепко зажмурилась, ожидая, когда распахнется дверь...

* * *

Снова, как и в прежние годы, когда зарождался колхоз, потянулись каменнобродцы вечерами на огонек к Николаю Ивановичу. И опять до полуночи не гасла лампа на столе учителя. Минуло дней пять, не больше, а он все дела колхозные знает, как будто и не было семи лет, проведенных неведомо где.

Андрон в разговоры не вмешивался и ни о чем не расспрашивал, только слушал да про себя диву давался душевной крепости человека. Голова совсем белая, голос заметно сдал, а в глазах нет и тени усталости. До всего ему дело: и на ферме уж побывал, и в кладовых, посчитал плуги под навесом, не забыл и в отчет заглянуть, спросил, сколько ульев в омшанике у Никодима в зиму оставлено. И ни разу не пожаловался, что две операции вынес, что и сейчас ногу левую не вдруг оторвать с места может, что осколок один так и остался у кости: врачи побоялись нерв повредить.

Все эти дни Андрейка с Митюшкой не слезали с полатей. Наслушались рассказов про партизанских разведчиков, про бои-переправы, про ночные налеты на фашистские гарнизоны да стычки на лесных дорогах, заскучали оба. Как-то вечером, когда Николая Ивановича не было дома, Андрейка пробрался на чистую половину, где на спинке стула висела гимнастерка с медалями на зеленых подвесках. Присел возле стула на пол, любовался боевыми наградами, как замороженный. Даже погладил украдкой. Тут-то и застала его Кормилавна, шугнула веником, а еще через день в углу на полатах нащупала сумку, туго набитую сухарями. Там же оказалась бутылочка с постным маслом, несколько луковиц, спичечный коробок с солью, карта из учебника и запечатанное письмо.

Не успела старуха опомниться, вошла Дарья. И у нее такая же находка. Приятели на фронт собрались, а письмо хотели бросить на первой же станции, чтобы домашние не искали бы их попусту. Кончилось всё это тем, что оба «партизана» очутились с глазу на глаз перед Николаем Ивановичем.

— Ну кто же так делает? — без улыбки спросил их старый учитель. — Парни большие, умные, а тут, прямо скажем, опростоволосились. Куда же вы вздумали ехать?

— К брату Митькину. На Валдай, — потупясь, проговорил Андрейка. — А он бы ночью нас — на ту сторону...

— А почему именно в Валдай? Вы знаете, где находится этот город?

— Знаем. Это надо через Москву, а потом до Ка-

линина и еще в сторону Пскова километров пятьдесят. На карте-то всё указано.

— Верно. Но почему же всё-таки Валдай?

Митюшка пощмыгал носом.

— Там и Мишку нашли бы, — ответил он и покосился в сторону Андрейки. — Когда еще на побывку он приезжал, уговорились, как письма писать про то, куда они летают и где на отдых садятся. Какие буквы стоят в начале слов после точек — сложить их, вот и читай город. А кроме нас с Андрейкой, никто про это не знает.

— Правильно, молодцы, — похвалил Николай Иванович, — совсем как у партизан. Да вот ведь беда: отряды-то партизанские в этих местах давно уж распущены. Кончилась их боевая работа. Я ведь как раз там и был — под Валдаем. Красная Армия вышибла немцев, бои идут на границе с Литвой и Эстонией. И Михаил теперь в Валдай, наверно, уж не летает. Когда последнее письмо от него было?

— Дней десять назад.

— А было там что-нибудь про Валдай написано?

— В этом не было.

— Ну вот видите. Приехали бы, а там и спросить не у кого. Фронт-то вон куда откатился!

Ребята молчали, не зная, что возразить. Николай Иванович усадил их рядышком на скамейку, потрепал одного и другого по взъерошенным волосам.

— Давайте-ка лучше вот что мы сделаем, — говорил он через минуту. — Раз уж так получилось, что воевать вы поздновато собрались, а все те, кто партизанил, с весны выйдут в поле пахарями, давайте и мы займемся лучше хозяйством, а? Старик Пурмаль рассказывал мне, что сад вы спасли. Доброе дело! А я бы вот что еще вам посоветовал: собраться всем классом да и попросить у управления колхоза участок земли. Сами вы вспашете, сами посеете, сами сожнете и обмолотите. Слыхали, наверно, что по всему району сейчас разговор идет, чтобы весной плот строевого леса сплавить на Волгу для совхоза, в котором до войны работал Семен Елизарович Калюжный? И гурт нетелей отправить туда же. Мне говорили, что лес уже рубят и начали возить в указанное место. В мае—июне отправим и гурт. А вот эта полоска, про которую я

сказал, была бы новым и благородным делом. Наши школьники своими руками вырастили бы хороший урожай для детей украинских или белорусских партизан, таких же колхозных ребят, как и вы. Что вы на это мне скажете?

Ребята по-прежнему молчали, посматривая друг на друга. Дело принимало неожиданный поворот: думали — будет ругать, а он всё рассудил спокойно, да еще и советуется, как с большими.

Николай Иванович ждал ответа, легонько постукивая пальцами по краю стола. Андрейка нахмурился и спросил:

— А семена кто нам даст? Пахать, бороться — это мы сможем, а сеять чем?

— Найдём, — улыбнулся учитель. — Только, если уж за дело беретесь, чтобы потом не хныкать. Школьный участок должен быть показательным! И вот что еще не забудьте: ордена и медали не только на фронте получают. Их получают и хлеборобы. А хлеб для Родины — это последний удар по Гитлеру. Договорились? Ну вот и ладно. Добро. Завтра же после уроков агроном Стебельков обо всем и потолкует с вами.

— С агрономом, пожалуй, ничего не выйдет, — вздохнул Андрейка, — в семье-то у них неладно. Уезжать собирается.

— Кто тебе говорил?

Ребята еще раз переглянулись, подтолкнули друг друга локтями.

— Теперь и про это можно сказать, — начал приятель Андрейки. — Вся деревня в доме у вас перебивала, а Анкина мать так и не осмелилась. Отчего бы это, как думаете? А ведь училась когда-то у вас вместе с Дымовым.

— Ну и что?

— Жив он — бригадир Дымов, а она замуж выйти успела! — по-взрослому продолжал подросток. — Вот и грызет ее теперь совесть. Потому и вам на глаза не показывается. Ревет дома в голос.

— И давно узнала она, что Владимир жив? — спросил Николай Иванович, чтобы не показать виду, что всё это и ему хорошо известно.

— Мы-то давно это знали.

— А что же вы раньше ей не сказали?

— Как же ты скажешь? — осмелел Митька. — Письмо получили осенью, а у нее уж ребенок. Вот мать и наказала строго-настрого молчать. А потом письмо это затерялось куда-то. Затерялось, и всё.

— А кто же Анне сказал?

— Похоже, что сам Стебельков стороной дознался. А только мы никому не говорили.

За этим разговором не заметили, как в комнате появилась Маргарита Васильевна с дочкой. Потом пришел Андрон. Видимо, и он слышал последние слова сына Дарьи: запустил пятерню в бороду, да так и остался у двери. А Варенька так ничего и не поняла. С ходу прыгнула отцу на колени, свернулась калачиком.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Громовые тяжкие раскаты наступательных ударов Красной Армии далеким рокочущим отзвуком докатились до лесистых увалов в верховьях Каменки. В январе была прорвана двухлетняя блокада Ленинграда, в марте—апреле полностью очищена правобережная Украина, и тут же, без передышки, началось наступление в Крыму.

Седой Урал медленно приподнял свою голову в остоверхой железной шапке, отороченной понизу дорожными собольими мехами и украшенной камнями-самоцветами, прислушиваясь к нарастающему грозному гулу, доносившемуся от Ленинграда и Севастополя за тысячи километров, движением каменных плеч сбросил метровую толщу снега, снял богатырские рукавицы, раздвинул навстречу этому победному гулу вековые лесные дебри, распахнул чугунные двери замурованных в сердце гор тайников. Прищурившись, любовался тем, как, громыхая на стрелках, катятся вниз по уклону сотни и тысячи эшелонов. На широких свежеокрашенных платформах — хмурые разлапистые громады танков, приземистые осадные гаубицы, старательно зачехленные моторы, в деревянных решетчатых ящиках — крутобедрые туши полуторатонных бомб. Всё это — фронту.

Родная сестра Урала — Сибирь, такая же суровая и немногословная, ни в чем не уступала кремневому сивобородому брату. И с той стороны, из дремوتной тайги, днем и ночью тянулись на запад железнодорожные эшелоны. У мостов через Волгу — у Сызрани, Ульяновска и Казани — километровые громахающие плети выстраивались в нескончаемую очередь. И теперь уж сами диспетчеры не могли разобратся, где тут уральские танки и пушки, где башкирская нефть и пшеница, где моторы, боеприпасы, солонина и хлеб Сибири.

Андрон не мог всего этого видеть своими глазами, но знал из газет, из рассказов Калюжного и Николая Ивановича. Шестым, необъяснимым чувством понимал — нет такой силы, чтобы сломить упорство россиянина.

Большая беда откинула прочь мелкие неурядицы. За три военных года люди посуровели, и в этой суровости открылись ранее неведомые истинно человеческие отношения. В ночь-полночь в любой из русских деревень останавливались татарские обозы с хлебом и мясом, и по всей улице зажигались огни. Хозяин набрасывал на плечи нагольный полушубок, помогал распрягать измученных лошадей, подбрасывал им своего сена, а на столе уже шипел самовар, хозяйка растапливала подтопок, чтобы просушить мерзлую обувь приезжих.

Совершенно незнакомые люди делились куском хлеба за скудным ужином, рассказывали друг другу о постигших их дом несчастьях. И чаще всего оказывалось, что они имеют общих знакомых и что их собственные невзгоды не так уж и велики, а вот у того-то в семье троих недосчитывают. И каменели сжатые кулаки.

Неведомыми путями становилось известно, что у такой-то вдовы в такой-то деревне сын получил боевой орден, что у Хафиза из Кизган-Таша или Никифора из Константиновки в лазарете отняли ногу. Какой он теперь работник!

А работы много! Всё поднимать надо заново. Это здесь — в глубоком тылу. А что говорить про те места, где побывали фашисты? Каково тем-то людям! Тут хоть домишки целы, у каждого коровенка, свой

огород. Да и страху настоящего не видывали: немец с автоматом не ломился в дверь среди ночи.

С приездом Николая Ивановича рассуждения Андрона о больших и малых заботах государства приобрели иной оттенок. Война вывернула наизнанку и всё то, что крылось дурного в людях. Хапуги и вымогатели показали подлинную личину, накипью всплыли кверху кулацкая жадность, угодничество, поджалимаж. Взять того же Илью Ильича — константиновского председателя. Колхоз еле дышит, а он и себе и сыну по новому дому срубил. Чуть что — в Бельск, к Антону. И всё хорошо у него, по всем статьям в авангарде!

— Очистимся, дай срок, — не раз говаривал Николай Иванович, — вся эта мерзость окажется за бортом. Надо видеть большую правду, а ее теперь ничто не заслонит.

Любую сводку Информбюро он поворачивал на гектары весеннего сева, расстояние от Сталинграда до Киева и Берлина измерял пудами нового урожая, поголовьем сохраненного молодняка на артельных фермах и отремонтированными в МТС тракторами.

— Разве не так? — спрашивал он. — Разве не в этом ключ к нашей окончательной и скорой победе? Тут всё: крепость советского тыла, дружба народов, преданность Родине, советский патриотизм. Илья Ильич и Скуратов — охвостье. Один — карьерист и тупица, второй — крохобор и сутяжник.

Как-то сидели они втроем уже в сумерках — Андрон, пасечник Никодим и учитель, разговаривали вполголоса о житейских делах, а в открытую дверь из другой половины падал свет от настольной лампы. Маргарита Васильевна читала вслух ребятишкам рассказы о жизни зверей и птиц. Облепили они ее тесным кругом, сидят и дышать боятся; тут и Андрейка с Митюшкой, и Анка Дымова с Варенькой.

Николай Иванович прислушался, улыбнулся чему-то, подтолкнул легонечко локтем Андрона.

— Вот она — любовь к Родине — с чего начинается, — сказал он при этом. — Для школьника и подростка — это пока что любовь к своему двору, к тропинке, по которой бегают он на речку, к покосившемуся от времени плетню, ко всему живому. Вырастет

человек, горизонт его шире становится, и всё для него родное: и леса, и горы, и дальние города. И если он в детстве не издевался над кошками, не швырял камнями в грачиные гнезда, в зрелые годы он не останется равнодушным к молчаливому горю незнакомой старушки, не польстится на добро соседа. Он не будет топить другого, чтобы пролезть по службе, не станет наушничать, изгибаться перед начальством, а если придет большая беда для всего государства, не шмыгнет в кусты.

Андрон запустил пальцы в бороду, Никодим густо прокашлялся, а Николай Иванович развивал свою мысль далее:

— Вот я говорю о большой человеческой правде. Она выше личного благополучия, сильнее страха за собственную жизнь. Патриотизм — святое понятие, для этого нужно иметь убеждения. А убеждения — это прежде всего дела.

— Мудро сказано, — подтвердил Никодим. — Истинно так: «Аз не волен я веру свою уподобить костям игральным альбо чревоугодию. Сие — суть ублюдство духовное».

— Вот именно! — повернулся к нему учитель. — Вспомните сами, Никодим Илларионович. Когда вы на церковной паперти в окружении бандитов схватили и подняли над головой их предводителя, думали ли вы в этот момент о своей жизни? Или о похвале благочинного за такую удачу? Это я говорю о девятнадцатом годе.

— А вам откуда об этом известно? — удивленно спросил Никодим.

— Знаю. Старик Парамоныч на второй же день после моего приезда всё о вас рассказал.

Никодим только крикнул.

— Ну, а о том, как вы красного комиссара в церкви спасали, это уж позже намного сам Бочкарев поведал.

— Теперь-то хоть жив ли он? — шумно вздохнул пасечник.

— Жудра был у него в Москве. Большим человеком стал: в прокуратуре Союза работает.

— Сложно, очень сложно устроена жизнь, — по примеру Андрона комкая в кулаке свою бороду, го-

ворил Никодим через минуту. — Скудоумию нашему многое еще не подвластно.

Андрон шевельнул лохматыми бровями, а перед мысленным взором Николая Ивановича одна за другой вставали картины, которые невозможно забыть и о которых нельзя рассказать даже самому близкому человеку.

...Сентябрь 1938 года — уфимская пересыльная тюрьма. Потом Вятка, далекое побережье северной хмурой реки за Полярным кругом. В июле 1941 года — пешим маршем в Карелию.

Шли всё время на запад, пересекли железную дорогу Ленинград—Мурманск. И еще прошли километров двести, минуя редкие хутора. Остановились в глухом сосновом лесу, загромажденном огромными валунами. Впереди — за каменистой грядой — два озера, соединенные протокой. Через протоку — мост. Кто-то сказал, что впереди недалеко Финляндия.

На ночь расположились на небольшом островке. Костры разводить запрещено было. Утром за мостом и протокой начали рыть стрелковые окопы с ходами сообщения и блиндажами. Может быть, здесь намечаются маневры? Примерно через неделю земляные работы были закончены. По каменистой гряде и в низине перед протокой в два ряда протянулись траншеи полного профиля с пулеметными гнездами, бревенчатыми козырьками. Судя по тактическому замыслу игры, это главная линия обороны межозерного дефиле, — так говорили бывшие военные, и в том числе Жудра с Мартыновым. Окопы за рекой и мостом — для боевого охранения. Шоссе оставалось безлюдным. Да кому тут и быть, — запретная пограничная полоса!

Но вот шоссе ожило. По нему потянулись крестьянские телеги с ребятишками и привязанными сзади коврами, а в одну из ночей откуда-то издалека донеслись тяжелые вздохи гаубиц; на бледно-молочном небе всё шире и шире стали расплываться багряные отблески пожарищ. И еще одно слово перекинулось из конца в конец каменистого островка: «Война!» А по шоссе уже тарахтели армейские двуколки, отфыркивались перед въездом на мост санитарные автобусы. Артиллерийская канонада перекатывалась где-то за лесом слева направо и теперь уже явственно нарастала

со всех трех сторон. И вот настал день, когда Николай Иванович впервые над своей головой увидел самолет с крестами на желтых крыльях.

Они с Жудрой стояли на берегу протоки, у самой воды. Под мостом бурлила напористая темная река, засасывала в воронки хлопья рыжевато-й пены.

За лесом, совсем недалеко, ухнул трескучий взрыв. Островок всколыхнулся под ногами, сверху градом посыпались сосновые шишки. Один за другим грохнули еще два раздирающих взрыва. Из-за поворота шоссе вырвался зеленый грузовик с солдатами в кузове. Перед мостом машина заскрежетала тормозами. Не дожидаясь полной остановки, солдаты попрыгали через борт. Шофёр переехал на правый берег, а за ним уже потянули по настилу моста черный провод. Саперы укладывали под бревенчатыми переводами противотанковые мины.

«Неужели думают рвать? — спросил учитель у Жудры. — Я ничего не понимаю!»

«А я, Коля, давно уж всё понял», — жарко выдохнул тот. И не успел договорить, — мост вздыбился, и гулкое эхо взрыва долго металось над холодной гладью озер.

Это было 25 августа. В этот день нашими войсками был оставлен Днепропетровск, танковые вражеские клешни тянулись к Москве, Ленинграду, Киеву.

Захваченный воспоминаниями, Николай Иванович не вдруг обернулся на вопрос Никодима.

— Ну а вы-то как попали к партизанам? — спрашивал бывший поп. — Может быть, можно рассказать?

— Можно, почему же нельзя! — невесело улыбнулся учитель. — Пригнали нас на оборонные работы, да и бросили с перепугу в лесу. Как говорится, не было бы счастья...

И снова — туманным наплывом остров на безымянной протоке. Худые, оборванные люди бросились по сходням на берег, столпились возле зеленого армейского грузовика. Старшина в пилотке уже взялся за ручку дверцы кабины и, повернувшись, спросил:

— Кто у вас старший? Знаете вы или нет, что немцы обходят слева? Бьют клин на Петрозаводск?

— Немцы? Какие немцы?!

— Вы что — полоумные? — кричал старшина. — Где вы были двадцать второго июня?!

К старшине подошел седоусый полковник. Так его называли когда-то, а сейчас он был в рваном ватнике и в грубых ботинках.

— Товарищ старшина, я прошу извинения, — сказал он тоном старого штабиста. — У нас нет старшего, и мы действительно ничего не знаем. Если можете, проинформируйте нас.

Старшина опешил.

— Может, вы уголовники? Разойдись, прикажу стрелять!

Полковник не отходил. Он еще раз извинился и повторил свою просьбу.

— Мы не бандиты, — втолковывал он старшине. — Посоветуйте, что нам делать?

— Родину защищать, вот что!

— От кого? Мы думали, это маневры.

Старшина спрыгнул с подножки грузовика, ухватил полковника за полы ватника, встряхнул, как подростка:

— Через час-полтора здесь будут немецкие танки! Немецкие, понимаешь? Два месяца мы воюем с фашистами. Хороши «маневры». Товарищ Сталин сказал, что дело идет о жизни и смерти Советского государства! Вся Прибалтика, Белорусь, Украина захвачены. Немцы идут на Москву и Ленинград. «Маневры!...»

Расступись земля под ногами, повались вокруг вековые сосны, это не так бы ошеломило товарищей Николая Ивановича и его самого. А старшина из-под фанерного верха кабины выдернул «Правду» и тыкал пальцем в жирный столбец сводки Информбюро. Через плечо полковника Николай Иванович видел подчеркнутые наименования городов: Днепропетровск, Полтава, Смоленск, Брянск, Псков, Кингисепп, Гатчина.

— Я попрошу вас, оставьте нам эту газету, — с трудом и не сразу выговорил полковник. — И еще: если можете, две-три винтовки, гранат и патронов. Если дело идет о жизни и смерти Родины, мы не уйдем с этого берега.

— Вы что — смеетесь? Сколько вас тут?! Сотни

две? Две-три винтовки! — Старшина вскочил на подножку. — А он танками прет, бомбовозов у него до черта... Винтовок дать не могу. И никто вам оружия не даст.

Только сейчас рассмотрел Николай Иванович, что старшина совсем молоденький, должно быть — курсант, что он очень часто озирается вокруг, смотрит на небо.

— Наших тут нет, дорога открыта. Всё переброшено на вторую линию обороны, — продолжал старшина, прислушиваясь к нестройному шуму в вершинах сосен. — Топайте следом за нами, да побыстрее. Или вы в плен сдаться думаете? — рванул из кобуры пистолет. — Ра-зойдись от машины! Кому говорят!

— Доложите командованию, — сухо перебил его полковник, — что на этом рубеже оборону занял батальон особого назначения. Пусть донесут куда следует.

Машина ушла, но вскоре вернулась. Полковник не кончил еще ставить боевую задачу. Она заключалась прежде всего в том, чтобы каждый добыл себе оружие. Взять его нужно было у врага. Это — главное. Старшина выпрыгнул из кабины:

— Вот вам еще газета. У шофёра была припрятана. Тут речь товарища Сталина. Русским вам языком говорю — уходите. Может, больные есть? Давайте кого увезу...

* * *

Над лесом слышался тяжелый гул, девятка двухмоторных бомбардировщиков на небольшой высоте прошла над озером, удаляясь на юго-восток. Где-то слева и сзади, далеко и глухо, торопливо хлопала зенитка. Возле самолетов взброс стали появляться дымные кляксы разрывов. А бомбовозы шли, не меняя ни высоты, ни курса. Звено за звеном. За первой девяткой с таким же надсадным ревом моторов проплыла вторая, третья. Даже деревья замерли, захлестнутые тугой волной этого рева.

Николай Иванович оказался в боевой группе Жудры. Им предстояло переправиться на противоположный берег протоки, вернуться на остров, забрать брошенные там топоры и пилы. План был таков: под

видом сбежавших уголовников встретить передовую фашистскую разведку. Сколько их может быть? Самое большое — отделение. Предложить свою помощь в наведении моста. Выбрать момент — и в топоры.

Чтобы не тратить времени, повалили два дерева, очистили их от сучьев. Ждать пришлось не так уж и долго. На шоссе показалось пыльное облачко. Вот оно вытянулось. До слуха донесся нарастающий треск мотоциклов. Жудра вышел на дорогу и стал размахивать шапкой. Головной мотоцикл затормозил и круто развернулся поперек дороги. Не надевая шапки, Жудра единственной рукой указал на взорванный мост. Его тут же окружили солдаты в приплюснутых касках и в коротеньких мундирах мышиного цвета.

У Николая Ивановича пальцы рук стали противно липкими и пересохло во рту. Немцев было шестеро. Все с автоматами, на люльках мотоциклов — пулеметы.

— К волку в пасть, — сдавленным шепотом выдохнул в затылок его сосед.

— Замолчи! — оборвал его второй.

Жудра в окружении автоматчиков направился к мосту. Человек без руки, заросший и оборванный, конечно, не мог вызвать подозрения. Вот он еще махнул шапкой. Это было сигналом, что всё идет хорошо, можно вставать остальным.

— Раз, два, взяли! — зычно скомандовал Николай Иванович. Два бревна, подхваченные на плечи, покачиваясь выплыли с острова на поляну. Под каждым по семь человек, и у каждого топор за поясом.

Николай Иванович шел под комлем. Он первым ступил на дорогу. Верзила немец, с выпученными водянистыми глазами, в расстегнутом мундире, стоял возле мотоцикла, похлопывая ладонью по автомату, болтавшемуся поперек живота, губастым ртом жевал окурок сигаретки. Нижняя рубаша была у него засаленной и грязной до желтизны и также расстегнута, обнажая грудь, заросшую густыми рыжими волосами.

Бревно напирало, а Николай Иванович всё смотрел на гитлеровца, теперь уже через плечо. Взгляды их встретились, и немец перестал жевать окурок. Пальцы его метнулись к затвору автомата.

«Боишься! — успел подумать учитель. — Ты же с автоматом, дура!»

Вот комель поравнялся с Жудрой. Коверкая русскую речь, тот разговаривал с офицером, разыгрывал «мужичка». Офицер, сухой и жилистый, был выше чекиста на целую голову. В левой руке он держал раскрытый металлический портсигар. Угодливо кланяясь и прижимая к груди рваную шапку, Жудра неумело взял сигаретку.

Автоматчик в расстегнутом мундире шел рядом с бревном, не спуская настороженного взгляда с Николая Ивановича. До него можно было рукой достать. Остальные плотным кольцом окружали Жудру.

«Этот по мою душу, — скользнула в мозг учителя короткая сверлящая мысль и застряла где-то в затылке, — понял, сволочь».

Солдат лениво переступал за плечом, грузно вминая зернистый гравий.

— О, я хорошо понимал бетный русски мушик, — донеслось до слуха Николая Ивановича сказанное офицером. — Фам будет за этот помощ большой, как это по-русску?.. Ниски поклон. Ого! Яволь. Я понимал... сталинский каторга.

«По мою душу...»

— Поберегитесь, ваше благородие, поберегитесь! — предостерегающе крикнул Жудра и оттеснил офицера на обочину. — Зашибить могут по нечаянности. А вы что, окосели?! — обрушился он тут же на вторую партию. — Правее, правее заноси вершину! Куды прешь?! Сказано было: одно — налево, другое — направо. Так! Бросили разом! И в топоры их. В топорики!! Р-ра-а-зом!!

Толчком плеча Николай Иванович сбросил комель и, прежде чем к ногам его упало бревно, выхватил из-за спины топор. Не глядя, ударил наотмашь. И еще раз, теперь уже лежащего, под каску. На дороге образовалась свалка. Люди катались в пыли, хрипели. Справа и слева слышались тупые удары. Так мясники под навесом рубят воловьи туши. И ни единого выстрела. Слишком внезапным для гитлеровцев было нападение. И до безумия яростным.

Николай Иванович отошел потом в сторону, отдышался, механически провел лезвием топора по ладо-

ни, как это делают плотники, и тут же отдернул руку. Его мутило.

— Вот это и есть «по-рюсску большой ниски поклон», — передразнивая фашиста, говорил, вытираясь, Жудра и перешагнул через распластанного возле мотоцикла офицера. — Снять пулеметы, забрать с убитых оружие! Всех в протоку!

На другом берегу неистовствовал полковник. Из траншей кверху летели шапки, разноголосое «ура!» волнами перекатывалось по каменистой высотке. Так началась война для каменнобродского учителя.

...В тот же вечер еще один бой. Теперь уже с наступающей пехотой, рассыпанной в цепь. Шесть автоматов и два ручных пулемета, снятые с мотоциклов, сделали свое дело. Били с острова в упор, одиночными выстрелами. Противоположный берег молчал. Рота откатилась, а в группе Жудры почти у каждого стало по два автомата. В сумерках налетела авиация...

Три дня «батальон особого назначения» удерживал переправу, в ночь на четвертые сутки отошел на следующую гряду. «Батальона» уже не было, не было и полковника. Он погиб у протоки, и даже мертвый не выпускал рукоятки трофейного пулемета.

Всё это промелькнуло перед глазами Николая Ивановича. Никодим и Андрон молчали.

— С половины августа и до самого Нового года были мы в окружении, в глубоком тылу, — рассказывал им Николай Иванович. — По лесам и болотам шли к Ленинграду. С боями. Пробриться не удалось. Обошли Ленинград с запада и — по льду — через Финский залив. Оказались в Эстонии, а потом повернули на восток. Из немецких газет и со слов перепуганных полицаев знали, что где-то под Псковом и Новгородом сохранился кусочек советской земли, что называется он Партизанским краем. Морозы и голод брали свое. И вот, когда мы вконец обессилели, когда чувство самосохранения уступило место тупому безразличию, мы перестали маскироваться. Шли уже по дорогам, среди белого дня. Дрались жестоко и сами удивлялись тому, что остаемся живыми. Раз на лесной поляне ночью развели большие костры. Много костров, чтобы у вражеских летчиков сложилось мнение, будто внизу расположился на отдых по мень-

шей мере партизанский полк. И самолет действительно прилетел. Мы отошли в глубь леса и долго ждали. Он долго кружил над поляной. И не бомбил. А утром один из нас увидал на снегу листовку. В ней говорилось, что немцы разгромлены под Москвой, отброшены на четыреста километров.

— Как же мы были счастливы! — продолжал учитель. — К вечеру вышли к железной дороге. По шпалам направились прямо на станцию. Без дозоров и охранений. Шли кучей, а двое или трое в первом ряду громко разговаривали по-немецки. Часовой у семафора сам отбросил рогатку. И уткнулся ничком возле стрелки, а на место его встал наш человек. Так же кучей ввалились в комендатуру. Без выстрела расправились с десятком развалившихся на нарах солдат из караульной команды. А через площадь, во дворе приземистого каменного дома, дымила походная кухня и до роты гитлеровцев топталось возле нее с котелками. Двое из нас напялили на свои лохмотья немецкие шинели, насовали в карманы гранат, взяли бачок. У окна на втором этаже пристроился пулеметчик. Пять или шесть автоматчиков, также в немецких шинелях, нехотя пересекли площадь, переулком обогнули казарму. Двое с бачком подошли в это время к воротам. Повар-немец в халате и с черпаком взгромоздился на подножку кухни, приподнял крышку котла. И тут в толпу полетели гранаты, пулеметная очередь скосила добрую половину ошалевших фрицев, автоматчики из-за тына прикончили остальных. Вот что значит коротенькая листовка, — далекая Москва удесятирила наши силы.

Николай Иванович провел ладонями по вискам, добавил минутой позже:

— Дня через три мы оказались у партизан. Рассказали, кто мы такие, и сдали оружие. Комиссар только руками развел. Вот он-то и посоветовал нам послать в Москву своего человека. Самолетом отправили Жудру... Почему я не писал, что был ранен? Так это уж после того, как Жудра вернулся. И бой-то совсем пустяковый был. За спиной у меня разорвался шальной снаряд. Ничего; врачи говорят, что со временем отойдет от кости осколок. Ничего...

Мухтарычу нездоровилось, — годы брали свое. Крепился, однако. Днем помогал Дарье накормить, напоить коров, прибрать за скотиной, а ночью всё больше лежал. И сна не было. Мысли путались. Когда-то они были легки и быстрокрылы, как ласточки над дорогой, потом пошли шагом, а сейчас плетутся нога за ногу, спотыкаются. Стар становился Мухтарыч и слаб. Когда-то одной рукой осаживал норовистого коня, шутя перекидывал на мельнице тугие мешки с мукой, теперь с трудом поднимает бадью у колодца. И глаза видят плохо. Жизни в них не осталось, одна тоска.

Дарье надо помогать, — без Улиты ей не управиться. Хорошо, что у нее такие славные дочери. Двое старших приходят чуть свет вместе с матерью, а вечером прибегают еще две школьницы. Эти только мешают, норовят украдкой от деда утащить охапку сенца телятам. Андрон за это ругается, а разве за ними усмотришь? С Улитой было бы лучше. Но она уехала из деревни, перебралась жить на Большую Гору. Говорят, что работает там поварихой в столовой, а еще говорят, что поселилась в одной квартире с Семеном Калюжным. Разное говорят.

Больше всего хотелось Мухтарычу увидеть Мишку. Старик каждый день спрашивал Дарью, нет ли письма. А письма теперь приходили не часто. Потом ранили Мишку, лечился в Казани. Ждали, думали, может, заедет. А он не приехал. Снова воет, теперь еще дальше. Митька сказал: в Белоруссии.

Раз пришел Николай Иванович. Старик угостил его чаем. Чай хороший, сам делал. Морковь сушил в темном месте. В печке она горит, на солнце ее сушить тоже нельзя: навару такого не будет. А кирпичного чаю давно нет. Без крепкого чаю нет силы. Чай в котелке — тоже не чай. Спасибо Андрону, — во всей деревне на найдешь такого самовара. Если еще достать бы кирпичного чаю, не стал бы хворать Мухтарыч.

В другой раз Дарья долго сидела в сторожке. К ней пришла жена агронома. Наверно, хотела поговорить, чтобы никто не слышал. Мухтарыч — старик, он никому не скажет. Анна плакала, говорила: «Пойду ночью на озеро, брошусь в прорубь». И Дарья тоже всё

время вытирала глаза, ругала Улиту нехорошими словами. Вот теперь вяжется к Семену, а того не думает, что она ему не ровня. Послушала бы, что говорят в деревне.

— Улита тут ни при чем, — всхлипывала Анна, — сама я кругом виновата. После письма того два года как в темном лесу ходила. Свету не видела. А тут мать у Вадима Петровича умерла, привязался он к моей Анке. Всё как в чад. Чья я теперь жена? Ну скажи — чья?!

— Кто люб тебе больше, — ответила Дарья, — к тому и клонись.

— Во второй-то раз не приклонишься. Да и не смогу я этого сделать. Не смогу! Одна мне дорожка...

Дарья двойным узлом затянула концы платка, выпрямилась. Долго смотрела в окошко.

— Вот что скажу я тебе, — слышал Мухтарыч другой, не Дарьин, голос — без бабьего придыха, — дурь эту выбрось! Слово мое такое: не можешь здесь оставаться, забирай ребятишек и — в Бельск. Там вон нефтяники перегонный завод пускают. Вечор у Андрона снова вербовщик сидел. Говорил — и с детьми берут. Ясли там есть при заводе. Для нефтяников всё сейчас в первую очередь. И карточки полные, и денег больше других получают. Ты грамотная, больше моего понимаешь.

— А совесть свою куда деть?

— На народе изгладится, не одна будешь. Сколько лет-то тебе? Тридцать? Я в твои годы с шестерыми осталась. И пятно на мне было похуже, чем у тебя. Живу! — так же сурово заключила Дарья. — И не рви! Посмотри, на кого ты похожа стала!

Дарья еще что-то хотела добавить, но вдруг споткнулась на половине слова, и губы ее задрожали.

— Мы с Маргаритой Васильевной как могли уберегали тебя от этого известия, — начала она виноватым шепотом и комкая кончик платка, — хоть и знали, что откроется всё не сегодня-завтра. Ведь ты последние дни ходила. Мишка писал — своими глазами видел его у партизан. Ну, скажи, у тебя повернулся бы язык на такое? Письмо я сожгла и девкам своим наказала забыть про него. Что есть, то есть, никуда от этого не денешься. А ты бы ведь задохнулась разом!

Обхватив голову руками, Анна раскачивалась из стороны в сторону. Теперь-то она поняла наконец, почему в тот день, когда уезжала в больницу, у Дарьи глаза были дикими, а Маргарита Васильевна спрятала недописанное письмо.

Мухтарыч в свои восемьдесят лет видел много людского горя. Одних оно ломит грозовым ударом, другие стареют на глазах, вянут, как скошенная трава, третьи немеют. Сейчас, глядя на Анну, он сравнивал ее с молодой белоствольной березкой. Вот выросла она на пригорке, сама по себе, никем не примеченная, распустилась, бросила на немятые травы голубую тень. По утрам, умытая свежими росами, радовалась восходящему солнцу, в полдень слушала жаворонка и засыпала к вечеру, невнятно шелестя листвой и свесив до пояса густые зеленые косы, переплетала их сонными пальцами. И люди увидели: ах, хороша!

Это было весной. А осенью налетели холодные, злые ветры. Вздогнула, сжалась березка, застонала жалобно. Одна, кто услышит? Вправо, влево посмотрит: птички нет, солнышка тоже не видно. Ветры присели на задние лапы, окружили, как голодные волки. Взвились, пошли колесом, когтистыми черными лапами сорвали богатые наряды, с воем и жутким хохотом разметали по кустам и оврагам последние листья. Мечется, рвется березка, кто ей поможет?

Мухтарыч закашлялся. Худое, иссохшее его тело содрогалось беззвучно. Сел на своем топчане. Под посконной рубахой торчали кверху острые лопатки, а голова ушла вниз. Старик больше всего походил теперь на хворого ворона. Расставленные в стороны локти дополняли это сходство. Но ворон — мудрая птица, мудр и старик Мухтарыч. Про Анну он знает всё, бригадира Владимира Дымова помнит таким вот мальчишкой. Ух, какой парень был, вся деревня стонала! Такой один раз в жизни любит. Что бы ни было — всё равно любит!

Старик поднялся с топчана, шаркая по полу толсто подшитыми валенками, подошел к столу, любовно погладил коричневой узкой рукой горячий бок самовара, налил себе кружку чаю. Выпил маленькими глотками, жмурясь от наслаждения. Самовар — единственная, и теперь уже последняя, радость Мухтарыча.

— Вот ты меня слушай, — сказал он, обращаясь к Анне, — Мухтарыч живет два раза по сорок лет и еще три года. Мухтарыч всегда говорит правду. Бригадир Владимир Степаных раньше всех воевать научился. Мы тут совсем ничего не знали — он самурая танком давил. Ушел на большую войну, потерялся. Думали — неживой, а он самый большой награда получает. Скажи агроному, чтобы ушел. Он тоже хороший человек, всё равно пусть уходит. Так надо.

Анна молчала, смотрела на старика круглыми, как у испуганной птицы, глазами. В них сквозила застоялая пустота, отрешенность.

— Владимир приедет, вот увидишь. Скажи ему всё, как было. Всё скажи. Слезы не надо. Когда слезы много, мужик не верит. Всё хорошо будет. Я сказал. Хочешь, бери самовар. Н^а! Мухтарыч скоро умрет, а самовар каждый день пусть говорит тебе: «Всё хорошо будет». Только не надо слезы. Я знаю, когда много слезы, мужик — как шайтан.

Тонкие брови Анны приподнялись, она попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась. Только скорбные складки возле губ обозначились еще резче.

— Ну зачем мне, дедушка, твой самовар! — сказала она. — Я тебе верю и так. «Шайтан», говоришь? Нет, он не такой. Вот потому мне и горько. Как в глаза ему гляну? Что скажу?

— Глаза сами скажут, сердце поймет.

«Сердце поймет, должно понять, — думала Анна, возвращаясь домой. — А если он зажмет его в кулаке? Так он и сделает, он это может».

Вот переулок с Озерной на Верхнюю улицу. Старые дуплистые ветлы. Сейчас они тонут в рыхлом снегу, как нарисованные. И на сучьях снег. А тогда было лето, вот здесь они и встречались, укрытые низко опущенными ветвями. Давно это было.

«Было...» Никогда не думала Анна, что короткое это слово так тяжело выговорить, и машинально подняла руку, чтобы, неизвестно зачем, отломить веточку. Это оттого, что за ним обязательно стоят другие. Было всё: любовь, молодость, счастье. Было...

Веточка хрустнула, как стеклянная, а с других посыпался мелкий игольчатый иней. Анна подставила вторую руку, ладошкой вверх, поднесла ее ближе к

глазам, долго смотрела, как еле приметные ледяные пушинки тают и тут же испаряются, не успев образовать капельки.

«Вот так и люди. Нарождаются — умирают, и нет после них ничего, — продолжала она свои невеселые рассуждения. — Мучаются, ждут чего-то. И — пусто. А ветла всё на том же месте, всё такая же старая и молчаливая. Скольких видела она у этого тына? Сюда по ночам пробиралась Улита, тут ее дожидался Фрол. Егор обнимал здесь Дуняшу. И мы взяли за руки тут же...»

— Срубить тебя надо, сжечь, — чуть не выкрикнула Анна, делая шаг к замшелому, искривленному стволу ветлы. — Ты — ядовита! Будь проклята после этого... за Улиту, Дуняшу и за меня!

Вадим Петрович встретил жену на крыльце. Он всегда так делал: если Анна задерживалась где-нибудь, сидел у окошка, посматривая вдоль улицы, слушал, не скрипнет ли калитка, и выходил на крыльцо. Не оставил своей привычки и после того, как Анна сказала: «Не трогай больше меня и не подходи. И Степку на руки не бери — кончено!»

А он ждал чего-то, надеялся и молчал. Вот и сейчас стоял на крылечке, придерживаясь рукой за верх широко распахнутой двери, поеживаясь от студеного ветра. Постороился, когда Анна поднялась по ступенькам, убрал руку с двери. Ничего не спросил, а ветер трепал рубаху, обжигая открытую шею.

Анка качала зыбку, тоненьким голоском тянула бесконечную песенку собственного сочинения: «А-а-а, о-о-о, у-у-у, з-з-з»; Фроловна лежала на печке, головой в темный угол. Давно уже так: днем лежит на печи, ночью бродит в потемках, скрипит половицами. С того дня это, когда сам же Вадим Петрович сказал за столом, запинаясь и не притрагиваясь к ложке:

— В конторе у нас, в ленинском уголке, ко Дню Красной Армии выпустили стенную газету. В первом столбце — список бывших трактористов и механиков, награжденных на фронте. Ордена нарисованы, а рядом — фамилии. Погибшие черной рамкой обведены, живые — красным подчеркнуты. Ваш сын, Агриппина Фроловна, в этом же списке.

— Обрадовал! — скорбно вздохнула мать. — Эта черная рамка третий год у меня перед глазами.

— Не черная, мам. В газете не черная.

Агроном поднял голову (Фроловну он называл мамой) и еще раз сказал:

— Не черная.

— Жив он, мама, — добавил он через минуту. — Калюжный это сказал. Газета у него, «Правда» ноябрьская. Там Указ. Партизан наградили. И Дымова Владимира Степановича.

У Анны тогда упала из рук тарелка. Фроловна медленно встала из-за стола, обернулась в передний угол. Еще медленнее того подняла руку, чтобы перекреститься, и с деревянным стуком рухнула на пол. С того и пошло: перестала Анна различать день от ночи. А писем от Владимира не было. Партизаны, они ведь тоже не железные. Кроме фамилии, может, никто и не знал в отряде, кто он, откуда. В одном бою отличился, в другом — погиб. Кто об этом напишет? Куда?

Вадим Петрович осторожно прикрыл дверь за Анной, дождался, пока она снимет шаль, полушубок, повесил всё это на крюк. Вздохнул за спиной протяжно, молча прошел на носках к угловому столику и так же молча вернулся на середину избы. В руках у него был зеленый конверт.

Анна успела заметить, что Вадим силится что-то сказать, что он как-то обмяк и ссутулился, а лицо у него растерянное и несчастное. Но он ничего не сказал, подал письмо.

Анна взяла недоверчиво и со страхом, и в глазах у нее зарябило. Его рука — Владимира Дымова, Анкиного отца! Его буквы: угловатые, непослушные и вразброс. Каждая — сама по себе, без хвостиков и завитушек. А пониже треугольного штампа с надписью «воинское, бесплатно», в жирной почтовой печати — «23.03... Махачкала».

— Двадцать третьего марта! — прошептала Анна. — Сегодня... сегодня тридцатое! «Махачкала»... Так это же на Кавказе!

Метнулась к окну. Еще раз перечитала: «Дымовой Анне Екимовне». По отдельности каждую букву разглядела, точно в руках у нее на помятом конверте

были не закорючки-буквы из засохших, густых чернил, а бесценные уральские самоцветы по строчкам расставлены. Шевельнись неосторожно, вздрогни — граненные камушки тотчас перемешаются, скатятся на колени и на пол. Попробуй потом собери!

— А-а-а, о-о-о, у-у-у, — монотонно тянула Анка. — А-а-а, з-з-з. Да будет тебе таращиться. Спи!

Анна прижала конверт к груди, выпрямилась. Без шали и полушубка бросилась в дверь — к соседке, к Маргарите Васильевне...

* * *

На песчаной косе ниже Красного яра в феврале—марте выросли высокие штабеля свежесрубленных бревен. Андрон и сам теперь диву давался, — все колхозы района отозвались на небольшую статейку в газете, которую написал Калюжный. Райком партии поддержал предложение артели «Колос», и вот в конце марта бригады лесорубов одна за другой стали рапортовать в райком: заготовлено и вывезено к месту вязки плота восемьдесят кубов деловой древесины, сто двадцать, двести...

В апреле на той же косе начали вязку кошм. Плот связать — дело непростое, а такой, чтобы дошел до Саратова и не разбило бы его тяжелой низовой волной где-нибудь на хмурой Каме или не выбросило бы на отмель у Сызрани, и того мудреней. Для этого призывали хороших плотников и сивобородых дедов.

Добрый плот вяжется без железа; в старину купцы так вязали, сберегая копейку, а плоты доходили до Царицына и самой Астрахани. Этакая машина с полверсты длиной и в пять рядов кошм, да в каждой по пятнадцать—двадцать рядов кругляка! И сплавляли их бывалые люди—кряжистые и бородатые дядьки, которые могли удержать плот на стрежне в жестокую бурю, провести его в узкую горловину переката темной дождливой ночью, если надо — не спать по двое, по трое суток, и всё это время не отходить от длиннющих весел-лесин, отгребать голову или хвост то вправо, то влево, а потом, когда гиблое место останется позади, свалиться ничком на скользкий настил и проспать, не вставая, столько же. И не беда, что одна

рука по локоть свесилась в воду, что солнце нещадно печет открытую голову.

Плот вяжется так: на сухом берегу из толстенных бревен рубят «окно» в шип и с заклинками. Два такие «окна» ставят на ребро, волоком тянут на мелководье. Тут накатывают первый ряд бревен и чтобы был он вдоль по течению реки. Потом — поперек, снова вдоль. И так рядов восемь-десять, смотря по глубине водной дороги. «Окна» зажимают кошму по торцам бревен. Кошмы потом оплетаются четырьмя пеньковыми канатами толщиной в руку — попарно, справа и слева, сверху и снизу по оконным лежням. Вот и получается связка кошм. «Плеть» — говорят.

Чаще всего этим делом занимаются в затонах на большой реке, а сюда бревна идут из верховья молевым сплавом. Но такая работа требует много людей, а сейчас у каменнобродских и кизган-ташевских колхозников такой возможности не было. Поэтому кошмы вязали на месте, по восемь рядов кругляка; в хвост и в голову — по десять, для устойчивости.

Тут же, загодя, подобрали и плотогонов. Восемнадцать кошм сплавить до Белой и не разбить на крутых поворотах Каменки — тоже подумать надо. Мужиков подобрали бывалых, самому молодому — за пятьдесят. Лоцманом брат лесника Закира вызвался, — что вдоль, что поперек, быка кулаком повалит. Он сам выбрал себе помощника, назвал рулевых.

Плот закрепили свайками, чтобы полой водой не сорвало, на берегу ворот установили. Когда отшумела Каменка и паводок схлынул, вывели плот на глубокое место. Он удерживался теперь канатами, переброшенными на оба берега. Самое трудное — не порвать связку кошм до выхода к Бельску. Там можно и укоротить плот: связать кошмы в ширину попарно. Такой и пойдет быстрее, и управлять им лучше, а по Каменке не развернешься. Тесно, и к берегу жмет местами. Тут — знай поворачивайся!

Оголились лобастые камни на Красном яру, Каменка вошла в берега, а плот всё еще стоял на месте. Лоцман храпел в шалаше с бульканьем и присвистом. Калюжного стало забирать беспокойство.

— Ты теперь не встравай: мастер знает, что делать, — невозмутимо отзывался Андрон. — Сдается

мне, полнолуния он ждет, чтобы без остановки за ночь на Белую выйти. Там всё равно обождать придется: воды много. На такой стремнине, не успеешь опомниться, на луговую сторону затянет. Шайбак знает, не бойся!

И вот прибежал перед вечером татарчонок. Шайбак сказал: на утре надо свайку рубить!

«Свайку рубить» — старинный обычай плотогонов на мелководных, порожистых речках. Про него давно уже все забыли, а Шайбак помнил. Это значит, надо хорошо и надолго распрощаться с родственниками, — на воде всякое может случиться. А от того, как срубят свайку, зависит удача втяжелом и длинном пути.

Собственно, рубить нужно было не свайку, а канаты, удерживавшие хвост плота. Для этого при помощи ворота хвостовая кошма плота выводится на самое быстрое место реки, течением выравнивает плетъ, нацеливает ее, как перед пуском стрелы. По команде главного плотогона канаты на том и другом берегу обрубают. Сделать это нужно одновременно и с одного удара.

В былые времена купцы-лесоторговцы рубили свайку с молебствием и водосвятием: уплывали десятки тысяч — мало ли! Так делал когда-то и Ландсберг, а Шайбак был суеверным, почитал обычаи дедов. Правда, в водосвятие он не верил. Это придумали русские попы, но в торжестве отплытия была одна очень важная деталь. Перед тем как сесть в лодку и уехать к плоту, вся артель плотогонов садилась на берегу за общий котел. Выпивали по стакану водки, ели густую кашу с солониной. Неважно, что артель состояла из татар и русских, — ели из одного котла. Не беда, если иной раз вместо говядины попадалась и свинина.

Как задумал Шайбак, так и сделал. Окруженные разноязычной толпой родственников и ребятишек, плотогонны чинно расселись вокруг котла. Выпили по стаканчику, и еще по одному. Главный рулевой завязал горловину кувшина тряпичей и с поклоном передал его Шайбаку, с тем чтобы там, на Волге, через месяц, а может и через два, когда плот уже будет причален к берегу, так же всем вместе, дружно присесть к котлу и допить из кувшина остатки. Таков был обычай.

Всё шло как надо. Шайбак сидел уже в лодке, при-

держивая ногами опорожненный закопченный котел, а руками обнимая кувшин. Народ столпился у самой воды, напутствуя своих близких. У врытых в землю столбов с топорами в руках встали Андрон и Хурмат. Чтобы оказать особое уважение Шайбаку, председатели соседних колхозов сами вызвались пересечь туго натянутые канаты. Приближался торжественный момент, плотовщики уже разошлись по кошмам, кто — в хвост, кто — в голову, приподняли над стремниной отесанные из бревен весла. Шайбак снял шапку, чтобы подать сигнал, но тут из прибрежного кустарника рысью выехал верховой на маленькой шустрой лошадке. Это был секретарь райкома. Хурмат и Андрон опустили топоры.

— Сзайку рубите? — спросил Нургалимов у Калюжного, высвобождая ногу из стремени и легко спрыгнув с седла. — Так я и знал. Что же, в час добрый! Давайте, давайте команду!

— Может быть, вы скажете что-нибудь плотогонам?

— Что им сказать? Я уже сказал: в час добрый.

С другой стороны к Нургалимову подошел Крутиков. Секретарь поздоровался с обоими, бросил повод на шею коню.

— Сейчас не время митинговать, — говорил он, выходя на берег и кивая в сторону плота. — Вы сделали очень большое дело. Сколько тут будет кубиков?

— Около двух тысяч, — ответил Калюжный.

— Две тысячи! Так это же поселок в полсотни домов! Замечательно! Да, чуть было не забыл: предупредите своих мореходцев, что в Бельске их встретит моторка. Нефтяники наши приготовили подарок плотогонам: полторы сотни банок дадут рыбных консервов, мешок крупы и махорки пол-ящика. Это, по-моему, самое главное, а речами их угостят там, на месте.

Калюжный сбежал к воде, приложил руки рупором.

— Шайбак! — крикнул он. — У Бельска моторку встречайте! Моторку! От нефтяников вам подарок — консервы, крупа, махорка! Секретарь райкома сказал! Понятно?

— Ай бат-ие. Бик ай бат! — донеслось с плота. — Ипташ Нургалимов спасибо, тебе тоже спасибо!

¹ Хорошо. Очень хорошо (т а т а р.).

Шайбак опять поднял шапку над головой. Хурмат и Андрон одновременно взмахнули топорами, и оба каната, взвиевшись упругими спиралями, с плеском обрушились в воду. Последняя кошма заметно осела, рулевые грудью навалились на весла, плот вздрогнул и тронулся с места, всё больше и больше набирая скорость и обгоняя хлопья желтоватой пены в крутящихся водоворотах.

Секретарь райкома, Калюжный и Крутиков долго смотрели вслед удалявшемуся плоту. Вот он стал уменьшаться, вытянулся в черную ниточку, изогнулся отлогой дугой и скрылся за поворотом.

— В час добрый! — еще раз сказал Нургалимов и только сейчас надел фуражку. Смотрел на пенистые водовороты, на стремительный поток в середине реки, на котором даже ряби не было.

— Не помню, где и когда читал я что-то очень витиеватое про быстротекущее время жизни, — заговорил он вполголоса, поворачиваясь к Николаю Ивановичу. — Вот вы, историк и старый член партии, не задумывались ли и вы над этим вопросом: почему мы обгоняем время? Не подумайте, что я рисуюсь. Просто настроение такое: захотелось пофилософствовать. Откровенно говоря, ехал к вам, чтобы спросить: почему народ не в поле? А вот застал вас на берегу, русских, татар, всех вместе, и этот плот, который мы только что проводили, и подумал: не надо их спрашивать ни о чем. Вы меня поняли?

Николай Иванович кивнул утвердительно, а Нургалимов продолжал задумчиво и снова глядя на середину реки, на быстрину, где даже ряби не было видно:

— Вот она — река в реке! А ведь это всего лишь Каменка — ручеек!

Постоял, подумал еще и всё же спросил, как будет оплачен прогон плота. К этому времени с той стороны переехал на лодке Хурмат, и они вместе с Андроном подошли к секретарю райкома.

— Так на чем же мы условимся? — повторил свой вопрос Нургалимов относительно плотогонов.

— Порешили начислять трудодни, — ответил Андрон. — В день — полтора трудодня.

Нургалимов прищурился:

— Значит, примерно по нормам сева или боронования? — спросил он. — Вижу: прижимистые вы оба! А я бы на вашем месте к пахоте их работу приравнял: два трудодня за день. Борозду ведь прокладывают. Глубокую, и — подумать только — от предгорий Урала на Украину!

Андрон посмотрел на Хурмата:

— Про борозду это вы правильно, Салих Валидович. Верно сказано.

— А я бы добавил еще одну деталь, — включился в разговор Калюжный.

— Какую же? — повернулся к нему Нургалимов.

— На плоту трое русских и пятеро татар.

— Очень важный момент! — согласился Нургалимов. — А лес получают украинцы... Ну так что же вы скажете всё-таки, если всем им по два трудодня начислять? — снова обратился он к Андрону.

— Да мы уж тут мозговали с соседом, — Андрон посмотрел на Хурмата. — Считанные они ведь у нас — трудодни-то, Салих Валидович! И так уж закон нарушаем. Приедет какой ревизор и сразу к стенке припрет: «Посевы уменьшились, а трудодней стало больше! Это как понимать?».

— А вы ему про эту вот интернациональную борозду в популярной форме лекцию прочитайте! — весело поблескивая карими глазами, говорил Нургалимов. И кивнул в сторону уже скрывшегося за поворотом плота. — Если ревизор окажется татарин, попросите товарища Идиатуллина поискать в деревне Коран. Бейте его заветами Магомета: «Если в знойной пустыне встретишь ты изнемогающего от жажды путника, приложи к губам его свой сосуд. Сделай это, хотя бы оставался в нем последний глоток влаги; ведь человека того можешь ты больше не увидеть».

— Ну, ревизора-то этим не удивишь, — заражаясь веселостью Нургалимова, усмехнулся и Андрон. — Он выпьет, отдышится, ирод, а потом на тебя же и акт составит!

Нургалимов от души расхохотался.

К деревне шли берегом, вверх по течению реки; лошадь свою Нургалимов вел в поводу, набросив его на плечо. У Красного яра все остановились. Секре-

тарь райкома долго смотрел на ревуший поток, на мрачные, источенные глыбы внизу, покрытые хлопьями пены.

— Красиво, черт побери! — вырвалось у него. — Даже голова немного закружилась. Тянет он, понимаете?

— Тянет, — мрачно отозвался Андрон и повернулся прочь.

* * *

После своего возвращения домой Николай Иванович видел Нургалимова второй раз. Много знал о нем из рассказов Калюжного, Карпа и Андрона; знал, что с того времени, как заведующего отделом народного образования избрали секретарем райкома, дела пошли лучше. Даже Антон Скуратов заметно прибавил администраторского пыла и совсем стушевался после того, как прокуратура занялась делом Гарифуллы и Пашани. Тогда Антон заболел на почве «нервного переутомления», но Пашаня умер в тюрьме, и Скуратов вскоре поправился.

Зимой, когда Нургалимов вызвал каменнобродского учителя, чтобы вручить ему его партийный билет в довольно истертой обложке, он крепко пожал учителю руку, долго держал ее в своей, а потом спросил, где же Николай Иванович намерен работать. Быть может, стоит подумать о переезде в Бельск? Город всё-таки!

— Буду жить и работать в Каменном Броде, — сказал тогда Крутиков. — На моих глазах в этой деревне настоящие люди выросли.

— Вот за это спасибо. За людей, которых вы вырастили. И за тех, что еще воспитаете. Будем работать вместе.

Сейчас Николай Иванович наблюдал за Нургалимовым со стороны. За Красным яром по лесной тропе свернули в сторону Кизган-Таша. Шли гуськом: впереди Андрон, затем Семен Калюжный с Хурматом, Нургалимов со своей лошастью и позади всех Николай Иванович.

Дорога становилась всё грязнее и уже. Каменка ушла в берега, оставила у древесных стволов кучи мусора. Жирный и липкий, как мазут, ил расползался

под ногами, чавкал, засасывал сапоги выше щиколотки. По обочине голубели подснежники, тонкими белыми свечками пробуравливали прелые листья буйные побеги папоротников. А сверху струился тягучий, как мед, пряный смолистый запах молодой хвои.

Где-то поблизости, скрытые частым ельником, мозабвенно бормотали тетерева, живность лесная копошилась на ветках, чирикала, хлопотала в дуплах и на земле. Вот из-под ног Андрона метнулся вверх по стволу сосны маленький серовато-рыжий комок. Белка! Присела пушистым столбиком на обломанном старом сучке метрах в двух от земли и тут же принялась кокетливо охорашиваться, недовольно посматривая вниз темным настороженным глазом.

Андрон шагал не разбирая дороги и держа руки за спиной. Широкая спина его размеренно покачивалась то вправо, то влево. Слово и не торопится человек, а за ним не угонишься. Калюжный уже расстегнул ворот кителя, снял фуражку, а Андрон идет в шапке и в подпоясанном полушубке, временами останавливается, чтобы подождать отставших, и снова шагает молча, немного сутулится.

Николай Иванович догадывался, о чем сейчас думает Андрон: «Эх, Дуняшка, Дуняшка! Сколько уж лет-то минуло? Андрейке на пасху четырнадцатый пошел...»

— Растревожили вы, Салих Валидович, старую рану у моего хозяина, — вполголоса заговорил Николай Иванович, нагоняя Нургалимова на песчаном пригорке, — не нужно было этим омутом восторгаться!

— А что? — с испугом повернулся тот.

— Дочь у него... единственная...

— Утонула?

— Сама... Сама с крутояра бросилась. Оставила двухмесячного ребенка.

— Да что вы говорите! А я еще «тянет» сказал...

— Давно уж случилось это, когда только-только артель у нас стала сколачиваться, а теперешний председатель тогда еще в сторонке стоял — всё прикидывал да присматривался.

Впереди открылась поляна. За кустом у канавы стоял старый, источенный временем межевой столб; по одну сторону от него начинались земли «Колоса»,

по другую — татарского колхоза «Берлик». Андрон остановился как раз напротив этого столба, для чего-то снял шапку. Стали у столба и Хурмат с Калюжным.

— Вы знаете, Салих Валидович, сколько здесь мужицких зубов да ребер поломано, сколько бород повыдрано с корнем? — нагоняя Нургалимова, снова заговорил учитель, указывая на столб. — До революции на этой поляне деревнями сшибались. Украдкой перекапывали столб.

— И после немало драк было, — вставил свое замечание Хурмат, — до самого колхоза война была. Теперь живем мирно.

— А столб всё же стоит?

— Стоит, — отмахнулся Андрон. — Так, для близу.

Закурили все из кисета Хурмата; Нургалимов закашлялся до слез.

— Ну и ну! — только и выговорил он и даже схватился за горло. — Это же как братишка с фронта мне пишет: «Смерть Гитлеру, конец фашизму!»

— Гитлеру так и надо, а мы ничего — живем, — улыбнулся Хурмат.

— В Крыму им сейчас дают прикурить! С Керчи и с Перекопа одновременно. Слыхали, наверно? — спросил Нургалимов.

— Внучок вечер рассказывал, — подал свой голос Андрон, — вроде бы уж с трех сторон жмут его к морю. Худо вот, Салих Валидович, что радио-то наше совсем замолчало. А сейчас надо, вот как надо это народу! Не то ведь, что было осенью в сорок первом. Помог бы ты нам с батареями. Каждая сотней пудов окупится.

Нургалимов достал записную книжку, а Николай Иванович вспомнил вдруг двадцать девятый год, когда тракторист по ошибке запахал часть полосы Андрона и чуть было не заплатился за это жизнью. Сейчас Андрон просит у секретаря райкома батареи для приемника: «Каждая сотней пудов окупится!» Не себе — государству! Ну как же можно было подумать Нургалимову, что учитель оставит этих людей! И могила на вершине Метелихи. Дочь...

— Что вы сказали?

Это спросил Нургалимов. Оказывается, последнее слово Николай Иванович произнес вслух.

— Не обращайтесь внимания. Это со мной случается! — попытался усмехнуться учитель. — Стареть, верно, начал: как ни говори, на шестой десяток перевалило.

— Будет вам. Мы еще спляшем на свадьбе вашей Вареньки. Верно, Андрон Савельевич?

— А это я давно уж ему говорил! — живее обычного отозвался Андрон. — И ему, и Семену вон Елизарычу, и Хурмату. Вот переженим, повывадем замуж всю эту теперешнюю мелочь, сдадим им свои дела, и тогда уж — на полную пенсию! Кто на лежанку, кто на печь.

— Но для этого надо еще поработать, Андрон Савельевич! — подхватил Нургалимов. — Поработать на совесть, чтобы молодым хозяевам оставить в наследство добротный дом! Крепкий, просторный, полный света и воздуха! Чтобы молодым не пришлось с первых же дней беспокоиться о ремонте и не вздумали бы они, упаси бог, подпирать стены кольями!

— Понятно, понятно, Салих Валидович! — всё более оживлялся Андрон. — Пока силенка имеется, постараемся кое-что еще сделать. Пошатнулись мы, правда, крепенько пошатнулись, да ничего — сдюжили. Вот с фронта парни вернутся, такую домину отгрохаем, на века! Под железом и на каменном фундаменте. И чтобы никакие Гитлеры заугólка бы в нем не выгрызли!

— Вот это сказано! Давай!

Нургалимов вплотную подошел к Андрону, широко размахнулся, с силой ударил своей коричневой узкой рукой по расставленной пятерне Андрона.

— Давай! И ты, Хурмат, и вы, товарищи, — продолжал секретарь райкома. — Здесь у этого старого межевого столба, заключим негласный договор: вместе достраивать общий дом. Светлый, просторный и на века!

Хурмат, Калюжный и Николай Иванович присоединились к рукопожатию Андрона и Нургалимова. Пять крепких, натруженных рук легли одна на другую.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Андрейка сидел на грядке телеги, покусывал соломинку, пятками босых ног упирался в ступицу заднего колеса. На манер деда сутулился, хмурил пока еще тонкие брови. Андрейке хотелось есть, в животе урчало. А с поля не убежишь. Тут уж, как по пословице: «Назвался груздем...» Его приятель Митюшка на паре лошадей заканчивал боронить школьный участок земли, переданный по специальному решению правления колхоза. Земля добрая, перегной, до войны клевера тут года два сеяли. По стогу с гектара накашивали. И от деревни близко, сразу за озером, и скотный двор — вот он, рядом.

Андрейке было известно, что дед намеревался посеять здесь вику; участок был вспахан под зябь, а семян не достали, вот и отдали школьникам, чтобы сорняками не затянуло. Об этом сам же Андрон и сказал при всех: «Посмотрю, что у вас выйдет из этой затеи. Если пырей заглушит посев, сразу велю запахать, и только вы этот участок и видели». Когда стоял снег, в воскресенье всей школой навоз из куч в разные стороны растаскивали, а потом, дня через два, шел Андрейка домой после уроков, посмотрел с горки за озеро: поле вспахано, и трактор ползет обратно в деревню. Прибежал тогда он к директору, без спроса вскочил в учительскую:

— Николай Иванович, это что же такое? Не доверяют нам, что ли?

— Кто вам не доверяет?

— Говорили, что и пахать и сеять сами будем...

— Ах, вон ты о чем! — догадался Николай Иванович. — Это уж, братец, моя вина. Я вчера упросил бригадира из МТС клинушек этот поднять, вот они с утречка и смахнули. А что, разве плохо?

— В глаза потом будут колоть, скажут: «Чужими руками!»

— Не скажут. Зато всё остальное вашими будет сделано. Вашими, вашими! — успокаивал Андрейку Николай Иванович. — Только не ленитесь. Теперь вот проси у Нефеда лошадей на завтра. Проборонить надо с толком. Земля-то три года пустовала. А я завтра же

еще с бригадиром трактористов потолкую; может, сеялку на полдня даст.

— Так опять же оно не нашими!..

Николай Иванович сочувственно развел руками, вздохнул даже:

— Механизация! Ничего тут, брат, не поделаешь. Я ведь хочу, чтобы участок наш был показательным! Чтобы соседи к нам на экскурсию приходили! Не можем же мы по-дедовски, из лукошка, сеять! — говорил он расстроенному подростку. — Раз так — вот вам еще задача: на первых порах научиться с тракторной сеялкой управляться. Бригадир вам расскажет, покажет, и сами вы поедете с ним на подножке. А потом не худо было бы и трактор помаленьку изучать. За лето многое можно узнать. Сосед-то ваш — Дымов Владимир — как раз с этого и начинал. Он ведь без курсов на тракторе поехал, а потом и бригадиром стал. Вот вам пример! Ладно, не расстраивайся, всё хорошо будет. Беги-ка давай к Нефеду.

Нефед поворчал-поворчал для видимости, не вынимая изо рта трубки, но лошадей всё же дал. И две бороны железных. Сбрую сам вынес из-под навеса.

— Так мне не сегодня! — начал было Андрейка. — Николай Иванович на завтра просил. Завтра у нас уроков поменьше.

— А у меня побольше, — ответил Нефед. — Дают, так бери сейчас.

Вот и остался Андрейка без обеда. Беда не большая, главное — сборошить бы до вечера. День теперь длинный, до темноты можно бы и в два следа. Плохо вот — кони усталые, бока у них по неделе не просыхают. И ребят никого, кроме Митьки, не успел позвать. Как-то всё получилось нескладно. И задачи еще не решены...

Андрейка бросил соломинку, спрыгнул с телеги, дождался, когда обернется по кругу Митюшка.

— Знаешь что, — сказал он приятелю, — давай-ка мне вожжи. Сбегай к Мухтарычу, попроси у него вязанку сена. Для телят есть там у него в уголке на повети. Часика два отдохнем, лошади поедят, а потом по второму бы разу. А? Легче оно пойдет, земля-то без комьев. А зато, знаешь, как здорово получится! Агроном-то что говорил?

Митька заупрямился:

— Эту половину мне боронить, сам же сказал. А теперь мне же за сеном...

— Тебя Мухтарыч лучше послушается, — схитрил Андрейка, — все вы одной семьей у него на дворе работаете. Не будет давать — у матери спросишь. А я тут dokonчу. Не всё ли равно, кто из нас больше сделал. Нам-то с тобой совсем ни к чему делиться.

Митюшка без особого желания отдал вожжи, отвязал от оглобель чересседельник, нехотя побрел берегом озера, направляясь к скотному двору. Коровы бродили тут же поблизости, в кустах, собирали жесткую, как проволока, прошлогоднюю траву. На заливную поскотину дед пока не велит выгонять, — толком еще не просохло. Перемесят всё в грязь — пропадет выгон. Андрейке видно было, как возле сторожки время от времени опускался колодезный журавель: верно, Мухтарыч или кто-нибудь из Дарьиных дочерей заливал воду по кадушкам, чтобы подогрелась малость на солнышке до того, как загонят к ночи коров.

Три или четыре круга обошел Андрюшка за подпрыгивающими боронами, беспрестанно понукая лошадей. Повернул к телеге. Лошади сунулись мордами в пустой задок, всхрапнули, посмотрели по очереди на парня пристальным взглядом да так и остались, понуро опустив головы. А Митьки всё не было.

Андрейка сходил на берег, нарвал рыжей осоки, скрутил ее жгутом. Протер бока и спины у лошадей, потом ноги. Лошади смирные, не лягаются. У таких и под брюхом можно пролезть. Невеселые кони, — на овес бы их, на луговое мелкое сено с отрубями! Да где же взять это? Война...

Забрался Андрейка снова в телегу, задумался. Не расслышал, как и дружок подошел, сбросил с плеча вязанку овсяной соломы. А за Митькой и Анка с Варенькой. В руках у них чугунок в тряпице и кувшин с квасом.

— А бабушка ругается, вот! — пропела Варенька, передавая чугунок в телегу. — А мама сказала — пусть Нюра меня проводит за озеро и чтобы вы эту кашу съели. Там и хлеб лежит и ложки.

— Кто ж вам сказал, что мы здесь? — спросил Андрейка, принимая горшок.

— А дядька такой. С трубкой. Он к дедушке Андрону пришел, а мы как раз обедали. А папа сказал: «Пусть, пусть поработают. Работа никого не портит».

Вскоре девчонки убежали, взявшись за руки. Дружки прилегли на часок под телегой. Совсем стемнело, когда вернулись ребята в деревню. Лошадей свели на конюшню, бороны сняли с телеги, приставили к стенке. Постучались в оконце к Нефеду, чтобы сказать: всё в порядке. До дому еле добрались, — ноги гудят, а глаза сами собой слипаются.

Чтобы не уснуть на ходу, Андрейка принялся высчитывать вслух, сколько же километров прошли они сегодня по своему полю. Дед как-то говорил, что если раньше мужику нужно было вспахать десятину земли однолемешным плугом, да если конь у него добрый, то поднимал десятину за день и проходил при этом, налегая на поручни плуга, сорок верст. Участок у них три гектара; это немного побольше, чем две десятины. Две бороны захватывают восемь отвалов. Значит, восемьдесят верст надо поделить на восемь. Получается десять километров с лишним, — верста-то ведь тоже больше километра. Их двое, проборонили они весь участок в два следа. Вот и выходит, что каждый прошел всего по десять, ну, пусть, по одиннадцать километров. И утомились; а ведь за бороной ходить против пахоты — забава.

«Завтра спрошу у Николая Ивановича, верно ли я подсчитал, — подумал подросток. — С десяти километров ноги заплетаются, а как же раньше-то? Как до трактора?..» Дома сел ужинать, да так и уснул за столом, уронив на столешницу белокурую свою голову. Кормилавна принесла ему из клетки кислого молока в глиняной миске, а он уже спит.

— Голубь ты мой сизокрылый! — сокрушенно вздохнула старушка. — И что за неволя такая!..

Андрон сидел на пороге, снимал сапоги. Выставил их за дверь в сени вместе с портянками, остался в одних носках. Потом подошел к столу, легко, как ребенка, поднял сонного внука, отнес на кровать.

— Ничего, ничего, — гудел он вполголоса, и, как показалось Кормилавне, будто со скрытым довольством даже. — Ничего! Это оно на пользу. Вот так-то и нас учили. Сызмальства. Родитель, бывало, говари-

вал: «Примечай, как он, хлебушко-то, в руки дается! Зерно обронил али крошку смахнул со стола на пол — грех на тебе непущеный!» Правильно давеча Николай-то Иваныч сказал: «Работа — она никого не портит».

Кормилавна протерла стол, привернула керосиновую лампешку, оставила огонек со звездочку, неслышной тенью растаяла за перегородкой, а Андрон присел на скамейку возле кровати, положил свою тяжелую руку на голову Андрейки, задубелыми, толстыми пальцами долго перебирал, приглаживал шелковистые волосы внука...

Минула неделя, другая, — вот и отсеялись всем колхозом. Дружные всходы брызнули вкруг деревни, у Ермилова хутора и на Длинном паю. Раньше того густым сочно-зеленым ковром оделся пустовавший три года клин за озером. На меже Николай Иванович велел закопать столб, а на нем, на белой выструганной доске, крупными печатными буквами было написано:

**Показательный участок
Каменнобродской семилетки**

Яровой пшеницы	—1,5 гектара
Гречи	— 1 гектар
Овсяно-гороховой смеси	—0,5 гектара.

Ниже висела застекленная табличка с указанием, какой класс за что отвечает, и подпись председателя пионерской дружины — «Андрей Савельев».

Столб поставили так, чтобы любой мог прочесть написанное с дороги и чтоб виден он был с противоположного берега озера, от мостков, где колхозницы полощут белье и купаются летом ребятишки. Андрейке вначале всё это нравилось, — не чья-нибудь роспись под стеклом красуется! А потом поутих, задумался парень: а вдруг недород? Вот тебе и «показательный», вот тебе и «председатель дружины»!

Каждый день, чуть свет и после уроков, Андрейка бегал за озеро проверить, как развиваются всходы, сколько лепестков выбросила розоватая греча. И больше всего опасался, как бы грачи горох не выклевали, пока висит он расколовшимися дольками на тоненьком стебельке. Для этого собрал однажды сверстни-

ков, чучела выставил по всему полю, на жердях зме-ев-трещоток навешал. А Николай Иванович, видя ежедневное беспокойство школьников и заботы Андрейки, отмечал про себя с довольной улыбкой: «В деда пойдет! Вот и еще одна смена готовится. Им в том новом доме жить, про который говорил Нургалимов».

«Смена. Хорошая смена. Вторая», — мысленно произнес Николай Иванович и вспомнил свой приезд в Каменный Брод, первые осторожные разговоры с кузнецом Карпом, с Андроном. Чередой встали и пошли друг за другом Филька, мельник Семен, Денис, Артюха, лавочник Кузьма Черный, староста, Улита, какой она была раньше, поп Никодим.

Вспомнился, конечно, и Володька. «Меченый я!»

«Меченый»... Вот и друзья его — Екимка, Никишка, Федька «Озерный», затравленный, обозленный на всех Мишка — сын хуторянина Пашани.

Это и есть первая смена Андрону, Карпу и самому Николаю Ивановичу. Еким уже не вернется, в тыловом госпитале за Волгой лежит младший сын бригадира Нефеда Никифор, дважды горел в подбитом самолете летчик Михаил Ермилов.

Тяжелая доля выпала этому поколению. Детства они не видели, юность опалили грозовые всполохи первых лет коллективизации, кулацкие обрезы и ядовитые укусы всех и всяческих ползучих и пашань. Только начали было выравниваться, — война.

«А может быть, это и хорошо, — рассуждал далее Николай Иванович, — что Владимир и его сверстники приучились мыслить и жить самостоятельно именно в эти тревожные годы. Они своими глазами видели небывалый людской ледолом, своими руками закладывали фундамент нового дома-крепости и отстаивают его сейчас на полях сражений. Отстоят, теперь уже отстояли!»

И снова мысли, то ясные и отчетливые, как призывный сигнал военной трубы, то припорошенные ином давности, то как размытый след на песчаном морском берегу.

«Меченый я!» Вот и еще трагедия. Дикое, ничем не объяснимое стечение обстоятельств. В последнем бою Владимир был тяжело ранен, долгое время не мог говорить и писать. Есть серьезные опасения, что ампутаци-

руют левую руку. Лежит в госпитале на Кавказе. Он ничего не знает.

И Анна не может ему написать. Сейчас не имеет права. Николай Иванович сам запретил ей. По отношению к раненому это бесчеловечно. Но иного выхода нет. Пусть Дымов думает, что его письмо не дошло. «Не дойдет» и второе, и третье. До тех пор, пока сам не напишет, что скоро приедет. Тогда Маргарита Васильевна отнесет на почту давно уже написанное Анной письмо. «Страшная я, Володя, подлая!» — вот что прочтет Владимир. В том же конверте будет и другое письмо — от Николая Ивановича. Оно тоже написано.

Так решено было сделать, и только так. О том, что агроном Стебельков уехал, что Фроловну перед маем схоронили, писать не нужно. Так решено.

* * *

С половины зимы избенка Улиты стояла с заколоченными окнами. Никто в деревне так и не знал толком, что заставило вдову бросить насиженный угол; даже с Дарьей она не посоветовалась. Последний раз видели ее в правлении колхоза, когда там же были Карп и Семен Калюжный. С ними она и уехала. Попросила только обождать полчасика, пока сходит к себе за пожитками. Пришла с узелком под мышкой, села в кошёвку, рядом с Калюжным. И застеснялась чего-то, глаза опустила.

Был потом разговор, что Улита отпущена до весны, до тех пор, пока трактористы из МТС не разъедутся по колхозам. И будто бы сам Карп упросил Андрона, — нужна для ремонтников повариха. Работы в мастерской много, работа тяжелая, а какой же прок, если люди приходят из деревень за пять, за шесть километров, возятся тут с моторами да колесами до темна, а в обед без горячего приварка? И народ недоволен, конечно. До войны все ремонтники столовались при МТС. Пора бы уж кое-что и восстанавливать. Улита — женщина расторопная, опрятная, на нее положиться можно.

Семен односложно поддакивал Карпу и, видимо, думал о чем-то другом. Когда разговор зашел про Улиту, он поднял голову, посмотрел на Андрона.

— Платить ведь ей надо будет, — сказал Андрон.

— А как же иначе? И окладишко мало-мальский дадим, и жилье, — говорил Карп, — а начнется пахота — получай Улиту обратно!

На том и договорились. Вот тогда и велел Андрон счетоводу послать кого-нибудь за Улитой. Не прошло и недели, тот же счетовод, вернувшись с Большой Горы, куда вызывали его с отчетом, и уложив на стол свои папки, бухнул Андрону при народе:

— Оженит она его на себе, как пить дать!

— Это ты про кого? — не сразу догадался Андрон.

— Про директора большегорского «ресторана»! Что ты! — Счетовод принялся загибать на левой руке пальцы: — В шапке в харчевню не заходи, полушубок снимай у двери. И не вздумай с сигаркой за столик присесть! Вот какие завела порядки.

— А при чем тут «оженит»?

— Как пить дать! — повторил счетовод. — Живет-то в одном доме с механиком, а перегородочка из фанеры. Что ты! Да ведь она не то что фанерку — кирпичную стенку ногтями проскоблит!

— Ты бы, знаешь, парень, не болтал бы лишнего-то! — урезонил Андрон не в меру словоохотливого счетовода. — Чай, не баба, плести околесицу!

Парень смутился.

— Я что? Я ничего. Я ведь это не сам придумал, — бормотал он, отыскивая по карманам ключи от стола. — А только придется тебе, Андрон Савельевич, быть кумом по осени. Как пить дать!

Андрон отмахнулся. А весной, когда выгнали скот на поля, пришла к нему Дарья.

— Не управиться мне одной-то, Андрон Савельевич, — начала она еще от порога. — Как-никак, двадцать две дойных коровы. И Мухтарыч совсем уж на ладан дышит. Давай еще одного человека!

— А Улита? Время бы ей и вернуться!

— Время-то время...

— А что?

— А то, что другое у нее на уме. Посылала я нынче к ней девчонку свою, — рассказывала Дарья, присаживаясь на скамейку. — С гуртом нетелей Улита уходит. Там ведь он, молодняк-то, собран, на Большой Горе. Вот она и напросилась. Хочу, говорит, своими

глазами Россию окинуть — велика ли она. Потому, говорит, за всю жизнь дальше Константиновки не бывала. Вот что.

— Ну это мы еще посмотрим.

— Смотри не смотри, а паспорт она уже выхлопотала. И документы все на нее выправлены.

Андрон почесал затылок. Дело принимало неожиданный оборот. И отпускать не хотелось Улите, и не пустить нельзя, — сам с гуртом-то зимой еще дело начал. На собрании председателей в МТС вопрос поднял тогда же, когда и на заготовку леса наряды по колхозам распределяли.

— Ладно. Придумаем что-нибудь, — сказал он Дарье. — Потолкую вот с Анной. В поле она всё равно теперь не работница, — на девчонку малого не оставить. Ладно, придумаем.

В это же самое время Улита собиралась в дальнюю дорогу. Нетелей решено было гнать полевыми дорогами до Бельска. Гурт не особо велик — голов с полсотни, но телочки славные. Сытые, и от хороших коров. До того как всё приготовить к отправке, Карп Данилович раза три ездил в Бельск. С Нургалимовым договорились, что в Бельске молодняк погрузят на баржу-плоскодонку, нефтяники дадут буксирный пароход. Им всё равно нужно гнать порожняк до Сызрани, — там, на одном из заводов, получить по наряду трубы.

— Ну, а дальше — пешочком! — говорил Карп Улите. — Не торопясь, чтобы скотину не заморить. По балочкам да буеракам подкармливать будете. Глядишь, в половине лета до Днепра доберетесь.

Калюжный давал советы, где и к кому обращаться за помощью. Написал два письма — в совхоз и в райком партии. Адреса Улите оставил, чтобы с места выгрузки на Волге сразу же известила бы директора совхоза о маршруте перегона, — пусть вышлет своих людей встречать ее.

— В поле гурта передавать не буду! — запротестовала Улита. — На месте, из рук в руки заведующему фермой. И чтобы потом написали бы нам, какой приплод дадут наши телочки, как доиться будут.

Это — в конторе, при посторонних. Дома, в камерке своей, разревелась. Да, жила с Семеном, жила! По

осени еще подбивала его, чтобы взял поварихой в столовую. Просто из озорства: мужики — они все одинаковые. Только он ни о чем не догадывался, смотрел пустыми глазами. А когда привез ребятишек своих, устыдилась Улита того, чего добивалась втайне. Увидела их — напуганных, заморенных, с восковыми ручонками — и всё, что было в ней материнского, что осталось неизрасходованным, хлынуло к горлу. До весны выходила ребят Семеновых, привязалась к ним до сердечной боли. Обстирывала, обмывала. И Семен на глазах поправился, глаза у него подобрели. А потом испугалась: кто же она для него? Ребята подрастут и забудут, а он отвернется раньше. Баба ведь, деревенская баба! Разве такая нужна ему жена! А грех до добра не доводит. Довел уж, довел! Вот тут и пришло спасенье — гурт. Всё равно надо было что-то придумать, чтобы разом порвать.

* * *

В ночь перед отправкой гурта Улита постучалась в окно к Анне Дымовой. Та отозвалась не сразу. Не зажигая света, вплотную прильнула к стеклу, потом перешла к другому окшку, где открывалась створка.

— Чего тебе надо? — спросила недовольно.

Улита с трудом проглотила застрявший в горле колючий клубок:

— Проститься пришла.

Анна захлопнула створку и долго еще маячила расплывчатой тенью, переходя от окна к зыбке и снова к окну. Наконец скрипнула дверь в сени. Улита ждала на крыльце. Вот громыхнул деревянный засов, высокая белая фигура показалась в темном дверном проеме. Анна переступила порог и тут же опустилась на него, обхватив колени руками.

— Душно в избе, давай посидим здесь, — сказала. — Чего же ты мамыньку проводить не пришла? Вот с ней-то и надо бы попрощаться. Я пока что живая.

Улита снова судорожно глотнула:

— Прости, если в чем виновата перед тобой. Сдается мне, не увидимся больше.

— Кто это тебе сказал? Выдумываешь.

Анна подобрала с плеч распустившиеся волосы, принялась было заплетать их в косу, но, не dokonчив, отбросила за спину. Голос у нее был сухой и надтреснутый, и говорила она не поворачивая головы в сторону Улиты. Смотрела прямо перед собой, уткнув подбородок в колени, и говорила будто для того только, чтобы услышать самой же сказанные слова.

— Выдумываешь.

— Не страшно одной-то? — спросила Улита, чтобы не оборвалась и без того ненадежная нить разговора.

— А чего мне бояться? Самое страшное уже было. Как с ума только не сошла.

Долго молчали. Анна поеживалась от предрассветной сырости.

— Где он теперь?

— Всё там. На Кавказе.

— Ну и что?

— Ничего.

Огромная, как решето, луна медленно выкатилась из-за леса. Бледная и ко всему чужая, равнодушная, надолго повисла она над Метелихой, зеленоватым негреющим светом окатила травянистые скаты горы, купы уснувших берез возле школы, плакучие ивы у прясел, уронила синие тени. Справа, внизу, за покатыми крышами Нижней улицы, стекленела тусклая гладь озера. Окутанная тягучим лесным сумраком и белесым туманом, деревенька спала, разметавшись по взгорью. Даже собаки не таякали.

Обхватив худыми голыми руками острые колени и запрокинув голову, Анна всё так же смотрела куда-то в пространство сухими, остановившимися глазами. Лицо ее, освещенное неживым блеклым светом, было неподвижным, как маска. И только глаза — большие и немигающие — загорались порой холодным, недобрым блеском. А Улите припомнилась не эта, другая Анна, — развеселая, голосистая. Плечи у той были покаты, грудь высокая, из глаз неумная радость плескалась. Молода, всеми статьями пригожа — что еще надо?! В хороводе или на вечеринке она так умела подмигнуть, каблучком притопнуть, так повести плечиком, что у самого вислогубого тюхти-парня невесть откуда и удаль бралась, — с места вприсядку его бросало, шел колесом по кругу с гиком, посвистом, а паль-

цы у гармониста черт-те что на ладах выделявали! Даже женатики — бородатые мужики глаз оторвать не могли! А деды с посконными бородами и с клюшками только головами покачивали: «Артуть, огонь-девка!»

И вот — ничего нет. От Нюшки осталась тень. Правда, она двигается, говорит, но самой Нюшки здесь нет. Она — в другом месте.

— Что хоть он написал-то? — вновь заговорила Улита. — Трактористы толкуют вон — в плену вроде бы, в лагере был?

— Был, — одним словом ответила Анна.

— Как же дался такой орел?

— Из танка без памяти вынули.

— А теперь?

— В госпитале. Миной его накрыло. И язык, и руки — всё отнялось. Через четыре месяца карандаш в пальцы ему вложили.

Еще помолчали. Синие тени сделались гуще, крадучись проползли они по двору, ближе к истертым ступеням крыльца, переплелись ощупью, бесшумно, с вороватой оглядкой, взбирались всё выше. Вот и ноги у Анны погрузились в холодную, иссиня-зеленую муть, и перекрещенные на коленях пальцы рук, вот по плечи ее засосало.

Душно стало Улите. А перед глазами у ней — не Анна уже, а Дуняша. Ту Улита бросила под ноги сквалыги-снохача Дениса, привела ее к омуту. Хотела этого или нет — так получилось. И никто в деревне больше ее не виноват перед Андрейкой, который до сих пор не знает отца, не помнит и матери. Вот какая она змея — Улита! И не знать никому, сколько раз по ночам, боясь гулкового стука собственного сердца, замирая от страха, пробиралась она на кладбище, падала на колени, обнимала дубовый крест, прибирала Дуняшину могилу. Все думали, что это делают Верочка с Маргаритой Васильевной, комсомольцы, и Нюшка в том же числе.

Нюшка... Развеселая, голосистая Нюшка! Помнишь ли ты сейчас, как бежала по снежной тропке, задами, на Верхнюю улицу, прижимая руки к груди и запыхавшись? Какими глазами глянула тогда на Улиту: «Письмо прочитать бегу. Фроловна-то ведь неграмотная...» Это когда Володька в городской больнице ле-

жал с развороченным из обреза боком. Улита всё поняла, помогала Нюшке. И не было у нее радости больше той, когда они поженились.

Жить бы да жить им, а тут призыв, бои у Хасана. И опять — разве не она, не Улита, по два раза на день забегала к жене бригадира Анне Дымовой! Как могла успокаивала: «Этакий-то орел да не прилетит! Николай-то Иваныч что тебе говорил? То же самое и в газетах прописано: Хасан-то — он, может, чуть поболее нашей запруды у мельницы. Откуда же там быть настоящей войне! Да может, от них всё это за тысячу верст!» И ведь вернулся! Жив и здоров. С орденом!

Расцвела, как вишенка в розовом вешнем уборе, распустилась Нюшка. Не было пары статней да дружнеей, вся округа завидовала. Трех лет не прошло, наглядеться друг на друга не успели, — кончилось Нюшкино счастье. Слово в слово помнит Улита письмо сержанта Кудинова: «Мы еще в эшелоне условились, если с одним из нас что-либо произойдет... Жестоко отомстили врагу за смерть командира. Будем мстить и еще — до Берлина, до самого логова!»

И Улита поверила, все поверили. Не поверить этому было нельзя. Это ведь не Хасан, не «запруда у мельницы». Теперь от моря до моря полыхали города и сёла. До Москвы, до Волги.

Вот и вдова Анна Дымова. И это в двадцать пять лет! Ну два, ну три года можно реветь, а они ведь каждый на десять лет старят. А потом? Да неужели уж она в поле обсевок? Неужели только для этого и родится человек, чтобы по ночам рвать зубами подушку? Не от живого мужа к другому сбежала! Жить-то каждому надо хоть маленько по-человечески. Ну, посудачили бабы — эка важность! А любую из них возьми, коснись бы такое? И чем плох агроном? И тоже один. Не пропойца какой-нибудь, не бабник. Нет, не худа желала Улита Анне! Ну, не такая, конечно, жизнь, как за первым мужем, да всё есть к кому приутлиться в непогожую ночь. А теперь и одной и другому еще горше. И опять Улита тому причиной.

— Проститься пришла я, — хватаясь за горло и торопливо перебирая пальцами пуговицы на кофте,

шепотом заговорила Улита, — в твоём злонесчастье я кругом виновата! Беспутная, потаскуха-баба. Ударь меня, Аннушка, тряпкой поганой. По роже. Не молчи только! Чую, не свидимся больше... А хочешь, съезжу к нему? Вот пригоню на место скотину, деньги есть у меня. Возьму и поеду. Город-то у меня записан. И адрес Семен узнал у Николая Ивановича. Хочешь?

— Не выдумывай. Не плети на себя напраслины, — так же шепотом ответила Анна. — Неизвестно ещё, кто из нас чище. Ты с Семеном живешь без укора, у меня — вон оно, в зыбке!

Улита сунулась в колени Анны, захлебываясь и вздрагивая всем телом.

Анна молча гладила ладонью по тугому плечу Улиты. Без вздоха, без бабьих всхлипов. А потом упала на шею Улиты тяжелая и горячая капля. Одна, другая, враз несколько...

К вечеру в тот же день заглянул к Анне Андрон. На крылечке потрепал за льняные косички Анку-маленькую, сутулясь, шагнул в избу. Приподнял ситцевый полог зыбки, погрозил толстым пальцем коротконогую глазастую Степку и потом уже грузно опустился на лавку:

— Здравствуй, хозяйюшка! Мир да довольство дому сему.

— Спасибо на добром слове, — промолвила Анна.

— Я по делу к тебе, Екимовна, — без обиняков начал Андрон. — Дарье нужна помощница на скотном дворе. В поле ты не работница с сосунком-то своим, а тут оно недалече. Вот и пришел. Хочешь — скотницей запишем, хочешь — на место Улиты определим. Только тут хлопотнее: два раза на дню на приемный пункт молоко возить надо. Думай.

— А с трудоднями как?

— Как и у Дарьи: полтора трудодня.

— Когда выходить-то?

— А это тебе Дарья всё как есть растолкует. У нее и подойник получишь, одёжу. Сапог вот еще не купили, а к осени-то обуем. Ну, будь здорова.

Андрон взялся за ручку двери, потоптался возле порога и добавил, словно бы между прочим:

— От Егорки письмо пришло. И этот нашелся. Тоже в плену был. В Крыму объявился. И сразу — в часть. Про всех спрашивает. И про твоего тоже. Отписал ему Николай-то Иваныч.

— А про меня? — сорвалось у Анны.

— Больше всего ему это интересно! Ты небось думаешь, что только про тебя и разговору в каждой избе? Приедет сам — разберется! Если он человеком остался — поймет.

— Убьет он меня, дядя Андрон.

— А я тебе говорю: поймет! Сиди вот тут больше, в четырех-то стенах, не то еще в башку-то втемашит-ся. Не про это сейчас думать надо. Двое их у тебя, и обоим ты — мать. Смотри-ка, на кого ты похожа стала! А ну занеможется, на кого их оставишь?

Андрон помолчал, сурово поглядывая на Анну. Но суровость эта была отеческая, и у Анны влажно заблестели глаза.

— А я бы так рассудил, — продолжал Андрон. — Вернется хозяин, скажи ему: вот, муженек, видишь, что получилось? Сам выбирай. Нужна я тебе — бери и этого. Не приبلудный он, не в канаве сделан. А я — какой была для тебя, такой вовек и останусь... И не вздумай реветь, знай себе цену!

С тем и ушел; проскрипели в сенях половицы. Анна долго стояла посреди избы. Осмотрела углы, потолок, вспомнила, что с того самого дня, как уехал Вадим Петрович, не брала в руки тряпку. Паутина висит с потолочин, труба закопчена, и занавески на окнах желтые, в пятнах. На полу — где валенок, где еще что. И кровать не прибрана, на столе посуда немытая.

— Да чего же это я в самом-то деле? — вслух проговорила Анна. — Ну-ка, Степушка, сядь!

До полуночи мыла, скребла, стирала. Крутым кипятком окатила стены, проскоблила ножом доверху, подмазала свежей глиной, забелила печь. Протерла цветы на окнах, отутюженные занавески вздернула, на стол — полотняную скатерть, полотенце расшитое — к зеркалу. До того умаялась, что уснула на лавке. И посветлело в избе, потолок словно выше поднялся, перестал давить, из открытых окон свежестью потянуло.

Дни становились жарче, у Красного яра зазвенели косы. На заре старик Мухтарыч выпускал коров из лесной загородки. Хороши нынче травы на лугах и на выгоне, у коров бока крутые. И помощница у Дарьи работающая, лучше Улиты. Та всё время на кого-нибудь да ругалась нехорошими словами. На Дарью кричала и даже на Андрона, а эта совсем не такая. И девчонка у нее хорошая, а мальчишка и того лучше. Другой раз Анна приносит сынишку с собой, и он копошится себе на дерюжке в шалаше Мухтарыча. Такой маленький, и ни разу не пискнет. Толстый такой мальчишка, руки и ноги как ниткой перетянуты, а на голове, как у гусенка, — пух.

Мухтарыч любит маленьких ребятишек. С ползунком можно поиграть соломинкой или пощекотать его за ухом, как котенка; с большим надо уже разговаривать. Ему нужно вырезать камышовую дудку, научить свистеть, можно рассказать старинную сказку. Большой всё понимает, и разговаривать с ним надо умно. Маленький пусть играет. Молчит и тянет в рот ногу — значит, здоров. Пусть старается, — это тоже работа. А если большой начинает баловаться, его надо учить. И правильно сделал учитель, что надуумил школьников работать в поле. Меньше гнезд разорят в лесу, меньше штанов да рубашек порвут на сучьях. Ребятишки растут, им силу свою девать некуда. Зачем ее тратить зря.

Вот Андрейка у председателя — этот уж сам работу видит. Чаше других приходит на поле. Наверно, будет начальником. Он уже сейчас как бригадир. Когда надо было полоть пшеницу, Мухтарыч сам видел, как Андрейка привел целую кучу школьников, отсчитал каждому по три рядка, а себе взял пять, и первым дошел до другого края поля. И еще приходил не раз, и всегда этот парень брал себе больше рядков, всегда шел передним.

Когда стали косить траву на лугах, пшеница у озера колос выбросила. Густая, ровная, и колос толщиной в палец; никогда такой пшеницы не видел Мухтарыч. И горох был хорош на школьном участке, и греча. Наверно, поэтому и приехал сюда большой

начальник из города. На машине приехал. Из нее выскочил Андрейка, потом сам Андрон, учитель и еще один человек в зеленой гимнастерке, а из деревни по берегу озера, обгоняя друг друга, бежали школьники.

Был полдень, коровы лежали в тени под деревьями. Мухтарыч набросил на плечи бешмет, завязал ворота загона, пошел посмотреть на начальника. Может, умное слово скажет.

Это был Нургалимов. Он, как с большим, разговаривал с Андрейкой; Андрон и учитель молчали.

— Ну, и какой же ты думаешь получить урожай? — спрашивал секретарь райкома у школьника. — Вас учили, как на корню подсчитывать?

— На корню — это еще полдела, — помедлив с ответом, проговорил Андрейка.

Андрон даже крякнул при этом, а учитель подмигнул Нургалимову.

— Молодец! — похвалил Андрейку секретарь райкома. — На весах в амбаре точнее получается. Так, что ли?

— Правильно.

— Ну, а всё-таки? Как же прикинуть, хотя бы приблизительно?

Андрейка посмотрел вначале на учителя, потом на деда. Как у школьной доски повторил вопрос.

— Для этого нужно на одном квадратном метре посчитать колосья, — начал он и опять посмотрел на учителя, — взять самый большой и самый маленький, вышелушить зерно и — на весы. Половину того, что получится, умножить на число колосков, которое мы раньше узнали. Это и будет урожай с метра в граммах. Приписать справа четыре нуля — получится урожай с гектара. А можно и сразу на квадратном метре килограммы подсчитать. А потом...

— Вот это было бы здорово! — перебил Андрейку Нургалимов. — С квадратного метра получить килограмм! Ведь тогда с гектара ты бы намолотил десять тонн! Шестьсот пудов! Так, что ли? А ну, хлопцы, у кого есть бумажка и карандаш? Быть может, я ошибаюсь?

— Правильно, всё правильно! — хором поддержали старшеклассники.

А один, маленький, веснушчатый и с облупленным носом, добавил негромко:

— Так ведь он не договорил еще, что́ из того, что получится; надо на влажность скинуть добрую половину. Вот тогда и получится то, что надо.

— Значит, триста пудов?

— Так я ведь не говорил вам, что килограмм с метра, — спокойно возразил Андрейка. — Пусть половина, и то с гектара полтора пудов будет. Другое дело, если бы гектаров побольше.

— За это три раза молодец! — воскликнул Нургалимов. — Только не забывай: полтора пудов — в амбаре! Сам приеду проверить! Договорились? А как у вас, Андрон Савельевич, на других полях? — повернулся он к Андрону.

— Не завидно, Салих Валидович, — признался Андрон. — Рожь-то еще ничего, а пшеницу местами осот приглушил. Народу нет! Так, кое-где, пропололи, что поближе к деревне. И спросить ведь не с кого. Старухи древние; что с них возьмешь?

Андрон замолчал. Ничего не спрашивал больше и Нургалимов. По сумрачному лицу Андрона он прекрасно видел всё.

— И на том спасибо, что хоть из ворот выползают, — точно читая мысли Нургалимова, продолжал Андрон. — Вот проедем на Красный яр, сами увидите, какие из них косцы. А трава дубеет... Тяжело, трудно, Салих Валидович. Из года в год тяжелее.

— Всем тяжело, всем трудно, — в тон ему проговорил Нургалимов, — но самое страшное всё-таки пережито. Теперь уж недолго ждать. Солдат-то наш вон уже где! На Висле!

Говоря это, секретарь райкома подошел к меже. Пшеница доходила ему до пояса. Стебли ее потеряли сочно-зеленый цвет, начали блекнуть сверху, но колос еще держался прямо. По полю из края в край перекачивались упругие, широкие волны, и оттого вокруг разносился неумолчный шорох, а с колосьев струилась еле приметная желтоватая пыль. Нургалимов раздвинул руками тугие стебли, любовался дымчато-серебристым разливом, вздохнул даже.

— А ведь будет на этом участке полтора пудов! Ей-богу, будет! — сказал он, обращаясь к Андрону. —

И придется тебе, Андрон Савельевич, собрать бригадиров, привести их к этому вот столбу и попросить внука, поучил бы он их уму-разуму. Не сейчас, конечно, после войны.

Андрон развел руками, а у Андрейки сами собой раскрылись губы, — ему живо представилось, что у межи стоит его исцарапанная ножом школьная парта, а за ней, поджав ноги, с неизменной трубкой в зубах сидит хмурый Нефед, а рядом с ним другой бригадир — Еким с Нижней улицы.

— Век живи, Салих Валидович, век учись, — согласился Андрон. И непонятно было Андрейке — всерьез он это говорит или подсмеивается. — Так оно, так! Я и то уж не раз подумывал, а не передать ли вот этой босоногой команде Длинный пай? Да заодно бы и ферму со всей живностью. Годик еще сбожду, пожалуй, а потом и сам попрошусь в отставку. Как ни говори, за половину седьмого десятка перевалило.

Нургалимов приподнял густые выгоревшие брови, окинул могучую фигуру Андрона пытливым взглядом.

— А о чем мы с вами, товарищ Савельев, у столба договаривались? Давайте уж уговор не нарушать! Да, чуть не забыл! Прошлый раз там, у реки, вы просили помочь с питанием для приемника. Посылайте в районный культмаг человека с доверенностью. Там по списку отложено.

— Вот за это спасибо! От всего колхоза, — оживился Андрон, — а больше всего от нашего самого наглавного слушателя. — Андрон показал на Мухтарыча, стоявшего в сторонке. — Сказать вам, кто первым про Сталинград услышал? Он! В полночь всю деревню на ноги поднял!

Мухтарыч при этом снял шапку и поклонился.

— Рахмат-инде, бик рахмат! — подтвердил старик и еще поклонился. — Большой спасибо.

— Это уж не про тебя ли, отец, зимой еще следователь мне рассказывал, что ты обхитрил тут кого-то? — спросил Нургалимов, подходя к Мухтарычу. — Как же это ты земляка своего не пожалел?

— Нет, я не хитрый, — запротестовал старик. — Хитрый человек — который жадный. Мне всё равно,

какой я деревня живу. Гарифулла всем плохо делал; зачем такой человек назвать земляк?

Нургалимов ничего не сказал, пожал Мухтарычу руку, распростился с Андроном, помахал фуражкой школьникам, и они с Николаем Ивановичем уехали. Андрейка сказал потом старику, что учитель ездил с секретарем райкома к барскому дому и будто бы собираются восстанавливать эти хоромы.

— Зачем? — спросил старый пастух.

— Колхозники отдыхать будут, вот зачем! И тебе путевку дадут. Вот увидишь.

— Э-э-э, — протянул Мухтарыч. — Никогда такой не было. Нет.

— А вот и будет! Николай Иванович зря слова не скажет. Вот только война поскорее бы заканчивалась. Всё будет!

А еще через несколько дней приехала в Каменный Брод худенькая черноволосая девушка с чуть раскосыми веселыми глазами и с фотоаппаратом. Она долго расспрашивала Мухтарыча о его жизни, о том, как помог он поймать бандитов, сфотографировала старика и весь рассказ его записала в тетрадку. Потом разговаривала с Дарьей, заставила Андрейку нажать сноп пшеницы. Усадила возле этого снопа старшеклассников и опять щелкнула аппаратом.

«Люди одного колхоза» — с таким заголовком на второй полсе вышла потом районная газета. В Каменном Броде ее получили вечером, и Андрейка тут же помчался к Мухтарычу. Полоса открывалась очерком на три колонки «Пастух-патриот» с портретом Мухтарыча, а под шапкой крупным шрифтом было набрано: «С этого мы начинаем серию рассказов о героях тыла». Внизу вместо внушительного «Ответственный редактор О. Ордынский» стояло скромное: «И. о. редактора Н. Сергеева».

Мухтарыча меньше всего занимал вопрос о том, кто подписал газету. Держа развернутый лист обеими руками и склонив седую голову, он долго разглядывал снимок. С газеты на него задумчиво смотрело морщинистое сухое лицо с клинышком сивой бороды. Оно также было обращено несколько вбок и книзу, как будто старик к чему-то еще и прислушивался.

За всю свою долгую жизнь Мухтарыч впервые ви-

дел свое лицо на снимке. Всё равно, если бы не было здесь и Андрейки, он сам бы узнал себя: много лет подряд, умываясь по утрам из бадейки или припадая в полдень к лесному ручью, он видел этого морщинистого старика со скошенным лбом и широкими надбровными дугами. На левой щеке, от виска до подбородка, старый стянутый шрам — след казачьей нагайки. Давно это было...

— Ну дай же, дедушка, я тебе прочитаю! — не оставал Андрейка. — Тут, знаешь, как здорово про тебя написано!

— Про это? — Мухтарыч приставил палец к своей щеке.

— Нет, про бандитов! Как ты пистолета не испугался!

Мухтарыч сидел в той же позе, склонив голову и надолго прикрыв глаза синеватыми тонкими веками.

— А как Андрон, дедушка твой, до колхоза еще в гости меня звал на большой праздник? Есть? — спросил он очнувшись.

Андрейка покрутил головой.

— А как учитель, Николай Иванович, тоже до войны еще, вот такой пузырек лекарства мне приносил?

— И про это нет.

— Э-э... Ну, ладно, читай!

* * *

Илья Ильич, председатель константиновского колхоза «Красный Восток», ехал лесной дорогой со станции. Колеса рессорной брички мягко шуршали по прибитой дождем песчаной дороге. Лошадь трюхала неторопкой рысцей, местами сбивалась на шаг, да Илья Ильич и не понукал ее. Чего торопиться попусту? К утру приедет домой, и ладно.

На станцию ездил он с хлебным обозом. С приемного пункта лично позвонил в Бельск Скуратову и в редакцию газеты: первый обмолот, с полевого тока — государству! Немного, правда, — десять подвод, но с флагом, с гармонью. И на приемном пункте не удержался Илья Ильич: перед весовщиками и сторожем выступил с речью. Главное — задать тон! Первая борозда на весенней вспашке, первый сноп, первые пуды нового урожая — всё у него. «Красный Восток» был и есть

в авангарде. «В первой цепи штурмового батальона героев тыла», — написано было совсем недавно про Илью Ильича в газете. И завтра еще вот будет статья. Главное — дать запал! Потом можно не торопиться. Районные власти займутся отстающими, разъедутся по отдаленным колхозам, а Илья Ильич тем временем смахнет лобогрейками пару гектаров овса на корм лошадям, для виду засеет клинышек озими, зяби немного ковырнет. И опять — в авангарде! Остальное свезет зимой. А может и так получиться, что план по району окажется выполненным, тогда те же самые, плановые для «Красного Востока», центнеры будут привезком району. Кто сдал? Илья Ильич! Думать надо. Уметь!

После ссыпки хлеба в лабаз Илья Ильич отправил возчиков домой, а сам задержался в пристанционном буфете; выпили по маленькой с главным бухгалтером конторы «Заготзерно». Человек этот нужный, как и председатель потребсоюза, как и главный лесничий, как и сам Антон. С косушки не обеднеешь, а при всякой заминке в хозяйстве всегда будет тебе поддержка. Это тоже со счета не сбрасывается, не зря говорят в народе: «Не имей сто рублей...»

Проводив до дому приятеля, Илья Ильич еще с полчасика посидел в буфете, теперь уже с самым заведующим этим заведением. К бричке вышел со свертком под мышкой — пару селедочек, кулек сахарку. Тоже оно не вредит.

Как раз в это время на станции остановился длинный эшелон. Паровоз, отдуваясь и всхрапывая, отполз к поворотному кругу и задом попятился к прокопченным воротам депо. На смену ему вышел другой, а пока осмотрщики вагонов простукивали молотками колеса, подливали масла в буксы, Илья Ильич любопытства ради прошелся взад-вперед по перрону.

На платформах стояли подбитые немецкие танки, сваленные в кучу покореженные броневики с крестами на покатых стальных бортах, погнутые и развороченные пушечные стволы, — всё опаленное, с облупившейся краской, рваное.

«Не иначе, всё еще с Курской дуги вывозят, — подумал Илья Ильич. — А может, теперь уж из Крыма, из Польши? Добренько поработали, добренько!»

В хвосте эшелона на огромной железной платформе понуро стоял обгорелый танк-великан КВ, без гусеницы и с проломленной башней. Длинный ствол его пушки был опущен книзу и в сторону, как будто этому танку было не по себе в компании иноземных пришельцев. Когда-то он с ходу давил эти самые пушки, вжимал в землю коробки броневиков, многотонной грохочущей громадой наваливался на огрызающегося «фердинанда», опрокидывал лобовым тараном размалеванных «тигров», и вот теперь вместе с ними едет на переплавку.

Илья Ильич без особого интереса посмотрел на насапленный танк и повернулся было назад, но в этот момент приподнялась и встала на ребро броневая крышка на башне КВ. В люке показалась непокрытая седая голова танкиста. Он был бородат, в защитной стеганой куртке, но без погон, а борода была глянцево-черной и перевита густыми кольцами. Танкист проморгался, протер глаза — видимо, спал до этого — и, прочитав название станции, начал поспешно вылезать из башни, опираясь одной рукой — правой. Левая была у него на перевязи.

— Стало быть, вместе с машиной в капиталку? — весело окликнул его Илья Ильич. — Здорово, брат, тебя помяли!

— А тебе-то какое дело? — не особенно дружелюбно отозвался танкист. — Топай давай...

Поджав губы и медленно поворачивая голову, бородатый солдат смерил неприязненным взглядом откатившегося Илью Ильича, погладил рукой по бугристой, шершавой броне, шумно вздохнул. Спрыгнул с платформы, забросил на плечи тощий узелок солдатского вещевого мешка и не оборачиваясь зашагал прочь. На переезде остановился, закурил, действуя всё так же одной рукой. Потом поочередно размял пальцы на поврежденной левой руке, сжимая и разжимая их большим пальцем правой. Понемногу пальцы стали шевелиться, подрагивая сжимались в нетвердый кулак, а выпрямиться до конца не могли. Солдат улыбнулся.

«Доктор-то что говорил? — спросил он самого себя. — Работу, работу им надо! А потом и в других шарнирах ржавчину помаленьку отъест. В локте, в

плече... Ничего, ничего. — Пригнулся, сорвал травинку, сунул ее в непослушные пальцы левой руки. — Вот вам теперь вместо рычага фрикциона — мните!»

Со станции, погромыхивая и извиваясь на стрелках, вытягивался к выходному семафору оставленный эшелон. Человек на переезде посторонился, пропустил перед собой тяжело приседающие на стыках платформы, долгим взглядом проводил серую громаду КВ. Поставив еще некоторое время опустив голову и, затоптав окурок, пересек пустынную привокзальную площадь, не останавливаясь вышел на столбовую дорогу.

Вечерело, фиолетовые сумерки выползали из придорожных кустов, нагретые за день кроны раскидистых сосен струили на землю смолистый настой хвои, от лип веяло тонким щекочущим ароматом, от осин — горьковатой прелью. Лениво взмахивая широкими крыльями, над лесом величаво проплыл старый беркут. Он совсем был черным. Сел на разбитую молнией сухую березу, гордый в своем одиночестве.

Бородатый солдат прошел в трех шагах от березы; беркут не шевельнулся, не повернул головы. А темень внизу всё плотнее, вязче. Неслышно переступая мохнатыми толстыми лапами, крадется она след в след, забегает вперед, стелется под ногами у прогнивших мостов, по овражкам. Вот и заостренные шпили высоченных елей погрузились во тьму, в соседнем болотце крякнула потревоженная кем-то утка, из камышей с треском сорвался выводок. Где-то глухо позванивают ботала на шеях спутанных лошадей. На лесной поляне дымит небольшой костер. Солдат ничего этого не замечал. Лицо его было хмурым, брови сдвинуты к переносью.

Августовские ночи прохладны. По широким балкам с вечера еще разливаются тягучие туманы, обволакивают холмы и перелески. Издали кажется, будто всё это — острова: и плотная березовая рощица, и отлогий пригорок с бабками сжатой ржи, и притулившаяся на опушке соснового бора уснувшая деревенька. В темно-синем глубоком небе осторожно пробирается полнолицая и немного задумчивая луна, а вокруг нее роится хоровод зеленоватых мерцающих звезд без числа и счета. Вот упала одна: коротко чиркнула, точно спичкой, по густой синеве, рассыпа-

лась золотистой пылью. Следом — вторая, в другую сторону.

Это не трогало одинокого путника. Беспреданно шевеля пальцами левой руки, он шел вперед. Часа через три после того как солдат вышел со станции, на мосту позади него дробно прогрохотали кругляки под колесами легкой повозки. Это было слышно по спорому шагу лошади и по тому, как одолела она подъем.

Солдат свернул на обочину, а тот, что ехал в тележке, попридержал вожжи.

— Садись, добрый человек, попутчиком будешь, — начал первым Илья Ильич. — И мне веселей, и тебе прямая выгода. Далече ли путь держишь?

— Не так оно и далеко, а отсюда не видно, — сухо ответил путник. — Сам-то ты откуда?

— Мы-то? А мы — константиновские, — пропел Илья Ильич. — Хлебушко вот свезли. Красным обозом то есть. А вы, случаем, не из города в наши края? Не в командировку? Какими интересуетесь, ежели не секрет, вопросами?

— Домой иду!

Илья Ильич пересел поближе к правой грядке тележки, дал место неожиданному попутчику, и сейчас только рассмотрел, что это и есть тот самый танкист, которого он видел на станции.

— Так, так. Стало быть, герой-фронтовик! Танкист и всё прочее. Понятно, брат, всё понятно. А вот обругал ты меня напрасно! Не зря говорится: «Не плюй в колодец...»

— Это когда же?

— А на станции. Из танка когда вылезал.

— А-а...

— Так-то вот «а-а»! А теперь, видишь, я же тебя и везу! Это как называется?

— Черт с тобой, не вези. Я и пешком дойду.

Солдат ухватился рукой за передок брички, с явным намерением прыгнуть на дорогу. Но Илье Ильичу не хотелось быть одному, выпитая на станции косушка сделала его добрым.

— Ладно уж, сел, так сиди. Занозистый больно! — поучительно и в то же время снисходительно проговорил он. — Это ведь в шутку. Мы понимаем: которые с фронта, все они малость задаются.

Попутчик сидел отвернувшись. Он оказался на редкость неразговорчивым, и Илья Ильич уже с места начал ругать себя мысленно, — дернуло его самому навязаться.

Вези вот теперь такого обормота!

Илья Ильич без особой на то нужды подхлестнул коня, свесил ноги через грядку. Так и ехали молча, будто в суд по неприятному для обоих делу. Илья Ильич изредка оборачивался, покашливал, косил глазом на квадратные плечи танкиста (он так и ехал без шапки), а тот не повел и ухом. Не похоже было, чтобы и дрема его захватила: сидел плотно, и голова у него не болталась на выбоинах. Значит, не спал.

* * *

Не спалось в эту ночь и Анне. С вечера Степанка принялся капризничать; то ли накормила его не вовремя, то ли перегрелся в обед на солнышке, пока самой дома не было, — не ложится ему в зыбке, и всё! На руках молчит, уткнется в плечо носом-пуговкой, посапывает, только в зыбку положишь — как пружина выгнется, орет что есть мочи.

Долго не укладывалась и Анка-маленькая — сидела за столом над книжкой, шевелила про себя губами. Маргарита Васильевна велела ей выучить новое стихотворение и рассказать его на родительском вечере. Это уж Николай Иванович восстанавливает былые порядки — в начале учебного года обязательно провести родительское собрание.

Анке нынче в третьем классе сидеть. Загодя книжки свои пособирала, положила сумку на подоконник, последние дни на календаре отсчитывает, а там снова за парту. Вот ведь как время летит; давно ли была с рукавицу? И читать, и писать выучилась, да бойко так, без запинки. Смышленной растет, догадливой; пол подмести, подтереть возле умывальника, пришибить залетевшую со двора зеленую муху, накормить цыплят — не надо напоминать. Всё видит, всё понимает, а вот веселости прежней нет. Как ушел по весне Вадим Петрович, унес перевязанные ремешком бумаги, — ни разу про него не спросила, а бывало, отокошка не отогнать, если к обеду он опаздывает.

Когда бабушку схоронили, забились в угол, смотрела оттуда напуганными глазами. По ночам льнула под руку матери, сжималась в комок. Стоило Анне пошевелинуться — Анка уж проснулась. Теперь поспокойнее стала. И в доме одна остается, и спит на своей постели. А не заговори с ней — голосу не подаст. И не дичится, не прячется — просто молчит. Подойдет другой раз, голову на колени положит, а в глазах у нее такая тоска несказанная, такая печаль!

Один раз заговорила и сказала такое, что у Анны захватило дух.

— Мама, а разве правда, что мы теперь всеми брошенные? Митька вон говорит: «Так ей и надо!» Это он про тебя. А мать его услышала да скалкой его по затылку, да за ухо.

Ничего не ответила Анна, только прижала дочку к груди обеими руками. Долго держала так, чтобы та головы не подняла, не взглянула в глаза.

Вот и вчера принесла Анка от Маргариты Васильевны тоненькую книжонку. На обложке солдат нарисован — пишет в окопе письмо. А к автоматному диску приставлена карточка. Этот не потерялся в первом бою, и не было на него ни похоронной, ни письма с незнакомым почерком: «Мы еще в эшелоне условились...»

Когда Анка уснула, мать взяла со стола книжонку, развернула на случайной странице. И опять у нее запершило в горле.

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди!..

Вот и лежала сейчас с открытыми глазами. Разве уснешь после этого? Письмо в Махачкалу было отослано вскоре после того, как приходила Улита. Три месяца нет ничего. Ни самой Анне, ни Николаю Ивановичу. Получил, наверно, долгожданную весточку — первую за три года, порвал, затоптал ногами. Только бы хуже с рукой не сделалось. От такого известия в жилах кровь остановится. И с Улитой неладно. Нетелей она доставила к месту, написала об этом Семену, а следом второе письмо: положили ее в больницу. Как и что — неизвестно.

...Километрах в пяти от Константиновки начинается Большой Увал, и тянется он до самого поворота на Большегорскую МТС, а оттуда до Каменного Брода рукой подать. Хожено тут, перехожено днем и ночью. На подъеме Илья Ильич придержал коня, бросил вожжи, тяжело спрыгнул на землю. Шел теперь позади тележки. Слез и неразговорчивый попутчик, поразмялся. Здоровой рукой пригладил волосы, подобрал из-под ног плоскую обточенную гальку, сунул ее в полусогнутые пальцы левой.

— Что с рукой-то? — любопытствовал Илья Ильич. — Давно, думать надо, коли в виде таком отпущен!

— Давненько! — вздохнул танкист, посмотрел на руку и разговорился: — Если больно уж хочешь знать — с шестого ноября прошлого года. Как раз в ночь на седьмое в разобранном виде на самолете с той стороны меня перебросили. Под Москвой моторную группу прогильзовали, а на обкатку в апреле поставили. Это уж на Кавказе. Так-то вот. Рука — полбеда...

— Скажите, пожалуйста! — искренне удивился Илья Ильич. — А в каком же вы, извиняюсь, звании, чтобы на самолете?

— Призывался старшим сержантом, сейчас — рядовой.

— Это как же понять?

— Так. Не всем же на фронте дают золотые погоны; надо кому-то и в рядовых состоять.

— Мудреное что-то толкуешь, — недоумевал Илья Ильич. — То старший сержант, то — рядовой. То самолетом везли, торопились, а тут в товарном составе приехал! Коли такие заслуги — плацкарту должны были выписать!

— Много их больно понадобится — плацкартных вагонов.

Еще помолчали. Небосвод начинал бледнеть, частая россыпь звезд гасла. Илья Ильич продолжал присматриваться к загадочному спутнику. По голосу не так уж и стар, а борода — что у твоего цыгана. И волос густой, без залысин, шаг твердый и плечи не провисают. Посматривал на Илью Ильича и попутчик, путалась у него в бороде усмешка.

На половине горы у танкиста размоталась обмотка. Дожидаясь, пока он управится с двухметровой парусиновой лентой, Илья Ильич всё думал: кого же он всё-таки везет? Всех перебрал мысленно: и своих константиновских, и с Большой Горы, и с Николаевки. Под конец начал припоминать каменнобродских парней. Нет, не похоже!

— Ну вот и подкачали баллончик, можно и дальше топать! — уже веселее проговорил солдат, подходя к остановившейся бричке. — По-моему, за той вон сосной на МТС полевая стежка будет! Не запахали еще?

Илья Ильич тронул вожжи, вздохнул сокрушенно:

— Сказал мне тоже! Да теперь по нашим полям хоть пешком, хоть на лошади. Мало того — гони напрямик на машине. Поля-то наполовину незасеянные остались. Рук не хватает. Дай бог посеянное собрать!

— А обозы-то как же? Откуда?

Илья Ильич махнул рукой:

— Не спрашивай, парень! Если здешний, помнить бы должен, какие тут урожаи бывали! Пятнадцать центнеров на круг недородом считалось! Теперь — хорошо, если десять. А поставки отдай. Что ты поделаешь? Ревешь, да везешь.

— А как там, за Каменкой?

— Одинаково. И в Тозларе, и в Кизган-Таше, да и в Каменном Броде тоже с отрубей на мякину перебиваются. У татар вроде оно и получше малость. Властит, сам знаешь, — свои. На совещании или сборе каком начнут талалакать по-своему. Черт их, о чем они там... А в Каменном Броде Савельев Андрон парадом командует. Может, знавал такого? Девка еще у него, году, не соврат, в тридцатом, в Красном яру утопла. Жмет. Мужики на него в обиде. И чего еще ему надо? Сам сыт, одет. Хозяйство свое, что и до колхоза. Нет, чего-то там еще добивается! То ли орден выпрашивает, то ли нам назло.

Илья Ильич поскреб себя за ухом, продолжал доверительным тоном:

— Не понять! Видно, учитель тот, что в ссылке-то был, окончательно взял его под микитки. Тоже надо ведь человеку перед властями теперь обелиться. С татарвой кизган-ташевской в одну дудку дудит. Да и черт их всех разберет в этом Каменном Броде! Распо-

следняя потаскуха-баба механика нашего метеесовского охмурила. Коммуниста! Другая от живого мужа с агрономом главным схлестнулась! Ребенка, слышь, прижила...

— Значит, схлестнулась...

— Это теперь проще простого: вали на войну! А парень-то был геройский! Механиком на Большой Горе работал. Дымов по фамилии. Коли с наших ты мест, и его бы знать должен. Бригада его до войны на всю округу гремела.

— Помню такого, Илья Ильич, хорошо помню, — хмуро проговорил солдат. — По-моему, не один год со своей бригадой он и ваши поля обрабатывал. Те самые, где пятнадцать центнеров с гектара недородом считались. Знаю такого, знаю. — И опять назвал Илью Ильича по имени-отчеству!

— Точно! Он самый, — обрадовался польщенный Илья Ильич. — Как сейчас его вижу. Росту примерно твоего, и из себя чернявый. А на лбу еще вмятина у него. С детства. Над самым над правым глазом.

— Над левым... Над левым, тебе говорю. А ну, смотри!

Попутчик Ильи Ильича неожиданно для последнего рванул его за шиворот, повернул на месте, как тряпичную куклу, приблизил свое перекошенное лицо вплотную:

— Смотри, говорю! «Как сейчас вижу»! На!

Танкист отбросил со лба свисавшую до бровей седую перепутанную прядь волос. Над левым глазом его синела глубокая вмятина.

— Владимир Степаныч! Родимый мой... Не бей! Не виноват. Ей-богу, не виноват, — глотая слюну, торопился выговорить Илья Ильич. — За что купил, за то и продаю. Слова лишнего не добавил!

— А кто просил тебя продавать такое? Кто, спрашиваю?! Без тебя всё знаю, паскуда!..

Дымов отбросил враз обмякшего Илью Ильича на задок брички. Вытер руку о полу куртки.

* * *

Августовский безветренный полдень тугими волнами зноя прижал к каменистому серому взгорью небольшой городок Бельск. В этот час улицы его без-

людны, и за редкими, грохочущими по булыжнику машинами долго висят в неподвижном воздухе плотные клубы пыли. У пристани густым басом режут пароходы, разгоняя переполненные голыми ребятишками лодки, — не перевернулась бы которая на крутой волне.

В городе душно. Разноголосый гвалт у реки на причальных сходнях охватывает и пропыленную нижнюю площадь с рядами торговых ларьков и навесов. По мере удаления к центру этот гул затихает и остается внизу, а там, на верхней площади, у бывшего собора и заброшенного чахлого скверика — застоялая одуряющая жара, как в бане. Даже асфальт плавится, пузырится ноздреватым наплывом.

В толстостенном каменном здании райкома и райисполкома пятый день сряду хозяйничает тишина. Двери не хлопают, в коридорах не слышно шагов и густого шмелиного гудения от множества голосов, не плавают зеленоватые разводья табачного дыма. — там полумрак и прохлада. Отделы закрыты, сотрудники все в разгоне, — уборка! Только в маленькой угловой комнатке торопливо стрекочет пишущая машинка. Пусто и наверху. Сам Нургалимов — в Уфе, на пленуме. Приедет дня через два.

Антон Скуратов прошел к себе в кабинет в половине одиннадцатого. Сегодня он второй день на работе, — нервы окончательно сдали, пришлось с половины июля брать отпуск. В кабинете с огромной трехъярусной люстрой и массивным дубовым столом пахнет свежей масляной краской и кожей, в открытые настежь высокие окна незримо струится теневая свежесть от старых лип. Они уже давно отцвели, но медвяный запах еще держится в воздухе. Сюда же вплетаются еле приметные струйки увядающей мяты.

Стол у Антона завален бумагами. На телефонные звонки отвечает секретарша, ей же велено срочно подготовить сводку о развертывании жатвы в колхозах района, уточнить, сколько принято сена и готовы ли наконец хлебоприемные пункты. Началось, закрутилось...

Скуратову не работалось. Нехотя полистал сколотые бумаги в одной, в другой папке, выбрал наиболее важные с грифами «Срочно», «Весьма срочно», «Сек-

ретно», «Для сведения». Первые требовали безотлагательных действий, и Скуратов неожиданно для себя понял вдруг, что без заведующих отделами и заместителей он не сможет принять никакого решения, не ответит ни на одну из этих бумаг. Короткая эта мысль оглушила его, как кирпич с карниза.

Откинувшись на высокую спинку старинного кресла с резными массивными подлокотниками и упершись тупым подбородком в расстегнутый ворот защитного кителя, Антон сидел без движения. Ему почудилось, что на этом предводительском кресле, оставшемся в наследство от земской управы, он сидит посреди не чистого поля. Где-то далеко-далеко, по кромке дымчатого горизонта, катится еле приметное пыльное облачко. Катится быстро по убывающей спирали и всё нарастает, дробится на части. И это уже не пыль, а огромные каменные глыбы. По мере приближения они всё больше растут, с грохотом и треском наваливаются одна на другую, вминают леса и отлогие взгорки; скорость их замедляется, а спираль всё уже и уже, как в воронке. Антону нечем дышать, пальцы его впиваются в подлокотники, а угловатые серые глыбы неуклюже перекатываются в какой-нибудь сотне метров, сокрушая друг друга. Еще два-три круга, и непомерная тяжесть обрушится на Антона Скуратова, стиснет в молчаливом каменном сжатии, сомнет, сомкает, вдавит в землю.

Антон покрутил головой, проморгался, вытер платком за ушами и закурил. Экое наваждение! И не впервой. Сколько раз уж так было: стоит остаться одному — всё равно, днем это или среди ночи, — вот он и катится, камушек, на глазах набухает. И всё в одну сторону, всё по убывающей спирали. Никуда от него не уйти, не сегодня-завтра раздавит. За многие годы впервые напало на всесильного Антона тягостное раздумье.

Папироса давно погасла, Антон выбросил ее за окошко. Стал раскуривать новую, и тут взгляд его упал на укрытую белым полотнищем высокую раму красного дерева, приставленную к спинке стула в углу кабинета. Антон тупо уставился на угол рамы — и наконец догадался. Это был неоконченный портрет: Антон проводит заседание сессии райисполкома, изо-

бражен за трибуной с поднятой рукой. Художника привел Ордынский, нашел его где-то в пивной.

По мысли Ордынского, этот портрет предназначался для вручения юбиляру в день его пятидесятилетия, а на обратной стороне должны были бы подписаться все сотрудники райисполкома. Да, какое же нынче число?

На календаре красным подчеркнута цифра и рукой того же Ореста выведено с завитушками: «С днем рождения!» Тонкая бестия этот племянничек! Далеко пойдет!

Антон улыбнулся, польщенный вниманием родственника. А что? Он не так уж и глуп, этот Орест. И, в конце-то концов, сделал немало для Антона. Портрет тут, конечно, не в счет. Стало быть, пятьдесят. Да, вот так и сгорают люди. На боевом посту.

И опять Нургалимов перед глазами. С первого раза не сумел Антон подобрать ключей к Нургалимову, учить было начал. Сам оскандалился с этим десятым снопом, с Калюжным и с куркулем Андроном. Оттуда — с Большой Горы, с «Колоса» — надо ждать подкопа. Теперь еще этот Крутиков объявился. Все они заодно.

Занятый мрачными мыслями, Антон не заметил, что в проеме открытой двери остановилась угловатая фигура Ордынского. Прижимая к груди папку с бумагами и угодливо улыбаясь, он переступил порог, осторожно кашлянул в руку.

Антон поднял голову:

— Легок на помине! Как раз ты и нужен. Садись.

— Не смотрели? — спросил Орест, кивая в сторону портрета. — Я там кое-кого заменить велел.

— Потом, — хмуро остановил его Скуратов. — Ты вот что прежде скажи: чего это вдруг на все лады «Колос» принялся расхваливать? «Пастух-патриот», «Школьники-хлеборобы»! И лес, и нетели на Украину — всё у тебя оттуда! А кто одобрил, кто санкцию дал, коли на то пошло? Почему ни одним словом партийное руководство не выпятил?

— Без меня, Антон Саввич, без меня! Я же вместе с вами в отпуске был. Я уж этой Сергеевой сделал внушение. Понимаете, на Нургалимова ссылается!

— Ну и что? Чем она думала, когда в этих рас-

сказах — про районное руководство ни единого слова?

— Было, Антон Саввич, всё было. А Нургалимов сам же всё и повычеркивал. Велел принести ему газетную полосу и своей рукой — всё до строчки! Да еще выговорил. Вы, говорит, впредь, пожалуйста, без удельных вождей как-нибудь приучайтесь обходиться, без подхалимства.

— Ну, это он цену себе набивает, — криво улыбнулся Антон. — Тут предугадывать надо. Он вычеркивает, а ты того позабористей подыщи словечко. В обкоме читают, небось? Читают! Суммируют или нет? Неужели этому вас учить?

Ордынский растерянно заморгал; ему не понять было, чего это вдруг забота такая напала на дядюшку — принялся хлопотать о выпячивании роли Нургалимова. Раньше такого не замечалось.

— Ты вот что, — говорил между тем Антон, пригибая голову. — Скажу тебе об одном дельце, а ты уж сам потом пораскинь умишком; примечать начинаю: не устраивает его районный масштаб! Второй год он у нас... Экая, право, ты бестолочь!

Орест заморгал еще чаще. Антон придвинулся ближе, зашептал в самое ухо, что́ значит при теперешнем положении иметь надежную руку вверху. Доброе дело не забывается!

Где-то в глубине коридора негромко хлопнула дверь, кто-то поднялся было по лестнице, но с половины ее вернулся. А потом прекратился приглушенный стрекот машинки. Ни Ордынский, ни сам Антон не обратили на это внимания.

— Ворочать, ворочать надо шариками! — вразумлял Антон своего племянника. — Чего тебе стоит лишний раз строчку прибросить: «Товарищ Нургалимов лично присутствовал», «Принял участие», «Подверг всестороннему анализу». А там, брат, суммируют! Да и кому не захочется такого растущего работника приблизить к республиканскому аппарату? Так-то вот!

Антон замолчал на минуту, уткнулся в бумаги, нахмурился, показывая подобающую сосредоточенность. Взял ручку, но не донес ее до чернильницы, — новая мысль обожгла его.

— Ты еще не ушел? Займись-ка еще одним делом. Только сам, лично. С глазу на глаз тебе говорю. Семе-

на Калюжного надо изобличить. Есть у меня сигналы — по юбочной части не всё у него ладно. На месте проверь, кто такая Улита. Потом обмозгуем, как всё это увязать. Сам и напишешь. Действуй!

Антон с решительным видом потянулся к чернильнице и снова не донес до нее пера, — на пороге стоял Нургалимов.

— Действуйте, действуйте! — проговорил он вполголоса. — В статье можете сослаться, что товарищ Нургалимов лично присутствовал во время инструктажа. Но не одобрил.

Секретарь райкома прошелся по кабинету до окна и обратно, хотел добавить что-то еще, но остановился против укрытой рамы. Приподнял свисавшее полотно.

— Это что же? Единственный экземпляр? — спросил он, поворачиваясь к онемевшему Антону. — Жаль, очень жаль! Я бы на вашем месте, товарищ Скуратов, приказал размножить его литографским способом, а подлинник подарил бы республиканскому музею. Скромность не позволяет? Придется, видимо, мне уж заняться этим, с вашего позволения.

Нургалимов с усилием приподнял массивную раму, кивком головы подозвал к себе Ордынского:

— Попрошу вас отнести это ко мне.

Антон остался один. Перед глазами у него зияла мрачная пустота.

* * *

Дымов не торопился. Полевой извилистой стежкой, минуя Константиновку, вышел он к деревне Большая Гора. На краю ее возвышалось кирпичное длинное здание под железной крышей и прилепившейся сбоку прокопченной трубой. Кажется, ничего здесь не изменилось за три года, только как-то поблекло всё: и само здание мастерских, и навесы с распахнутыми воротами, и пустынный двор с раскиданными в разных местах тяжелыми тракторными плугами, остовами разобранных машин.

Тракторов под навесами не видно, а на бетонной площадке перед въездом в мастерскую сиротливо стоит единственная полуторка с обшарпанными бортами и на трех скатах. Под левый передний диск подсунут чурбак.

Через дорогу — бревенчатое строение конторы. У крыльца — директорский «козлик» с откинутым брезентовым верхом. Шофёр спит на заднем сиденье, одна нога его в стоптанном пыльном сапоге покоится на спинке. По другую сторону от крыльца — газетная витрина, Доска почета с выгоревшими фотографиями передовиков соревнования.

Владимир остановился у этого щита: «Колос» на четвертом месте. Лучшее всего дела у татарского колхоза «Берлик». Цифры выведены мелом, выписаны аккуратно и подчеркнуты, а вверху помечено: «За вторую декаду августа».

Чтобы заставить себя не думать о том, что ожидает его дома, Владимир принялся сравнивать данные по колхозам. Складывал, вычитал проценты, пересчитывал вновь, сожалея при этом, что больше нечем заняться и идти всё равно надо. Не стоять же тут до обеда! Хорошо и то, что никто не окликнул его на улице; рано еще, не проснулась деревня. А зачем, собственно, понадобилось ему тащиться в Каменный Брод? Нет ведь ни матери, ни жены. Одно остается, что там родился. Ну и что? Не всё ли равно, где теперь мытариться.

«Сеять пора бы, а у них еще и рожь не вся сжата, — насильно повернул свои мысли Владимир. — Что же это ты, Андрон Савельевич? У соседей восемьдесят пять — девяносто процентов сжато колосовых, а у тебя и семидесяти нет? Неужели и ты сдавать начал?» Попытался представить себе Андрона, а вместо него другое лицо увидел. Насупился, отвернулся в сторону. И тут — шаги на крыльце конторы. Трое вышли.

В переднем Владимир без труда узнал Карпа Даниловича. Постарел тот заметно, в плечах сжался, без бороды совсем другим выглядит. А лицо всё такое же смуглое: с молодых лет задубело оно от кузнечного горна; взгляд живой, с прищуром. За Карпом спускается по ступенькам и придерживается за перила невысокий мужчина в армейской фуражке с темным околышем, а в дверях остановился еще один — высокий, в кожаной куртке. Глянул Владимир на эту куртку, дернулись у него жилы под тугим воротником гимнастерки, — куртка-то его, Владимира! Еще раз стегнул взглядом, теперь уже выше — по лицу главно-

го агронома, а тот ухватился рукой за стояк, да так и остался на месте.

А Карп уже обнимает, тискает жесткими пальцами:

— Владимир Степаныч! Володька!! Нежданно-негаданно! Жив и здоров?! Руку-то я тебе не помял ненароком? Знаю, брат, всё знаю! Ну вот и вернулся! Спасибо, что тропку старую не забыл!

— А я теперь, дядя Карп, вроде слепого коня, — ответил Владимир, осторожно высвобождаясь из крепких объятий Карпа. — Ноги сами с большака свернули.

— Вот и славно! А мы, видишь, засиделись. Сам понимаешь — в неделю раз видимся. Съехали что-то уж за полночь, слово за слово, смотрим, светло на дворе. И опять — в разные стороны. Так оно и идет время-то — колесом. День ли, ночь — различать перестали. А ты ведь голодный небось? — спохватился Карп. — Давай, брат, ко мне! Старуха сейчас нам яишенку... Я ведь теперь тут и живу, рядом!

— В другой раз, в другой раз, дядя Карп, — отнекивался Владимир. — Дома тоже ведь ждут.

— И то, парень, верно: ждут.

Карп растолкал шофёра. Пока тот протер глаза и сообразил, что от него требуется, к Владимиру подошел человек в армейской фуражке, пожимая руку назвался Семеном Калюжным. Высокий, в куртке Владимира, по-прежнему оставался в проеме двери, не решаясь заговорить.

— А это — наш агроном, — как ни в чем не бывало обернулся к Владимиру Карп и кивнул при этом в сторону третьего своего товарища, говоря ему с грубоватой веселостью: — Ну чего ж ты, Вадим Петрович, к месту прилип? Иди поздоровайся с первым каменнобродским трактористом! Дымов это, Владимир Степаныч!

Дымов молчал, искоса поглядывая на того, кого Карп назвал Вадимом Петровичем, а Стебелькову ничего иного не оставалось, как сойти наконец с крыльца. Вот и встретились! Неожиданно и против собственной воли обменялись молчаливым рукопожатием. Только во рту у Владимира стало солоновато да у левой ключицы дернулась еще раз непослушная жилка.

— Стало быть, так и сделаем, Семен Елизаро-

вич, — говорил между тем Карп, обращаясь к соседу Владимира. — Поезжай в Кизган-Таш. Завезешь нашего героя-танкиста домой, а сам по круче — за Каменку. Разберись там с претензиями Хурмата, а мы с Владимиром Петровичем — в Константиновку. Ты уж, Владимир Степанович, не обессудь! На недельке выкроим времечко, скопом нагрянем, а лучше того — пришлю за тобой машину да потолкуем уж обо всем за стаканчиком. Договорились? Давай!

Карп долго не выпускал руки Владимира, помог ему сесть в машину и многозначительно глянул при этом на Семена.

Калюжный забрался на заднее сиденье, «козлик» фыркнул, прокашлялся и, оставляя за собой струйку синеватого дыма, проворно юркнул в переулок. Владимир не оборачивался.

«Только бы этот еще не начал уговаривать, — подумал он про Калюжного, чувствуя на себе пристальный взгляд механика, — не стал бы на что-нибудь намекать». А Семен и не собирался этого делать, — он-то уж понимал, какой ценой досталось Владимиру его самообладание при неожиданной встрече со Стебелковым и какая буря клокочет сейчас в груди бывшего тракториста и бригадира.

Затянувшееся молчание становилось тягостным, и Владимир первым нарушил его. Спросил, сколько сейчас тракторов в МТС и жив ли старенький ХТЗ, на котором лет десять назад он работал. Оказалось, что трактор жив, находится в одной из бригад «Колоса» и работает на нем девчонка, чуть ли не ровесница внуку Андрона.

— Вот из кого работяга выйдет! — принялся на все лады расхваливать Семен Андрейку. — Недавно мы с директором МТС на его участок бригадиров всей зоны возили. Человек двадцать набралось! Знаете, какая у него уродилась пшеница? Самое малое тридцать центнеров с гектара! В газете было.

Владимир слушал рассеянno и не сразу понял, о каком участке идет речь и откуда у семиклассника Андрейки такой урожай. Семен повторил и, видимо обрадовавшись, что есть о чем поговорить, рассказал Дымову всё, что знал про Андрейку и школьных его дружков. Как Пашаню они опознали в сторожке Мух-

тарыча, как с Митюшкой собирались бежать к партизанам, как задолго до этого разработали вместе с Мишкой специальный шифр для своей переписки и чем окончилась эта мальчишечья затея.

— Вы понимаете, к вам ведь, под Псков, пробираться думали, в Партизанский край, — уточнил Калюжный. — А старший брат этого самого Митюшки — летчик, теперь-то уж, кажется, майор, — по их замыслу, должен был перебросить беглецов через линию фронта. И сухарей себе наготовили, и письмо родителям написали. Всё честь честью!

Владимир повернулся к рассказчику:

— Под Псков, говорите?

— Вот именно! И непременно вас разыскать намеревались!

— Меня?! — с еще бóльшим изумлением переспросил Владимир. — Это как же известно им стало, что я находился там?

— Да этот же самый летчик, сын соседки Андрона, матери написал, что своими руками из самолета ящики с патронами вам передавал! В октябре или в ноябре это было. А когда догадался, что это вы, по известным ему приметам, вас уже около самолета не оказалось. Побежал к командиру отряда, тот ему и сказал: «Точно, Дымов Владимир Степанович, есть такой». Все мы тут это знали. А перед самым праздником в «Правде» Указ прочитали о награждении вас орденом Красного Знамени.

Владимир с трудом проглотил застрявший в горле комок.

— И она тоже знала? — выдавил он через силу, не называя имени жены.

— Когда получили письмо, ей нельзя было говорить об этом, — глядя прямо в глаза Владимиру, твердо проговорил Семен. — И агроном не знал.

— Понятно. Всё мне понятно, — перебил Владимир. — Получили письмишко, посоветовались. Прикинули: на войне ведь и убить может, ну и хрен с ним. Раз пристроилась бабонька — пусть.

У Калюжного побледнели скулы.

— Неправда! — выкрикнул он в лицо Дымову. — Не клеветецте на нас и на Анну! Ее же уверили, что вы погибли! По тому, что мне про вас говорили ваши

соседи и учитель, у меня складывалось очень высокое мнение о бригадире Дымове, а теперь вижу, что ошибался. Жаль, очень жаль, Владимир Степанович!

— А вы не жалеете. Я пока что руки не протягиваю под окошком.

Калюжный стал нервно закуривать, тонкие губы его кривились. Шофёр сосредоточенно всматривался в серое полотно дороги, изредка косил взглядом в сторону Владимира, и по всему было видно, что у этого мешковатого на вид парня есть свое особое мнение, и оно не в пользу Владимира.

Остаток пути до запруды у мельницы всем троим показался необычно длинным. Перед мостом Владимир тронул шофёра за колено. Тот притормозил.

— В Кизган-Таш тут прямее, — сказал Дымов, кивнув на луговой проселок. — Спасибо, что довезли.

«Козлик» развернулся на дамбе, обогнул небольшое болотце и через минуту скрылся в прибрежном кустарнике. Владимир постоял еще некоторое время на месте, прислушиваясь к шуму воды под ногами, подумал, что неплохо бы умыться, и, придерживаясь здоровой рукой за ветки густого ольшаника, начал спускаться к реке. Здесь было всё по-прежнему: глубокая котловина, окруженная с трех сторон низко свисающими седыми космами ивняка, с черным прогалом ныряющей в этот ивняк речки. И такой же черный, прогнивший настил на изъеденных временем сваях. В щель между двух горбылей было воткнуто короткое удилище с рогулькой жерлицы. Оно изгибалось в дугу, хлестало концом по воде, а в самой котловине ходила по кругу пятнистая пучеглазая рыбина, вспарывая туго натянутой бечевой зеленоватое зеркало ятови¹.

Владимир вскинул голову, осмотрел заросшие берега и мост за своей спиной, в надежде увидеть хозяина жерлицы, но там никого не было. Видно, рыбак оставил наживку с вечера и не особенно торопился проверить жерлицу. Щука может сорваться, но одной-то рукой с ней, пожалуй, и не управишься. Да и кому ее потом отдавать?

Размышляя так, Дымов осторожно перебрался по надежным доскам к удилищу. Не вынимая его из ще-

¹ Ятовь — котлован ниже плотины.

ли, дотянулся рукой до рогульки, захлестнул скрученную в три жилы лесу за обломок сваи. Рыбина ушла вглубь, потом заметалась поверху, забила широким хвостом и, разинув зубастую пасть, кружила над затопленными корягами.

«Уйдет ведь, зараза!» — подумал Владимир и, изловчившись, перебросил лесу на соседнюю сваю, и снова на первую. Получилась восьмерка. А щука хлесталась на мелководе, не сводя с человека недвижимого, злобного взгляда.

Еще восьмерка! Еще одна!.. Теперь можно выдернуть удилище, толстым его концом дотянуться до приплюснутой головы. В азарте Владимир сбросил куртку, локтем правой руки подхватил натянутую, как струна, лесу и, не раздумывая, прыгнул в воду. Щука метнулась в коряги, ударилась в ноги Владимира, взвилась над водой и тут же перевернулась вверх брюхом, — удар по затылку оглушил ее, студенистые алчные глаза хищника остекленели.

Выбросив щуку на слань, Дымов теперь только опомнился, увидел, что сам он стоит по пояс в холодной воде, что щуку выбросил не правой, а левой рукой, а на мосту, перевесившись через перила, прилепился маленький, ветхий старикашка в пестрядинной рубахе и таких же штанах, головастый и тонконогий, как паук, и смотрит вниз.

— Твоя, что ли, будь она проклята?! — с неожиданной для самого себя веселостью окликнул его Владимир и ткнул удилищем в распластанную на горбылях оглушенную рыбину.

— Теперь, должно, наша! — ответил старик тоненьким голоском, и Владимир больше по голосу, чем по лицу, узнал в нем бывшего лавочника Кузьму Черного.

«Час от часу не легче!» — подумал Владимир, но подумал беззлобно, с усмешкой, и перевел взгляд на пальцы левой руки. Они сжимались и разжимались сами!

Кузьма проворно скатился с плотины, бесшумно и быстро перебирая ногами и руками и всё более напоминая шустрого паучка.

— Ловко ты ее, ловко! Полпуда потянет, с места мне не сойти! Ты смотри, аж с прозеленью!

Щука меж тем ожила, трепыхнулась, Кузьма упал на нее животом и невесть откуда добытым деревянным крючком принялся продевать ей под жабры снятый с себя ремешок. Рыбина билась, со свистом заглатывая воздух.

— Она! Не иначе она это в прошлом году утей тут пожрала! — торопился Кузьма. — Сам видел: чисто акул из-под слани бросалась. А утятки-то махонькие, только вылупились, глупенькие. Порх-порх по воде крылушками. Нет чтобы к берегу, а они — на глыбкое место. Сей минут изничтожила, вот какая зараза! А знаешь, на что взяла? — весело поглядывая снизу вверх на Владимира, продолжал старик. — Опять на куренка! Этот уже с перьями был. Околел чего-то, вот я его и приспособил. Ишь пузо раздулось! А что? Чего ты смеешься? Не веришь?

— Верю! С чего бы это мне не поверить, — прилаживая на шею перевязь, отвечал Владимир, не переставая шевелить ожившими пальцами левой руки. — Верю! А ты всё такой же, Кузьма Епифорыч, не стареешь!

— Постой, постой... — приподнялся Кузьма и озабоченно захлопал красноватыми веками. — Чей же ты будешь?

— А вот узнай!

— Не признать, парень! — вздохнул, помолчав, Кузьма и безнадежно махнул рукой.

Владимир назвался, Кузьма заморгал еще чаще:

— Так тебя же убили?!

— Видишь вот — не совсем.

— Не до смерти, значит?.. Ну что? Это оно хорошо, пожалуй, — глубокомысленно заключил Кузьма. — Это оно неплохо.

— Я тоже так думаю, — согласился Владимир и теперь только вспомнил, зачем он спустился на слань. Хотел умыться, а вымок по грудь.

Кузьма покачивал сухонькой головой, на лице его, сморщенном, как печеное яблоко, отражалось раздумье, так не свойственное этому въедливому и крикливому мужику в прежние годы.

— Так и сидишь тут сторожем? — осведомился Владимир.

— Так и сижу, караулю. Невесело одному-то. Ой

как невесело, — пожаловался старик. — С собакой, с котом только и поговоришь. Осенью да зимой еще терпимо:людно на мельнице; а весной — ну хоть волком вой!

— А чего же к дочери не уйдешь?

— Это к Дарье-то? — Кузьма пожал плечами. — Можно оно бы, можно. На старости лет отца родного за порог не выгонит. Да не могу — виноватый я перед ней. С самого выданья виноватый.

Кузьма тронул пальцами сероватый пушок на затылке, а Владимиру по-человечески стало жаль этого ветхого старикашку. Прихватив здоровой рукой добычу, Дымов поднялся с ней на плотину, дождался Кузьму, передал ему щуку.

— Надо ее того... — снова засуетился старик. — Коли шибко торопишься, я ее — топором! Какую тебе половину — хвост али голову? Чешую-то, ее и потом снять можно. Посиди на бревешке, я разом!

Весь берег завален был бревнами. Штабеля ошкуреного строевого леса возвышались по обе стороны полевой дороги. Сложены по-хозяйски — рядами и на прокладках, комли выровнены.

— Чего это строить собрались? — спросил Владимир. — Бревен-то заготовили на целую деревню.

— Председатель запасает, — безразличным тоном ответил Кузьма. — Пилораму, слышь, покупать собирается, подыскивает механика. А ставить ее мыслит тут же, при мельнице. Накатали вот кругляку, а для чего — молчит. Он ведь у нас не больно разговорчивый, Андрон-то Савельич. Может, для города. Нефтяники там дюже строятся. А лесу тут тысяч на сто.

Кузьма забежал в сарайчик, вынес оттуда широкую доску, снова нырнул в дверку — за топором, а пока принаравливался да примерялся, как бы ему лучше поделить отменную рыбину, приплясывая возле доски, Владимира на мосту уже не было.

* * *

В этот день нездоровилось что-то Анне. С вечера еще началось: то пот на висках выступит, то озноб прокатится по спине. И ночь спала беспокойно. На рассвете завязала потуже полог под низом зыбки, что-

бы Степанка не вывалился, осторожно вышла из дому, накинула на пробой петлю. После дойки сказала Дарье:

— Нemoжeтся мнe. Гoлoвa — кaк чугунная и знoбит.

— Бaню пoжapчe, дa c вeникoм, — пoсoвeтoвaлa тa. — A пoтoм — чaю пoгopячeй выпeй c сушeнoй мaлиной. Хoрoшo пpoпoтeeшь пoд oдeялoм, вoт и пpoйдeт. Лaднo уж, вeчeрoм oстaвaйся дoмa, упpaвляюсь тyт co cвoими дeвкaми.

Дeнь c yтpa oбeщaл быть жapким, дaжe pocы нe былo, нa дeрeвьях листья нe шeлoхнyтcя. Рeбятишки cпaли eщe, кoгдa мaть вepнyлacь. Пpибpaлa в избe, кaшy жидeнькyю для Стeпки cвapилa, нaкoрмилa oбoиx. Мeлoчь вcякyю пpoстирнyлa, a гoлoвa гyдит, лoб гopячий.

Чacам к дecяти зaтoпилa бaню. Нaнocилa вoды из кoлoдцa, плeснyлa нa pacкaлeннyю кaмeнкy, чтoбы чaд выпycтить вoн. В пpeдбaнникe сбpocилa юбкy, кoфтy. В oднoй pyбaxe вздyмaлa пpoбeжaть oгoрoдoм в избy: гpeбeшoк зaбылa. Взялacь уж зa двepкy, дa лaднo, чтo oткpыть coвceм нe ycпeлa. Скoрee пpихлoпнyлa ee, дa нa зaдвижкy: шaгax в дecяти, зa плeтнeм, cтoял бopoдaтый дядькa. Нa двoрe жapынь, a oн в cтeгaнкe, гoлoвa нe пoкpытa, ceдaя. Рyкoй зa кoл дepжитcя, шeю вытянyл и в cад зaглядывaeт. Пocтoял и пoшeл, cнoвa oстaнoвилcя. И чeгo eмy нaдo тyт, пo-зa пpяcлaми? Дoбpые лyди дopoгoй xoдят, a нe зaдвopкaми. Дoлгo cмoтpeлa в щeлкy, кaк yдaляeтcя ширoкaя cпинa. Тaк в дeрeвню и нe cвepнyл; ccyтyляcь, пoднимaлcя нa Мeтeлихy. И oпять нeпoнятнo: eсли вop кaкoй или бeглый, нa видy y вceй yлицы нe бyдeт нa гoрy лeзть.

Аннa вepнyлacь к cкaмeйкe — лeжит гpeбeшoк пoд мoчaлкoй. Рaздeлacь coвceм, нaлилa в тaз щeлoкy, рaспycтилa вoлocы и нe yтepпeлa: пpигнyвшиcь вoзлe низeнькoгo oкoнцa, eщe рaз глянyлa нa вepшинy гopы. Чeлoвeк oстaнoвилcя y peшeтки Вepoчкинoй мoгилы, cклoнил гoлoвy...

Дeрeвня кaк вымepлa. Рeдкo-рeдкo пoявитcя гдe-нибyдь в oгoрoдe coгнyтaя вдвoe фигyрa дpeвнeй cтapyжи, пpoбeжит чepeз yлицy пec. Пycтo и нa бpигaднoм двoрe, и нa cкoтнoм — зa oзeрoм. Oткyдa-тo из-

далека, со стороны Ермилова хутора, временами доносится приглушенный рокот трактора: рожь, наверное, молотят, да за Каменкой в одном месте убирают с поля бабки. В излучине, выше Красного яра, прилегло у водопоя стадо.

Владимир сел на брошенную куртку, привалился плечом к ноздреватому серому камню, безотрывно смотрел на крылечко родного дома. Так решил еще в госпитале, когда после долгих месяцев впервые смог сам написать письмо Анне и ждал ответа; так думал у тлеющего камелька в партизанской землянке, после того как вырвался из людоедских лап коменданта лагеря обер-лейтенанта Пфлаумера: да и в самом лагере за год с лишним часу не проходило, чтобы не встала перед глазами островерхая шапка Метелихи и деревенька, раскинувшаяся у ее подножья.

Ждал этого дня, надеялся, верил, что придет он. С необузданной, дикой яростью цеплялся за жизнь, за малейший проблеск ее, за еле приметный вздох. Думалось, вот он вернется, встанет в рост на вершине, распростерши руки, чтобы обнять сразу всё — и леса, и горы. И чтобы было это обязательно утром, на восходе солнца. Анна увидит его из окошка, простоволосая и босоногая прыгнет с крыльца.

Это придавало силы, согревало на голых плитах каменного подвала, на допросах заставляло молчать, зубами стискивать лютую боль от ударов кованых сапог и плети самого Пфлаумера из крученой проволоки и с напаянной на конце винтовочной пулей, изодня в день откладывало по крупнице спрессованной ненависти в сжатые кулаки.

И человек жил, выжил. Вот и пришел, вернулся. Сделал так, как решил, как хотел сделать до письма от Анны. Сделал так и после того, как получил письмо. Назло. Письмо это цело, лежит в нагрудном кармане. Только не в том, где партийный билет и орденская книжка. Сжечь, изорвать не смог, — оно ведь тоже добавляет ярости, значит, и силы.

Дверь на крыльце оставалась закрытой. Ни в одном окне не раздвинулись белые занавески, никто не бежит из калитки с поднятыми руками. Значит, не видят, не больно-то нужен. Но вот из проулка показался Кузьма. Вначале он зашел в дом Дарьи, побыл там

очень недолго, потом постучался в окошко к Дымовым, передал туда что-то завернутое в тряпицу.

«Рыбу принес, — догадался Владимир. — Ты смотри, что с нашим лавочником сделалось! Перековался!»

Анна уже одевалась, когда в дверь предбанника торопливо забарабанили маленькие кулачки. Анка запыхалась и ничего не смогла объяснить толком, твердила одно и то же:

— Дедушка с мельницы рыбу принес. Вот такую пузатую! Спрашивает, а где же батька. Я говорю ему: «Нету у нас никакого батьки», а он не верит. Как же нет, говорит, а чья же ты дочь?

— Так и сказал: «Чья же ты дочь?»

— Так и сказал! И еще говорит, что щуку эту не сам он поймал, а мой батя. И куда, говорит, вы его спрятали? Домой ведь ушел прямо с мельницы. Вот иди и сама скажи ему толком, что мы никого не прятали. Дедушка на крыльце сидит.

У Анны похолодело в груди: этот седой, в стеганке... В огород смотрел из-за прясел... «Неужели?!»

— Где Степанка? — спросила Анна свистящим шепотом и почувствовала, что ей нечем дышать.

— В зыбке, где ему больше быть, — рассудительно, как большая, ответила Анка и прижалась в угол: испуг матери охватил и ее.

— А больше ты никого не видела? К дому никто не подходил?

— Нё... На горе дядька какой-то. Давно уж сидит. На самом верху.

— Ладно, беги, беги, моя доченька... Беги, я сейчас.

— Беги, беги, доченька, — механически повторила Анна, когда Анкино синенькое платишко мелькало уже далеко между грядками, а сама кружилась на месте, и у нее всё валилось из рук.

В десяти шагах не узнала, не подумала даже. Всегда так бывает, когда долго ждешь. А он? Почему он прошел мимо дома? Что ему делать там — на Метелихе?

Всё сразу припомнилось, замелькало перед глазами: как провожала его в то памятное каждому воскресенье, как он помахал рукой из кузова машины — будто не на войну уезжал, а в соседний район на какой-нибудь слет трактористов, денька на два, на три;

как с этой самой минуты начала его ждать. Потом — письмо сержанта Кудинова, Улита, Вадим Петрович... «Гоните? Неужели сплетня какая?»

Было ли так, чтобы не думала о Владимире? Можно все дни перебрать, разложить по полочкам связками: вот недели, а тут побольше кучки — это месяцы, а тут уже годы. И не было дня, чтобы, проснувшись утром, не назвала бы его имя, не было вечера, чтобы не глянула на застекленную рамочку с фотографией... Любил ли ее Вадим Петрович? И сейчас любит. Стоит слово сказать — вернется, увезет куда хочешь, на руках носить будет.

Анна попыталась представить себе, что было бы, если бы первым мужем был у нее Вадим Петрович. Прошел бы он так же вот задворками на Метелиху? Нет, там у него нет ничего потерянного. А у Владимира — Верочка. К ней-то он и поднялся, чтобы ей, а не Анне, сказать первое слово.

Подумала так, усмехнулась горько. Из предбанника вышла прямая и строгая. Не торопясь прошла по тропе, во дворе раскинула на веревку мокрое полотенце и тогда только посмотрела на гору: Владимир стоял у решетки.

Кузьмы на крылечке не было, а через открытую дверь доносился голосок Анки: «А-а-а, о-о-о...» Анне подумалось, что и там на горе слышно это самое «а-а-а, о-о-о» и как поскрипывает очеп зыбки. До крови прикусила губу, чтобы не закричать, не броситься вон со двора. Удержалась. Еще раз поверх веревки с бельем глянула на Метелиху, провела рукой по вискам, медленно поднялась по ступенькам крылечка, ушла в избу, не прикрыв за собой дверь.

Владимир всё это видел. И то, как метнулась с крылечка шустрая девчурка, кинулась в огород, к бане, как бежала оттуда обратно, прыгая через грядки; как потом шла по картошке Анна, как спокойно развешивала на веревке белье и устало откинула волосы. Всё в ней было чужое: и походка какая-то деревянная, и эта неторопливость. Ушла и на гору не посмотрела, не остановилась посреди двора.

Просунув руку в петлю повязки, Владимир подобрал с земли куртку, вместе с тощим узелком вещевого мешка перебросил ее за плечо. Начал спускаться

вниз по травянистому скату, не отдавая еще себе отчета, что́ он скажет Анне и что будет делать потом.

Ноги сами подняли его и пронесли до половины спуска легко и пружинисто — мелким шагом, а там, где можно было уже ставить грубый солдатский ботинок на всю ступню, не боясь поскользнуться, они сами же начали упираться и уже не пружинили, а как-то, тоже по-деревянному, ломались в коленях, точно у заводной куклы. И чем меньше оставалось шагов до родного крылечка, тем шаги эти становились медленнее и тяжелее.

Вот и калитка. Не глядя в окно, чтобы прежде времени не увидеть перепуганного лица Анны, Владимир боком протиснулся возле столба, сутулясь прошел по двору. На крыльце и в сенях обе двери открыты, а в избе будто и нет никого. Почему-то бросились в глаза стоптанные башмаки у порога, ведро на подставке, наполовину оборванная вязанка луковиц, свисающая вдоль стенки. Половицы в сенях разошлись, оконце выдавлено, — задувать будет осенью, просквозит зимой, снегу наметет.

Анна стояла у зеркала, расчесывала волосы. Длинные, отливающие потемневшей бронзой, лежали они на плечах, спадали до пояса. Повернула голову оттого, что скрипнула половица, и не вскрикнула, не попятилась в испуге, только губы чуть-чуть приоткрылись да рука с гребешком у щеки задрожала.

— Здравствуйте вам, — удивляясь и голосу своему, и тому, что сказал не совсем-то по-русски, проговорил Владимир и уперся взглядом в простенок. Там жалась дочурка, босой и тоненькой ножонкой раскачивая накрытую зыбку.

— Все ли живы-здоровы? — несколько громче начал он тут же. — Не ждали, видать? Бывает. Случается и такое.

Анна не тронулась с места, у Анки глаза округлились.

Владимир повесил куртку на гвоздь притолоки, бросил мешок на лавку. Подавшись вперед и расставив в стороны локти, медведем прошел по избе до противоположной стенки, ткнул пальцем в застекленную рамочку под зеркалом.

— Давно ли повесила? — спросил, вжимая голову

в плечи. — Как письмо получила или сегодня уж, после того как Кузьма псбывал?

У Анны запрыгали белые губы. Пересилив себя, ответила ровным голосом:

— Забыл что ли? На этом же самом месте с Хасана она висит.

Владимир снял с гвоздика рамочку, повертел ее перед глазами, швырнул за окошко, в дорожную пыль:

— Ну что же? Осталось теперь на добавку семейную глянуть. Показывай, не стесняйся.

Анна положила на стол гребешок, в обе горсти забрала волосы, скрутила их тугим узлом на затылке, заколола шпилькой. Слышала, как сбоку от нее сипло дышал Дымов. Потом подошла к зыбке, откинула полог:

— Смотри.

Владимир шагнул было к зыбке, остановился, сорвал с гвоздя куртку. Хлопнула дверь, вторая. Вот и нет его — ушел огородом в поле.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Антон Скуратов сдавал дела. Сдавать, собственно, было нечего: положить на стол ключи от сейфа и кабинета, дать краткие устные характеристики работникам аппарата. Большого не требовалось. О том, что представляют собою колхозы района, МТС и несколько небольших предприятий, расположенных в самом Бельске, новый председатель райисполкома знал не хуже самого Скуратова.

После сессии Антон ходил как в тумане. Она состоялась, эта внеочередная сессия райсовета, но без доклада Скуратова и без внушительного отчета на страницах районной газеты, которую снова стала подписывать «и. о. редактора» Н. Сергеева. Там была опубликована коротенькая информация, буквально в три строчки, о том, что сессия решала организационные вопросы; но в городе все уже знали, что Антон теперь не Антон, тыкали в спину пальцем. В решении было записано: «За верхоглядство и бесхозяйственность, грубость и бюрократические методы руководства тов. Скуратова А. С. отозвать из состава депутатов

районного Совета, освободить от занимаемой должности», а по городу в тот же день разнеслось: «Антошке-то нашему дали под зад коленом!»

Бумага с гербовой печатью лежала посредине стола. Одна-единственная на широком зеленом поле. И обыкновенная школьная ручка с новым пером. Ручку эту попросил принести Калюжный, как будто не видел, что перед ним, возле массивного и аляповатого письменного прибора, в резной малахитовой подставке вместе с дюжиной отточенных разноцветных карандашей было воткнуто несколько ручек — каждая толщиной в палец. Секретарша сказала, что хороших нет, есть простые — ученические.

— Вот и ладно. Будем вместе с вами учиться писать теми ручками, что попроще, — ответил на это новый предрика, — а это всё уберите.

Не дожидаясь, пока секретарша выйдет из кабинета, Семен отодвинул в сторону широкое председательское кресло с засаленными подлокотниками, поставил себе жесткий стул с прямой спинкой. Антон скрипнул зубами, побагровел.

— За вами осталось служебное удостоверение, — усаживаясь на место и положив на стол руки, проговорил Семен, глядя в упор на Антона.

— Радуюсь? — хмыкнул тот, поджимая толстые губы. Вынул из нагрудного кармана небольшую красную книжицу и бросил ее на стол. — Н-а, бери. Думаешь, за это ордена на вас с Нургалимовым посыплются?! Знаю я ваши козыри.

Антон величаво поднялся, густо прокашлялся. Повернулся прочь и, пока шел до двери, обмяк. В дверь скользнул боком, а там уже толпились люди на прием к новому председателю.

Куча неотложных дел и уйма людей ждали Семёна: тут и нефтяники, и строители, и директора школ, и дорожники, не говоря уже о председателях колхозов. А главное — хлеб.

На приемных пунктах «Заготзерна», в дырявых складах у мельницы-крупорушки, хлеб лежал еще с прошлого года, местами подмоченный и заклепанный. Теперь он годился только на корм скоту. А куда девать зерно нового урожая? На складах ни мешков, ни брезентов.

С этого и начал новый предрика. Вызвал председателя райпотребсоюза и заведующего районо; первому отдал распоряжение закупить у населения всё, что может годиться на изготовление мешков, вплоть до обмена на остродефицитные товары, второму сказал, что и без того мизерные фонды строительного материала, предназначенные на ремонт школ, переключает на спешное строительство новых пакгаузов на набережной. А хлеб уже шел, — большой хлеб. По булыжному большаку, по проселкам пылили тяжело приседающие грузовики, к речной переправе тянулись обозы. На свежесрубленных помостах вдоль набережной, как в сказке, росли длинные штабеля мешков; под навесами возвышались горы зерна; без устали тарактели движки транспортеров; тяжелыми струями, шелестя, падала в глубокие трюмы барж янтарная пшеница, день и ночь не смолкала у причалов людская разноголосица.

Неожиданное повышение Калюжного больше всего напугало Улиту. В Бельск она перебралась спустя две недели после отъезда Семена, и то потому, что Светланке нужно было отправляться в школу. Улиту поразила скромненькая квартирка в две комнаты с водопроводом и ванной. Коромысло и ведра повесила на гвоздик в коридоре, расставила немудреную обстановку, да и села, пригорюнившись: это что же за жизнь такая — делать-то вовсе нечего! Куда руки девать, не знает: ни куренка, ни поросенка. За водой и то не надо ходить, только что — дров принести из сарайчика. Потому все они, городские-то, гладкие.

— Ты уж, Семушка, не обмолвись где, что я женой тебе довожусь, — упрашивала она Калюжного. — Засмеют! И в люди меня не показывай. Какой с меня спрос — ни ступить, ни молвить.

— Мне сейчас тоже не до балов и приемов, — успокоил ее Семен. А дня через три купил ей новое платье, туфли на каблуке, попросил:

— Перед вечером зайди-ка ко мне на работу. По коридору последняя дверь направо. Сегодня, вроде, суббота? Я позвоню, пожалуй, часиков около шести.

С тем и ушел. Так ничего и не поняла Улита. Может, кто в гости позвал? До гостеванья ли тут?

После обеда прибежала к Светке новая подружка

из соседнего дома — дочурка Нургалимова, черноглазая и шустрая, как котенок. Потом мать ее заглянула, тоже веселая и красивая. Поставила на середину стола огромный букет цветов и улыбнулась, протягивая руку:

— Давайте знакомиться! Бас Улей звать? Очень хорошее имя! А меня — Сабира. Я в больнице работаю.

Семен встретил Улиту в коридоре и сразу повел налево, к двери, на которой крупными буквами было написано: «ЗАГС». Вскоре туда же вошел и Нургалимов. И у него в руках такой же букет, как у жены.

— Поздравляю, от души поздравляю! — сказал секретарь райкома, а Улита не нашлась, что и ответить, глазам и ушам своим не верила.

* * *

Как-то перед вечером в кабинет Калюжного вошел запыленный Андрон, через стол крепко пожал руку Семена, пригнул голову, глянул в лицо:

— Похудал ты, иначе, Семен. Чего креслу-то в угол отставил? На кожаной-то подушке аль жестко?

Калюжный махнул рукой, стал расспрашивать о делах в колхозе, а потом завел разговор о Владимире.

— Худо, брат, совсем худо, — вздохнул Андрон. — И я уж не раз толковать принимался, и Николай Иванович до утра с ним в этой самой сторожке просиживал. Он ведь теперь, Володька-то, обходчиком на Поповой елани определился. Зверь зверем!

— В колхоз надо его перетягивать, к людям.

— Вот и мы так же самое думаем. И Николай Иванович, и Карп. С обоими я советовался. А теперь надо с тобой да с Салихом Валидовичем вместе бы это обмозговать.

— А что именно?

Андрон, по обыкновению своему, ответил не сразу, мял на коленях шапку.

— Думка наша такая, Семен Елизарыч, — начал он наконец, сбоку поглядывая на Калюжного. — Передать бы ему колхоз. Годы мои, сам знаешь, немалые, да и грамотешка не ахти велика.

— Не рановато ли об отставке разговор заводить? Андрон еще раз вздохнул:

— Время, Семен Елизарыч, время; Андрон свое отработал. На моем месте теперь человек помоложе нужен, у кого голова посветлей, кто видит подальше.

— Прибедняешься, Андрон Савельевич, прибедняешься! — помолчав, ответил Калюжный.

— Не прибедняюсь, а дело говорю, — стоял на своем Андрон. — В утиль я себя не списываю, а прыти былой уже нет. Тут, брат, ничего не поделаешь, — годы. С поставками вот рассчитаюсь, подобьем рубли да центнеры, соберу народ. В заместителях, может, еще и хватит меня годика на два, на три. Молодым, молодым, Семен Елизарыч, надо крылья свои расправлять.

Калюжный задумался. В душе он принимал доводы Андрона полностью, а отпускать всё же жалко было. Понимал и то, что просьба Андрона продиктована не страхом перед ответственностью и отнюдь не желанием набить себе цену. Это — трезвые рассуждения; война подходит к концу, и Андрон прекрасно отдает себе отчет, что перед колхозами встанут новые, небывалые по напряжению задачи. Чтобы справиться с ними, председатель должен быть помоложе.

— Значит, настаиваешь? — Калюжный оперся локтями в стол. — А не думаешь, что колхозники воспротивятся?

— Против Дымова голосов не будет.

— А сам-то он согласится?

— Меня об этом не спрашивали, а он — коммунист.

— Значит, через райком?

— Без райкома, сами всё сделаем. Мы уж тут с Николаем-то Иванычем кое-что обмозговали. Карп тоже всё знает. Образуется, всё оно образуется, Семен Елизарыч. И с семьей так же самое. Тут надо выждать. Время всё излечит. Слов нет, нелегко это, а что ты поделаешь. Раз завязался узел, надо его рубить.

— Думаешь, не помирятся?

— Это теперь от него зависит — от Володьки. Я уж ему говорил: «Брось ты эту самую гордость, довольно беситься!» Молчит, а по всему видно — в душе-то согласен. Вот я и толкую: время залечит. И тогда самая лучшая наша скотница при живом-то муже вдовой перестанет быть. И заново дугой-радугой дорога в жизни перед ними обоими развернется. Горы ведь он сеернет в таком разе, Володька-то!

Помолчали оба, снова вернулись к делам артельным. Всё интересовало Семена: много ли хлеба еще на корню, сколько посеяно, какое поле под пар осталось, хватит ли сена на зиму коровам. Спросил и о том, отремонтирована ли мельница, заготовлены ли дрова для школы, есть ли гвозди, подковы в сельпо. Про Мухтарыча, Никодима вспомнили. Старый пастух не протянет долго, а Никодиму — тому ничего не делается, не стареет. И сбор на пасеке нынче добрый, из всех годов. Колхозникам в счет трудодней выдано уже по три килограмма меду, государству без малого тонну продали.

— Ну, а ты как живешь? — спросил под конец Андрон. — В доме-то всё ли ладно?

— В доме всё хорошо. — Семен быстро глянул в сторону собеседника. — А что? Пересуды, верно, еще не улеглись на Большой Горе?

— Плюнь ты на это, Семен Елизарыч, — отмахнулся Андрон. — Сошлись — и живите. Улита — женщина неглупая. Ну, помяло, покорежило ее в жизни, напраслины всякой наговорено было с три короба. На любую так-то оно доведись. Озлобилась, а душа всё же человеческая у нее осталась. Вот я и толкую: в час добрый.

Говоря это, Андрон подошел к окну, взглянул на улицу, кивнул кому-то. Минуту спустя в дверях показался Андрейка с берестяным туеском в руках и кошёлкой отборных яблок. Вытянулся, загорел парень, глаза веселые.

— Давай-ка сюда, — распорядился Андрон, видя, что внук не знает, куда положить принесенное. — Да расскажи председателю райисполкома, сколько хлеба привез. Квитанцию-то не потерял еще?

— Вот она, тут, — ответил подросток, похлопывая себя по карману.

— Это что за квитанция? — спросил Семен.

— Пшеницу мы сдали, три тонны, — солидно ответил Андрейка. — Мы-то хотели, чтобы отдельно, и письмо написали школьникам Ленинграда, а тут всё перемешали.

— Для школьников Ленинграда? Похвально, — проговорил Калюжный, принимая квитанцию. — Это что же, уж не со своего ли участка? С той полоски за озером? Три тонны! Постой, постой, парень. А скажи-

ка по совести: с Длинного пая сюда ничего не перепало? Может, по-свойски с дедом уговорились?

Андрейка обиженно заморгал, на щеках у него выступили пунцовые пятна. Андрон молчал, наблюдая за внуком. Наконец тот пересилил себя.

— Сам Николай Иванович у весов стоял, — начал он, глотая застрявший в горле комок. — Если надо, я и акт показать могу. С печатью. Если хотите знать, так у нас еще и на семена на будущий год тридцать пудов оставлено! А гороху и гречи тоже отвешено — государству сдать. Подвод не хватило.

— Ну, извини, извини, — развел руками Калюжный. — Запамятовал, что ты ведь внуком Андрону Савельевичу доводишься! И с ним ведь у нас так же вот примерно первое знакомство состоялось. Помнишь, Савельич? Ладно, давай помиримся, Андрей батькович! Вот так. И сколько же с гектара на круг у вас получилось?

— А как товарищ Нургалимов сказал, так и вышло! — звонко пропел Андрейка. — Он, когда был у нас, сказал, что верных пудов полтора ста в амбар ссыплем, а мы без малого двести на станцию отвезли!

Калюжный вышел из-за стола, встряхнул за плечи Андрейку:

— Какие же вы молодцы! А ну-ка пошли к Салиху Валидовичу! И вы тоже, Андрон Савельевич. Он, по-моему, еще у себя. Пошли, пошли. Да брось ты свою кошёлку, никуда она тут не денется! — повысил голос Калюжный, видя, что Андрон не выпускает из рук принесенное Андрюшкой.

— Как же я брошу? А старуха спросит, что́ я отвечаю?

— Говорю тебе, не пропадет. Привезешь ты своей Кормилавне городские гостинцы. Дверь я прикрою.

Андрон усмехнулся:

— Чудак человек. Да это старуха ребятишкам твоим прислала! Н-а, поставь в уголок.

* * *

Вот и снова осень. Слякоть, дождь на ветру. Ночи длинные, без просвета, без единой звездочки. За окном скрипит старый, раздвоенный у комля осокорь. В сторожке, срубленной из сосновых, в обхват, кругляков,

на краю глубокого оврага, холодно и неуютно. У камелька, не раздеваясь, сидит Владимир, дымит едучим самосадом, изредка сплевывая на угли, ждет, когда закипит чайник. Возле ног у него натекла лужа, сапоги промокли, на коленях от ватных штанов поднимается пар. Переобуться бы, просушить хоть раз за неделю стеганку, отоспаться. А перед глазами штабель стрелеванных бревен за Провальными ямами. Бревна эти принадлежат нефтяникам из Бельска, лес строевой, прошлогодней рубки. Возить его собираются по твердой дороге, а тут кто-то заранее подъезд расчистил, у моста водосток перекопал. Думают, видно, на машине развернуться. Скорее всего и с прицепом.

В Каменном Броде Владимир больше ни разу не показывался. Ночевал тогда на пасеке у Никодима, утром ушел в МТС на Большую Гору, но Карпа Даниловича на месте не оказалось. Застал его в сельсовете, там же ему сказали, что в лесничестве требуется обходчик. На счастье, и сам лесничий заехал. Тут и Андрон подвернулся. Вместе с Карпом «сосватали» они лесничему нового сторожа, а еще через день в заброшенной, полусгнившей лесной избушке на Поповой елани поселился новый хозяин. Поставил в угол старенькую берданку, бросил на неструганый стол всё тот же зеленый солдатский мешок.

Лес воровали. Браконьеры нахально били лосей. Возле дорог и старых делянок то и дело попадались свежие пни, вершины с поникшими листьями. Больше всего почему-то рубили липу и вяз, — это не на дрова. А лосей уничтожали городские охотники. Несколько раз натыкался Дымов в осиновых перелесках и у стогов на неоглоданные еще волками копыта лосей и закиданные хворостом внутренности. И обязательно где-нибудь неподалеку видел вдавленный след от автомобильных шин.

Возвращаясь как-то с обхода, зашел Владимир в Тозлар к Хурмату. Деревенька прилепилась по взгорью на глинистом изломе, избы ветхие, слезливые, как старушки-нищенки на церковной паперти. Кое-где за воротами чернеют невысокие кучки хвороста, остальные жители топят печи камышом с озер. И у самого председателя колхоза «Берлик» дела не лучше: сарай на дрова пустил.

— Что же ты, Хурмат Валиахметович, неужели не мог в лесничестве хоть для себя-то билет выхлопотать? — спросил его Владимир за чаем.

— Чем я лучше своих соседей? — вопросом на вопрос ответил Хурмат. — Выписывать надо всем! Когда плот на Волгу гнали, делянку мы чистили. Теперь сожгли. А своего лесу нет, сам знаешь.

Хурмат помолчал, налил еще по стакану кипятку из самовара, покрасил его морковным настоем из чайника с отбитым носиком. Добавил, поглядывая в окошко на низко плывущие тучи:

— Себе, говоришь, билет выхлопотать? Это бы можно сделать. А потом что? Ладно, возьму я билет, привезу воз сучьев. Сосед скажет другому: «Видишь? Председатель себе дрова нашел, мне — рядовому колхознику — нету!» Может, он и ничего не скажет, а в ту же ночь сам в лес пойдет, большое дерево свалит! Нет уж, товарищ Дымов, мы живем так: есть — всем есть, и каждому поровну, нет — никому нет.

— А не примечал ли ты, Хурмат Валиахметович, — снова начал Владимир, — на базаре в Константиновке или в Бельске никто из наших мужиков ложками, коромыслами не торгует?

— Как не торгует! — воскликнул Хурмат. — Сам сходи посмотри. Всякий чаплашка, ковшик, толкушка — всё продают! Дуга, коромысло, кадушка — всё видишь. Кто продает, тот и делает! Пеньки тебе оставляет.

— А с лосями?

Хурмат покачал головой:

— Этого не возьмешь. Власти мало. У него тут милицейский погон. — Хурмат похлопал себя по плечу.

— Давай так договоримся, — предложил Дымов. — Прежде всего, помоги мне в своей стороне поймать хоть одного порубщика. Сам принесу разрешение на санитарный выруб заказника. Весь сухостой ваш, да еще и денег получите. Потом и за браконьеров возьмемся. Закон для всех одинаков — возьмем! Не посмотрим и на погоны.

Не прошло и недели, как тозларовские пастухи привели в лесную сторожку угрюмого дядьку с Большой Горы, через день — еще одного, из Константиновки. Оба рубили подальше от своих деревень, чтобы на-

влекать подозрение на татар. На этих двоих и расписал Владимир все пни, какие насчитал в заказнике. Мужики взвыли:

— По миру пустишь, Владимир Степаныч! Да нешто всё это — наших рук дело! — и повели лесника по дворам. Где бревно свежесрезанное под соломой, где ободья готовые в бане, где плашку липовую на поветях — всё показали.

Зашел тогда Дымов в сельсовет, попросил вызвать Илью Ильича и второго председателя колхоза.

— Вот что, уважаемые соседи, — сказал он им. — Давайте кончать безобразие. Если еще хоть один пенек появится, иду к прокурору и добьюсь того, чтобы ваши счета в банке арестовали. С колхозов взыскивать будем, а там разбирайтесь, как знаете. Так-то проще оно.

Как рукой сняло. И вот — новое дело. Тут на большой улов кто-то нацелился. Четвертую ночь караулит Дымов на свороте у Провальных ям, ждет, не поедет ли машина к штабелю. Вот и сегодня сидит не раздеваясь, греет чайник, а к полуночи надо быть на месте, — время самое воровское.

Перед тем как уйти из избушки, лампу не стал задувать, огонек малюсенький оставил — только бы сама не погасла. На топчан положил поленьев, сверху прикрыл шинелью. Может, кто из воров и в оконце заглянет. Тут уж так: сам смотри, да не забывай, что и за тобой подглядывают, — дело задумано нешуточное. Прихватил потом пеньковую веревку, дверь закрыл изнутри — гвоздем протолкнул в паз щеколду.

Дождь не перестает, в лесу — темень. Холодные капли сползают за воротник куртки. Час или два топтался Владимир на свороте у большака, — ни души на дороге. Стороной прошла к водопою семья кабанов. Хорошо было слышно, как сердито пыхтел вожак, чавкал под дубом. Потом на мосту зажглись два желтых светлячка и тут же погасли, — это рыжая кумушка вышла на добычу.

Больше всего хотелось курить, но курить было нельзя, как в партизанской засаде. И чередой наплыли воспоминания. Вот он, мальчишкой еще, мчится по деревенской улице, на ходу сбрасывает рубашку и — вниз головой, в озеро; вот сидит на столбе поле-

вых ворот, смотрит из-под ладошки на дымчатые увалы: новый учитель должен приехать. Вот первая стычка с Филькой, похороны Дуняши... И еще одни похороны, камень могильный на вершине Метелихи, а вот и сам он в больничной палате, и приглушенный шепот у изголовья: «Светик мой...»

Вот Нюшка в горохе, луговая поляна у Красного яра, заполненная теплым августовским туманом, копейка примятого сена. Потом свадьба за пустым столом, хмельные месяцы, пролетевшие стайкой белогрудых стрижей. Хасан, бои у сопки Заозерная, возвращение домой и раннее утро 22 июня 1941 года. И опять отчетливо, у самого уха, слышался полусонный шепот Анны: «Так и не спишь? А завтра еще на неделю?» — «Может быть, и сегодня. Может быть, и больше, чем на неделю, — ответил он ей в тот раз, не зная еще, что на западе от моря до моря полыхает багровое пламя войны, — страда, сама понимаешь!»

Страда... На четвертый год перевалило. А перед глазами снова — забинтованный пехотинец на булыжной мостовой у собора в Острове. Пьет из консервной банки. Комендант Пфлаумер молча вынимает пистолет, ржавая банка отлетает к ногам Владимира.

А дождь всё не перестает — обложной, как из мелкого сита. Где-то хрустнула ветка. Лесник Дымов вскинул берданку, как это делал на стыках заснеженных лесных дорог в далеком Партизанском крае, напрягая слух и зрение, сжался стальной пружиной. И именно в этот момент за поворотом на большаке вспыхнул и тут же погас голубоватый, расплывчатый в сетке дождя конус света. Потом он зажегся значительно ближе и снова потух; по булыжному горбатому полотну дороги бесшумно сползала с горки грузовая машина.

На малом газу грузовик подъехал к мосту. Скрипнули тормоза. Это была трехтонка с прицепом. Из кабины вылезли трое, посовещались вполголоса. Двое отправились к штабелю, протопали в нескольких метрах от дерева, за которым притаился лесник. В руках у одного был электрический фонарь, второй — пониже ростом, в плаще и с топором. Стараясь не особенно сильно размахиваться, он нарубил хворосту, забросал сучьями канаду. Шофёр взад-вперед расхаживал по

мосту, видимо ожидая кого-то еще, прежде чем развернуться у штабеля.

Так оно и получилось. Вскоре на шоссе зацокали подковы лошади. Верховой ехал не с той стороны, откуда пришла машина, на большак выбрался с боковой дороги, на мосту придержал коня. Разговора не было слышно, но можно было не сомневаться, что это сообщник. Шофёр влез в кабину, и грузовик тронулся с места, а верховой рысью погнал в обратном направлении.

У штабеля закипела работа. За считанные минуты машина была загружена вровень с бортами, бревна обвязаны цепью. Тяжело дыша, трое сошлись у передка.

— Ну что? Вроде бы всё в порядке? — приглушенно спросил один. — Закурить в таком разе полагается. А еще того лучше — горлышко бы сполоснуть.

— Обождешь! — проворчал второй. — Не говори «гоп», пока не перескочишь!

— Теперь ускачем! — хрипло засмеялся первый. — Петьки-то твоего нет, значит, и грозный ваш Дымов дрыхнет себе, как барсук. Коли так, заводи, Митрий! До свету еще разок обернуться успеем. Поехали!

Третий взялся за ручку у двери кабины.

— Обожди заводить! — не в полный голос, но четко распорядился Владимир и громыхнул затвором берданки. — Руки вверх! Кто ступит шаг в сторону, второго не сделает. Ну!!

Трое у машины окаменели, а Дымов стоял уже на дороге, держа берданку наперевес. Глаза его, привыкшие к темноте, различали не только поднятые полусогнутые руки каждого, но и смутные овалы лиц. Одного он уже узнал: этот, в плаще, коротенький — сам председатель «Красного Востока» Илья Ильич. Точно: сын у него Петр, и его это манера всегда говорить по-словницами.

— Повторяю: второго шага никто уже не сделает! — громче сказал лесник. — А теперь — слушай мою команду. Какой из вас тут «Митрий»? Три шага вперед, марш! Выше руки, кому говорят!

От передка трехтонки отделилась приземистая фигура, как на учебном плацу отсчитала три шага в сторону.

— Ты, в плаще! — продолжал Владимир. — Шаг вперед! Ложись! Вниз мордой, руки за спину! Вот так-то, Илья Ильич. «Митрий», вяжи его! Есть у тебя ремень на штанах? Вяжи!

Самого шофёра Владимир связал последним, после того как проверил, надёжно ли связаны оба «немитрия». Потом перетащил всех в кучу, накрепко захлестнул по локтям своей веревкой. И тогда только сел на подножку машины, с наслаждением затянулся ядовитым хурматовским самосадам.

Связанные терпеливо молчали. Перед рассветом прискакал и тот, кого называли Петькой. На мосту еще бросил повод, прыгнул с седла.

— Вам что, повылазило? — зашипел он издали, подбегая к машине и не различая еще, что вместо шофёра на подножке сидит лесник. — Сгружай к чертовой матери! Нету его в сторожке! Может, тут где-нибудь на свороте ждет...

— Не шуми, не шуми, Петруха! — остановил его Дымов. — Не приседай, стой как следует.

У парня заклацали зубы. Он упал на четвереньки.

— Встань! — успокаивал его Дымов. — Просьба у меня к тебе есть. Не в службу, а в дружбу. Садись-ка, парень, на свою лошадку, поезжай в сельсовет. Скажи председателю, приехал бы сюда. И побыстрее. Ну а зачем, ты и сам понимаешь, не маленький; неудобно ведь руководителю передового в районе колхоза валяться вот так, в канаве. Поднять бы надо, посадить... годиков на пять. Давай поезжай! Да не мешкай, а то вон с горы еще кто-то едет.

К мосту тянулся обоз из Тозлара. Везли хлеб на станцию. На передней подводе сидел старый татарин.

— Э-э-э! Какой позор! — тянул он потом, хлопая себя по бокам рукавицами. — Газета про него кажин день пишет, а он казна грабит. Э-э-э!

* * *

Завьюжило, заковало льдом Каменку, намело сугробов в переулках. В правлении «Колоса» допоздна шелкал костяшками счетовод. С государством колхоз рассчитался полностью, дополнительно сдал еще половину плана. Андрон сам проверял в бригадах отсор-

тированные семена, не отходил от весов, когда выдавали хлеб колхозникам. В этом году удалось немного выдать и деньгами; за всю войну — в первый раз. Покачнувшееся хозяйство выравнивалось. А всему причиной были добрые вести с фронтов: поднимали они народ, веселили. Ждали, что не сегодня-завтра русский солдат из Польши шагнет в Германию.

Перед ноябрьскими праздниками приезжал зачем-то инструктор райкома. Записал, когда родился Андрон, когда в колхоз вступил и на каких был должностях за последние годы. О том же самом Дарью расспрашивал: кто она, чья родом, а потом Андрейку с уроков вызвал.

Домой Андрейка пришел мрачный.

— Не хочу я на Денисову фамилию писаться, — заявил он деду. — Сходи посмотри вон, что в дневнике у Веры Николаевны про этого душегуба написано! Теперь-то я всё узнал.. А вы с бабушкой... — И не договорил, задрожали у парня губы.

Ничего не сказал Андрон внуку, опустил виновато седую голову, — вот когда отозвалось! Протянул руку, чтобы привлечь Андрейку к себе, а тот отступил в сторону, и в глазах у него слезы. Так и повисла протянутая рука деда, не найдя опоры. Долго молчал Андрон, тупо смотря себе под ноги. Наконец поднялся, набросил на плечи полушубок, вместо своей Андрейкину шапку приплюснул на затылке.

— Что же это такое, Николай Иванович? — спросил Андрон, комкая шапку. — Какой тут дневник ребятам попался?

Крутиков только вздохнул. Летом еще прислали ему пакет из Уфы со всеми его бумагами. Там же оказался и дневник Верочки и много старых фотографий каменнобродских жителей. Сама деревня, сфотографированная с Метелихи в первый год жизни здесь учителя, школа, ученики. В отдельном конверте сохранились снимки Верочкиных подруг, и среди них Дуняша. Репетиция драмкружка, трактор на Длинном паю, закладка МТС на Большой Горе.

Сбродовался тогда пакету Николай Иванович и решил составить большой альбом, а потом засесть за написание историй «Колоса». Часть фотографий была уже увеличена и развешана в клубе на специальном

щите «Ветераны нашего колхоза». Еще такой же щит с фотографиями и диаграммами готовил учитель к перевыборному собранию.

— Есть, Андрон Савельевич, есть такая тетрадь, — проговорил через минуту учитель.

— Знаю, что есть. Ну, а Андрейке-то как же она на глаза попалась? Когда прочитать успел?

— Это я виноват, — признался Николай Иванович. — Занялся с клеем, красками, потом к телефону вызвали, — Нургалимов звонил. Дневник сюда вот на полочку сунул, а Андрейку твоего позвал из класса, чтобы клей не сгорел. Прихожу — полная комната дыму, дневник лежит на столе, а у парня глаза не мигают.

— Ну и что же теперь делать?

— Я сам ему объясню. Пройдет. Получит медаль, вот и заглохнет.

— Какую медаль? Кто получит?

Николай Иванович вскинул очки, нахмурился. И тут же широко улыбнулся, махнул рукой:

— Андрейка получит! За пришкольный участок. Ладно уж, коль проговорился, скажу и остальное! Тебя, Дарью и внука твоего райком партии и райисполком представили к правительственной награде. Летом еще оформили, а сейчас Москва подтверждение затребовала!

— Постой, постой, — опешил Андрон. — Летом мы с тобой толковали, чтобы Дымову председательство передать. И Калюжный, и Нургалимов знают об этом. А как же теперь?

— Одно другому не помеха.

Дома ждала Андрона Дарья с письмом от Мишки. Какая же мать терпит, чтобы не показать соседу письмо от сына! Мишка уже майор. Пишет, что летает над немецкими городами, а раз и над самим Берлином прошел. Горит волчье логово. На десятки верст разлилось вокруг смоляное дымное облако. Сказали об этом и Мухтарычу: Мишка бомбит берлогу.

— Какой берлога? — не сразу понял старик.

— Берлин, понимаешь? Ну, где Гитлер сидит! Мишка здоровенные бомбы туда бросает.

— Мишка?! Э-э-э... Правильно делает! — Старик поднял вверх сухой, коричневый палец. — Правильно!

Я всегда говорил: Мишка большой начальник будет. Я знаю.

А еще через несколько дней старика Мухтарыча не стало. Умер он неожиданно. Когда вечером Анна брала в водогрейке подойник, старик топтался у печки со своим самоваром, подкладывал угольки в трубу. Сам и на стол его поставил, заварил чай.

— Мороз, что ли, большой сегодня? Рука вот совсем не гнется, — пожаловался он. — Наверное, большой буран будет. Надо дрова побольше рубить, лопата из изба тащить. На крыша там дырка нету?

— Ладно уж, дедушка, ты никуда не ходи, — сказала ему Анна. — Сами всё сделаем. Нездоровится тебе, отдыхай в тепле. Сахар-то есть у тебя?

— Есть, спасибо. Всё есть.

Старик достал с полки жестяную банку, поставил на стол мятую кружку, положил горбушку хлеба. Погрел руки у самовара, налил было на донышко кружки чаю, покачал головой — чай еще не заварился как следует. Потом запахнулся в бешмет, подвязался поясом потуже, да и прилег на топчан возле печки.

Подоила Анна коров, молоко с Дарьей сцедила в бидоны. Лежит старик на том же боку, прижался спиной к теплой стенке. Сходили еще в коровник, корму скотине задали на ночь, телят напоили — лежит Мухтарыч. А самовар уж чуть-чуть посвистывает, остывает. Подошла Дарья к топчану, тронула Мухтарыча за плечо. Не открывает он глаз. Потянула легонько за руку, да и выпустила ее: с деревянным етуком упала сухая рука на доску.

Схоронили Мухтарыча на русском кладбище за Метелихой. Дарья же и обмыла. Обрядили его в русскую рубаху-косоворотку, бригадир Нефед сделал гроб по мерке, сапожник Еким сшил тапочки. За всю свою долгую жизнь не нашивал старик такой легкой обуви, не надевал белоснежной рубахи из тонкого полотна! А Кормилавна всплакнула, когда гроб мимо окон везли.

* * *

Как и все одинокие люди, которым не позезло в личной жизни, агроном Стебельков очень любил домашних животных и птиц, придумывал им потешные

клички. Так, старого работягу мерина с уныло отвислой губой и опухшими бабками он называл Силантием и всегда находил у себя в кармане для него или кусочек сахару, или корочку хлеба; бухгалтерского индюка величал Дормидонтом Бульбуличем за горделивую осанку и совершенно невнятную речь.

По воскресным дням агроном доставал из-за шкафа старенькое одноствольное ружьишко, уходил в лес или на озеро. Но охотником не был, часами просиживал где-нибудь в непролазной чащобе на истлевшем пне или в лодке, забравшись в зеленый разлив камышей. Примечал, где гнездятся мелкие птицы — синицы, щеглы, поползни, как с утра и до позднего вечера хлопочет у своего дупла непоседа белка, как дикая утка учит свсих утят спасаться от ястреба.

Один раз, притаясь за деревом, долго наблюдал за матерым медведем, — тот ловил рыбу. Дело было весной, после спада полой воды. По Каменке вверх по течению поднимались косяки леща, в камышовых заводях так и ходили огромные рыбыны, выставив чуть ли не на вершок из воды горбатые толстые спины. А немного пониже — песчаная отмель с крупными валунами в горловине. И вот на одном из камней, метрах в пяти от берега, агроном увидел медведя.

Присел бурый над быстриной, пригнулся к самой воде, а передние лапы разведенными держит, будто в мяч играть собирается. И — хватать, хватать лапищами перед собой, да влево, через плечо. Еще и еще раз. Брызги столбом у камня.

Стебельков вначале не всё рассмотрел, подумал, что косолапый просто купается. Усмехнулся: чего это его в мае-то разжарило? Протер очки, глянул вниз повнимательнее, да и присвистнул даже от удивления. Почти всякий раз, когда мишка хватал что-то перед собой и тут же взмахивал лапами, над головой у него пролетало что-то серебристое и падало позади на песок. Оказывается, и в самом деле — медведь ловил рыбу. Потом подобрал ее на берегу, выкопал ямку в песке и зарыл свою добычу. Присел по-собачьи, подумал. Поскреб левой передней лапой по лохматому брюху и не спеша, вперевалочку, ушел в кусты.

Карп Данилович объяснил потом агроному, что медведь был сытый и уж, видно, немолодой. А рыбу

он закопал в песок про запас. Подождет денька три-четыре, рыба за это время протухнет. Вот тут-то он и полакомится в свое удовольствие.

Жил теперь Стебельков в бараке, где размещалось несколько семей трактористов-ремонтников, занимал угловую каморку. Вместе с ним жили кот Митрофан, большеголовый и зеленоглазый увалень с разодранным ухом, да добродушный лохматый пес Фомка.

Пес и кот были большими друзьями, ели из одного корытца и спали рядышком на тряпичном половичке. Когда по утрам агроном отправлялся на работу, впереди него из темного коридора с радостным визгом выкатывался пес, чтобы тотчас вернуться обратно, взвиться у ног хозяина, мотнуть головой и мчаться опрометью по песчаной дорожке на пригорок к новому дому конторы. Митрофан тоже выходил из комнаты, но всегда останавливался на верхней ступеньке крылечка, подгибал под себя пуховички передних лапок, устраивался поудобнее и лениво жмурился тут до самого вечера. В МТС все уже знали: если кот на крыльце, значит, агроном еще не пришел с работы.

К Митрофану относились с почтением не только взрослые, но даже и задиристые ребяташки: это был самый старый кот на усадьбе. Он жил когда-то еще у Мартынова, потом одичал, а к агроному привязался из-за того, что тот несколько раз угощал его валерьянкой. И еще любил, когда у него чесали под подбородком. Тогда он блаженно вытягивался, переворачивался на спину, раскидывал в стороны лапы, выпускал и сжимал отточенные, длинные когти и принимался мурчать сильным басом. А Фомка больше всего на свете боялся веника и пустых консервных банок. До того как прижиться у агронома, был он бездомным псом. Один раз его поймали ребяташки, приманили корочкой хлеба, крепко-накрепко привязали к хвосту голик и ржавую консервную банку. После этого доверчивого пса огрели хворостиной и выпустили на дорогу.

С диким истошным воем носилась бедная собака по деревенской улице, шарахаясь из стороны в сторону, подгоняемая свистом и улюлюканьем; банка гремела сзади, веник то одним, то другим концом хлестал по спине. Наконец обезумевший пес бросился к речке, поплыл на другой берег. Банка зацепилась за

коряжину, и была бы тут Фомке неминуемая гибель, да проходил, на счастье, Стебельков. Шел он домой от моста по тропинке, когда мимо него промчалась ошалевшая собака и с ходу кинулась в воду, волоча за собой голик и громыхающую банку.

Мокрого, насмерть перепуганного пса агроном на руках вынес из воды, отвязал веник и банку. Хотел расправиться с безобразниками, да тех уж и след простыл. А когда поднимался по ступенькам своего крылечка, услышал позади себя крадущиеся шаги и легкое посапывание. Оглянулся — пес.

— Ну что? Спасибо хочешь сказать? Ладно уж, сам, брат, битый.

А пес не уходил. Склонил голову набок, снизу вверх заглядывал в лицо своему избавителю, и Стебелькову показалось даже, что на глазах у собаки вернулись слезы.

Агроном погладил пса, спросил ласково:

— Ко мне хочешь? А хозяин найдет, что я ему скажу?

Пес только вздохнул печально. Стебельков толкнул дверь, переступил порог. Пес нерешительно поднялся на одну ступеньку, еще ниже пригнул голову и просительно завилял хвостом.

— Ладно уж, заходи, что с тобой делать? — согласился тогда агроном. — Только там кот у меня домовничает. Если драться не будешь, живи, пес с тобой.

Пес заработал хвостом с удвоенной энергией.

Вот так они и подружились и зажили мирно втроем. Было это вскоре после того, как Вадим Петрович впервые увидел Владимира Дымова возле конторы МТС.

В тот раз Стебельков решил, что с Дымовым надо ему объясниться, и как можно скорее. Прийти самому и сказать: «Анна не виновата», и попросить, чтобы отдали Степанку. Анна к нему не вернется. Это Вадим Петрович давно уже понял. То, что их связывало когда-то, к понятию «любовь» не приравнивалось. Любовь — это когда взаимно, когда один с полуслова понимает другого, когда и говорить-то ни о чем не нужно, только взглянуть друг другу в глаза. А у них этого не было. Верно одно — и они понимали друг друга молча: Анна видела, что Стебельков любит ее по-на-

стоящему, что ему с ней хорошо, но сама-то она в это время ровно отсутствовала, всегда была настороженной, о чем-то тревожно думающей. Она мучилась и всячески старалась заставить себя улыбнуться хотя бы, но и это у нее получалось редко. Выдавали глаза, — они всегда были заполнены отчужденностью, и на дне их гнезвился затаенный страх.

Человек, который страшится того, что сделал, навсегда теряет покой, и даже тепло другого не согревает его, потому что не вызывает ответной жаркой волны. Так было и с Анной, а притворяться она не умела.

«Степанка им будет мешать, — с болью думалось агроному, — и не будет ему ласки в семье, вырастет маленьким старичком».

На той же неделе Стебельков заехал в Каменный Брод, от Андрона узнал, что Дымов и часу не пробыл дома.

— Только ты не думай, что всё это разом решается, — хмурился бородач. — А мой бы тебе совет — не тревожь ты из них никоторого. Ни ее, ни Володьку. Время покажет.

В переулке Вадим Петрович неожиданно встретился с Анной: шла она от колодца с полными ведрами. Агроном хотел было ее задержать, да слов не нашлось. И она ничего не сказала, так и прошла в двух шагах, даже головы не повернула.

После того как Семен Калюжный переехал в Бельск, Карп Данилович завел разговор о том, кого же теперь принять на должность механика.

— Может, к Дымову съездить? — неуверенно начал он, поглядывая на Стебелькова. — Сдается мне, что в сторожке-то, на елани, вгорячах оказался наш бригадир. Всеми статьями главным механиком быть бы ему у нас. Машины знает, и народ у него не разболтается.

— Попробуйте, вам лучше знать, — ответил тогда агроном.

— А ты?

— Как работал, так и буду работать. Мне он не враг.

Карп почесал себя за ухом, крикнул:

— Он для тебя не враг, это верно, да и про то

забывать не след, что и ты ему не приятель. Вот ведь во что всё упирается. Сцепка надежного между вами не будет. — И Карп показал руками, каким бы ему хотелось видеть этот самый «сцеп» между своими помощниками.

— Тогда так давайте рассудим, — предложил Стебельков, — что́ вам дороже. Если решили брать Дымова, я буду просить о переводе в другое место.

Карп усмехнулся.

— Умно, ничего не скажешь! — проговорил он. — Да для меня и то и другое одинаково дорого. Ты вот на двух ногах ходишь, а ну-ка скажи — какую тебе отрубить не жалко? То-то вот и оно, Петрович. И ту и другую жалко небось. Так вот и у меня — директора МТС — две ноги: механик и агроном. На них вся МТС держится. Ничего тут, брат, не поделаешь; без Семена придется директору на первое время какой-то костылик приспособливать. Вот если бы не Степанка, проще бы оно было.

Степанка, Степанка... Всему стал мальчонка помехой. А он и думать-то ни о чем не думал. Переваливался себе у крыльца по-утиному, с пруточком от венника гонялся за курами во дворе. Народился, и всё, растет. Какое ему до кого дело! Анка по весне третий класс окончила, братишке осенью два годика будет. Мать не делила их — к обоим относилась одинаково. Из последних сил тянулась Анна, а уж если купила полотна дешевенького с полметра на штаны Степанке, то и дочери хоть из девичьей еще своей юбки, да сошьет платьишко. Привезет ли мальцу игрушку из Константиновки — и Анке тетрадку запасную или книжку с картинками на стол положит. А та всё равно не любила братишку. Сколько раз примечала Анна: то щипнет его в уголке, то за ухо дернет. И ведь хитрющая-то какая! Этот рывок, а она: «А вот и не лезь! Попало?.. И еще попадет!»

Всё началось с причитаний бабушки Устиньи. Пришла она как-то в дом к дочери, вскоре после того как объявился Владимир, Степанку из зыбки вынула, посадила его на колени, да и принялась вздыхать сокрушенно:

— Не будет, доченька, между вами ни добра, ни ласки. Как знать, может, еще и образумится, возвер-

нется твой суженый под родную крышу, а жизни душевной не будет: чужое деревцо промеж вас растет.

Анка слышала это, и с тех пор как подменили ее. Бывало, часами возится с несмышленишкой-ползунком, напоит и накормит, спать уложит, споет самой сочиненную песенку, а теперь другой раз криком заходится парень, а Анки и в избе будто нет. Да и еще где-нибудь разговоры соседок подслушала, разве за всем уследишь.

Уж не раз с Маргаритой Васильевной советовалась Анна, с Николаем Ивановичем, а чем тут поможешь? Ляпнула бабка не подумавши, попробуй теперь исправь.

Трудно Анне одной, тяжело. И на ферме, и дома надо управиться, и за ребятами присмотреть. А теперь еще хуже стало. Пока не приехал Владимир, не так горько было, не так совестно. Сейчас и на улицу выйти страшно: не солдатка и не вдова. Одно время в Бельск уехать надумала, как Дарья прошлой зимой советовала, но Андрон и слушать не стал, когда за справкой обратилась в правление.

— Что для вас там, в городе-то, берега кисельные? — хмуро выдавил он и отказал. Вечером прислал Андрюшку — зашла бы Анна к нему домой — и говорил ей другим уже тоном:

— Знаю ведь, от чего бежать собираешься. Не дури, девка. Живешь и живи. Тут у тебя и крыша над головой, худо-бедно, да всё свое. Там за картошкой мерзлой у воза натопчешься. Раз совсем не уехал — вернется. Понятно, о чем говорю?

Было это осенью. А потом в дом к Анне Дымовой всё чаще и чаще стала наведываться Маргарита Васильевна.

* * *

Вскоре после Нового года в лесную сторожку к Дымову заехал пасечник Никодим. Тесно стало в избушке, когда этот лохматый человечик грузно уселся на низенькую скамейку возле единственного оконца, положил на слоновины колени огромные свои руки и заговорил, как из бочки:

— Я по делу к тебе, Владимир Степаныч. Облюбовали мы тут с Андроном Савельевичем одно деревцо у Провальных ям.

— Так у Андрона на мельнице весь двор штабелями запружен, — прикуривая от уголька, отозвался Владимир. — Кузьма говорил — тысяча на сто. Чего ему еще надо?

— Не ему и не мне, а пчелам. Липа нужна. Давно уже мною замечено: в липовой рамке соты полные.

— Ну и что вы хотите?

— Вот ту самую липку и срезать с вашего позволения.

— А что я властям скажу? — улыбаясь спросил хозяин сторожки.

Никодим отмахнулся:

— Дерево никудышное — старое, с дуплом. И стоит над самым обрывом; весной обязательно рухнет. В хозяйстве твоём урон не велик, а нам бы — польза отменная. Вот я и пришел. Сходим давай, тут оно недалече.

А Дымов всё не мог погасить улыбки. Ему припомнилась пора босоногого детства и тот день, когда Никодим застал его в церкви, одетого в длиннополую ризу, вытряхнул из нее, как котенка, и отхлестал пре-больно по заднему месту, приговаривая: «Это тебе, паршивец, не овин, не предбанник! Ишь ты, чего вздумали...»

И... «с вашего позволения»... Ну кто тут утерпит, чтобы не улыбнуться?

— Ладно, давайте сходим, — согласился Владимир.

Никодим оказался прав: дерево стояло на самом краю глубокой промоины и уже накренилось изрядно.

— Рубите, — махнул рукой Дымов.

Вернулись в сторожку. Никодим попросил ведро, сходил напоить лошадь, гудел потом у окна, оглядывая пустые углы избышки:

— Скучно живешь! Я не о тряпках, не о деньгах толкую; духовно оскудеваешь без человеческого голоса. Это я на себе проверил.

Посидел еще, помолчал, вздохнул шумно.

— Ну, за липку спасибо, — сказал, поднимаясь и хлопая рукавицами, — денька через два мы ее увезем. А ты всё же слова мои без внимания не оставь: не добро человеку единому быть. Не добро.

Никодим уехал. Морозная ночь опускалась над бо-

ром, снег за окном отливала стынущей синевой, в прогалах между вершинами сосен высыпали яркие звезды. Звенящая, чуткая тишина разлилась вокруг и густела вместе с лиловыми отблесками догорающей зари.

Об Анне Дымов старался не думать: за полгода вроде бы всё перекипело и злость прошла. А вернуться домой не мог, — заклинило, и всё. И здесь оставаться нельзя. Прав Никодим: не старик ведь еще, чтобы мохом обрасти. Что это за работа в тридцать два года, что за житье? Так, чего доброго, и к бутылке потянет, и пропадешь из-за своей же дурости. Надо решать. Или в деревню к себе возвращаться, или уехать совсем.

«А куда ты поедешь?» — в сотый, в тысячный раз задавал себе Дымов один и тот же вопрос. И опять не находил ответа, а перед глазами — накрытая пологом зыбка, и даже чудится временами, будто скрип кленового очепы слышен: Анка-маленькая босой тонкой ножонкой качает зыбку, сжалась, смотрит испуганно, и раскрытые губы вздрагивают у нее.

За окном была уже ночь. Спать не хотелось. И опять Владимир курил у печурки, смотрел безотрывно на игривое жаркое пламя, стряхивал время от времени пепел самокрутки на откатившиеся к самому краю топки тлеющие угольки. На углях сразу же вспыхивали точечные искорки, точно не табачный пепел падал из них, а зерна мелкого охотничьего пороха. Потом на углях появилась серая пленка, и пепел уже не пробивал ее, а пленка становилась всё толще и толще, нарастала мохнатой плесенью.

«Вот так и с тобой получится, — подумал невесело Дымов. — Выпал ты из живого костра и больше не вспыхнешь. И тепла от тебя не будет. Ты не уголь даже теперь, а кучка золы. Дунь на нее — и нет ничего. Худо, брат, худо...»

Утром он был в Константиновке; табак кончился, вот и пошел на базар купить у татар самосаду. По пути миновал тот самый мост на большаке, возле которого осенью изловил Илью Ильича у штабеля бревен. Семь лет на троих дали, и адвокат из Уфы не помог. Потом уже стороной Владимиру стало известно, что за Илью Ильича больше всего хлопотал сам лесничий. А к Дымову стал придирааться. Совсем непонятно!

Припомнилось и другое. Той же осенью разговаривал как-то Дымов в Константиновке с участковым милиционером. Встретились они в магазине, когда участковый покупал утиную дробь и всё домогался у продавца, скоро ли у него будет картечь в продаже, — гусей собирался стрелять на отлете. Потом участковый заметил Дымова, спросил, нет ли у него пулелейки. В здешних лесах запросто ведь и на медведя наскочишь, не говоря уже про волка.

Волки волками, этих пусть бьют себе на здоровье. А вот чьих это рук дело — кишки да отрубленные лосиные копыта, наспех закиданные мхом да валежником? Кто тут раскатывается на грузовой машине по лесным заброшенным дорогам? Хурмат тогда говорил: «Этого не возьмешь — власти мало!»

Часам к десяти Дымов зашел в сельсовет — сводку по радио послушать. Перекинулся несколькими мало-значащими фразами с парнишкой секретарем, приставил в угол свою берданку и стал ожидать, когда зашипит громкоговоритель.

Дед-истопник, сидя возле железной печурки, шевелил кочерыжкой угли.

— Ну как, кого из вас нынче «с полем» проздравить? — спросил он у лесника, когда тот уткнулся было в газету.

— С каким еще «полем»?

— Лосенка-то разве не ты вечор подвалил?

— Какого лосенка? Где? — Дымов даже привстал со скамейки.

— А ты что, аль не гостем у нашего участкового? — в свою очередь удивился дед. — То-то, смотрю, вроде и тверезый.

— Плетешь ты какую-то несуразицу, — начал сердиться Дымов. — При чем тут «тверезый» и ваш участковый?

— А при том, что тебя, хозяина заказника, милицейские власти наши да и твое городское начальство, по всему видать, не особо почтеньем-то жалуют. Чем-то ты не потрафил им. Вот без тебя и пируют.

— И лосенка убили?

— Надо же им закусить!

— И давно они пьют?

— Третьи сутки. — Дед почесал у себя за ухом. —

Нет, пожалуй, поболе. Вру, парень. В среду они приехали. Точно — в среду. Участковый-то наш — со днем ангела. Два дни — в усмерть! Пальбу тут из ружей подняли на огородах. Чисто салют, как за Варшаву.

— Уехали или здесь еще колобродят?

Дымов спросил об этом уже от порога, застегивая полушубок и держа на весу берданку.

— Тут еще, тут, — успокаивал его дед. — Сейчас-то их дома нету: затемно все на машине вот тут перед окнами пронеслись. Лосенок-то был затравкой, а тут, похоже, семью где-то выследили. Может, за Черной речкой, а может, и где поближе. Начальник твой за главного у них.

— Лесничий?!

— Он. Свояки они, что ли, с нашим-то участковым. Динамик начал шипеть, но Дымову было уже не до сводки. Он рванулся к двери, а в полутемных сенцах — нос к носу — столкнулся со Стебельковым.

— Владимир Степанович? Вы мне как раз и нужны! — взволнованно заговорил Вадим Петрович. — Хорошо, что на рынке вас видели, а то хотел на Елань бежать. Они у сельпо — браконьеры! Скорей, скорее!.. — И потянул Дымова за рукав.

У крыльца сельсовета валялись брошенные беговые лыжи. Агроном пригнулся, убрал их с дороги и опять схватил Владимира за руку, увлекая его в переулок.

— Ну как же мне повезло! — продолжал Стебельков по дороге. — А я думал в Бельск звонить: номер их машины у меня записан. Они возле магазина остановились. Хорошо, что я догадался напрямик от Провальных ям махнуть в Константиновку, пока они там лосиху тащили по льду да в кузов ее грузили. Это же варварство, понимаете? Это уму непостижимо!

Дымов ускорил шаги. Теперь до него долетали только обрывки торопливых фраз Стебелькова, из которых он понял, что произошло у Провальных ям.

Каждое воскресенье Вадим Петрович уходит на лыжах в лес. Вот и сегодня с утра отправился к Ямам. Там рыбаков тозларовских встретил. Лед нынче толстый, рыбе душно, стаями держится она возле прорубей. Ловят без всякой подкормки: опускают круглую

сеть на широком обруче, а потом вытаскивают, как из садка.

Агроном часа три пробыл на озере. Рыбаки стали домой собираться. И вдруг — выстрелы неподалеку. Один, другой, еще несколько. На лед выбежали два молодых лося, промчались по середине озера, исчезли в густом чернолесье. Потом по их следу вышла большая лосиха. Испугалась людей и метнулась к горному берегу, а там лед непрочный, теплые родники бьют со дна. Вот лосиха и провалилась. И никак ей не выбраться. Рыбаки подбежали к ней, стали пешнями обкалывать лед, чтобы зверь ближе к берегу оказался. А вода в полынье красная стала: в кровь избила передние ноги лосиха. А в лесу опять выстрелы, теперь уже несколько дальше.

Мучились долго. Наконец волоком вытащили обессиленную лосиху на лед. Еле встала она на избитые ноги и снова легла. И тут — охотники. Пристрелили в упор. Татары — за топоры, а те с ружьями. Что ты с ними поделаешь? Четверо их. По виду все городские.

Вот и базарная площадь. У магазина сельпо стоит полуторка с брезентовым тентом. Шофёр взгромоздился на передний буфер, с головой влез под капот, возле него важно расхаживает коротенький человечек в куртке и в фетровых бурках выше колен — лесничий.

Не глядя на своего начальника, Дымов выдернул ключ из замка зажигания; обойдя машину, заглянул через задний борт. Там во всю длину кузова возвышалась крутая гора, раздвоенная в середине и прикрытая сверху еловыми лапками. Под ними просматривалась местами густая бурая шерсть. Слева — сухая, справа — во льду. Двух лосей загубили изверги.

— Спасибо тебе, Вадим Петрович! — тихо проговорил Владимир. — Большое спасибо.

Еще через час возле сельпо остановился крытый райкомовский «козлик». Рядом с шофёром сидел прокурор.

* * *

После скандального случая в Константиновке с участковым милиционером и лесничим Дымову пришлось раза два или три съездить в Бельск, пока дело расследовали.

В последний раз прокурор сказал, что Дымова хочет видеть секретарь райкома.

— Вы кем в армию призывались, товарищ Дымов? — спросил Нургалимов.

— Бригадиром, если про сорок первый год спрашиваете. А по званию старшим сержантом был.

— На фронте за эти четыре года многие рядовые стали офицерами. Бывшие младшие лейтенанты сегодня командуют полками.

— Растут люди, вполне понятно.

— А вы не задумывались, Владимир Степанович, над тем, что не пора ли вам передать кому-то другому свое удостоверение лесного обходчика? — помолчав, снова задал вопрос Нургалимов. — Учитель или директор МТС на эту тему с вами не говорили?

— Был разговор. Карп должность механика предлагает.

— Ну и что? Согласны? Или возможны какие-нибудь осложнения?

Нургалимов вскинул при этом быстрый взгляд на Владимира.

— Я понимаю, Салих Валидович, что вы хотите сказать. Перекипело, пожалуй. Теперь по-другому думаю, кто из нас троих прав, а кто и вовсе не виноват.

— Мужчина должен решать рассудком. И вот еще что: как бы вы отнеслись к нашему предложению стать председателем «Колоса»?

— Против Андрона я слаб. Честно вам говорю.

— Сам он выдвинул вашу кандидатуру. На годы ссылается.

— Дайте подумать, Салих Валидович. Дело нешуточное.

— Думайте, мы не торопим. Перед собранием вас известят.

* * *

В назначенный день засветло еще стали собираться в клуб каменнобродцы. Стар и мал норовили протиснуться к боковой стенке, где фотографии развешаны, схемы и диаграммы. Что было в 1929 году, что сейчас, через пятнадцать лет. Тут же — большая карта земельных угодий. Гости приехали из Тозлара, из Кизган-Таша, с Большой Горы. За перегородкой на-

страивали свои инструменты музыканты из Бельска, гримировались артисты.

В сумерках остановился возле крылечка райкомовский «козлик». Нургалимов с Калюжным выбрались с заднего сиденья, а рядом с шофёром сидел незнакомый Андрону мужчина в бобровой шапке. Все трое сразу ушли к Николаю Ивановичу. А народ всё прибывал и прибывал. Не верилось даже, что столько людей в деревне. Вот и Владимир Степанович. Этот подъехал на лыжах, с неизменной берданкой за плечами. Верно, прямо с собрания по кольцу своему думает пробежать. К нему подошел Карп, увел на свободное место к окошку.

— Ну, выступать-то будешь? — спросил он, усаживаясь на конец скамейки.

Дымов пожал плечами:

— О чем же мне говорить? Чтобы лес в заказнике не рубили? Проучены, кажется, некоторые. — И замолчал, увидев невдалеке от себя Анну. Она сидела с Маргаритой Васильевной, откинув на плечи шаль, поправляя в волосах шпильки. Владимир насупил брови, отвернулся к простенку. И тут прямо на него из застекленной рамы глянул вихрастый парнишка в расстегнутой косоворотке. Смотрел, изогнув белесую бровь, и будто спрашивал: «Не узнаёшь? Неужели Федьку забыл?»

Точно! Он это, Федька, «воевода Озерный». Дальше — Екимка. Этот в раме с черными лентами. Еще и еще портреты. Владимир встал, перешагнул через скамейку и стал пробираться вдоль стены всё дальше и дальше от сцены. Вот они — одноклассники, друзья по Метелихе, единомышленники и сообщники по лихим налетам на сады и огороды. А вот и трактор на высоких зубчатых колесах. Первая борозда. Дуняша, Егор, Верочка. Вот котлован под фундамент машинно-тракторной станции, вот и сам он, Володька, с кирпичом в руке. Вот вырезка из газеты со снимком — суд над церковным старостой. Выступает прокурор, а справа и слева от старосты стоят два милиционера с шашками наголо.

А это? Владимир споткнулся даже. Кулацкий обреза и надпись внизу: «Из этого обреза ... ноября 19... года врагами социалистического преобразования де-

ревни был тяжело ранен секретарь комсомольской ячейки, ныне коммунист, Владимир Степанович Дымов, герой Хасана, бесстрашный партизан, кавалер орденов Красной Звезды и боевого Красного Знамени».

Долго стоял Владимир перед этим щитом. Люди за его спиной перестали разговаривать. Он чувствовал на себе десятки взглядов и, повернувшись, убедился в этом. И Анна смотрела на него. Смотрела без робости и удивления. И не она отвела взгляд, а Владимир потупился.

— Ты подумай, однако, — снова заговорил Карп, когда Дымов вернулся на место. — Выступить тебе надо. Ага, начинать собираются.

Николай Иванович поднялся на сцену, открыл собрание. Карпа выбрали в президиум.

— Сиди тут, — сказал он Дымову, поднимаясь. — Ночевать-то где будешь? Эх, парень, парень! Бросил бы ты эту захмычку. Ладно, сиди. Зайдем потом вместе к учителю.

К трибуне вышел Андрон. Ухватился жилистыми руками за наклонную крышку, без бумаг и записок начал отчетный доклад. Всё — до последнего ведра солярки для тракторов, до копейки и килограмма зерна — держал в голове. Отчитался самое большее за полчаса, и вопросов к нему не было. Только оглушительный грохот ладоней, когда стал перечислять имена лучших ударников в бригадах. И тут ничего не забыл Андрон. Помянул добрым словом пахарей и жнецов, тех, кто отличился на обмолоте, кто веял, сортировал зерно, возил в город на приемные пункты, кто пас скотину, выхаживал молодняк, добивался пудовых надоев.

— Нету у нас в этом зале заботливого, хлопотливого старика Мухтарыча, — помолчав, продолжил Андрон. — Этот человек стоит того, чтобы всем колхозом поклониться ему.

И все встали. Тозларовские татары первыми сдернули шапки. Потом стали вручать почетные грамоты, и опять татары несказанно удивились, когда следом за бригадиром Нефедом вышел к столу президиума получать награду непомерно огромный человечище, чуть ли не на целую голову выше Андрона, с такой

же огромной бородищей и перепутанными седыми волосами, стриженными под «горшок». Принимая грамоту, он зычно прокашлялся, а в клубе стекла готовы были высыпаться от взрыва аплодисментов.

— На покров на девятый десяток перевалило, а дуб дубом! — услышал Владимир позади себя. Это говорили про Никодима.

— С первым вопросом покончено! — поднимая руку, сказал Калюжный. Он вел собрание. — А теперь слово имеет депутат Верховного Совета Союза ССР товарищ Валиев Сабур Зарипович.

Валиев вышел из-за стола, положил на верх трибуны две продолговатые красные коробочки и одну поменьше, квадратную. Достал из кармана очки, раскрыл бархатную папку.

— «Указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик», — начал он торжественно. Переполненный клуб затаил дыхание. Все подались вперед, вытянули шеи.

— «...орденом Ленина — председателя колхоза «Колос» Савельева Андрона Савельевича»!

Тут уж не взрыв аплодисментов, не овация, а настоящий горный обвал разразился в клубе. Андрон выпятил бороду, да так и застыл. Потом замерла на своем месте Дарья, — ее наградили орденом Трудового Красного Знамени. Андрейку подняли на руки, поставили на возвышение сцены. Член правительства сам расстегнул на нем полушубок, потрепал за светлый вихор и приколот на новенькую ситцевую рубашку медаль «За трудовую доблесть».

— Это тебе авансом, парнище, — сказал он на ухо оторопевшему Андрейке. — Авансом, ты понимаешь?

* * *

Переполненный зал понемногу успокаивался. Николай Иванович переждал, пока всё утихнет, и зачитал заявление Андрона, в котором тот просил колхозников освободить его от должности председателя.

В клубе, кажется, и дышать перестали. Потом зашумели, задвигались.

— А мы не желаем! — слышалось позади Владимира.

— Правильно! Чего это ради!

— Не желаем, и всё! Кому это надо стало?

Николай Иванович предложил собравшимся еще раз глянуть на диаграммы и схемы. Артель обретает довоенную мощь, и это заставляет каждого колхозника серьезно подумать о составе правления. Его должен возглавлять человек грамотный, упорный, умеющий видеть далеко вперед. Андрон сам предложил партийному бюро достойную кандидатуру, и вот он, Николай Иванович, теперь уже от имени партийной организации назовет этого человека.

Приподняв голову, Дымов следил за тем, куда смотрит учитель. Он знал, что сейчас назовут его фамилию, и почувствовал вдруг, что ему становится жарко. А в клубе такая тишина, что вздохни кто-нибудь на последней скамейке — все обернутся. И от этой напряженной тишины прослушал Дымов свою фамилию и имя, услышал только «Степанович».

— У кого будут другие мнения? — громко спросил Калюжный, поднимаясь за столом президиума. — Кому предоставить слово?

Шумно, единой грудью выдохнул переполненный зал. И опять зашептались, задвигались. А у Дымова пересохло в горле, кровь в висках так и гудит. И, чего с ним никогда не бывало, задрожали пальцы.

— Повторяю, товарищи: кто хочет высказаться? — Калюжный легонько постучал карандашом по графину с водой. — Решайте. Вы же хозяева артели.

— А сам-то он, Владимир Степанович, согласный? — раздалось у двери. — Он-то что думает? Пусть народу покажется!

Прав был Андрон, когда говорил Калюжному, что против Дымова голосов не будет. Лес рук взметнулся над головами. Владимир стоял у края стола сбоку Андрона и, как ни старался смотреть в глубину зала, взгляд его то и дело пробегал по третьему ряду. Другие глаза — серые и большие — притягивали его. Потом — поздравительные рукопожатия, дружные хлопки аплодисментов.

— Ну вот и с этим вопросом покончено! — поднимая руку, сказал Калюжный. — Пожелаем новому председателю больших и заслуженных успехов, колхозу — крепости.

Валиев подошел сбоку к Дымову, свел его руку с рукой Андрона:

— Вот, Владимир Степанович, какой председатель сдает вам дела!

— Я понимаю, — кивнул головой Владимир. — Хотите предупредить...

— Не то, совсем не то! — улыбнулся Валиев. — Хочу сказать, что был бы рад еще более, если бы годика через два-три здесь, в этом же клубе, зачитали бы новый Указ Президиума Верховного Совета. Ордена у вас есть, медали вот не хватает... Золотой, я имею в виду.

* * *

В феврале—марте советские войска очистили от фашистских захватчиков Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию, добивали остатки вражеских группировок в Чехословакии, Австрии; южное крыло армий перевалило Балканы, соединилось с югославскими партизанами.

Это — на юге. На севере наши подвижные части доколачивали немцев в Норвегии, закончили разгром оккупантов в Прибалтике. Штурмом был взят Кенигсберг, со дня на день следовало ожидать начала решающего сражения на левом берегу Одера.

«До Берлина — 75 километров!» Это написано четкими, крупными буквами на кумачовом полотнище и прибито над сценой в клубе. Николай Иванович не пожалел и последней географической карты — той самой, на которой когда-то Анна Дымова искала дальневосточное озеро Ханко и прилепившийся возле него мало кому известный пограничный городок Турий Рог, а потом — Псков. Сейчас эта карта вывешена тоже в клубе, на виду у всех; жирные красные стрелы с двух направлений нацелены на Берлин: с востока и с юго-востока. За Эльбой — в двухстах километрах — войска союзников.

Если долго смотреть на карту, смотреть не мигая и без выдоха, как будто в плечо тебе упирает приклад дегтяревского пулемета, а палец лег на гашетку, — красные гнутые стрелы приобретают рельефность, еще больше набухают, сближаются, и вот уже черная клякса Берлина в железных клещах. Дымов

смотрит на изогнутые ожившие стрелы. Кулаки его лежат на коленях чугунными гирями, зубы стиснуты. Как бы хотел он сейчас быть там — на левом берегу свинцового Одера! Берлин — не полустанок на однопутке между Псковом и Островом, и задача поставлена не танковому взводу — смять разведку, задержать на час-полтора подход основных сил передового полка, заставить их развернуться преждевременно на невыгодных рубежах. Сейчас задача поставлена двум фронтам. В предпозиционных районах за Одером сосредоточены не остатки потрепанных танковых батальонов, не полки и даже не дивизии. Там бронетанковые армии, корпуса прорыва! Броневой кулак занесен над обложенным волчьим логовом. Не кулак, а тысячетонный молот с красной звездой на рукояти.

Анна с Маргаритой Васильевной, прижавшись друг к другу, слушают далекую Софию. До вечернего выпуска последних известий остается еще минут десять времени, и радист молча соглашается с просительным взглядом жены Николая Ивановича. София передает концерт русских народных песен.

Дымов второй раз видит Анну в клубе. Сегодня он оказался ближе и видит ее лицо. Изменилась она: под глазами синие тени, щеки бледные, возле губ и у переносья залегли морщинки. А в клубе всё больше и больше народу.

В громкоговорителе, как назло, что-то хрипело и булькало, радист нервничал, а неистовая «морзянка» врывалась непрошенно, то и дело глушила и без того слабую песню. Где-то далеко-далеко, за тысячи километров, и не в полный голос пел человек, изливая душевную тоску:

Нет ни батюшки,
Нет ни матушки,
Только есть у меня
Мил-сердешный друг...

Владимир знал эту старинную песню. Знала ее и Анна. Она откинула голову, чуть прикрыла глаза, будто смотрела куда-то далеко-далеко. А Владимиру почудилось вдруг, что сидит он не в клубе, а в избушке лесного обходчика на Поповой елани и вертит в руках

маленькие желтенькие ботиночки со шнурками. Детские, годика на два. Анке такие не подойдут, той надо уже размерные покупать. А эти попались ему на глаза в Константиновке еще перед Новым годом. Купил, сам не зная зачем, а потом просидел с ними целую ночь возле печки.

Про покупку эту знает всего лишь один человек — учитель. Он видел ботинки на полке в той же лесной сторожке и ничего не сказал, только крякнул в кулак.

Степанка, Степанка... Два года парню осенью будет, скоро начнет обо всем расспрашивать. Они ведь, такие-то, за час по сорок вопросов задать сумеют. И один другого занятнее. И о том спросит, что ответить нельзя. Ну что́ ему скажет мать, когда об отце спросит? Парни, они к отцам больше льнут. А у этого нет кому и головенку сунуть в колени. Так дичком и останется, и всякий обидеть сможет. Добро бы, хоть крови был дымовской, а ну как в папашу? Уж больно тот деликатен, галантерейный какой-то.

Владимир сплюнул и мысленно выругался. Ему по-настоящему стало жалко Степанку. И что ребятишки на улице, чего доброго, будут дразнить его нехорошим словом. И злился на Стебелькова. Ну что это за мужик! Сказали ему: «Не подходи», — забрал чемоданчик, и в дверь. Да за такую-то бабу!..

Далекая песня щемила душу. Она звучала всё тише и тише. Певец повторял:

Только есть у меня
Мил-сердешный друг,
Да и тот со мной
Не в ладу живет,
Не в ладу живет,
Не в согласии.

На последней строке песня заглохла совсем, и вместо нее отчетливо и весомо раздалось торжественное: — «Говорит Москва, говорит Москва! Слушайте важное правительственное сообщение!»

Легкий шорох, как встрепенувшийся предрассветный ветер по прибрежному раkitнику, пробежал справа и слева от Владимира. Шали, цветные платки, стариковские потертые шапки — всё повернулось к приемнику. Глаза у людей расширились, и будто одна широкая, емкая грудь вздохнула порывисто и замерла

без выдоха, подавшись вперед. Радист нырнул под стол и там торопливо присоединял к батареям питания добавочную банку с торчавшими из нее электродами, в руках у него искрило. Анна выпрямилась на стуле, стала совсем другой — настороженной, как и в тот августовский день, когда Владимир увидел ее впервые после возвращения в Каменный Брод из Махачкалы.

«Надо сказать ей, сегодня сказать надо», — без всякой связи с происходящим подумал он и не закончил мысли, — ее прервал размеренный бас диктора. Передавался приказ Верховного Главнокомандующего войскам Первого Белорусского фронта.

— «...перейдя в решительное наступление с плацдармов на западном берегу реки Одер, прорвали сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону противника... овладели городами Франкфурт-на-Одере, Ораниенбург, Карлхорст, Кепеник и ворвались в столицу Германии — Берлин!»

Шали, платки, бараньи лохматые шапки задвигались в разные стороны, и теперь уже не просто ветер — ураган подхватил всех с места. Над головами взметнулись сжатые кулаки, единая грудь выдохнула единое слово: «Дождались!»

Владимир сидел рядом с учителем, сосредоточенно дымил самокруткой. Ему не доводилось видеть столицу фашистской Германии даже на картинках, но это не мешало воображению. Танкист и партизан рисовал картину по-своему. Он видел себя на опушке леса, а впереди — в широкой низине — раскинулся огромный и мрачный город с узкими улицами-щелями, с высокими обгорелыми зданиями, со шпилями нерусских церквей. Вокруг разливается крошечная темень, и очертания города угадываются лишь по багровым отблескам пожарищ на низко проплывающих тучах. Они перекидываются с одного места на другое, эти огневые всполохи, образуют кольцо, и поэтому кажется, что город, как живое, невиданное и страшное существо, шевелится, поджигает щупальца. Но он уже обречен, он задыхается в густом, смолистом дыму.

И еще видит танкист, как со всех четырех сторон к осажденному логову идут и идут колонны войск. Полки, дивизии, корпуса. С танками, артиллерией.

Идут совершенно бесшумно и оттого еще страшнее для города, часы которого остановились на полуночи. Войска ждут рассвета. Они всё так же бесшумно растекаются вправо и влево, сплошным броневым и людским кольцом охватили заполненную непроглядным дымом котловину, а за спиной у них выстраиваются другие колонны, дальше — еще и еще. Над головами солдат поднимаются тысячи артиллерийских стволов.

И всё это молча, без единого звука. Дымов даже зажмурился: ему показалось, что рядом с живыми солдатами становятся мертвые. Они пришли сюда с пограничных кордонов, из Пинских болот, из лесов Белоруссии, степей Украины, от Ленинграда, Москвы, с берегов Волги. Встали из братских и безымянных могил, из бомбовых воронок и промерзлых траншей, чтобы вместе с живыми ринуться на последний штурм.

Здесь и псковские партизаны, не вернувшиеся от взорванных ими мостов, от речных переправ, из засад у лесных завалов, и зарытые на торфяном болоте пленные, расстрелянные за попытку к побегу. Тут и обвязанный марлей пехотинец, отброшенный навзничь на булыжную мостовую пулей коменданта Пфлаумера на базарной площади в городе Острове. Он стоит первым в шеренге.

Последнего Дымов не видит. Он его даже не помнит в лицо. Он упал на железнодорожном переезде возле будки стрелочника...

Было это в последнем бою в ночь на седьмое ноября 1943 года. Первый партизанский полк из бригады Леона Чугурова наносил внезапный удар по крупному вражескому гарнизону на узловой станции. Задача была дана предельно короткими фразами: разгромить гарнизон, взорвать нефтебазу, перевалочный склад боеприпасов, разрушить подъездные пути.

Когда полк шестью ротами обложил станцию и все ждали с минуты на минуту условный сигнал — ракету, к еловой посадке, где залегла первая рота, проскользнул из поселка парнишка-связной. Доложил, запыхавшись, что за станцией в тупике стоит вражеский эшелон, теплушки забиты солдатами.

Парнишку доставили к командиру полка. Но приказ есть приказ. В назначенный час над перелеском взвилась ракета-тройчатка.

Пулеметчик Дымов был в группе подрывников, и, когда полыхнуло в полнеба и загорелись пристанционные товарные пакгаузы, ему на освещенном поле хорошо были видны бегущие к лесу партизаны. Саперы замешкались и отходили последними. Пулевые трассы зелеными и красными струями перекрестились на их пути.

Владимир залег со своим «ручником» у переезда, пуля ударила выше локтя, раздробила кость. Пулемет судорожно поперхнулся и замолчал.

Немцы хлынули к насыпи цепью, кучей столпились у шлагбаума, добывая ножевыми штыками одного из товарищей Дымова, а сам он лежал на спине, пересохшими губами хватал и не мог схватить глоток воздуха.

Ножевые удары с хрустом раздавались буквально в десяти шагах. Они отрезвили Владимира от нечеловеческой, дикой боли. Дымов подполз к пулемету, грудью налег на приклад. Огневая яростная строчка в упор перерезала свору гитлеровцев. Так и осели всей кучей. А по полю уже и вблизи еловой опушки в разных местах вскидывались дымные всплески мин. Сгоряча встал на ноги, здоровой рукой прихватил пулемет с опорожненным диском, пробежал метров с полсотни и упал от тупого удара в спину. Сбил его с ног трескучий разрыв недолетной мины...

Окурок стал припекать губы Владимира, он затаился еще, пригнув голову и прищурив глаз от едучего дыма. Николай Иванович молча наблюдал за бывшим своим учеником. Так и сидели они за узким столом — оба седые, жилистые, с задубелыми, жесткими лицами.

— Вспоминаешь свои боевые дела? — спросил наконец Николай Иванович, точно мысли читал у Дымова. — Я тоже вот думаю. И знаешь о чем? О первом колхозном собрании в этом же вот помещении. Давно это было, Володя, давно. И трудно было его начинать. Помнишь, конечно?

Владимир молча кивнул.

— А сегодня наши солдаты штурмуют Берлин, — задумчиво продолжал учитель. — Я вижу его в огне.

— Не мы начинали.

— Не об этом речь... Горит, пусть горит. Я — о пер-

вом колхозном собрании. Не поверни наша партия в те годы страну на новые рельсы...

— Понимаю, всё понимаю, Николай Иванович, — в тон ему проговорил Дымов.

— И еще знаешь что вспомнилось? — всё так же вполголоса, будто откуда-то издалека, спросил учитель и сам же ответил: — Когда речь Михаила Ивановича Калинина здесь же вот слушали всем селом. Андрон был в Москве, на съезде. Ты привез аккумулятор от Мартынова, а по дороге обжег кислотой руку. Помнишь?

Диктор всё так же размеренно и четко повторял сообщение о начале завершающего штурма советских войск. Дымов поднял голову — Анна смотрела на него. Может быть, и она вспомнила в этот момент, как на виду у всех завязывала тогда своим платком обожженную руку Владимира, как в больницу к нему приходила. Разве такое забудешь?

Дымов потупился, а из динамика хлынула военная оркестровая музыка. Потом какой-то поэт, срываясь в голосе, читал только что сочиненные стихи:

Как молнии, блещут орудий раскаты,
И грохот боев неумолчный кругом:
Советский солдат — у немецкой столицы
Пришел рассчитаться с заклятым врагом.

Мы всем говорили недаром когда-то:
«Советскую Родину нашу не тронь!»
Но враг посягнул. Получай же расплату —
Огонь по Берлину! Огонь!!

«Огонь по Берлину!» — пламенело в мозгу Владимира. Московские куранты стали отсчитывать полночь, — полночь фашистскому логову. А Дымову показалось вдруг, что в ушах у него зародился тонкий щемящий звук и немного кружится голова. Он прикрыл ладонью глаза, обхватив пальцами разгоряченный лоб. Не видел, как впереди него кто-то порывисто встал, отодвинул стул, прошел совсем рядом торопливым, пружинистым шагом. Вот хлопнула дверь, шаги в коридоре участились, вроде бы побежал человек по скрипучим доскам.

Вокруг нарастал людской гомон, все повставали

с мест, закашляли, заговорили громко, перебивая друг друга:

— Всё, конец Гитлеру!

— Точка.

— Эх, и дадут там наши!

— Николай Иванович, а что с Гитлером сделают?

— На первом суку...

Это сказал не учитель, а кто-то добавил:

— А я бы вот так: руки скрутить, петлю на шею, и провести его, гада, по городам и селам, где трубы одни остались. Да по роже, по роже у каждого перекрестка! А потом — обратно в Берлин, и там уж — повесить.

— И министров всех так же самое...

— Живьем их сжечь, сволочей, на одном костре!

Еще и еще голоса, возбужденные выкрики, как в большой партизанской землянке после лихого налета.

Николай Иванович крепко сжал колено Владимира, кивнул в сторону двери.

— Иди, сейчас же иди, — сказал он строго. — До чего довел человека...

Владимир встряхнул головой, поднялся, пригнувшись шагнул в раскрытую дверь. Всё вокруг было залито ровным светом луны. Полновластная хозяйка ночи, круглолицая и холодная, висела она в зените над самой Метелихой, ко всему одинаково равнодушная. У школьной березы, прислонясь рукой к щербатому, покрытому наростами стволу, сникла Анна. Плечи ее вздрагивали.

Минуту-другую постоял Владимир за спиной Анны, не зная, с чего начать разговор. Одно понимал отчетливо: сейчас или никогда. Наконец решился. Подошел, молча взял ее за руки и сказал, останавливаясь надолго после каждого слова:

— Аннушка, обидел я тебя. Давай забудем о том, что без меня тут было.

У Анны перехватило дыхание, а слова, подобранные одно к одному за бессонные ночи, расскочились, рассыпались вдруг, точно бисер с оборванной нитки, — не собрать. Посмотрела вокруг — переливаются в лунном свете серебристые радужные блески. А Владимир всё говорил и говорил, точно боялся, что она обязательно перебьет:

— Всё равно бы пришел. Не сегодня — завтра. Всё равно, если бы и лесником оставался. Ты ведь одна у меня. Одна. И я у тебя — один. Теперь мы еще больше нужны друг другу. Больше.

* * *

Отшумела Каменка ледоходом, разлилась по лугам и пойменным перелескам, смыла прелую толщу прошлогодней жухлой листвы, про запас — на всё лето — напоила тучные черноземы, да и остановилась так на неделю зеркальным расплавленным озером, берега которого терялись в дымчатой синеве увалов.

Вечерами у Провальных ям, на заброшенном барском пруду возле дачи Ландсберга, у мельницы кувыркались на мелководье дикие утки (много их набралось в этом году), поднимались порой стаями. Сизокрылые селезни в торжественном брачном наряде взмывали стрелой, ошалело носились над затопленными кустами. Воздух звенел от восторженного щебета мелких пичужек; невидимые в солнечной вышине, заливались жаворонки. А перед вечером, устало махая крылами, проплывали под пунцово-зарумянившимися облаками треугольные вереницы гусей; говорливые казарки подолгу кружились над широкими плёсами, присматриваясь с высоты, где бы остановиться им на ночь, отдохнуть в безопасном месте, вперевалку и не спеша выйти на бережок, пощипать свежей зелени озимых посевов.

Медноствольные сосны и темные ели выбросили коротенькие свечи молодых побегов, запечатанных липкой пахучей смолой, лиственные деревья одно за другим тоже набрасывали на покатые плечи крон пуховые полушалки, сотканные из невесомой голубой паутины лопнувших почек. Тополя и березы первыми развернули клейкие трубочки нежно-зеленых чешуйчатых листьев, источая медвяный густой аромат. Он скапливался в низинах, у лесных безлюдных дорог, лениво переливался по просекам и, сдобренный тягучим смолистым настоем соснового бора, душистой, пряной волной колыхался у каменистых пригорков, растекался вширь. А навстречу ему катились такие же волны перемешанных внешних запахов от пар-

ной, разогретой пашни, разомлевшей от сладостных поцелуев солнца.

Всё живое торопилось жить.

Копошатся в траве жучки и козявки, над сухими метелками полыни мельтешат желтокрылые бабочки, — и откуда взятыся они успели! У старого, вывороченного пня дружно трудится спозаранку молчаливая колония работяг муравьев. Вот и пчела пролетела, повисла перехваченной золотистой каплей на ворсистой сережке вербы; с низким басовым гулом, как нагруженный бомбовоз, кружится у раскидистого куста черемухи короткий и толстый шмель.

В лесу — от зари до зари неумолчный гомон. Тоненько цвинькают непоседливые трясогузки, звонко перекликаются малиновки и синицы, восторженно заливаются неприметные мухоловки. У болотца снуют озабоченные серые кулички, стонут хохлатки-чибицы, шарахаясь из стороны в сторону в неровном своем полете; на облюбованных токовищах самозабвенно бормочут зобастые чернохвостые косачи, далеко разносится всегда и везде одинаково безответная тоскливая жалоба кукушки. А если подняться до свету, пересечь овраг и пройти еще километра два за казенную вырубку и там затаиться в сосновой крепи, то перед самой зорькой в недвижной, чуткой лесной предрассветной тишине можно услышать короткую таинственную песню крылатого сторожкого великана — глухаря.

— Берлин! Дядя Володя, Берлин наши взяли!!

Это кричали в два голоса Андрейка с Митюшкой. Они прискакали на Длинный пай верхами на неоседланных лошадях и, завидев Дымова у тракторной селялки, издали принялись кричать и размахивать шапками. Бросили потом лошадей на меже, подбежали вплотную.

— Взяли, дядя Володя! Конец! — отдувался Андрейка. — Только что передано из Москвы. Нас Николай Иванович за вами послал. Садитесь вон на мою лошадь, а мы с Митюшкой и на одной уедем. Митинг у школы будет, все собираются. И еще Николай Иванович наказывал, чтобы при орденах. Дедушка свой тоже вынул.

— А от Мишки у нас телеграмма, — вмешался приятель Андрейки. И добавил тут же: — И от гене-

рала. Матери и всему колхозу кланяется генерал. Мишке Героя дали!

...Вот и конец войне. Далеко на западе, за Шпрее-рекой, отгремели победные громовые залпы. Над поверженным в прах Берлином медленно оседало густое ржавое облако, отороченное понизу смолистыми разводами смрадной копоти. А здесь, в Приуралье, буйно цвели сады, сочной пахучей зеленью одевались леса. Дни стояли погожие, солнечные, вечерами по-над Каменкой долго не гасли тихие зори с голубой неоглядной далью, с неумолчными соловьиными переливами.

Отсеялись рано, в горячке-то не заметили, что и май проходит, что пора и косы готовить. В каждом доме ждали кого-нибудь с фронта. Теперь эта тоска стала неодолимой. На бревнах у пожарного сарая собирались вечерами сивобородые замшелые деды в неизменных своих валенках и с непокрытыми головами. Молча сидели они у смолистого штабеля, опираясь на суковатые клюшки, и всё смотрели, смотрели за околицу.

Земля-кормилица обещала щедрую дань, было бы кому убирать. Тут ведь так: раз не взял того, что она уродила, — на второй год ополовинит; еще сплеховал — не соберешь и посеянного. А в этом году — в награду, видно, за всё пережитое в лихую годину — в конце мая рожь колос выбросила, яровые погнало в дудку, сплошной бело-розовой кипенью захлестнуло травы у Красного яра.

Раньше других у штабеля бревен появлялся школьный сторож — теперь уже совершенно сухонький, сморщенный старичок — инвалид Парамоныч. После пасечника отца Никодима (того всё так же и называли в деревне) это был самый древний дед, хлопотливый и непоседливый. Ему некого было ждать, а он всё равно приходил каждый вечер, присаживался на омытый и выбеленный дождями камень, вытягивал перед собой деревянную ногу, доставал из кисета кремень и трут, высекал искру, раскуривал свою неизменную трубку. А у клуба гремела музыка. Это радист взял за правило выставлять в окно громкоговоритель. Каждый вечер теперь передают ее из Москвы — музыку.

Всё больше духовые оркестры играют, чтобы солдатам нашим веселей было из Германии домой шагать.

Любил старик Парамоныч военную музыку. Сам солдат, герой Шипки и Порт-Артура, прошагавший по дорогам России тысячи верст, он и сейчас представлял себе передвижение огромных армейских масс теми же суточными переходами — с привалами, бивачными кострами на лесных опушках, с вереницей походных кухонь за полковыми колоннами. На рассвете горнисты сыграют зорю, барабаны ударят сбор, выстроятся поротно батальоны .

...Соловей, соловей-пташечка,
Канареечка жалобно поет...

И так по лесам и взгоркам от Пруссии до Карпат. Змеятся по пыльным дорогам полки и дивизии.

Первым вернулся Павел — младший брат бригадира Нефеда, следом — Роман Васильев, третьим — Федор Капустин с нижней, Озерной улицы. Еще через неделю ездил Андрон по делам на станцию и привез оттуда Петьку Екимова, а с другого конца деревни на попутной машине в тот же час въехали агроном Егор и Никифор — сын того же Нефеда, школьный приятель Владимира Дымова. Приободрилась, повеселела деревня. С Верхней на Озерную улицу из распахнутых настежь окон перекинулась песня. Гармонь откуда-то появилась. А у колодца, что напротив заколоченной избушки Улиты, молча толпились осиротевшие матери и молодые солдатки-вдовы, утирались кончиками туго повязанных платков. Другая так и уйдет, не набравши воды, набросит веревочную петлю на стойку провисшей калитки, плотнее прихлопнет скрипучую дверь в избу, сунется головой в подушку.

Андрон до войны еще помирился с Егором, знала о том и Кормилавна, а теперь и Андрейке всё было известно, и дед не боялся иной раз сказать при внуке, что он — Егорович и что не худо бы ему после школы повернуть на отцовскую дорожку, тоже на агронома выучиться. В таком разе к медали-то поскорее что-нибудь и другое добавится. А Николай Иванович новое дело придумал — на заседании правления такую мысль высказал: а что, если бы «Колосу» объединиться с зареченскими татарскими колхозами?

Что работники они добросовестные — каждый знает, а земли пахотной у них маловато, зато луга заливные, и лугов этих намного больше, чем в «Колосе». Оттого и скоту приволье. Вот взять да и объединиться, а потом здесь полеводческие бригады оставить, за Каменкой добротные фермы выстроить, тонкорунных овец завести, молодняк гуртами откармливать.

По всему видать, что учитель не вдруг к этой мысли пришел: принялся доказывать с готовыми цифровыми выкладками. Всё у него заранее рассчитано было, а под конец сказал, что зареченские председатели в Тозларе и Кизган-Таше не против объединения, напомнил Андрону про разговор с Нургалимовым у межевого столба за Красным яром.

Дымов сказал, что надо подумать, такие дела не вдруг делаются; нужно с рядовыми колхозниками там и здесь посоветоваться, решить окончательно после осенней уборки.

На том и остановились. А еще дней через пять сразу две легковые машины подкатили к правлению «Колоса». Из передней Нургалимов с Калюжным вышли и товарищ Валиев, что орден вручал Андрону; во второй какие-то незнакомые люди сидели. Дымова не оказалось на месте: в МТС зачем-то уехал, за него оставался Андрон.

Нургалимов в правленье не заходил и про дела артельные не стал особенно расспрашивать, а попросил, чтобы послали кого-нибудь за Николаем Ивановичем. Усадили его в машину, во вторую Андрона втиснули и поехали к Ермилову хутору, оттуда — полевыми да лесными заброшенными дорогами — к даче Ландсберга.

Валиев с Николаем Ивановичем и Нургалимовым обошли усадьбу. Потом все вместе осмотрели дом, по витой чугунной лестнице поднялись на башню. Тут Андрон оказался возле Валиева и слово в слово слышал всё, что говорил ему Нургалимов. Оказывается, до войны еще Николай Иванович обращался к республиканским властям с просьбой восстановить поместье и открыть здесь дом отдыха для колхозников.

— Открывайте! — весело посматривая на Нургалимова карими глазами, говорил Валиев. — За чем же дело встало? Будем приветствовать!

— А нам бы хотелось кроме этих приветствий кое-что посущественнее получить от Республиканского Совета, — в тон ему говорил Нургалимов. — Для начала хотя бы полтора-два миллиона рублей.

— И только-то? Стоило огород городить!

По одному спустились вниз, и здесь говорили уже серьезно. Валиев обещал поддержать в верхах просьбу Крутикова, но при условии, что часть расходов на это строительство возьмут на себя колхозы всего района.

— И будет тогда у вас свой собственный межколхозный дом отдыха, а со временем сделаем его и санаторием, — говорил Валиев. — Наши колхозники заслужили это.

Когда обходили озеро, Нургалимов, отстав несколько от Валиева, спросил у Андрона:

— Ну как, не жалеешь, что стал заместителем?

— Нет, не жалею, — как всегда не вдруг, ответил Андрон. — Я ведь знал, кому дела передать.

— А как у него в семье?

— Живут. Ладно живут. В деревне-то, глядя на них, все радуются.

Андрон помолчал и добавил:

— Володька-то, он — железный. По^е всему видать: отрубил — и забыл. Это уж Николаю Ивановичу вон спасибо надо сказать: он из него человека сделал. Да и не только из одного Володьки...

ЭПИЛОГ

Высока, крутобока гора Метелиха. Южные склоны ее травянисты, северные до половины покрыты лесом. Раскидистые крепыши дубки и белоствольные молодые березки обступили ее полукольцом, как в праздничном хороводе, да и остановились на полдороге передохнуть. Тут хорошо: свету много и даль неоглядная открывается во все стороны. Медноствольные сосны и темные ели остались внизу, — им труднее карабкаться по каменистым кручам. Сбившись плотными островками в бескрайнем лесном разливе, покачивают они своими вечнозелеными вершинами, шумят нестройно, по-хорошему завидуя тем, что взбежали выше. Помоложе они, резвее!

Одетая густым воротником леса, с незапамятных пор укрывает Метелиха от студеного дыхания Севера раскинувшееся у подножия село. В отлогой долине, образованной озером и рекой Каменкой, весной и летом набирается много тепла, буйно цветут сады, вызревают тучные нивы; на лугах заливных — травы в пояс.

Давно это было (тысячепудовые замшелые валуны и те не упомнят) — оседали по берегам реки пришлые племена, строили древние городища, занимались рыболовством, охотой и бортничеством, огнем и железом полонили дикие земли, врубались в лесные дебри. Были тут разные люди, говорили на непонятных друг другу языках, поклонялись каждый своему идолу. Враждовали из-за обжитых угодий, теснили один другого.

...Шли века. У подножия Метелихи рос поселок. Нарождались и умирали люди, и каждое поколение

оставляло после себя новые вырубь, мосты и проселочные дороги. Напоённая соленым мужичьим потом земля воздавала сторицей, но сам мужик-труженик оставался босым и голодным: классовая вражда разделила деревню на две улицы — Верхнюю и Озерную, она же поставила у Красного яра межевой столб: здесь — русские, там — иноверцы.

Глухая вражда наслаивалась веками: башкир ненавидел татарина, татарин — марийца, каждый в отдельности — бородатого, широкого в кости, трудолюбивого русского землепашца в пестрядинной, до колен рубахе и с пропотевшим гайтаном на коричневой, задубелой шее. Но от него же перенимали искусство ковать железо, выращивать драгоценные зерна жита, строить жилища с трубой.

Русский всех называл словом «нехристи» и не считал за грех выпустить на ночь лошадь в яровое поле соседа-татарина, запахать приглянувшийся клин на вырубке у марийца, выкосить пойменный пай у чуваша. Случалось, татарин хватался за нож, мариец с кистенем в руках выслеживал обидчика на лесной дороге, чуваш «пускал красного петуха» под застреху домовитого селянина.

Поп и мулла подливали масла в огонь, и уже не одиночки — деревнями сшибались у межевых столбов, на мельницах и речных переправах, крушили дубьем черепа. Кто в живых оставался, тем и другим — ка-торга.

Всё это в прошлом — гнет и слепая вражда. Зоревые всполохи семнадцатого года помогли увидеть истинного врага, и тот же русский мужик через чугунную прокопченную решетку заводского двора протянул братскую руку башкиру, подал другую марийцу. Вместе вышли они на булыжную мостовую, арканом из конского волоса сорвали с насеста когтистую хищную птицу.

...За двадцать послевоенных лет Каменный Брод отстроился заново. У озера расплавленным серебром отливают стеклянная крыша теплицы. Старик Пурмаль выращивает в ней не только ранние овощи, — на ветках невиданных здесь растений наливаются золотистым соком абрикосы и персики. За рекой — по правому ее берегу — раскинулись добротные фермы с во-

донапорной башней. Это владения Анны Дымовой — лучшего животновода района. От Красного яра через поля и перелески шагают в разные стороны высокие просмоленные столбы с кручеными, тяжело провисшими проводами. В бетон и железо закована неумная сила Каменки. Послушная воле человека, дает она яркий, немеркнущий свет восемнадцати деревьям вокруг. Сбылась заветная мечта первых комсомольцев Каменного Брода: Каменка стала ручной, покорной. По-иному выглядит и заброшенная когда-то усадьба помещика Ландсберга; здесь — межрайонная колхозная здравница.

Годы берут свое — состарился, поседел Андрон. И у красавицы Анны вплелось серебро в длинные, шелковистые волосы. Кажется, всё на месте: две улицы — Верхняя и Озерная, та же гора за околицей. И озеро, и река. А люди другие, иные у них заботы. На площади, в тесном соседстве со школой-десятилеткой, высится каменное двухэтажное строение с огромными окнами и широкими резными дверями. Это колхозный Дом культуры. А в школе-интернате за одной партой сидят светловолосые ребяташки с Большой Горы и из Николаевки и черноглазые подростки из Тозлара и Кизган-Таша.

Старый учитель жив. Он давно уже на пенсии, но председатель колхоза «Колос» Герой Социалистического Труда Владимир Дымов не открывает ни одного собрания или заседания правления, пока не увидит на скамейке возле окна знакомого до последней морщинки лица с очками в дешевенькой оправе. Хорошей традицией стало и то, что теперешний директор школы на торжественной линейке в начале учебного года и на выпускных вечерах первое слово предоставляет заслуженному учителю школы РСФСР, старейшему коммунисту, организатору колхоза, ветерану гражданской и Великой Отечественной войн Николаю Ивановичу Крутикову.

Председатель райисполкома Семен Калюжный умер; застудился он осенней ночью на переправе, когда у одного нерасторопного шофёра свалился с паррома грузовик. Вроде бы и не Калюжного это дело — лезть в ледяную воду, чтобы зацепить буксировочный трос за раму затонувшей машины, но раздумывать было

некогда. Машину выволокли на берег, а председатель райисполкома в ту же ночь оказался в больнице, да так и не вышел оттуда. Улита вырастила, выучила детей Семена, выдала замуж Светлану, Стася отправила в армию, вернулась в деревню.

Вытянулась, расправила плечи молодая поросль — внук Андрона Савельевича Андрейка и младший сын Дарьи Митюшка. Оба в армии отслужили положенный срок, вернулись домой — плечистые, статные. А в Каменном Броде ждали их две задушевные подружки — дочь учителя Варенька и Анка Дымова.

В междупарье всем колхозом справили сразу две свадьбы. Столы накрыли прямо на улице. Столетний пасечник Никодим наварил медовухи; по стародавнему обычаю, как старейшина в большой и дружной семье, пил с молодыми из резного ковша, обошел всю застолицу. За столами — русские и татары — все перемешались. Колхоз-то теперь вон какой! Восемь бригад, три из них за Каменкой: Тозлар, Кизган-Таш и Султановка. Приехали и почетные гости: секретарь обкома Салих Нургалимов и командир-авиатор Герой Советского Союза полковник Михаил Ермилов. Тот самый затравленный Мишка, который бегал от матери, бродяжничал, прятался от людей, пока не попал в лесную избушку Никодима, а потом в подпаски к безродному старику Мухтарычу.

Около полуночи, в разгар веселья за праздничными столами, возле Дома культуры остановился запыленный автобус. Из него шумной толпой вьсыпали парни и девушки в национальных костюмах. Это приехала на свадьбу бригада художественной самодеятельности из соседнего района.

И грянула песня — раздольная, многоголосая. Песня лилась, ширилась, птицей взмывала вверх до улыбчивых, ясных звезд. Таковую не заглушить никаким громом. И никакие испытания, никакие бури не нарушат кровного единства большой и дружной семьи.

...Никогда не видала гора Метелиха такого праздничного стола у своего подножия и такой семьи, собранной из восемнадцати сёл округи, не слыхала привольней песни, чем эта.

СОДЕРЖАНИЕ

Под горой Метелихой	5
Зори над Каменкой	237
Испытание огнем	437
Э п и л о г	680

Евгений Павлович Нечаев

„ПОД ГОРОЙ МЕТЕЛИХОЙ“



*Редактор Л. А. Плотникова
Художник Г. В. Ковенчук
Технический редактор Г. А. Шермушенко
Корректор Л. М. Ван-Заам*

*Сдано в набор 30/V 1966 г. Подписано к печати 7/IX 1966 г.
Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂. Физ. печ. л. 21,375. Усл. печ. л. 35,91.
Уч.-изд. л. 36,13. Тираж 50 000 экз. М-11917. Заказ № 926.
Работа объявлена в Т. п. 1966 г., № 160*

*Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Типография им. Володарского Лениздата,
Фонтанка, 57
Цена 1 р. 20 к.*

